

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО

РАЗРЫВ С МОСКВОЙ

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО

РАЗРЫВ С МОСКВОЙ

BREAKING WITH MOSCOW

Arkady N. Shevchenko



ALFRED A. KNOPF NEW YORK 1985

АРКАДИЙ ШЕВЧЕНКО

РАЗРЫВ С МОСКВОЙ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД



LIBERTY PUBLISHING HOUSE • NEW YORK • 1985

Arkady Shevchenko: RAZRYV S MOSKVOY
Translated by: Elena Gessen (chapters: 1-12, 27-30, Epilogue)
Joseph Kosinsky (chapters: 13-19)
Lyudmila Kafanova (chapters: 20-26)

Senior Editor Ilya Levkov
Editor Asya Kunik

First Russian edition published by Liberty Publishing House, 1985
475 Fifth Avenue, suite 511, New York, N.Y. 10017

Original English title BREAKING WITH MOSCOW

This translation published by arrangement
with Alfred A.Knopf, Inc.

Cover design by Vagrich Bakhchanyan
Back cover photo courtesy of Mr.Shevchenko

Composed by VBP Typesetting
Printed in the United States of America by
R.R.Donnelly & Sons Company, Harrisonburg, Virginia

ISBN 0-914481-25-8

МОЕЙ ЖЕНЕ ЭЛЕЙН

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Моя книга не предназначалась для советских читателей. В ней я попытался объяснить и раскрыть на моем собственном опыте основные цели советского руководства во внешней и внутренней политике. К сожалению, в Соединенных Штатах и на Западе вообще часто весьма наивно подходят к оценке того, что происходит в Советском Союзе и принимают на веру утверждения Кремля о стремлении советского режима к миру и искреннему сотрудничеству с Западом. Может быть, мои мемуары помогут и русским читателям глубже понять механизм советской государственной машины, которая действует отнюдь не в интересах народа, а лишь в интересах узкой группы партийной и иной элиты.

3 июля 1985 г.

Аркадий Шевченко

ПРЕДИСЛОВИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

Приступая к этим мемуарам, я не ставил перед собой цели внушить американцам чувство враждебности по отношению к советскому народу и помешать усилиям по сохранению мира. На земле достаточно сумасшедших, которые пытаются это сделать. Я хотел другого: поделиться с читателем своими наблюдениями над советской системой, рассказать правду о том, как я жил внутри этой системы, сообщить людям о советских планах и предупредить их об опасности, которую эти планы представляют для всего мира. И еще я надеюсь, что, как ни малы шансы на это, я смогу своей книгой помочь советским людям в конце концов найти путь к свободе.

Советский Союз нельзя стереть с лица земли и невозможно изменить его положение в современном мире. Жизнь человечества может зависеть от того, как будут складываться отношения между СССР и США. У обеих держав есть колоссальные силы, которые могут уничтожить или спасти человечество. Каждая страна интерпретирует намерения другой в основном со своей собственной колокольни, и непонимание и недоразумения, которые могут возникнуть из такого подхода, способны привести к разрушительной конфронтации. Поэтому для Запада жизненно важно как можно более точно и полно понимать образ мыслей и действий тех, кто делает в Кремле политику.

Первая часть этой книги озаглавлена "Шпион поневоле" — в этом заглавии отражены мои чувства по поводу моего тайного сотрудничества с правительством США. Шпионаж, по общепринятому мнению, малопочтенная профессия; а шпионаж в пользу другой страны рассматривается в большинстве случаев как крайнее проявление нелояльности. Но я никогда не считал себя шпионом в истинном смысле этого слова, и я никогда не думал, что предаю свою страну и свой народ. Я всегда любил Россию и всегда буду любить ее. Относительно недол-

гое время я работал с американским правительством, чтобы помочь ему лучше понять цели и средства советского режима – режима, который я хорошо знал и который стал ненавидеть. Я обманывал этот режим и породившую его систему.

Поскольку в книге речь идет о недавних событиях, я изменил некоторые имена и не назвал кое-какие источники. Я не хочу, чтобы кто-либо – будь то американец или русский – пострадал от упоминания в моей книге.

Эта книга писалась в расчете на массового читателя. Я стремился к максимальной ясности и простоте, а это не всегда легко: ведь речь идет о таких сложных делах, как международные отношения. В этой связи я хочу подчеркнуть, что в одной книге невозможно отразить полностью ни мой личный опыт, ни все сколько-нибудь важные аспекты положения в СССР. В будущем я собираюсь заняться научными исследованиями по проблемам СССР и Организации Объединенных Наций.

Я хочу выразить глубокую признательность тем, кто помогал мне в работе над книгой. Прежде всего я хочу поблагодарить мою жену, Элейн, поддержку которой я всегда чувствовал. Как ни банально это звучит, но это чистая правда: без нее книги не было бы. Хотя в СССР я написал несколько книг и множество статей, писать "американскую" книгу было очень трудно. Стиль и метод, пригодный для советского читателя, очень отличается от того, что принято в англоязычном мире, и лишь после нескольких "фальстартов" я нашел ключ, которым удалось отомкнуть замок. Все это время Элейн оставалась моим терпеливым и полным энтузиазма помощником.

Я также выражаю самую искреннюю благодарность моему дорогому другу Вильяму Геймеру. Его постоянная поддержка, мудрость и его суждения были поистине бесценны. В моменты отчаяния и неудач Билл всегда оказывался рядом, чтобы поддержать меня и Элейн.

Я выражаю также признательность моему издателю Ашбелю Грину и всем, кто помогал мне в работе над этой книгой.

Работая над ней, я впервые в жизни чувствовал, что могу говорить обо всем свободно, без контроля, без необходимости помнить о том, что приемлемо с политической или идеологической точки зрения. Америка дала мне пристанище и новую жизнь, но свобода – самый дорогой подарок, который она мне сделала.

Аркадий Шевченко

ШПИОН ПОНЕВОЛЕ

1

Я честил себя на чем свет стоит. Зажатый в пробке посреди нью-йоркского моста Квинсборо, я изливал всю свою досаду в хорошо известных всякому русскому выражениях. Я проклинал себя за то, что не предвидел этой пробки, а теперь все мои тщательно вычисленные планы могли полететь к черту.

Я отчаянно сжимал руль, словно чисто волевым усилием мог извлечь свою машину из еле движущегося потока. Столько лет проживший в этом городе, я чувствовал себя почти что уроженцем его, а ведь любой житель Нью-Йорка сумел бы выбраться из Манхэттена, избежав этого движения, обычного для вечера пятницы. И как нарочно, именно сегодня я никак не мог опоздать. Назначенная встреча была слишком важна.

Я готовился к ней долго и тщательно, вычислял время, проверял детали. И вот теперь все могло сорваться. Что если человек, с которым я должен встретиться, не дождется меня? Что если он подумает, будто вся эта затея была просто дешевым трюком? Смогу ли я снова войти в контакт с ним?

Эти мысли сменялись другими, еще более безрадостными. А вдруг мой секрет раскрыт? Вдруг меня обманули и заманили в ловушку? И, может, какая-нибудь из машин, застрявших в этой пробке, следует за мной?

Для человека, выросшего и воспитанного в Советском Союзе, ощущения параноика совершенно естественны. Инстинкт самосохранения заставляет вас подозревать чуть ли не в каждом стукача, и постепенно это становится второй натурой.

В моей обычной нью-йоркской жизни за мной следили — то неотступно, то с перерывами. В этот вечер, казалось, наблюдения за мной не было, но чувство неуверенности нервировало. Мне бы выяснить, есть ли за мной хвост, да никак не-

возможно. Я не мог вычленить из потока машин, видных в моем зеркальце, ту, которая следила бы за мной – слишком велико было движение.

Да и если за мной действительно кто-то следует, ничего необычного он не заметит. Аркадий Николаевич Шевченко, советский дипломат, чиновник из Организации Объединенных Наций, как обычно по пятницам, направляется в особняк на Лонг-Айленде, в Глен-Коув, где Советская миссия при ООН устроила нечто вроде дачи для своих чиновников высшего класса. Я надеялся, что наблюдателям невдомек, что именно сегодня у них есть все основания следовать за мной. Я направлялся на тайное свидание с чиновником американского правительства, который ждал меня в Манхэттене. Но мне надо было добраться до него без хвоста. Мой шофер, неведомо где приступавший сейчас к развлечениям уикенда, работал на КГБ. Тем же занимался и мой главный заместитель в офисе за номером 35, хозяином которого я стал с тех пор, как весной 1973 года получил должность заместителя Генерального секретаря ООН по политическим делам и делам Совета Безопасности. Сотрудничали с КГБ и другие, те, кто время от времени появлялись в поле моего зрения.

Долгие годы я жил под колпаком, но так и не привык к этому. Я научился сосуществовать с КГБ, как всякий советский гражданин, научился более или менее спокойно реагировать на их угрозы и вмешательство в мою жизнь и работу. Но в этот вечер я собирался ускользнуть от них навсегда.

Чтобы достичь успеха в этом предприятии, надо было еще какое-то время скрывать свои намерения. Я должен быть уверен, что Советы ничего не подозревают о моих планах и что американцы согласятся помочь мне как можно скорее осуществить их. И вновь, посреди скоростной дороги, ведущей к Лонг-Айленду, где пробка наконец-то рассосалась, на меня накатила волна тревоги, и я нажал на газ.

За мной следовала машина, которая любому другому показалась бы обычным "бьюиком" устаревшей модели, но я-то знал, что это любимая модель моих коллег по советской миссии. Та же марка, тот же цвет. В такой машине ездит глава КГБ в Нью-Йорке, резидент. Конечно, это может быть случайным совпадением, и в машине сидит обычный человек, не имеющий никакого отношения к КГБ. Но с таким же успехом это мог быть и гебистский "бьюик".

Мне надо было убедиться, что за мной нет хвоста. Под гудки и ругань других водителей я начал вилять из одного ряда в другой. Я нажимал на газ, потом сбавлял скорость, но "бьюик" все еще следовал за мной на расстоянии пяти-шести машин. Скорость увеличивалась — 60, 70, 75 миль, мысли путались, вступая в сумасшедшую гонку вместе с машиной. Я поравнялся с выходом 39, поворотом на Глен-Коув, и, почти не затормозив, швырнул свою машину через правый ряд на линию выхода, в темную боковую дорогу. Если "бьюик" окажется здесь, я точно буду знать, что дело — табак. Но его не было. Погоня была игрой моего воображения. На секунду я почувствовал облегчение.

За мной взвыла сирена, и красный свет задрожал в боковом зеркальце. Но это был не КГБ, а всего лишь здешний полицейский, засекший мою дикую гонку.

Я извинился. Взывать к праву дипломатической неприкосновенности было бы сейчас неуместно: я мог бы избавиться от штрафа, показав ему свои документы, но это потребовало бы длинного обсуждения. Кто-нибудь из моих советских коллег мог, проезжая мимо, увидеть нас. Они могли бы заметить время. Кому-нибудь показалось бы странным, что в семь часов я находился в нескольких милях от Глен-Коува, а появился там только через несколько часов. Я не мог позволить себе так рисковать. Сейчас мне было нужно только одно: поскорее добраться до Манхэттена. Поэтому я без возражений принял упреки полицейского и повестку в суд, которую он мне вручил.

* * *

Все это началось за несколько недель до того, в моем кабинете в здании ООН. Именно там я принял окончательное решение порвать с советской системой.

Многие мои коллеги по ООН считали меня представителем твердой линии, ортодоксом, верным ревнителем советских интересов в Секретариате, человеком, который ни на минуту не поколебался бы нарушить правила в пользу СССР. У них были причины так думать. В моей работе было очень важно подчиняться давлению из Москвы и настояниям Якова Малика, советского посла в ООН, а представление обо мне как об опытном советском администраторе, склонном расширять свою власть и контроль до максимально возможных пределов,

тоже способствовало созданию такого образа. Больше двадцати лет я жил ценностями и целями советской системы, я был связан с ее руководителями, и это наложило на меня глубокий отпечаток. Эта среда превратила меня в некий заводной механизм, который двигался автоматически, и его нелегко было остановить.

Однако по мере созревания моей неудовлетворенности советской системой и всего, что она представляла, созревала и моя решимость оказывать хотя бы скромную поддержку идеям или мерам, противоречащим советским интересам. И независимо от того, были ли это малозначительные или важные дела, я чувствовал удовольствие от того, что мог им способствовать. Но знали ли об этом американцы? В этом я сомневался. Мне казалось, что моя репутация может ослабить их веру в мою искренность. Они, наверное, будут допытываться о причинах моего решения, и вряд ли им будет достаточно объяснений насчет моего разочарования или недовольства. Я полагал, что они с интересом выслушают меня, но не более. Разрядка шла как раз полным ходом, и согласятся ли Соединенные Штаты связываться со мной, рискуя при этом хоть чуточку повредить ее развитию? Скорее всего, Советы обвинят США в том, что это именно они портят отношения между странами. В конце концов, что стоит один человек, сколь бы высоким ни было его положение, по сравнению с интересами целой страны?..

К тому же американцы могут решить, что я играю с ними в какие-то игры, или, того хуже – что я сошел с ума. Они могут заподозрить, что я наркоман или алкоголик, неспособный больше функционировать.

В общем, меня терзали сомнения – как воспримут американцы мой будущий перехсд на их сторону. Что до советской реакции, – то тут у меня никаких сомнений не было. Если они меня выследят, то немедленно отошлют домой, где меня будет ждать мрачное будущее – или вовсе никакого будущего. Одно дело – когда в чужой стране остаются шахматисты или танцоры, и совсем другое – когда то же самое проделывает человек, принадлежащий к политической элите.

Я мысленно перебирал все "за" и "против" и с каждым новым вопросом и умозаключением все четче понимал опасность моего положения. И все же – отвращение к системе, которой я служил, и к себе самому в этом качестве, плюс на-

дежды на новую жизнь побуждали меня посвятить американцев в свое решение. Однако я хотел сделать это косвенно и действовать по неофициальным каналам. Но каким образом? Как это часто бывает, ответ на этот вопрос сыскался случайно.

За несколько недель до решающей пятницы я встретил в коридоре ООН одного американца, старого своего знакомого. Мы знали друг друга как профессионалы, нередко встречались в обществе. Он казался мне умным и открытым человеком. Я знал, что у него есть связи в Вашингтоне. "Вот мой шанс!" – подумал я и, подойдя к нему, сказал, что мне нужно обсудить с ним кое-какие вопросы наедине. Мы договорились встретиться назавтра и прогуляться во время перерыва на ленч.

Но на другой день шел проливной дождь и мы были вынуждены отменить нашу прогулку. Зато выяснилось, что мы оба приглашены на дипломатический обед на следующей неделе.

И вот настал день этого обеда. Увидев своего приятеля, я отвел его в сторону и с места в карьер сказал:

– У меня к вам необычная просьба. Я решил порвать со своим правительством и хочу знать заранее, какова будет реакция американцев, если я попрошу политического убежища.

– Вы шутите, Аркадий! – воскликнул он ошеломленно.

– Я совершенно серьезен. – Он по-прежнему недоверчиво смотрел на меня. – Такими вещами не шутят, – повторил я.

Делая вид, будто у нас обычный светский разговор, я спросил, может ли он, прежде чем я что-то сделаю, прозондировать реакцию Вашингтона и дать мне знать, какова она.

Справившись с удивлением, мой приятель несколько минут размышлял. Наконец он сказал:

– Мы давно знаем друг друга, и я, конечно, постараюсь помочь вам. Но мое участие должно остаться в секрете. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я был замешан в это дело. На следующей неделе я еду в Вашингтон. Я все разузнаю, но нас больше не должны видеть вместе – нигде, даже в ресторане.

Решено было инсценировать случайную встречу в библиотеке ООН, где мы должны были обменяться записками.

Через несколько дней после этого разговора я в назначенный час пришел в библиотеку. Мой приятель рассеянно листал

книгу в пустом зале справочного отдела. Увидев меня, он сунул в книгу листок бумаги, поставил ее на полку и вышел. В записке, которую я вынул, как только он ушел, я прочел: "Из Вашингтона приезжает человек специально для того, чтобы встретиться с вами. У меня создалось впечатление, что вам предоставят политическое убежище, и я надеюсь, что разговор с этим человеком успокоит вас".

Далее в записке говорилось, что на следующий день, в 2.30, я должен быть в книжном магазине неподалеку от здания ООН. Там меня будут ждать мой приятель и человек из Вашингтона. Я не должен говорить с ними: мне надо только запомнить лицо незнакомца. Назавтра, в 3.30, мой приятель передаст мне — тем же способом — адрес, по которому я должен встретиться с человеком из Вашингтона. В ответной записке мне следует указать, какое время мне удобно, и мой приятель передаст ее. "После этого вы будете действовать самостоятельно. Уничтожьте эту записку".

На другой день я пришел в магазин немного раньше назначенного времени. Это был маленький магазинчик, очень удобный для подобных свиданий: центр его был заставлен высокими, как в библиотеке, полками, за которыми служащие магазина не могли видеть посетителей.

Я заметил моего приятеля. Его спутник оказался высоким человеком с военной выправкой и открытым лицом. Делая вид, что мы ищем что-то на полках, мы обменялись взглядами. Я пошел к выходу. По дороге мне бросилась в глаза книга Джона Ле Карре "Шпион, который вернулся с холода", и я купил ее: забавной казалась мысль о том, что наша таинственная встреча была разыграна именно так, как это изображалось во множестве фильмов и книг.

В 3.30 следующего дня я был в библиотеке ООН. Я видел, как мой друг вкладывает листок бумаги в книгу. В записке оказался адрес, который я запомнил. Внизу я приписал: "В эту пятницу, вечером, между 8-ю и 9-ю часами".

По пятницам, отпустив шофера, я, как правило, вел машину сам. Моя жена Лина обыкновенно уезжала в Глен-Коув после ленча. В конце недели я часто задерживался на работе, и она привыкла к моим поздним возвращениям. План мой состоял в том, что я, как всегда, поеду по дороге на Лонг-Айленд, а убедившись, что за мной нет слежки, поверну в город.

Сидя у себя в кабинете, я представлял себе встречу с чело-

веком из Вашингтона. Кто он такой? Что он скажет? Есть ли у него право принимать решения? Как мне убедить его в том, что я не обманываю его? Какие доказательства моей честности он может попросить меня представить?

Все эти вопросы беспорядочно роились у меня в голове. Я хотел политического убежища и защиты и от советских попыток дискредитировать меня, и от убийц КГБ. Но я был почти уверен, что получу всего лишь уклончивые обещания передать мои требования высшим властям в Вашингтоне.

Немного успокоившись, я повернул к Гранд Сентрал Парквей, проехал по мосту Трайборо и нашел место для парковки на темной улице в верхнем Манхэттене, на Ист Сайд. Взяв такси, я доехал до угла Шестидесятых улиц. Я опаздывал минут на десять. Быстро пройдя по пустой улочке, я поднялся в обычное кирпичное здание.

Дверь открыл человек, назвавшийся Бертом Джонсоном. Он протянул руку. У него было крепкое рукопожатие. Темный, несколько старомодный костюм ладно сидел на нем.

– Я жду вас, – сказал он. – Идемте наверх.

Джонсон вел себя по-деловому и вместе с тем был гостеприимен. Он предложил выпить, я выбрал шотландское виски. Мы устроились на тахте в уютно обставленной библиотеке, по стенам стояли книги, висели картины. Но вся эта приятная атмосфера ничуть не успокаивала меня.

Я пристально смотрел на Джонсона, пытаясь понять по его лицу, что он за человек. Джонсон держался легко и естественно. Ни удивления, ни недоверия он не проявлял. Казалось, он ждал, что я первым приступлю к делу. Но даже после стольких мысленных репетиций я все никак не мог найти нужные слова. Наконец я сказал:

– Я оказался здесь не случайно. И не в результате необдуманного и скороспелого решения.

Он спокойно кивнул, и почему-то этот жест встревожил меня.

– Мысль о разрыве зрела во мне долгие годы, и вот теперь я готов действовать и прошу вас помочь мне, – продолжал я.

Джонсон снова кивнул. Я понял, что он мне не помощник: я должен вести разговор сам.

– Я говорю вам, что решил порвать со своим правительством, – выпалил я.

Он снова кивнул, и это было в общем вполне естественно:

он ведь уже знал, что я скажу. Но мне становилось все неуютнее. Я вдруг понял, что меня смущает: он не забрасывает меня вопросами, он не оспаривает мои мотивы – я ведь ожидал этого. Я замолчал, и молчание тянулось, казалось, несколько часов. Джонсон не пытался нарушить тишину.

Тогда я снова заговорил. Я пытался объяснить, как мне самому стали ясны мои убеждения. Никогда еще я так остро не чувствовал недостаток разговорной практики в английском, голова разламывалась от усилий адекватно выразить мои чувства и мысли. Я пытался подчеркнуть, что в душе я больше не советский человек и не могу оставаться частью советского мира. Я рассказывал ему о невыносимых ситуациях, в которых мне часто приходилось действовать вопреки здравому смыслу, чувствуя себя идиотом. Этого требовала защита советской позиции в ООН. А в то же время мне приходилось делать вид, будто я поступаю объективно, как и положено заместителю Генерального секретаря. Все эти объяснения показались мне самому такими неубедительными, что я начал с другого конца.

Я сказал Джонсону, что вначале был полон надежд. Я похвалялся перед ним, как быстро продвигалась моя карьера, я хвастался тем, что мои друзья, люди, с которыми я вместе учился и которых любил, занимали влиятельные посты и некоторые из нас когда-то думали, что мы можем что-то изменить, можем помочь приоткрыть советскую систему.

Джонсон молча сидел рядом, слушая мою болтовню. Только потом я понял, что в тот момент он (и американское правительство) вовсе не жаждали узнать мои мотивы. Скорее, его задача заключалась в другом: дать мне возможность доказать подлинность моего решения не на словах, а на деле. Я попытался успокоиться, придать своим речам более прагматическое и менее идеалистическое звучание.

– Речь идет не о деньгах и не о комфорте, – сказал я. – Как советский посол я пользуюсь всеми возможными благами. У нас с женой прекрасная квартира в Москве, масса дорогих красивых вещей, – у нас есть все, чего мы хотим. Дача в одном из самых лучших мест под Москвой. Куча денег. Дело не в этом, – повторил я. – Дело в том, что взамен я должен подчиняться системе, как робот своему хозяину, а я больше не верю в систему.

Я сказал ему, что наши телефоны постоянно прослушива-

ются, что КГБ постоянно следит за мной, часто почти следуя по пятам, что членство в партии вынуждает меня заниматься политической работой, которая не имеет никакого отношения к моей дипломатической службе, и создает постоянную угрозу вмешательства в мою личную жизнь и жизнь других людей. От меня требуют, чтобы я вел пропагандистскую работу, чтобы я как попугай повторял на собраниях то, что следует, и побуждал других думать так, как следует. Но самое отвратительное то, что партия заставляла меня быть для моих соотечественников в Нью-Йорке чем-то вроде сторожевой собаки, следящей за их моралью. Я ненавидел все это лицемерие, я хотел заниматься своим делом, в которое я верил и которое интересовало меня. Я хотел сделать в своей жизни что-нибудь стоящее.

Во время всей этой речи Джонсон не проронил ни слова. Потом он спросил, сказал ли я жене о нашей встрече. Я ответил, что нет, но что я собираюсь это сделать. Я заметил, что Джонсону понравился мой ответ, но он ничего не сказал.

Наконец, я выдвинул свои требования. Я хотел открыто перейти к американцам и заявить об этом. Мне нужна была защита, и я не хотел, чтобы меня контролировали.

– Я хочу работать, писать и жить так, чтобы никакое правительство не диктовало мне, что делать и что говорить. Даст ли ваше правительство мне такую возможность?

Джонсон встал и подошел к бару в углу комнаты.

– Не знаю, как вы, но я определенно выпью двойное виски. Вам налить? – спросил он.

Его дружелюбный тон разом изменил атмосферу. Казалось, он понял, что мучало меня. Он вдруг стал человеческим существом, а не учреждением или судебной инстанцией, перед которой я вынужден был оправдываться. Я быстро согласился еще выпить. Мы стояли у бара, он налил виски и содовую. Мы чокнулись. Впервые за весь вечер мы улыбнулись друг другу.

Вернувшись на тахту, он закурил и, откинувшись назад, сказал:

– Ну вот, прежде всего я уполномочен предложить вам защиту, о которой вы просите. Если вы готовы бежать, мы готовы помочь вам, принять вас, если вы именно этого хотите.

– Да, я хочу именно этого, – ответил я.

– Мы о вас много знаем, – продолжал он. – Мы давно уже

наблюдаем за вашей карьерой, поэтому я должен спросить вас, уверены ли вы в своем решении? Если у вас есть какие-либо сомнения, скажите нам об этом. Как только это дело развернется, его никто уже не сможет остановить.

– Я принял решение.

Однако Джонсон продолжал говорить о том, что в США у меня не будет тех особых привилегий, к которым я привык, будучи членом советского высшего класса. Он говорил, что у меня не будет машины с шофером, зарплату которому платит государство, у меня не будет государственной квартиры, вообще не будет той роскоши, которая доставалась мне бесплатно как советскому чиновнику высшего ранга.

– Все это вещи, которые вы считаете само собой разумеющимися, – подчеркнул он. – Но мы ничего подобного не предоставляем. Вы действительно готовы отказаться от них?

– Да, я готов. Я знаю, что мне важнее всего.

Я вдруг почувствовал желание рассмеяться. У меня было какое-то странное чувство, будто я участвую в некой брачной церемонии, и это было так непохоже на мои эмоции всего две минуты тому назад.

Джонсон выпил свое виски и поставил стакан на стол. С минуту он смотрел на меня, потом сказал:

– Вы понимаете, что если вы будете жить открыто, ваша жизнь всегда будет под угрозой?

Я достаточно был осведомлен о длинной руке и долгой памяти КГБ. Почему Джонсон заговорил об этом: неужели он хочет отговорить меня, вместо того чтобы укрепить в моем решении? Я почувствовал тревогу.

Джонсон прервал мои мысли:

– Минуту назад вы сказали, что хотели бы сделать что-то стоящее. Вы считаете, что побег – единственный способ добиться этого?

Я заколебался:

– Ну, перейдя к вам, я смогу многое сделать.

– В этом никто не сомневается, – сказал он. – Но подумайте, сколько вы могли бы сделать, если бы оставались на своем месте.

– Что вы имеете в виду?

Он рассказал мне о том, какое возбуждение вызвало в Вашингтоне известие о моем решении сбежать. Все понимали, каким ударом это будет для Советов. И они готовы помочь

мне, если таково мое желание. Но есть и другие идеи. Что если мне остаться еще на какое-то время на посту заместителя Генерального секретаря? Сотрудничая с американцами, я мог бы снабжать их массой информации. Я мог бы помочь им в сборе сведений о советских планах и намерениях, о том, что думает советское руководство.

– Кроме того, – заметил Джонсон, – вам нужно время, чтобы подготовить семью к побегу.

Я почувствовал внутри холодок.

– То есть вы хотите, чтобы я стал шпионом?

– Не совсем, – ответил он и, подумав, продолжал: – Мы бы не назвали это шпионажем. Давайте скажем так: время от времени вы будете вот на таких встречах снабжать нас информацией.

Я не знал, что сказать. Это предложение совершенно обескуражило меня.

– То, о чем вы просите, исключительно опасно, – сказал я наконец. – У меня нет никакой подготовки к таким делам.

Джонсон сделал глоток виски.

– Подумайте об этом, – сказал он спокойно.

Он не угрожал и не настаивал. Но было совершенно ясно, чего он от меня хочет. Но именно к этому я и не был готов. Мне нужно было время, чтобы свыкнуться с этой идеей. И поэтому почти автоматически я сказал, что подумаю.

Этого оказалось на этот раз достаточно. Говорить больше было не о чем. Я поднялся.

– Когда мы могли бы встретиться снова? – спросил Джонсон.

– Лучше всего в следующую пятницу. Я могу как-нибудь связаться с вами, скажем, позвонить?

Он произнес номер, который я должен был заучить. Я повторил его несколько раз, стараясь как следует запомнить. Мы обменялись рукопожатием, и я ушел, чтобы вновь пуститься в путь через Манхэттен на Лонг-Айленд, – на этот раз со смешанным чувством облегчения и страха.

2

На обратном пути к Лонг-Айленду я и думать забыл о том, что меня может преследовать КГБ. Не думал я и о сути нашей беседы. Больше всего меня заботило, какое впечатление я произвел на Джонсона.

Я ругал себя за неуклюжее выражение своих мыслей и чувств. Я оказался не в состоянии точно выразить те наслоения размышлений, чувств и ощущений, которые так долго копились в моей душе. Нет, я явно не Эйнштейн, который мог в одну фразу уложить сложный феномен. Но меня несколько успокаивала мысль, что мы снова встретимся и у меня будет время объяснить ему мои мотивы.

По крайней мере, Джонсон должен понять, что мое решение не имеет никакого отношения к деньгам. Американцы знают о том, что советская элита ведет особый образ жизни, и им, наверное, известно, что я богатый человек и в США, скорее всего, никогда не буду так же богат, как в СССР. Кроме того, я ведь не пытался вступить с ними в сделку, продавая свои знания за деньги.

Затем я начал размышлять над зловещим предложением Джонсона стать шпионом. Сначала эта идея как-то не укладывалась у меня в голове. Уж слишком фантастической она мне казалась. Как и большинство людей, я считал, что шпионаж – это грязная игра, а шпион – малопочтенная профессия. Даже на тех, кто выступил против своего правительства по политическим причинам, часто смотрят скептически. Их заявления представляются неадекватными для объяснения мотивов, которые оказались столь сильны, что оторвали человека от его семьи, страны, его места во вселенной.

А что можно сказать, когда твой соотечественник оказывается шпионом? Единственное обоснование шпионажа – это моральная ценность того дела, ради которого он предпринимается. Но доказать – даже самому себе, – что твое дело достойно этого, – нелегко. Я часто размышлял о том, что доказать неаморальность шпионажа – одна из самых трудных задач.

Чувствуя отвращение к миру шпионажа и обмана, я и думать об этом не хотел. Слишком хорошо понимал я все опасности этого предприятия. Я живо помнил публичный процесс 1963 года над полковником Олегом Пеньковским – после приговора его тут же расстреляли. Шпионов, почти всех без исключения, раньше или позже разоблачали, даже самых лучших, таких, как полковник Рудольф Абель, которого американцы выследили в 50-е годы. Похождения Джеймса Бонда меня никогда не привлекали. И подготовки на сей предмет у меня тоже нет.

Я уже жалел, что сразу же не отверг предложения Джонсона. Зачем я дал ему основания думать, что меня не отвращает эта идея? Мне надо было тут же отказаться, а не говорить, что я подумаю.

Как и многие славяне, я в глубине души фаталист и глубоко суеверный человек. Я поражался, почему в критические минуты самые важные вещи всегда получаются как-то не так. Разрыв с моим правительством был для меня выходом из безнадежности и разочарования. Но я имел в виду открытый разрыв с советской системой, то есть честный поступок. Мне же предлагалась тайная жизнь внутри системы. Разве это не другая форма обмана, от которого я как раз и хотел отказаться? Могу ли я стать шпионом? Смогу ли я продолжать заниматься работой, которую уже много лет ненавижу, и вдобавок взять на себя еще более нежеланное занятие и обречь себя на еще большее одиночество во враждебном лагере? Я был в смятении, и никто не мог помочь мне.

В таком состоянии депрессии, к которому примешивалась и крайняя усталость, я уже за полночь добрался до Глен-Коува.Как я и надеялся, Лина ничего не заподозрила: я часто задерживался допоздна. Она еще и пожалела меня, когда я сказал, что слишком устал и не хочу есть, добраться бы до постели.

И все же я не мог заснуть. В голове кружились вопросы: правильно ли я поступил? Может, я поторопился? Нет. Я должен был покончить со своей двойной внутренней жизнью. Я вновь пересматривал все "за" и "против", вновь и вновь перебирал свои доводы, свои мотивы, изучал структуру своей жизни.

Меня раздирали противоречивые чувства. Я беспокоился за семью. Мысль о том, что я никогда не увижу свою родину, наводила ужас. Я понимал, как трудно мне будет приспособиться к новой жизни, к новой культуре. Но несмотря на все эти тревоги, я смотрел в будущее с надеждой. Я достаточно повидал, чтобы различать светлые и темные стороны американского общества, и для меня светлая сторона была преобладающей. Я достаточно долго выжидал. Если бы я был один и мог бы решать свою судьбу, ни о ком не думая, я давно бы порвал с советской системой. Но я был не один. Мне приходилось принимать в расчет семью: жену (мы поженились, когда мне был 21 год), сына Геннадия и дочь Анну.

Самое трудное было сказать Лине, что я задумал. С первых же дней нашего брака ее сокровенной мечтой было видеть меня в верхнем эшелоне власти в Советском Союзе. Если я предложу ей начать жизнь сначала в стране, которую она не понимает и до которой ей нет дела, она придет в ужас. Но ради нашей общей безопасности я не мог обсуждать с ней свои планы, прежде чем получу одобрение американцев. Она может случайно выдать нас в разговоре. К тому же она может не согласиться со мной и попытаться помешать мне. Она женщина решительная и вполне способна пойти к Громыко или к резиденту КГБ и сказать ему, что я плохо себя чувствую или слишком устал и что хорошо бы нам ненадолго отправиться в Москву. Даже если нас не отошлют домой, это привлечет ко мне их внимание, что было совсем ни к чему.

Но если я смогу убедить ее, что она будет в безопасности и комфорте, у меня были бы шансы уговорить ее присоединиться ко мне. А если Лина будет со мной, я смогу получить и Анну, самого дорогого для меня человечка. Ей скоро придется возвращаться в Москву, чтобы учиться дальше, — в советской школе в Нью-Йорке было всего восемь классов, и исключений не делалось ни для кого, даже для детей высших чиновников.

С Геннадием тоже проблема. Он в Москве, уже взрослый человек. К тому же женат — еще одно осложнение. Я мог бы устроить ему поездку ненадолго в Нью-Йорк. Он уже однажды провел здесь лето, в качестве студента-интерна при ООН. Но я понимал, что у меня нет морального права навязывать ему какие бы то ни было решения, и, если он не захочет уехать из Москвы, я рискую никогда больше не увидеть своего сына.

Но Лина и Анна сейчас в Нью-Йорке, и я должен сделать все, чтобы они остались со мной. Я и помыслить не мог о том, что потеряю их. Лучше еще немного подождать, еще отложить все планы. По моим расчетам, у меня оставалось еще, как минимум, несколько недель перед окончательным разрывом — масса времени.

Атмосфера в Килленворте, как назывался глен-ковский особняк до того, как его купила советская миссия, располагала к размышлениям. В те дни мне просто необходимы были покой и тишина.

На следующее утро после свидания с Джонсоном я был не-

обычайно молчалив. Лину раздражало мое молчание. Я объяснил, что думаю об очень сложных документах, которые надо подписать на следующей неделе, и, вытащив из портфеля кипу бумаг, выложил их на стол. Но мои мысли были далеко от ООН.

Я знал, что уже стал ''дефектором'', перебежчиком. Это слово, столь обычное на Западе, в русском языке не существует. И это не случайно: в современном русском языке есть только два слова для обозначения людей, покинувших Советский Союз – ''предатель'' и ''эмигрант'', и в глазах советских властей это синонимы. Оба применяются для обозначения тех, кто обманул свою родину, советский народ, все дорогое и любимое, а мотивы, по которым они оставили свою страну, никакой роли не играют. Соответственно и у меня были трудности с терминологией. Я чувствовал, что мне нужно порвать с советской системой, с правящим режимом, но я не хотел быть перебежчиком. За этим выражением возникал образ человека, у которого нет отечества. Я же всегда буду любить свою страну и свой народ, частицей которого я себя ощущаю, и я никогда не поверю, что предал их. Я хочу перерезать свои связи с режимом и системой, но не с моими соотечественниками. Как бы довести эти тонкости до Джонсона? Надо будет сделать на это особый упор в следующем разговоре с ним.

Да и диссидентом я не был. Вот еще одно слово, которому трудно найти соответствие в русском языке. Конечно, ''диссент'' в его традиционном значении входит в русский язык, но выражение ''диссидент'' традиционно имело лишь религиозный, а не политический смысл. Недавно оно стало применяться по отношению к инакомыслящим – довольно туманное определение для таких людей, как Сахаров, Солженицын или Буковский. Но я никогда не выступал против моего правительства, как это делали диссиденты. Наоборот, я много лет служил ему верой и правдой.

Тем не менее в глазах других я буду перебежчиком, и я вновь и вновь думал о своей будущей судьбе. Я размышлял также и о судьбах других перебежчиков, особенно тех, кто бежал из СССР. Конечно, я столкнусь с теми же трудностями, что и они.

Я знал, что многие из них были несчастны. У одних произошли семейные трагедии или еще какие-то несчастья, после

которых они начали странно себя вести. Других поджидали материальные трудности, им не удалось заниматься в новой жизни своим прежним делом. Хуже всего пришлось, вероятно, тем, кому так и не поверили, например офицеру КГБ Юрию Носенко или Григорию Беседовскому, бывшему поверенному советского посольства в Париже, который перебежал задолго до второй мировой войны. Я до сих пор не могу понять, почему судьба политических перебежчиков настолько труднее, чем судьба художников и писателей, объяснения которых, почему они порвали со своей страной, всегда принимали на веру. Если ограничение творческой свободы считается достаточным основанием для разрыва с системой, то почему же не верят тем, кто лишен права на честную работу ради своего правительства?

Я хотел по возможности избежать ошибок других перебежчиков – позже я понял, что это не всегда легко. В одном я был уверен: я никогда не соглашусь на жизнь без имени и без прав, где-нибудь в безопасном месте, – к чему менять одну тюрьму на другую? Я могу изменить внешность или имя, но я никогда не изменю своей сущности.

Вначале я думал, что у каждого из перебежчиков были свои причины для такого решения. Одни подвергались в СССР репрессиям или преследованиям, другие чувствовали себя под угрозой, у третьих были еще какие-то проблемы – деньги, женщины, выпивка, у четвертых не ладилось с карьерой или их мучили какие-то неосуществленные амбиции. Были и такие, которые производили впечатление психологически нестабильных, несостоявшихся людей – таким везде плохо.

Но опыт жизни в СССР привел меня к заключению, что у всего этого множества причин был общий знаменатель – советсткая система. Именно она доводила этих людей до отчаяния, ограничивая свободу или вынуждая поступать против собственных убеждений.

Что привело меня к этому решению? Со всех точек зрения оно казалось нелогичным. Никаких оснований ненавидеть или даже просто не любить советскую систему у меня вроде бы не было. Она дала мне все самое лучшее: высокое положение в правящем классе, материальную обеспеченность привилегии и перспективы дальнейшего роста. Как ни взгляни, жизнь моя казалась с виду счастливой и наполненной. По советским по-

нятиям, я достиг всего. Почему же в конце концов я пришел к Джонсону?

Мое детство и юность были для меня временем, когда я сформировался в "нормального здорового советского человека". Я не пострадал в сталинскую эпоху, наоборот, у меня было все, что я только мог пожелать, и до самой смерти моего отца в 1949 году все шло как нельзя лучше. И даже потом было не так уж плохо. Я учился в институте в Москве, и у меня была комната. Я, правда, частенько оказывался без денег, но зато сколько было надежд! Как я был счастлив, когда познакомился с Линой и мы поженились, а потом родился сын. Впереди меня ждало окончание престижного института, дипломатическая карьера, тысячи возможностей.

Случалось, что меня раздражали какие-то стороны советской жизни или возмущали несоответствия между теорией и практикой, между словами и делами. Но всем недостаткам всегда находилось достаточно убедительное объяснение: Советский Союз – страна, где строится счастливое будущее, а новое всегда рождается в борьбе и в ошибках, обусловленных человеческой природой. Я и мои товарищи были приучены думать по схеме, говорить формулами, не задумываясь, не колеблясь, принимать на веру все, чему учила Коммунистическая партия, и все, что она собой олицетворяла. Мои учителя настаивали, чтобы мы были "образцово-показательными", чтобы мы стремились к совершенству, дабы занять подобающее положение, как наши родители, братья и сестры, тети и дяди, друзья и знакомые и многие другие уважаемые члены "нашей многонациональной советской семьи".

Конечно, мы знали: в семье не без урода. Но таких следует воспитывать, направлять на путь истинный, если необходимо – наказывать их. Нам внушали мысль о необходимости расти, подниматься на все более высокие ступеньки, гарантировать себе и своей семье благополучие и надежность. Но об этом нельзя было говорить вслух. Народ считает таких крикунов беспринципными карьеристами, а не "настоящими ленинцами". Истинный коммунист должен вести себя так, как будто его единственная забота – это счастье народных масс.

Как почти все мои друзья и одноклассники, я сформировался на таких уроках. Мы были уверены, что со временем примем руководство страной и будем строить коммунизм. Моя жена, мои друзья и коллеги – все мы были единодушны

в том, что человек должен иметь то, что ему положено. И я тоже жил соответственно этим правилам.

Зубрежка до изнеможения в институте. Бесконечные, скучные и бесполезные комсомольские собрания. Но я неукоснительно выполнял все свои обязанности. Это вело меня наверх, к элите среднего класса, из которого я вышел, и это было вехой на пути к более смелым мечтам. Я прорвался. Но путь этот высушил мою совесть и честность – вот так же термиты, напав на зеленое дерево, оставляют от него одну труху.

Разоблачение Сталина в секретном докладе Хрущева на XX съезде партии в 1956 году глубоко ранило меня, едва не разрушив мою веру в советскую систему. Я оказался на распутье. Все, что было для меня священно – гений Сталина, мудрость и безошибочность партии, ее правота, ее забота о судьбах народа и страны, – все это оказалось ложью. Нам казалось, что мир перевернулся вверх ногами. Жестокости, совершенные при Сталине, понять было трудно. Еще труднее было объяснить их.

Нас всех заверили, что виновник найден и наказан и что такое больше никогда не повторится. Потом Хрущев немного ослабил поводья как в быту, так и в литературе и искусстве, и пообещал народу золотой век. Ошеломленный и сбитый с толку всем происшедшим, народ схватился за его обещание, как утопающий за соломинку. Началась "оттепель". Порыв свежего воздуха проник не только во внутреннюю политику страны, но и во внешнюю. И все же я так и не смог получить точного и ясного представления о том, почему, в силу каких причин мог возникнуть сталинизм. Хрущев так и не обнародовал данные о масштабах террора, а уж тем более факты о том, что ответственность за террор несла и партия и вся советская система. Это не означает, что я не пробовал найти объяснение. Но время шло, энтузиазм юности увял, повседневная жизнь отодвинула мысли на эту тему на задний план.

Я верил в Хрущева. С этой верой я пришел в 1956 году в Министерство иностранных дел. Меня привлекло туда начало прогресса в переговорах о разоружении. Хрущев, с которым мне удалось познакомиться и работать, казался человеком, а не богом, как Сталин. Все это я воспринимал как знак надежды.

Потом, в том же году, советские танки подавили свободу Венгрии. Но тогда мы не считали, что в этом виноват Хрущев.

Ведь в Политбюро все еще занимали ведущие места Молотов, Маленков и Каганович. В 1957 году Хрущев вышвырнул их оттуда. Вот теперь, думал я, он поведет нас к лучшей жизни, к позитивным переменам. Может, не так быстро и не так прямо, как хотелось бы, но ведь не сразу Москва строилась.

Меня тянуло к другому миру, о котором я узнавал из книг и газет, из лекций в институте, от людей, побывавших там. Запад был для меня такой же загадкой, как СССР – для американцев. Судя по тому, что я мог разузнать, Запад представлялся разом привлекательным и отталкивающим, процветающим и загнивающим. Я увидел его своими глазами в 1958 году, когда провел несколько недель в Нью-Йорке. Больше всего поразила меня открытость американского общества. Это было очевидно даже при том, что все время пребывания в Америке я находился под строгим наблюдением КГБ. Я много читал и слышал об американской свободе, коечему верил, кое в чем сомневался. Дома, в СССР, все было полной противоположностью тому, что я увидел в США. Все под замком в самом прямом смысле этого слова – рты, газеты, телевидение, литература, искусство, путешествия за границу. Нам приходилось скрывать свои мысли, если они отличались от официальной точки зрения. Хрущев только ослабил поводья, не более.

Поднимаясь по дипломатической лестнице и приобретая жизненный опыт, я более четко постигал советское общество, функционирование бюрократического аппарата и жизнь элиты. Из осколков фактов, из сообщений о происходящем в Министерстве иностранных дел о наших внешнеполитических акциях, и о том, что стояло за ними, начала складываться полная картина, и я все более ясно проникал в ее суть.

Но многое все же оставалось в тумане. Кубинская авантюра, Берлинская стена, пропагандистские кампании вокруг разоружения вместо переговоров, экономический хаос в стране, невыполненные обещания, возрождение "культа личности" – на этот раз Никиты Хрущева, – "оттепель", которая оказалась ложной весной, – все это вело к разочарованию, к потере веры.

Так я стал частью того слоя общества, члены которого делают вид, будто борются против того, чего на самом деле добиваются. Они критикуют буржуазный образ жизни – а сами только о нем и мечтают; они осуждают потребительство как

проявление обывательской психологии, как следствие тлетворного влияния Запада, а сами больше всего на свете ценят товары и блага Запада. Я тоже не устоял. Пропасть между тем, что говорилось, и тем, что делалось, была угнетающей, но еще больше угнетало меня то, что мне самому приходилось работать для расширения этого разрыва. Я старался запоминать все, что когда-либо говорил, и все, что говорили мне другие, потому что от этого в колоссальной степени зависели мой успех и процветание. Я делал вид, будто верю в то, во что не верил, я притворялся, будто ставлю интересы партии и общества превыше своих собственных, тогда как на деле все было наоборот. После многих лет такой жизни я начал видеть в своем зеркальце для бритья подлинный портрет Дориана Грея.

Я улыбался и лицемерил не только в общественных местах, на партийных собраниях, при встречах со знакомыми, но даже в своей семье, даже наедине с собой. Любому политику или дипломату приходится в той или иной мере притворяться ради общего дела или интересов своей страны – иногда вовсе не во имя благородных целей. Но притворяться во всем, всегда и везде, утратив веру в то, что делаешь, – не всякий способен это вынести. Это все равно, как если бы глубоко верующий человек жил среди воинствующих атеистов, которые не только заставляли бы отрицать Бога, но и бесконечно проклинать Его и Священное писание.

Не все мои коллеги сумели выстоять в этой жизни. Одни вовсе оставили политику, другие стали таксистами или спились, третьи сошли с ума, четвертые покончили с собой.

Но большинство просто отбросили все укоры совести и жили, как могли, с заскорузлыми остатками былой честности. Они стали закоренелыми циниками, которые перестали отличать добро от зла, целиком посвятили себя своим карьерам ради собственной выгоды и верно служат сохранению диктатуры элиты, к которой они сами теперь принадлежат.

Но и те, кто колебался, тоже продолжают служить советской системе, храня свои сомнения про себя и ведя двойную жизнь. На это есть множество причин: страх повредить семье, гипертрофированная привязанность к стране и неуверенность в том, что существуют какие-либо лучшие возможности. Я относился к этой группе. Для того чтобы оставаться членом высшего класса, мало лгать и притворяться. Нужно бороться за выживание – а не то тебя вышвырнут прочь. Проведя дол-

гие годы среди элиты, я получил полное представление о ее продажности и грубости. Жизнь в ней невероятно уродлива. Она толкает человека даже на личные предательства. Для элиты они становятся неотъемлемой частью жизни. Подозрительность и интриги достигли уровня высокого искусства. Будь Макиавелли сегодня жив и живи он в Москве, – он был бы студентом, а не профессором.

Однако в 60-е годы, после разочарования в Хрущеве и его падения, во мне возродилась слабая надежда. К власти пришло новое руководство. Тогда я не знал человека, который занял пост в Кремле, и я вновь подумал, что возможны позитивные перемены. В это же время в моей жизни появилось кое-что новое. Работая в Нью-Йорке, в Советской миссии при ООН, я ближе познакомился с американцами. В эти несколько лет у меня было множество возможностей сравнивать две разные системы и два разных образа жизни. Меня поражали многие вещи, которые американцам кажутся совершенно естественными. Я завидовал их свободе думать, говорить и писать, их свободе действовать и работать. Я мечтал о том, чтобы работать, вкладывая в свое дело всю душу. И я начинал понимать, что в моей стране у меня никогда не будет такой возможности.

Я не идеализировал американское общество – я видел его недостатки и понимал, что для многих эмигрантов жизнь здесь оказалась трудной и горькой. Но положительные аспекты этого мускулистого, открытого общества перевешивали отрицательные. Никакого сравнения с СССР даже и быть не могло. Я знал, что не один думаю так. Теми же чувствами делились со мной некоторые из моих близких друзей. И порой в беседах с молодыми дипломатами, недавно кончившими мой институт, слушая их рассуждения, я испытывал чувство, которое французы называют déja vu – так же размышлял и я когда-то в молодости.

И все же тогда я еще не утратил окончательно веру в советскую систему и не думал о том, чтобы остаться на Западе, но мои еретические мысли подрывали уверенность в том, что советский образ жизни – самый лучший. В моем сознании появились трещины, как на поверхности замерзшего пруда, они становились все больше и больше, но лед еще держался.

Два события оказали решающее влияние на мое решение остаться на Западе, и, как ни странно, это были продвижения

по службе. В 1970 году Громыко назначил меня своим личным советником по политическим делам. До сих пор я был только зрителем в сферах высокой политики. Теперь я обнаружил, что происходит за кулисами, как на самом деле работает система и каковы ее неписаные законы. Я увидел советских руководителей не такими, какими они хотели бы выглядеть, а какими они были в действительности.

Я сидел за одним столом с Брежневым, Громыко и другими членами Политбюро, и я многое узнал о тех, кто хозяйничает в СССР. Я видел, с какой легкостью они называли черное белым и как легко выворачивали слова наизнанку. Я понял, что лицемерие и коррупция проникли в самые затаенные уголки их жизни, увидел, как оторваны они от народа, которым правят.

Например, Громыко почти сорок лет не ступал на московскую улицу. Да и другие не слишком отличались от него. В позолоченных затхлых и тихих кремлевских коридорах воздвигнут музей – музей идей, видимых, но окаменевших, как муха в янтаре. Те, кто сделал свою карьеру, оберегая эти реликвии, пытаются заставить советский народ поверить в социальную систему, основанную на утопии. Для них неуклонное использование марксистско-ленинской философии всегда было главным основанием для сосредоточения власти в своих руках. Правда, некоторые из них, такие как покойный Михаил Суслов или Борис Пономарев, действительно верили в советские догмы, для них идеологическая доктрина была не просто пустым словом и прикрытием собственных интересов. Но Брежнев и некоторые его коллеги, хорошо понимая значение идеологии, едва ли могли понять "Капитал" Маркса или "Материализм и эмпириокритицизм" Ленина.

Кремль – это последнее место на земле, где можно надеяться найти откровенность, честность и прямоту. Фальшивость этих людей распространяется на все – от их личной жизни до их крупных политических проектов. Я видел, как они играли с разрядкой. Я видел, как они в беспрецедентных масштабах наращивали военный потенциал, далеко превосходящий нужды обороны и безопасности. И все это за счет советского народа. Я слышал, как они в циничных шутках выражали готовность подавить свободу своих союзников. Я был свидетелем их двуличности в отношениях с теми, кто проводит советскую линию на Западе или в"третьем мире";они не гну-

шались ничем, даже участием в заговорах с целью убийства "неподходящих" политических фигур в этих странах. Они жаждут гегемонии, и они заражены той самой империалистической болезнью, в которой обвиняют других – прежде всего они стремятся расширить свои зоны влияния в мире, а во-вторых, найти способы удовлетворить свою неуемную страсть к экспансии.

Несмотря на широко разрекламированные программы по повышению жизненного уровня народа, советские экономисты в частном порядке признают, что пропасть в потреблении между Советским Союзом и Западом, которая сузилась в 60-е годы при Хрущеве, при Леониде Брежневе расширилась вновь. Единственное, чего достигли эти доморощенные политики, это "сверхубийственного" ядерного потенциала – но его на стол не положишь.

Для меня годы работы с Громыко были во многих отношениях так же поучительны, как разоблачения Хрущевым Сталина. Но после моего назначения заместителем Генерального секретаря ООН в 1973 году мои представления о советской системе утратили какие бы то ни было черты идеализации. До сих пор, когда я работал в США, моя должность была самым непосредственным образом связана с защитой советских интересов, и я общался в основном с моими соотечественниками. Теперь же я стал частью секретариата Организации Объединенных Наций, которая функционирует по принципам, в корне отличным от принципов советской системы. Несмотря на все слабости и недостатки ООН и вопреки тому, что мое правительство рассматривало меня скорее как советского посланника, чем как чиновника международного класса, работа в секретариате расширила мой философский кругозор. Разительный контраст между двумя системами был для меня так же ясен, как если бы я читал чертеж архитектора

Многие особенности советского режима широко известны. Но я наконец понял, что та сила, которой поклоняются кремлевские вожди, есть их собственная власть, позволяющая удовлетворять любые их потребности и стремления. Эти потребности безграничны – от приобретения иностранных автомобилей до заглатывания целых наций за пределами советского блока.

Старцы из брежневского Политбюро установили во внутренней политике консервативную модель. Они боятся пере-

мен или новых идей и ни за что не потерпят их. Им нравится без конца повторять знакомые лозунги — это так успокаивает нервы. Мне постепенно становилось ясно, что советская система, по крайней мере в самых существенных своих элементах , не изменится в обозримом будущем. Элита не позволит ничего, что подорвало бы ее власть, и у нее достаточно силы, чтобы предупредить всяческую оппозицию. Не исключено, что новые советские руководители, взращенные Брежневым и его коллегами в качестве преемников, принесут с собой новый стиль и темп, какие-нибудь реформы, но вряд ли они осуществят какие-либо значительные изменения в самой системе.

Тщеславие Брежнева было поистине гаргантюанским, и он с радостью подкармливал свой "культ личности". Многим было отвратительно его нескромное поведение, регалии и почести, которыми он сам себя награждал: в любви к славословию, орденам и почетным должностям он превзошел даже Хрущева. Меж тем его лизоблюды без тени смущения называли его "великим тружеником", "легендарным человеком", хотя всем было очевидно, что он человек весьма ограниченных способностей и ума. Мне вспомнилась в связи с этим известная поправка Маркса к Гегелю. Гегель говорил, что все великие события в истории случаются дважды. Но, добавил Маркс, первый раз — как трагедия, второй — как фарс. То же происходит и с великими личностями. Я уверен, что именно это второе определение история приберегла для Брежнева и его окружения.

Так, размышляя над советской действительностью, я пришел к тому, что мне как бы не оставалось в ней места. Стремиться к новым благам становилось скучно. Надеяться, что, поднявшись еще выше, я смогу сделать что-нибудь полезное, было бессмысленным. А перспектива жить внутренним диссидентом, внешне сохраняя все признаки послушного бюрократа, была ужасна. В будущем меня ожидала борьба с прочими членами элиты за большой кусок пирога, постоянная слежка КГБ и беспрестанная партийная возня. Приблизившись к вершине успеха и влияния, я обнаружил там пустыню. Продолжая служить советскому режиму, я буду помогать развитию всего того, что ненавижу.

Я думал о том, чтобы уйти в отставку, присоединиться к настоящим диссидентам и бороться с режимом внутри стра-

ны. Но я понимал, что в таком случае я проведу остаток жизни в тюрьме или "психушке" и ничего не добьюсь, кроме раздражения властей. Я слишком много знал, чтобы правительство оставило меня на свободе на родине или выслало бы на Запад.

По советским стандартам, я был молод, но ведь мне уже перевалило за сорок. Я не смогу проявить такую же гибкость, как какой-нибудь молодой иммигрант, быстро схватывающий нюансы американской жизни и приспосабливающийся к ним. А с другой стороны, родину покидали люди старше меня, и многие освоились с новой жизнью. Я надеялся, что и я сумею сделать это.

Постепенно мной овладело чувство беспокойства. Я уже жалел, что для разрыва с Советами выбрал такой путь. Может быть, мне надо было прямо изложить свои намерения американскому послу в ООН Джону Скали. Я довольно хорошо знал его и был уверен, что он не предложил бы мне стать шпионом. Скали никак нельзя было назвать другом СССР, хотя во всех беседах, свидетелем которых я был, он неизменно придерживался дипломатического такта.

Советский посол того периода Яков Малик, в свою очередь, отвечал Скали взаимной нелюбовью и за глаза называл его "американским Гиммлером", усматривая внешнее сходство между Скали и шефом гестапо. Сам я этого сходства не замечал, но Малик твердил об этом всем советским работникам ООН и без конца повторял, что наше счастье, что у Скали руки связаны, — "иначе этот дьявол с наслаждением свернул бы нам шею". Но независимо от чувств Скали к Малику я был на девяносто процентов уверен, что он согласился бы помочь мне. Я уже почти решился пойти к нему, а Джонсону сказать, чтобы он забыл о нашем разговоре. Но после некоторого раздумья понял, что все это не так просто. Даже если бы я с самого начала обратился к Скали, все равно в дело непременно оказалось бы замешано ЦРУ. И они все равно могли бы попробовать уговорить меня стать шпионом, так что я в любом случае оказался бы перед той же дилеммой.

Обдумав ситуацию, я пришел к выводу, что откажусь от предложения Джонсона. Перспектива жить в аду интриг, хотя бы и недолго, меня никак не устраивала. И честно говоря, я попросту боялся. Я скажу Джонсону, что я искренне хочу бежать, что мне это позарез нужно, но шпионом я не буду. Ес-

ли они откажутся принять меня на таких условиях, я просто буду продолжать свою работу в качестве заместителя Генерального секретаря ООН и попытаюсь приискать другую страну, которая примет меня без всяких условий.

Потом мне в голову пришла ужасная мысль: на самом деле у меня уже нет выбора. Если они захотят, они могут заставить меня шпионить. КГБ не раз предупреждал советских дипломатов, что если мы отклонимся от предначертанных правил, то ЦРУ или ФБР не упустит случая записать все наши нарушения на пленку или сфотографировать их. Может, это и правда, почем мне знать. А если это так, то американцы вполне могут доказать, что я предатель. Они могут шантажировать меня. Я знал, что в мире шпионажа свои правила, и подозревал, что вряд ли КГБ держит монополию на безжалостность.

Я понял, что попал в ловушку.

3

Вся следующая неделя прошла в смятении. Я бросался от одного решения к другому. К собственному удивлению, я понемногу начинал склоняться к предложению Джонсона. Будь я на его месте, я бы тоже сделал все, чтобы использовать его для проникновения в советский мир на высшем уровне. Но если это допущение казалось логичным и естественным в процессе абстрактных размышлений, то в реальности мне все же не улыбалась перспектива стать шпионом.

Однако чем больше я размышлял над этой идеей, тем больше положительных сторон я в ней находил. Я выиграю время для подготовки, и это даст мне возможность убедить Лину встать на мою точку зрения. Мы сможем лучше подготовиться к практической стороне жизни в Америке, привезя из Москвы любимые вещи. Кроме того, думал я, немного поработать на американцев – это наилучший способ рассеять все возможные сомнения насчет моей честности и откровенности. Конечно, американцы могут предоставить мне политическое убежище, но я понимал, что при этом они не берут на себя никаких дальнейших обязательств, а мне ведь на довольно долгое время понадобится их защита и помощь в устройстве. Расспросив и выслушав меня, они могут меня выбросить, как выжатый лимон. Я все же рассчитывал на более благоприятный исход.

Я решил показать себя не на словах, а на деле. В конце концов, я ведь с самого начала хотел помочь США информацией о тайнах советского режима. Выступая против него, я помог бы Западу. Сейчас мне предоставлялась возможность сделать это наилучшим образом.

На первый взгляд, организация встречи с Джонсоном казалась делом нехитрым, но когда настала пора позвонить и подтвердить ее, возникли непредвиденные трудности. Я не мог звонить из дому, из Миссии, из кабинета в ООН: все эти линии прослушивались. Я мог бы воспользоваться телефоном-автоматом, но боялся рисковать. Меня мог увидеть какой-нибудь советский чиновник, и его удивило бы, почему я не звоню из кабинета.

В пятницу утром, сидя на заседании комитета ООН, я вполуха слушал дипломатическую болтовню. Мысли мои были заняты другим. Наконец, я вспомнил, что для удобства делегатов в ООН на главном этаже были установлены телефоны. Даже если они прослушиваются, я буду говорить недолго, постараюсь изменить голос. Когда объявили перерыв, я вместе с другими прошел в северную залу для делегатов. В этом огромном зале с баром и удобными креслами, где дипломаты любят вести серьезные беседы и просто болтать во время рабочего дня, установлены телефоны. И никому не покажется странным, если я отойду позвонить в свой офис, справиться, нет ли каких-нибудь дел. И все же я не мог отделаться от беспокойства, которое все нарастало по мере того, как я приближался к телефонам. Все аппараты были заняты, и мне пришлось бы ждать.

Я решил попытать счастья в другом месте, в коридоре за подиумом Генеральной Ассамблеи. Там нет бара, и потому не так много народу. Два телефона стояли на отдельных столиках на расстоянии двух метров друг от друга. По одному говорил человек с сильным испанским акцентом. Кубинец? Может, он узнал меня? Я нерешительно постоял минуту, потом – как в воду нырнул – снял трубку. После второго звонка ответил женский голос.

– Это Энди, – сказал я. – Буду вовремя.

– Хорошо, – спокойно ответила она, – я ему передам.

Я повесил трубку. Латиноамериканец – так я, по крайней мере, его определил, – был все еще поглощен разговором. Если он и заметил меня, то ничем это не выдал. Но для пущей перестраховки я позвонил в свой офис.

День шел как обычно, но моя подозрительность окрашивала все события определенным образом. Ни с того, ни с сего ко мне зашел один из моих советских заместителей: он хотел пораньше уйти с работы, чтобы продлить свой уикенд на пару часов. Наверное, он был очень удивлен тем, как быстро я дал ему разрешение, но мне хотелось одного – поскорее от него избавиться.

Свидание с Джонсоном должно было состояться между восьмью и десятью часами вечера. Покончив с домашним ужином около восьми, я предложил Лине пойти прогуляться. Я мог не опасаться, что она согласится: Лина любила гулять только за городом. В городе она ходила лишь по делу – в магазины. Она любила покупать – я же глазеть по сторонам. В тот вечер, как я и рассчитывал, она предпочла остаться дома.

Выйдя на улицу, я попытался придать себе вид обычного пешехода. Разглядывая витрины, я делал вид, что меня интересует мужская одежда, при этом мысли мои были лишь о том, как бы ускользнуть от возможной слежки. Через несколько кварталов от Третьей авеню я зашел в гастроном, в котором часто бывал, купил коробку хлебцев и минеральной воды. Теперь я шел с пакетом. Уверенный, что за мной никто не следит, я тем не менее миновал улочку, где ждал меня Джонсон, свернул в другой переулок, вышел на Лексингтон авеню и только после этого, повернув назад к Третьей, быстро зашагал к знакомому дому. Хорошо, что здесь много деревьев, думал я, – меня за ними не видно. Но, с другой стороны, за ними не видно и сотрудника КГБ, если он за мной следит...

Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем Джонсон открыл дверь.

– Приятно вас видеть, – сказал он, закрывая за мной. – Все в порядке?

– И да, и нет, – ответил я. – Мне кажется, меня никто не видел, но я не уверен в этом.

Джонсон посоветовал мне успокоиться и повел к лифту в глубину холла, к старому деревянному механизму, который с грохотом доставил нас на второй этаж. Войдя в библиотеку, я заметил, что Джонсон сегодня одет совсем по-другому: вместо темного делового костюма на нем была обычная одежда, ворот рубашки расстегнут. Сдержанный и официальный на прошлой неделе, сейчас он держался непринужденно и располагающе.

Глядя на него, я несколько пришел в себя и с удовольствием согласился на его предложение называть друг друга по имени. Мне нравится этот американский обычай, который в России в ходу только между близкими друзьями или родственниками. Мы сели, и я стал ждать, когда же он задаст мне вопрос, над которым я думал всю эту неделю, и все еще не был уверен, как ответить на него.

Вместо этого Джонсон осведомился, как я себя чувствую. Я признался, что очень устал, у меня большая нагрузка в ООН, а в последнее время и в Миссии особенно много работы. Джонсон выразил мне сочувствие и поинтересовался, делаю ли я зарядку и каковы мои планы на отпуск.

Почему он не переходит к делу?

С легким раздражением я ответил, что у меня были недавно короткие каникулы, что заседания в Совете Безопасности довольно утомительны и я устал.

– Кроме того, – добавил я, – я не перестаю думать о нашем последнем разговоре.

– И что же вы думали? – спросил он.

Я начал расспрашивать Джонсона о подробностях его предложения и выразил сомнение, что смогу делать то, что он хочет. Я подчеркнул, что никогда не имел отношения к КГБ, не знаю их приемов, у меня нет подготовки. Не исключено, что меня могут поймать, прежде чем я приступлю к делу. Я надеялся, что он "снимет меня с крючка". Он этого не сделал.

В свою очередь он сказал, что в Вашингтоне знают, что у меня нет связей в КГБ и что его правительство верит в мою искренность. Это было именно то, что я хотел услышать. Во всем остальном они могут заблуждаться на мой счет, но вот здесь ошибка была бы слишком опасна.

– Но мне кажется, вы преувеличиваете, – продолжал он. – У вас слишком живое воображение.

Он подчеркнул, что американцы не собираются использовать меня в опасных операциях и они не хотят, чтобы я следил за кем-либо или выкрадывал документы для фотосъемки. Они никогда не предложат мне работу, связанную с трюками, о которых читаешь в шпионских романах, – со всякими секретными каплями и прочими фантастическими штуками. Они хотят получать только ту информацию, к которой я имею доступ, а именно: знать о политических маневрах, политических решениях и о том, как принимаются эти решения. Они будут

рады любому материалу, который я смогу предоставить им на основе моего опыта, контактов, работы.

– Вы тесно сотрудничали с Громыко и многими другими. Вы знаете, о чем они думают и что происходит за кулисами в Москве и здесь в Миссии. Вы можете помочь нам понять, что такое советская политика, как она делается и кто ее делает.

Я возразил, что я и без того собирался предоставить эту информацию специалистам из американского правительства, так что нет никакой необходимости оставаться дальше на моем посту для этой цели.

Джонсон перебил меня:

– Подождите, дайте мне кончить. Тут есть и другая сторона: ваши собственные мотивы. На прошлой неделе вы уверяли меня, что в вашем решении нет ничего скоропалительного или эгоистического. Если бы вы стремились к богатству и безопасности, вы остались бы в своей стране, но если вы действительно хотите бороться против режима, мы можем помочь вам сделать это наилучшим образом.

Я ответил Джонсону, что в моем положении в Нью-Йорке есть свои плюсы и минусы. Я мог ходить куда угодно и встречаться с кем угодно, не спрашивая разрешения, но это делало меня более уязвимым. КГБ приходилось наблюдать за мной, поскольку он отвечал за мою безопасность. Хотя агенты не могут ограничить мои маршруты и действия, они всегда начеку, поскольку их главное качество – инстинктивное недоверие. Я сказал, что считаю наши регулярные встречи невозможными, потому что непонятно, как отделаться от агентов КГБ, охраняющих меня.

Джонсон почувствовал, что мое беспокойство не выдумано, и попытался успокоить меня, повторяя, что не хочет, чтобы я рисковал зря. Он подчеркнул, что нет необходимости устанавливать точное расписание наших встреч или контактов и что я могу звонить с любого телефона. Кроме того, он заверил меня, что мне не придется менять мои привычки, вступив на путь сотрудничества с американцами.

Кое в чем он меня убедил, но не в главном. Даже точно зная, что нахожусь под наблюдением, я не мог установить, кто именно за мной следит. Я и сегодня не имел понятия, не выследили ли меня. Потому вопрос, который я задал Джонсону, был для меня чрезвычайно важен. Я спросил, нет ли у него людей, которые могли бы точно установить, не проявляет ли КГБ к моим действиям и маршрутам особого интереса.

Он обещал тут же все организовать и сказал, что немедленно даст мне знать, если будут какие-либо тревожные симптомы, а также заверил, что при необходимости американцы вмешаются в дело.

Я был благодарен Джонсону за это, но все же я понимал, что всякий раз, входя в Миссию, я буду вспоминать, что здесь меня могут задержать и отправить самолетом прямо в Москву. Совсем недавно я видел, как отправили из Нью-Йорка незначительного дипломата, шансов спастись у него не было. Это был чиновник Миссии, арестованный нью-йоркской полицией за то, что он вел машину в пьяном виде и поругался с водителем автобуса. Он утверждал, пытаясь защититься, что его арест — это провокация, что американцы использовали этот инцидент, чтобы попробовать завербовать его. Уж не знаю, поверили ему или нет, но как только его освободила городская полиция, он тут же оказался под арестом в Миссии и был отправлен домой ближайшим рейсом Аэрофлота.

Я рассказал Джонсону этот эпизод, достаточно банальный по сравнению с тем, что мне приходилось видеть, чтобы подтвердить свое беспокойство: ведь нечто похожее может случиться и со мной.

— Я почти каждый день хожу в Миссию. Стоит мне оказаться там — и ни одно правительство в мире не сможет меня оттуда вызволить, если меня задержат. Сотрудники Миссии и КГБ могут придумать любой предлог для того, чтобы задержать меня там или отправить в Москву. Внезапный инфаркт, инсульт, все что угодно. Они без конца используют такие предлоги.

— Но кое-что мы все-таки можем сделать, — настаивал Джонсон.

Он сказал, что сомневается, что меня могут убить в Миссии, что я слишком известная фигура, чтобы так рисковать. Моя жена подымет скандал, ООН будет задавать вопросы.

Мне пришлось согласиться с доводами Джонсона. Я знал, что советские не любят, когда такие вещи становятся известны.

— Если они попытаются увезти вас назад, в Союз, им придется проделать это через аэропорт Кеннеди, — продолжал Джонсон. — Тут мы можем вмешаться, чтобы убедиться, что вы улетаете по собственной воле. — И добавил, что я всегда должен сообщать о своих поездках, особенно если еду в аэропорт Кеннеди.

Я ответил, что езжу туда довольно часто – встречать делегации или важных гостей или просто друзей. Джонсон повторил, что они хотели бы всегда заранее знать об этом, если, конечно, это возможно. Американские агенты обычно наблюдают за этими рейсами, и они получат особые инструкции на мой счет. Если я появлюсь там неожиданно, возникнет тревога.

– Если это случится и вам будет нужна наша помощь, сделайте какой-нибудь знак, например, поднимите правую руку, – сказал он.

Джонсон очень по-деловому обсуждал эту возможность. Тем не менее я живо представил себе, как группа кегебешников ведет меня, напичканного всякими транквилизаторами, по аэропорту. Какой уж тут знак... Однако я постарался сдержать свою фантазию, а он продолжал:

– Кроме того, мы поднимем тревогу, если вы задержитесь в Миссии дольше обычного. Но нам нужно будет срочно связаться с вами. У вас есть американский врач, у которого вы регулярно бываете?

У меня был зубной врач, но к нему чаще ходила жена. В 60-е годы, работая в Нью-Йорке, я несколько раз бывал у кожника. Я назвал Джонсону его имя.

– Ничего необычного не будет, если он позвонит вам, чтобы вы пришли на осмотр?

– Нет, он и раньше это делал, чтобы напомнить мне о приеме, – ответил я. – Моя секретарша знает, что он мой врач.

– Прекрасно. Если вам передадут, что он звонил, немедленно позвоните мне. Это хороший способ предупредить вас, если что-нибудь не так.

По всему поведению моего собеседника было ясно, что он не сомневается в том, что я принял предложение американцев. Он был прав. Ведь я не сопротивлялся, не возражал. Вероятно, Джонсон понимал, что положение мое безвыходно.

– Вот что, – продолжал он, – почему бы вам не попробовать заняться этим ненадолго? Я уверен, что вы это сможете. Вот увидите, это проще, чем вам кажется. И не беспокойтесь, мы вас не дадим в обиду. – Он помолчал. – Ну как, идет?

– Идет. Но ненадолго.

– Отлично. – Он улыбнулся и повторил свой совет ничего не менять в моих привычках. – Пока все идет, как прежде, вы ни у кого не вызовете подозрений.

Я взглянул на часы: было около десяти. Мы условились встретиться через две недели, во вторник, если в ООН не возникнет чего-либо непредвиденного. Чтобы изменить расписание, Джонсон предложил встретиться днем. Я пообещал в понедельник подтвердить по телефону, что приду, но добавил, что если что-то помешает мне, то пусть он ждет меня в среду, около двенадцати.

Мы так много говорили о деталях, что совсем забыли о сути: какого рода информацию от меня ждут?

Джонсон сказал, что я сам лучше всех могу судить, что важно и сколько времени следует посвятить тому или иному предмету, но, конечно, полезно все же выработать план действий. Он предложил начать с недавних телефонограмм, полученных в Миссии, выяснить день, время отправки и по возможности полный текст.

Я был поражен: как это – полный текст? Только что он успокаивал меня, рассуждал о моей безопасности, преуменьшая опасности, с которыми я мог столкнуться, и тут же предлагает мне рисковать головой. Скопировать в Советской миссии закодированную телефонограмму – равносильно тому, чтобы выдать себя с головой.

– Я не могу это сделать. Нам не разрешается делать даже краткие записи того, что мы читаем в комнате, куда приходят шифрованные сообщения, даже суть законспектировать. А вы говорили, что мне не придется делать фотографии или выносить компрометирующие материалы.

Он тут же ответил, что они и не ждут от меня полных копий, а достаточно и того, что я могу запомнить из важных сообщений.

Мне не хотелось, чтобы Джонсон слишком многого ожидал от телефонограмм, приходящих в Миссию, и я объяснил ему ограниченность информации, которую там получают. Он заверил меня, что я не должен сосредоточиваться на любой информации.

– Интересные вещи вы почувствуете, – сказал он. – Конечно, поначалу вам может быть трудно определять, что наиболее интересно для Вашингтона. Что-нибудь, что покажется вам совершенно незначительным и повседневным, может представлять для нас совершенную новость. Вы должны попытаться прочитать материал так, как если бы видели его в первый раз. Должны попробовать представить себе его цен-

ность для постороннего человека, не обладающего ни вашим опытом, ни вашими знаниями.

Джонсон особенно просил обратить внимание на детали, на новые оттенки, которые могли бы означать изменения в политике, или указывать на дебаты по определенным вопросам. Наверное, у меня был весьма скептический вид, потому что он заверил меня, что хотя сейчас мне это трудно представить, но через какое-то время все пойдет своим путем и что все мои страхи окажутся плодом воображения, не имеющим ничего общего с реальностью.

Дома меня ждала Лина – она не спала, но не проявила никакого интереса к моей "прогулке". Я что-то пробурчал насчет того, что хочу пить, налил себе стакан минеральной воды и устроился в кресле, делая вид, что читаю. Однако мысленно я все еще беседовал с Джонсоном.

В начале нашего разговора я еще не знал, чем он кончится. Но сейчас, когда решение было принято, я чувствовал ужасное возбуждение. Я заключал эту сделку с американцами, чтобы заслужить свою свободу и заручиться их поддержкой в борьбе против советского режима. Но мне не терпелось начать новую жизнь, и я больше всего хотел, чтобы этот промежуточный период поскорее кончился.

В тот момент я не понимал, что упустил очень важную вещь: я не поставил никаких временных пределов своей тайной службе. Я вошел в мир шпионажа без определенных временных границ, и мне казалось, что за несколько месяцев мне удастся доказать мою искренность. Но мне предстояли годы тревог. И опасности, которые я даже не мог себе представить, стали моими постоянными спутниками на все это время.

4

В следующий понедельник я должен был явиться в Миссию на обычную встречу сотрудников, которая проводилась в 9 часов утра. Яков Малик любил эти сборища, даже если никаких дел не было. Это была бюрократическая рутина, которую он усвоил еще много лет назад, при Сталине: тот собирал своих помощников, чтобы просто поглядеть им в глаза.

Заметит ли Малик во мне перемену? Бреясь, я изучал свое лицо в зеркале, но все казалось обычным. Я, как всегда,

прошел пешком два квартала от дома до Миссии, где американские полицейские у дверей приветливо поздоровались со мной.

Советские охранники за своей пуленепробиваемой стеклянной дверью внутри здания тоже улыбнулись мне, нажимая на кнопку, открывающую внутреннюю дверь. Но я едва ответил на их приветствие. Поднимаясь на лифте на шестой этаж с другими пассажирами, я чувствовал себя не в своей тарелке.

Входя в кабинет Малика, я представлял себе, как некие невидимые рентгеновские установки вот-вот поднимут тревогу, возвещая всем, что Шевченко заделался американским шпионом.

Кабинет Малика – это комната, построенная по особому проекту, с двойными стенами, в которые были вделаны специальные устройства, из которых постоянно доносилась тихая музыка. Эта звуконепроницаемая берлога была особой гордостью умельцев из КГБ, но у нее был существенный недостаток: плохая вентиляция. Если в кабинет Малика набивалось много народу, то через некоторое время в нем становилось буквально нечем дышать. Однако Малику, очевидно, воздуха было достаточно. Собрания в "камере пыток", как прозвали этот кабинет, затягивались на долгие часы.

Когда я вошел, здесь уже толпились сотрудники Малика. Я пожимал руки, здоровался. Все как обычно. Заняв место за массивным столом, продолжением письменного стола Малика, я попытался унять нервы, склонившись над газетой и делая вид, будто читаю. В комнату вошел Малик, сел в кресло.

Я никогда не любил Якова Малика. После того как он в 1968 году сменил Федоренко, я два года работал под его началом. Когда в 1973 году я вернулся в Нью-Йорк в ранге, равном его положению, он никак не мог приспособиться к перемене в статусе. Высокий, поджарый, элегантный, хотя его седые волосы уже начинали редеть, Малик относился к своим подчиненным с презрением, особенно когда им не удавалось понять железное бряцание его речи или когда они осмеливались выражать взгляды, противоположные его собственным. Малик считал себя важной особой, чуть ли не наместником Кремля в ООН. Его боялись, и это его радовало. Он любил подолгу распекать своих молодых помощников и других дипломатов за мелкие оплошности и "недостаточное прилежание" – излюбленное его обвинение. В театральном жесте

он разводил руками: "Что же мне с вами делать? И что бы вы делали без меня?" – вздыхал он. "Вы же слепы, как крот. Я просто не знаю, когда смогу научить вас работать". Его заносчивое насмешливое отношение к тем, кто был ниже по социальному положению или по чину, типично для советского правящего класса.

Собрание в то утро было совершенно обычным, с привычными глупыми выступлениями. Малик был в редкостно хорошем настроении. Когда я отмалчивался на этих собраниях, он иногда неуклюже насмехался надо мной: "Ага, Шевченко не выступает, ему нечего добавить. И мы знаем, почему. Он и его ребята такие дела, как семечки, щелкают, посиживают себе за своими столами да попивают кофе, пока не наступит время ленча. Великие труженики".

Но в этот раз он не приставал ко мне. Напротив, он даже не пытался затягивать собрание, когда оказалось, что с повесткой дня покончено. Отпустив весь персонал, он обратился ко мне:

– Аркадий Николаевич, вы можете на минутку задержаться?

Я встревожился, но он всего лишь хотел показать мне проекты двух телефонограмм по вопросам разоружения, которые обсуждались в ООН. Их подготовили его сотрудники, но он хотел лишний раз убедиться в том, что все правильно. Он часто просил меня о такого рода услугах.

– Вы их просто проглядите, хорошо? Извините, что задержал вас, но это довольно срочно, и я хотел бы отправить их сегодня.

Он был любезен. Я – услужлив, даже оживлен. Я поднялся на седьмой этаж в специальный отдел по шифровкам и коммуникациям, там меня ждали телефонограммы. Протянув левую руку к кнопке, спрятанной за электроарматурой снаружи двери без всякой надписи, я слегка вздрогнул. Но руки у меня не дрожали, как перед собранием, когда я взял чашку чая. Теперь я снова владел собой. У меня было чувство, будто я выдержал очень важное испытание.

В ответ на мой звонок раздалось жужжание, и дверь открылась. Я вошел в знакомую прихожку, машинально положил портфель на полку и встал перед отверстием в тяжелой железной двери, которая вела во внутреннюю, звуконепроницаемую комнату. Вооруженный охранник открыл дверь и впус-

тил меня. У второй двери, верхняя половина которой представляла собой окошко наподобие окна кассира в банке, я спросил дежурного офицера о телефонограммах. Он принес мне гроссбухи, в которых записывались проекты телефонограмм. Быстро просмотрев их, я кое-что исправил, поставил свои инициалы и ушел, пообещав зайти вечером, чтобы проследить за ходом телефонограмм.

По пути в ООН я думал о Миссии и о том, что она значила в свете тех задач, которые поставил передо мной Джонсон. Я редко задумывался о комнате, в которой читал шифрованные телефонограммы, и о системе контроля над материалами, а если и думал – то только о том, как это все неудобно. Теперь я мысленно представил себе всю процедуру и понял, что правила, которые я собирался нарушить, существовали только ради одного – абсолютной секретности. Все эти ухищрения были придуманы для контроля над потоком информации, для обеспечения его полной секретности и во избежание утечки.

Кроме того, это было одним из проявлений паранойи, которая во многом определяет поведение советских людей. То, что контроль затрудняет дипломатические коммуникации и приводит скорее к задержке ценной информации, нежели к ее распространению, и то, что это осложняет экономическое управление внутри СССР, это все мелочи. Главное – это контроль и секретность: они обеспечивают послушание, в основе которого лежит незнание или – там, где это необходимо, – тщательно отмеренная доза знания.

Шифровальный зал – это крепость. Войти в нее сложное предприятие. Выйти из нее, если кто-то заподозрит нарушение секретности, невозможно. Строжайший контроль относится и к входящим и к исходящим телефонограммам. Они должны записываться от руки в специальные гроссбухи с пронумерованными страницами. Приготовить черновик вне этого помещения или вынести копию из комнаты – нарушение правил. Поэтому все материалы Миссии, имеющие какое-то отношение к шифрованным документам, хранятся за двойными дверями на седьмом этаже. К ним трудно добраться, их сложно использовать, но зато – абсолютная секретность. Чтобы исключить малейшую возможность расшифровки секретного кода, например, по стуку пишущей машинки, при составлении телефонограмм запрещено было ими пользоваться. Правда, подслушивание практически невозможно. Внутри шифро-

вальный зал звуконепроницаем, как и кабинет Малика. Но КГБ всегда предпочитает перебдеть, чем недобдеть. Более того, я был уверен, что охранники следят за нами через потайные отверстия, когда мы читаем телефонограммы.

Следуя совету Джонсона, я попытался прочитать телефонограммы свежими глазами. Поначалу мне показалось, что вряд ли Джонсон сочтет это ценной информацией. Там было несколько инструкций по малозначительным делам ООН, ряд "циркуляров" – сообщения из других миссий, которые Министерство иностранных дел обычно рассылает в учреждения, связанные с этими проблемами, – но не было ничего, что могло бы действительно представлять интерес.

Назначенный день приближался, а я не знал, что подумает Джонсон, когда я принесу ему такую мелкую добычу. Может, он будет выспрашивать меня, пока я не сообщу ему что-либо сенсационное? И сколько времени это займет? Я не намерен шпионить слишком долго.

Джонсон предложил провести нашу первую рабочую встречу во время ленча. Но он-то был в безопасности в своем доме, а я шел по улице среди бела дня, беззащитный, у всех на виду.

Толпа в большом городе – хороший заслон. При желании можно замешаться в эту массу равнодушных прохожих и скрыться в ней. Но я-то знал, что если кто-то и сумеет стать невидимым, то это буду не я, а какой-нибудь профессионал, не сводящий глаз с моей спины.

В тот день было прохладно и люди не прогуливались, а торопливо шли по делам. Я двигался медленнее, чем прочие, дважды останавливаясь перед витринами, когда замечал советских служащих ООН, идущих в том же направлении. Наверное, они торопились в недорогой кафетерий в Миссии, и никто не обратил на меня внимания.

И все же, повернув в переулок и увидев знакомое здание, я решил в последнюю минуту схитрить. Я быстро прошел квартал, миновал дверь Джонсона, рассматривая номера домов и делая вид, будто ошибся, а затем свернул к Третьей авеню. Насколько я мог судить, весь этот мой трюк не привлек ничьего внимания. Немногочисленным прохожим не было до меня дела. Я позвонил в дверь.

Джонсон открыл тут же:

– Вы заблудились? Я видел, как вы прошли тут минуту назад.

Я объяснил, что и почему я делал. Он хмыкнул:

– Набираетесь опыта.

В тот день наша беседа длилась недолго. Рассказывая Джонсону, что мои бдения в шифровальной оказались бесплодны, я внимательно следил за выражением его лица.

– Не волнуйтесь, Энди. Я все понимаю, – сказал он. – Мы вас не торопим.

Он вроде бы успокаивал меня, но было в его тоне что-то неуловимое, и мне показалось, что моя шпионская служба может затянуться куда дольше, чем я думал. Мне пришло в голову, что Джонсон не слишком хорошо представляет, какую информацию он может от меня получить, и тянет время. Я знал это чувство: я сам часто испытывал его на переговорах, приходя на заседания без четких инструкций, и мне ничего не оставалось делать, как повторять избитые фразы и ждать дальнейшего развития событий. Но я отогнал от себя эту мысль. Вместо этого я решил интерпретировать поведение американца как последнюю проверку моей искренности. Вряд ли его можно за это осуждать. Если бы мы поменялись ролями, я тоже был бы чрезвычайно осторожен. Джонсон сказал, что они хотели бы обсудить со мной еще массу важных дел, кроме текущей информации, почерпнутой из телефонограмм, но сейчас нет времени. Он предложил заняться формальностями.

– Мне нужна ваша фотография и отпечатки пальцев.

– Зачем? – удивился я.

– Это просто для документации: чтобы другие знали, что вы тот, за кого вы себя выдаете, если вдруг придется это доказывать, а меня поблизости не будет.

Я снялся в пиджаке и без, анфас и в профиль, улыбаясь и с серьезным лицом. Фотографируя, Джонсон задавал мне вопросы:

– Вы ничего не имеете против, если в наших встречах будет участвовать еще кое-кто? Не сегодня, в другой раз. Некоторые мои коллеги хотят знать о других советских сотрудниках в Миссии и Секретариате: кто они на самом деле, на кого работают.

– Вы имеете в виду сотрудников КГБ? Это может занять уйму времени. Их сотни, да еще агенты военной разведки.

– ФБР хочет убедиться, что следит за теми людьми, – сказал Джонсон. – Вы можете им очень помочь в идентификации тех, кого знаете.

Я согласился. Насчет этого – выявлять агентов КГБ в Нью-Йорке – у меня никаких угрызений совести не было. Они мне никакие не друзья. Я делил их на две категории: назойливые и страшные. С удовольствием расскажу все что знаю американцам. К тому же, помогая выявлять советских шпионов, я смогу продемонстрировать свою добрую волю.

Я по-прежнему много работал в секретариате ООН и Миссии. Бизнес в ООН процветает, пожалуй, в основном в барах и холлах. Самая большая из таких комнат – северная зала для делегатов. Она украшена огромным ковром, подарком от Китайской Народной Республики, на котором изображена Великая Китайская стена. Это огромное произведение искусства оживляет помещение ярчайшими красками. Оно неизменно поражает всякого, кто впервые видит его. Мне всегда казалось, что этот ковер – намек на величие Китая, на его долгую, полную событий историю и древнюю богатую культуру. И еще я думаю, что этот ковер являет собой молчаливый упрек тем, кто давно старается выпихнуть Китай из ООН.

По случайности Китай стал темой моего первого значительного политического разговора с Джонсоном. Но когда я оглядываюсь назад, мне кажется вполне закономерным, что мы, советский человек и американец, начали наше плодотворное сотрудничество с этой темы.

Разговор возник после моего рассказа о телефонограмме Василия Толстикова, советского посла в Пекине: Министерство иностранных дел разослало это сообщение в некоторые Миссии, чтобы держать всех в курсе относительно текущего состояния китайско-советских отношений. В телефонограмме содержалось также новое напоминание о необходимости всяческих усилий по сбору информации о Китае. Нельзя пропустить ни малейшего нюанса, особенно если в нем заключается хоть какой-то намек на возможные действия против СССР. Следует также обратить особое внимание на любые оттенки в балансе власти в Китае. В анализе Толстикова не было ничего сенсационного, но я полагал, что материал, касающийся Китая, заинтересует Джонсона не меньше, чем материал, относящийся к Союзу. Я не ошибся. Его глаза заблестели, когда я заговорил о Толстикове.

– Что еще было в телефонограмме? Вы помните, кто ее подписал и когда она отправлена? – спрашивал он.

Я ответил на его вопросы, но подчеркнул, что большинст-

во сообщений от Толстикова отличалось такой пространностью и поверхностностью, что эксперты в Министерстве иностранных дел всегда смеялись над его "прозой" и издевались над неумением анализировать. Последняя телефонограмма не исключение. В ней столько ортодоксальных советских обличений в адрес Мао Цзедуна, что это секретное сообщение вполне могло бы появиться в советской прессе в качестве стандартной полемической статьи.

– Повторенье – мать ученья, – пошутил я.

Послу надо было только переписать несколько передовиц из "Правды" и придать им местный колорит. Таким образом, он всем доказывал, что правда – это именно то, что думают ортодоксальные члены Политбюро.

Я добавил, что советские дипломаты в Китае часто не в состоянии различить нюансы, которые могли бы иметь политическое значение, или понять, какое течение могут принять события. Вот почему я решил, что Джонсону нужно знать об этой телефонограмме. Ведь Толстиков в ней почти что признавался, что его основными источниками информации в Китае были другие иностранцы и дипломаты, причем не очень высокого уровня.

Хотя в телефонограмме не было очень важных сообщений, мы долго говорили о ней в тот вечер. Выйдя от Джонсона, я увидел, что на улице идет сильный дождь. Миллионы нью-йоркских огней придавали розовый оттенок низким, тяжелым тучам. Я устал, я долго говорил, но на этот раз между нами установилось действительное взаимопонимание, и я радостно вдыхал сырой воздух.

5

Я читал шифрованные телефонограммы и другие секретные материалы, прибывавшие из Москвы дипломатической почтой. Кроме того, в Нью-Йорк приезжали чиновники из Центрального комитета и Министерства иностранных дел, сотрудники научных институтов и других учреждений и друзья из посольства в Вашингтоне. Благодаря потоку частных писем, которые, во избежание непременной проверки цензорами КГБ, провозят взад и вперед отдельные дипломаты и просто туристы, я следил за тем, что происходило в Москве, за событиями в кулуарах и слухами.

Я держал Джонсона в курсе того, что происходит в Кремле, особенно учитывая разногласия между Брежневым и Косыгиным насчет будущего советско-американских отношений, информировал его об инструкциях Москвы послу Анатолию Добрынину в Вашингтоне, о деталях советской политики, объяснял политическую подоплеку событий в разных частях земли. Я рассказал ему о советской позиции на переговорах о контроле за вооружением — ОСВ и других, в том числе о рекомендациях по отступлению, содержащихся в инструкциях. Я рассказал ему о советских планах продолжать борьбу с движениями в Анголе, не признающими роли Москвы в стране. От чиновников в Москве, занимающихся экономикой, я получил информацию, что нефтяные запасы в районе реки Обь скоро иссякнут и через несколько лет СССР столкнется с трудностями расширения нефтедобычи на меньших и менее доступных месторождениях. Конечно, я регулярно информировал Джонсона о том, что происходит в Миссии. Однако я не мог проводить с ним много времени, не привлекая внимания КГБ. Постепенно передача информации стала очень сложным делом, я нервничал, не находил себе места.

Подходил к концу 1975 год, а я все еще не мог решиться рассказать Лине или Анне о том, что задумал. Я много работал и очень уставал. Мне был необходим отдых, перемена климата и обстановки. Надо было увезти Лину из Нью-Йорка в какое-нибудь место, где я мог бы раскрыть ей свои планы. Оставив Аню у друзей в Глен-Коуве, мы улетели во Флориду встречать Новый год — год, который, как я надеялся, станет для нас началом новой жизни.

В Майами погода стояла прекрасная, вода в океане была теплая, а отель "Гариллон" располагал к отдыху. Вдали от Миссии и тайных встреч я почувствовал, как спадает напряжение. Наши квартиры в Нью-Йорке и Глен-Коуве наверняка прослушивались КГБ, но здесь, в Майами, у них просто не хватило бы времени вмонтировать в наши комнаты подслушивающие устройства. И даже если за нами кто-то и следил, делали они это с большого расстояния. Я не замечал никакой слежки и чувствовал себя свободно и уютно.

Накануне Нового года мы с Линой пошли в маленький итальянский ресторанчик неподалеку от гостиницы. Здесь, в этом уютном месте, полюбившемся нам обоим, я и начал разговор, к которому столько готовился.

— Правда, тут замечательно? — спросил я.

Лина согласилась.

— Мы с тобой прекрасно проводим время.

— Жаль только, что все это так быстро кончается. Вот уже пора возвращаться в Нью-Йорк, к Малику, к КГБ и этим партийным лизоблюдам. Я устал. Я это понял еще там, в Нью-Йорке, я не знаю, сколько еще протяну.

Лина озабоченно посмотрела на меня.

— Я говорю серьезно, — продолжал я. — Нам нужно основательно подумать о том, не вернуться ли нам в Москву: там я могу найти работу, которая будет не так утомительна. Или что-нибудь еще придумать.

— О чем ты говоришь? — В голосе Лины звучала тревога. Даже мой осторожный намек обеспокоил ее. — Нам нужно пробыть в Нью-Йорке как можно дольше. Ты что думаешь, мы сможем в Москве достать все, что нам нужно? Ты, может, забыл, что за рубли ничего этого не купишь. Вспомни, ведь даже члены Политбюро не могут иметь того, что у нас есть в Нью-Йорке. И если мы застрянем в Москве, то со всем этим придется распроститься.

— Но у нас уже все есть. Прекрасная квартира, дача, чудесная мебель. Деньги в банке, у тебя драгоценности, меха, ты одета с ног до головы. Что еще нужно? Нам и так уже завидуют, болтают про нас всякие глупости. Ты ведь сама знаешь.

— Ты и в самом деле трус, Аркадий, — взорвалась она. — Все начальники за границей используют все возможности, чтобы обогатиться, приобрести вещи. Когда мы впервые приехали в Нью-Йорк, это делал Федоренко. Сейчас это делает Малик. А как ты думашь, чем мы с Лидией Дмитриевной занимаемся, когда Громыко привозит ее в Нью-Йорк? Что ли, по музеям бегаем? Нет, мы ходим в магазины, и я покупаю ей вещи. Я ей даю деньги, наши деньги. И ты пользуешься протекцией Громыко, а я пользуюсь ее протекцией. Нас никто пальцем не посмеет тронуть, даже КГБ. С Громыко за спиной ты можешь сделать фантастическую карьеру. Ты мог бы заменить Малика в Нью-Йорке или Добрынина в Вашингтоне. Кстати, Добрынин когда-то занимал пост, на котором ты сейчас сидишь. Ну а потом — кто знает...

Я не посмел сказать ей, что все это не входит в мои планы. Я попробовал начать с другого конца.

— Лина, на Вашингтон рассчитывать нечего. Анатолий Федо-

рович пробудет там еще долго, Громыко очень его боится. Я уверен, что Андрея Андреевича очень раздражают разговоры в Москве, будто Добрынин может заменить его на посту министра иностранных дел. Так что он будет держать Добрынина как можно дальше от Москвы так долго, как это удастся.

– Может быть, – согласилась Лина. Будучи приятельницей жены Громыко, она не меньше моего знала о его симпатиях и антипатиях. Вдруг она вспомнила мой туманный намек. – А что ты имел в виду – поехать куда-то еще? Не возвращаться в Москву? Ты все больше и больше ругаешь Союз, КГБ, партию, восхваляешь все американское, все остальное не по тебе. Что случилось?

– Ты знаешь, как обстоят дела, – ответил я. – Там никогда не будет лучше, никакого выхода нет. На что там надеяться? – Я вспомнил, что говорил Джонсону. – Никто не может ничего изменить, никто даже и не пытается.

– Что все это значит? – У Лины был напряженный голос. – Пусть об этом думают другие. Ты хочешь сказать, что не собираешься возвращаться домой? Ты что, хочешь остаться тут навсегда? Тогда оставайся один. Я не собираюсь вечно жить в этой стране. И вообще, подумай о своем будущем: оно не здесь, оно – на родине.

Я молчал. Я не мог ей довериться. Пожав плечами, я перевел разговор на другую тему: авось Лина забудет все это, примет мои слова за минутную блажь.

Оставшиеся дни отпуска я постоянно размышлял о возможных альтернативах. Очевидно, что Лина не пойдет за мной по доброй воле. Но какова будет ее реакция, если мне придется сбежать неожиданно, – когда она окажется перед свершившимся фактом? Как поступит она, когда я попрошу ее присоединиться ко мне? Ведь это будет до того, как Советы узнают о моем исчезновении. Может быть, она поймет, что, вернувшись одна в Москву, она уже не сможет жить так, как мы жили вместе. Она будет отверженной, ее лишат всяких привилегий, исключат из элиты, которую она так любит. Если она в состоянии рассуждать здраво, она, конечно, предпочтет остаться со мной. Но в глубине души я не был уверен в ее выборе. Я решил еще раз вернуться к этой теме и форсировать события, пока Анна в Нью-Йорке. Если я буду тянуть, моей дочери придется возвращаться в Москву.

Через день после того как я вернулся в мой офис, в серую

январскую изморозь Нью-Йорка, в мясорубку Миссии и ООН, я позвонил по тайному номеру и назначил свидание с Джонсоном. Я намеревался сделать эту тайную встречу последней. Но у Джонсона были другие планы. Я хотел выйти из убежища, а он собирался всего лишь сменить место.

Едва я успел высказать свое новогоднее решение о том, что хочу в самом скором времени предать гласности мой переход к американцам, как он сообщил мне, что наши встречи переносятся в другое место. Наконец-то ЦРУ сделало то, о чем я просил: сменило место свиданий. Джонсон нашел квартиру, до которой было рукой подать от здания ООН. К тому же у меня всегда будет удобный предлог: в этом здании расположены приемные врачей и некоторые из них — в списке рекомендованных работникам Секретариата. Я могу стать пациентом какого-нибудь стоматолога, не привлекая внимамания КГБ.

Идя навстречу моим пожеланиям, Джонсон тем самым ставил меня в положение человека, который связан определенными обязательствами. Я собирался настаивать на скорейшем завершении моей двойной жизни: вместо этого в тот вечер я ушел от Джонсона, убежденный в том, что ее придется продолжить.

Я сдался не сразу и не полностью. Джонсон поставил меня в ситуацию некой зависимости от него. Я рассказал ему, что Лина отвергла мою осторожную попытку поведать ей о моих планах, и подчеркнул, что мне совершенно необходимо перейти к американцам до того, как Анна уедет из Нью-Йорка.

— Вы должны понять, — сказал я, — что я не собираюсь заниматься этим вечно. Меня используют Советы, а теперь меня используете еще и вы, и мне это не нравится. С меня хватит. Я хочу начать новую жизнь.

— Но мы именно это и делаем, — ответил Джонсон. — У нас теперь есть превосходное место для встреч. Это прямо по пути в ваш офис, и вам не придется больше крадучись пробираться сюда по ночам. Если кто-нибудь вас спросит, у вас есть прекрасный законный предлог для того, чтобы там находиться.

Он настаивал, и моя решимость ослабла, но неудовлетворенность нисколько не уменьшилась. Американцы взяли меня в осаду, им казалось, что я заранее на все согласен. Мне пришлось волей неволей согласиться на новые условия. И, не-

смотря на "замечательное место встреч", я прекрасно понимал, что опасность по-прежнему вполне реальна.

Особенно ясно проявилось это через несколько недель, в начале февраля, в необычно солнечный день. Я шел из здания ООН к месту встречи, наслаждаясь прогулкой и оживленной толпой, высыпавшей на ленч. Я люблю смотреть на нью-йоркские улицы. Здесь, конечно, нет таких московских красот, как церковь Николы в Ткачах, мое любимое место на пути на работу, или Москва-река, обрамленная зеленью парка Горького, но зато на этих улицах столько жизни!

У меня было прекрасное настроение в то утро. Войдя в здание с Первой авеню, я остановился, чтобы дать глазам привыкнуть к сумраку после солнечного света, и вдруг услышал радостное:

Товарищ секретарь, какой сюрприз! Что вы тут делаете?

Передо мной стоял бывший сотрудник Секретариата, когда-то работавший в моем отделе, протеже Гелия Днепровского, советского чиновника из отдела кадров Секретариата. Я еле выдавил из себя ответное "здравствуйте".

– У вас тоже здесь врач?

– Да, стоматолог, – ответил я.

– А мой принимает вот в том кабинете, – он указал вправо. – Ну ладно, не будем опаздывать. Всего доброго.

Все это продолжалось не больше минуты, и сама по себе встреча была нисколько не подозрительна, но от моего хорошего настроения не осталось и следа. Я вновь погрузился в мир моих подозрений и страхов, вновь оказавшись невероятно далеко и от шумного веселья полуденного Манхэттена и от тихих серых улиц Москвы.

Я сделал вид, будто направляюсь в кабинет стоматолога, потом, убедившись, что в вестибюле никого нет, вошел в лифт. Наверху, не успев даже поздороваться с Джонсоном, я сразу выложил ему все, что случилось. Я сказал, что при том, что столько сотрудников ООН бывают в этом месте, оно никак не может считаться безопасным. Часто здесь бывать нельзя.

Джонсон возразил, что стоматолог – очень надежная крыша, тем более что КГБ известно, что я, как и другие советские чиновники, предпочитаю пользоваться услугами американских врачей и у меня есть специальное разрешение на это.

Он не понимал меня. Меня беспокоило то, что здесь меня

могли видеть сотрудники секретариата, и если пойдут разговоры на эту тему, то это вполне достаточное основание для КГБ проверить записи стоматолога и убедиться, что я бываю у него довольно редко. В ответ на возражение Джонсона, что записи американских врачей не могут быть никому предоставлены без разрешения пациента, я напомнил ему о недавнем скандале.

– Разве вы не помните, как были выкрадены записи психиатра, который лечил Даниэля Эльсберга, выдавшего бумаги Пентагона? Несколько парней вломились в кабинет врача и взяли записи. Вот и все. Неужели вы полагаете, что КГБ на это не способен? Я вас уверяю, это место небезопасно.

– Может, вы и правы, – медленно ответил Джонсон. – Надо будет подумать о переезде.

Я встал.

– Я должен идти. У меня больше нет времени.

Джонсон не задерживал меня.

– Мне очень жаль, – сказал он. – Я понимаю, что вы расстроены. Но когда мы можем увидеться?

– Не знаю. Мне необходимо подумать обо всем этом. Мне это все осточертело. Может быть, я обращусь к какой-нибудь другой стране. Если мне будет что сказать вам, я позвоню.

Эти слова вырвались у меня неожиданно, я совсем не собирался угрожать Джонсону. В последующие недели я занимался тем, чем мне следовало бы заняться до этого взрыва: анализировал реальные возможности. Я пришел к выводу, что использовал против Джонсона оружие, которое не только не в состоянии помочь мне, но даже может и повредить.

Теоретически у меня были другие альтернативы, просто ни одна из них меня не устраивала. Я мог попытать счастья с каким-нибудь европейским правительством, и хотя, скорее всего, этому правительству не захочется осложнять отношения с Москвой, вряд ли, однако, оно решится нарушить свои собственные традиции и не предоставит мне убежище. Например, Англия, вероятно, довольно быстро согласилась бы принять меня.

Но по правде сказать, я нигде не буду чувствовать себя так, как в Америке. Я жил здесь много лет, и я понимал, что если у меня где-нибудь есть второй дом, то он в США.

Я понимал также, что мне трудно будет осуществить мои надежды без поддержки властей США, без восстановления

контактов и сотрудничества с Бертом Джонсоном. Я не мог просто обойти его. Если я заявлюсь в Государственный департамент или, например, в Миссию США при ООН и попрошу безотлагательно предоставить мне убежище, мой отказ сотрудничать с ЦРУ наверняка скажется на их реакции. Они могут предоставить мне убежище, но вряд ли мне стоит рассчитывать на большее. Американские официальные лица будут считать меня в лучшем случае человеком ненадежным, в худшем – подозрительным. Коль скоро я согласился сотрудничать, я должен был понимать, что связываю себя с ними на неопределенный срок. В поисках подлинной свободы я отдал в заклад те крохи, которые у меня были.

Это был горький вывод, и немало времени понадобилось мне для того, чтобы посмотреть правде в глаза. Но к концу февраля я победил свою гордыню, сдался перед неизбежным и назначил свидание с Джонсоном. Я понимал, что единственный способ сократить срок моего пребывания "в шпионах" заключался в том, чтобы добыть действительно важную информацию и таким образом заслужить право на свободу.

Когда наши встречи возобновились, я почувствовал, что постепенно вновь завоевываю доверие Джонсона. В то же время мои обязательства перед ЦРУ казались бесконечными. Положение было – хуже некуда, и смирение и покорность в моей душе сменялись приступами отчаяния и безнадежности.

В начале весны Джонсон согласился перенести все наши свидания на вечер, во избежание риска, что меня засекут сотрудники ООН, идущие к своим врачам, и пообещал подыскать другое, более безопасное, место.

– А что вы думаете насчет гостиницы? – спросил я. – Например, "Вальдорф-Астория".

В этой гостинице я бывал довольно часто. Многим делегациям ООН не хватает места для приемов в собственном помещении, и они устраивают приемы или вечеринки для высоких официальных гостей в этой гостинице. На этих-то приемах я и бывал. Там всегда было шумно и многолюдно, так что я появлялся ненадолго, выпивал что-нибудь, перебрасывался парой слов со знакомыми и уходил. Сколько времени я там пробыл, когда ушел, – это никого не интересовало.

Джонсон обещал подумать над моим предложением. Его внешне небрежные, но вполне профессиональные ракции определяли атмосферу большинства наших встреч. Но он неиз-

менно заверял меня, что его агенты не приметили ничего необычного в поведении КГБ на мой счет. Мне тоже приходилось признать, что в Миссии ко мне относятся по-прежнему, ничего как будто не меняется. Ощущение опасности несколько притупилось, хотя и не исчезло.

Через три недели оно вернулось с удвоенной силой. Генеральный секретарь Курт Вальдхайм решил, что я буду представлять его на международном семинаре по апартеиду в Южно-Африканской республике, который должен был состояться в Гаване. Я не мог найти никаких благовидных предлогов, чтобы отказаться от этого нежеланного назначения. Поехать на Кубу было для меня таким же риском, как отправиться в любую другую страну советского блока. В Гаване нечего рассчитывать на покровительство ЦРУ. Конечно, мои коллеги по ООН на семинаре смогут сообщить о моем исчезновении, но предотвратить его они не в силах. Если КГБ решит взять меня на Кубе, они просто отправят меня под любым предлогом прямехонько в Москву, и ни одна собака не сумеет этому помешать.

Когда я рассказал Джонсону о предстоящем путешествии и об опасности, связанной с ним, он встревожился, однако, подумав немного, сказал:

– Вряд ли все это может случиться на самом деле, но даже если вас отвезут в Москву, мы все равно сможем помочь вам. Я знаю, вы в это не верите, но у нас есть свои способы.

– Например, послать письмо протеста Брежневу?

– Успокойтесь. Давайте я составлю план действий – на всякий случай, – и вы увидите, что мы не так беспомощны, как вам кажется. Тогда и решите.

Мы встретились через три дня, и он рассказал мне, как следует связаться с американцами в советской столице. План выглядел совсем неплохо, но и не слишком убедительно, особенно когда воображение ярко рисует картину камеры на Лубянке. Джонсон монотонным голосом перечислял все возможные действия по контакту, я же был вне себя от ярости.

– Слушайте, Берт, – заорал я наконец, – они могут заграбастать меня на Кубе и отправить в Москву – живого или мертвого, и черта с два вы сумеете что-нибудь сделать. Со мной все будет кончено до того, как вы даже узнаете об этом.

Джонсон сохранял невозмутимость и спокойствие.

– Энди, у вас нет никаких указаний на то, что за вами сле-

дят. Но даже если КГБ вас в чем-то подозревает, ваша поездка на Кубу успокоит их.

Логика этого утверждения несколько охладила мой гнев. Риск, конечно, существовал, но ведь и в самом деле, пока что не было никаких признаков, что мне не верят. Моя поездка в Гавану сработает в мою пользу и развеет подозрения КГБ, если они имеются. Еще важнее то, что Джонсон – и это очевидно, – рассматривал мое вынужденное согласие как новое испытание моей готовности сотрудничать с ними. Я все еще проходил испытательный срок.

Вдруг Джонсон спросил:

– Чем вы бреетесь?

– Обычной бритвой. Такая штука с лезвием с двумя кромками, расстояние между ними можно менять. А что?

– Это может нам помочь. Принесите ее нам дня через два, мы отдадим ее вам перед поездкой в Гавану.

Мой полет на Кубу был назначен на следующую субботу. Мне надо было прилететь туда пораньше, чтобы проверить, все ли подготовлено к семинару, и решить все неожиданные вопросы, которые могут возникнуть до его открытия в понедельник. В начале недели я забросил Джонсону мою бритву, а вечером в пятницу, накануне отлета, встретился с ним.

Это было наше первое свидание в "Вальдорф-Астории". Внизу как раз проходил большой прием: на него-то я якобы и приехал. В зале я поболтал с хозяином и несколькими послами ООН, а затем незаметно выскользнул, подошел к лифту и поднялся наверх.

Джонсон нарисовал мне расположение комнаты: мне надо было пройти направо от лифта, вниз по коридору. Но из лифта я вышел не один, поэтому мне пришлось погулять по гостинице и пройти к комнате через задний коридор, успокаивая себя мыслью, что вышедшие вместе со мной из лифта люди – обыкновенные постояльцы гостиницы, которым наплевать, куда и зачем я иду.

Джонсон ждал меня, вид у него был весьма довольный. Он показал на низкий журнальный столик: там лежали рядышком две бритвы.

– Какая из них ваша? – с ухмылкой спросил он.

Я осмотрел их, взял в руки – разницы не было.

– Теперь они обе ваши, но левая – совсем другая: такую вы в аптеке не купите. Сейчас покажу вам, в чем раница.

Он взял инструмент и, поставив номер на металлическом кольце под головкой бритвы на минимальное расстояние, с силой нажал на низ ручки и отвинтил цилиндрик. Ручка раскрылась, и я увидел, что она полая. В отверстие Джонсон сунул тоненький ролик микрофильма.

– Вот все, что вам нужно, – сказал он. – Если вы забудете подробности плана, о котором мы с вами говорили на днях. Здесь телефоны, адреса, люди, с которыми вы должны связаться, если понадобится.

Он заставил меня открывать и закрывать бритву несколько раз, пока не нашел, что я действую, как заправский специалист. Я, впрочем, вовсе не чувствовал себя таковым.

Наутро, запаковав обе бритвы, я вылетел на Кубу – с пересадкой на Ямайке. У моих коллег по ООН, встречавших меня в гаванском аэропорту, хлопот было по горло, и мне даже не устроили приема по случаю приезда. Кагебешников тоже поблизости видно не было.

Я поселился в некогда роскошной гостинице, заметно потускневшей с поры своего былого великолепия. В ваннах творилось нечто невообразимое: кубинцы рассчитывали, что советский брат поставит им оборудование, но в Союзе таких вещей и самим не хватает. Не хватало кубинцам и кока-колы. Поскольку от советских друзей кока-колы дождаться невозможно, они попросили чехов, которые очень старались, но результаты были весьма средние: "чеха-кола" ни в какое сравнение не шла с кока-колой. Советский Союз предпочитал быть щедрым в области военного снаряжения – тут всего было вдоволь.

Весь следующий день я проверял, все ли готово к дискуссиям об апартеиде. Советского посла на Кубе я увидел только, когда открылся семинар, и он прибыл, чтобы представлять на заседаниях СССР. Мы не были знакомы, и хотя во время перерыва мы нашли время для короткого разговора, однако и не пытались выйти за рамки поверхностной беседы. Тем не менее я согласился на его предложение провести вечер с двумя парами из посольства, которые пожелали составить мне компанию за обедом и потом собирались пойти в ночной клуб. Вечер оказался довольно приятным, и, пакуя вещи перед отлетом, я сказал себе, что Джонсон был прав, и я зря волновался. Самое худшее было позади, и как это часто бывало и раньше, все страхи существовали только в моем воображении.

Но мое радужное настроение длилось недолго. Я заметил, что пропали две рубашки. Само по себе исчезновение их было неприятно, но я все же надеялся, что они отыщутся где-нибудь в номере. Но когда я пошел в ванную, все мое благодушие как рукой сняло: бритвы, которую я положил на полочку над умывальником, не было.

Меня прошиб пот: какую бритву я оставил в ванной? Я забыл проверить их, когда распаковал вещи. Где у меня вторая бритва? Ага, в чемодане. Нужно немедленно достать ее и проверить.

Оглушенный точно ударом, я, как во сне, вернулся в спальню и стал рыться в уже запакованном чемодане. Вытащив бритву, я стал вспоминать процедуру обращения с ней. Поставить номер на минимальное расстояние. Повернуть нижнюю часть ручки. Черт подери, она не двигалась. Я попробовал еще раз. Ничего. Итак, они взяли пустую бритву. Я пропал.

Скорчившись на краю кровати, я уставился на старый выцветший ковер, не в силах сосредоточиться, взять себя в руки.

Не знаю, сколько продолжалось такое состояние, но мне казалось, что прошла вечность, прежде чем я понемногу пришел в себя. Откуда-то из глубины сознания всплыла мысль, что, открывая ручку бритвы, я пропустил один этап. Я снова взялся за бритву, уговаривая себя: не торопись, следи за собой, набери номер, нажми с силой на ручку, поверни, нажми сильнее. Именно это я и забыл сделать в первый раз. Так, теперь поверни ее.

Ручка повернулась и открылась. Микрофильм преспокойно лежал в своем тайнике.

Вздох облегчения вырвался у меня. Значит, это просто горничная стибрила пару вещичек у своего социалистического брата. Но так ли это? Может, это и вправду была полиция безопасности Кастро или КГБ. Может, они что-то заподозрили и сейчас пытаются убедиться в справедливости своих подозрений? Может, в ЦРУ есть их шпион, который настучал им? А может, подумал я в ярости, это просто их очередная дурацкая небрежность. Ничего нельзя знать наверняка, только время ответит на все мои вопросы.

С этого самого момента и до самого возвращения в Нью-Йорк я хранил бритву в портфеле и не выпускал его из рук. Дома я дождался, пока Лина и Анна заснули, и отправился в ванную с ножницами и плоскогубцами. Вытащив микро-

фильм, я изрезал его на куски, бросил в унитаз и спустил воду. Саму бритву с помощью плоскогубцев я превратил в бесформенную кляксу и выбросил в помойку.

Еще какое-то время я оставался начеку, и всякие, даже самые незначительные отклонения от обычной рутины в Советской миссии казались мне подозрительными. Но все шло по-прежнему, и понемногу шок "кубинского кризиса" рассеялся.

Именно в это время я сделал поразившее меня открытие: между шпионажем и дипломатией много общего. Это, надо сказать, несколько меня успокоило. Шпионы и дипломаты живут двойной жизнью: одна жизнь – для внешнего мира, другая – среди тех, кому они доверяют или на кого работают. Обе работы требуют постоянной бдительности, крепких нервов и времени для сбора и передачи информации.

Я постепенно освоился со своей новой ролью. Джонсон был прав, уверяя меня, что сбор информации для него довольно скоро превратится в часть моей обычной работы. Это требовало какого-то дополнительного времени, но я сумел с этим справиться. Однако Джонсон ошибся, считая, что мои страхи пройдут. Где-то в подсознании всегда жила тревога. Я полностью отдавал себе отчет в том, что все-таки дипломата и шпиона ожидает разный конец. Дипломат, как правило, заканчивает свои дни в почете, а смерть застает его в собственной постели. Шпионы – даже самые блестящие – часто погибают, либо проводят остаток своих дней в тюрьме и бесчестье.

6

На одно из свиданий в гостинице "Вальдорф" Джонсон привел агента ФБР Тома Крогана, которого интересовала информация о деятельности его коллег в КГБ. О специфической оперативной работе КГБ я знал немного, но на протяжении своей карьеры я немало имел дело с агентами КГБ. Формально я был начальником многих из них на моей предыдущей должности в Миссии и на теперешнем посту заместителя Генерального секретаря. К тому же некоторые мои однокашники в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) пошли на работу в КГБ и стали профессионалами-оперативниками. Кое с кем из них я до сих пор поддерживал отношения.

Посмотрев списки, которые принес с собой Кроган, я понял, что могу быть ему полезным. Но предложение улучшить мои связи с КГБ я отверг, хотя Кроган очень на этом настаивал. КГБ, по его словам, может быть бесценным источником информации и опасным врагом, и мне лучше всего сохранять с ними добрые отношения.

– Это невозможно, – ответил я. – Большинство из них – неприятные и нечистоплотные люди, а некоторые просто дураки. Я стараюсь поддерживать с ними нормальные рабочие отношения, но им этого мало. Они хотят каждого держать под контролем, заставить всех нас работать на них и плясать под их дудку.

Я сказал Крогану, что не собираюсь заводить приятелей среди сотрудников КГБ ради того, чтобы помочь ему. Все, что я знаю, я готов рассказать, но для более широкой информации пусть использует другие источники.

Я начал с описания начальника шефа КГБ в Нью-Йорке, Бориса Александровича Соломатина, невысокого, приземистого генерал-майора или, как мы его называли, резидента. Когда я был назначен заместителем Генерального секретаря, Соломатин несколько раз приглашал меня к себе выпить и "поболтать". Он – человек циничный, грубый, да к тому же пьяница, живет отшельником в своей прокуренной берлоге и других туда заманивает.

Ни в каких операциях за стенами Советской миссии он не участвовал, он направлял агентов, которые этим занимались. Сам Соломатин редко выходил из Миссии, только в Глен Коув выбирался. По официальной должности – он заместитель Постоянного представителя СССР в ООН и находится в ранге министра, пользуясь дипломатическим иммунитетом.

Его двухкомнатная квартира в Миссии, где он живет с женой Верой, не такая крепость, как шифровальный зал, но тоже безопасное и надежное место. Для борьбы с американским прослушиванием, в эффективности и постоянстве которого он не сомневался, Соломатин завел два телевизора и стереосистему, и что-нибудь одно было всегда включено. Поскольку у него практически не было никакого контакта с американцами, он буквально жил телевизором, особенно любил новости и мог смотреть их сразу по двум программам – Си-би-эс и Эй-би-си. Другим его любымым занятием было слушать пленки с русскими песнями времен второй мировой

войны и предаваться воспоминаниям о том времени, когда он был пехотным офицером.

Сейчас ему было за пятьдесят, он тоже кончил МГИМО, и я знал его много лет. После моего приезда в Нью-Йорк в 1973 году он открыто пытался вовлечь меня в шпионскую деятельность КГБ. Однажды, развалившись на тахте с сигаретой в зубах, он сказал, пристально глядя на меня:

– Ты мог бы быть одним из наших лучших сотрудников. – Потягивая водку, он продолжал в тоне конфиденциальной беседы: – Ты везде ездишь, со всеми говоришь. Тебе просто надо сообщать нам о том, что ты слышишь. Ведь, в конце концов, мы оба работаем на наше государство.

Он сказал, что любая интересная информация, поставленная мной, будет послана в Главное управление КГБ в Москве и несомненно привлечет внимание Политбюро.

– Мы умеем работать, – заявил он самодовольно, – не то что эти бюрократы из вашего Министерства иностранных дел: сидят, как наседки, на драгоценной информации и все никак не снесутся. Сотрудничество с нами поможет твоей карьере.

Все эти заверения Соломатина были враньем. Действительно, резидент имеет свои связи с Главным управлением КГБ в Москве, и он вправе решать, сообщать послу Малику информацию, которую он отправляет, или нет. Но, передавая в Москву информацию, КГБ никогда не указывает, кто именно сообщил ее. Даже сам Соломатин (или любой, занимающий его место), отправляя телефонограмму, не ставит своего имени, скрываясь просто под подписью "резидент".

Было ясно, что Соломатин решил сделать из меня еще одну пешку в своей игре. Я ответил ему, что Громыко ценит меня по тому, что я делаю для министерства, а не по тому, что я делаю для КГБ. Он потер виски, изображая глубокое раздумье, и посоветовал мне серьезно рассмотреть его предложение.

Я не собирался участвовать в его работе, но в бытность его резидентом мне пришлось пойти на кое-какие уступки. Осенью 1973 года Соломатин познакомил меня с Валдиком Энгером, высоким красивым эстонцем. Он настаивал, чтобы я взял Энгера к себе на работу. Сначала я отказался, ссылаясь на то, что мне нужен человек, который действительно мог бы работать на меня, а не на КГБ. Резидент настаивал, и в конце концов я согласился с условием, что через несколько месяцев переведу его на другую работу в Секретариате. Соломатин не возражал.

Главным помощником Соломатина был полковник Владимир Григорьевич Красовский, заместитель резидента, опытный профессионал, несколько лет отслуживший в Нью-Йорке. В число ближайших коллег Соломатина входил также его частый гость Георгий Арбатов, директор Института Соединенных Штатов и Канады при АН СССР. Он регулярно бывает в США и совсем недавно мы с Линой видели его на обеде у Соломатина.

— Многие думают, что он очень близок к Брежневу, — сказал Джонсон, — говорят, что он фактически является представителем Кремля. Когда Арбатов выступает по телевизору или дает интервью для газеты, создается именно такое впечатление. Вы его хорошо знаете?

Я очень хорошо знал Арбатова. В сущности, я знал его с самого начала своей карьеры. Когда мы встретились на обеде у Соломатина, он находился в своей обычной разведывательной командировке. Тогда, в 1976 году, он приехал с целью исследовать политические настроения Америки накануне президентских выборов.

Считалось, что президент Джеральд Форд будет продолжать политику Ричарда Никсона в отношении СССР. Поэтому Советы предпочитали его любой другой кандидатуре. Они были озабочены угрозой с правого крыла американской политики. Соперником Форда в номинации республиканцев был Рональд Рейган, представитель твердой линии, антисоветчик и антикоммунист. Конечно, Советы знали, что даже если Рейган выиграет номинацию и затем выборы, ему в конце концов придется иметь дело с Москвой, так же как и Никсону. Однако перспектива президентства Рейгана их мало радовала. Как сказал Громыко, "никто не знает, каких сюрпризов можно ожидать от этого артиста". В это время в отношениях супердержав царила атмосфера неуверенности и неудовлетворенности, даже некоторого смятения.

На обед к Соломатину мы с Линой приехали первыми. Вера Соломатина, некогда технический сотрудник института Арбатова, отмечала свое назначение лейтенантом в организации мужа. В этом ничего необычного нет: в КГБ много женщин-офицеров. Жены многих профессиональных гебешников тоже работают в этой организации, в том числе Ирина Якушкина, жена вашингтонского резидента. Более того, многие жены моих коллег-дипломатов в Нью-Йорке тоже были офицерами КГБ.

Поставив рюмки и тарелки на столе в маленьком холле, который служил также и столовой, Соломатин попросил меня выйти в гостиную и налить себе что-нибудь, а он через минуту придет туда. В гостиной я заметил четыре экземпляра книги Джона Баррона "КГБ" и спросил Соломатина, зачем ему столько. Он ответил, что книга нужна в Москве.

– Но все не так страшно, – сказал он. – Мое имя и имя Владимира Красовского там даже не упоминаются.

Я не мог понять, сказал он это с сожалением или гордостью.

Пришли Красовский с женой и Арбатов. После нескольких рюмок водки беседа несколько оживилась, и Арбатов согласился кратко рассказать о сообщении, подготовленном для Москвы.

– У Джеральда Форда, – начал он, – неплохие шансы победить в выборах 1976 года. Конечно, сейчас он совершает обычные трюки, пытаясь представить себя защитником твердой линии, но нас это не волнует. Это просто обычный предвыборный блеф. Когда все кончится, он снова будет добрым старым Джерри.

На вопрос Арбатова, что мы с Соломатиным думаем на этот счет, никто из нас не стал ему противоречить. Мы оба знали, что Москве нужно удостовериться в том, что Форд останется в Белом доме, и ни один из нас не желал выступать в роли гонца с дурными вестями, даже если у нас были серьезные сомнения насчет победы Форда. Я заговорил о контроле за вооружением, это всегда особенно интересовало меня, и спросил Арбатова, есть ли что-нибудь новое в этой области.

Арбатов признал, что момент для переговоров пропущен.

– Выборы на носу, и подсовывать американцам такую сложную штуку, как ОСВ, сейчас не время, – сказал он уныло. – Это мы понимаем. Ничего не поделаешь, хотя и жаль.

Соломатин, для которого главный интерес составлял шпионаж, а не разоружение, вмешался в разговор:

– Неужели это действительно так важно? Зачем нам торопиться с этим ОСВ?

– Я понимаю, что вы имеете в виду, – ответил Арбатов, – но это серьезное дело.

Затем он перечислил доводы о связи между затратами на вооружение и кризисным состоянием советской экономики. Через три года после исторической встречи Никсона и Брежнева положение еще ухудшилось. Арбатов методически пере-

числял хронические недостатки в управлении, сельском хозяйстве, в работе транспорта и распределении товаров.

— Жора, ша, — взорвался наконец Соломатин, вспомнив обращение, популярное в его родной Одессе. — Ты пессимист. Бывало и похуже. Вспомни войну — и ведь ничего, выжили же.

Это был стандартный ответ на любое критическое замечание. Подобно многим ветеранам, Соломатин вспоминал войну с ностальгической грустью, а сейчас воспользовался этим предлогом, чтобы прервать серьезный разговор.

Неловкое молчание нарушил Владимир Красовский: он напомнил, что мы пришли сюда отметить приятное событие, и предложил потанцевать. Жены с радостью согласились. Красовский пристукнул каблуками новехоньких блестящих ботинок.

— Поглядите на мои баретки, семьдесят гринов отдал! — с гордостью воскликнул он.

Стройный, высокий, смазливый Красовский в отличие от Соломатина действительно занимался непосредственно шпионской деятельностью. Он любил танцевать и был прекрасным танцором. Пристукнув каблуками перед Линой, он шутливо поцеловал ей руку. Наблюдая за тем, как они танцуют, вполуха слушая громкий смех Соломатина и болтовню Арбатова с женщинами, я с благодарностью подумал о том, как замечательно, что даже в век технических чудес невозможно читать чужие мысли...

Вскоре после того как я описал Джонсону этот вечер, Бориса Соломатина сменил новый резидент. Мускулистый, лысый, с глазами василиска, полковник Юрий Иванович Дроздов произвел на меня впечатление сильного противника. Соломатин был напыщенным отшельником, который, как медведь в берлоге, отсиживался в Миссии, но с ним, по крайней мере, можно было договориться. У Дроздова, казалось, вообще не было человеческих чувств. К тому же он сразу проявил себя, как самоуверенный нахал. Хотя он плохо говорил по-английски и, будучи специалистом по Китаю, мало что знал о США или ООН, он пытался принимать активное участие в дипломатической работе. Собственное невежество, казалось, лишь увеличивало его самонадеянность и требовательность; Соломатину было до него далеко. Я понял, что он человек не только неприятный, но и опасный и решил держаться от него подальше.

Но вскоре после своего приезда он поздно вечером вызвал меня к себе. Я работал в комнатушке при шифровальном зале, просматривая кодированные телефонограммы в надежде найти что-нибудь для Джонсона. Было около одиннадцати. Я устал и был, как всегда в таких случаях, раздражен.

– Аркадий Николаевич, – у моего локтя неведомо откуда материализовался клерк, – вас к телефону.

Наверное, я не смог скрыть своего удивления и тревоги, потому что клерк повторил: "Вас к телефону".

Никто, кроме Лины и охранников внизу, не знал, что я здесь, и только персоналу комнаты для кодирования было известно, где именно я нахожусь. Ничего не понимая, я пошел к телефону. При звуке голоса Дроздова я весь напрягся. Он просил меня прийти к нему в кабинет.

– Наверху? – спросил я, представив себе пустынные коридоры восьмого этажа с белыми запертыми даже днем дверями. Весь этаж был отдан в распоряжение КГБ. Святая святых, откуда нет выхода.

– Нет, нет, – голос Дроздова звучал нетерпеливо. – Я на шестом этаже. Вы можете сейчас спуститься? Мне надо обсудить с вами одно дело.

Я повиновался.

В то время я знал о Дроздове очень немного – он производил впечатление недоброжелательного человека, однако прекрасного работника. Что если он залез в старые отчеты обо мне и заметил что-то, что проглядел Соломатин в предотъездной спешке? Когда я вошел в комнату, резидент сидел над стопкой бумаг. Маленькое помещение было освещено одной настольной лампой. Это было самое подходящее место для инквизиции, но Дроздов не стал допрашивать меня. Он хотел от меня услуги.

– Спасибо, что вы согласились прийти в такой час, – начал он. – Мне нужна ваша помощь. Это насчет Энгера. Не можете ли вы его оставить? Он делает для нас важную работу. Я знаю, что из-за этого он не справляется с другими делами, но нужно же помогать друг другу. Я надеюсь, вы нам в этом поможете.

Я почувствовал одновременно облегчение и досаду: опять Валдик Энгер. Конечно, услышать его имя гораздо приятнее, чем обвинения в собственный адрес. Но это еще раз напомнило мне о том, как КГБ использует меня, вынуждая идти

навстречу их желаниям. Я жаловался, что всякий раз, когда я просил Энгера прилежнее относиться к своей работе в ООН и быть сдержаннее в его шпионской деятельности, он извинялся и обещал все выполнить, но все шло по-старому. А вернувшись из новогоднего отпуска, я обнаружил, что он пренебрег даже такой простой работой, как следить за подготовкой обзора прессы, который четырежды в день разносился в 50-60 офисов Секретариата. За время моего отсутствия резюме стали гораздо хуже, было много неточностей, остались незамеченными важные статьи или комментарии. По словам служащих, виноват в этом был Энгер.

Я вызвал его к себе и пригрозил, что если он не начнет честно отрабатывать свое жалованье, я вычеркну его имя из платежной ведомости ООН. Эта угроза и дошла до ушей Дроздова и заставила его срочно позвонить мне. Теперь, когда он просил меня быть снисходительней к его агенту, я решил извлечь все возможные выгоды из ситуации, в которой Дроздов — а не я — был в невыгодном положении.

— Я пытался идти вам навстречу, — сказал я резиденту, — но вы, наверное, не знаете, что это за человек. Он не держит своего слова. У него сейчас работа, которая не требует много времени, но он вообще ею не занимается. Он направо и налево трубит о том, что работает на вас. Это вызывает лишние разговоры и слухи, и я не представляю себе, как я могу дальше покрывать его.

Дроздов на минуту задумался, потом ответил:

— Мне его ошибки не кажутся такими уж важными, но... — и он опять сделал паузу, — я постараюсь взглянуть на это вашими глазами. Мы действительно хотим, чтобы он оставался в ООН. У вас есть какие-нибудь идеи на этот счет?

— Ну, я от него толку не добьюсь, — ответил я. — Может, вы сумеете повлиять на него? Вас-то он должен послушать.

Дроздов был вполне доволен, он полностью принял мое предложение, и мы расстались по-дружески.

Он, конечно, так и не узнал, как напугал меня его звонок. Может, именно этот инцидент был причиной того, что всю ночь меня мучили кошмары из моего детства. Несколько раз я просыпался весь в поту, с бьющимся сердцем. Мне привиделось начало войны, 1941 год, когда началась бомбежка и мы с матерью несколько ночей прятались в погребе с картошкой в нашем доме на Черном море.

ВОСПИТАНИЕ СОВЕТСКОГО ДИПЛОМАТА

7

Мое детство было счастливым, хотя и небогатым. В 1930 году, когда я родился, моя семья жила в шахтерском городе Горловка, на Восточной Украине. Отец работал врачом в маленькой больнице для железнодорожников, где мать была медсестрой.

Когда мне было пять лет, мы переехали в Евпаторию, курортный город в Крыму, на берегу Черного моря. Незадолго до войны отец стал заведующим туберкулезного санатория для детей высокопоставленных военных чинов и служащих.

Хотя отец всю жизнь старался не иметь ничего общего с политикой, он был вынужден в этой новой должности надеть форму подполковника Красной армии и вступить в партию. Все это вывело нас на новый общественный уровень.

Мой отец был добрым и теплым человеком. Дети, которых он лечил, очень любили его и буквально висли на нем во время врачебных обходов. Он часто подолгу задерживался на работе, и я ревновал его к чужим детям, с которыми он проводит столько времени. Когда ему было немного больше двадцати лет, он уже был единственным врачом в округе миль на пятьдесят.

Отец баловал меня и старшего брата, Геннадия. Мать пыталась с этим бороться, но я был упрямым ребенком и противился какой бы то ни было дисциплине. В роду моей матери были украинцы и поляки, у ее отца была небольшая портняжная мастерская в Харькове. В семье, кроме нее, было еще двое детей. Она была очень хорошенькой девушкой — ей было всего восемнадцать лет, когда она вышла замуж.

В самом раннем детстве мать привила мне любовь к чтению. Она постоянно читала и перечитывала мне русские народные сказки и Пушкина — эти воспоминания относятся к самым ранним.

В школе я не отличался особым прилежанием. Мне нравились литература и история, по этим предметам у меня всегда были пятерки, но по математике и естественным наукам я перебивался кое-как. В хорошую погоду я завел привычку прогуливать школу, отправлялся на море с книжкой – и целый день плавал и читал.

Я освоил шахматы и полюбил их; меня учили играть на пианино, но это занятие было мне не по душе. Одним из самых страстных моих увлечений стало коллекционирование марок, и к семи годам я знал названия большинства стран и колоний. Когда ко мне попадала новая марка, я отыскивал эту страну на карте. Так пробуждался мой интерес к миру, лежащему за пределами СССР.

Как мой брат Геннадий, я пробовал рисовать, но из этого ничего не вышло. Геннадий был на девять лет старше меня, и я подражал ему во всем. Он был прекрасным спортсменом, занимался рисованием и бредил авиацией. В нашем городке был авиационный клуб, и, как только мать позволила ему, он туда записался. Кончая школу, он твердо знал, что будет летчиком. Я был в ту пору сущим дьяволом, особенно когда к нам приходили его девушки: я частенько поджидал их, спрятавшись в ветвях яблони с кувшином воды, и, когда они проходили мимо, опрокидывал его им на голову. Геннадий стаскивал меня с дерева и колотил, но в следующий раз все повторялось снова: эти сцены частенько кончались взрывом смеха и борьбой, а мне только того и надо было.

В школе я постепенно подпадал под влияние советской пропаганды. Я рос патриотом, гордился своими пионерскими делами и был глубоко убежден в том, что все хорошее вокруг нас возникло только после революции. С самого детского сада нам постоянно внушали все эти истины. Учителя и вожатые твердили нам, что мы живем в обществе всеобщего благосостояния, самом лучшем и счастливом на протяжении всей истории человечества. Наше будущее прекрасно, но надо быть бдительным – у нас много врагов: капиталисты только того и ждут, чтобы отобрать у нас все, что мы имеем, и превратить нас в рабов. Нас учили, что в случае нужды мы должны быть готовы отдать жизнь за родину, за коммунизм.

С 1941 года мое счастливое детство оборвалось: мне было десять лет, когда Гитлер напал на Советский Союз. В первый же день войны немцы бомбили Севастополь, который нахо-

дится всего в 60 милях от Евпатории. Люди, объятые ужасом, стояли на улицах, следя за тем, как растекается в небе красное сияние от бомбежек. На наш город в тот день тоже было сброшено несколько бомб.

Скоро стали поступать сообщения об отступлении. Это было непонятно. Нас учили, что Красная Армия – непобедимая и всякий, кто осмелится напасть на Советский Союз, будет сокрушен. Я спросил отца, что происходит, но он не сумел мне ответить. В разговоре с одноклассником я высказал свое недоумение по поводу поражений Красной армии. Дима со мной согласился, но рассказал о разговоре отцу – политработнику в санатории. Тот тут же позвонил моему отцу, чтобы выговорить за недостаток лояльности у сына.

Вечером, выйдя со мной в сад, спускавшийся к морю, отец спросил, правду ли сказал комиссар:

– Ты действительно это говорил? Ты сказал, что наши воюют хуже немцев?

Он говорил тихо, но сурово. Я признался, что да, я говорил, что Советская армия отступает.

– Но ведь это правда, – добавил я.

– Идет война, – ответил отец. – Твой брат Геннадий сейчас готовится к полетам, ему придется рисковать жизнью. Как ты думаешь, приятно ему будет, если он узнает, что ты считаешь его плохим солдатом и говоришь, что он и его товарищи – слишком слабые, чтобы победить немцев?

Я заплакал. Брат был для меня богом, и я представить себе не мог, что способен чем-либо обидеть его. Отец взял меня за руку:

– Аркаша, – сказал он, – правда то, что ты говоришь, или нет – это неважно. Важно, что думают люди. Нельзя каждому встречному-поперечному выкладывать все, что может взбрести в твою самоуверенную голову. Тебя назовут пораженцем. Все подумают, что ты набрался этих идей у меня или у мамы. Ты хочешь, чтобы на нас донесли? Ты знаешь, что делают с предателями? Их расстреливают. Ты хочешь, чтобы нас расстреляли? – Я никогда еще не видел отца таким сердитым и подавленным. Он тряс меня обеими руками, глядя мне прямо в глаза. – Ты уже достаточно большой, чтобы соображать что к чему. Держи язык за зубами, говори только то, чему тебя учат, делай то, что делают другие, и храни свои мысли при себе – тогда все будет в порядке.

Он оттолкнул меня и зашагал к дому. Я стоял в темноте, дрожащий, униженный, несчастный. Отец даже голоса не повысил, но его почти шепотом сказанные слова взрывом отозвались в моей душе. Я понимал, что он зол на меня, но я понимал также, что он боится, и его страх передался мне: я тоже боялся.

Отец назвал меня самоуверенным умником, и он был прав. Я был упрям и подвергал сомнению распоряжения, которые мне не нравились. Когда я стал старше, меня часто ставило в тупик то, что действительная жизнь не совпадает с тем, чему нас учили. Я видел все то, что было запрещено обсуждать, но по большей части держал язык за зубами.

Осенью 1941 года немецкие войска заняли Крым и детей из санатория эвакуировали. Мы с матерью уехали вместе с ними. Нас привезли в Торгай, деревушку в Алтайских горах, и там мы прожили три года. Отец несколько раз ездил на фронт, но если не считать беспокойства за него и тревоги за Геннадия, жизнь была вполне сносной. У нас были продуктовые карточки, небольшой огород и даже корова – настоящая роскошь.

Вся наша жизнь была подчинена войне. Все слушали радио и следили за газетами. В кабинете отца висела карта, на которой мы красными флажками отмечали продвижение фронта. В нашем маленьком обществе мы живо обсуждали поражения и победы, переходя от безнадежности к эйфории. Образование антигитлеровской коалиции в 1942 году было общей радостью. Мы знали, что Америка помогает нам продуктами и оборудованием и очень тепло относились к этой стране. Я видел американские грузовики, у моего отца в санатории даже был "виллис" – гордость всей деревни. В кино шли голливудские фильмы, во многих воспевалась дружба между русскими и американцами. Я был уверен, что мы навсегда останемся друзьями, невозможно было представить себе, что что-нибудь разрушит эту связь.

Еще бушевала война, когда в 1944 году мы вернулись в Евпаторию. Город был неузнаваем: множество зданий превратилось в руины, на знаменитом побережье была протянута колючая проволока, здесь же валялись остатки огневых сооружений, многие места были заминированы. Среди жителей города было много бездомных, больных, потерявших на фронте близких. Мужчины возвращались с фронта калеками:

кто без руки, кто – без ноги. Немало было и других увечий. На улицах клянчили милостыню нищие ветераны, нацепившие на свои лохмотья все ордена и медали. На рынках они торговали своими наградами и старыми шинелями – все, что получили они за войну.

Вскоре я, как и многие советские люди, столкнулся с тем, что было ничуть не лучше войны. Весной 1944 года из Крыма, где они жили веками, были депортированы все татары. Их выгнали из домов, погрузили в вагоны для перевозки скота, без еды и питья, около 300 тысяч мужчин, женщин, детей. Все они были сосланы на том основании, что они сотрудничали с нацистскими оккупантами. Может, что-то действительно было, но меня это объяснение не устраивало: я знал, что отцы нескольких моих соучеников-татар воевали на фронте, в рядах Красной армии. За что же страдали жены и дети верных солдат?

В сентябре 1944 года мы получили извещение о гибели Геннадия: его самолет был сбит недалеко от Варшавы. Он летал с самого начала войны, сначала на деревянных развалюгах, потом на современных самолетах, и всегда выходил из боя невредимым...

Мы были очень близки с отцом, и, может, именно поэтому он рассказал мне о смерти Геннадия через несколько дней после получения похоронки. Он попросил меня ничего не говорить матери. Я никак не мог понять, как это так – неужели я больше не увижу брата, неужели он никогда больше не вернется домой? Эта мысль была так ужасна, что я не мог бы долго скрывать мои чувства от матери. В самые неподходящие моменты я мог разрыдаться. Я старался как можно меньше бывать дома. Отец разрешил мне читать у него в кабинете, заставлял меня играть с одноклассниками, но я долго не мог прийти в себя.

Время шло, и мать начала беспокоиться, что от Геннадия ничего нет. Она стала требовать, чтобы отец навел справки в Москве. Тогда он дал ей маленькую коробочку, в которой лежали вещи Геннадия, присланные летчиками его полка, и письмо от одного из его друзей, который был с ним в роковом полете. В коробочке лежали письма, семейные фотографии, фото его девушки, несколько набросков пером – пейзаж, портреты друзей, зарисовки мест, где он бывал. Ему было всего двадцать три года. Не думаю, чтобы моя мать оправилась от

этого шока. Отец боролся с горем на свой лад, стараясь больше работать. Этот год, когда мне исполнилось четырнадцать, стал для меня годом перехода из детства во взрослую жизнь. Я видел страдания моих соотечественников, и меня самого впервые коснулось настоящее горе.

К концу 1944 года относится и мое первое знакомство с миром и ментальностью тайной полиции. Это было накануне Рождества, через несколько месяцев после полного освобождения Крыма, и люди по главной улице Евпатории стекались к церкви и собирались группками вокруг нее.

Я с друзьями в тот вечер пошел в кино. Показывали немецкий трофейный фильм, мюзикл с русскими субтитрами. Веселая комедия всех нас развеселила и, когда фильм кончился, никто не пожелал идти домой. Мой друг Игорь, самый старший среди нас, заметил, как много народу на улице. Зоя, веснушчатая живая девочка, сказала, что сейчас канун Рождества и люди ждут, когда в церкви начнется служба. Она предложила нам пойти туда же, посмотреть. Я впервые был в церкви, и зажженные свечи, пение, запах ладана, роскошь одеяний священника – все это захватило меня. Мы пробыли в церкви до самого конца службы, изрядно за полночь.

Наутро в наш класс вошел высокий молодой человек и, что-то шепнув учителю, вывел меня из комнаты. Я испугался – может, что-то с моими родителями? Мой спутник похлопал меня по плечу:

– Не волнуйся, просто с тобой хотят побеседовать в НКВД.

В двухэтажном кирпичном здании меня привели к подполковнику Мигулину. Седой, изможденный человек, сидящий за заваленным бумагами столом, сказал мне, что я совершил серьезную ошибку, побывав в церкви, но что я могу исправить ее, назвав тех, кто был со мной. Я пробормотал, что я не участвовал в церемонии, я только хотел поглядеть, не зная, что в этом есть что-то плохое.

– Молоко на губах не обсохло, потому и не знал, – язвительно заметил Мигулин и объяснил, что священники используют мое присутствие на службе, чтобы показать, что религия привлекает молодежь.

На службе присутствовали несколько членов партии и какие-то важные чиновники. Мигулин хотел, чтобы я назвал их имена: чтобы он "и им мог объяснить их ошибку".

Меня напугало и это предложение, и мысль о том, что за

мной следят. Я сказал ему, что в толпе никого не узнал, и вышел из здания НКВД с напутствием "перестать шляться по церквям".

Я много думал об этом инциденте. Мигулин, конечно же, не достоин высокой миссии, возложенной на организацию, в которой он работает, и если бы Сталин знал о таком поведении, виновный, несомненно, понес бы наказание. Всем своим сердцем я верил в то, что Сталин справедлив и добр, почти что Бог. С раннего детства нам вдалбливали этот катехизис. Конечно, время от времени возле Сталина появлялись злые люди и давали ему плохие советы, но ему всегда удавалось в конце концов раскусить их и вывести на чистую воду. Я и сам не знал, что ход моих рассуждений был абсолютно типичен: "царь хорош – советники плохи" – так веками думали русские люди, оправдывая автократию. Разумеется, в мои четырнадцать лет я еще не мог глубоко вникнуть в сущность дела. Никто – ни в семье, ни среди друзей, не говорил, во всяком случае, в моем присутствии, о том, что творил Сталин в то время – террор и чистки, концентрационные лагеря и казни десятков тысяч невинных.

Но моя встреча с тайной полицией была всего лишь незначительным эпизодом в той атмосфере радостных надежд, которые владели всеми по мере приближения конца войны.

* * *

Однажды вечером в начале февраля 1945 года отец, заметно возбужденный, сказал мне и матери, что он должен немедленно отправиться на аэродром между Симферополем и Сочи: туда прибудут какие-то очень важные лица, и все это совершенно секретно.

На другой день, вернувшись домой, отец рассказал, что не только видел Сталина и даже пожимал ему руку, но познакомился и с руководителями союзников – Рузвельтом и Черчиллем. Они все едут на конференцию в Ялту.

На аэродром моего отца вызывали потому, что советская сторона хотела, чтобы несколько врачей, посмотрев на Рузвельта на близком расстоянии, дали оценку слухам насчет его плохого здоровья. По словам отца, все врачи сошлись на том, что Рузвельт и в самом деле выглядит нездоровым и очень усталым.

Много позже, уже работая в Министерстве иностранных

дел, я познакомился с теми, кто принимал участие в Ялтинской конференции, и узнал, что Сталин и Молотов пытались использовать к своей выгоде физическое состояние Рузвельта. Они оказывали на него сильное давление, рассчитывая, что болезнь сделает его более податливым в трудных и напряженных дискуссиях. У них никогда не было иллюзий насчет того, что Черчилль согласится с советскими идеями организации послевоенного мира, не верили они и тому, что Рузвельт – истинный друг Советов, но, по их мнению, с ним можно было скорее столковаться, чем с Черчиллем.

Конечно, мой отец не был посвящен в ялтинские переговоры, но он понимал, что дело идет о послевоенном мире. Он говорил нам, что на конференции будет рассмотрена идея создания новой международной организации для сохранения мира: наверное, тогда-то и возник мой интерес к ООН.

Не стану делать вид, будто моя послевоенная юность была хоть в какой-то степени омрачена муками пробуждающегося гражданского сознания. Это были хорошие и по большей части безмятежные годы моей жизни. Я играл в баскетбол и шахматы, собирал марки, бегал в театр, научился водить машину и вообще пользовался тем, что после смерти брата остался единственным ребенком. Школу я кончил в 1949 году. Мои интересы были столь разнообразны, что я не слишком представлял себе, какую профессию выбрать. Одно время я хотел быть летчиком, как Геннадий. Потом я пристрастился к кино, меня интересовала актерская и режиссерская работа.

Родители мечтали, что я последую по стопам отца и буду поступать в Симферопольский медицинский институт. Но я не хотел быть врачом. Я твердо знал, что хочу учиться в Москве, центре культурной и политической жизни, месте, где случаются самые важные и интересные события и где можно получить самое лучшее образование.

Я еще мечтал о режиссерской карьере, когда в 1949 году приехал в гости к двоюродному брату, который жил в Москве. Он попытался убедить меня в том, что мне нужно заняться языками, историей, юриспруденцией. После войны я очень интересовался политикой и историей. Мой кузен был студентом Московского государственного института международных отношений, и он уговорил меня попробовать поступить в это весьма закрытое учебное заведение для будущих дипломатических и политических кадров. Мне нравилась идея стать

дипломатом, по душе мне была и перспектива поехать за границу: я не собирался прожить всю жизнь в маленьком городке.

Однажды Берт Джонсон спросил меня, трудно ли было поступить в МГИМО, и я сказал, что и да, и нет. В мое время туда поступали еще на основании результатов экзаменов, но в 70-е годы институт превратился в учебное заведение для детей элиты, и тут оценки роли не играли. В Москве даже шутили, что единственный конкурс в МГИМО – это конкурс родителей – победителями становились те, кто занимал наиболее важные и влиятельные посты. Я и сам воспользовался своим служебным положением, чтобы обеспечить место в институте моему сыну.

Популярность МГИМО среди "золотой молодежи", детей крупных партийных и правительственных работников, объясняется тем, что этот институт открывает двери для работы за границей, и многих эта перспектива привлекает исключительно с точки зрения приобретения заграничных товаров. С расширением дипломатических отношений в послесталинскую эпоху заграничные путешествия стали привилегией высшего класса, и в 60-е–70-е годы высокий уровень образования, некогда типичный для МГИМО, сильно упал.

В мое время все-таки еще имелась какая-то степень интеллектуального конкурса, хотя критерием для приема являлись не одни только отличные отметки. У меня в семье все было в порядке, никто не занимался антигосударственной деятельностью; в моем аттестате были прекрасные оценки. Но и этого было мало: требовалась специальная рекомендация от Евпаторийского райкома. Вернувшись в Крым, я предстал перед партийными чиновниками, которые прочитали мне длинную лекцию о том, что я должен быть хорошим коммунистом (к тому времени я, разумеется, был комсомольцем), что учиться в Институте международных отношений – большая честь и удостоившиеся ее должны постоянно проявлять свою преданность делу партии и народа. Я изо всех сил старался придать себе вид внимательного слушателя, с энтузиазмом принимающего все наставления, и получил благословение партии.

8

1 сентября 1949 года я стал студентом МГИМО, который помещается в невзрачном сером четырехэтажном здании возле Крымского моста.

Поначалу МГИМО был небольшой специальной школой для подготовки дипломатических и других политических кадров, число студентов не превышало ста, и сам институт был отделением МГУ. Но в 1945 году он стал самостоятельным учреждением, которое курировало Министерство иностранных дел, а позднее также и Министерство внешней торговли. За год до моего поступления были созданы три факультета: международного права, международных отношений и мировой экономики. Затем добавились факультеты восточных языков и журналистики. Я выбрал факультет международного права и решил изучать французский, чтобы впоследствии работать дипломатом во Франции.

МГИМО отличается строгой дисциплиной и повышенной идеологизацией. Во главе каждого курса стоит начальник курса, обычно это офицер или бывший офицер МГБ (тогда так называлось КГБ). Эти люди обладают полномочиями контролировать абсолютно все, даже личную жизнь студентов. Все мы были членами партии или комсомольцами. Ни та, ни другая организация не защищала права студентов и не отстаивала их интересы, они функционировали как дополнительные наблюдатели при администрации, обеспечивая строгое выполнение всех правил, приказов и инструкций. Насколько мне известно, такой порядок никогда не вызывал никаких сомнений.

Как ни странно это может показаться по сегодняшним западным стандартам, но мы с уважением относились к комсомолу и с еще большим почтением – к партии. Наши старшие товарищи, члены партии до поступления в МГИМО либо служили в армии, либо работали. Мы находились под их влиянием и серьезно относились к их советам. Все они без исключения были ортодоксальными коммунистами, беззаветно преданными делу партии. Мы не знали, что партия как политическое движение выродилось, подчинившись личному контролю Сталина.

Учиться в институте было трудно. Кроме основных университетских курсов по праву, истории, экономике, литературе и т.д., в МГИМО преподавались еще и специализированные

курсы по целому ряду предметов, а также интенсивно изучались иностранные языки. В основе всех предметов лежало тщательное изучение марксизма-ленинизма, диалектического и исторического материализма, политэкономии и научного коммунизма. Упорный труд приносил желанные плоды, и в основном мы верили в правильность постулатов марксизма-ленинизма.

Однако, с другой стороны, нельзя было не заметить, что марксизм или ленинизм – его версия – не всегда последовательны, что они не объясняют сложные и разнообразные явления. Подобно многим другим, я видел различия между марксистско-ленинской теорией и ее практическим применением в СССР. Тем не менее большинство из нас непоколебимо верили в систему, как и в марксизм-ленинизм, несмотря на его противоречия, потому что полагали, что совершенной социальной теории просто не существует, и потому что мы очень мало знали о функционировании других обществ.

Правда, мы спрашивали наших профессоров, почему некоторые коммунистические постулаты, такие как постепенное превращение государства в народное самоуправление, отмена денег, материальное изобилие, не осуществляются на практике. Все отвечали по-разному. Обычно наши учителя говорили, что, поскольку наш эксперимент по построению коммунизма не имеет прецедентов, теории следует применяться к практической необходимости, или просто советовали нам применять диалектический материалистический метод к специфическим русским условиям.

Я пытался представить себе сущность марксистской диалектики, это было нелегко. Однажды вечером (это было в 1951 году) группа студентов готовилась в классе к экзамену по диамату. Мой друг, посмотрев учебники и конспекты, предложил свое определение. Тяжело вздохнув, он заметил: "Диалектика – странная наука. С ее помощью можно оправдать любое зло".

Подобные утверждения были опасны. Некоторых моих друзей исключили за аналогичные критические замечания. Мы должны были сдавать экзамены, не выказывая никаких сомнений в правильности теории и не требуя ответов на коварные вопросы. Но даже если мы и не пытались найти ответы на вопросы в самой практике советского общества, слабые места постоянно обнаруживались сами. На протяжении моей

учебы теория много раз пересматривалась, факты и концепции постоянно "корректировались" в учебниках и лекциях. Поскольку политика творилась по мановению руки Сталина, люди и даже целые народы, которые еще вчера были в фаворе, за ночь становились париями, устоявшиеся догмы обращались в ересь. Пропуск лекции мог обернуться катастрофой: ведь на ней могли объявить какую-нибудь новую истину, которая подлежала конспектированию.

Наши профессора изо всех сил вдалбливали нам, что советское общество управляется рабочим классом, так называемой диктатурой пролетариата – основным марксистско-ленинским инструментом для переходного периода от капитализма к социализму. Но элита презирала (и презирает) пролетариат, исключение составлют лишь Герои социалистического труда. Их используют в пропагандистских целях. Как и другие, я ясно видел, что советское общество ничуть не похоже на счастливый и цветущий райский сад для рабочих и крестьян, который изображался в наших учебниках, газетах и журналах, в кино и театре.

Многие факты о Марксе и марксизме-ленинизме, о революции и ее лидерах от нас скрывали. Мы не могли прочитать работы Льва Троцкого, они были запрещены. До того как я стал ездить за границу, где я смог прочесть более правдивую историю русской коммунистической партии, все, что я знал о нем, сводилось к определению "Иудушка Троцкий". Нам были недоступны и сочинения Зиновьева, Каменева, Бухарина и других крупных лидеров, объявленных "предателями" и "капитулянтами". Точно так же только в США я узнал, что Карл Маркс назвал цензуру "моральным злом, которое может иметь лишь самые дурные последствия".

Наше изучение марксизма было очень ограниченным: больше всего мы читали сочинения Сталина, но в программу входили также некоторые работы Маркса и Ленина. Более строгому отбору были подвергнуты труды Энгельса и Мао Цзедуна. Профессора и наставники не побуждали нас к самостоятельному мышлению и анализу, как это принято на Западе. Нас учили принимать на веру все, что было официальной догмой в данный момент. Этот подход и сейчас превалирует в Советском Союзе, исключение составляют лишь естественные науки.

Само собой разумеется, что такое образование предполага-

ет изрядные пробелы. Поэтому при обсуждении с западными интеллигентами проблем общего порядка, советские люди иногда выглядят невеждами. Но система образования и не ставит себе такой задачи. Ее цель – самым надежным образом и как можно на более долгий срок предупредить зарождение в студенческой голове крамольных мыслей.

По определению официальной советской педагогики, независимое поведение или мышление означает прежде всего способность понимать приказы и наилучшим образом выполнять их. На практике это означает, что любая инициатива, выходящая за установленные рамки, может рассматриваться как опасная и подавляется. Эта философия превратила многих советских людей в современных покорных крепостных. Конечно, когда я и мои ровесники проходили через эту своеобычную стиральную машину, мы этого не понимали. Вокруг нас почти не было людей, которые могли бы открыть нам глаза. Большинство активных участников революции 1917 года были убиты в чистках 30-х годов. Те же, кто выжил, прошли через столько мук или видели столько страданий, что держали язык за зубами и не высказывались ни о Сталине, ни о природе советской системы.

С раннего утра до позднего вечера я занимался – в классе или в библиотеке, и так шесть дней в неделю. Мальчишка-бездельник превратился в прилежного студента, и это было мое счастье. Когда мне было 19 лет, мой отец внезапно умер от кровоизлияния в мозг. Известие о его смерти было для меня страшным ударом, на некоторое время я впал в прострацию. Я до сих пор не могу четко припомнить, как родственники привезли меня в Евпаторию на похороны. Многие годы после этого я просыпался от того, что во сне звал его.

Вскоре я обнаружил, что смерть отца имела для меня и практические последствия. Всего через несколько месяцев после поступления в МГИМО я впал едва ли не в нищету. Для нас с матерью теперь единственным источником существования стала маленькая пенсия. Ей деньги были нужны больше, чем мне, и материальные проблемы встали во весь рост. Теперь иметь отличные отметки стало для меня важно и по этим причинам. Только отлчиная учеба давала мне небольшую стипендию.

Вскоре в моей жизни произошли новые перемены. В начале 1951 года, на катке в парке Горького я познакомился с

Линой, студенткой Института внешней торговли, хорошенькой, стройной блондинкой, полной изящества и жизнерадостности. Это была любовь с первого взгляда. В июне мы поженились, а через год у нас родился сын — мы назвали его Геннадием.

У Лины (сокращение от Леонтины) в жилах текла белорусская, польская, литовская и латышская кровь. Она родилась в деревушке Дзюбово, пограничной для всех четырех народов. Одни ее родственники считали себя поляками, другие — белоруссами или литовцами, они даже говорили на разных языках. Некоторые в конце 40-х — начале 50-х годов стали жертвами репрессий. Один ее дядя, поляк, был казнен до войны с Германией, причины так и остались неизвестны. Другой дядя, Адам, зажиточный крестьянин, без всякого объяснения был выслан, а его имущество конфисковано. Позже, когда ему, старому и больному, разрешили поехать в Москву навестить мою тещу, он рассказал мне свою историю. Он с ожесточением перечислял свои счета к советской власти, рассказывал о том, как она грабила крестьян, какой террор установила в Литве. В начале 50-х годов в лесах Западной Белоруссии и Украины, а также в Литве советские войска вели партизанскую войну с местным населением. Кое-что в истории Адама показалось мне неправдоподобным. В институте нам внушали, что люди, которые распространяют такие сказки, сотрудничали с нацистами.

Между тем я осваивался в столице. Получить разрешение на постоянное жительство в Москве почти невозможно. Граждане могут приезжать в город ненадолго, но даже для того, чтобы остаться здесь больше чем на сутки, требуется разрешение милиции, и она может его дать или не дать. Приехав в Москву в 1949 году, я получил временную прописку. Только после брака с Линой, которая уже была москвичкой, мне дали постоянную прописку.

Первые годы нашего брака были по-настоящему счастливыми. Нас не волновали даже наши жилищные условия: мы ютились в комнатушке в коммунальной квартире, в которой были еще две семьи, и одна из них состояла из девяти человек. Всего же в квартире, в трех комнатах, жили пятнадцать человек, с общей кухней и ванной, в которой были только уборная и умывальник. Чтобы вымыться как следует, нужно было идти в баню.

Но нам повезло, что у нас была хоть эта убогая комнатушка, принадлежавшая матери Лины и ее отчиму. В то время они жили в Австрии, где отчим, будучи инженером по профессии, работал на заводе, который Советы получили в качестве военных репараций. От него мы узнали, что на Западе можно жить лучше или, по крайней мере, богаче. Западная жизнь казалась мне ослепительной – столько разнообразия, столько возможностей. Лину привлекала главным образом материальная сторона, ее воображение пленяли рассказы матери о Вене. Еще большее впечатление производили тряпки, которые она привозила из Австрии. Я, признаться, тоже не был равнодушен к этим искушениям.

Каждую осень все студенты МГИМО отправлялись на картошку, в колхоз под Москвой. В колхозе всегда не хватало мужчин, и нищета колхозников, большинство которых составляли женщины, была поразительной. Многие жили в лачугах, без водопровода. Даже недалеко от Москвы во многих деревнях не было электричества. Естественно, что никаких стимулов работать на колхоз у этих людей не было, поскольку почти все, что они выращивали, отдавалось государству. Они предпочитали отдавать свою энергию и время собственным клочкам земли, чтобы прокормиться и продать выращенные овощи и фрукты на колхозных рынках, где за них можно было получить хорошие деньги.

Большинство студентов ничего не понимали в сельском хозяйстве, и наша помощь в лучшем случае была безвредна. Кроме того, эти кампании прерывали наши занятия, и в конце семестра приходилось работать с удвоенной силой, чтобы наверстать упущенное.

Помимо "картошки", все студенты были обязаны принимать участие в выборах в Московский совет народных депутатов и в Верховный совет в качестве агитаторов и пропагандистов. Это входило в наши комсомольские обязанности. Выборы никого не интересовали, и нашим долгом было убедить своих подопечных как можно раньше опустить бюллетени и, по возможности, добиться стопроцентного участия жителей в выборах, на этом настаивала партия. Некоторые только ухмылялись в ответ на наши уговоры: какая разница, все равно ведь выберут всех, кого назначили. Мы пытались убедить их, что кандидаты – самые лучшие люди, они прекрасно справятся с порученным им делом, а потому совершенно ни к

чему выдвигать больше одного кандидата: не брать же нам пример с "гнилых буржуазных демократий".

Я не понимал тогда, что и Верховный совет, и местные Советы — сами ничего не решают и существуют только для того, чтобы подтверждать уже принятые решения. Мне, как и другим студентам, казалось, что пассивность голосующих — результат их антиобщественной позиции, поэтому их необходимо воспитывать. Но многие вещи, на которые они жаловались, я понимал, ведь у меня тоже были свои проблемы, и я все с меньшей уверенностью отвечал на вопросы, которые они задавали мне как агитатору.

Однажды я вдруг пустился в разглагольствования перед самой неподходящей аудиторией, какую только можно было найти: перед высокопоставленным офицером КГБ. Его дочка когда-то лежала в больнице в Евпатории, и в знак благодарности за внимание, с которым относился к ней мой отец, полковник пригласил нас с матерью на обед. Я не знаю, что это было — то ли приступ скорби по отцу, то ли вино развязало мне язык,— но я вдруг начал перечислять вещи, с которыми, на мой взгляд, в советском обществе было что-то не в порядке. Я говорил об отсталости сельского хозяйства, о том, как плохо живут московские рабочие, как медленно идет строительство в Евпатории, как несправедливо обошлись с коллегами моего отца, врачами, которые были в немецком плену и с которыми до сих пор обращаются как с предателями. Я рассказал ему о том, что видел, работая агитатором. Тут, рассуждая о выборах, я особенно разошелся и заговорил о том, что узнал из специального курса по Франции, для которого я писал сочинение о конституционной системе, и в частности о выборах в этой стране. Я заявил, что хотя коммунистическую партию можно за это критиковать, но факт остается фактом: в плюралистской французской политической структуре коммунистическая партия имеет достаточно представительное число мест в Парламенте и избиратели могут выбирать между несколькими кандидатами.

В полемическом задоре, столь свойственном юности, я напомнил полковнику, что на дворе 1952 год, а съезд партии не созывался с 1939-го. Моя мать беспокойно ерзала на стуле и сердито смотрела на меня, но полковник молчал и не перебивал меня. Наконец, он сказал спокойно и четко, перегнувшись через стол:

— Аркадий, я очень любил твоего отца, поэтому выслушай меня, как друга. Ты молод, и тебе необходим серьезный совет. Ты слишком много болтаешь, это может тебе повредить. Думай, что хочешь, но держи язык за зубами. Это, может, и не очень приятно, но ничего страшного. А если ты будешь говорить все, что придет тебе в голову, то... последствия могут быть крайне нежелательные. Твой отец был прекрасным человеком. Не марай его памяти.

Его слова были как холодный душ, и я принял их близко к сердцу. Но домой я вернулся с чувством пустоты и горечи.

Я изучал право, и у меня постоянно возникали все новые вопросы. Советское право в изложении Андрея Вышинского, получившего мировую известность в качестве генерального прокурора на показательных процессах 30-х годов, извращало или отвергало большую часть основных положений юриспруденции, веками принятых в большинстве цивилизованных стран. Книга Вышинского "Теория судебных доказательств в советском праве" была в МГИМО основным учебником по советскому уголовному праву. Главное положение этой книги гласит, что обвиняемый может быть осужден, даже если имеется всего лишь вероятность вины, что признание обвиняемого является основным доказательством его вины и что никакой презумпции невиновности не существует и обвиняемый должен доказать свою невиновность.

Хотя вся эта философия была очень грустной, я пытался подвести под нее рациональную базу, как делал это в 14 лет, когда КГБ пытался заставить меня работать на них. Кроме того, я уже понял, что выступать с открытой критикой опасно, а такое понимание действует на сознание как наркотик, как сильное снотворное. Мои внутренние сомнения чаще всего выливались в то, что я уверял себя: ведь были мировая война, революция, гражданская война, а потом очень быстро началась вторая мировая война. И ведь не только в России, но и в других странах, в Европе и Америке тоже были кровавые революции, и гражданские войны. Но, читая о чистках, было трудно представить себе, что столько наших революционных лидеров оказались империалистическими шпионами и преступниками.

Конечно, тогда я не знал, что тот период сталинского правления, который станет известен как годы большого террора, все еще продолжается. Никто из нас не знал о ГУЛаге. Те еди-

ницы, что говорили хоть что-то о лагерях, считались сумасшедшими или пособниками фашистов. Для студентов МГИМО – во всяком случае, для подавляющего большинства их, существовал только один авторитет – Сталин, которого мы буквально обожествляли. За неправильности и ошибки ответственен не Сталин и не система, это дело рук отдельных людей, и мы были уверены, что ошибки можно исправить. Мы верили, что за большинство недостатков ответственность несут "империалистические агрессоры". Принимая официальную версию, что нашей стране пришлось принести слишком много жертв и потратить слишком много сил на войну, мы с радостью оправдывали наших руководителей и систему. Мы верили в это, потому что вокруг нас было множество напоминаний о трудностях войны, о разрушении и жертвах.

Странной атмосфере внутри Союза способствовала также напряженная международная ситуация. Моя надежда на послевоенные советско-американские дружеские отношения испарилась с началом холодной войны. Как и большинство моих однокашников, я принимал на веру официальное объяснение: американцы пытались применить против нас "атомный шантаж". Кроме того, мы знали, что их руководитель – это убежденный антикоммунист Гарри Трумэн, от него всего можно ожидать.

Самым обнадеживающим событием тех лет была победа Мао над антикоммунистами в Китае. Для нас было настоящей радостью провозглашение Китайской Народной Республики в 1949 году. В период 1949-56 гг., когда СССР и Китай объединились в едином фронте против империализма, недоразумения между ними были почти незаметны. Но хотя мы провозглашали свое братство с китайскими студентами, приехавшими по обмену в Москву, китайцы даже в этот период солидарности были как-то отчуждены, в отличие от студентов из восточноевропейских стран. Даже в эти дни сердечной дружбы долгая традиция недоверия между нашими странами не была изжита до конца.

С началом корейской войны в июне 1950 года холодная война превратилась в ледяную. Сначала казалось, что Москва отнесется к войне спокойно. В первую неделю сообщения о боевых действиях появлялись только на задних страницах газет и тон их был довольно бесстрастен. Но в июне повсюду прошли организованные по указанию правительства массовые

митинги. Ректор нашего института энергично осудил американских агрессоров и потребовал: "Руки прочь от Кореи!"

Большинство студентов боялись, что война может привести нас к военному столкновению с Соединенными Штатами и повторение второй мировой войны казалось вероятным. Некоторые не очень-то верили официальной версии, что Южная Корея напала на Северную, но никто не решался высказывать свои сомнения за пределами тесного круга друзей.

Это был самый разгар шпиономании. Правительство, преподаватели, мы сами постоянно твердили всем вокруг о шпионах или обвиняли кого-то в шпионаже.

В январе 1953 года в "Правде" появилась статья под заглавием "Арест врачей-вредителей". С этого знаменитого "заговора врачей", придуманного в основном Сталиным, началась антисемитская кампания. Москву наводнили странные слухи. Многие с готовностью верили, что евреи-врачи впрыскивали больным вещества, вызывающие рак, или заражали их сифилисом, или что евреи-аптекари, будучи американскими агентами, продавали таблетки из сухих блох.

Все это было такой чушью, что мы с Линой не могли поверить собственным глазам, читая эту статью. Я с детства знал многих коллег моего отца, евреев, которые делали для больных все, что только могли. Но тетя моей жены была замужем за врачом-евреем, и я стал относиться ко всему этому серьезно, когда он дрожащим голосом рассказывал о последствиях, которые возымела статья. Обедая у них, мы с Линой старались успокоить его, говоря, что "заговор", наверное, просто отдельное явление и, несомненно, результат ошибок, которые можно исправить. Но все мы знали, что и для него, и для нас все это звучит не слишком убедительно.

Однако вскоре и мы с Линой тоже заколебались. В конце концов, статья вроде бы была написана самим Сталиным. А вождь партии безупречен, и мы должны без колебаний принимать на веру все его утверждения. В душу закрадывались сомнения: может, все эти ужасные обвинения в "Правде" не так уж безосновательны?

Хотя появление этой статьи явилось мощным катализатором антисемитских настроений, я только позднее понял, какие глубокие корни имеет антисемитизм в советском обществе. Например, МГИМО, когда я там учился, был закрыт для евреев. Точно так же не принимались туда и женщины.

Считалось, что из них получаются плохие дипломаты. Ведь женщины, скорее всего, выйдут замуж, причем, наверное, не за дипломатов, и тогда мужей нельзя посылать за границу вместе с женами. А посылать женщин одних – слишком опасно: они могут влипнуть в какую-нибудь любовную историю или стать легкой добычей для империалистической разведки. При этом не учитывался тот факт, что мужчины тоже вовсе не обладают иммунитетом против эмоциональных привязанностей. Но, конечно, нет правил без исключений, и когда в МГИМО решила поступать дочь Молотова, ее приняли. После нее в институте появилось еще несколько женщин, хотя принимали их все еще неохотно.

В Министерстве иностранных дел тоже почти нет ни евреев, ни женщин. Я знал только одного еврея в ранге посла, который не стыдился признаваться в том, что он еврей. Смерть Сталина меньше, чем через два месяца после статьи в "Правде", спасла жизнь "еврейских врачей-заговорщиков" и предупредила массовые еврейские погромы. Но в то время я не сделал никаких выводов. Моя вера в Сталина оставалась непоколебимой.

9

Смерть Сталина в марте 1953 года была ужасным ударом. За годы его правления мы привыкли считать его народным спасителем. Наше едва ли не религиозное идолопоклонство было практически безгранично. Чуть ли не все студенты МГИМО буквально наизусть заучивали "Краткую биографию Сталина", которую он отчасти написал сам и в которой он изображался как воплощение силы и добра – некий сверхчеловек. Но мы верили этому и любили его. Аналогичной биографии Ленина в ту пору еще не было.

Мы не замечали в Сталине недостатков, на которые указывали некоторые западные исследователи: его жажды присвоить себе ленинские заслуги, его сильного грузинского акцента, монотонности и однообразия его речей. Для нас Сталин был изумительным оратором, а каждое его произведение казалось нам шедевром. Когда, проходя темными вечерами по Красной площади, люди видели освещенные окна Кремля, они часто говорили с восхищением, что это Сталин работает для нас, неустанно заботясь о благе народном.

Сейчас, в ретроспекции, это безграничное наивное обожание со стороны целого народа кажется невероятным, особенно когда вспоминаешь о тех ужасах, которые связаны с именем Сталина. И все же – очень точно выразил это чувство растерянности советский поэт Евгений Евтушенко: "Всю страну охватило нечто вроде всеобщего паралича. Приученные верить, что о всех о них заботится Сталин, люди чувствовали себя без него покинутыми и растерянными. Вся Россия рыдала. И я тоже. Эти рыдания были искренни, то были слезы горя – и еще, может, слезы страха перед будущим".

День похорон Сталина выдался холодным и ветреным. Стоя в толпе на Красной площади, я видел процессию советских руководителей и родственников Сталина, в том числе его сына Василия, генерала военно-воздушных сил. Они следовали за гробом Сталина, водруженным на лафет. Маленков, Берия и Молотов в своих речах возносили хвалу покойному диктатору. Мрачный Берия – в большой черной шляпе, низко надвинутой на глаза, и тяжелом, типично русском пальто – был похож на Распутина. Во время его речи я заметил у гроба какое-то замешательство. Мне не было видно, что там случилось, но позже я узнал, что Василий Сталин, пьяный в дым, кричал на Берия, обзывал его и обвинял в убийстве отца.

При жизни Сталина по Москве ходило множество историй о буйном поведении Василия. Рассказывали, например, что, будучи постоянно пьян, он любил гнать машину на полной скорости и стал виновником нескольких аварий, в которых погибли люди. Казалось, сам он был заговорен – с ним ничего в этих авариях не случалось, и он отделывался репримандом и легким наказанием. Но на этот раз настала пора платить по счетам. Берия ничего не простил и не забыл. Вскоре после инцидента на похоронах Василий оказался замешанным в скандал в каком-то ресторане. Берия лично проследил за тем, чтобы его с позором выгнали из армии и осудили на восемь лет тюрьмы. Затем он был сослан в Казань и умер там от алкоголизма в 1962 году.

Нас не удивило, что Георгий Маленков стал и первым секретарем ЦК, и председателем Совета министров. Он выдвинулся за несколько лет до смерти Сталина и вместе с Берия и Молотовым вошел в первый триумвират послесталинского руководства. Ходили слухи, будто Маленков – племянник Ленина. Поговаривали, что это сочинил сам Маленков, чтобы

утвердить свое право быть законным наследником Сталина. Новый премьер быстро приступил к изменениям во внутренней и внешней политике. Я помню, с каким воодушевлением были встречены его обещания повысить жизненный уровень, улучшить положение в сельском хозяйстве и облегчить госпоставки.

Студенты МГИМО бесконечно спорили о том, что же действительно может измениться во всем этом хаосе. Ходили слухи о борьбе за власть, которая идет в ЦК. Никита Хрущев, обладавший куда большим влиянием, чем нам казалось, продолжал консолидацию своих сил, особенно внутри партийного аппарата, и одновременно действовал и против Маленкова, и против Берия.

В начале июня 1953 года наш курс послали в военный лагерь. Однажды утром, выстроившись на поверку, мы заметили, что среди портретов членов ЦК, висевших рядом с флагом, нет портрета Берия. Это было странно: он человек известный, ближайший помощник Маленкова. Наш инструктор ничего не говорил, но мы понимали, случилось что-то серьезное. 10 июля, уже после нашего возвращения в Москву, пресса сообщила, что Берия совершал "преступные действия против партии и государства" и пытался поставить Министерство внутренних дел, которым руководил, над правительством и партией. Он был арестован на совместном заседании ЦК партии и Совета министров и затем расстрелян.

В 1954 году я окончил МГИМО. Мне нравилось учиться в институте, но я ничего не имел против прекращения скучных и расписанных по часам занятий. В те дни престиж МГИМО был весьма высок: сильная академическая программа, немало выдающихся профессоров делали его одним из лучших вузов. В следующее десятилетие институт подготовил множество политиков и чиновников, которые уже вышли на сцену и, несомненно, будут играть важную роль в судьбе СССР к концу XX столетия. В самых разных отраслях политической структуры можно видеть выпускников МГИМО, занимающих высокие позиции, достигших едва ли не самой вершины. Особенно это относится к Министерству иностранных дел: два заместителя министра – Анатолий Ковалев и мой сокурсник Виктор Комплектов, многие послы и начальники основных отделов – выпускники МГИМО. Немало их и в Центральном комитете, в Академии наук, среди политических обозревателей – имена некоторых хорошо известны на Западе.

Я намеревался поступить в аспирантуру. Но в один прекрасный день начальник отдела кадров института передал мне, что меня вызывают к какому-то человеку, который хочет поговорить со мной о моем будущем. В большом здании на Садовом кольце мне был оставлен пропуск. Едва войдя туда, я поразился строгости, с которой соблюдались здесь все правила секретности. Мой пропуск проверили несколько раз самым тщательным образом, меня сопровождал специальный человек, который и привел меня в кабинет, где сидел майор КГБ. (Я понял, что он сотрудник КГБ, по его погонам.) Он был вежлив и обходителен, предложил мне сесть и сказал:

– У вас хорошие рекомендации от института. Что вы скажете, если мы попросим вас поработать в КГБ?

Его предложение удивило меня. Я никогда не выражал ни малейшего интереса к подобной карьере. Я сказал ему, что хочу продолжить свое образование в аспирантуре. Он выразил полное понимание, но все же посоветовал серьезно подумать. Я согласился. Через несколько дней я попросил сотрудника отдела кадров МГИМО передать майору, что я решил поступать в аспирантуру. При этом у меня было смутное чувство тревоги, но, к счастью, КГБ не пытался переубедить меня. Его влияние было сильно подорвано падением Берия.

Студенты МГИМО плохо представляли себе жизнь за пределами СССР. Было бы вполне логично предположить, что раз мы были привилегированными студентами дипломатического института, мы пользовались доступом к информации, публикуемой на Западе, но это не так. Я никогда не читал буржуазных газет типа "Нью-Йорк Таймс" или "Монд". Такие материалы были доступны только аспирантам, да и то с известными ограничениями. Что же до слушания передач зарубежного радио – в то время за это по головке не погладили бы.

Но став аспирантом, я начал получать двойное образование, которое шло по параллельным, хотя и различным направлениям. Мое второе образование я получал в специальном отделе библиотеки (спецхране), где хранились западные газеты, журналы и книги. Я пришелся по душе библиотекарше, и она, в нарушение правил, позволяла мне рыться на полках, куда допускались только обладатели особого пропуска. Читая эту литературу, я начал лучше понимать мир во всей его реальности. Проблемы, идеи и даже решения, неведомые мне прежде,

заставляли меня с новой силой сомневаться в том, чему меня учили.

Западные периодические издания в области права, типа французского "Ревю Женераль дю Друа Интернасьонал Публик" и другие имели приложения с перечислением в хронологическом порядке международных событий. Здесь были также отчеты о различных соглашениях и полные такеты речей глав наций, было даже несколько заявлений Гитлера, которые, очевидно, не приметил цензор. В моем понимании истории недавнего времени произошел качественный скачок.

Но самое большое влияние на меня оказал профессор Всеволод Николаевич Дурденевский. Мне невероятно повезло, что он согласился стать моим научным руководителем. Он одобрил мой проект изучения советской политики в области разоружения, и под его мудрым руководством я написал диплом, вполне оригинальный по мысли, но не содержащий ничего криминального.

Дурденевский верил в свободный академический поиск. Худой, сутуловатый, очень корректный и невероятно требовательный к студентам, он был воспитан в дореволюционной традиции и верил в ее достоинства. Занимая пост старшего советника по правовым вопросам в Министерстве иностранных дел, он тем не менее не был членом партии. Его опыт позволял ему оставаться в стороне от политики, а занимаемое положение давало ему знание советской внешней политики изнутри. Мне казалось, что в нем сочетаются самые лучшие качества этих двух миров — науки и политики. Он мог заниматься своими научными изысканиями и обладал достаточным авторитетом, чтобы давать советы тем, кто отвечал за подлинную политику. Стоя вне бюрократической системы, он мог оказывать на нее влияние. Я восхищался им и мечтал быть таким, как он.

Поскольку с помещениями в МГИМО было, как и во всей Москве, плохо, Дурденевский стал приглашать меня к себе домой, где мы и обсуждали мою работу. Там, в кабинете, заваленном книгами, началось мое подлинное образование. Дурденевский не хотел, чтобы я, как попугай, повторял то, что уже написано советскими исследователями о разоружении, он требовал чтобы я много читал и делал свои собственные выводы.

Роль Дурденевского как наставника не сводилась к чисто

академическим занятиям. Мы так подружились, что он иногда рассказывал мне о закрытом мире Министерства иностранных дел. От него я узнал, что следствие по делу Берия бросило тень на Маленкова: Берия, защищаясь, уверял, что поскольку Маленков в преследовании честных коммунистов во время больших чисток был правой рукой Сталина, то, мол, и он виноват во всем. От Дурденевского я узнал о все возрастающей роли Хрущева в руководстве: в сентябре 1953 года Хрущев в конце концов и заменил Маленкова на посту первого секретаря.

Дурденевский говорил, что Никита Хрущев настаивает на существенном пересмотре сталинской внешней политики, намереваясь пойти дальше, чем Маленков и Молотов. Слишком опытный, чтобы быть неосторожным, Дурденевский тем не менее не разочаровывал меня в надеждах на близкие перемены в советской политике после стольких лет застоя.

Я был не одинок в этих надеждах: студенты МГИМО чувствовали, как в стране возникают новые силы, и мы верили в перемены к лучшему. Многие мои сокурсники ориентировались на старую русскую идею — о контактах с Западом и заимствовании его опыта. Такому направлению мыслей способствовали путешествия Хрущева в Югославию, Индию, Великобританию, сердечная, хотя и незавершенная встреча на высшем уровне в Женеве в 1955 году, энергичные попытки Хрущева перестроить основы экономики, правда беспорядочные и безуспешные.

Я заинтересовался вопросами разоружения, прочитав статьи на эту тему в советской прессе, но не был уверен, стоит ли тратить столько времени на этот предмет. Итоги переговоров в этой области не были ни особо захватывающими, ни обнадеживающими. Более того, было вовсе не просто даже следить за ходом переговоров. Огромные папки с документами о разоружении между двумя мировыми войнами, которые я нашел в институтской библиотеке, стояли не под тем индексом: очевидно, этот материал не вызывал особого интереса. Отчеты о работе Комиссии ООН по атомной энергии, охватывающие период сразу после второй мировой войны, были более последовательны в плане хронологии, но многие документы отсутствовали. Возражения Андрея Вышинского против плана Бернарда Баруха по международному контролю за атомной энергией звучали убедительно, но многие предложения Бару-

ха тоже были вполне разумны. Интерес к этой теме возродился во мне заново после разговора с Дурденевским.

Из этого разговора я вынес впечатление, что возможны новые советские инициативы по разоружению. Он снова назвал Хрущева в качестве главного зачинщика этих инициатив. Тогда-то, в предчувствии этой надежды, я и согласился писать диссертацию. Весной 1955 года была опубликована наша совместная с Дурденевским статья "Незаконность применения атомного оружия и международное право", позднее появилось мое исследование "Проблемы атомной энергии и мирное сосуществование". Так интерес к разоружению на многие годы стал делом моей жизни.

Именно благодаря занятиям этими проблемами я впервые встретился с Андреем Громыко. Анатолий, сын Громыко и мой товарищ по институту, предложил мне в 1955 году написать вместе статью для журнала "Международная жизнь" о роли парламента в борьбе за мир и разоружение. "Международная жизнь" – полуофициальный орган Министерства иностранных дел, Андрей Громыко был (и остается) его главным редактором. Анатолий предложил сначала показать статью отцу, я охотно согласился. Громыко в ту пору был первым заместителем министра иностранных дел и пользовался известностью в Советском Союзе и за рубежом как видный дипломат.

Он сердечно принял нас в своей просторной квартире в одном из зданий в центре Москвы, где живут правительственные работники и высшие партийные чины. При всей огромности квартира была настолько безлика, что казалась скромной: тяжелая, темная, лакированная мебель, темные ковры.

Однако Громыко выделялся на этом невыразительном фоне. Он выглядел в жизни точно так же, как на фотографиях, – сильный, хорошо сложенный, чуть выше среднего роста, с тонкими, плотно сжатыми губами, густыми бровями и черными волосами. В пристальном взгляде карих глаз, во всем его облике ощущалась уверенность и сила. У него был звучный, довольно низкий голос, говорил он очень четко, взвешивая каждое слово. Вспоминая наше знакомство с Громыко, я каждый раз удивляюсь, как мало он изменился за эти годы.

Внимательно прочитав нашу рукопись, Громыко сделал несколько замечаний, очень верных и точных, и одобрил статью. В последовавшем затем разговоре мне понравились его

теплые слова о советско-американском союзе военных лет против гитлеровской Германии. В тот момент самые морозные дни холодной войны были уже позади, но слова Громыко о необходимости и возможности восстановить хорошие, если не подлинно дружеские отношения с Соединенными Штатами, выходили далеко за рамки советской официальной позиции в этом вопросе.

В конце концов Громыко спросил, чем я собираюсь заняться, когда закончу диссертацию. Я ответил, что мне нравятся научные исследования, но в то же время я очень интересуюсь международными делами. Он заметил:

– Заниматься наукой – всегда полезно, и вполне возможно сочетать это с дипломатической службой.

Позже Анатолий рассказал мне, что, несмотря на загруженность в министерстве, его отец сумел найти время для докторской диссертации о господстве американского доллара в капиталистическом мире.

Анатолий во многом напоминал отца – и внешне, и характером. Он так же упорен, как отец, у него отличная память, внимание к деталям и такая же суховатая манера общения. Но его личная жизнь и карьера сложились не блестяще. Его первая жена ушла от него к сыну Анастаса Микояна, занимавшего в то время более высокое положение, чем Громыко. Анатолий очень хотел стать профессиональным дипломатом, но в этом ему помешало положение отца. Он занимал за границей несколько постов, но высот не достиг. Какое-то время он служил в Англии, затем в качестве советника – в посольствах США и Западной Германии. Даже при той семейственности, что пышным цветом процветает среди советской элиты, иметь сына или дочь в непосредственном подчинении – все-таки неприлично.

У нас с Анатолием в те годы было много общего, – обсуждая дальнейшее развитие событий в СССР, мы сходились во многом. Помню, с каким интересом ожидали мы съезда партии в феврале 1956 года. Столько важных событий произошло после последнего съезда в 1952 году: умер Сталин, разоблачен Берия, стало меньше чувствоваться всевластие КГБ, наметились новые тенденции во внутренней и внешней политике.

Отчет Хрущева Центральному комитету и речи других руководителей на съезде содержали целый ряд новых выводов и

суждений. Всех потрясла открытая критика политики прошедших лет, внешней и внутренней, и публичное признание наших недостатков в экономике, сельском хозяйстве, в области идеологии.

В своем отчете Хрущев лишь однажды упомянул имя Сталина, сказав, что "смерть вырвала из наших рядов И.В.Сталина". Зато он намекнул на "культ личности" Сталина и совершенные им "ошибки". Намеки на эти "ошибки" имелись также и в выступлениях других руководителей, особенно в речи Микояна, который был гораздо откровеннее, чем Хрущев. Для меня речь Микояна была особенно интересна тем, что в ней он ответил на вопросы, постановку которых превратно истолковывали наши профессора в МГИМО. Он открыто критиковал книгу Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР", а ведь мы должны были заучивать наизусть каждую фразу из этого произведения. Он сказал, что книга "не объяснила сложного и противоречивого феномена современного капитализма или того факта, что во многих странах после войны капиталистическое производство возросло". Далее он заявил, что "мы не подвергаем факты и цифры тщательной проверке и часто довольствуемся тем, что в пропагандистских целях отбираем изолированные факты, свидетельствующие об углублении кризиса или иллюстрирующие обнищание рабочих (в капиталистических странах), но не обеспечиваем многосторонней глубокой оценки явлений, имеющих место в других странах".

В докладе Микояна ставилась под сомнение ценность всех наших учебников и лекций, которые мы слушали: "Большинство наших теоретиков занимаются тем, что постоянно повторяют старые цитаты, формулировки и постулаты. Какая наука может существовать без новых открытий? – задавал он риторический вопрос. – Это скорее школярское упражнение, а не наука, поскольку наука – творческий процесс, а не повторение прописных истин".

Выступления на партийном съезде укрепили мое подозрение, что во многих случаях в официально одобренных работах или учебниках невозможно найти правду. Однако все это бледнело по сравнению с тем, что произошло потом.

После съезда секретарь нашего аспирантского парткома сказал мне, что скоро состоится закрытое партийное собрание, на котором будет прочитан очень важный документ. Я

еще не был коммунистом, но считался хорошим комсомольцем, и он разрешил мне присутствовать на этом собрании. Во вступительном слове секретарь сказал, что прочитает доклад Хрущева, сделанный на съезде и не предназначающийся для публикации. Он подчеркнул также, что содержание доклада секретно и нам не следует распространяться на эту тему. Когда он начал читать доклад, в комнате возникло оживление. Произносимые четким голосом, до нас долетали слова: "После смерти Сталина ЦК партии начал постепенно, но настойчиво проводить политику разъяснения того положения, что для марксизма-ленинизма является непозволительным и чуждым особо выделять какое-либо отдельное лицо, превращая его в сверхчеловека, наделенного сверхъестественными качествами, приближающими его к божеству... Вера в возможность существования такой личности и в особенности такая вера по отношению к Сталину культивировалась среди нас в течение долгих лет".

Еще большее оживление вызвали строки о том, что Ленин уже много лет назад заметил отрицательные черты Сталина, которые привели к таким тяжелым последствиям. Секретарь читал: "В декабре 1922 года, в письме к партийному съезду Владимир Ильич писал: "Став Генеральным секретарем партии, товарищ Сталин сосредоточил в своих руках огромную власть, и я не уверен в том, что он всегда будет в состоянии использовать эту власть с необходимой осторожностью".

Это письмо – политический документ огромного значения, известный в истории партии как политическое завещание Ленина, – был распространен среди делегатов XX съезда КПСС.

...Владимир Ильич говорил: "...Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого поста и замены его другим человеком..."

Разумеется, никто из нас и понятия не имел о существовании "ленинского завещания". В собрания его сочинений оно не включалось. Трудно было представить себе, как это столь важный документ мог быть выкинут из многотомного издания. Невольно приходила мысль, а что же еще не вошло в собрание сочинений Ленина?

А секретарь между тем продолжал: "Сталин создал концепцию "враги народа"... Это привело к неслыханному нарушению революционной законности, в результате чего пострадало много абсолютно ни в чем неповинных людей..."

Вот она правда. Но эти разоблачения вызывали новые вопросы. Неужели только Сталин и Берия ответственны за все эти преступления? Разве можно поверить, что сотрудники Сталина – Жданов, Маленков, Молотов, Каганович, Булганин, сам Хрущев – не знали, что происходит, и не были соучастниками?

Слухи о тяжелом характере Сталина, о том, как груб он в обращении с людьми, ходили давно, и, слушая доклад, я вспомнил разговор с одним из моих профессоров, Александром Пирадовым. Он познакомил меня с коллегой по МГИМО Григорием Морозовым – первым мужем Светланы Сталиной. Я полюбопытствовал у Морозова, что он может сказать о Сталине как о тесте. Он ответил, что Сталин не пожелал с ним познакомиться: Сталин не просто недолюбливал его за то, что он был евреем, он в конце концов заставил дочь развестись с Морозовым и быстро выдал ее замуж за сына Жданова. В концентрационный лагерь Морозова не посадили – Сталин придумал ему другое наказание: он распорядился, чтобы Морозова нигде не брали на работу. Бедняга зарабатывал на жизнь статьями, которые публиковались под псевдонимом. В этом ему тайком помогали бывшие сокурсники. После смерти Сталина Морозов стал профессором МГИМО и сотрудником Института мировой экономики Академии наук.

После чтения доклада никакого обсуждения не было. Предложение секретаря "целиком и полностью" одобрить ленинскую линию съезда было принято с поразительным единодушием. Все расходились молча, хотя обычно после таких собраний всегда завязываются оживленные беседы. Для меня обнадеживающе прозвучали слова Хрущева, что все это осталось в прошлом и что теперь в советском обществе наступят перемены: будет покончено с лицемерием, разовьется демократия, произойдут перемены во внутренней и внешней политике. Я старался поверить, что лично Хрущев не участвовал в сталинских преступлениях. В конце концов хватило же у него мужества открыть правду.

Как и многие из нас, я жадно читал повесть Ильи Эренбурга "Оттепель". Это был призыв к расширению интеллектуальной свободы в СССР, а название повести стало названием целого периода советской истории – в "хрущевскую оттепель" началась политика умеренной либерализации.

После публикации в нескольких номерах "Нового мира"

за 1956 год повести Владимира Дудинцева "Не хлебом единым" тоже возникло ощущение перемен. Главной темой повести стало право человека противостоять официальной точке зрения. При Сталине такое утверждение было бы немыслимо. Тот, кто осмелился бы отстаивать подобную "ересь", подвергал бы себя смертельной опасности.

В моей личной жизни тоже произошли кое-какие приятные перемены. На гонорары за статьи, деньги, вырученные за продажу пианино, и благодаря повышению стипендии мы с Линой в 1955 году переехали в новую квартиру. Ее окна выходили на фабричные трубы, но зато здесь была настоящая ванная и в квартире, кроме нас, жила всего одна пожилая пара. Я был оптимистично настроен в этот поворотный момент в моей жизни – учеба подходила к концу, передо мной открывались многообещающие перспективы. А нововведения Хрущева и моя счастливая семейная жизнь укрепляли веру в светлое будущее.

10

Мои занятия в аспирантуре приближались к концу. Я заканчивал диссертацию, когда меня вызвали в Министерство иностранных дел на беседу с Владимиром Сусловым, заместителем Семена Царапкина, заведующего отделом по делам ООН и разоружению (ОМО). Суслов – стройный мужчина с карими глазами и лысеющей яйцеобразной головой – тепло встретил меня.

– Мы знаем о ваших работах по разоружению, я читал ваши статьи, – сказал он. – Разоружение становится важным вопросом, и мы хотели бы, чтобы вы работали у нас.

Его предложение заинтересовало меня, но были и кое-какие сомнения. Мне нравилось заниматься наукой, хотя я и знал, что у советских ученых ограниченный доступ к информации и к тем, кто занимается непосредственно политикой. Мне было интересно приобрести то знание системы изнутри, которое я мог получить только в министерстве, но вместе с тем я не любил бюрократическую рутину. Некоторые мои сокурсники уже работали на низших дипломатических постах, они рассказывали об удручающей замедленности продвижения по службе, о строгой, едва ли не военной дисциплине, об иерархах, которые посылают распоряжения вниз, но

не прислушиваются к предложениям снизу: это объяснялось тем, что в министерстве все еще пользовались влиянием партийные кадры, заполнившие его после того, как в сталинских чистках были уничтожены профессиональные дипломаты старой школы.

Но какая-то часть моей души – та часть, которая всегда мечтала увидеть Париж, Нью-Йорк, вообще Запад, – противилась моим ученым устремлениям и побуждала меня принять предложение Суслова. Настаивала на этом и Лина. Она перечисляла моих сокурсников, которые уже успели побывать за границей и навезли всяких западных тряпок, что, разумеется, украсило их существование. Они были счастливы, и впереди их ждала увлекательная и интересная жизнь.

– Для тебя это замечательная возможность, – уверяла жена. – Ты ведь ради этого столько лет работал, учился. У тебя будет хорошая работа, и мы наконец сможем прилично жить, покупать хорошие вещи, вырваться вперед.

Но я не успел еще дать ответ Суслову, когда мне снова позвонили из министерства, на этот раз с предложением встретиться с Семеном Царапкиным.В кабинете, за столом, заваленным бумагами и книгами, уставленным несколькими телефонами, величественно восседал его хозяин. И сам он, и вся обстановка производили подавляющее впечатление.

– Мы начинаем новую политику, которая предусматривает серьезные переговоры по разоружению, – сказал он. – Одно дело – изучать все эти материалы, и совсем другое – участвовать в реальной работе. Почему бы вам не попробовать? Начните работать, и вы поймете, нравится ли вам это дело и захотите ли вы остаться у нас.

Он предложил мне ранг атташе. Это было на ступень выше обычного ранга начинающего дипломата. Я больше не колебался. В октябре 1956 года я пришел на работу в Министерство иностранных дел.

Первая проблема, с которой я столкнулся, это найти стол для работы. Я и представить себе не мог, что это так сложно, но при советской бюрократической системе людей всегда оказывается больше, чем рабочих мест, и несколько человек часто вынуждены работать за одним столом. Однако мне повезло: мне разрешили пользоваться столом сотрудника, который временно находился в Лондоне. Владельцем же собственного стола я стал лишь шесть месяцев спустя.

Министерство иностранных дел расположено на Смоленской площади, в высотном здании, где находится также и Министерство внешней торговли. Это двадцатитрехэтажное нагромождение башен и крыльев – типичный образчик архитектурного стиля сталинской эпохи. На украшательства роскошного экстерьера здания денег не жалели, но практическим удобствам внутри и строители и проектировщики уделили минимальное внимание. Больше сорока процентов площади внутри здания занимают длинные, выкрашенные в серо-коричневый цвет коридоры-пещеры, в которых гулко отдается эхо голосов, шагов и звуков, издаваемых шестью допотопными лифтами. Вдоль коридоров тянутся кабинеты, большие комнаты с высокими потолками. В каждой, зажатые стеллажами и столами, под вечный треск телефонов и пишущих машинок работают минимум шесть-десять человек, а то и больше.

В здании несколько контрольно-пропускных пунктов: первый у главного входа, второй – у входа к лифтам Министерства иностранных дел. Один из моих коллег объяснил мне, что это сделано для того, чтобы помешать "проникать" в наше министерство работникам Министерства внешней торговли, которое занимало первые шесть этажей здания, – этим "торгошам" верить нельзя. Третий пункт находился у лифта на седьмой этаж, где расположены кабинеты Громыко и других чиновников из высшего эшелона министерской иерархии. Здесь коридоры были отделаны полированным деревом, а полы застелены коврами, которые заглушали шаги.

Я работал на десятом этаже, в комнате, которую делил с еще тремя начинающими дипломатами. Все мы входили в специальную группу по разоружению, недавно созданную внутри ОМО. Заведовал группой мой непосредственный начальник Павел Шаков, чиновник старой гвардии, дипломат с внушительным опытом. В принципе, он должен был бы объяснить мне мои обязанности, но от него я получил лишь самое поверхностное описание моих будущих занятий. Мне довольно долго пришлось ждать конкретных заданий, потому что всеобщее внимание было в ту пору сосредоточено не на проблемах разоружения, а на событиях в Польше и Венгрии.

Мой друг и бывший соученик по МГИМО Виталий нес-

колько лет работал в нашем посольстве в Варшаве. Однажды, когда он был в Москве, мы встретились с ним в ресторане, хотелось вспомнить былые дни, поговорить о политике. Виталий рассказал, что в октябре Владислав Гомулка был избран первым секретарем Польской Объединенный Рабочей партии вопреки желанию советского руководства. Это было неслыханно, но Хрущев и другие советские руководители вынуждены были принять Гомулку, потому что не хотели применять силу против поляков. В Польше это могло оказаться опасным: большая страна, многочисленное население. Но не только размеры страны останавливали их. Виталий сказал мне:

— Знаешь, поляки нас ненавидят, они без колебаний будут драться против нас.

И я знал, что так оно и есть. Тем не менее он подчеркнул, что польская компартия контролирует положение, ограничивая свои уступки мелкими внутренними делами, так что опасности, что Польша может выйти из социалистического лагеря, не существует.

Еще одно свидетельство на эту тему я получил от другого своего друга и однокурсника Саши, племянника знаменитого маршала Константина Рокоссовского. Блестящий офицер, Рокоссовский пал жертвой сталинских предвоенных чисток, будучи арестован из-за своего польского происхождения. Но когда началась война, Сталин вынужден был освободить Рокоссовского. В 1949 году Сталин назначил его министром обороны Польши. Саша рассказывал мне, что польская армия ненавидела "русского маршала". Это назначение глубоко оскорбило чувства поляков. На Рокоссовского было совершено несколько покушений, в воинские части он выезжал редко, и только под усиленным эскортом советских охранников.

Еще больше поразили меня и некоторых моих сослуживцев по министерству события в Венгрии. Антисоветский, антикоммунистический взрыв в Венгрии, последовавший непосредственно за "польским октябрем", был попыткой настоящей революции. Венгерским повстанцам сочувствовал весь Запад, но никто не оказал им военной поддержки. Венгры храбро сражались, но восстание было подавлено, и венгры и русские понесли немалые потери.

Как и многие мои коллеги, я считал, что Имре Надь зашел слишком далеко, объявив о выходе Венгрии из Варшавского договора и попытавшись подорвать социалистическую систе-

му в стране. Но меня потрясла жестокость, с которой было подавлено восстание. Если Хрущев действительно стоит за демократизацию и либерализацию в СССР, то почему же так жестоко обошлись с венграми? Может быть, Хрущев не пользуется всей полнотой власти в ЦК? Может, там существует некая сильная, скрытая оппозиция его политике десталинизации?

Позже меня просветил на сей предмет другой мой сокурсник по МГИМО, служивший в нашем посольстве в Будапеште. От него я впервые услышал имя Юрия Андропова, бывшего тогда нашим послом в Венгрии: мой приятель, работавший непосредственно с Андроповым, буквально пел ему дифирамбы, и хотя он был вообще склонен к преувеличениям, однако, несомненно, искренне восхищался своим шефом. Мне было интересно, на чем основано столь безмерное восхищение, и я спросил, что же такого особого он находит в Андропове. Мой приятель рассказал, что хотя Андропов относительно молод — ему немногим больше сорока — он ни на минуту не усомнился в том, что надо делать во время будапештского кризиса.

— Знаешь, — восхищенно заметил мой приятель, — он сохранял абсолютное спокойствие, даже когда мимо свистели пули и все посольские чувствовали себя, как в осажденной крепости.

Мой друг рассказал мне, что из Москвы накануне восстания и в самые критические дни его приходили путаные инструкции, по которым было ясно, что в Москве не слишком хорошо представляют себе ситуацию. Но Андропов постоянно давал Москве рекомендации, и они-то и послужили основанием для принятия решений. Например, он заранее предупредил ЦК, что руководитель Венгерской коммунистической партии Матиаш Ракоши должен быть снят с поста, так как потерял доверие и власть. По словам моего друга, именно Андропов "раскусил" Имре Надя — еще до того, как его намерения стали понятны Москве.

— Ты не думаешь, что каких-то столкновений можно было избежать? — спросил я.

— А ты думаешь, мы могли действовать иначе? — ответил он мне вопросом на вопрос.

С тех пор всякий раз, когда в разговоре возникало имя Андропова, я начинал особенно внимательно прислушиваться к беседе.

Меж тем мой беспокойный босс Павел Шаков наконец-то засадил меня за работу. Первое задание, полученное мной, было не слишком творческого характера: я должен был привести в порядок досье, которые буквально годами пылились в запустении и беспорядке. До организации нового отдела разоружением занимались всего два дипломата — Алексей Попов, глуховатый и скудоумный человек, и Леонид Игнатьев, в обязанности которого входило ведение досье. Игнатьев был самым неорганизованным человеком, которого я когда-либо видел, и досье, которые он вел, выглядели так, будто над ними пронеслись бури и войны. Глядя на весь этот беспорядок и неразбериху, можно было только удивляться тому, что переговоры по разоружению все-таки как-то происходят. В действительности же, в те годы, когда самым популярным был лозунг о запрете атомной бомбы, в порядке не было особой необходимости, поскольку голые факты, содержащиеся в досье, попросту игнорировались ради примитивных пропагандистских лозунгов.

Советским дипломатам было необходимо собрание основных документов по разоружению, записи о предложениях и переговорах, ведущихся в течение многих лет, то есть материал, который был доступен на Западе, но отсутствовал в сколько-нибудь систематической форме в Москве. Мой проект привести документы в порядок был одобрен при условии соблюдения полной секретности. Документацию можно было печатать только для служебного пользования, более широкое ее распространение было запрещено цензорами.

Благодаря этому заданию я заинтересовался вопросами организации и работы министерства и получил возможность поговорить об этих проблемах с некоторыми старыми дипломатами.

После Октябрьской революции был создан Народный комиссариат иностранных дел, его возглавляли такие люди, как Троцкий, Чичерин, Литвинов, Молотов, Вышинский. В 1939 году Максим Литвинов, старый большевик, интеллигент, был снят с поста наркома иностранных дел: его проангло-американская ориентация вступила в противоречие с политикой Сталина и Молотова по отношению к нацистской Германии. За отставкой Литвинова началась чистка аппарата комиссариата: почти девяносто процентов дипломатического персонала всех рангов были расстреляны, посажены, сосланы или уво-

лены. Сам Литвинов отделался почетной ссылкой: он был направлен в Вашингтон в качестве посла. В комиссариат пришли новые люди, выдвинутые партийными органами. Дипломатия стала уделом профанов. Во главе угла стоял сталинский ортодоксальный принцип: бескомпромиссная борьба с "врагами народа" и уничтожение тлетворного влияния Запада. Многие из новых дипломатов, прошедшие ускоренный курс обучения, были не в состоянии справиться со своими сложными обязанностями.

После смерти Сталина профессиональный уровень советских дипломатов повысился. На место плохо образованных, не имеющих должной профессиональной подготовки сотрудников, набранных в министерство в конце 30-х годов, постепенно пришли выпускники МГИМО или других учебных заведений, таких, как Высшая дипломатическая школа (позднее Дипломатическая академия), куда по направлению партийных организаций поступают люди, уже имеющие высшее образование.

Абсолютным правителем внутри министерства является министр иностранных дел. Большинство чиновников низшего и среднего уровня, даже те, кто провел едва ли не всю жизнь в министерстве, ни разу не имели случая поговорить с ним. Когда я поступил на службу в министерство, министром иностранных дел был Дмитрий Шепилов, экономист по образованию. Он начал реорганизацию министерства, подчеркивая важность экономических задач во внутренней и внешней политике.

"Период экономизма" – под этим названием стала известна эра Шепилова – вполне соответствовал духу правления Хрущева. Помню, какое замешательство возникло среди старшего поколения дипломатов, многие из которых основательно подзабыли детали марксистско-ленинской политической экономии, как они начинали лихорадочно рыться в учебниках и работах классиков марксизма. Это был не просто подхалимаж или желание угодить новому начальству: Шепилов всерьез намеревался заняться повышением образовательного уровня сотрудников министерства. Он издал приказ, чтобы все сотрудники заново прошли курс по политэкономии. Нам даже пришлось сдавать экзамен по этому предмету.

Приступая к работе в ОМО, я еще не понимал, как мне повезло, что я попал в эту группу. "Германисты", "разоруженцы", "американисты", "европейцы" (те, кто в основном за-

нимался советско-французскими отношениями) и небольшая группа других сотрудников принадлежали к привилегированной касте. "Провинциалы", часто проводящие всю свою профессиональную жизнь в Азии и Африке, отчаянно завидовали нам: мало того, что в этих странах плохой климат, низкие зарплаты и нет такого изобилия товаров, как на Западе, — дипломаты, работающие в этой области, редко достигают высокого положения. Те же, кто работал с Европой или Америкой, постоянно находились в непосредственной близости к начальству. Громыко многих из них знал лично, запоминал фамилии и покровительствовал наиболее способным, обеспечивая их быстрое продвижение по служебной лестнице. Эта группа составляла ядро молодого поколения в министерстве.

В аспирантуре и в процессе работы над диссертацией я многое узнал о переговорах по разоружению прошлых лет. Только тогда я начал понимать новую реальность атомного века. Когда на Хиросиму и Нагасаки была сброшена бомба, советская пресса почти не писала об этом. Сталин не желал пугать народ, а еще пуще того — не хотелось ему признавать, что у США есть такое совершенное оружие. Кроме того, принять это обстоятельство противоречило бы догмам марксизма-ленинизма, которые отрицают, что какой бы то ни было вид нового оружия, каким бы разрушительным он ни был, может сам по себе оказать влияние на исторический процесс.

Советский Союз взорвал свою первую атомную бомбу в 1949 году, покончив с атомной монополией США. На этот раз, в отличие от молчания, которым сопровождались взрывы над Японией, Советы громогласно похвалялись своими успехами. В конце второй мировой войны американские эксперты предсказывали, что Советскому Союзу понадобится 10-15 лет для создания собственной атомной бомбы. Но прошло всего четыре года — и СССР стал атомной державой. Раздумывая, почему так ошиблись американские эксперты, я пришел к выводу, что на Западе недооценивались советские достижения в области атомной физики перед войной. Более того, сказалось и недопонимание Сталиным значения бомбы. Если б не это, Советский Союз сделал бы ее гораздо раньше.

Ускорению работ в этой области способствовали советские шпионы. Но самым важным было то, что советская система обладает способностью обеспечивать полную концентрацию всех сил на любой задаче, которую руководство счита-

ет в данный момент первоочередной. Сразу после войны тысячи советских граждан умирали от голода, миллионы были лишены самых необходимых вещей, но это не помешало Сталину уделить все внимание созданию атомной бомбы – вместо того, чтобы в первую очередь позаботиться о людях.

Только после создания внушительного атомного потенциала постсталинское руководство проявило готовность вести переговоры о контроле над вооружениями с целью достижения практических результатов. Когда я еще учился в МГИМО, советская позиция в области разоружения претерпела существенные изменения – в основном благодаря усилиям Никиты Хрущева – Западу были сделаны значительные уступки. Это способствовало сближению позиций западных народов и Советского Союза.

Мне нравилась работа в министерстве,и она складывалась удачно. Вскоре я получил повышение – ранг третьего секретаря. Царапкин любил пошутить насчет моих прежних колебаний относительно дипломатической карьеры и сулил мне дальнейшее продвижение, если я буду хорошо работать.

Весной-летом 1957 года в Лондоне продолжались серьезные прагматические переговоры в подкомитете пяти держав (США, СССР, Англия, Франция, Канада) Комиссии по разоружению ООН. Почти все мои начальники присутствовали на заседаниях, делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Валериан Зорин. Я должен был следить за лондонскими переговорами, но, поскольку я был всего лишь третьим секретарем, у меня не было доступа к шифрованным телефонограммам, которые Зорин посылал в министерство, а без них я не мог выполнять свои обязанности. Я пожаловался Царапкину, тот пожал плечами и напомнил мне, что доступ к такого рода информации имеют только первые секретари. Тем не менее он согласился в неофициальном порядке показывать мне самые важные телефонограммы Зорина.

В начале апреля я регулярно участвовал в совещаниях у Царапкина, которые иногда затягивались допоздна. Здесь бывали работники Генерального штаба, а также известные ученые из Министерства среднего машиностроения, которое отвечает за производство атомного оружия. Я впервые мог принимать участие в разработке предложений, которые официально представлялись в Лондоне нашей делегацией.

У меня не было никаких сомнений, что Хрущев действи-

тельно стремится достичь соглашения с США и другими западными странами в деле сокращения гонки вооружений и что он ведет нашу страну в верном направлении. Хотя в то время было сложно понять, что в его политике хорошо, а что – плохо, ясно было одно: Хрущев, по крайней мере, старается отыскать новые пути, чтобы обойти тех закоренелых консерваторов, которые противились каким бы то ни было изменениям устоявшегося порядка.

Я был очень рад, когда Зорин сообщил из Лондона, что его американский партнер Гарольд И.Стассен выразил готовность лично обсудить с нами новые советские предложения и представил Зорину неформальное заявление, в котором говорилось, что американская позиция по некоторым вопросам близка к советской точке зрения. К сожалению, моя радость оказалась преждевременной: вскоре после этого Стассен забрал свое заявление и американская позиция стала жестче. Президент Эйзенхауэр в своих мемуарах говорит, что Стассен показал Зорину речь без предварительного обсуждения с американскими союзниками и спровоцировал раздраженную реакцию со стороны британского премьер-министра Гарольда Макмиллана.* Во всяком случае я был убежден, что Советский Союз больше заинтересован в реальном прогрессе переговоров, чем США.

Царапкин рассказывал мне, что Хрущева очень огорчила позиция США и их союзников. Ничего удивительного: Хрущев столкнулся с оппозицией не только на лондонских переговорах, но и внутри своей собственной страны. В Москве ходили слухи об интригах и закулисных склоках на закрытом пленуме ЦК. Я слышал, что Молотов, Каганович, Маленков и министр иностранных дел Шепилов образовали свою собственную группировку, которая потом получила название "антипартийная группа". Поначалу казалось, что они могут преуспеть в своей попытке переворота, но в июне 1957 года, после решения президиума уволить его, Хрущев нанес ответный удар. Он быстро созвал пленарное заседание Центрального Комитета, который составлял его опору. Министр обороны, маршал Жуков, поддерживающий Хрущева, собрал членов Центрального Комитета со всех концов СССР, доставив их в

---

* См.: Dwight D.Eisenhower, Waging Peace, 1956-1961 (Doubleday, 1965),pp.472-474.

Москву на военных самолетах. На заседании пленума Хрущев победил, Маленков, Молотов, Каганович и злополучный Шепилов были сняты со своих постов и обвинены в антипартийной фракционности. Министром иностранных дел стал Андрей Громыко.

На партийном собрании в нашем министерстве была единогласно принята резолюция, поддерживающая Хрущева и осуждающая антипартийную группу. Голосование было излишним, никто не посмел бы голосовать против какого бы то ни было решения Центрального Комитета – или хотя бы воздержаться.

Сталинисты, выжившие в чистках 30-х годов, были ревностными хранителями коммунистической доктрины, и они все еще занимали важные посты в министерстве. Один из них Кирилл Новиков был моим начальником, заместителем заведующего нашего отдела. Вместе с Царапкиным он сидел за спиной Сталина на Потсдамской конференции в 1945 году. Человек умный и жесткий, он был достаточно осторожен, чтобы не заявлять во всеуслышание о своих убеждениях, но когда мы познакомились ближе, он иногда после рабочего дня позволял себя откровенные высказывания.

– При Сталине, – говорил он, – был порядок. Не было никакой риторики, колебания из стороны в сторону не допускались. Сталинские инструкции послам за границей – многие из них он готовил сам – отличались максимальной четкостью.

С другой стороны, в министерстве появлялось все больше молодых сотрудников, и в этом мне виделся признак того, что Хрущев хочет заменить сталинскую гвардию менее консервативными людьми. Отстранение от власти "антипартийной группы" только укрепило мою веру в Хрущева. Существование такой сильной группы среди руководителей государства могло объяснить множество вещей: жестокость в Венгрии, неуверенность в политике разоружения, неудовлетворительные результаты в системе нового управления внутри страны. Я даже считал оправданными дальнейшие шаги, предпринятые Хрущевым, против некоторых известных советских деятелей, таких, например, как маршал Жуков.

Правда, Жуков помог Хрущеву в борьбе против антипартийной группы, но когда Хрущев обвинил его в "бонапартизме" и в том, что он отказывается признавать главенство партии над армией, это тоже было правдой.

В мое время маршал Жуков был, вероятно, самым уважа-

емым военным деятелем в СССР. Воспользовавшись соперничеством внутри партийного руководства, он стал первым профессиональным военным, избранным в Президиум ЦК. Но он попытался принизить роль Главного политического управления внутри Министерства обороны, и эта ошибка дорого ему обошлась. Жуков не устраивал военного переворота и не старался заменить Хрущева. Хотя военные – люди честолюбивые, амбиции Жукова, как и других руководителей армии, никогда не заходили так далеко. Просто маршал хотел утвердиться во власти над армией и переоценил влияние военных сил.

Советская армия может повлиять на развитие событий в критические моменты политических кризисов, как это было, например, при аресте Берия, или когда возникла необходимость оказать давление на высший орган партии, поддержав одних руководителей в борьбе против их соперников. Военные могут также наложить вето на некоторые предложения, касающиеся контроля за вооружением, и в большинстве случаев их требования по военным программам удовлетворяются. Однако политическая роль армии в структуре власти ограничена превосходством Политбюро.

Возможно, Жуков сделал ту же ошибку, что и западные наблюдатели, оценивающие роль армии в советской политике. Несмотря на широчайшую популярность – а в армии с Жуковым в этом отношении никто не мог сравниться, – он был официально разжалован и вынужден уйти в отставку. Полномочия Главного Политического Управления армии и флота – организации, курирующей все области военной службы, были расширены. На пост министра обороны Хрущев посадил своего близкого друга, во всем ему послушного маршала Родиона Малиновского, который прекрасно понимал превосходство партии над армией.

В каждом министерстве имеется своя партийная организация. Наша, к моему удивлению, избегала вмешиваться в рабочие дела, предоставляя заниматься внешней политикой профессионалам и взяв на себя функцию следить за дисциплиной и трудовыми достижениями сотрудников. Для меня самой неприятной стороной партийной работы и самой унизительной задачей был контроль над личной жизнью коммунистов, которые должны являть собой примеры безупречного поведения. Если же, паче чаяния, они оказывались замешаны

в аморалке, то есть пили, распутничали и перепродавали западные тряпки (грех, распространенный среди дипломатов), то их товарищам надлежало вернуть заблудших на путь истинный. У партии есть немало средств на эти случаи – от выговора до исключения. Впрочем, всегда предпочтительнее исправить человека, чем наказать его, а тенденция покрывать грешки возрастает прямо пропорционально положению согрешившего.

В партию я вступил в 1958 году по причинам чисто практического характера: не будучи членом партии, я не смог бы продвигаться по службе или поехать за границу. Но членство в партии предполагает какие-то обязанности – мало просто иметь партийный билет и хорошо работать. Советский чиновник, даже если он превосходный работник, не может сделать хорошую карьеру, если не будет отдавать много времени и сил общественной работе – за исключением тех случаев, когда имеются могущественные покровители.

Боже, сколько часов отсидел я на партийных собраниях, слушая дурацкие доклады по теоретическим вопросам или сам делая эти доклады, либо обсуждая слабости и недостатки других "товарищей". Как правило, чем мельче тема, тем бесконечнее обсуждение.

Осенью 1957 года моим вниманием вновь завладели лондонские переговоры о контроле над вооружением. Они завершились резкими разногласиями и взаимным недовольством. Результаты были плачевны, и я беспокоился, что США и СССР снова ввяжутся в бесполезные споры, кто же виноват в образовавшемся тупике. Это старая детская игра, в которую играют многие нации: цель ее – попытаться взять верх в переговорах о контроле за вооружением, а не достичь честного соглашения. Яркий пример – переговоры о запрещении испытаний атомного оружия в конце 50-х – начале 60-х годов. Они напоминали игру в карты. Закончив серию ядерных испытаний и зная, что США или ведут их, или готовятся провести в ближайшее время, СССР настаивал на соглашении об их запрещении. Точно так же США начинали активно настаивать на этом соглашении, когда знали, что Советы готовятся к новому раунду своих ядерных испытаний.

В 1958 году СССР был настолько заинтересован в этом соглашении, что Хрущев лично занялся изучением деталей переговоров. Говорили, что изменения в советских предложениях

или тактике – дело рук Хрущева. Одной из его идей было прекращение испытаний ядерного оружия в одностороннем порядке.

В начале февраля 1958 года Кирилл Новиков взял меня на совещание у Громыко, где обсуждалась эта проблема. Я впервые встретил Громыко после того, как начал работать в министерстве. Он открыл обсуждение пропагандистской тирадой, сказав, что Хрущев считает необходимым развернуть кампанию по прекращению ядерных испытаний и продемонстрировать всему миру, что именно Советский Союз настоял на незамедлительном их прекращении.

– Хрущев, – говорил Громыко, – решил, что мы должны показать пример и в одностороннем порядке прекратить испытания ядерного оружия.

Нашему отделу было поручено подготовить соответствующие документы.

Когда собрание окончилось, я подошел к Громыко. Он сказал, что рад видеть, что я последовал его совету и применяю свои знания на практике. Я спросил его, как мы можем публично объяснить нашу позицию в вопросе прекращения испытаний: мы недавно заявляли, что Советский Союз не пойдет на такой шаг, поскольку это поставит его в невыгодное положение относительно США. Он довольно раздраженно ответил, что ему приятно отметить, что я обратил внимание на нашу прежнюю позицию, и, нахмурившись, добавил:

– Никакие объяснения не требуются. Главное то, что наше решение возымеет колоссальный политический эффект. Это наша основная цель.

Мне этот подход показался довольно странным, но я промолчал. Мне все больше нравилась моя работа, я гордился тем, что стал часто принимать участие в совещаниях с самыми значительными фигурами страны. С затянувшимися сомнениями – посвятить ли свою жизнь дипломатической работе, или пойти иным путем, – было покончено.

11

В сентябре 1958 года, проработав в министерстве почти два года, я впервые получил возможность поехать за границу – и не куда-нибудь, а в Америку. Это было мечтой моего детства, образ далекой и таинственной Америки годами витал в

моем воображении, ничуть не уступая сказочным видениям "Тысячи и одной ночи".

Мне предстояло провести в Нью-Йорке три месяца в качестве специалиста по разоружению при советской делегации на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это была замечательная возможность, многие работники нашего отдела годами ждали такой награды. Командировка в Соединенные Штаты – солидный куш. Заработная плата дипломатов младшего и среднего ранга невелика даже по советским стандартам, зато имеются кое-какие немаловажные привилегии, и среди них самое почетное место занимает командировка в западную страну, где можно купить все что хочешь – от одежды до стереосистем, лекарств и бытовых приборов, которые на родине либо слишком дороги, либо вовсе недоступны.

Хотя у меня была секретность самого высокого уровня, каждый дипломат, отправляясь за границу, заполняет бесчисленное множество бумажек, прилагая к ним фотографии; с ним по несколько раз беседуют сотрудники отдела кадров министерства и инструктор из ЦК. Вся процедура завершается подписанием перечня правил, подробнейшим образом определяющих поведение за границей: нельзя посещать антисоветские фильмы, нельзя покупать антисоветские книги и журналы – и еще десятки таких "нельзя". Но даже все эти утомительные и неприятные дела не омрачали моих радужных надежд.

Прямого сообщения между Москвой и Нью-Йорком тогда не было, и полет занимал больше суток. Едва мы приземлились, как я почувствовал, что попал в другой мир. Я видел фотографии Нью-Йорка, но небоскребы на горизонте произвели на меня сильнейшее впечатление. На пути из аэропорта в Глен-Коув я видел уютные дома с аккуратно подстриженными газонами, бесконечный поток машин, мчащихся по широченным шоссе, бесчисленные магазины, набитые товарами. Самое сильное впечатление производили десятки маленьких магазинчиков, перед которыми на тротуарах были выставлены коробки и корзины со всевозможными фруктами и овощами. Ничего подобного я не видел в Советском Союзе, где всего мало или нет вовсе. И если бы какой-нибудь магазин решился выставить за дверь коробку с фруктами, их бы моментально расхватали.

В Нью-Йорк я попал не сразу. Мы вели в Глен-Коуве затворнический образ жизни. Делегацию разместили там не толь-

ко ради экономии, но и для удобства КГБ, наблюдавшего за нами. Вилла в Глен-Коуве была замечательно приспособлена для этих целей: все постоянно на виду, никто не может уйти далеко и почти нет контакта с посторонними. Со мной в одной комнате жили еще трое, но я не жаловался. Все, даже самые тривиальные вещи, казались мне необыкновенными и замечательными — и душистое мыло, и сияющая чистотой, почти что личная ванна, и роскошь всего особняка.

Главное здание в Глен-Коуве, построенное в начале века, имитирует стиль шотландского замка. Существует легенда, что некий человек выстроил его в подарок невесте. Он, очевидно, был человеком богатым и со вкусом, кроме того, любил природу. Сады, бассейн, фонтаны, скульптура — все это до сих пор поражает глаз, хотя и содержится в изрядном запустении. Однако, по легенде, молодая пара так и не смогла насладиться своим замком. По таинственным причинам оба покончили с собой. Ходили слухи, будто по дому блуждает призрак невесты. Дом пытались продать, но покупателей не было, и цена падала все ниже. В конце концов, советское правительство купило его за бесценок в 1948 году.

За исключением главы делегации, заместителя министра иностранных дел Валериана Зорина, мы все ели в главной столовой. Повар был из России, но еда имела какой-то чужеродный привкус — совсем другими оказались даже яйца и молоко. Но самым странным был хлеб: запакованный в пластиковые мешки белый хлеб из супермаркета по вкусу и виду походил на вату. Трудно было представить себе, что американцы покупают и любят такой хлеб. Впрочем, некоторую компенсацию мы нашли в кока-коле; в теплые осенние дни мы пили ее галлонами.

Но больше всего поразило меня количество самой разнородной информации в газетах, журналах, книгах, по телевидению и радио. Я никак не мог привыкнуть к невероятной открытости американского общества. Это притягивало и вместе с тем пугало. Я напоминал себе изголодавшегося, который попал на пир. Все три месяца я жадно читал любые американские издания, попадавшие мне в руки, и за этот короткий срок изрядно пополнил свое образование.

К тому же я обнаружил, что в киосках, где продаются международные издания, я могу купить "Правду" и другие советские газеты. А ведь нам говорили, будто Соединенные

Штаты скрывают информацию о нашей стране, потому что не хотят, чтобы американцы знали о нашей замечательной жизни.

Из Глен-Коува мы выезжали на совещания в ООН. Здание ООН поразило меня, как и всякого туриста, которые встречались тут на каждом шагу. Большую часть времени я проводил, слушая дискуссии по разоружению. Теперь я понимаю, что они были затянутыми и скучными, но тогда мне было очень интересно, я узнал множество не известных мне ранее фактов. Несколько критических замечаний относительно советской позиции заставило меня задуматься и переоценить целый ряд вещей, которые я считал само собой разумеющимися.

Моей главной задачей было помогать при подготовке отчетов, оценивающих эти дискуссии, а также выдвигать предложения по голосованию за различные проекты резолюций.

Контакты с иностранными дипломатами, в том числе с делегатами из социалистических стран, были ограничены. Я мог встречаться с ними только по специальному разрешению моего начальства. Общение с иностранцами допускалось в основном лишь для работников, имевших уже большой опыт. Я был членом делегации, и это придавало мне сознание собственной значимости, но на самом деле-то я был человеком маленьким. Тем не менее я был счастлив: меня опьяняло само сознание того, что я участвую в "менуэте", который танцуют в ООН. Наблюдая за работой делегатов, я многому научился. Еще больше дали мне разговоры с иностранцами, в том числе с этими, как я тогда думал, экзотическими существами – американцами. Меня поражала та свобода и непринужденность, с которой они держались, еще более удивляла смелая критика собственного правительства.

Не менее самих американцев меня поразил Нью-Йорк. Я еще никогда не видел столько контрастов: низкие старомодные дома и современные, устремленные в небо железобетонные коробки, блеск богатых центральных улиц и старые бары и притоны со стриптизом, великолепные музеи, элегантные рестораны, мосты, порты, куда прибывают корабли со всего мира. Все это бурлило, куда-то стремилось, казалось, этот город никогда не отдыхает. Я никогда не ощущал такого количества энергии. Неужели, думал я, такова вся Америка? Меня поражала раскованность в поведении людей. Похоже, что и этому городу, и его жителям было попросту наплевать, каким видит их мир. Нью-Йорк, точно ухмыляющийся под-

росток, выставлял напоказ и свое уродство, и свою красоту. Он как бы говорил: да я таков, принимайте меня таким, каков я есть. Нью-Йорк представлялся мне местом, где постоянно грохочут машины, застревая в бесконечных пробках на многокилометровых магистралях или на маленьких, мрачных улицах, продирающихся между огромными зданиями, как грязные черные ленты для пишущей машинки. Все здесь было непривычно, все поражало глаз и было полной противоположностью Москве. Здесь не было больших открытых пространств, не было широких бульваров или проспектов, завершавшихся вековыми деревьями, как это было в Москве на всех выездах из города. Мне казалось странным, что Нью-Йорк растет вверх, а не вширь.

Несколько раз мы попадали в самые плохие районы Нью-Йорка – Гарлем и Боуери. Нас провозили по этим местам, чтобы дать наглядный урок того, что несет людям загнивающий капитализм, и как бы предупреждая тех, у кого вдруг может мелькнуть мысль, а не остаться ли ему в США.

С обществом потребления я впервые встретился в магазине "Вулворт". Торговая фирма "Вулворт" имеет десятки универмагов по всему Нью-Йорку, в которых торгуют товарами, называемыми в СССР "ширпотреб". Но впервые попав в такой универмаг, я был потрясен их разнообразием, к тому же поразительным казалось и полное отсутствие очередей. Однако самыми привлекательными для меня оказались книжные магазины Нью-Йорка. Если бы только было можно, я проводил бы в них все свое время. У меня слюнки текли от этого обилия названий, в том числе от книг, написанных советскими эмигрантами или перебежчиками.

Но при моем нищенском жалованьи – десять долларов в день – я больше глазел, чем покупал, – ведь мне нужно было еще привезти подарки Лине и Геннадию. Я обнаружил, что почти все советские работники в Нью-Йорке (вне зависимости от положения) буквально каждую свободную минуту тратят на магазины. Обычно они устремлялись на Орчард-стрит в нижнем Манхэттене, где сосредоточено много дешевых магазинов и где за гроши можно купить вышедшие из моды вещи. Владельцы этих лавок в большинстве своем – евреи, говорящие по-русски. И вот советские люди закупают одежду, обувь, материалы – все то, что на родине недоступно даже высшим чинам. Кагебешникам эти вылазки на Орчард-

стрит не нравятся, и мы не раз видели, как они следят за нами, пока мы бегаем по магазинам. Впрочем, и они ведь делали то же самое.

Нашу свободу ограничивало не только то, что мы жили в Глен-Коуве, но и транспорт, которым нам приходилось пользоваться. Дело в том, что нас увозили и привозили на машинах. В каждой такой машине ездило по несколько человек, которые были связаны взаимной зависимостью. Все, кто должен был ехать в данной машине, в конце дня встречались у Советской миссии, чтобы ехать в Глен-Коув. Конечно, ничего путного из этого не получалось, потому что все кончали работу в разное время. В результате возникала масса неудобств и разногласий.

Однажды вечером я и мой коллега Миша опоздали на нашу машину, и дежурный офицер сказал, что следующая будет только через несколько часов. Не зная, как убить время, мы решили пойти в кино. (Это было нарушением правил: нельзя так просто, без согласования, пойти в кино, независимо от того, что это за фильм – антисоветский или нет.) В результате мы опоздали и на последнюю машину и нам ничего не оставалось, как ехать поездом – такси нам было не по карману. Около полуночи мы наконец заявились в Глен-Коув. Нас встретил Юрий Михеев, которого за глаза называли "мышкой" – он действительно был очень похож на мышь. Его не любили – все знали, что он стукач самого низкого пошиба.

– Валериан Александрович (Зорин) ждет вас, так что не заставляйте его ждать еще дольше, – сказал он с ухмылкой.

Мы сразу поняли, что дело плохо.

Зорин в халате сидел за столом в своем большом, скупо освещенном кабинете.

– Где вас черти носят? – заорал он, едва мы появились на пороге. – Я уже объявил розыск, болваны вы этакие.

Мы начали извиняться и объяснять, что случилось, но он не желал слушать. Оборвав нас и выставив палец, как пистолет, голосом, в котором звучала сталь, он сказал:

– Если это повторится еще раз, вас немедленно отошлют домой и я лично прослежу за тем, чтобы вас больше никогда не пускали за границу.

Это была страшная и вполне осуществимая угроза, так что мы с Мишей все остальное время были паиньками.

Лишенные свободы передвижения, привязанные к Миссии,

мы сэкономили довольно большую часть наших зарплат и дневного содержания. Я купил Лине кое-что из одежды и модные туфли, а Геннадию – кучу игрушек. Они были в восторге, хотя Лина и корила меня за то, что я не набил чемоданы дешевыми американскими тканями, которые можно было бы с большой выгодой продать в Москве – так делали многие мои коллеги. Я успокоил ее, сказав, что поеду еще за границу, а когда-нибудь мы, может, поедем вместе.

Теперь я только и мечтал о том, чтобы вновь вернуться к дразнящей свободе, глоток которой я вдохнул в Нью-Йорке. "Париж стоит мессы", – сказал Генрих Четвертый, принимая католичество, чтобы стать королем Франции. Для меня Запад стал оправданием всех компромиссов, которых требовала работа в Министерстве иностранных дел.

В отношениях СССР с Западом происходили новые позитивные сдвиги. В 1959 году Хрущева пригласили нанести официальный визит в США – впервые руководитель нашей страны получил такое приглашение. Летом, перед этим путешествием, Зорин созвал совещание сотрудников, занимающихся проблемами разоружения. Своим обычным монотонным голосом он сказал, что Хрущев решил "предпринять новую важную инициативу". В сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН он предложил политику всеобщего и полного разоружения.

– Отныне, – заявил Зорин, – основной долгосрочной политикой СССР будет борьба за всеобщее и полное разоружение.

Он предупредил нас, чтобы мы держали в тайне подготовительную работу по этому предложению.

Меня неприятно поразило это внезапное резкое изменение нашей позиции, и появились сомнения относительно мудрости Хрущева и его способности решать проблемы разоружения. Удручало меня и то, что более или менее серьезные переговоры о контроле за вооружениями, начавшиеся в конце 50-х годов, теперь, скорее всего, выродятся в очередную шумную пропагандистскую кампанию. Если до сих пор не достигнуто соглашение о скромных, ограниченных мерах по сокращению гонки вооружения, то совершенно очевидно, что еще меньше шансов на то, что мир ни с того, ни с сего, как по мановению волшебной палочки согласится разоружаться. Фантазии в дипломатии всегда казались мне пустой тратой времени, а перед нами как раз стояла задача доказать реальность абсурдной идеи. Только при помощи самой изощренной софис-

тики можно было допустить, что всеобщего и полного разоружения достичь проще, чем частичного, а именно это мы и должны были теперь утверждать. Военные тоже не одобряли возрождения идеи о всеобщем и полном разоружении. Не раз я слышал их сетования, что такая идея может пагубно воздействовать на моральное состояние молодежи, но они не смели возражать Хрущеву.

Плотная завеса пропаганды окружала все, что касалось визита Хрущева в США. Он явно был очень доволен тем, что президент Эйзенхауэр пригласил его нанести официальный визит. Ему был важен сам факт приглашения: он видел в этом признак того, что США рассматривают СССР как равного партнера, совместно с которым следует принимать решения по международным делам. Советский Союз упорно добивался такого статуса. Хрущев чувствовал, что его визит укрепит престиж СССР, независимо от того, насколько успешными окажутся его переговоры с Эйзенхауэром.

Более того, он хотел получить помощь от американцев и стремился к развитию торговли между СССР и Америкой. Поэтому советские средства массовой информации вдруг "припомнили" забытые высказывания Ленина насчет важности экономического сотрудничества с капиталистическими странами и необходимости изучать "американский способ производства".

Хрущев провел в США 13 дней. Его визит произвел сильное впечатление на американцев, а его манеры и стиль поведения создали ему широкую популярность, отзвуки которой живы и сегодня. Американцы увидели советского руководителя — человека из плоти и крови, живого и общительного, обходившегося с людьми без церемоний и аффектации. В его разговорах с журналистами чувствовался юмор, он говорил, а не читал текст по бумажке. Но главное — у него не было ничего общего с мрачным, замкнутым Сталиным.

Выступление Хрущева перед Генеральной Ассамблеей ООН с предложением о всеобщем и полном разоружении возымело должный пропагандистский эффект. Западные руководители распознали в этом предложении ловкий тактический ход, но никто не высказался против него открыто.

Зато следующее предприятие Хрущева принесло ему немало хлопот. Утверждая, что в результате его "исторического" визита в США "тучи войны начали рассеиваться", он вы-

ступил с инициативой значительного сокращения советских вооруженных сил. На сессии Верховного Совета в январе 1960 года был принят закон, предусматривающий сокращение численности вооруженных сил на 1,2 миллиона человек.

Хрущев объяснял свое решение тем, что современный оборонительный потенциал определяется якобы не числом солдат под ружьем, но ядерными силами и качеством ракет. Он сильно преувеличивал советский ядерный и ракетный потенциал, похваляясь, что "у нас теперь есть абсолютное оружие" и что советские ракеты настолько точны, что могут сбить "муху в космосе". Хотя, как показала история, все эти хрущевские угрозы оказались чистым цирком, многие на Западе, в том числе политики и военные эксперты, ему верили. Но все эти заявления были просто неким видом психологического оружия и отстояли от действительности так же далеко, как небо от земли. Однако Хрущев пошел еще дальше, заявив, что "военная авиация и флот утратили свое былое значение". Этого военное руководство оставить без ответа уже не могло.

Упадок морали и боевого духа в вооруженных силах достиг устрашающих размеров. Весной 1960 года у нас побывал капитан военно-морского флота Барабойла, который рассказал, что многие морские офицеры едва сдерживали слезы, когда, по приказам Хрущева, в ленинградских доках демонтировались уже почти готовые крейсеры и эсминцы.

Но встревожен был не только военно-морской флот — встревожились и идеологи из ЦК. Ведь, сокращая вооруженные силы, особенно флот, Хрущев подрывал самые эффективные средства помощи промосковским освободительным движениям и союзникам СССР в странах "третьего мира". В конце концов, все эти дела ему дорого обошлись.

Хрущев сделал еще одну ошибку: сосредоточившись на своих инициативах по отношению к Западу, он повернулся спиной к Китаю. Напряженность в советско-китайских отношениях, до сих пор едва видимая, стала вполне очевидной во время пограничного конфликта между Китаем и Индией в 1959 году, когда СССР занял нейтральную позицию. Хрущев попытался умиротворить Мао и немедленно по возвращении из Соединенных Штатов полетел в Китай на празднование десятой годовщины КНР.

Но беседы Хрущева с Мао, в которых он пытался убедить китайского лидера сохранить коммунистическое единство,

успеха не имели, визит протекал в атмосфере все возрастающего напряжения, и провожали Хрущева еще более холодно, чем встречали. Друзья из ЦК рассказали мне, что китайцы обвинили его в том, что он жертвует революционной борьбой ради разрядки с американцами и "другими империалистами". Все эти события могли подорвать притязания Кремля на руководство мировым революционным движением. Отныне Советам приходилось соперничать с китайцами в руководстве мировой революцией. В результате возродилась агрессивность советской внешней политики.

К 1960 году Хрущев как руководитель достиг зенита: борьба с наиболее сильными соперниками была позади. Но какие-то силы, находившиеся вне его контроля, проваливали его политику: многие его программы заканчивались неудачей или просто не осуществлялись. Он переоценил свои силы, стараясь достичь слишком многого за очень короткий промежуток времени. Какие-то его начинания проваливались из-за сопротивления его личных соперников в руководстве, другие – в силу противостояния различных сильных групп, чьи скрытые интересы приходили в противоречия с интересами самого Хрущева, наконец, третьи – просто были несовместимы с основными правилами функционирования системы.

Трудности заставили Хрущева отказаться от "духа Кемп-Дэвида", т.е. от духа сотрудничества, который был достигнут в 1959 г. во время его встречи с Эйзенхауэром. Ему пришлось также замедлить усилия по реорганизации вооруженных сил и пересмотреть очередность задач в экономике.

Результаты перемен в политике сказались во многом. Первым явным признаком стала реакция на инцидент с "У-2". Самолеты американской военной разведки в течение нескольких лет пролетали над советской территорией, и советское руководство об этом знало. Громыко советовал Хрущеву во избежание ухудшений советско-американских отношений не сбивать самолеты. Он считал, что для предупреждения дальнейших перелетов вполне достаточно протеста и предостережения. Хрущев не обратил внимания на совет Громыко, и когда советские силы противовоздушной обороны сбили "У-2" и захватили летчика Френсиса Гарри Пауэрса, Хрущев извлек из этого инцидента все, что только было возможно.

Хрущев был человеком настроения и не давал себе труда контролировать собственные эмоции. Он решил расставить

ловушку, чтобы публично опорочить Эйзенхауэра. Пауэрс находился в Союзе, был арестован, но Хрущев, скрывая это, водил Эйзенхауэра за нос и в конце концов добился того, что американский президент стал отрицать факт перелетов.

Однако весь этот хрущевский план едва не провалился из-за болтливости Якова Малика. Малик, в то время заместитель министра иностранных дел, был одним из немногих, кто знал, что Пауэрс жив, и в разговоре с послом одной из социалистических стран не устоял против соблазна проявить свою осведомленность. Он сказал послу, что летчик "У-2" жив и выступит на открытом процессе. По счастью, посол был человеком опытным и немедленно информировал ЦК об этой беседе.

Разъяренный Хрущев решил исключить Малика из партии и уволить. Но Малику удалось получить аудиенцию у премьера, по слухам, он упал на колени и, рыдая, выпрашивал прощение. К тому моменту весь план уже был близок к успешному завершению, и Хрущев ограничился тем, что придумал для Малика унизительное наказание: публично покаяться на партийном собрании всего министерства.

Овальный конференц-зал министерства, с мраморными колоннами и трибуной на возвышении, был переполнен. Малик поднялся на трибуну и , являя всем своим видом страдание и муку, проблеял:

– Товарищи, я никогда до этого не выдавал государственных тайн.

Зал покатился со смеху. В другое время дело кончилось бы тюрьмой или того хуже, но тут он получил всего навсего строгача.

После инцидента с "У-2" Хрущев провалил конференцию четырех великих держав в Париже, в мае 1960 года. В то лето я начал работать в специальной комиссии, которая ежегодно готовит инструкции и другие материалы к открытию осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но для меня это не было обычной работой. В один прекрасный день меня вызвали к Павлу Шакову. Торжественно улыбаясь, он сказал:

– Аркадий, тебя включили экспертом в советскую делегацию на следующую сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ты, конечно, понимаешь, что это огромная честь и большая ответственность. Никита Сергеевич лично будет возглавлять делегацию.

Я и поверить не мог, что мне привалило такое счастье. И мне, и моим коллегам было ясно, что этот момент может стать поворотным в моей карьере. Я снова начал готовиться к поездке в Нью-Йорк.

12

В начале сентября 1960 года пассажирский лайнер "Балтика" отплыл из Калининграда в Нью-Йорк. На его борту была советская делегация во главе с Никитой Хрущевым.

Путешествовать вместе с ним, иметь возможность быть полезным лично ему или его приближенным было редкостным везением. Обычно министерские чиновники моего возраста и ранга скромно и незаметно трудятся у себя в канцеляриях. Безымянные рядовые советской дипломатии, они считают большой удачей пару раз в году побывать на совещании с заместителем министра либо – в исключительных случаях – с самим Громыко. Я же в мои двадцать девять лет пересекал Атлантический океан вместе с самым главным человеком в СССР; я целых десять дней был бок о бок с ним, работая над докладом по деколонизации и разоружению на Генеральной Ассамблее ООН.

Генеральным секретарем делегации был назначен Николай Моляков, заместитель начальника отдела международных организаций. Он в значительной степени укомплектовывал делегацию, а у меня с ним были хорошие отношения. К тому времени я был опытным работником по вопросам разоружения, разбирался в деталях советских предложений на Генеральной Ассамблее, присутствовал на нескольких дискуссиях по разоружению в кабинете Громыко, и, когда Моляков порекомендовал включить меня в делегацию, Громыко одобрил его выбор.

Кроме советских официальных лиц, на "Балтике" находились руководители коммунистических партий некоторых социалистических стран: Янош Кадар из Венгрии, Георге Георгиу-Деж из Румынии и Тодор Живков из Болгарии. У каждого была своя свита, так что можно себе представить, сколько партийных деятелей, высокопоставленных чиновников и дипломатов толклось на маленькой "Балтике". Меж тем число комфортабельных кают было ограничено, и на всех пассажиров имелся всего один ресторан, так что для советских,

украинских и белорусских делегатов в самом начале возникла довольно важная проблема: в каких каютах их разместят и окажутся ли они среди тех, кто будет есть в ресторане вместе с Хрущевым и другими руководителями. Речь шла не только о престиже, но и попросту об удобствах, так как не вошедшие в число привилегированных размещались в трюме и питались вместе с командой.

Вскоре после посадки ко мне с заговорщическим видом подошел Моляков и торжественно прошептал:

— Аркадий, ты будешь жить в каюте, выходящей на палубу, и питаться в ресторане, как и Никита Сергеевич. — Он широко улыбнулся, похлопал меня по плечу и заявил: — Друзья должны помогать друг другу.

Он, конечно, был уверен, что я век не забуду такой важной услуги.

В моей каюте не было ничего лишнего — койка, маленький столик, два стула, шкаф. Но в первый вечер нашего плаванья я буквально упивался тем положением, в котором оказался — и не только от присутствия на банкете, где угощение было прямо-таки царским — икра, севрюга и прочие деликатесы, — на меня произвел сильное впечатление Хрущев, с его шумливой, простой манерой держаться.

Обед был официальным, большинство пассажиров вырядились, как на прием. Но как только обед закончился, Хрущев вышел из-за своего стола и обошел всю залу. Подойдя к нам и увидев, что мы не справились с огромными порциями, он, погрозив нам пальцем, шутливо спросил:

— В чем дело? Неужели вам не нравится производство кухни "Балтики"?

Не успели мы ответить, как он ринулся на своего зятя, редактора "Известий" Алексея Аджубея, схватил его стакан с пивом, отхлебнул и громко сказал:

— Ага, я так и знал. Ты хитер, но я тебя раскусил — ты пьешь пиво, разбавленное водкой.

Все грохнули со смеху.

Впервые я видел советского руководителя так близко. "Н.С.", как звали его приближенные и дипломаты, был низкорослым, толстым, некрасивым человеком, почти совершенно лысым, с маленькими поросячьими глазками и крупными бородавками на круглом, типично русском лице.

Балтийское море в начале нашего путешествия было отно-

сительно спокойно, По небу пробегали лишь редкие тучи. Два эсминца, сопровождавшие "Балтику", дали прощальный салют и повернули назад. Оставшуюся часть пути нам предстояло совершать в одиночестве, хотя пересекая Атлантический океан, мы повстречали немало советских судов. Москва приказала им изменить курс — с тем, чтобы плыть неподалеку от нас.

Мне было интересно, что произойдет с "Балтикой", если нас настигнет шторм: я знал, что на корабле нет даже стабилизатора против качки. Вскоре все мои страхи подтвердились. Разразился шторм, маленький наш кораблик швыряло на волнах из стороны в сторону, рестораны, холлы, палубы — все опустело. Большинство пассажиров лежали в своих каютах, жестоко страдая от морской болезни. Добрая половина команды тоже была больна.

Но Хрущев оставался на ногах, свеженький, как огурчик. Для него как будто никакого шторма и не было: он, как ни в чем не бывало, ходил в ресторан, был в неизменно хорошем настроении и весело подшучивал над теми, кто, по его словам, оказался слабаками.

Я почти целый день пролежал в койке, поднимаясь только чтобы выйти в ванную. Вечером, дыша водочным перегаром, ко мне ввалился Моляков и начал тормошить меня:

— Что ты тут валяешься?

По его словам, лучшим лекарством против морской болезни были "двести грамм", и он уговаривал меня пойти с ним в бар. От этого предложения меня начало мутить еще сильнее, однако мне пришла в голову мысль, что умирать в баре может оказаться приятнее, чем на койке.

В баре было полно хрущевских приближенных — все навеселе. Разговор крутился вокруг женщин — рассказывали сальные истории и оценивали прелести стюардесс, официанток и секретарш, включенных в делегацию. Работники Министерства иностранных дел обычно были очень осторожны, потому что Громыко не любил, когда его подчиненные пили и болтали. Но мы знали, что в отличие от Хрущева, он ни за что не появится в баре, считая это ниже своего достоинства, так что мы тоже дали себе волю.

Завсегдатаями бара были также болгары, которые охотно общались с нами. Болгарский лидер Живков с подчеркнутым вниманием относился к Хрущеву, акцентируя свое согласие

с ним. Болгары – при малейшей возможности и даже без оной – обожали поразглагольствовать о своем сродстве с русскими, об исторической дружбе между Россией и Болгарией, довольно прозрачно намекая, что они – и только они – истинные братья и союзники Советского Союза.

Румыны, напротив, держались довольно отчужденно, между ними и советской делегацией чувствовался явный холодок. За столом в ресторане Георгиу-Деж обычно молчал. Хрущеву это не нравилось, но он не выражал своих чувств по отношению к румынам публично. Однако один случай все же произошел. Хрущев, не сдержавшись, заявил небольшой группке советских делегатов, что Георгиу-Деж – вообще-то неплохой коммунист, но слабоватый руководитель и к тому же слишком пассивен. Он добавил, что в Румынии, даже в рядах коммунистической партии, распространяются пагубные националистические и антисоветские настроения, которые надо пресекать в самом зародыше.

– Им нужна твердая рука, – заявил он. – Мамалыжники – это не народ, это проститутка. – Тут Хрущев замолчал, сообразив, что зашел слишком далеко, и, стараясь поправить положение, добавил невпопад: – Я имею в виду дореволюционную Румынию.

Венгры вели себя вполне лояльно, но не возвещали "вечную дружбу" на манер болгар и хранили полное молчание относительно событий 1956 года. Янош Кадар произвел на меня впечатление умного, резкого и энергичного человека. Он, очевидно, решил на "Балтике" отдохнуть и развлечься, и в основном играл в карты. Вообще, похоже, карточная игра – общевенгерская страсть: при малейшей возможности они вытаскивали колоду. Даже Хрущева немного раздражали эти заядлые картежники. После затянувшейся за полночь игры Кадар частенько не выходил к завтраку.

Содержание предложений, которые Хрущев намеревался сделать в Нью-Йорке, не обсуждалось с нашими социалистическими друзьями. Мы получили строгие инструкции ничего не сообщать им, не давать никакой информации о наших материалах и не обнаруживать нашего стиля и методов работы. Хрущев информировал болгарского, венгерского и румынского руководителей о своих предложениях только в самых общих словах.

Однажды Моляков цинично заметил, что нам следует быть

"очень осторожными в разговоре с нашими друзьями" и что мы не должны "без специального разрешения обсуждать с ними официальные материалы". Они почти наверняка все разболтают прежде времени. К тому же, среди них могут оказаться скрытые враги, агенты западных разведок. Я спросил Молякова, что же нам делать: избегать обсуждения предложений крайне неловко – делегаты социалистических стран выражают постоянный интерес к советской позиции.

– Все ловко. Неловко только штаны через голову надевать, – парировал Моляков мое заявление старым крестьянским присловьем. – Пускай ждут. Никита Сергеевич выступит на Генеральной Ассамблее, и тогда они все узнают.

В этом отражается истинное отношение советских руководителей к нашим так называемым братьям и союзникам. Как ни странно, это было для меня неожиданностью. Я знал, что далеко не всей информацией можно с ними делиться, но никогда не представлял себе, что в основе наших отношений лежит высокомерие. Ведь советские лидеры и пропагандисты без конца трубят всему миру о братской дружбе между СССР и другими социалистическими странами, кричат о ней, как о "нерушимом законе социализма". На самом же деле все это чистое лицемерие.

По утрам Хрущев выходил на палубу, садился в кресло-качалку, и его помощник Олег Трояновский читал ему сводки последних известии, переданные по радио из Москвы. Но наш контакт с Москвой был далек от совершенства: на "Балтике" не было подходящего оборудования, и, случалось, что мы не могли немедленно связаться с Москвой.

Хрущев был со всеми одинаково общителен. Он разговаривал с членами экипажа и даже с людьми, которых не знал лично, с радостью фотографировался с членами делегации, невзирая на недовольство своих телохранителей из КГБ, с удовольствием предавался всем палубным развлечениям и играм и оказался страстным любителем шафлборда, азартным и ловким игроком.

Хрущев часто сиживал с книгой в руках, но его познания в литературе были отрывочны и несистематичны. Хуже всего он знал западную литературу и говорил, что имей он время, обязательно заполнил бы этот пробел. Иностранных языков он не знал и не собирался изучать их. "Лучше русский как следует выучить", – вполне самокритично признавался он.

Недостатки его образования были довольно очевидны: в разговоре он делал грамматические ошибки, часто произносил слова, неверно ставя ударение.

Хрущев действительно был не похож на других советских руководителей. Куда более типичным представителем советского руководителя-бюрократа был Громыко, избегавший простого человеческого общения с обычными людьми. В отличие от большинства западных лидеров, советские ответственные работники занимают свои высокие посты на протяжении долгих лет, если не всю жизнь, и по мере того как они отдаляются от народа, перестают понимать его заботы и образ мыслей.

Сильный шторм, от которого теперь страдала бóльшая часть нашей компании, обернулся к моей выгоде: то ли действительно помогла рекомендованная Моляковым водка, то ли молодой организм справился с болезнью, но я был вполне бодр. Большинство моих начальников отлеживались по своим койкам, и поэтому я получил распоряжение работать непосредственно с Громыко и Хрущевым.

Я не раз беседовал с Хрущевым наедине, играя с ним в шафлборд или прогуливаясь по палубе. Он живо всем интересовался, задавал множество вопросов и часто сам же на них отвечал, не дожидаясь ответа. Он был неуклюж, а в неформальной обстановке, царившей на судне, и вовсе производил впечатление неряхи, всегда одетый в мешковатый пиджак и широкие, мятые брюки. Он отличался резкими перепадами настроения, ни с того ни с сего впадал в приступы гнева, а когда бывал один или с близкими ему людьми, выказывал порой нетипичную для него меланхолию, производя впечатление утомленного и чем-то огорченного человека. Но такие настроения длились недолго и были почти незаметны на общем жизнерадостном фоне.

Подготовка предложений или "новой важной советской инициативы", как называли их во внутреннем кругу ЦК и Министерства иностранных дел, была в основном завершена в Москве. На "Балтике" им придавалась окончательная отделка и форма, в основном с целью придания им максимально привлекательной пропагандистской окраски. Хрущев требовал, чтобы все тексты предложений и черновики его собственных речей были написаны в простом, четком стиле, понятном для широчайших кругов общественности, даже для

тех, кто никак не связан с политикой. Он любил повторять одну из заповедей марксизма: "Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами".

В процессе нашей работы поиск четких формулировок, живых и ярких сравнений и аргументов, популярных русских пословиц и поговорок был не менее важен, чем формулировка предложений по существу. У тех, кто готовил материалы для Хрущева, сборники пословиц и поговорок были всегда под рукой. Незаменимыми помощниками Хрущева в литературных и пропагандистских вопросах были Алексей Аджубей и Павел Сатюков, главный редактор "Правды", всю жизнь проработавший в партийном аппарате. По виртуозности в этом деле они далеко превосходили Громыко, который поставлял идеи, но не умел придать им законченную литературно-художественную форму. Вознесение Аджубея было Громыко не по душе. Ценя огромный дипломатический опыт Громыко, Хрущев постоянно поддразнивал его, называя сухарем-бюрократом.

– Вы только посмотрите, как молодо выглядит Андрей Андреевич, – говаривал Хрущев, улыбаясь и кивая в сторону Громыко, который действительно выглядел очень молодо для своих лет. – Ни одного седого волоска. Сразу видно, что он сидит себе в своем уютном закутке и чаек попивает.

Эти выпады не доставляли Громыко ни малейшего удовольствия, но он всегда умудрялся выдавить улыбку.

Хрущев и сам усердно работал над текстом своих речей. В своей каюте или на палубе он часами диктовал наброски своих мыслей, с такой скоростью, что запыхавшиеся стенографистки едва успевали переворачивать страницы. Черновики часто были беспорядочны, в них было множество фактических неточностей, и даже самые опытные стенографистки порой не могли изложить на правильном русском языке топорные фразы, выдаваемые Хрущевым. При всем этом его речи были живыми и темпераментными, повороты мысли, аргументы, рассуждения отличались оригинальностью и убедительностью, особый колорит придавали им меткие пословицы и поговорки, которые он так любил.

По вечерам после обеда мы обычно собирались в маленьком зале, где показывали фильмы или члены экипажа выступали с самодеятельными концертами. Хрущев никогда не пропускал этих сборищ – он не любил быть один. Он с удо-

вольствием смотрел все картины, советские и заграничные, но особенно нравились ему старые довоенные советские фильмы и хроника.

Хрущев много пил – водку, вино, коньяк, – но хмелел не сразу. Иногда после целого дня пьянства он впадал в безудержное веселье. Его частым собутыльником был Янош Кадар, тоже не дурак выпить, и Хрущев иногда по несколько раз на день вваливался в каюту Кадара. Но больше всего он общался с Тодором Живковым: хотя флегматичный болгарин заводился не так легко, как Кадар, с ним было проще разговаривать – он почти все понимал, тогда как с румынами и венграми часто приходилось общаться через переводчиков.

Однажды вечером, когда мы собрались в зале и ждали начала фильма, Хрущев, сильно под хмельком, решил поразвлечься. Рядом с ним сидел Николай Подгорный, находившийся на том же посту, на котором некогда был Хрущев: он был первым секретарем ЦК компартии Украины. Повернувшись к нему, Хрущев сказал:

– Почему бы тебе не сплясать для нас гопака? Я что-то соскучился по украинским танцам и песням.

Хрущев очень любил Украину и часто с удовольствием вспоминал о своей жизни в Киеве.

Подгорный удивленно вскинул брови: ему было за шестьдесят, и танцевать гопака в его возрасте – трудно, да и не к лицу человеку, занимающему высокое положение. Хрущев, однако, настаивал, и Подгорный понял, что начальство не шутит. Он нехотя встал и неуклюже подпрыгнул несколько раз, имитируя движения гопака. Было совершенно ясно, что плясать он не умеет, но Хрущев громко захлопал в ладоши и похвалил Подгорного:

– Хорошо. Значит, на правильном посту сидишь в Киеве.

Однажды в разговоре Хрущев спросил, не потомок ли я Тараса Шевченко. Я ответил, что нет, но мои родители и я сам родились на Украине, и хотя я большую часть жизни провел в России, все же считаю себя украинцем. Мой ответ, вероятно, пришелся ему по душе, и я даже испугался было, что он и меня заставит сплясать гопака. Но он с широкой улыбкой похлопал меня по плечу и сказал:

– Гордиться своей национальностью – это замечательно.

Ободренный атмосферой непринужденности, царившей на борту, я решился выразить кое-какие свои сомнения относи-

тельно нашего новейшего подхода к политике разоружения. В Министерство иностранных дел меня привела прежде всего перспектива "серьезных переговоров" о сокращении вооружений, но сейчас от этих реалистических задач отказались в пользу пропагандистской программы всеобщего и полного разоружения.

Я осторожно намекнул Хрущеву, что пропаганда не может заменить реальные переговоры, которые необходимы для достижения прогресса в прекращении гонки вооружений, и был несколько удивлен тем, что он выслушал меня. Потом он сказал, что существует два уровня работы в этой области: его кампания за всеобщее и полное разоружение как пропагандистская борьба, в основании которой лежат реальные переговоры о конкретных, хотя и ограниченных, шагах.

– Каждому овощу свое время, – привел он известную пословицу.

Он подчеркнул, что было бы неразумно отказываться от частных мер, но главной задачей является всеобщее и полное разоружение и выбирать, что именно ставить во главу угла в данный момент, – это и есть искусство политика.

– Никогда не забывайте о том, как привлекательна для всего мира идея разоружения, – поучал он меня. – Стоит только сказать "я за", и это уже принесет огромные выгоды. – С ухмылкой признавшись, что он вовсе не ожидает от Запада полного разоружения и не предполагает такого курса для Советского Союза он добавил: – Привлекательный лозунг – это самый мощный политический инструмент. Американцы этого не понимают и только вредят себе, выступая против идеи всеобщего и полного разоружения. То, что они делают, совершенно бесполезно – все равно как с ветряными мельницами сражаться.

Хрущев сказал, что пропаганду и настоящие переговоры следует рассматривать не в их противоречии, но как дополняющие друг друга процессы. И хотя его подход – цель оправдывает средства – был довольно циничен, его откровенное обоснование собственной политики звучало намного убедительнее (что вообще свойственно правде), чем лицемерные лозунги Валериана Зорина и других.

Хотя мое собственное воздействие на советскую политику было довольно ничтожным, само это трансатлантическое путешествие имело для меня колоссальное значение. Сам

факт моей приближенности к Хрущеву и его главным помощникам придавал мне значимость в глазах других, и это вело к быстрому продвижению по службе. Но мое непосредственное знакомство с советским лидером и его окружением, всеобъемлющий цинизм тех, кто действительно делал политику, разом и взбодрили, и смутили меня. Я ясно увидел стремление советских руководителей ко все расширяющейся власти. Тезис о мирном сосуществовании был ленинским лозунгом, который Хрущев возродил к жизни, сделав из него дымовую завесу, за которой планировались новые действия по расширению советского влияния.

На корабле откровенно обсуждали события в бывшем Бельгийском Конго, которое недавно обрело независимость, и теперь его раздирала гражданская война. С одной стороны, эта ситуация могла бы превратить эту страну в благодатную почву для советских манипуляций, но во всем этом хаосе страна могла и ускользнуть от Советов. Почему-то события в Конго развивались не так, как хотелось бы Москве, и Хрущев был в ярости оттого, что Конго, как он выразился, "уплывает у нас из рук".

На протяжении всего путешествия его очень волновало вмешательство ООН в Конго, в особенности действия войск ООН по поддержанию мира и Генерального секретаря Дага Хаммаршельда.

– Плевать мне на ООН, – кричал он, выслушав в чтении Олега Трояновского какие-нибудь особенно неприятные сообщения из Африки. – Это не наша организация. Этот бездельник Хам сует нос в важные дела, которые его не касаются. Слишком много власти себе взял, он за это заплатит. Мы должны избавиться от него, мы ему покажем, где раки зимуют.

В результате его яростного недовольства возникло смехотворное предложение заменить Генерального секретаря исполнительным комитетом из трех человек, тройкой. План этот был задуман, чтобы ослабить ООН, но Хрущев не желал слушать никаких возражений и выдвинул эту идею в своем обращение к Генеральной Ассамблее. Громыко понимал, что этот проект полностью противоречит давнишней советской политике, направленной против какого бы то ни было пересмотра Устава ООН, но даже он не мог убедить Хрущева.

Личные угрозы Хрущева в адрес Хаммаршельда вспомни-

лись мне в сентябре 1961 года, когда Генеральный секретарь погиб в загадочной авиакатастрофе в Конго. Друзья, занимавшиеся Африкой, однажды сказали мне, что видели секретное сообщение КГБ, в котором говорилось, что самолет был сбит просоветскими конголезскими силами, руководимыми оперативниками из СССР.

В другой раз Хрущев поразил меня мимолетным, но точным замечанием о своих намерениях использовать для укрепления советской мощи то, что он называл "внутриимпериалистическими противоречиями". Он сидел на палубе, придерживая одной рукой от порывов ветра свою рваную, но горячо любимую соломенную шляпу.

– Я не могу с ней расстаться, – сказал он, – посмеиваясь. – Она помогает мне думать. К тому же вряд ли моя шляпа придется по вкусу акулам. – Это слово вызвало у него совершенно неожиданные ассоциации, и будто размышляя вслух, он добавил: – В Нью-Йорке нам придется иметь дело с целой стаей империалистических акул разных пород.

В течение получаса он вслух анализировал стратегию основных западных стран и Советского Союза, сравнивая их.

– Англичане, – заметил он, – безнадежный случай, заядлые антисоветчики. Лев может потерять гриву, но от этого его укус не становится безопаснее. Недаром же мы говорим: "Англичанка всегда засранка". Франция – это другое дело – это ниточка, за которую нужно ухватиться, чтобы привязать к себе всю Европу. – Поглядывая на свое брюшко, он вспоминал недавний визит в Париж. – Они нас замечательно принимали, шампанское лилось рекой. А мы в ответ польстили самолюбию де Голля, захвалили его до небес. С ним только так и надо.

С немцами, по мнению Хрущева, поладить не так легко, зато их экономика и технология представляли собой для Советов большой интерес. Западную Германию следовало также убедить, что никаких надежд на воссоединение с Восточной у нее нет. За девять месяцев до постройки Берлинской стены Хрущев размышлял:

– Если будет нужно, мы покажем нашу силу, чтобы отрезвить тех западногерманских политиканов, которые не понимают ситуации. Но как только они поймут эту ситуацию, они пойдут на уступки в торговле. Не забывайте, – продолжал Хрущев, – Германия после революции первой начала торговать с нами.

Что же до Соединенных Штатов, то в данный момент он не надеялся добиться изменений их позиции, но зато считал необходимым использовать множество возможностей для "разжигания недоверия" к американцам в Европе. Вспоминая свои переговоры в 1959 году с президентом Эйзенхауэром, Хрущев сказал:

– В прошлом году мы благодаря Кемп-Дэвиду добились уже того, что между странами НАТО возникла маленькая трещина. Нам нужно работать в этом направлении, настраивая США против Европы, а Европу – против США. Этой тактике учил нас Владимир Ильич, и я не забыл его уроков, – говорил он, грозя мне пальцем.

При наведении окончательного лоска на речь, с которой Хрущев собирался обратиться к Генеральной Ассамблее, формулируя фразы об успехах социализма в СССР, некоторые из нас начали сомневаться, не слишком ли перегружена эта речь статистическими данными о советских достижениях. Когда я осторожно заметил Хрущеву, что, может быть, стоит подумать о сокращении речи, убрав из нее разделы, не имеющие прямого отношения к центральной теме советских предложений в ООН, он очень рассердился.

– Пусть эти ооновские деятели нас послушают, – сказал он. – Они только и знают, что болтать да бумагу тоннами переводить. И нечего нам экономить на страницах, когда мы предпринимаем политическое вторжение в ООН.

Он сказал, что Ленин учил, что "социализм силен примером" и что "идеи коммунизма необходимо показывать на примерах". Затем он прочитал мне восторженную лекцию о важности и пользе применения в практической работе теоретического наследия марксизма-ленинизма; он сам, например, всегда находит нужные указания в произведениях Маркса и Ленина.

Все мы знали, что Хрущев никогда не был теоретиком. Тем не менее он любил иной раз порассуждать на теоретические темы. Однажды я наблюдал за ним, когда он, стоя на палубе, был занят тем, что следил за Громыко, который стоял неподалеку от нас в своей вечной итальянской старомодной шляпе типа "борсалино", надвинутой на самые уши, и темно-синем макинтоше, застегнутом на все пуговицы. С очень серьезным видом Громыко разговаривал с нашим послом в Англии Александром Солдатовым.

— Вот, поглядите-ка, — сказал Хрущев. — Андрей Андреевич прекрасный дипломат и тактик, на переговорах он собаку съел. Но как теоретик и идеолог он в общем слабоват, теоретизирование ему не слишком нравится. Но это ничего, мы над ним работаем, мы из него сделаем толкового теоретика.

Эти комментарии о человеке, повлиявшем на мое решение поступить в Министерство иностранных дел, поставили меня в тупик, а Хрущеву, очевидно, даже в голову не пришло, что он говорит с подчиненным министра.

Через несколько дней "Балтика", сделав большой круг в сторону от намеченного курса, вышла из зоны штормов. Пассажиры столпились на палубе, дул легкий теплый ветер, ярко светило солнце, настроение у всех было превосходное. При такой погоде Хрущев проводил на палубе много времени. Однажды я увидел, что он стоит один, облокотившись на ограждение, и смотрит в бинокль на океан. Очевидно, его собеседники только что отошли. Я подошел к нему, и как раз в этот момент его рука скользнула по поручню, и он потерял равновесие. Я быстро подхватил его. Он обернулся ко мне и сказал с веселой усмешкой в глазах:

— Я не моряк, но на палубе держусь крепко. И если бы я упал за борт, то вовсе не из-за неосторожности. Просто мы сейчас недалеко от Кубы, и уж, наверное, они примут меня лучше, чем американцы в Нью-Йорке.

Не знаю, почему вдруг Хрущев подумал о Кубе. Может, именно эта относительная близость к острову уже тогда породила в его уме идею, которую он позже воплотил в кубинскую авантюру, приведшую к тяжелейшему кризису ядерной эпохи.

А он меж тем задумчиво продолжал:

— Надеюсь, Куба станет маяком социализма в Латинской Америке. Кастро позволяет нам надеяться на это, а американцы нам помогают.

Он сказал, что вместо того чтобы установить нормальные отношения с Кубой, США делают все возможное, чтобы припереть Кастро к стенке, организуя против него кампании, натравливая латиноамериканские страны, установив экономическую блокаду острова.

— Это глупо! — воскликнул он. — И все — результат завываний ярых антикоммунистов в Штатах. Им повсюду мере-

щится красный цвет, даже там, где преобладает розовый или, еще того хуже, белый. – Потом, причмокнув, словно смакуя предстоящее лакомство, произнес: – Кастро будет притянут к нам, как магнит притягивает железо.

Я ответил, что хотя кубинское руководство движется к социализму, но мне говорили, что будто заведующий Международным отделом ЦК Борис Пономарев не уверен относительно истинных намерений Кастро.

– Ну, Пономарь ценный работник, но ортодоксален, как католический священник, – с раздражением пробурчал Хрущев, добавил, что составит собственное мнение о Кастро во время встречи в Нью-Йорке.

И вот наконец свежевыкрашенная, нарядная "Балтика" вошла в нью-йоркский порт и миновала статую Свободы. Но роскошь нашего лайнера (покраска была произведена за несколько дней до прибытия во время специальной стоянки) резко контрастировала с грязными, полуразваленными доками, в которые он входил. Никто ничего подобного не ожидал. Хрущев с явным неудовольствием пробурчал:

– Так. Эти америкашки сыграли с нами еще одну шутку.

Но "америкашки" тут были не при чем. Просто наш посол в Вашингтоне Михаил Меньшиков и Валериан Зорин, недавно ставший представителем СССР в ООН, слишком буквально поняли инструкции из Москвы насчет того, что не следует тратить много денег на стоянку "Балтики" в Нью-Йорке. Они, несомненно, изрядно попотели, пока нашли дешевую стоянку, зато и получили за свои деньги именно то, что за них можно получить: полуразвалившийся пирс возле Тридцать пятой улицы, бездействовавший много лет.

Вообще, Меньшиков, протеже Анастаса Микояна, не отличался ни умом, ни способностями. В Москве у "улыбающегося Майка", как называли его в Штатах, была репутация закоренелого сноба. Что же до Зорина, то он был до мозга костей догматиком и всегда следовал духу и букве инструкций, порой не задумываясь о последствиях. Это и подтвердилось еще раз в том, как он понял указание о снятии дешевой стоянки.

По прибытии в Нью-Йорк мы столкнулись с еще одной трудностью. Международная ассоциация портовых рабочих решила бойкотировать приезд Хрущева и отказалась обслуживать "Балтику", так что кораблю пришлось швартоваться соб-

ственными силами. Смешно было видеть, как неуклюже дипломаты помогали морякам натягивать канаты.

После того как Хрущев обосновался в Советской миссии на Парк авеню, Зорин устроил вечернюю конференцию для обсуждения расписания премьера в Нью-Йорке. В речи Зорина были слова о том, что "Никита Сергеевич придает особое значение встрече с Фиделем Кастро". Главная трудность заключалась в том, что Кастро переехал из центра в старую гостиницу "Тереза" в Гарлеме. Гостиница была отвратительная, по соседним улицам слонялись пропойцы, наркоманы и прочий нью-йоркский сброд, но Кастро хотел доказать, что он – человек простой и вышел из народа. Телохранители Хрущева возражали против визита в эту гостиницу. Служба безопасности США тоже была против. Зорин предложил пригласить Кастро в Советскую миссию, но Хрущев воспротивился: он должен навестить Кастро в Гарлеме, чтобы показать тому свое уважение. Ему было важно продемонстрировать, что ему, руководителю великого народа, нет дела до всяких там протоколов и безопасности. Он тоже – из народа.

Из Гарлема Хрущев вернулся чрезвычайно довольный. Он рассказал нам, что выяснил, что Кастро хочет дружить с Советским Союзом и просит военной помощи. Более того, у него создалось впечатление, что из Кастро получится хороший коммунист. Но, несмотря на энтузиазм, он все же добавил, что следует быть осторожным:

– Кастро похож на молодого необъезженного коня. Ему нужны уроки, но он очень своенравен – так что надо быть начеку.

Хрущева очень задела рекомендация нью-йоркских властей в целях безопасности не выезжать за пределы Манхэттена, и, поскольку он намеревался проводить свободное время в Глен-Коуве, он немедленно придал этой рекомендации политическую окраску. В первой же речи на Генеральной Ассамблее Хрущев обвинил США и американские власти в том, что они не создают "благоприятных условий" для представителей государств – членов ООН, ограничивая и ущемляя их права.

Он заявил: "Возникает вопрос: не пора ли подумать о выборе другого места для ООН, такого, которое могло бы более эффективно способствовать плодотворной работе этой международной организации? Таким местом, например, мог-

ла бы стать Швейцария или Австрия. Я с полной ответственностью заявляю, что, если покажется желательным разместить ООН в СССР, мы гарантируем самые благоприятные условия для ее работы и полнейшую безопасность для представителей всех государств".

Конечно, Хрущев всего лишь работал на публику. Меньше всего Москва хотела бы, чтобы ООН куда-то переехала. Ни в Москве во время подготовки к сессии, ни на "Балтике" вопрос о переезде ООН не обсуждался. "Ответственное" заявление Хрущева относительно перенесения ООН в Советский Союз было на редкость безответственным. Такая организация в Москве могла бы стать троянским конем, еще пуще возбуждая страх режима перед Западом. И без того страх этот достиг таких размеров, что советское правительство отказывалось допустить в скромный информационный центр ООН в Москве хотя бы одного иностранного служащего. Помимо этого, имелось и другое обстоятельство против переезда ООН из США. Нынешнее местоположение ООН давало Москве возможность размещать под ее прикрытием практически неограниченное количество сотрудников КГБ. Разумеется, КГБ яростно воспротивился бы переезду ООН из Нью-Йорка: для него это было бы равнозначно ликвидации одного из главных центров шпионажа. Ни Вена, ни Женева не заменили бы Нью-Йорк.

Работая в нашей Миссии при ООН в 60-е годы и позже, будучи заместителем Генерального секретаря в 70-е, я не раз слышал высказывания работников КГБ на эту тему. Малейший намек на возможность перенесения местоположения ООН вызывал жуткую панику.

Хрущев проводил в ООН массу времени. Он побил все имевшиеся рекорды по произнесению речей, одиннадцать раз за сессию обращаясь к Ассамблее. Для него правил не существовало. Это становилось ясно, когда он начинал фиглярничать. Один такой случай стал широко известен.

1 октября 1960 года я сидел в зале Ассамблеи недалеко от него. Хотелось курить, и я встал, чтобы выйти в коридор. Лев Менделевич, заместитель заведующего Отдела международных организаций, погрозил мне пальцем:

– Вы что, с ума сошли? Сейчас будет выступать Никита Сергеевич. Что подумают, если вы уйдете?

Хотя речь Хрущева была посвящена восстановлению за-

конных прав Китая в ООН, он решил воспользоваться ею, чтобы напасть на генерала Франко. В частности, Хрущев заявил, что "Франко установил режим кровавой диктатуры и уничтожает лучших сынов Испании".

Ирландец Фредерик Боланд, президент Ассамблеи, был человеком сдержанным и спокойным. Но Хрущев зашел так далеко, что Боланд вынужден был его прервать. Прерывать главу государства во время речи не принято, однако Боланд потребовал, чтобы Хрущев не занимался личными выпадами против глав других государств – членов ООН. Замечание не возымело желанного эффекта: Хрущев разошелся еще пуще и продолжал поносить Франко.

После его речи испанский министр иностранных дел Фернандо Кастелья выступил с ответным словом. Хрущев, совершенно выйдя из себя, забыл все правила приличия и начал осыпать испанского министра оскорбительными замечаниями. Увлекшись, он кричал и стучал кулаками. Но кульминации эта сцена достигла, когда он, сняв ботинок, начал оглушительно колотить им по столу. Другие члены советской делегации тоже принялись шуметь и стучать по столам, хотя ботинки больше никто не снимал.

Закончив выступление, Кастелья вернулся на свое место, которое случайно оказалось прямо перед столом Хрущева. Когда испанский министр подошел к своему стулу, Хрущев, не владея собой, вскочил и, размахивая кулаками, бросился на худенького, маленького испанца. Тот принял комичную оборонительную стойку, но охранники тут же развели их.

Всех нас потрясло поведение Хрущева. В Миссии после закрытия сессии все были подавлены и смущены. У Громыко, известного своей полной невозмутимостью, были белые губы. Один лишь Хрущев вел себя так, словно ничего не случилось, громко смеялся и шутил, говорил, что надо "вдохнуть хоть капельку жизни в затхлую атмосферу ООН". Казалось, ему было абсолютно все равно, что могли подумать о нем другие члены ООН во время этой эскапады.

Хрущев уезжал из Нью-Йорка в середине октября, в последние недели перед выборами. На людях Хрущев делал вид, что ему все равно, кто станет президентом. О Никсоне и Кеннеди он говорил, что это "два сапога – пара" и "не скажешь, какой лучше – левый или правый". Но на самом деле он ду-

мал иначе. На завтраке перед отъездом он рассвирепел при упоминании имени Никсона:

— Это типичный продукт маккартизма, марионетка самых реакционных сил в США. Мы с ним никогда не найдем общего языка.

Хрущев был так убежден в этом, что отклонял все попытки Никсона и Эйзенхауэра наладить отношения. Мы знали, что они убеждали его в том, что нельзя принимать всерьез предвыборные речи Никсона, что эти речи рассчитаны на определенные слои избирателей и задача их — произвести наибольший эффект. На самом же деле Никсон хочет улучшения отношений с СССР. Но Хрущев отверг все эти уверения.

Он с гордостью рассказывал, что "раскусил" американцев сразу, еще тогда, когда администрация Эйзенхауэра попросила освободить Пауэрса и летчиков, сбитых в Арктике, еще до выборов.

— Мы никогда не сделаем Никсону такого подарка! — воскликнул он. — И мы тоже можем повлиять на американские выборы.

Хрущев был доволен некоторыми заявлениями Кеннеди, говоря, что хотя оценки Кеннеди часто противоречивы и нечетки, он явно боится войны и поэтому делает предварительные шаги по улучшению отношений с СССР.

Сегодня очень легко обвинять Хрущева в недостатке политической дальновидности. В конце концов, именно Никсон был первым американским президентом, который побывал в Советском Союзе и начал политику разрядки. Однако тогда, в 1960 году, даже самый проницательный советский эксперт вряд ли мог это предсказать.

13

В Москву я вернулся поездом из Парижа как раз накануне Нового года. Город, обычно унылый и мрачный, сиял огнями и был разукрашен по случаю наступающего 1961-го. По дороге с вокзала я задумался над тем, каким напряженным и в то же время многообещающим был для меня уходящий год. Тот факт, что я оказался на какое-то время среди хрущевской свиты, сулил мне дальнейшее продвижение по службе и более заметную роль в переговорах по разоружению. С того путешествия на "Балтике" Хрущев меня запомнил и

неизменно сердечно приветствовал, где бы мы с ним ни встречались в последующие несколько лет.

Я знал, что Хрущев испытал удовлетворение, когда на президентских выборах победил Джон Кеннеди; он безусловно предпочитал этого молодого сенатора из Массачусетса всем другим кандидатам. Хотя большинству советских руководителей имя Кеннеди мало что говорило, зато они слишком хорошо знали, что представляет собой его соперник Никсон. Хрущеву запомнилась короткая встреча с Кеннеди, когда он годом ранее находился в Соединенных Штатах с официальным визитом. Ему пришелся по душе призыв Кеннеди "проявить мудрость и политическую зрелость, вступив в конструктивный диалог и переговоры с Советским Союзом". Хрущев считал "трезвой и реалистичной" критическую оценку, которую Кеннеди дал инциденту с разведывательным самолетом "У-2". Более того, в одном из своих выступлений в мае 1960 года Кеннеди сказал даже, что, будь он тогда президентом, "он бы не разрешил такое мероприятие, как рейд "У-2". Хрущев одобрял также заявление Кеннеди, что США "не хотят атомной войны".

Но этот "медовый месяц" в советско-американских отношениях длился недолго.

Причиной первого открытого столкновения между Хрущевым и Кеннеди оказалась Куба. Хрущев сознавал: не исключено, что Соединенные Штаты попытаются свергнуть кастровский режим. Правда, он не ожидал, что Кеннеди предпримет подобную попытку, едва успев стать президентом.

Когда 15 апреля 1961 года вооруженные силы кубинских эмигрантов, поддерживаемые США, предприняли высадку на Кубе в районе Залива Свиней, Хрущеву пришлось пережить крушение своих планов в том смысле, что он вынужден был, во-первых, высказаться в защиту Кубы, обостряя тем самым отношения с Кеннеди, которые ему, напротив, хотелось бы еще более улучшить; во-вторых, неудавшееся вторжение контрреволюционеров на Кубу усилило антиамериканские настроения в Политбюро и среди советского военного руководства.

Провал кубинской операции создал у Хрущева и других советских руководителей впечатление, что Кеннеди "недостаточно решителен". Это представление имело далеко идущие последствия. Оно привело в дальнейшем к возникнове-

нию критических ситуаций не только в районе Карибского моря, но и в Европе.

События весны 1961 года не могли не сказаться на ближайшей встрече Хрущева и Кеннеди, которая состоялась в июне того же года в Вене. О деталях этой встречи я узнал от Леонида Замятина, заместителя заведующего отделом США Министерства иностранных дел. Замятин всегда производил впечатление хорошо информированного человека; он был еще молод и упивался сознанием успешно начатой карьеры. Его поразительный апломб и присущая ему самоуверенность как-то возмещали отсутствие природных способностей и давали ему возможность быстро продвигаться по служебной лестнице. Громыко вскоре назначил его заведующим отделом печати МИДа. Навыки, приобретенные Замятиным на этой должности, пригодились, когда его назначили генеральным директором ТАСС. В конце концов он сделался как бы главным пресс-атташе Брежнева и занял пост заведующего отделом международной информации ЦК.

Вместе с Георгием Арбатовым и Вадимом Загладиным Замятин образовал непременную троицу, выпускаемую Кремлем на сцену всякий раз, когда требовалось оказать то или иное воздействие на общественное мнение Запада. Физиономии всех троих изрядно примелькались западным политическим деятелям и журналистам.

Замятин рассказал мне, что встреча в Вене свелась лишь к взаимному прощупыванию обоих глав государств. У Хрущева не было намерения поднимать и тем более решать на этой встрече сколько-нибудь существенные вопросы. По словам, Замятина, Хрущев после Вены решил, что Кеннеди – "мальчишка", на которого при случае можно будет "надавить".

– Сейчас Никита Сергеевич как раз думает, – заключил Замятин, – что бы нам такое предпринять в свою пользу... Мы хотим прощупать, как далеко можно зайти с Кеннеди.

Среди публики, встречавшей Хрущева по прибытии в Вену, был и его прежний соперник Вячеслав Молотов. Теперь Молотов занимал относительно скромную должность советского представителя в Международном агентстве по атомной энергии.

Незадолго до этого мне тоже довелось лично познакомиться с Молотовым и его женой Полиной, крторой в свое время пришлось по приказу Сталина провести несколько лет в конц-

лагере. Я с семьей проводил отпуск в мидовском доме отдыха под Москвой, в небольшой деревушке под названием Чкаловская. В том же коттедже, где нас разместили, жил Молотов. Поскольку он больше не принадлежал к самой верхушке советского руководства, ему приходилось проводить отпуск в тех же местах, где отдыхал младший персонал министерства и ряд дипломатов не слишком высокого ранга.

Живя в одном доме, мы часто встречались и разговаривали, и я имел возможность поближе к нему присмотреться. Хотя он не утратил живучести и ясности мышления, чувствовалось, что его угнетает нынешнее незначительное положение. Он никогда не упоминал о том, что с ним произошло, и отмалчивался, когда речь заходила о Хрущеве. Продолжая живо интересоваться международной политикой и обстановкой в МИДе, он выспрашивал меня о деталях нашей работы, не только о существенных моментах, но и обо всяких мелочах. Как-то в связи с этим Молотов заметил, что в его время внешняя политика СССР была "более солидной и последовательной". У себя в комнате он часами что-то писал, и, заходя к нему, я неизменно заставал его за письменным столом.

Казалось даже несколько странным, что вот это и есть тот самый Молотов, пользовавшийся в свое время такой недоброй репутацией, запятнавший себя в сталинские времена беспощадной жестокостью. Я считал, что не к лицу ему после всего этого оставаться на видной государственной должности, и мне было приятно узнать, что вскоре Молотову пришлось уйти со своего поста в Вене. Его даже исключили из партии. Но его моральная реабилитация при Брежневе, о которой можно судить по публикациям сообщений о нем, а теперь вдобавок к этому еще и восстановление в партии, состоявшееся в 1984 году, когда Молотову было уже 94 года, свидетельствуют о том, что в СССР началось возрождение сталинщины.

Через некоторое время после бесплодной американо-советской встречи в Вене я получил назначение в группу, занимающуюся "германской проблемой". Наш коллектив был завален работой. Мы составляли массу всяческих сводок, проектов, нот, направляемых главам западных государств, готовили тексты многословных хрущевских речей по германскому вопросу. На это время моим начальником сделался Анатолий Ковалев, выпускник МГИМО и советник самого

Громыко. Ему было почти невозможно ни в чем угодить. Сплошь и рядом он браковал проекты бумаг, подаваемых ему на утверждение, требовал их полностью переделывать, и обычно швырял документ назад исполнителю со словами: "Это все пустая жвачка". Недовольные им подчиненные, в свою очередь, обвиняли Ковалева в том, что он "за словами не видит сути", предпочитает высокопарные обороты четкому изложению позиции советской стороны в подготавливаемых документах. Однако и сам Громыко избегал такой четкости, так что ковалевский стиль вполне устраивал высокое начальство.

Ковалев был фаворитом заместителя министра иностранных дел Владимира Семенова, отвечавшего за германские дела. В середине 50-х годов Семенов был Верховным комиссаром советской зоны оккупации Германии, к тому времени уже превратившейся в ГДР. Вспоминая свое комиссарство, а затем деятельность в качестве посла Советского Союза в ГДР, он хвастливо заявлял: "Я был хозяином почти половины Германии!"

Семенов написал множество работ по теоретическим вопросам, – подражая, по-видимому, Ленину. Забавно, что он даже внешне напоминал Ленина – совершенно лысый, с яйцевидным черепом и выпуклым лбом. Прохаживаясь по своему кабинету и читая нотации подчиненным, он ради вящего сходства с "Ильичем" закладывал большие пальцы рук в проймы жилета, как это любил делать Ленин. За глаза его откровенно высмеивали за все эти штучки. Поводом для шуток было и то обстоятельство, что Семенов часто публиковал статьи, подписывая их "И.Иванов" – все знали, что это один из ленинских псевдонимов.

Советская позиция в отношении Германии сводилась к тому, что на немецкой земле возникло два суверенных государства. В результате "послевоенного развития" каждая половина составляет "независимую нацию". Поэтому "механическое объединение обеих частей прежней Германии" невозможно.

Я как-то заметил Семенову, что идея двух германских наций не вяжется с определением нации в соответствии с марксистско-ленинским учением. На это Семенов отвечал снисходительно, что марксизм-ленинизм – живое диалектическое учение, постоянно развивающееся и обогащающееся но-

выми положениями. Я почувствовал себя снова в роли студента МГИМО, выслушивающего профессорские поучения, но не мог поверить, что "профессор" говорит искренне.

Что касается немецкого народа, то он, конечно, сопротивлялся искусственному разделу. Власти ГДР хлебнули немало горя с Западным Берлином, постоянно демонстрирующим восточногерманскому населению несравненно более высокий жизненный уровень, присущий Западу. Ульбрихтовскому режиму нелегко давалась политическая и идеологическая обработка своих граждан – Западный Берлин сводил на нет многие его усилия. Множество ученых, инженеров и вообще интеллигенции, а также попросту наиболее активные представители населения, особенно молодежь, перебирались из ГДР на территорию Западного Берлина, чтобы оттуда бежать в ФРГ. За сравнительно короткое время из ГДР бежало на Запад более трех миллионов немцев.

Чтобы пресечь этот исход, в ночь на 13 августа 1961 года власти начали сооружение Берлинской стены. Во многих отделах нашего МИДа в эти дни царило возбуждение: все ждали, какие контрмеры предпримет Кеннеди. Однако никаких инцидентов, которые могли бы перерасти в военный конфликт, не произошло, если не считать одного случая: в ноябре к линии, делящей Берлин на Западный и Восточный, были подведены американские танки. Впрочем, постояв некоторое время напротив советских танков, выдвинутых им навстречу, американцы не проявили никаких враждебных действий.

Берлинские события совпали с еще одной советской акцией, вызвавшей негодование во всем мире. В Кремле было принято решение нарушить неписаный мораторий на ядерные испытания, соблюдаемый как нами, так и американцами начиная с 1959 года. Советской военно-промышленной верхушке удалось заручиться в этом вопросе поддержкой самого Хрущева, поскольку это произошло в разгар консультаций между СССР и США, в ходе которых предстояло наметить возможности окончательного запрета ядерных испытаний.

Я не мог поверить своим ушам, когда от меня потребовали помочь в подготовке нашего заявления, оправдывающего начало новой серии ядерных испытаний. Кирилл Новиков распорядился составить проект "солидного и убедительного объяснения" принятого Кремлем решения.

– Но это же идиотизм, – запротестовал я. – Это невозмож-

но оправдать. Нас весь мир осудит! Это будет выглядеть так, словно мы плюем на все переговоры, словно для нас это все детские игрушки. Нет, не смогу я найти доводы, чтобы доказать недоказуемое!

— Аркадий, Аркадий, — энергично прервал Новиков, — никто твоего мнения не спрашивает. Решение принято, значит, оно было обоснованным. Оправдания ему ты найдешь. Вали все на Францию — она же союзник Америки по НАТО, а между тем продолжает испытания, несмотря на мораторий. Нас вынудили к такому решению усиленные военные приготовления, ведущиеся на Западе. Ну, ты сам знаешь, как это сформулировать. Так что помалкивай и берись за дело.

Он отвернулся, и поставив стакан водки, сделал жест рукой, показывающий, что разговор окончен.

Я чувствовал, что он в основном разделяет мое замешательство, только не хочет, чтобы это кто-нибудь заметил. Многие из моих коллег, в том числе и мои ровесники, точно так же привыкли скрывать свои чувства. Впрочем, и я обычно поступал так же, носил ту же маску. Только с несколькими своими друзьями я мог говорить откровенно, да и то при встречах у кого-нибудь дома, после выпивки, развязывающей языки. В основном же я ни с кем не делился своими сомнениями и опасениями, как бы часто мне ни приходилось испытывать эти чувства. Про себя я возмущался; внешне — подчинялся и соглашался.

Получалось так, что политика Хрущева в отношении Германии и возобновление атомных испытаний противоречили его курсу на деловые переговоры с Кеннеди, которые были тем более важны и необходимы, если Хрущев собирался бы начать осуществлять задуманное им преобразование экономики. Но в этом был весь Хрущев: он то и дело выступал с той или иной неожиданной инициативой, повергающей противника в замешательство... Что касается Европы, то он не делал дальнейших попыток обострять там положение. В октябре он отказался от высказанной им угрозы заключить с ГДР сепаратный мирный договор, видимо считая, что нет смысла озлоблять Западную Европу и толкать ее на еще большее сближение с Соединенными Штатами.

Между тем на двадцать втором съезде была принята новая партийная программа. Народ терпеливо ждал, когда наконец великие преимущества коммунистического общества проявят

себя на деле. Проходили годы и десятилетия, а обещанное благоденствие все не наступало. Но вот теперь новая программа давала, казалось, четкий ответ на все народные чаяния, указывая наконец-то точные сроки осуществления коммунистической идиллии. Не зная истинного состояния экономики страны, не имея возможности судить о тенденциях ее развития, многие из нас, конечно, и не подозревали, насколько нереальны цели, провозглашаемые этой программой.

Она обещала, что коммунизм в СССР будет "в основном построен" к 1980 году, и клятвенно заверяла, что к тому времени Советский Союз займет первое место в мире по производству продукции на душу населения.

Провозглашение таких целей внушало радостную уверенность в будущем. Этот энтузиазм подкреплялся остальными решениями партийного съезда. На нем было продолжено разоблачение сталинских преступлений, начатое Хрущевым пятью годами ранее, а главное – утверждена впечатляющая программа десталинизации. Наконец-то можно было надеяться, что, по крайней мере, некоторые из сталинских приспешников будут примерно наказаны. Мумифицированный труп Сталина убрали из ленинского мавзолея – мероприятие символическое, но из числа тех, значение которых невозможно переоценить.

В 1962 году "Новый мир" опубликовал захватывающе правдивую повесть Александра Солженицына о сталинских концлагерях – "Один день Ивана Денисовича". Это тоже было сенсацией. Для многих из нас, не сталкивавшихся с лагерной действительностью, эта повесть означала окончательное крушение мифа о будто бы "добрых намерениях", которыми руководствовался в своей деятельности Сталин. Но этот второй период хрущевской "оттепели", вроде бы еще более многообещающий, чем короткое потепление после доклада Хрущева на закрытом заседании XX съезда партии в 1956 году, тоже неожиданно быстро закончился, сменившись ужесточением цензуры и торжеством ортодоксальных течений в литературе и искусстве. Правда, после него сохранилось неистребимое ощущение непривычной свободы. Никто из нас не был настолько смел, чтобы высказываться вполне откровенно, но все мы приобщились к возникшему потоку запрещенных книг, песен, стихотворений, создаваемых теми, кто был храбрее нас.

Почти весь 1962 год я провел в Женеве, в составе советской делегации Комитета по разоружению. Шедшие здесь переговоры в связи с одной из хрущевских утопий – всеобщим и полным разоружением – я отношу к самым нудным и утомительным впечатлениям периода моей службы в Министерстве иностранных дел.

Не менее противно вспоминать личность Валерияна Зорина, который возглавлял нашу делегацию. Зорину, похоже, начали изменять его способности. В середине разговора он внезапно терял память. Иногда это случалось с ним даже во время официальной дискуссии за столом переговоров. Выдвигая какой-нибудь довод, он вдруг отвлекался и перескакивал на вопросы, не имеющие отношения к делу. То же самое происходило с ним, когда он беседовал со своими помощниками. В ходе разговора он неожиданно замолкал и, в замешательстве уставившись на нас, спрашивал что-нибудь вроде: "Какой сейчас год?"

Это было скверно само по себе, но еще больше раздражало бездействие моих старших товарищей, которые не могли не замечать, что Зорин явно болен. Они ни разу не сообщили в Москву, что дело неладно, предпочитая не беспокоить руководство Министерства иностранных дел. Наконец, в июле в Женеву прибыл Громыко, чтобы принять участие в конференции по нейтрализации Лаоса. После очередного заседания мы прогуливались по саду, окружающему виллу, которая принадлежала советскому посольству, – и тут Зорин в очередной раз "отключился". Заметив это, Громыко увлек меня в сторону и спросил:

– Давно это с ним?

– Уже несколько месяцев, – ответил я откровенно.

Через пару дней Зорин был отправлен домой отдохнуть и подлечиться. Его сменил Василий Кузнецов. Если бы Зорин не опростоволосился при самом министре, не знаю, что бы могло произойти на переговорах. Все мы просто холодели, когда видели, что он в очередной раз зарапортовался за столом заседаний. Его состояние все ухудшалось, но никто не решался взять на себя ответственность и доложить об этом в Москву. В общем, я наблюдал здесь в миниатюре ту же ситуацию, с какой не раз сталкивался на верхах в последующие годы.

Женевское толчение воды в ступе раздражало меня еще и

потому, что как раз перед тем, как мне пришлось ехать в Женеву, в феврале 1962 года, у меня родилась дочь. Роды были преждевременными, но малышка оказалась здоровой и славной. Мне хотелось поскорее вернуться в Москву, и Кузнецов согласился отпустить меня, как только в работе Комиссии наступит запланированный перерыв, приуроченный к осени. Однако в то же время продолжались переговоры между США, Англией и СССР о прекращении ядерных испытаний, и Семен Царапкин, сменивший Кузнецова на время этого перерыва, настоял, чтобы я остался.

Вечер 22 октября 1962 года я провел, играя с Царапкиным в шахматы. Мы находились в принадлежащей СССР вилле, расположенной на спокойной и тихой улочке Шемин дю Бушер. Проиграв несколько партий своему капризному партнеру, рассстраивавшемуся, когда он оказывался побежденным, я отправился спать. Кроме нас двоих, на вилле жило еще четверо членов нашей делегации. Вилла была небольшой, и жилые помещения оставляли желать лучшего. Будучи главой делегации, Царапкин закрепил за собой спальню и ванную комнату. Второй ванной комнатой мы пользовались втроем, образуя по утрам живую очередь. В той же вилле мы и работали, из-за невероятной тесноты буквально сидя друг на друге.

Ложась в этот вечер в постель, я и не подозревал, что как раз в эти минуты президент Кеннеди объявил об отданном им приказе американскому военно-морскому флоту — перехватывать все советские суда, направляющиеся на Кубу, подвергать их инспекции и не пропускать к месту назначения ни одного судна, на борту которого окажутся советские ракеты, отвечающие понятию наступательного оружия.

Все знали, что обстановка в этой части Карибского региона была напряженной. Но мы не ожидали, что Куба так быстро превратится в очаг потенциальной мировой катастрофы. Гораздо больше беспокоили нас такие явления, как нарастающая враждебность в отношениях с Китаем и трения со странами Западной Европы.

Наутро, 23 октября, Куба полностью завладела нашим вниманием. Мы молча сидели в гостиной, читая газеты, которыми нас ежедневно снабжало советское посольство. Заголовок на первой странице "Интернешонел Геральд Трибюн" гласил: "Кеннеди объявил блокаду Кубы". Никто не спешил первым нарушить овладевшее всеми замешательство. К замешатель-

ству добавлялся и страх перед последствиями такого развития событий. Наконец, кто-то из нас нарушил гнетущую тишину, включив радио, чтобы послушать последние известия, и на нас обрушилась лавина комментариев по поводу надвинувшейся угрозы советско-американского столкновения.

Царапкин встал и нервно заходил по комнате. Его крупная фигура выглядела еще более громоздкой из-за обезображивающей болезни, которую он перенес в молодости: многие части тела – пальцы, уши, нос были у него непропорционально, карикатурно увеличены, раздуты. Сейчас он пытался рассуждать спокойно и уверенно. Он сказал нам, что беспокоиться совершенно не о чем: Советский Союз наверняка "выиграет этот поединок". Американцы зашли слишком далеко. Они, несомненно, понимают, что их ждет. Советский Союз не станет потакать их выходкам и так этого не оставит.

Мы пробормотали, что во всем с ним согласны, – конечно, неискренне. Каждый давно уже перестал верить, что Хрущев всегда поступает разумно, и как только Царапкин вышел, мы обнаружили друг перед другом наше беспокойство.

Сразу после завтрака мы с Царапкиным отправились в советское представительство на улице де ля Пэ. Здесь нас приветствовал Николай Моляков, постоянный представитель СССР в женевской штаб-квартире ООН. Он был явно рад нашему приходу, хотя отношения с Царапкиным у него были не из лучших.

Они давно уже не питали симпатии друг к другу, а незадолго до начала Кубинского кризиса произошел случай, окончательно испортивший их отношения. Царапкин, как вообще все советские дипломаты, получал за границей очень скромные суточные и старался экономить абсолютно на всем. Многие даже не ходили обедать в ресторан, готовя себе сами. Но поведение Царапкина было совершенно особенным: он практически отказался от нормального питания. Из Москвы ему присылали гигантские глыбы сала, а в Женеве он покупал только яйца, как самый дешевый продукт. Однажды такая диета чуть не отправила его на тот свет: он съел большой кусок сала и заглотал несколько яиц, сваренных вкрутую, и у него возникла непроходимость кишечника.

Царапкина увезли в больницу. На следующий день я пришел его навестить, но, к моему удивлению, больничный персонал объявил, что "посол Царапкин исчез". Я тут же дал

знать об этом Молякову, а он поднял на ноги всю Советскую миссию. Вскоре Царапкин объявился. Оказалось, что сразу после промывания кишечника ему полегчало, он выскользнул из больничной палаты через окно и пешком добрался до нашей резиденции. В Женеве его хорошо знали по причине как занимаемого поста, так и необычной внешности — и ему совсем не хотелось, чтобы широкой публике стало известно, отчего он попал в больницу.

Моляков, отвечавший за жизнь и здоровье советских дипломатов в Женеве, был вне себя. Почему Царапкин не сообщил ему, что он самовольно покинул больницу? Вдобавок стало известно, что в больнице Царапкин назвался вымышленным именем, так что теперь Молякову приходилось ломать себе голову, как добиться от Москвы оплаты пребывания в больнице не существующего советского гражданина. Царапкин, со своей стороны, был недоволен Моляковым, который взбудоражил всю Советскую миссию, узнав что Царапкин исчез из больницы, и таким образом разгласил причину, по которой он попал в госпиталь.

Но этим октябрьским утром Царапкину и Молякову было не до старых счетов. Моляков заявил, что не получал из Москвы абсолютно никаких инструкций и не знает, как вести себя в условиях быстро нарастающего кризиса.

Царапкин, в свою очередь, сказал, что ему хотелось бы знать, стоит ли в сложившейся ситуации продолжать переговоры с Соединенными Штатами и Англией о прекращении ядерных испытаний. На это Моляков только руками развел. Тогда Царапкин решил запросить на этот счет Москву и поручил мне подготовить текст.

Москва не отвечала. На протяжении тринадцати дней не только мы, но и весь мир, затаив дыхание, ждал, чем все кончится. Никто не имел понятия, что собирается предпринять советское правительство. Мы не знали даже о первоначальном хрущевском плане размещения ракет на Кубе и не могли объяснить этот изгиб советской политики ни партнерам по переговорам, ни союзникам из социалистического блока. Создалась какая-то фантастическая ситуация. Западные средства массовой информации давали нам возможность следить за ходом событий, но позиция и намерения собственного правительства оставались для нас тайной.

Почему Хрущев рискнул пойти на такую авантюру? Я не

знал ответа на этот вопрос, пока не вернулся в Москву в самом конце 1962 года. Поговорив с Василием Кузнецовым – участником нью-йоркских переговоров по улаживанию конфликта, с друзьями из ЦК, с высокопоставленными военными и некоторыми другими деятелями, я наконец узнал, в чем было дело.

Идея размещения на Кубе ракет с ядерными боеголовками принадлежала самому Хрущеву. (Много лет спустя он признал это в своих мемуарах.) При этом преследовалась цель не столько защитить Кубу, сколько выровнять соотношение сил между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Хрущев рассчитывал создать ядерный кулак в непосредственной близости от берегов Соединенных Штатов, и, на первый взгляд, такая перспектива выглядела заманчиво: Советский Союз, казалось, мог без больших затрат создать здесь ракетно-ядерные "силы сдерживания", то есть выиграть очень много, ничем вроде бы не рискуя.

Установив на Кубе несколько десятков ракет средней дальности, Советы получили бы возможность нанести по территории Соединенных Штатов ракетно-ядерный удар, в пределах досягаемости которого оказывались и Нью-Йорк, и Вашингтон, и другие жизненно важные центры американского Восточного побережья. Особенно существенным фактором было то, что географическая близость Кубы и США сводила на нет значение американской системы раннего предупреждения, созданной в расчете на пуск ракет с территории Советского Союза.

Хрущев исходил из предположения, что , разместив быстро и в полной тайне ракеты на Кубе, ему удастся таким образом провести американцев и поставить их перед свершившимся фактом. Он был уверен, что после успешного осуществления его замысла Соединенные Штаты не посмеют нанести удар – это бы означало начало новой мировой войны с использованием накопленных ракетно-ядерных арсеналов.

Такие соображения в значительной степени основывались на сложившейся у Хрущева оценке личных качеств Кеннеди как президента и государственного деятеля. После их свидания в Вене Хрущев сделал вывод, что Кеннеди готов почти все стерпеть, лишь бы только избежать атомной войны. Беспомощность, проявленная американским президентом во время вторжения контрреволюционеров на Кубу в районе Зали-

лива Свиней,* а также в дни берлинского кризиса, казалось, подтверждала этот вывод.

С такой точкой зрения Хрущева мне довелось познакомиться, что называется, из первых рук. Дело было в конце 1961 года. Я присутствовал на собрании его ближайших помощников. Кто-то из них заметил, что Хрущев, мягко выражаясь, не очень-то высокого мнения о Кеннеди. В этот момент в зал вошел сам Хрущев и с ходу начал разглагольствовать о том, что Кеннеди "уже поджал хвост". Кончил он так:

– Я могу точно сказать, что Кеннеди не отличается твердым характером, да и вообще у него не хватит духу, чтобы дать нам в случае чего отпор.

Такая оценка американского президента была свойственна не одному Хрущеву. Ее разделяли тогда большинство советских руководителей.

На Западе считали, что Хрущев предпринял "кубинскую операцию" по наущению военных. Это не так. Он сам навязывал те или иные волевые решения как своему политическому, так и военному окружению. Хотя часть этих деятелей поддерживала его идею, большинство мало интересовались этими "фокусами", призванными возместить пока еще недостаточную мощь советского ядерного арсенала. Они предпочитали солидную, долгосрочную ракетно-ядерную программу, ставящую целью достижение сначала как количественного, так и качественного равенства сверхдержав, а в дальнейшем – и преимущества над США в области стратегического оружия.

Конечно, реализация такой программы потребует времени и повлечет за собой астрономические затраты, – зато она не связана с каким бы то ни было риском.

В то же время, безусловно, гигантские расходы на вооружение подрывали бы хрущевский план повышения уровня жизни в стране. Хрущев связал себя нереалистичными, но залихватскими обещаниями "догнать и перегнать Америку" к 1970 году по производству продукции на душу населения. Ему требовались сразу и пушки, и масло, пусть хоть немного масла, но одновременно с пушками, а не взамен.

---

* Кеннеди в решающий момент отказался дать разрешение американской авиации отбить кубинскую контратаку. (Примеч. ред.)

Наиболее трезвые из представителей военных кругов предвидели также, что Соединенным Штатам удастся обнаружить планируемые поставки ракет Кубе, и в этом случае США попытаются приостановить их. Эти военные хорошо понимали, что в случае военного конфликта Советскому Союзу не помогут огромные накопленные запасы обычного вооружения. Но Хрущев попросту отмахнулся от таких мрачных прогнозов. Чтобы предупредить возможность обстоятельного обсуждения проблемы Президиумом ЦК партии (так именовалось тогда Политбюро), он ограничил до минимума число высших политических и военных руководителей, которым надлежало знать о предстоящей операции.

Когда кризис разразился, Хрущев, решись он на вооруженную конфронтацию с США, оказался бы перед альтернативой: либо атомная война, к которой США были подготовлены куда лучше, либо локальная война, в случае которой американцы тоже имели бы с самого начала ряд неоспоримых преимуществ перед СССР. Принимая во внимание географическое положение Кубы — под боком у Соединенных Штатов — и концентрацию американской мощи в этом районе, можно было предсказать, что Советам очень дорого обошлись бы попытки прорвать блокаду Кубы или оградить свои суда от досмотра.

Кроме того, как мне говорил Владимир Бузыкин, заведующий мидовским отделом стран Латинской Америки, у СССР просто отсутствовал план действий на тот случай, если бы операция по защите Кубы потерпела неудачу. Установив блокаду, Кеннеди поставил Хрущева перед свершившимся фактом, хотя тот считал, что все будет наоборот.

Когда кризис остался позади, стало ясно, что мы отнюдь не балансировали на краю атомной пропасти. Ни одной минуты ни Хрущев, ни кто-либо другой из советских руководителей не думали, что, может быть, им придется применить атомное оружие против Соединенных Штатов. С того момента, как разразился кризис, все их помыслы были направлены только на то, как бы выпутаться из создавшегося положения с минимальным ущербом для собственного престижа, как говорится, "не потеряв лица".

В результате кубинского кризиса в политике СССР возобладал военный аспект "дальнего прицела": Советский

Союз избрал путь наращивания количества и совершенствования качества стратегического ядерного оружия. В последующие годы, как только кто-либо пытался возражать против такой политики, всегда находился кто-нибудь, кто говорил: "А помните, как тогда получилось с Кубой?"

Даже обычно сдержанный Кузнецов возбужденно заявлял: "В будущем мы никогда не потерпим такого унижения, как в дни кубинского кризиса!"

О масле Хрущеву пришлось забыть. Отныне он неизменно высказывался в пользу "колоссальных финансовых и прочих затрат, необходимых для поддержания нашей военной мощи на должном уровне", добавляя, что эта необходимость, конечно, тормозит "непосредственное повышение народного благосостояния".

Начали давать себя знать и другие уступки Хрущева сторонникам "твердой линии". Его высказывания о Сталине сделались более сбалансированными – дескать, в деятельности Сталина надо различать две стороны: положительную и отрицательную.

Хрущев отказался от продолжения политики ограниченной либерализации, которую сам же начал было вводить. "Оттепель" оказалась мимолетной и непоследовательной. Он осудил выставку абстрактного искусства, открывшуюся в Москве, а несколько месяцев спустя обрушился на произведения художественной литературы, заявив, что партия будет бороться с "тенденциями буржуазного загнивания", в чем бы они ни проявлялись.

На Западе часто можно услышать мнение, что кубинский кризис означал "начало конца" Хрущева. Это действительно так, но дело обстоит несколько сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Его падение было обусловлено целым рядом факторов.

Что касается меня, кубинский кризис развеял иллюзии, которые я до того сохранял в отношении Хрущева. С чувством облегчения я принял предложенное мне назначение в Нью-Йорк, в Советскую миссию при ООН. Мы с Линой восторженно отнеслись к возможности покинуть Москву. В Нью-Йорк мы прибыли летом 1963 года.

14

За год до нашего прибытия туда Советский Союз приобрел в Нью-Йорке новое здание на Шестьдесят седьмой стрит (Ист), чтобы разместить в нем свою миссию при ООН. Это здание было спроектировано, как обычный многоквартирный дом; теперь в нем соседствовали друг с другом служебные помещения и квартиры для дипломатического и технического персонала Миссии.

Такая скученность привела к тому, что на каждом этаже в воздухе клубились запахи щей и борща, а в лифте то и дело приходилось встречать жену то одного, то другого дипломата с мешками, набитыми грязным бельем: дамы направлялись в подвал, в прачечную, где были установлены стиральные машины. Непродуманное решение объединить под одной крышей служебные кабинеты и жилые квартиры привело к тому, что персонал Миссии работал в тесноте.

Вначале нам с Линой предоставили комнату в трехкомнатной коммунальной квартире, где, кроме нас, жили еще генерал военной разведки (ГРУ) с женой и молодая супружеская пара с ребенком. Мы были и тому рады.

Попав за границу впервые в жизни, Лина была взволнована и захвачена всем увиденным в Америке точно так же, как в свое время, пятью годами ранее, был взволнован и захвачен я. Я получал 600 долларов в месяц, и мы чувствовали себя богачами. Мы имели возможность хорошо и разнообразно питаться, покупать одежду и другие вещи, которые в Москве были нам не по карману или вообще недоступны. Подобно большинству советских людей, работающих за границей, мы жили очень замкнуто, проводя свободное время в тесном кругу друзей, изредка выбираясь в кино или на прогулки по городу.

Геннадия и Аню мы поначалу оставили в Москве. Геннадию было одиннадцать лет, и он не мог пойти в школу в Нью-Йорке. Дело в том, что в начале 60-х годов при советском представительстве функционировала только начальная школа, а наш сын перешел уже в пятый класс. Посещать американскую школу детям советских работников, конечно, не разрешалось. Но мы ежегодно привозили Геннадия в Нью-Йорк на летние каникулы. Аню мы забрали из Москвы через месяц или два после того, как устроились на новом месте.

Мне уже был хорошо знаком стеклянный брус здания ООН

на набережной Ист Ривер, но теперь предстояло изучить его как собственную квартиру. По долгу службы я присутствовал на сотнях заседаний Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, их комитетов и подкомитетов, которые в дни международных кризисов работали порой круглые сутки, проявляя лихорадочную активность. Потянулись нескончаемые консультации, сплошной чередой пошли дни и ночи, заполненные напряженной работой по изучению текстов докладов, сообщений, инструкций, поступающих из Москвы и отсылаемых в Москву, по составлению проектов речей и выступлений, — проекты эти готовились в тесных комнатах нашей Миссии.

Моей специальностью продолжали оставаться проблемы разоружения, но, перейдя теперь на должность руководителя отдела Миссии, занимавшегося делами Совета Безопасности и общеполитическими проблемами, я вынужден был познакомиться и со многими другими вопросами. Чем дальше, тем сильнее поражала меня негибкость советской политики, тем отчетливее я сознавал, что нечего и пытаться, находясь на низших ступенях служебной иерархии, повлиять на мышление тех, кто наверху. Конечно, политика государства меняется, зачастую это происходит внезапно, — но никогда не бывает, чтобы такая перемена была вызвана тем, что кто-то из подчиненных сумел в чем-то убедить или что-то доказать своему начальнику, а тот, в свою очередь, еще более вышестоящему начальству.

Мне, впрочем, случайно повезло. Посол Николай Федоренко, возглавляющий Миссию, был начальником вполне терпимым. Этот элегантный дипломат, выдержанный, учтивый, с барственными манерами, был специалистом по Китаю и интересовался только им. Во всем остальном он полагался на своих подчиненных и переложил значительную долю ответственности на плечи более молодых служащих.

Федоренко был фигурой колоритной. В лучшие свои годы он производил впечатление весьма эффектного мужчины, к тому же в любой компании оказывался, как говорят, душой общества. Могу добавить, что и работать с ним было одно удовольствие. Превосходный знаток китайской литературы, классической и современной, он в совершенстве владел и языком, так что привлекался в качестве переводчика на встречи Сталина и Мао (последняя из таких встреч состоялась в 1950

году). Даже самих китайцев поражало, что этот иностранец не только блестяще знает современный китайский, но вполне владеет и старинным мандаринским наречием.

Я заинтересовался Китаем и народом этой страны еще учась в МГИМО, – особенно после того, как в Китае победила революция и в наш институт прибыли первые китайские студенты. Хотя вслух провозглашались лозунги братства и единства, нам не всегда удавалось найти с китайцами общий язык, и никакие пропагандистские фанфары, трубившие о вечной дружбе и восхвалявшие китайскую революцию, не могли скрасить это явное отчуждение. Помню, один из моих наставников, посол Лев Менделевич, как-то вполне серьезно сказал мне, тогда еще начинающему дипломату:

– Вы никогда не будете в состоянии понять китайцев и их логику, Аркадий. Никому из нас это не дано.

Думаю, он по-своему был прав, но во мне постепенно крепло убеждение, что мы просто не желаем их понимать. Мне представляется, что нам следовало бы глубже изучать как Запад, так и Восток. В конце концов, ведь именно угроза с Востока гипнотизировала Россию еще со времен вторжения Чингисхана. Отсюда – до сих пор не разрешенный спор о том, какую же роль в истории играла наша родина: была ли она мостом, связывающим Восток и Запад, или же полем сражения между ними? Знание часто порождает терпимость, более того, понимание. В случае же конфликта преимущество всегда оказывается на стороне того, кто вооружен знанием, ибо это – великая сила как в наступлении, так и в обороне.

Федоренко провел много лет в Китае, жил там и до маоцзедуновской революции, и после. Он любил китайскую культуру, искусство, традиции. Он был знаком с Мао и его ближайшими соратниками, поддерживал дружеские отношения с крупными китайскими писателями. Федоренко сыграл немалую роль в деле перевода произведений Мао на русский язык.

Покровительство Сталина обеспечило Николаю Федоренко блестящую карьеру. Но, мне кажется, сам Федоренко никогда не смог простить Сталину пренебрежительного отношения к Мао и вообще к китайцам. У меня также создалось впечатление, что конфликт между СССР и Китаем Федоренко воспринял как личную трагедию. Возможно, именно по этой причине он часто перекладывал свои обязанности посла СССР

в ООН на того или иного из подчиненных, а сам все больше и больше уходил в "чистую науку".Это вызвало недоверие Громыко. В глазах министра не было худшего греха, чем халатное отношение к служебным обязанностям. Но у Громыко были и другие причины для недовольства. Ему претил весь облик Федоренко, его стиль – длинные волосы, изысканные костюмы, галстуки-бабочки. Все это никак не вписывалось в понятие "строгого, официального стиля", который Громыко считал обязательным для всякого серьезного делового человека.

Кроме того, Громыко завидовал положению, занимаемому Николаем Федоренко в Академии наук. Он негодующе обвинял его в присвоении мебели и разных мелочей из резиденции в Глен-Коуве, которую Громыко рассматривал как свою собственность. Лидии Громыко удалось увезти из особняка в Глен-Коуве два антикварных трюмо, которые теперь, видимо, служат украшением ее внуковской дачи, но она почему-то пренебрегла двумя бронзовыми канделябрами, чем немедленно воспользовались супруги Федоренко: когда она спохватилась, их и след простыл.

Федоренко, как, впрочем, и Малик, в дальнейшем заменивший его в ООН, ненавидел своего министра. Но в отличие от Малика, льва, рыкающего на подчиненных, и тихого, как мышь, в присутствии Громыко, он нисколько не боялся последнего. Ему был чужд страх потерять свой пост. Фактически он уже задолго до выхода на пенсию покинул ряды служилой бюрократии, лишь формально исполняя свои обязанности.

Он стремился проводить как можно больше времени в идиллическом Глен-Коуве, где имел возможность размышлять и писать, забывая на время о существовании ООН. Иногда я приезжал сюда выпить и поболтать с ним. Завязывалась непринужденная беседа. Федоренко попыхивал ароматным дымком из трубки и, прихлебывая дорогой коньяк, с грустью в голосе предавался воспоминаниям. Он жаловался мне, что Сталин никогда, в сущности, не мог понять китайский характер и так и не осознал величия революции, произошедшей в Китае. Сталин отзывался о Мао как о "маргариновом марксисте", "крестьянском вожаке", не желая признать его великим революционером. Это очень огорчало Федоренко.

Между тем, внушал мне Федоренко, Мао был прав, не собираясь всего лишь послушно следовать российскому примеру и пытаясь нащупать свой, китайский, путь к социализму. А Сталин всегда относился к Мао с недоверием, не был в нем уверен даже накануне его победы и "на всякий случай" оказывал знаки внимания Чан Кайши.

Федоренко считал Мао великим народным героем, выдающимся мыслителем, человеком простым и в то же время обаятельным. Сталин же третировал Мао чуть ли не как школьника, обращался к нему как ментор, точно прикидывал, когда погладить нерадивого ученика по головке, а когда оттянуть линейкой по пальцам.

Обычно благодушный и выдержанный, Федоренко впадал в крайнее возбуждение, рассказывая, как во время визита китайского вождя в СССР Сталин уязвлял гордость и чувство собственного достоинства Мао, заставляя его подолгу сидеть в коридоре возле своего кабинета в ожидании приема. Мао буквально часами ждал, когда же наконец Сталин соблаговолит с ним встретиться, а Сталин специально игнорировал его присутствие в Москве, полагая, что так он демонстрирует свое превосходство над Мао.

– Это выглядело так мелко... Пренебрежение, выказываемое Сталиным, было настолько явным, что я не знал, как мне быть, что сделать, чтобы Мао не сорвался, не наговорил резкостей, – вздыхал Федоренко.

Мао поневоле приходилось сдерживаться. Его страна отчаянно нуждалась в экономической помощи со стороны СССР. К тому же он очень хотел заключить с Советским Союзом договор о дружбе, союзе и взаимопомощи, который мог бы защищать новый Китай от Японии и враждебно настроенной Америки. В конце концов Сталин дал ему этот договор в качестве подачки и согласился оказать экономическую помощь, однако для начала – в меньших размерах, чем получали некоторые из восточноевропейских сателлитов Советского Союза.

Федоренко говорил, что Хрущев повторяет многие сталинские ошибки и вдобавок добавляет к ним новые. Одной из основных ошибок он считал поведение советского руководства в вопросе о ядерном оружии. СССР обещал предоставить Китаю такое оружие, но по-настоящему никогда не собирался выполнять это обещание, а в конечном счете пря-

мо отказал китайцам. В данном случае Китай опять болезненно почувствовал, что Кремль обращается с ним, как с ребенком; разумеется, это усугубляло растущую враждебность Китая к "старшему брату". У Хрущева просто в голове не укладывалось, что с китайскими руководителями следует обращаться как с равными. Он не желал идти ни на какие компромиссы. Однажды мне привелось услышать из его уст характерное заявление:

– Советский Союз был и должен оставаться бесспорным руководителем мирового революционного движения. А Мао следовало бы знать свое место.

Трещина, наметившаяся в отношениях между Китаем и СССР, все углублялась, и некоторые работники министерства считали, что ужесточение позиции советского руководства по отношению к Китаю повлечет за собой серьезные осложнения для нашей страны. Как-никак, Китай был нашим соседом, нравилось нам это или нет. По количеству населения он занимал первое место в мире, а протяженность нашей границы с ним превышала четыре тысячи миль. Ввиду всего этого поведение Хрущева казалось многим из нас безрассудным. Но на нашем уровне мы были бессильны повлиять на эту шовинистическую, покровительственную политику советского руководства, которую китайцы метко назвали "гегемонистской".

Как Сталин, так и Хрущев просчитались, полагая, что Китай вытерпит все, что Советский Союз захочет ему навязать, и не выйдет из "лагеря социалистических стран". Им не могло прийти в голову, что Мао при случае отплатит им той же монетой. Здесь как раз и таились семена раздора между Советским Союзом и Китаем, давшие обильные побеги на почве, пропитанной исторически обусловленным недоверием. Но не только историю, а в первую очередь наших руководителей надо винить за поистине параноидальный подход к отношениям с Пекином.

В тот период, когда мы с Федоренко беседовали обо всех этих вещах, советско-китайские отношения оказались почти свернуты. Китайская реакция на кубинский кризис была весьма бурной. Пекин обвинял Хрущева одновременно в "авантюризме" (в связи с установкой ракет на Кубе) и в "капитулянтстве" (в связи с тем, что ракеты пришлось убрать).

Как ни парадоксально, после кубинского кризиса советско-американские отношения улучшились, а уважение к Кеннеди в СССР заметно возросло. Я прибыл в Нью-Йорк, чтобы приступить здесь к работе, в тот самый день, когда Кеннеди, выступая с речью в Американском университете в Вашингтоне, заявил, что он безусловно желает улучшения отношений с Советским Союзом. Это был явно поощрительный сигнал, адресованный Хрущеву, и тот откликнулся в подобном же тоне. Оба государственных руководителя начали проявлять более реалистический подход к ряду важных проблем. Вскоре были достигнуты положительные результаты на переговорах о запрещении ядерных испытаний: решено было запретить любые испытания ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космосе. 5 августа Громыко, государственный секретарь США Дин Раск и британский министр иностранных дел лорд Хьюм поставили свои подписи под соответствующим трехсторонним договором. Это было первое реальное достижение в области контроля вооружений в век атома. Подавляющее большинство стран вскоре последовало примеру трех великих держав и присоединилось к договору.

Но надежды на дальнейшее улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном оказались напрасными — на сей раз не по вине Хрущева.

В ноябре 1963 года на президента Кеннеди было совершено покушение, в результате которого он погиб. В нашей Миссии все были ошарашены и потрясены случившимся. Вдобавок поползли слухи, что это убийство инспирировано-де Советами. Эти обвинения основывались на том, что убийца президента Ли Харви Освальд какое-то время жил в Советском Союзе. Москва почти сразу же предупредила нас, что в этих условиях необходимо вести себя очень осмотрительно, быть настороже и докладывать обо всем, что происходит вокруг, вплоть до мельчайших деталей. Нам было также поручено выразить искреннее соболезнование американскому народу и правительству Соединенных Штатов от имени советского правительства.

Узнав, что администрация нового президента Линдона Джонсона не склонна обвинять СССР в участии в заговоре, приведшем к смерти Кеннеди, мы вздохнули с облегчением. Но сам этот вопрос порой все же всплывал и в дальнейшем. При случае американцы спрашивали меня, простил ли Кремль

президенту Кеннеди то унижение, какое пришлось испытать Советам в связи с Кубой, и не приходится ли искать где-то здесь причину советского участия в заговоре, направленном против Кеннеди. Я неизменно отвечал, что не верю, будто существует какая бы то ни было связь между кубинским кризисом и судьбой американского президента. Наши руководители не могли бы с таким явным огорчением реагировать на его смерть, если бы они сами планировали это покушение.

– Но, быть может, это дело рук КГБ?

– Нет, – отвечал я, – КГБ никак не мог предпринять подобный шаг без одобрения Политбюро.

Но главное – мнение Хрущева о Кеннеди уже после кубинского кризиса изменилось к лучшему: Москва начала считать его именно тем человеком, кто способствовал быстрому улучшению отношений между нашими странами. Кеннеди представлялся в этот период советскому руководству сильным и решительным лидером, именно это импонировало Кремлю и заставляло уважать молодого президента Соединенных Штатов.

Наконец, Москва была твердо убеждена, что убийство Кеннеди – следствие заговора "реакционных сил" в самих Соединенных Штатах: эти силы были заинтересованы в том, чтобы пресечь положительные тенденции, проявившиеся в американо-советских отношениях. Кремль высмеял заключение комиссии Уоррена, расследовавшей обстоятельства убийства Кеннеди и утверждавшей, будто Освальд действовал на собственный страх и риск и был "убийцей-одиночкой". В среде советских дипломатов поговаривали, что заговор против Кеннеди был организован Линдоном Джонсоном при участии ЦРУ и мафии.

Возможно, одна из наиболее существенных причин, почему СССР предпочел бы иметь дело с Кеннеди, заключалась в том, что Хрущев с антипатией относился к Джонсону. Так как последний происходил из южных штатов, Москва, руководствуясь стереотипными представлениями об американских политических деятелях, априори считала его расистом, антисоветчиком и антикоммунистом до мозга костей. Поскольку родным штатом Джонсона был Техас, средоточие, по мнению Кремля, самых реакционных сил, – естественно, что Джонсон ассоциировался в глазах советских руководителей с американскими нефтяными магнатами, патентованными антисо-

ветчиками. От него, по выражению, услышанному мной в Москве, "разило нефтью".

Советы доказывали, что в ходе заговора против Кеннеди сформировалась поистине странная коалиция, куда входил Джонсон, отчаянно противившийся намерению Кеннеди обложить крупных нефтепромышленников повышенным налогом, ЦРУ, которое не могло простить Кеннеди нежелание позволить американским военно-воздушным силам поддержать высадку кубинских контрреволюционеров в Заливе Свиней, и мафия, тоже заинтересованная в успехе этой высадки, так как она рассчитывала в случае свержения кастровского режима вновь начать беспрепятственно орудовать на Кубе.

Я лично думаю, что если кто-либо за пределами США и был в курсе подготовки покушения на Кеннеди, так это скорее всего Фидель Кастро. От коллег в Нью-Йорке и Москве мне не раз приходилось слышать, что кубинские лидеры были настроены по отношению к Кеннеди очень враждебно. Их чувства с шокирующей откровенностью выразил один из ближайших соратников Кастро – Че Гевара.

В декабре 1964 года Че Гевара появился в Нью-Йорке во главе делегации Кубы, прибывшей сюда на сессию Генеральной Ассамблеи. Федоренко хотел встретиться с ним до сессии, но кубинский деятель не спешил с визитом. Посол пригласил его в нашу Миссию, исходя из того, что в спокойной обстановке можно будет рассчитывать на более откровенный обмен мнениями. Однако Гевара отказался посетить Миссию, сказав, что увидится с Федоренко в ООН. Беседа состоялась в здании секретариата ООН, в тесном помещении, обстановка которого напоминала мне бомбоубежище.

Гевара явился в своем неизменном берете, в обычной для него зеленой полевой форме, с привычной сигарой в зубах. Он был мрачен. Что происходит в ООН, его мало интересовало. Он говорил главным образом об одном и том же: американская угроза Кубе по-прежнему не устранена. Осуждая Кеннеди как "преступную личность", он не щадил и президента Джонсона. Не только сверхдержавы должны выгадать от "мирного сосуществования", твердил Гевара. Это должно быть выгодно всем государствам без исключения.

Гевара подтвердил, что, когда Хрущев предложил установить на Кубе ракеты, кубинцы приветствовали эту мысль и

быстро дали свое согласие. Никому из них и в голову не приходило, что, может быть, ракеты придется убрать назад.

Он резко заявил, что советское руководство, надо полагать, понимает: у кубинцев остался "горький привкус" от всей этой истории. Куба считает, что Советский Союз должен был с большей твердостью отстаивать свою позицию. Федоренко отделался повторением официальных разъяснений, опубликованных советским правительством в связи с кризисом. В общем, беседа как началась в прохладной атмосфере, так и закончилась.

В период президентства Джонсона советско-американские отношения все более ухудшались, на них также влияла эскалация войны во Вьетнаме. Мы получили указание использовать в работе ООН любой предлог, чтобы вновь и вновь клеймить Соединенные Штаты как агрессора по отношению к этой стране. Однако когда США потребовали, чтобы рассмотрением вьетнамского вопроса занялся Совет Безопасности, нам было дано распоряжение возражать против этого на том основании, что проблемы Вьетнама должны решаться исключительно в соответствии с Женевскими соглашениями 1954 года.

– Но это же глупо, – доказывал я Федоренко. – Все видят, что мы занимаемся пустячными придирками и добиваемся дешевого пропагандистского выигрыша вместо мирного урегулирования для Вьетнама.

Я предложил доложить Москве, что абсолютное большинство стран – членов ООН выступают за обсуждение вьетнамской проблемы и что нам придется с этим считаться. Федоренко был против.

– По существу я готов согласиться с вами, – сказал он. – Но уже таковы принципы нашей политики. Если мы станем советовать членам правительства пересмотреть их, нас скорее всего уволят и пришлют на наше место людей, которые будут подчиняться беспрекословно. Кто от этого выиграет? Никто.

Будучи летом 1964 года в Москве, я не заметил там никаких признаков, которые позволяли бы предсказать близкий конец хрущевского правления. Основными чертами дворцового переворота, произведенного в октябре того же года, были чрезвычайная секретность и строго ограниченное число основных участников. Сам Хрущев ничуть не догадывался о намерениях сильной оппозиционной группы в Кремле, готовившей его свержение.

Американцы привыкли искать для каждого сколько-нибудь важного события какую-то одну причину. В Советском Союзе поступают иначе. Можно сказать, что противники Хрущева отстранили его от власти, руководствуясь целым рядом соображений, и все они были существенными. Впрочем, последней каплей, переполнившей чашу, было, вероятно, принятое им решение произвести на предстоящем ноябрьском пленуме ЦК очередную перетряску партийного аппарата. На этот раз она должна была затронуть не только аппаратчиков среднего звена, но и верхний слой партийного руководства. Хрущевское самодурство решительно невозможно было дольше терпеть.

Партийная бюрократия и без того была встревожена решением Хрущева разделить ее власть на периферии между промышленным и сельскохозяйственным секторами. Эти бюрократы дрожали и непосредственно за собственную шкуру: им пришелся вовсе не по вкусу новый устав партии, который Хрущев буквально навязал им на XXII съезде летом 1961 года.

Особенно озлобило их положение устава, которое вводило систематическую смену персонального состава партийных органов. На практике это означало, что партийный босс не мог рассчитывать занимать свое место всю свою жизнь. Так, члены Президиума ЦК могли входить в его состав не более чем на три срока, то есть в общей сложности не более пятнадцати лет. Еще чаще должны были сменяться секретари горкомов и обкомов партии. Они не могли оставаться на своих постах более шести лет подряд.

Ничто не могло бы взволновать и возмутить партийные кадры сильнее, чем эта неожиданная напасть, фактически лишавшая их пожизненной синекуры и соответственно всех вытекающих из нее дополнительных привилегий.

Хрущев намеревался строго следовать этим новым правилам, а вдобавок дал понять, что собирается основательно перетряхнуть верхний слой партии. Тем самым он посягнул на святая святых советского правящего класса.

Хрущевский стиль руководства и те новшества, которые он пытался ввести, в конце концов, обратили против него все главные силы системы. Предпринятое им разоблачение сталинских преступлений обозлило КГБ. Военные осуждали его мероприятия по сокращению численности вооруженных сил,

приведшее к демобилизации большого количества офицерского состава. Его кубинская авантюра закончилась позорно. Его экономические, и в частности сельскохозяйственные эксперименты, по большей части тоже кончились провалом. Периодически предпринимаемые им действия по ослаблению (пусть незначительному) цензурного гнета в литературе и искусстве, по расширению контактов с Западом, при всей их непоследовательности вызывали замешательство среди ортодоксальных партийных идеологов и чинов КГБ, которые не желали никакой либерализации, и в частности смягчения цензуры.

Как мне представляется, Хрущев прекрасно отдавал себе отчет в своих действиях. Однако предпринятые им усилия по преобразованию партийно-правительственного руководства, как и вообще многие его начинания, были недостаточно продуманы. Он переоценил свои силы и пределы своей власти. Обиженных им было так много, что наиболее авторитетные члены Президиума ЦК согласились: да, он должен уйти. Это и решило дело. Еще со времен Октябрьской революции власть в государстве принадлежала небольшой группе наиболее влиятельных политиков, действовавших в обстановке полной секретности, а вовсе не массе членов партии или хотя бы ее аппаратчикам. Свергнувшая Хрущева коалиция, возглавляемая Сусловым и Косыгиным, следовала той же заговорщической традиции.

Эта группа понимала, что пока Хрущев в Москве, он сможет перехитрить их точно так же, как он перехитрил в прошлом своих политических противников, объявив их в "антипартиной деятельности". Ко всеобщему удивлению, на сей раз хрущевский заговор обернулся против него самого.

Осенью 1964 года он поехал отдыхать на Кавказ. Воспользовавшись его отсутствием, группа заговорщиков действовала очень оперативно, не сомневаясь, что партия, армия и КГБ ее поддержат. Хрущев был снят с постов первого секретаря ЦК и председателя Совета министров. Эти посты заняли соответственно Брежнев и Косыгин. Хрущеву было разрешено остаться в рядах партии. Более того, ему назначили приличную пенсию. В общем, судьба оказалась к нему куда милостивее, чем ко многим другим советским политическим деятелям. Если бы все это происходило при Сталине, Хрущев наверняка был бы расстрелян. Теперь же ему была предоставлена возможность умереть естественной смертью.

Падение Хрущева вызвало у меня двойственное чувство. Не приходится сомневаться, что Хрущев представлял собой сложную и противоречивую личность, оказавшую существенное влияние на исторические судьбы нашей страны и всего мира. Мне нравились его энергия, его грубоватый юмор, его относительная прямота и откровенность. Я надеялся, что он покончит со сталинским наследием и придаст советской государственной политике более либеральное направление. Хотя Хрущев и проявил себя как приверженец единоличной власти, сосредоточив ее в своих руках, тем не менее он пытался проводить в стране некоторые важные преобразования. Все-таки во время хрущевского правления в нашем застойном обществе повеяло свежим воздухом, правда, ненадолго.

В Хрущеве как-то сочетались правоверный коммунист и ловкий интриган. Реализм и прагматизм сосуществовали в нем со склонностью к авантюрам и иррациональностью мышления, присущей азартным игрокам. Деловой подход соседствовал со стремлением блефовать и пускать пыль в глаза. Он понимал всю опасность ядерной войны, но отличался непримиримой задиристостью и агрессивной экспансивностью. Он старался оживить экономику и повысить жизненный уровень народа, но при этом действовал разорительным методом проб и ошибок. Доброта как-то уживалась в нем бок о бок с жестокостью.

Хрущев был одновременно мечтателем и циником, отличался чисто крестьянской мудростью и коварством, был малообразован, но проницателен, энергичен и изобретателен, быстро загорался и так же быстро остывал. При всем этом он, конечно же, был настоящим политическим деятелем. Однако, несмотря на то что в расцвете своей карьеры он принял много ответственных решений и сосредоточил в своих руках огромную власть, ему было далеко до абсолютного, самодержавного деспотизма Сталина. В последние годы своего правления он, похоже, уже не отдавал себе отчета в том, что существуют объективные факторы и ограничения, не позволяющие одному-единственному человеку всецело определять внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза.

Главной бедой Хрущева было то, что он попросту оказался не в состоянии всесторонне и последовательно анализировать результаты предпринимаемых им действий. Этот недостаток и предопределил его конечное падение.

Отношение к Хрущеву в зарубежном мире было тоже противоречивым. Ему суждено было стать самым популярным на Западе советским политическим деятелем. Но, несмотря на все присущее ему обаяние, он так никогда и не завоевал симпатии своего собственного народа. Между тем он требовал, чтобы его безудержно восхваляли. В день его семидесятилетия (в апреле 1964 г.) все члены партии, работавшие в Советской миссии при ООН, были обязаны явиться на торжественное собрание, чтобы одобрить текст пламенного приветствия, адресованного Хрущеву. Федоренко возглавил это неизбежное радение. Выступив с пылкой речью, он восхвалял хрущевское "мудрое, дальновидное руководство". Остальные аплодировали и вторили начальству.

Все эти ритуальные почести, оказываемые Хрущеву, вспомнились мне полгода спустя, когда Хрущева убрали. Но на такой случай тоже имелся отработанный ритуал. Перед нами вновь предстал Федоренко – на этот раз для того, чтобы осудить хрущевский "волюнтаризм". В принятой нами резолюции единодушно выражалась полная поддержка новому советскому руководству.

Обе церемонии – апрельская и октябрьская, между которыми прошло всего лишь шесть месяцев, – были примечательны только тем, что лишний раз напомнили нам: мы всего лишь марионетки, от которых ждут полного повиновения и за которыми не признают никаких иных прав, кроме права играть роль анонимных, без труда взаимозаменяемых "членов коллектива". В этой безликости было даже свое преимущество. Мы ничем не рисковали. В то же время за такое примерное поведение мы удостаивались наград, по большей части материальных, но не только: наградой нам могло послужить также удовлетворение от похвал, отпускаемых в наш адрес коллегами и начальством.

Существовала и еще одна форма удовлетворения, впрочем, горькая и извращенная: приятно было сознавать, что, добровольно служа советской системе, ты лицемеришь ничуть не больше всех остальных, сверху донизу. "Вождям" ведь тоже приходится притворяться, что они считают меня лояльным, действительно верящим их дешевой демагогии. Они тоже постоянно вынуждены лгать – мне, всем на свете, самим себе.

Большую часть времени у меня отнимала работа. С 1964 по 1966 год перед моими глазами прошел буквально калейдос-

коп событий. Барометр международной политики почти всегда показывал бурю. Советско-американские отношения с каждым месяцем ухудшались – разумеется, из-за Вьетнама. Заваруха на Кипре, события в Конго, в Доминиканской республике, конфликт между Индией и Пакистаном – все это заставляло Объединенные Нации заседать почти беспрерывно.

Когда в 1966 году меня вызвали в Москву, чтобы помочь в подготовке к встрече президента Франции Шарля де Голля, я предвкушал приятную перемену обстановки. К тому же мне не терпелось посмотреть, что делается в Москве после свержения Хрущева, и я надеялся, что мне как-нибудь удастся повидать нашего нового вождя – Леонида Брежнева.

В нашей Миссии все были крайне удивлены тем, что в качестве первого секретаря ЦК оказался избран – или, точнее, подобран – именно Брежнев. Суслов или даже Косыгин казались нам гораздо более выдающимися личностями. А Брежнев представлял собой просто одну из многих заурядных фигур, которые время от времени появляются на политическом горизонте, чтобы затем бесследно исчезнуть. Его политическая карьера началась в конце 30-х годов, в период сталинских чисток. Поговаривали, что он воспользовался тогдашней атмосферой всеобщей неуверенности и страха в своих личных целях и обратил на себя благосклонное внимание Сталина.

Так или иначе, после смерти диктатора Брежнева понизили в должности. Но вскоре Хрущев снова возвысил его, введя в Президиум и сделав секретарем ЦК. В 1960 году, когда Брежнев стал председателем Президиума Верховного совета, я решил было, что его политическая карьера на этом и кончилась, потому что эта должность номинального главы государства расценивается как подчиненная по отношению к руководителю партии или председателю Совета министров. По укоренившейся традиции на нее назначают тех деятелей, в отношении которых существует уверенность, что они будут безобидно отсиживать положенное время в кресле председателя Президиума Верховного совета до самой смерти или до выхода на пенсию по возрасту. Так и происходило со всеми предшественниками Брежнева на этом посту – с Михаилом Калининым, Николаем Шверником и Климентом Ворошиловым.

Хрущев считал Брежнева "своим кадром", потому что именно он его продвигал; однако Хрущев ошибался. Истинные амбиции Брежнева обнаружились как раз при снятии

Хрущева. Он не принимал активного участия в заговоре против Хрущева. Более того, едва ли даже знал о нем до того момента, когда Суслов счел нужным ему об этом рассказать. Брежнев не стал защищать своего патрона. Напротив, он примкнул к антихрущевской группе.

Федоренко говорил мне впоследствии, что Брежнев занял должность первого секретаря ЦК "при не вполне обычных обстоятельствах". Суслов и Косыгин, основные инициаторы смещения Хрущева, недооценили Брежнева. Суслов, похоже, готов был довольствоваться ролью "патриарха партии" и главного идеолога. Косыгин был рад сделаться председателем Совета министров и играть главную роль во внутренней экономической политике и во внешней политике государства. Труднее всего им было согласовать между собой вопрос, кто же станет первым секретарем ЦК. В конце концов оба поставили на "темную лошадку" – на Брежнева, не ожидая от него особой цепкости. Понимая, что он станет использовать этот пост для достижений определенных личных целей, они в то же время не сомневались в его, скорее всего, не слишком выдающемся интеллекте и были убеждены, что этот мало располагающий к себе человек ни с какой стороны им не опасен.

Сделавшись первым секретарем, Брежнев повел себя очень осторожно. Никто не мог определить, кто же является главной персоной в послехрущевском Кремле. Во внешней и внутренней политике государства не замечалось никаких существенных изменений. В то же время люди, свалившие Хрущева, были единодушны, по-видимому, только в желании убрать этого деятеля – во всем остальном их интересы и цели расходились. Больше всего меня беспокоило то, что новое руководство совершенно очевидно взяло курс на реабилитацию сталинщины.

Будучи профессиональным партийным аппаратчиком, Брежнев начал укреплять свои позиции, опираясь на ближайших приятелей и единомышленников в партии. Он пообещал им вновь объединить партийное руководство промышленностью и сельским хозяйством и отменить хрущевские нововведения, касающиеся ограничения сроков работы на выборных партийных должностях.

К весне 1966 года, когда я появился в Москве, Брежнев уже обеспечил себе широкую поддержку в верхних слоях партии. На XXIII съезде Президиум ЦК был вновь переимено-

ван в Политбюро, как это было еще при жизни Ленина. Из первого секретаря ЦК Брежнев превратился в "генерального секретаря". Эти переименования казались мне символичными: они указывали на то, что власть Брежнева укреплялась. Разумеется, московские шутники соответственно оценили амбиции нового руководства. По столице ходила такая шутка: рабочий спрашивает Брежнева, как следует к нему обращаться, – тот скромно отвечает: "Зовите меня просто И л ь и ч". Отчество Брежнева действительно совпадало с ленинским, но ответ, приписываемый ему, означал, что новый руководитель скромностью не страдает.

Я вскоре заметил, что самовлюбленный персонаж анекдотов и на самом деле мало чем отличается от реального Брежнева. Мне пришлось общаться с Брежневым, и не мало, в связи с тем, что я помогал подготовке к визиту де Голля.

Своим участием в этой подготовке я был обязан Анатолию Ковалеву, который отвечал за контакты с Францией. На первом же нашем рабочем заседании Ковалев прямо заявил, что ввиду порчи отношений с США и Китаем нам следует всячески налаживать связи с Западной Европой. В этом смысле Франция была целью номер один.

Слушая соображения, выдвигаемые Ковалевым, я вспоминал, как обстояло дело в моей ранней молодости. После второй мировой войны генерал де Голль долгое время рисовался нам, студентам МГИМО, безмозглым солдафоном с непомерными амбициями и диктаторскими замашками фашистского толка. Даже в 1966 году советские лекторы-международники постоянно называли его "длинноносым выскочкой".

Кремлевское руководство понимало, что переговоры с президентом Франции будут сложными, однако готово было пренебречь некоторыми интересами французской компартии (одной из крупнейших в Европе и относящейся к де Голлю весьма критически), лишь бы привлечь генерала на нашу сторону – в ущерб интересам США.

Тем не менее вопрос, как будут реагировать на этот флирт французские коммунисты, беспокоил работников ЦК и Министерства иностранных дел, привлеченных к подготовке переговоров с де Голлем.

Я был удивлен, услышав от Ковалева, который на этот раз выразился с недипломатической прямотой, что "французская компартия нам необходима как таковая, но вовсе необяза-

тельно, чтобы она добилась победы на выборах и пришла к власти во Франции. Это принесло бы нам больше осложнений, чем выгод. К тому же, учитывая французский характер и жизненный уклад, они там едва ли смогут удержать власть более или менее надолго. Де Голль и голлисты – вот реальная сила. На них и надо делать ставку".

Громыко на нашей встрече с Брежневым не присутствовал, но мне было известно, что при новом правителе его влияние чрезвычайно возросло. Когда я, вернувшись в Москву, в первый раз пришел к нему в министерство, один из его помощников небрежно обронил, что министр "запросто бывает у товарища Брежнева". Из обрывков дальнейших разговоров, услышанных в министерстве, я смог заключить, что Громыко стал ментором Брежнева в области внешней политики.

Больше всего меня поразил, однако, контраст между Брежневым и Хрущевым. Его хорошо сшитый костюм, элегантная рубашка с французскими запонками и претенциозная манерность были прямой противоположностью небрежным костюмам и простоватым, непринужденным манерам Хрущева. От Брежнева разило самоуверенностью и самодовольством, хотя держался он любезно и радушно. Обменявшись с нами несколькими фразами, он начал медленно читать подготовленные нашей группой материалы. Банальные замечания, сделанные им по поводу содержащихся в них предложений, показывали, что он не очень-то в курсе проблемы и, по-видимому, не вполне представляет себе, чего, собственно, следует добиваться от де Голля.

В отличие от Хрущева, у Брежнева, похоже, не было собственных идей. Хрущев имел обыкновение подхватывать то или иное предложение или, напротив, энергично возражать против него, выдвигая свои собственные, нередко сенсационные, неожиданные соображения. А Брежнев вел себя так, точно задался целью подтвердидь справедливость тогдашнего московского анекдота. Одного государственного деятеля будто бы спросили, был ли, наконец, искоренен культ личности, когда удалось спихнуть Хрущева. "Конечно, у нас теперь и в помине нет культа личности, – ответил тот. – Какой же может быть культ без личности?"

Брежнев, конечно, не был ни мыслителем, ни хотя бы интеллектуалом. Его сила заключалась в выдающихся организаторских способностях. Он обладал также определенной

склонностью к компромиссам и имел опыт политической балансировки среди разнородных, порой враждебных друг другу сил. Это был, что называется, средний руководитель, а иллюзию, что он будто бы осуществляет "твердое и уверенное руководство" государством, создавали у него и вокруг него подчиненные.

Визит де Голля имел для Брежнева особое значение. Как раз в это время Брежнев начал предпринимать заметные усилия, чтобы отстранить Косыгина от всей внешней политики и сосредоточить эту важную область государственной деятельности в собственных руках. Он хотел в одиночку вести переговоры с де Голлем, но, пожалуй, выбрав этот визит и такого партнера для демонстрации своих способностей, поступил опрометчиво. Генерал оказался, как и следовало ожидать, крепким орешком.

На меня де Голль произвел сильное впечатление сочетанием таких качеств, как чувство собственного достоинства, интеллект и вместе с тем упрямство и надменность. Когда, готовясь к его приезду, мы ломали себе головы, чем бы ему угодить, Ковалев предложил показать де Голлю знаменитый космодром в Байконуре – честь, ранее не оказываемая еще ни одному иностранцу; кроме того, представить ему высших военных руководителей. Политбюро эту мысль одобрило, и успех был полным: де Голль был искренне восхищен увиденным и впервые за все время визита вслух высказал явное удовлетворение.

Результаты переговоров, однако, не вполне оправдали ожидания советской стороны. Генерал проявлял сугубую осторожность, когда дело касалось общеевропейских проблем, и при выработке окончательного текста франко-советского коммюнике отказался включить в него советские формулировки по германскому вопросу и по вопросам разоружения. Он более или менее разделял критическое отношение Кремля к американским действиям во Вьетнаме, но не пожелал охарактеризовать их как агрессию, на чем пытались настаивать советские руководители.

* * *

Когда я возглавил отдел Миссии, занимавшийся делами Совета Безопасности и общеполитическими проблемами, в моем подчинении оказалось более двадцати дипломатов. Вскоре я

обнаружил, что настоящими дипломатами были только семеро. Остальные – профессиональные работники КГБ или ГРУ, прикрывавшиеся дипломатическим статусом. Из их числа назову Владимира Казакова, энергичного молодого человека, безусловно восходящую звезду "органов", и генерал-майора Ивана Глазкова, руководившего операциями ГРУ в Нью-Йорке.

В моем отделе – в нарушение правил, регламентирующих интернациональный состав служащих ООН – числилось также несколько советских граждан, работавших в секретариате ООН. Дополнительные обязанности, выполняемые ими в составе нашей Миссии, не приносили особой пользы, но, конечно, отвлекали этих людей от их основной работы. Правда, в самом секретариате так и так считалось, что все советские – лентяи и пьяницы. Во многих случаях это, надо признать, соответствовало действительности.

Такой грустной характеристике вполне отвечал, например, работник секретариата Юрий Рагулин, зять советского посла в ГДР Петра Абрасимова. Предаваясь беспробудному пьянству, он часто появлялся на работе с многочасовым опозданием, а то и вовсе пропускал целые дни. Однажды во время попойки на квартире у приятеля в манхэттенском Вест-Сайде он до того нагрузился, что во время приступа рвоты, слишком сильно перегнувшись через подоконник, выпал из окна пятнадцатого этажа. Ему невероятно повезло: он упал на крышу стоящего рядом здания церкви, получил травмы, но остался жив. Снимать его с крыши пришлось пожарной команде. Если бы это был рядовой дипломат, его бы, конечно, уволили и немедленно отозвали домой, но Рагулину на выручку пришел влиятельный тесть.

Еще одной странностью, вызывавшей ехидные пересуды в секретариате, были обязательные отчисления в пользу государства из зарплаты советских людей, работавших в ООН. В конце каждого месяца советские служащие секретариата выстраивались в очередь к бухгалтерии нашей Миссии, чтобы сдать бухгалтеру деньги, заработанные ими в ООН. Миссия требовала от всех своих сотрудников, числящихся в секретариате, чтобы по получении чека они первым долгом обменяли его в банке на наличные, которые затем подлежали сдаче в бухгалтерию, и та уже выплачивала им "положенную" зарплату согласно шкале, установленной советскими властями. Таким путем наше государство забирало в свою пользу значи-

тельную часть денег, получаемых советскими гражданами в ООН. Например, в мое время старшие должностные лица секретариата получали приблизительно две тысячи долларов в месяц. Согласно советской шкале они "имело право" на зарплату, равную примерно окладу советника Миссии, то есть менее 800 долларов в месяц. Следовательно, советское государство ежемесячно отбирало у такого служащего секретариата больше тысячи долларов.

Естественно, на это вымогательство обижались, но сколько-нибудь оттянуть "возврат" денег не удавалось. Каждый месяц бухгалтерия Миссии составляла списки работников, замешкавшихся со "сдачей излишков" хотя бы на несколько дней. Эти списки передавались послу и парторгу. "Злостные должники" подвергались критике на партсобраниях. Более того, их лично вызывал к себе и песочил посол – за "нарушение дисциплины".

Этот порядок приносил советскому государству немалую выгоду. Миссия ухитрялась покрывать почти все свои расходы за счет заработков служащих ООН. Соединенные Штаты, напротив, оказывались в проигрыше: ведь на них приходилась львиная доля в финансировании деятельности ООН. В довершение зла, по крайней мере, половину советских служащих всех здешних международных организаций составляли отнюдь не дипломаты, а профессиональные работники КГБ и ГРУ. Получалось, что США косвенно оплачивали направленную против них же деятельность советских спецслужб.

Генеральный секретарь ООН У Тан, сменивший на этом посту Дага Хаммаршельда, по-видимому, знал о такой практике, но едва ли был в состоянии что-нибудь изменить. Если бы он поднял этот вопрос, Советы попросту бы все отрицали, на том бы дело и кончилось. Никто из советских людей не посмел бы рассказать, что происходит в действительности.

Кроткий до апатичности У Тан был прямой противоположностью энергичному Хаммаршельду. Правда, он сыграл положительную роль в утихомиривании страстей, разыгравшихся в период кубинского кризиса, и в дальнейшем урегулировании отношений между сверхдержавами. Но его решение отвести миротворческие силы ООН с Синайского полуострова накануне Шестидневной войны 1967 года было расценено многими странами – членами ООН как ошибочное и сильно подорвало его репутацию.

15

Воскресным вечером 4 июня 1967 года я был у Федоренко в Глен-Коуве. За бутылкой коньяка мы обсуждали усиливающуюся напряженность на Ближнем Востоке. Становилось ясно, что там запахло войной и что нам предстоят в Совете Безопасности трудные дни. Впрочем, Федоренко, как обычно, был невозмутим. Он ссылался на только что полученную нами шифровку, подчеркивающую, что Советский Союз, рекомендовал Насеру воздержаться от развязывания войны. Но я сомневался, что египетский лидер послушается этого совета. Мой опыт общения с представителями арабских стран свидетельствовал, что наше правительство идет на поводу у арабов, а не наоборот. В Совете Безопасности мы следовали указаниям не допускать принятия решений, направленных против Египта, Сирии, Иордании. Кроме того, нам приходилось также прилагать все усилия, чтобы добиться осуждения Советом Израиля.

Наутро, в четыре часа, меня разбудил дежурный сотрудник нашей загородной резиденции:

– Звонит Ганс Табор* и говорит, что у него вопрос, не терпящий отлагательств. Не разбудить ли Николая Трофимовича?

Я ответил, что сначала сам поговорю с Табором.

Табор возбужденно заявил мне, что между Египтом и Израилем начались военные действия, поэтому он счел необходимым известить советского представителя о своем намерении как можно скорее, уже этим утром, собрать заседание Совета Безопасности. Я разбудил Федоренко; тот согласился с предложением Табора.

Федоренко сказал, что нам придется сейчас же поехать в Советскую миссию и там ждать распоряжений из Москвы. В машине мы включили приемник, чтобы послушать последние известия. По сообщениям корреспондентов, выходило, что в первые же часы войны Израиль уничтожил почти всю египетскую боевую авиацию.

В Миссии не оказалось еще никаких инструкций из Москвы. Безуспешно прождав некоторое время, мы направились в ООН. Встретились с Мохаммедом эль-Куни, представителем

---

* Постоянный представитель Дании в ООН, в то время — председатель Совета Безопасности.

Египта, весьма заурядной личностью. Он был в хорошем настроении и уверял, что сообщения о потерях египетских военно-воздушных сил неверны.

– Мы перехитрили израильтян. Они бомбили наши ложные аэродромы, где мы специально расставили фанерные макеты самолетов. Увидите, кто победит в этой войне!

Я сильно сомневался в его осведомленности и вполне откровенно поделился своими сомнениями с Федоренко. Он согласился:

– Да, эль-Куни едва ли можно доверять в этом вопросе. Посмотрим, что поступит из Москвы.

Утреннее заседание Совета Безопасности заняло немного времени. После него Ганс Табор провел отдельные совещания с членами Совета и заинтересованными сторонами. Военная обстановка была неопределенной. Даже если Израиль действительно уничтожил значительную часть египетских воздушных сил, израильские танки еще не вступили в дело и не испытали на себе мощь египетской артиллерии. Между тем Сирия и Иордания тоже начали боевые действия против Израиля. К ним присоединился Ирак.

Среди членов Совета Безопасности царило замешательство. Заметную роль в проводимых совещаниях играл посол Артур Гольдберг, постоянный представитель США в ООН. Способный дипломат, интеллектуал, прекрасный оратор, Гольдберг постоянно бывал нашим серьезным оппонентом. Федоренко и члены нашей делегации в Совете считали его "ловким евреем, способным провести самого дьявола". Но, отзываясь о нем с видимым пренебрежением, они явно завидовали его способностям.

Лично у меня, несмотря на то что мы отстаивали прямо противоположные позиции, установились с Гольдбергом неплохие отношения. Я ценил его деловой, практический подход к сложным и деликатным вопросам. Гольдберг явно не одобрял пустой болтовни, столь характерной для многих заседаний ООН. В то же время он был мастером по части выработки компромиссных формулировок. Хорошей школой подготовки к дебатам в ООН, где приходилось заботиться о примирении разных позиций, послужила ему многолетняя деятельность в качестве юридического консультанта профсоюза, работа на посту Министра труда во время президентства Кеннеди, а также в Верховном Суде Соединенных Штатов.

В ходе совещаний Гольдберг настаивал, что на Ближнем Востоке надо добиваться немедленного прекращения огня. В то же время он предлагал обсудить предложение, чтобы прекращение огня сопровождалось отходом израильских и арабских сил на позиции, которые обе стороны занимали до 18 мая – перед тем, как Египет направил войска на Синайский полуостров и в район залива Акаба.

Предложение Гольдберга означало, что Израиль должен будет отойти с той части Синайского полуострова, которую он успел занять, а Египет, со своей стороны, отведет оттуда войска на исходные позиции за Суэцким каналом. Однако египтяне категорически отказывались пойти на это: они хотели только отвода израильских войск, а сами рассчитывали сохранить свои боевые линии непосредственно на границе с Израилем.

Инструкции, поступившие наконец из Москвы были выдержаны в примирительном тоне, хотя в общем и предусматривали оказание поддержки в ООН арабской стороне. Нам предлагалось консультироваться с арабами и осуждать Израиль, не боясь самых сильных выражений.

Совет Безопасности зашел в тупик уже на следующий день, 5 июня. Поздним вечером мы с Федоренко снова встретились с эль-Куни и представителями Сирии и Иордании. Я советовал Федоренко попытаться повлиять на них, чтобы склонить к принятию расширенного предложения Гольдберга. Он согласился, – но эль-Куни был непреклонен. Я считал, что арабы совершают непростительную ошибку: похоже, что они вот-вот проиграют войну, и мне казалось, что, не соглашаясь на предложение Гольдберга, они потом наверняка об этом пожалеют.

Утром 6 июня заместитель Министра иностранных дел Владимир Семенов вызвал нас к телефону прямой связи с Москвой, используемому только в экстренных случаях. Он сказал, что в ближайшее время мы получим новые указания. Сразу после их получения нам необходимо добиться встречи с Гольдбергом. Новые указания свелись к требованию добиваться принятия предложения Гольдберга; если же на этой основе не удастся договориться, следует согласиться с резолюцией о безоговорочном прекращении огня, уже внесенной в Совет Безопасности. Текст, подписанный Громыко гласил: "Этого следует добиваться, даже если арабские страны будут против, – повторяю, даже если они будут против".

Мы попытались связаться с Гольдбергом, но это удалось не сразу. Было ясно, что ход военных действий резко изменился в пользу Израиля, поэтому Москва и добивалась от Совета Безопасности возможно более оперативных действий. Когда Федоренко наконец связался с Гольдбергом, время было упущено. Последний напомнил, что его предложение о связи прекращения огня с отводом войск было неофициальным и что США теперь настаивают только на намедленном прекращении огня. Он едко заметил, что ему не удалось вовремя добиться от советской стороны, и в частности от Федоренко, поддержки своему первоначальному предложению, а теперь самое главное – прекратить кровопролитие, не осложняя дело какими бы то ни было оговорками. На том и порешили.

Совет Безопасности принял целый ряд резолюций, прежде чем на Ближнем Востоке было установлено ненадежное перемирие. После этого в Совете начались бесконечные дискуссии по вопросу о выводе израильских войск с оккупированных арабских территорий и об установлении мира в этом районе.

Казалось бы, арабы получили хороший урок. Советский Союз готов был продолжать поставлять оружие ряду арабских стран, обучать их армии, направляя туда своих инструкторов и советников, предоставлять этим странам экономическую помощь, но не идти на риск военной конфронтации с Соединенными Штатами в этом районе мира. Советское руководство стремилось укрепить свое влияние в арабских странах, но никоим образом не собиралось активно защищать их в случае войны. Напротив, Шестидневная война продемонстрировала, что СССР, толкая своих подопечных на сомнительные авантюры, в критический момент склонен бросить их на произвол судьбы.

На протяжении более десяти лет, работая в МИДе и в ООН, я наблюдал, как Советы все теснее связывают себя с наиболее экстремистскими арабскими силами и режимами. При молчаливой поддержке Громыко я пытался как-то замедлить этот процесс, способствовать восстановлению деловых связей с Израилем, а в дальнейшем и с Египтом, однако мои усилия были каплей в море. Не пользуясь однозначной и решительной поддержкой Москвы, я мало что мог сделать.

Стремление завоевать прочные позиции на Ближнем Востоке подтолкнуло Советский Союз в 1948 году к такому шагу,

как признание – раньше, чем это сделали все остальные страны, – едва образовавшегося тогда Израиля. Не будучи связан ни с каким из арабских государств этого региона, Советский Союз рассчитывал оказывать постоянное воздействие на Израиль, пользуясь тем обстоятельством, что многие деятели, способствовавшие возникновению нового государства, были по происхождению российскими евреями.

Насеровская революция в Египте и отказ Америки помочь в осуществлении экономической программы Насера в 50-е годы привели к тому, что для СССР открылись новые каналы политического и военного проникновения на Ближний Восток. Но независимо от того, кому помогал СССР в этом регионе – Египту или Сирии, Южному Йемену или Ираку, или, наконец, палестинцам, – его цели оставались все теми же: расширить и углубить советское влияние на Ближнем Востоке, использовать этот район и развитие событий в нем как арену соперничества с Западом для подрыва мощи последнего.

Партийные политиканы считали арабский мир подходящей средой для распространения советской идеологии. Военные стратеги рассматривали его как удобную в географическом отношении базу для советских военных флотов в Средиземном море и Индийском океане, как плацдарм для накапливания и трамплин для перебросок войсковых соединений и полигон для испытаний советского оружия. Дипломаты практически не могли противостоять этому натиску военных и "идеологов".

Потерпев поражение – хотя и косвенно – на Синае и на прочих фронтах, Советский Союз умерил свой дипломатический пыл в Совете Безопасности и уже не требовал с прежней энергией немедленного отвода израильских войск. Соединенные Штаты наложили вето на принятие этого советского предложения. Надеясь собрать большинство голосов в его поддержку в Генеральной Ассамблее, СССР потребовал созвать ее на чрезвычайную сессию и направил в Нью-Йорк весьма представительную делегацию во главе с председателем Совета министров Косыгиным и Громыко.

Косыгин все еще сохранял за собой в Кремле роль ответственного за внешнюю политику, хотя его позиции были уже изрядно подорваны брежневскими вторжениями в эту область, поддержанными Громыко. Подобно Брежневу Косыгин

тоже был обязан началом своего стремительного возвышения сталинским чисткам. Делая карьеру как технократ, он также продемонстрировал свою выживаемость в условиях советской иерархии. Человек сухой и скучный даже по советским понятиям, он отличался от обычного образца советского бюрократа только необычайной выдержанностью в отношениях с подчиненными. Косыгин был более интеллигентным человеком, чем многие из его коллег, и обычно высказывался четко, логично и недвусмысленно, что составляло резкий контраст с извилистой уклончивостью, характерной для советских бюрократов. У него не было, кажется, никаких комплексов, а его личные потребности были чрезвычайно малы. Достаточно привести такой пример: дочь Косыгина Людмила, мотаясь по нью-йоркским магазинам с длинным перечнем вещей, которые она намеревалась приобрести, не смогла туда включить ничего, что могло бы пригодиться ее отцу или о чем бы он, хотя бы предположительно, мечтал.

В середине 60-х годов Косыгин энергично и, казалось, небезуспешно "пробивал" ряд экономических реформ, явно необходимых стране. Однако его попытки предоставить промышленным кадрам несколько большую самостоятельность, ослабив вмешательство партийных чинуш в экономическую сферу, полностью провалились. Впрочем, вины самого Косыгина тут не было никакой: ведь даже Хрущеву не удалось изменить сложившуюся систему.

Думаю, что из чувства самосохранения Косыгин сознательно старался избегать многих интриг, сопряженных с борьбой за власть в Кремле. В дальнейшем Брежнев все более ограничивал его полномочия, так что Косыгин был вынужден не раз обращаться к Политбюро с просьбами об отставке. Хотя Брежнев едва терпел Косыгина, по его настоянию эти просьбы неизменно отклонялись. Так создавалась иллюзия "сотрудничества", хотя фактически Брежнев все меньше и меньше считался с председателем Совета министров. Впрочем, Косыгину не был по душе и Хрущев, чей "волюнтаристский" образ действий никак не вязался с косыгинской организованностью и осмотрительным подходом к любому делу.

Косыгин считал, что из фактора существования капиталистического мира Советский Союз может извлечь немалую пользу для себя. Он поощрял развитие торговых и вообще экономических отношений с США и Западной Европой. Однако и

здесь сказывались такие черты Косыгина, как осторожность, а временами даже – чрезмерная подозрительность. Кроме того, он проявлял более ортодоксальный, по сравнению с Брежневым, подход к войне во Вьетнаме. Брежнев уже поговаривал о том, как лучше использовать затяжку Вьетнамской войны против США на благо Советскому Союзу, "в то же время не слишком раздражая наших друзей в Ханое". Косыгину же такой подход претил.

Летом 1967 года Косыгину было поручено попытаться начать диалог с президентом США. Он собирался не только представлять Советский Союз на чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, но и обсудить с президентом Джонсоном ближневосточный и вьетнамский вопросы. Однако на деле ему не было дано полномочий заключать какие бы то ни было соглашения, и вообще он не должен был "заходить слишком далеко". Поэтому Косыгин вполне резонно полагал, что его встреча с Джонсоном не будет способствовать прогрессу ни по какой из обсуждаемых проблем. В то же время перспектива возвращения в Москву ни с чем очень его удручала. Посол Добрынин и помощник Косыгина Борис Бацанов (тоже, между прочим, выпускник МГИМО) говорили мне, что Косыгин вообще предпочел бы не встречаться с Джонсоном. Неудача этих переговоров подорвет его репутацию искусного политика и только поможет Брежневу свести до минимума роль Косыгина во всем, что касается внешней политики.

Однако встреча Косыгина с Джонсоном обязательно должна была состояться, – так решило Политбюро. Какое-то время Косыгин полагал, что ему удалось обойти эту необходимость. Политбюро было против того, чтобы встреча состоялась в Вашингтоне, а американская сторона заявила, что Джонсон против встречи в Нью-Йорке. Несколько дней прошло в спорах о возможном месте встречи. Наконец, была найдена подходящая "нейтральная территория" – дом ректора университета в Гласборо (Нью-Джерзи). Косыгин вернулся из Гласборо с весьма скудными достижениями:

– Мы так ни до чего и не договорились, – буркнул он.

К этому моменту советские руководители, по замечанию Адама Улама, "все еще не решили, как им использовать ослабление мощи и падение престижа Соединенных Штатов в результате неудач, постигших американцев в Юго-Восточной

Азии".* Точно так же они не договорились между собой, как отнестись к изменению обстановки на Ближнем Востоке – продолжать ли занимать в отношении Израиля все ту же непреклонную позицию или начать маневрировать между арабами и евреями. И тогда, и в дальнейшем Громыко склонялся ко второму из этих вариантов. Косыгин же прибыл из Москвы с заготовленной резкой речью, в которой Израиль подвергался осуждению как агрессор, напавший на Египет, Сирию и Иорданию, выдвигалось требование отвода всех израильских войск с территорий, занятых ими в ходе Шестидневной войны, и вовсе отсутствовало признание за Израилем права на существование.

После основательного рассмотрения вопроса уже в Нью-Йорке (высказывались Громыко и Добрынин, а Косыгин только слушал, не выражая никаких эмоций) Косыгина удалось убедить, что в эту речь должно быть включено упоминание об историческом факте поддержки Советским Союзом государственности Израиля. Москва одобрила это предложение, но советской делегации пришлось довольствоваться такой формулировкой, положительный смысл которой был выражен, как это вообще характерно для кремлевской дипломатии, через отрицание: "Советский Союз не отрицает права народа Израиля... как и всякого другого народа, на создание своего суверенного государства". Вся остальная речь Косыгина, за исключением этой фразы, была яро антиизраильской, и проект резолюции, внесенный советской делегацией, содержал осуждение Израиля как "агрессора" и призывал его к безоговорочному выводу войск со всех оккупированных арабских территорий.

Эта резолюция была неоправданно жесткой, так как не содержала ни малейшей попытки как-то учесть интересы Израиля. Поэтому ей не удалось собрать большинства голосов на заседании Генеральной Ассамблеи. Но когда группа латиноамериканских стран внесла компромиссный проект резолюции, арабские государства отвергли его как слишком мягкий по отношению к Израилю. Косыгин возвратился в Москву, а Громыко остался в Нью-Йорке, чтобы обсудить с Гольдбергом (при посредничестве Добрынина) третий вариант резолю-

---

* Adam B.Ulam. Expansion and Coexistence: Soviet Foreign Policy. 1917-73. Praeger Publishers, 1974. (2 издание).

ции, который, с одной стороны, призывал к выводу войск, а с другой – содержал положение о праве на независимость и существование в условиях "мира и безопасности" всех государств Ближнего Востока. Однако даже такая формулировка не удовлетворила требования арабских стран. Чрезвычайная сессия закончилась провалом.

Следующие дипломатические шаги были предприняты в ноябре, когда заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов прибыл в Нью-Йорк с заданием "сдвинуть дело с мертвой точки". Пока он совещался с арабскими делегациями и с представителями западных держав, я был уполномочен войти в контакт с представителями так называемых неприсоединившихся стран, которые пытались выработать свой проект ближневосточного компромисса, но держали свои маневры в тайне от прочих. Компромиссная резолюция, сформулированная "неприсоединившимися", не смогла удовлетворить всех членов Совета Безопасности, после чего хлопоты по достижению приемлемого для всех решения взял на себя британский посол в ООН лорд Карадон. Одаренный и остроумный дипломат, он нашел ключ к решению проблемы: его формулировка, призывающая к "выводу вооруженных сил Израиля с территорий, занятых ими в ходе настоящего конфликта", умышленно содержала известную недоговоренность в отношении основного спорного вопроса – откажется ли Израиль от в с е х завоеванных им территорий.

Переговоры, в ходе которых родилась эта умышленно неточная формула, были интенсивными и напряженными, и в них принимали участие действительно опытные дипломаты – Кузнецов, Карадон, Добрынин, Гольдберг. Но соответствующая "Резолюция № 242", единогласно принятая Советом Безопасности, не решала ближневосточную проблему. Каждая из сторон – арабы и Израиль, Соединенные Штаты и Советский Союз – интерпретировала ее по-своему, и усилия, вновь и вновь предпринимавшиеся, чтобы добиться ее выполнения, не дали результата.

* * *

В начале августа 1968 года я отправился в Советский Союз, чтобы провести там отпуск. Явившись в Министерство иностранных дел, я застал в секретариате министра и его заместителя Кузнецова изрядную суматоху. Все сотрудники минис-

терства трудились, что называется, до посинения ввиду ситуации, сложившейся в Чехословакии. Я узнал, что готовится вооруженное вторжение в эту страну, и почувствовал облегчение при мысли, что меня в ближайшее время не будет в Нью-Йорке, где пришлось бы защищать действия СССР.

Еще до отпуска, находясь в Америке, я имел возможность следить за развитием событий в Чехословакии. Этому способствовал Иржи Гаек, чешский представитель в ООН, который впоследствии стал министром иностранных дел ЧССР, а также Милан Клусак, зять президента Людвика Свободы.

В конце 1967 года с поста главы чехословацкой компартии пришлось уйти Антонину Новотному. Он был заменен на этом посту Александром Дубчеком; начался период, получивший название "Пражской весны".

Брежнев, по-видимому, какое-то время пытался разрядить обстановку, ведя переговоры с так называемыми "чешскими ревизионистами", и, похоже, готов был примириться с процессом либерализации, начавшимся в Чехословакии. Так ли это было в действительности, трудно сказать, но, во всяком случае, со стороны некоторых членов Политбюро (в частности, Михаила Суслова и Петра Шелеста) на него оказывалось сильное давление, чтобы пресечь этот процесс либерализации, не останавливаясь перед применением силы.

У части советского руководства перспектива вооруженного вторжения в Чехословакию до самого последнего момента вызывала серьезные опасения – у всех еще была в памяти резкая реакция Запада на советскую акцию в Венгрии в 1956 году. Но в конце концов, Политбюро санкционировало вторжение. Для оправдания его изобрели "доктрину Брежнева", согласно которой – вопреки духу и букве Устава ООН – Советский Союз и другие коммунистические страны имеют-де право осуществлять военное вмешательство в судьбу того "члена социалистического содружества", политика которого, по их мнению, существенно угрожает интересам содружества в целом.

21 августа советские войска осуществили молниеносное вторжение в Чехословакию. В этой операции приняли символическое участие также войска четырех других социалистических стран Восточной Европы. Знакомый генерал-лейтенант говорил мне, что армия хорошо усвоила "венгерский урок", благодаря чему чехословацкая операция была выпол-

нена "блестяще". Это было действительно так: советские ударные части – десантники, танкисты и прочие – справились с поставленными перед ними задачами за считанные часы, не понеся никаких потерь.

После свержения Хрущева перед вооруженными силами была поставлена задача создать силы быстрого развертывания на случай таких международных событий. При необходимости их предполагалось использовать не только в странах советского блока, но и в других частях мира. Планировалось создание соответствующих авианосцев, вертолетов и военно-транспортных самолетов, способных перевозить по воздуху легкие танки, орудия и ракеты тактического назначения. Была предусмотрена также подготовка специальных десантных частей, офицеры которых владели бы иностранными языками.

Конечно, сегодня эти силы быстрого развертывания еще более многочисленны и гораздо лучше оснащены, чем в 1968 году, когда они выполнили поставленную перед ними задачу по оккупации Чехословакии.

Однако вопреки всем этим кризисам, разочарованиям и, несмотря на извивы советской политики в 60-е годы временами я испытывал чувство удовлетворения своей работой. В 1968 году заключительный этап переговоров, которые должны были привести к подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия, был очень нелегким, но в конце концов удалось согласовать позиции сторон. Этим успехом мы были в значительной мере обязаны энергичным действиям неутомимого Василия Кузнецова, который вновь прилетал в Нью-Йорк.

В отличие от большинства крупных деятелей, выдвинувшихся при Сталине, Кузнецов был чутким, отзывчивым человеком и искусным политиком. У нас с ним установилось прочное деловое взаимопонимание, подкрепленное хорошими личными отношениями, еще с того времени, когда я в начале 60-х годов, пребывая в Женеве, участвовал в переговорах по разоружению.

Кузнецов был самой высокопоставленной персоной из всех тех моих знакомых, кто позволял себе при случае резко неодобрительно высказаться о порядках, царивших в сталинскую эпоху.

Однажды мы гуляли с ним днем по берегу Женевского озера, восхищаясь его красотой. И вдруг он заговорил о "бесче-

ловечности" той эпохи. "В любой момент мог раздаться стук в дверь... Никто не был уверен, что его ждет завтра, появится он, как обычно, на службе или же очутится в тюрьме". Особенно возмущали Кузнецова поступавшие к нему тогда анонимные доносы, где расписывались служебные промахи либо иные прегрешения того или иного дипломата. Отвратительная привычка писать анонимки, диктуемые, как правило, душевной злобой или обыкновенной завистью, по сей день процветает в советских учреждениях, но в сталинские времена эта практика достигла апогея.

– Если кому-то хочется что-либо поправить, улучшить, – пусть делает это открыто, не прибегая к такому гнусному способу, – говорил Кузнецов.

Может быть, откровенностью, с какой Кузнецов выражал свои мысли, он обязан тому обстоятельству, что еще молодым человеком провел несколько лет в Америке, живя в американской семье. По специальности инженер-металлург, он проходил в Питтсбурге стажировку. Вернувшись в СССР, Кузнецов стал в дальнейшем секретарем ВЦСПС. После смерти Сталина его назначили послом в Китай, где по-настоящему развернулись его способности дипломата.

Толковый, здравомыслящий, практичный и осторожный, он проявил исключительную способность маневрировать в хитроумном лабиринте советской внешней политики. Бесконечно терпеливый, он умел шаг за шагом добиваться как от иностранных дипломатов, так и от Политбюро казалось бы крошечных и, на первый взгляд, несущественных уступок при выработке текстов документов, – до тех пор, пока формулировки не покажутся приемлемыми обеим сторонам.

У Кузнецова было исключительное чутье, "чувство момента": он точно знал, когда ему не остается ничего другого, кроме как проявить твердость и настойчивость, а когда, наоборот, требуется выказать гибкость. Он также в любую минуту отлично чувствовал, "куда дует ветер" в Кремле, и обладал способностью проявлять понимание, сердечность и одновременно высказываться с бескомпромиссной прямотой за столом переговоров. Кузнецову постоянно поручалось вести переговоры, уже явно заходящие в тупик: считалось, что только он сможет в таких случаях выправить положение.

Должным образом оценив усилия Кузнецова в ходе подготовки Договора о нераспространении ядерного оружия, бри-

танский представитель в ООН лорд Карадон выразил ему свое восхищение необычным образом. Выступая в июне 1968 года на заседании Совета Безопасности, Карадон закончил свою речь так:

– Сидя на заседании Совета, я занялся сочинением хвалебной оды, которую посвящаю господину заместителю министра иностранных дел. Вот она:

Мы каждый раз, зайдя в тупик,
Вас призывали в тот же миг.
Сгустились тучи – слышен зов:
"На помощь! Где же Кузнецов?"

Как голубь на ковчег слетев,
Вы усмиряли бури гнев.
Яснеет даль, и не страшна,
Хоть и коварная, волна.

Сияет солнце, мир ликует,
Лев с агнцем дружно голосуют, –
Вот вам достойная награда!
Переводить мой спич не надо.

Несмотря на серьезное обострение отношений, вызванное событиями во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, сотрудничество обеих сверхдержав по подготовке Договора о нераспространении ядерного оружия продолжалось и принесло свои плоды. Мы распределили все страны, входящие в ООН, на две категории: страны, находящиеся в сфере влияния СССР, и все те, которые относятся к сфере влияния США. Мой коллега Олег Гриневский и я посетили Миссию Соединенных Штатов, чтобы обсудить, как мы будем обрабатывать представителей тех или иных стран в ООН, как лучше подойти к ним, чтобы убедить их голосовать за этот договор и как продолжить наши объединенные действия в столицах государств, еще не обзаведшихся ядерным оружием, чтобы заручиться их поддержкой договора.

Я обнаружил такую любопытную вещь. Американская делегация могла непосредственно снестись с послами США в африканских, азиатских и латиноамериканских странах и попросить этих дипломатов действовать в поддержку договора на самом высшем уровне – общаясь с руководителями правительств соответствующих стран. Мы же не имели права связываться с советскими посольствами за границей. Нам приходилось просить Москву дать всем послам указание поддержи-

вать идею договора в беседах на уровне правительств в тех странах, где они аккредитованы. Отклики из посольств тоже попадали сначала в Москву, а оттуда уже к нам.

Как ни странно, Советской миссии в Нью-Йорке не было разрешено координировать свои действия с посольством СССР в Вашингтоне. Если нам требовалось обсудить какой-нибудь вопрос с представителями правительства Соединенных Штатов, мы запрашивали Москву, а оттуда запрос пересылался Добрынину. И это несмотря на то, что Советская миссия и посольство, где сидел Добрынин, находились друг от друга на расстоянии менее двухсотпятидесяти миль! Это, конечно, не значит, что советский посол в ООН (в Нью-Йорке) и посол СССР в Вашингтоне вовсе не общались между собой, но все их непосредственные контакты были, так сказать, неофициальными.

Такие окольные пути порой приводили к искажению получаемой информации до невероятной степени, — невольно вспоминалась игра в испорченный телефон. Некоторые послы сообщили в Москву, что они "получили заверения в принципиальном одобрении идеи договора" соответствующими правительствами. Но доверять таким сообщениям было опасно, потому что ни сами послы, ни — во многих случаях — высокие должностные лица, с которыми они беседовали в стране аккредитации, не были в курсе ряда деталей. Нередко оказывалось, что представители соответствующих стран в ООН занимали иную позицию, нежели та, которой придерживались их правительства, если верить информации, полученной нами из Москвы. Требовались уточнения, приходилось настаивать, чтобы тот или иной посол еще раз побеседовал с руководителями страны своего пребывания, посол вновь направлял донесение о состоявшейся беседе в Москву, а оттуда оно поступало к нам. Весь этот процесс был утомителен, точно диалог глухих.

В конечном счете объединенные советско-американские усилия оказались решающим фактором, позволившим обеспечить одобрение Договора о нераспространении большинством государств — членов ООН. Ожесточенные нападки Албании и позиция, занятая Танзанией и Замбией при обсуждении этого договора, никого не удивили. Они действовали так под влиянием Китая. Правда, очень расстроила Кузнецова позиция Кубы, которая, несмотря на усилия как с его стороны, так и

со стороны других дипломатов, неожиданно выступила с резкой критикой Договора, заявив, что он "ставит целью узаконить пропасть, разделяющую сильных и слабых".

Отношения между Москвой и Гаваной вообще были очень неровными. В начале 60-х годов советские руководители отдавали себе отчет в том, что в Латинской Америке еще не созрели условия для социалистической революции, и не поддержали идею Кастро произвести вооруженный переворот в некоторых странах этого региона. Москва была скорее заинтересована в развитии нормальных отношений с правительствами многих из этих стран. Однако Кастро превратил Кубу в руководящий центр, штаб подрывной партизанской войны в Латинской Америке.

Конечно, больше всего ухудшились отношения между Гаваной и Москвой в результате кубинского кризиса. В 1962 году Кастро потребовал, чтобы советский посол на Кубе Сергей Кудрявцев был отозван, а его место занял Александр Алексеев, в то время советник посольства СССР в Гаване. У нас все знали, что Алексеев – штатный сотрудник КГБ. Было ли это известно Кастро? По всей вероятности, да, но его это не смущало. Они были друзьями, вместе пили, вместе заглядывали к женщинам. Хуже всего было то, что эта дружба усиливала естественную склонность КГБ поощрять подрывную деятельность Кастро в соседних странах. Москва согласилась назначить Алексеева послом с большой неохотой, – в частности, потому что это противоречило установившемуся правилу: не держать штатных сотрудников КГБ на посольских должностях за границей.

Кастро бойкотировал празднование 50-й годовщины Октябрьской революции, хотя ему было прекрасно известно, какое значение Советы придают этому событию. Он критиковал СССР за неоказание эффективной помощи Египту во время Шестидневной войны. Вдобавок он выражал отвращение к позиции советского руководства в отношении Китая.

Кастро делал попытки активно включиться в так называемое "Движение неприсоединения". При этом он не считал нужным координировать свои действия с Советским Союзом и вообще игнорировал московское руководство. Со своей стороны, Москва, ничего не имея против распространения "идей кубинской революции" среди неприсоединившихся стран, была не очень-то довольна ростом влияния Кастро в "третьем мире".

В ООН кубинцы предпочитали игнорировать неофициальные собрания представителей социалистических стран. Перед каждым важным голосованием на Генеральной Ассамблее Советская миссия взяла за правило встречаться с представителями стран советского блока и ставить их в известность, как будет выглядеть позиция СССР по данному вопросу. Эти встречи могли происходить в здании Миссии, в одном из холлов здания ООН, а то и где-нибудь чуть ли не в коридоре.

Иногда возникала дискуссия относительно советской позиции – у Румынии или у какой-либо другой страны находились те или иные возражения. Советский делегат мог также просить представителей социалистических стран повлиять на делегатов некоторых государств "третьего мира", чтобы и они поддержали советскую позицию.

Кубинский посол в ООН Рикардо Аларкон сплошь и рядом не только пропускал эти встречи, но и не удосуживался в таких случаях позвонить и сообщить, что он не сможет присутствовать. Как-то раз это очень разозлило посла Малика, сменившего в 1968 году Федоренко.

– Где Аларкон? – возмущался Малик. – Позвоните в Кубинскую миссию!

Аларкон явился, но сказал всего несколько фраз. Он не считал возможным делиться с советским послом всем, что происходит на встречах делегаций неприсоединившихся стран. Просить его об этом бесполезно.

Москву раздражало поведение Кастро, но все сходило ему с рук, потому что с Кубой советские руководители связывали далеко идущие планы. С другой стороны, хотя Кастро и просил поддержки у Китая, Пекин не был в состоянии оказывать Кубе сколько-нибудь значительную экономическую помощь. Поэтому кубинскому диктатору не оставалось ничего иного, как вернуться в объятия Москвы. Впрочем, Кремль постепенно тоже начал разделять мнение кубинского руководства, что социалистическая революция в Латинской Америке произойдет скорее всего в результате использования военных, а не мирных средств.

* * *

К 1970 году я достиг предельного для советских дипломатов срока непрерывного пребывания за границей. Обычно в одной и той же стране дипломат работает четыре-пять лет; воз-

можно продление этого срока, вплоть до удвоения его (советский посол в Вашингтоне Добрынин составляет примечательное исключение: на него эти правила не распространяются). Но если кого-то намечается оставить и на третий срок, его кандидатура тщательно и всесторонне обсуждается отделом заграничных кадров ЦК.

Как правило, советских дипломатов не ставят в известность, куда их предполагается назначить по истечении очередного срока. Это новое назначение часто зависит от совершенно случайных обстоятельств — например, от наличия вакантных мест в центральном аппарате министерства, — но в первую очередь определяется личными связями и приятельскими отношениями в МИДе и в ЦК. Поэтому почти все советские дипломаты, ожидающие нового назначения, болезненно переживают этот период и, используя неофициальные каналы, активно хлопочут, стремясь попасть на то или иное привлекающее их место. Мне в этом отношении повезло: я знал заранее, какая работа меня ждет.

В Нью-Йорк я прибыл, имея ранг первого секретаря, а уезжал отсюда чрезвычайным и полномочным послом — по советским понятиям, это значительное продвижение по службе. Мои чисто материальные интересы тоже были удовлетворены. Живя в Нью-Йорке, мы с Линой купили большую кооперативную квартиру в Москве и обставили ее современной мебелью. В 1968 году я вдобавок купил дачу — непременный символ принадлежности к высшему слою советского общества.

Когда Громыко, пребывая в Нью-Йорке в 1969 году, предложил мне должность советника при нем, я с готовностью принял это предложение, связывая с ним многие надежды. Дело тут было не только в повышении по службе. Я надеялся, что, работая рука об руку с Громыко, смогу играть активную роль в формировании советской внешней политики в том направлении, которое казалось мне наиболее правильным.

В апреле 1970 года Лина, Аня и я отбыли из Нью-Йорка на борту советского теплохода "Александр Пушкин". Он доставил нас в Ленинград, откуда мы поездом отправились в Москву. На Ленинградском вокзале в Москве теща встретила нас такими словами:

— Аркадий, тебе несколько раз звонили из ЦК. Спрашивали, когда ты приедешь, и просили, чтобы ты им позвонил.

– Кто, собственно, оттуда звонил?

– Не знаю, но он оставил свой номер...

Я позвонил в ЦК. Голос ответившего был мне незнаком.

– А, Аркадий Николаевич! Вы уже в Москве? Я помощник Бориса Николаевича (Пономарева). Он хочет с вами поговорить, притом в самое ближайшее время.

– Но я только что с вокзала, – запротестовал я. – Мне сначала нужно появиться в своем министерстве, повидаться с министром...

– Я бы вам посоветовал, – настаивал мой собеседник, – в первую очередь заглянуть завтра утром к нам, хотя бы на несколько минут, а потом уже ехать в министерство.

Наутро я, конечно, поспешил в ЦК, но, оказалось, мое волнение, вызванное звонком из секретариата Пономарева, было напрасным. Пономарев просто хотел предложить мне работу в своем отделе. Он обрисовал мне заманчивые перспективы карьеры в ЦК и сказал, что у него я могу рассчитывать на быстрое продвижение по службе. Я не дал ему определенного ответа, заметив, что мне придется обсудить это предложение со своим министром (с Громыко). Похоже, Пономареву это не понравилось, – он не привык к отказам, – однако промолчал.

В тот же день я рассказал Громыко о предложении Пономарева. Громыко не скрыл своего раздражения, – еще бы, ЦК пытался переманить его работника.

– А вам самому, Шевченко, что больше по душе? Сами-то вы чего хотите – работать в ЦК или быть моим советником?

Я сказал, что надеюсь остаться в министерстве и что я благодарен ему за предоставление мне такой возможности. Похоже, мой ответ ему понравился. Он обещал сегодня же подписать приказ о моем новом назначении. Как мне стало известно, Громыко звонил потом Пономареву и недвусмысленно дал ему понять, что нехорошо "обижать наше министерство".

16

Собираясь приступить к своим новым обязанностям, я поднялся на седьмой этаж здания министерства и явился пред очи Василия Макарова, главного помощника Громыко. Макаров – важный, надутый, вместе с тем грубоватый и язви-

тельный — был совсем не похож на своего шефа, обычно сдержанного и обходительного. Он уже давно работал с Громыко и за эти годы сделался значительной фигурой – к министру невозможно было попасть в обход Макарова.

Понаблюдав за его работой, которая состояла преимущественно в том, что он бесцеремонно отклонял просьбы посетителей (как правило, дипломатов высокого ранга) дать им возможность "всего несколько минуток" поговорить с министром, и "заворачивал" подальше от кабинета Громыко заведующих отделами, намеревавшихся представить министру какие-то бумаги ("перепишите их и сократите"), я понял, за какие достоинства Громыко держит его при себе.

Макаров был первоклассным сторожевым псом, умело отбивавшим натиск посетителей и оберегавшим своего шефа от необязательных встреч с подчиненными. В общем, мирская суета не захлестывала Громыко, что позволяло ему чувствовать себя небожителем.

Дипломаты высокого ранга знали, что, чтобы попасть на прием к министру и иметь возможность вручить ему свой доклад или похлопотать о назначении на ту или иную заманчивую должность, необходимо сделать подарок Макарову. Сам Макаров принимал эти взятки как должное. Он даже приобрел привычку прямо заказывать вещи, которые хотел бы иметь; так, мне он как-то обстоятельно втолковывал, какой ковер ему непременно бы хотелось иметь в квартире — какого размера, цвета и с каким узором...

Мы с ним были знакомы уже несколько лет и сохраняли корректные отношения. Он попросил меня присесть к его столу, однако поговорить с ним удалось не сразу: то и дело звонили телефоны, каждые несколько минут заходили сотрудники министерства, которым требовались те или иные советы и указания. Вокруг царила обычная деловая суматоха.

В этом не было ничего удивительного. Ожидался приезд египетского президента Насера, а обстановка на Ближнем Востоке оставалась по-прежнему накаленной. Завершалась подготовка договора с Западной Германией. В августе в Москву должен был прибыть Вилли Брандт, велись переговоры по подготовке Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и договора СОЛТ. Шла подготовка к визиту французского президента Помпиду. Ко всему этому добавлялись постоянная напряженность в отношениях с Китаем и международные осложнения, вызванные войной во Вьетнаме.

Наконец, я улучил минуту и сказал Макарову, что хотел бы как можно скорее увидеться с Громыко, чтобы обсудить круг своих обязанностей и другие вопросы, касающиеся моей будущей работы.

Макаров поморщился:

– Ты что, слепой? Не видишь, что кругом творится, до чего Андрей Андреевич занят? Не воображай, что у него только и заботы, как бы тебя ввести в курс дел!

Впрочем, тут же он сменил гнев на милость:

– Аркадий, тихо! Знакомься пока со здешней обстановкой...

Я сказал ему, что не собираюсь просиживать рабочие дни, глядя в потолок. Мне необходимо знать, что предстоит конкретно делать. Только Громыко может определить круг моих обязанностей. Кроме того, мне нужно будет выделить кабинет тут же, на седьмом этаже, поближе к кабинету министра, чтобы я мог сразу же являться по его вызову. Наконец, мне придется знакомиться со всеми документами политического характера, поступающими на имя министра, и всеми шифрованными сообщениями, прибывающими в министерство.

– Ты, Аркадий, захотел сразу слишком многого, – пробурчал Макаров. – Так тебе все тут же и предоставят!..

Когда я побывал наконец у Громыко, тот сказал, что мои обязанности будут очень разносторонними и ответственными. Я должен быть готов работать практически над любыми вопросами. Громыко заявил, что мне придется выкинуть из головы "федоренковщину" – имея в виду недостаточно, по его мнению, серьезный подход к делам, присущий Федоренко.

Я встречался с Громыко так часто и при столь разных обстоятельствах, что мог бы уже тогда утверждать: я хорошо его изучил. Но только поработав некоторое время под его непосредственным руководством, я понял, какой у него сложный и трудный характер. Андрей Громыко представляется многим высокопроизводительной машиной, созданной, чтобы действовать, настаивать, убеждать, безотказно служить, то есть человеком, лишенным человеческого тепла. Он способен шутить, способен сердиться, но за всем этим чувствуется холодная логика и дисциплина, что делает его грозным начальником и опасным противником.

Преданность Громыко советской системе беспредельна и безоговорочна. Да и сам он уже сделался принципиально важ-

ной частью этой системы, и одной из ее наиболее мощных движущих сил. Это одновременно и продукт системы, и один из ее главных хозяев. Как-то на вопрос журналиста, касающийся его биографии, Громыко ответил:

– Моя личность не представляет интереса.

Это не поза, а искренняя позиция, хотя на самом деле Громыко – личность весьма незаурядная. Хрущев однажды сказал, что если он прикажет Громыко "снять штаны, сесть голым задом на лед и просидеть целый месяц, он так и будет сидеть". С характерной для него образностью председатель Совета министров отдал должное почти невероятному упрямству и выдержке своего министра иностранных дел.

Выдвижение Громыко в число основных политических фигур не только в Кремле, но и во всемирном масштабе само по себе примечательно тем, что он начал свою карьеру в том же министерстве иностранных дел, между тем как обычно советские политические деятели высшего ранга выдвигаются из рядов партийной бюрократии.

Андрей Андреевич Громыко родился в 1909 году в белорусской деревне Старые Громыки, по его собственному определению – в полукрестьянской-полурабочей семье. От названия этой деревни и происходит фамилия Громыко. Окончив Минский сельскохозяйственный институт, он перебрался в Москву и с 1936 по 1939 год работал здесь в должности старшего научного сотрудника Института экономики Академии наук СССР. В партию он вступил в 1931 году, а на работу в Наркоминдел перешел в 1939-м.

Первым этапом своего выдвижения Громыко был обязан сталинской повальной чистке, которая вымела из учреждений первое послереволюционное поколение служащих. Он последовательно занимал места тех, кто сделался жертвой массовых расстрелов или был обречен на медленное умирание в концлагерях. Освободившиеся должности в те времена приходилось замещать кем попало, и на фоне многих посредственностей Громыко не мог не выделиться. Он был не просто послушным и дисциплинированным работником, – вдобавок к этому он был интеллигентен, образован, сообразителен и трудолюбив. Правда, ему недоставало опыта дипломатической работы. Тем не менее его дипломатическая карьера началась с высокой должности заведующего отделом США Народного комиссариата иностранных дел, а в 1943 году его наз-

начили советским послом в Вашингтоне. Назначению предшествовал вызов к Сталину для личной беседы. Пока Сталин беседовал с Громыко, помощники диктатора, как мне рассказывали, со зловещим цинизмом гадали, суждено ли очередному выдвиженцу отправиться из Кремля на запад (в США) или же на восток (т.е. не сошлют ли его в Сибирь).

Федор Тарасович Гусев, бывший в 1939 году секретарем наркоминдельского парткома, а в мое время тоже занимавший должность советника Громыко, так описывал атмосферу, в какой началась карьера Андрея Андреевича. В мае 1939 года нарком Максим Литвинов был смещен и заменен Молотовым. Это событие знаменовало собой как отказ от сближения с западными демократиями, так и начало новой перетряски НКИДа, в конечном счете обезглавившей тогдашний советский дипломатический корпус. Едва вступив в обязанности наркома, Молотов вызвал Гусева и начальника отдела кадров наркомата, чтобы дать им руководящие указания. Эти указания свелись к крикливому внушению по поводу того, что пора кончать с политической близорукостью и как следует приняться за очистку наркомата от "классовых врагов".

– Хватит с нас литвиновского либеральничанья! – рычал Молотов. – Я вырву с корнем это жидовское осиное гнездо!

Громыко не любил вспоминать те годы. Никогда я не слышал от него никаких критических замечаний по адресу Сталина или Молотова. У меня создалось впечатление, что он продолжает относиться к обоим с глубоким почтением. Однажды он с умилением рассказал мне, как Сталин ему посоветовал в порядке подготовки к дипломатической деятельности в Вашингтоне посещать американские церкви и присутствовать на богослужениях, чтобы усовершенствовать знание английского. Сам Сталин был обязан своим образованием православной церкви (он учился в духовной семинарии); видимо, он рассудил, что, поскольку проповеди священнослужителей всегда отличаются образцовым языком и хорошей дикцией, церковь является наиболее подходящим местом для изучения языка. Громыко признавался, что сталинский совет его несколько смутил: он не мог себе представить, как посол атеистического советского государства может появиться в церкви, не вызывая изумления прихожан и не привлекая внимания прессы. В общем, это было единственное сталинское указание, которым он позволил себе пренебречь.

Влияние сталинско-молотовской выучки давало себя знать у Громыко и в мое время. Но поработав с ним, я, к своему удивлению, обнаружил, что он, в отличие от многих людей, сформировавшихся в ту эпоху, не относится к числу закоснелых сталинистов. Политическое мировоззрение Громыко сложилось в те времена, когда Советский Союз и Соединенные Штаты были союзниками в борьбе с фашизмом. Он чтил память Франклина Рузвельта, считая его великим человеком, "мудрым государственным деятелем с широкими и разнообразными интересами". Впечатления и понятия, усвоенные Громыко в тот начальный период его деятельности, продолжали сказываться и тогда, когда советско-американские отношения сделались по преимуществу враждебными. Так, в 1984 году в обращении к Генеральной Ассамблее ООН Громыко хотя и отозвался резко о современной политике США, однако не преминул подчеркнуть, что сейчас еще в большей степени, чем когда бы то ни было в прошлом, народы обеих стран убеждены в насущной необходимости сохранения хороших отношений между СССР и Соединенными Штатами. При этом он еще раз напомнил о союзе наших государств в годы второй мировой войны.

Громыко принимал участие в Ялтинской и Потсдамской конференциях. Он был руководителем советской делегации на встрече в Думбартон-Оксе, а в дальнейшем, после отъезда Молотова, возглавил также делегацию СССР на конференции, принимавшей Устав ООН. Как один из "отцов-основателей" ООН Громыко в 1946 году был назначен первым представителем Москвы в Совете Безопасности, где заслужил прозвище "Мистер Нет", более двадцати раз за два года наложив от имени СССР вето на решения, принимавшиеся Советом. Начиная с этого времени, Громыко непосредственно участвовал во всех событиях, связанных с отношениями между Востоком и Западом, в частности между СССР и США, и имел дело со всеми американскими президентами, начиная с Франклина Рузвельта и кончая Рональдом Рейганом, равно как и с их государственными секретарями – от Корделла Хэлла до Джорджа Шульца. Громыко – единственный из нынешних членов Политбюро, занимавший ответственный пост еще при Сталине и оставшийся "в верхах" при всех последующих вождях вплоть до Черненко.

Громыко неожиданно повезло и в тот момент, когда его

карьера, казалось, готова была рухнуть. Он вернулся в Москву в 1948 году и был назначен первым заместителем Молотова, но в 1952-м министром иностранных дел стал Андрей Вышинский, ухитрившийся от него отделаться. Вышинский, кровавый прокурор времен сталинских чисток, оказался столь же непримиримым проводником сталинского внешнеполитического курса. Он счел нужным попридержать служебное рвение Громыко, неуместное в эпоху начавшейся холодной войны. Между двумя деятелями вспыхнула ссора. Вышинский – опытный инквизитор – нашел, как подорвать безупречную репутацию Громыко и воспользовался этой находкой, чтобы избавиться от главного из своих помощников.

Собственно, Громыко сам, что называется, вырыл себе яму. Относительно скромный в личной жизни, он тем не менее на этот раз совершил нехарактерный для себя поступок, который можно было расценить как злоупотребление служебным положением. По настоянию жены, Лидии Дмитриевны, он привлек министерских рабочих к строительству личной дачи и заодно воспользовался фондами стройматериалов, выделенными министерству. В московском пригороде Внуково для него построили уютное кирпичное зданьице. Среди советской элиты такие нарушения закона встречались и встречаются постоянно, и на них обычно смотрят сквозь пальцы. Как только у человека появляется возможность использовать служебное положение в личных целях, он сразу же стремится извлечь из этого выгоду – и действительно извлекает. Между прочим, я тоже прибегал к услугам персонала министерства, когда в конце 60-х годов мне понадобилось переоборудовать свою московскую квартиру.

За подобные вещи наказывают лишь в исключительных случаях. Высокое положение в государстве надежно защищает от какого бы то ни было скандала.

Но Вышинский, узнав о строительстве дачи, добился, чтобы Громыко вынесли формальный выговор по партийной линии и отправили его послом в Лондон. Вместо Громыко первым заместителем Вышинского стал Яков Малик, выдвинувшийся в 30-е годы как стукач, усердно сотрудничавший с органами госбезопасности, а на рубеже 40-50-х годов сменивший того же Громыко на посту руководителя советской делегации в ООН. Там он усиленно демонстрировал свои яро антиамериканские настроения. Малик был явно доволен тем,

что Громыко выжили из министерства, а тот, надо полагать, смотрел на свое назначение в Лондон как на ссылку.

Смерть Сталина в марте 1953 года привела к внезапному повороту в судьбе Громыко. Вышинский был снят, полетели со своих постов и многие из его приятелей. Теперь уже Малик был вынужден отправиться послом в Англию, а Громыко вернулся оттуда, чтобы занять в Москве все ту же должность первого заместителя министра иностранных дел.

С этого времени карьера Громыко развивалась уже беспрепятственно, его авторитет рос. Хотя министром иностранных дел его назначил не кто иной, как Хрущев (в 1957 г.), Громыко пережил падение своего патрона; было известно, что Хрущев за спиной Громыко укреплял позиции своего зятя Алексея Аджубея, выделив в его ведение часть внешнеполитических вопросов.

Во времена Хрущева Громыко принял важное для своей дальнейшей карьеры решение, выказав себя очень прозорливым человеком. Он всячески опекал Леонида Брежнева, занявшего при Хрущеве чисто декоративный пост председателя Президиума Верховного совета. Многим из окружающих Брежнев представлялся бесцветным, заурядным партийным карьеристом. А Громыко и на этот раз не изменили чутье и удача.

Когда Брежнев, готовясь к встречам с руководителями зарубежных стран, нуждался в помощи, его всякий раз выручал Громыко. Он вполне серьезно полагал, что Брежнев как номинальный глава государства должен быть на высоте положения. Иногда он и сам выступал на пресс-конференциях от имени Брежнева. А когда ему стало известно, что тот нуждается в человеке, который писал бы за него тексты выступлений, Громыко уступил своего "речевика" – Андрея Александрова-Агентова. Наряду с другим бывшим мидовцем Анатолием Блатовым, Александров-Агентов постепенно сделался доверенным лицом Брежнева и влиятельным советником по вопросам внешней политики. Оба удостоились этой чести по протекции Громыко.

Громыко укреплял свои связи с Брежневым и по чисто личной линии. Он занялся охотой, так что мог теперь составлять компанию партийному вождю, когда тот совершал вылазки за город, чтобы заняться любимым спортом. До того физические упражнения, практиковавшиеся Громыко, сво-

дились к утренней разминке с гантелями и случайным прогулкам. Вначале он смотрел на охоту как на способ убить время, но потом основательно увлекся ею. Никогда не приходилось мне видеть его в таком отменном настроении, как в одно из воскресений в 1972 году, когда он явился на свою внуковскую дачу незадолго до обеда, гордо неся в руке изрешеченную дробью утку, подстреленную им этим утром. Он довольно улыбался и был совсем не похож на того угрюмого субъекта, каким его знает весь мир.

Благодаря Брежневу, которого он звал запросто Леней, Громыко не только упрочил свое положение, но и сделался действительным хозяином советской внешней политики. Оттеснив Косыгина и взяв на себя ответственность за иностранную политику, Брежнев превратил Громыко из советника и консультанта в одного из сотворцов этой политики (другим он считал самого себя). Это превращение было формально закреплено в 1973 году, когда Громыко стал членом Политбюро.

Многие западные наблюдатели упускают из виду это изменение статуса Громыко в брежневский период. Генри Киссинджер ошибается, оценивая Громыко как "проводника, но не творца, политики" * вплоть до его ввода в Политбюро в 1973 году. Фактически Громыко принимал активное участие в формировании советской политики и до этой даты. Его действительный статус ускользал от внимания заграницы по той причине, что Громыко – не из тех, кто любит публично демонстрировать (особенно иностранцам) свою реальную власть и влияние. Всегда скрытный и замкнутый, он предпочитает держаться в тени.

Одновременно с Громыко членом Политбюро был избран Юрий Андропов, председатель КГБ. Этих двух выдающихся политических деятелей не связывали узы личной дружбы, тем не менее их отношения были весьма сердечными. Громыко никогда не любил чинов КГБ. Он и в особенности его жена всегда относились к "органам" с известным недоверием и в присутствии офицеров КГБ сразу как-то настораживались. Но Андропова Громыко считал не просто очередным руководителем КГБ; тот, в свою очередь, относился к Громыко с осо-

---

* Henry Kissinger, White House Years. "Little, Brown", 1979, p.789.

бым уважением. Отношение Андропова к Громыко как к старшему было особенно заметно потому, что оно являлось необычным в среде советских политических деятелей приблизительно равного ранга. Причиной его, несомненно, следует считать то обстоятельство, что, занимая в свое время дипломатический пост, Андропов был подчиненным Громыко. Внешне эта особенность их взаимоотношений проявлялась в том, что Андропов регулярно навещал Министерство иностранных дел и надолго уединялся с Громыко для обстоятельного обмена мнениями. Громыко не наносил ему ответных визитов и вообще, в отличие от многих других деятелей из кремлевской верхушки, никогда не бывал в Комитете госбезопасности. Дружеским отношениям Громыко и Андропова немало способствовало и то, что Громыко усиленно опекал сына последнего – Игоря, который избрал профессию дипломата.

К Черненко, пока тот не сделался Генеральным секретарем ЦК, Громыко относился скорее сдержанно. Он предпочитал иметь дело непосредственно с Брежневым и Андроповым. Подобно многим в Политбюро Громыко считал Черненко второразрядным приспособленцем. Но, как и прочие члены Политбюро, принадлежащие к "старой гвардии", после смерти Андропова он думал, что лучшей кандидатуры на пост генсека,чем Черненко, не сыскать. В частности, потому, что понимал, что в обстановке, которая должна будет сложиться после выдвижения Черненко, сам Громыко неминуемо станет одной из наиболее влиятельных фигур в Политбюро и будет играть еще более видную роль в формировании внешней политики, чем когда бы то ни было прежде.Он считал, что его огромный опыт, деловая хватка и искусство политика мирового масштаба, без сомнения, побудят остальных ведущих членов Политбюро прислушиваться к его советам и мнениям. При обсуждении любого возможного внешнеполитического шага его голос будет, конечно, иметь наибольший вес. Наблюдая за ним на заседаниях Политбюро в начале 70-х годов, я видел, что остальным трудно (если они вообще на это решались) оспаривать его точку зрения или хотя бы выражать сомнение в правильности его аргументации. В дальнейшем, когда его позиции еще более укрепились, я думаю, что министр обороны Устинов отваживался иногда возражать ему.

Тем не менее некоторые из западных аналитиков ставят

под сомнение масштабы влияния Громыко, утверждая (вполне справедливо), что у него отсутствует политическая база, опора в той или иной из ключевых советских институций — в партии, армии либо КГБ. Эти аналитики упускают, однако, из виду самое главное: Громыко сам сделался советской институцией — символом преемственности и стабильности режима, его могучим защитником, пользующимся уважением не только внутри страны, но и за ее пределами, в том числе в кругу ее соперников и врагов.

Многолетний мидовский опыт Громыко делает его, пожалуй, самым информированным министром иностранных дел в современном мире. В известной степени его политическое долголетие обусловлено также и тем фактом, что, несмотря на полученное им образование экономиста, он дальновидно избегал заниматься внутренними проблемами государства. Он знает, что экономические проблемы Советского Союза запущены и почти неразрешимы и что не один политический деятель сломал на них себе шею.

Незаурядную политическую проницательность продемонстрировал он и в том смысле, что всегда явно старался держаться в стороне от распрей и соперничества, которыми поражены как партийные, так и бюрократические верхи. Насколько возможно, он стремился выдерживать нейтралитет, чураясь кремлевских закулисных конфликтов и интриг. Эта черта характера наряду с привычкой скрупулезно взвешивать соотношение сил в Политбюро избавили его от участия в схватках, которые, время от времени разыгрываясь среди советского руководства, погубили — в профессиональном и чисто физическом смысле — так много способных политических деятелей.

На протяжении своей карьеры Громыко в любой роли — и как проводник чужих идей, и как полноправный творец государственной политики, — всегда отлично знал свое место и представлял свои возможности. Поэтому он нетерпим к тем, кто, по его мнению, "позволяет себе забываться". Осторожность всегда была главной чертой его натуры. То, что вначале было сдержанностью, со временем превратилось в подобие полного самоотречения. Усердие, послушание, упорство — таковы его ключи к успеху, таковы качества, надежно защищавшие его от опасности сделать неверный шаг, очутиться "не на той стороне" во время политических дебатов, особенно в сталинские времена.

Во многих отношениях Громыко остается ортодоксальным коммунистом. Тем не менее он выказывает гораздо большую дальновидность в оценке значения советско-американских отношений для будущего мира, чем принято считать как в СССР, так и на Западе. Работая с ним долгие годы, я убедился, что советско-американские отношения были ключевым, центральным вопросом, всегда занимавшим его внимание. Я никогда не замечал, чтобы Громыко выразил, пусть хотя бы непроизвольно, неприязнь к Соединенным Штатам и американскому народу в том духе, в каком это свойственно многим советским политическим деятелям его и последующего поколений. Он отдает должное Соединенным Штатам сообразно их мощи и потенциалу – как главному сопернику СССР на мировой арене. Как и многие из его коллег, Громыко относится с уважением к могуществу Америки. Не будучи носителем проамериканских настроений, он тем не менее считает, в отличие от ряда других советских лидеров, что США могут и должны быть не только основным соперником, но и партнером СССР (временным либо более или менее постоянным), – в той мере, в какой интересы обеих держав не противоречат друг другу или даже совпадают. Думаю, что это его постоянное, принципиальное убеждение.

В подходе Громыко к мировым проблемам существенную роль играет следование классическому принципу равновесия сил. Он закоренелый и упрямый прагматик, постоянно заботящийся о том, как бы что-нибудь выгадать для Советского Союза, но в то же время готовый учитывать интересы Запада – в тех пределах, в каких это допустимо исходя из тактических соображений. Точка зрения Громыко на советско-американские отношения, на европейские дела (в частности – положение Германии и Франции), на контроль вооружений и СОЛТ в существенной степени определяет основные тенденции советской внешней политики.

Следует помнить, что он был основным инициатором политики разрядки с Соединенными Штатами и теснее связан со всеми аспектами этой политики, чем любой другой из членов нынешнего Политбюро. С покойным министром обороны Андреем Гречко, убежденным антиамериканцем, он разошелся во взглядах на необходимость разрядки и переговоров СОЛТ-1 до такой степени, что эти два государственных мужа неделями не разговаривали друг с другом. В конечном счете

по обоим этим вопросам в Политбюро победила точка зрения Громыко. Фактически именно Громыко (а не посол Анатолий Добрынин) представлял советскую сторону на переговорах Киссинджер – Добрынин во времена президентства Никсона. Когда доклады Добрынина поступали в Москву, их первым получал Громыко; он и решал, кому их следует показать, и его предложения служили основой принимаемых решений, касающихся отношений с Соединенными Штатами. Громыко пытался также (хотя порой и безуспешно) охладить антиамериканский пыл заядлого приверженца холодной войны в ООН Якова Малика.

Непосредственные подчиненные Громыко также занимались проблемами отношений со США или Западной Европой. Своего долголетнего помощника Георгия Корниенко, специализировавшегося на Соединенных Штатах, Громыко сделал первым заместителем. Питомец Громыко Анатолий Ковалев, занимавшийся европейскими делами и принадлежащий к узкому кругу его ближайших сотрудников, также стал его заместителем. Совсем недавно еще один бывший руководитель американского отдела министерства Виктор Комплектов также пополнил число заместителей министра. Все они пользуются правом свободного доступа к Громыко. Напротив, заведующий отделом стран Африки иногда месяцами не встречается со своим министром, разве что на заседаниях коллегии министерства, и не без основания считает, что Громыко ограничивается лишь беглым просмотром составляемых им докладов.

Несмотря на неоднократные приглашения посетить ту или иную из стран Африки, Громыко ни разу там не побывал. Если не считать Кубы, не был он и в странах Латинской Америки. Китай интересует его преимущественно в плане тройственных отношений Москва–Вашингтон–Пекин. Я не раз слышал, как в разговоре с людьми, принадлежащими к его ближайшему окружению, он обосновывает причину отклонения того или иного приглашения одними и теми же словами:

– Зачем мне туда ехать? Что я собираюсь с ними обсуждать? Нигерия (или, допустим, другая страна того же рода) не относится к числу великих держав, как Соединенные Штаты.

Не знаю, правильно ли я представляю ход мыслей Громыко, но у меня сложилось впечатление, что ему изрядно надое-

ло заниматься вопросами, связанными с трениями между Советским Союзом и странами Восточной Европы. По-моему, он считает эти страны излишним для нас бременем. Он никогда не высказывался в этом смысле, но у меня осталось такое ощущение, что для него всегда мучительно скучно иметь дело с руководителями стран советского блока или посещать эти страны. Среди "ястребов", сидящих в ЦК, он даже заслужил репутацию "идеологически невыдержанного". Пока Громыко не стал членом Политбюро, мне доводилось слышать, как эти приверженцы "твердой линии" открыто критиковали его за "проявления оппортунизма" в отношениях с США.

Однажды – дело было в 1972 году – я оказался свидетелем того, как ему без обиняков дали понять, что с ними приходится считаться.

Мы прибыли в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, оставив в Москве копию текста предстоящего выступления Громыко. Этот текст был подготовлен в министерстве и направлен в Политбюро в последнюю минуту, – Политбюро должно было его одобрить, но это всегда представляло собой чистую формальность.

Однако на сей раз, когда текст вернулся от помощника Брежнева, из министерства сообщили – не самому Громыко, а Макарову, – что некоторые члены Политбюро находят, что вступительной части доклада недостает обязательного идеологического обоснования. Нам давали понять, что не хватает цитат из Брежнева, которые бы подчеркивали благородство миролюбивой внешней политики СССР (в тексте фигурировала всего одна такая цитата).

Увидев, что это сообщение подписано Александровым-Агентовым, его собственным бывшим "речевиком", Громыко не на шутку рассердился.

– Что он о себе воображает, этот Александров? – бормотал Громыко. – Кто он такой?

Всем, конечно, было понятно, что Александров только передал мнение, выраженное то ли самим Брежневым, то ли каким-нибудь другим членом Политбюро. Громыко сунул злополучную бумагу мне:

– Вот, Шевченко, займитесь этим. Вставьте еще одну цитату из Брежнева, но больше ничего не вздумайте менять!

При Брежневе Громыко чувствовал себя достаточно уверенно и мог позволить себе быть в известной мере самим собой.

Из этого эпизода можно также сделать вывод, что Александров быстро забыл , что он был протеже Громыко, и, так сказать, отмежевался от своего мидовского прошлого. Он уже прочно принадлежал к партийным аппаратчикам высшего звена и среди брежневского окружения пользовался немалым влиянием. Весь инцидент был типичным проявлением беспринципности, характерной для советской верхушки. Правда, я должен сознаться, что и сам вел себя в отношении Громыко до некоторой степени непринципиально. Я скрывал от него, например, как Александров отзывается о нем за глаза. Не рассказывал я ему и о том, что секретарь ЦК Борис Пономарев и его окружение часто злословят по его адресу, называя Громыко в своем кругу "всего лишь мидовским бюрократом". Однако, когда Громыко ввели в состав Политбюро, эти высказывания прекратились, по крайней мере, я их больше не слышал.

Под руководством Громыко роль и значение Министерства иностранных дел в выработке внешней политики государства, совсем было деградировавшие при преемниках Молотова – Вышинском и Шепилове – вновь восстановились и, более того, возросли. И дело тут не в том, что Громыко "коварен, как Макиавелли", и даже не в том, что он выдающийся дипломат. Журнал "Тайм" заметил как-то, что его вполне можно сравнить с князем Талейраном, который не только обладал оригинальным складом ума, но к тому же пережил и Французскую революцию, и Наполеона, и помог восстановить бурбоновскую монархию. Хотя Громыко, безусловно, возражал бы против такого сопоставления – по крайней мере из-за княжеского происхождения Талейрана, а может быть, и по другим основаниям, – мне эта параллель кажется довольно верной.

Пожалуй, было бы чрезмерным упрощением считать Громыко "дипломатом на все случаи жизни", как его порой называют на Западе. Он человек твердых принципов и убеждений и не раз блестяще и тонко доказывал это. Он способен годами скрывать свои истинные намерения, но никогда от них не откажется, не оставит упрямых попыток "по кирпичику", как он любит говорить, выстроить фундамент, необходимый для их реализации.

Возможно, главным секретом политического искусства Громыко является его умение нащупывать решения и находить компромиссы, которые в конечном счете оказываются

приемлемыми для представителей разных течений в верхнем слое советского руководства. Никита Хрущев, напротив, мог бы послужить примером того, что случается с кремлевским лидером, который не способен усвоить этот главный принцип политической мудрости в советском понимании.

Как дипломат Громыко почти не знает себе равных. Всегда тщательно готовящийся к дискуссии, он легко и безжалостно теснит большинство своих оппонентов, заставляя их переходить к обороне, — даже в тех случаях, когда позиция Советского Союза далеко не бесспорна. С неменьшим успехом он умеет действовать и в тех ситуациях, где ему приходится представать любезным, уступчивым партнером. Он мастерски подчеркивает выгодные ему детали, умело и незаметно выторговывая у противника существенные уступки в обмен на незначительные, так что когда тот осознает, что произошло, оказывается уже поздно.

Громыко неплохой актер, без труда скрывающий свое настроение и подлинные намерения. Он держится, как правило, серьезно и собранно, но иногда дает волю гневу, то ли действительному, то ли нарочитому. Порой он флегматичен и загадочен, точно сфинкс, порой подшучивает над окружающими и веселится, хотя по большей части шутки и остроты получаются у него несколько тяжеловесными.

Преимущество Громыко, повторю, состоит в умении, когда нужно, нажать, когда нужно — отпустить. Я с удивлением наблюдал, как в начале тура переговоров он внезапно делал уступки в вопросах, которые мы намечали отстаивать изо всех сил, но не меньше озадачивали меня и такие моменты, когда он вдруг с невероятным упорством начинал цепляться за пункты, заведомо не представляющие для нас ценности и, более того, такие, по которым Политбюро уже заранее разрешило уступить.

Громыко так давно начал работать на дипломатическом поприще, что у него, похоже, выработалось впечатление, что и нынешние его партнеры с их позициями уйдут в забвение, в небытие, а он по-прежнему будет неутомимо продолжать свою деятельность. В своей практике он руководствуется марксистским положением, гласящим, что историческое развитие объективно приведет к коммунизму, — значит, сама история на стороне коммунизма, то есть, в представлении Громыко,

на стороне Советского Союза. А коль скоро само время – союзник Советов, то он, Громыко, может себе позволить вернуться к тем же проблемам и позициям и через неделю, и через месяц, и спустя многие годы. Если даже представляется очевидным, что цели СССР в данный момент недостижимы, это его не обескураживает: он упрямо преследует намеченную цель. Это вполне осознавал Генри Киссинджер, часто представляющий противную сторону за столом переговоров, в которых советскую делегацию возглавлял Громыко. Манеру его Киссинджер подытожил так: ”Он терпеливо накапливал свои выигрыши по мелочам, пока они не начинали составлять уже весомую величину”, и ”полагался на то, что нетерпение, испытываемое его противниками, позволит ему вытянуть из них дополнительные уступки, не достижимые никаким иным путем”.*

Громыко, достигший нынешнего уровня власти, уже совсем не похож на хорошо запомнившегося Западу ”Грим-Грома”** или ”Мистера Нет”. Далеко отошел он и от былого угодничества перед высшим советским руководством. Он уже не станет ”садиться на лед” по чьему бы то ни было приказу. Он уже не тот человек, которому приходилось уверять Кеннеди в 1962 году, что СССР не устанавливал на Кубе ракет с ядерным зарядом, хотя Кеннеди располагал аэрофотоснимками этих ракетных установок. Я не думаю, что Громыко тогда было доподлинно известно, что творится на Кубе – Хрущев был большим мастером втирать очки и Громыко, и Добрынину. Зато сейчас не существует таких кремлевских секретов, к которым бы Громыко не имел бы доступа.

Работать с Громыко адски тяжело. Угодить ему чрезвычайно трудно, а настроение его меняется так же непредсказуемо, как это бывало у Хрущева. Никто не знает точно, чего Громыко хочет в каждый данный момент, потому что он всегда хочет большего, чем говорит. В окружающих он не выносит нерешительности и не любит людей, которые не способ-

---

* Henry Kissinger, White House Years. "Little, Brown, 1979, pp.789-790.

** Первая часть этого прозвища образована от английского слова "grim" (мрачный, угрюмый), а вторая представляет собой сокращение, образованное от фамилии "Громыко". (Примеч.переводчика.)

ны четко и не задумываясь отвечать на его вопросы. Он просто не желает признавать тот факт, что иногда бывает почти невозможно сразу найти однозначный ответ на сложные вопросы.

Порой он груб и резок с подчиненными, громко и во всеуслышание подчеркивает собственное всеведение и тупость остальных. Потом, когда острый момент проходит, или при посторонних людях, в присутствии которых он всегда чувствует себя менее уверенно, он может обратиться к обиженному им сотруднику любезно, почти заискивающе, как ни в чем не бывало.

Громыко редко выдавливает из себя слова похвалы, даже если он по-настоящему кем-то доволен. Но сам он пользуется уважением не только иностранцев. В отличие от Генри Киссинджера я не могу сказать, чтобы он мне нравился, но за многое я его уважаю. Мало того, что он – настоящий государственный деятель; он к тому же не столь беспринципен, как большинство советских руководителей, и, достаточно зная его характер, я не могу представить себе, чтобы он в былые времена мог быть причастен к аресту хотя бы одного человека.

Скорлупа, в которой постепенно замкнулся Громыко, представляется весьма прочной. Она обеспечивает ему ту изоляцию от житейских, человеческих проблем, которой, судя по всему, жаждут многие из высших советских руководителей и которая в прослехрущевские времена сделалась присущей "советскому стилю руководства". Громыко так сжился со своим коконом, словно он родился в нем. От его дочери Эмилии я однажды услышал:

– Отец живет точно на небесах. Уже четверть века нога его не ступала на московские улицы. Видит только то, что можно увидеть из окна машины.

Эта машина, как я убедился, став его помощником, доставляет его в министерство каждый день к десяти часам утра, шесть дней в неделю, а домой он возвращается в той же машине обычно к семи или восьми часам вечера, если только какое-нибудь срочное дело не заставляет его задержаться в министерстве. Очутившись в вестибюле высотного здания, которое построено в последние годы жизни Сталина и в котором размещаются Министерство иностранных дел и Министерство внешней торговли, Громыко входит в специальный закреп-

ленный за ним лифт (этим лифтом пользуются, кроме него, всего несколько высокопоставленных сотрудников министерства) и поднимается в свой кабинет на седьмом этаже. Там он проводит весь день, исключая обеденный перерыв, читает документы, которые его помощники сочли заслуживающими его внимания, встречается с тщательно профильтрованной группой крупных чиновников своего министерства и высокопоставленными визитерами из-за границы, разговаривает по кремлевской вертушке с руководителями своего ранга за пределами Министерства иностранных дел, иногда со своими заместителями, реже – с заведующими отделов.

Громыко – образцовый семьянин. Он только раз был женат и, как все говорят, заботливо и уважительно относится к своей супруге Лидии Дмитриевне. Она пользуется немалым влиянием на мужа, который внимательно прислушивается к ее советам. Эти советы выходят далеко за пределы семейных вопросов и нередко касаются государственных дел, в частности, когда речь заходит о назначении того или иного служащего на высшие мидовские должности. Один из министерских шутников как-то назвал ее "исполняющей обязанности начальника отдела кадров".

Сын Громыко Анатолий – в настоящее время директор Института стран Африки Академии наук и член-корреспондент Академии наук, – дружен с отцом. Он один из немногих людей (к этим немногим относится также Лидия Дмитриевна), кто имеет возможность говорить с всесильным министром и членом Политбюро вполне откровенно и сообщать ему без всяких прикрас и умолчаний, что происходит за пределами искусственой атмосферы Кремля.

Громыко привязан также и к дочери Эмилии, интеллигентной женщине, получившей прекрасное образование и имеющей кандидатскую степень за работу по истории науки. Она избалована отцом и унаследовала его своенравный характер. Взять хотя бы ее замужество: она вышла замуж за Александра Пирадова, профессора кафедры международного права МГИМО. Пирадов был много старше Эмилии, и ей суждено было стать его третьей женой. В свое время он был женат на дочери Орджоникидзе – одного из "вождей" 30-х годов, покончившего с собой. Вторая жена Пирадова была главным редактором журнала "Здоровье". Интеллектуал, остроумец, но страшный лентяй и любитель поговорить и надавать пустых

обещаний, Пирадов был по национальности грузином. Его слабостью были хорошие вина. Родителей Эмилии отнюдь не приводила в восторг перспектива такого брака дочери, но она решила настоять на своем, и им пришлось согласиться. Окончательно примирило их с этим браком рождение внука: его тоже назвали Андреем, и он сделался любимцем деда и бабушки.

Научные заслуги Громыко увенчаны степенью доктора экономических наук. Он не утратил интереса к научной деятельности и уже в конце 50–начале 60-х годов написал книги "США: экспорт капитала" (1957) и "Американская долларовая экспансия" (1961), которые были опубликованы поначалу под псевдонимом "Г.Андреев" (тем же псевдонимом Громыко подписывал и многие из своих статей). В дальнейшем он исправил и дополнил текст обеих книг, свел их воедино и в 1982 году опубликовал уже под своим именем, назвав: "Внешняя экспансия капитала". Громыко по сей день продолжает оставаться номинальным редактором журнала "Международная жизнь", посвященного вопросам внешней политики, и просматривает многие статьи, предназначенные для опубликования в нем (в числе их были, между прочим, и несколько моих работ).

Человек разносторонних интересов, понимающий искусство, Громыко тем не менее не посещает ни культурных, ни спортивных зрелищ, если только его присутствие не требуется там по протокольным соображениям. Он много читает – не только политическую литературу, но и историческую, и художественную – одинаково увлеченно и Толстого, и Шекспира, и Марка Твена.

Громыко свободно говорит по-английски. Почти ежедневно к нему домой поступают "Нью-Йорк Таймс", журнал "Тайм" или другие западные периодические издания. Иногда он охотно проглядывает рассказы в картинках и политические карикатуры, помещаемые в прессе. Любит он также читать материалы из исторических архивов; известно также, что он поклонник князя Александра Горчакова, выдающегося русского флотоводца и дипломата прошлого столетия.

У себя на квартире Громыко с удовольствием смотрит кинофильмы. Будучи в США, он часто посещает просмотры советских картин в здании нашей миссии в Нью-Йорке, а в Глен-Коуве его свита всегда старается держать под рукой ко-

пию еще довоенной кинокартины "Пиковая дама". Это один из его любимых фильмов – он смотрел его, по крайней мере, десяток раз, и окружению Громыко известно, что в любой момент он может пожелать посмотреть его снова. Еще понравилась ему голливудская лента "Унесенные ветром". Но знаменитый фильм "Крестный отец" оставил Громыко совершенно равнодушным. Вообще его любимые заграничные фильмы – это те, что вышли на американские экраны в военные и первые послевоенные годы, когда Громыко жил в Вашингтоне и Нью-Йорке. На частных показах этих фильмов, организуемых для него в Москве, он вслух припоминает фамилии актеров, комментирует их игру и биографии. Надо полагать, что короткий период советско-американского союза, направленного против Гитлера, он вспоминает как звездный свой час, некоторого рода идиллию, которую ему хотелось бы воскресить для себя сегодня, общаясь с американцами.

Тем не менее его пониманию Америки (и Советского Союза, если на то пошло) недостает чего-то существенного. За пределами его политического кругозора остается фактор, именуемый "простым народом". В Нью-Йорке Громыко не видит ничего, кроме официальных зданий, где работает и отдыхает. Если он выходит на прогулку, то лишь в пределах огороженной территории резиденции в Глен-Коуве.

Известно, что он не пьет, не курит и отличается крепким здоровьем. Впрочем, в начале 70-х годов его здоровье начало сдавать. Стали возникать спазмы сосудов, сопровождавшиеся несколько раз временной потерей речи (однажды это случилось с ним на заседании Политбюро). Врачи предписали Громыко установить для себя несколько облегченный рабочий режим и больше отдыхать. Ему пришлось подчиниться и начать проводить больше времени на охоте и за игрой в шахматы с собственной женой и со своим заместителем Анатолием Ковалевым.

Громыко уделяет немалое внимание своему гардеробу. Он носит элегантные костюмы из дорогих заграничных материалов, сшитые на заказ в мидовском ателье. Правда, его вкусы я бы назвал дремуче консервативными, потому что с того дня, как я впервые с ним встретился, они нисколько не изменились. Из-за личного пристрастия Громыко к старомодным широкополым шляпам мне однажды пришлось потерять массу времени и порядком потрепать себе нервы. Именно такую

шляпу он купил когда-то, в незапамятные времена, и она уже, мягко говоря, имела весьма потрепанный вид. В одно из его ежегодных посещений Нью-Йорка его помощники обрыскали весь город, ища ей замену, но вернулись ни с чем. Громыко настаивал, чтобы ему купили абсолютно такую же шляпу. Один галантерейщик, посмотрев на нее, сказал, что "он видел подобную шляпу лет пятьдесят назад". Лидия Дмитриевна решила поручить это нелегкое дело мне.

– Аркадий Николаевич, вы знаете Нью-Йорк лучше всех нас. Может, вам с вашими связями удастся достать для Андрея Андреевича точно такую же шляпу?

Легче было бы, наверное, разыскать редкую почтовую марку или какое-нибудь уникальное антикварное изделие. Я буквально прочесал вдвоем с приятелем-американцем весь Манхэттен, обойдя десятки магазинов – от Орчард-стрит до верхней части города, пока мы наконец разыскали нужную нам шляпу в пыльной кладовой какого-то магазинчика.

18 июля 1984 года Громыко исполнилось 75 лет; но он, что называется, сохранился лучше многих своих коллег, находящихся в том же возрасте. Отнюдь не собираясь уходить на покой, он посвящает еще больше, чем прежде, сил и времени формированию советской внешней политики. Западные наблюдатели приписывают ему сомнительную честь главного инициатора сверхжесткой линии, которую Кремль проводил в отношении Соединенных Штатов на протяжении 1984 года.

Мне это предположение представляется ошибочным. Ближе к истине было бы, напротив, считать, что Громыко играл в Политбюро роль сдерживающего начала, высказываясь против "замораживания" отношений с США и против проявлений беспрецедентной враждебности, начавшей доминировать в советско-американских отношениях в конце президентства Картера и продолжавшейся первые годы пребывания Рейгана в Белом доме. Надо полагать, Громыко был куда более удручен этим резким ухудшением отношений, чем его коллеги, – он видел, что все его достижения в этой области сводятся на нет. Не приходится удивляться его ожесточенной реакции, когда, загнанный в угол на Мадридской конференции в конце 1983 года, он должен был отвечать за действия советского руководства, распорядившегося с чудовищной безжалостностью сбить корейский авиалайнер, залетевший в воздушное пространство СССР. Сам Громыко едва ли мог быть как-то

причастен к решению уничтожить этот авиалайнер. Более того, я уверен, что если бы он своевременно узнал о таком решении, он бы категорически протестовал против него. Громыко – человек слишком проницательный и умудренный опытом, чтобы поощрять такие безрассудные действия, способные навлечь на Советский Союз негодование всего мира. В 1960 году он отговаривал Хрущева от намерения сбить американский самолет-разведчик "У-2", но его не послушали.

Нет ничего удивительного и в том, что Громыко неизменно выводят из себя задаваемые ему вопросы о нарушениях прав человека в Советском Союзе. Эмиграция и обращение с диссидентами внутри страны входят почти исключительно в компетенцию ЦК и КГБ. Громыко просто не занимается – и не хочет заниматься – подобными проблемами. Его интересуют идеи, а не люди, и политические концепции, а не чьи-то личные судьбы.

За последние несколько лет советское "коллективное руководство" сделалось, вообще говоря, более воинственным и в то же время более мнительным, чем прежде. Дело тут не только в том, что за этот период Кремлю пришлось пережить ряд серьезных – как внешне, так и внутриполитических – неудач. Советское руководство встревожено тем, что власть явно ускользает из рук нынешней группы "кремлевских старцев". Жесткая, агрессивная реакция на события, происходящие в окружающем мире, и тесная сплоченность пока еще руководящей кучки – всего лишь проявления традиционного советского защитного рефлекса, вновь и вновь дающего себя знать, как только эти лидеры осознают тот или иной свой промах или чувствуют, что для Запада не составляет секрета их несомненная уязвимость.

Присущ защитный рефлекс и самому Громыко. По мере того как отношения между сверхдержавами развивались в сторону от плохих к еще худшим, Кремль терял больше, чем мог себе позволить. Советские руководители стремятся избежать риска всемирной ядерной катастрофы. Их волнуют американские программы перевооружения, в частности – проект создания системы космической обороны. Больше всего они боятся отстать в вышедшей из-под контроля гонке вооружений, в состязании за обладание все более и более сложными видами стратегического оружия и военными средствами космического базирования. Руководителям СССР не-

обходимо также как-то реагировать на ситуацию, при которой становится реальностью размещение в Западной Европе американских "Першингов-2" и крылатых ракет. Советские лидеры понимают, что скверные отношения с Вашингтоном отразятся и на их отношениях с Западной Европой, вызывая трения между странами Варшавского договора и давая лишние козыри Пекину, который не преминет использовать их против Москвы.

Громыко, несомненно, лучше всех остальных членов Политбюро сознает значение всех этих факторов. Он понимает, что нормализация отношений с Соединенными Штатами – прежде всего в интересах Москвы, безотносительно к тому, кто является сегодня американским президентом и нравится он лично Кремлю или нет.

Если Громыко не выведет из строя болезнь или какой-нибудь несчастный случай, Америке еще некоторое время придется иметь дело именно с ним. И я не удивлюсь, видя, как, выбрав подходящий момент, он с бульдожьим упорством станет вновь и вновь пытаться наладить советско-американские отношения, пусть не сразу, пусть "по кирпичику".

17

Каждое лето Громыко начинал готовиться к своему очередному обращению по вопросам международной политики, с которым в сентябре ему предстояло выступить на открытии Генеральной Ассамблеи ООН. Он часто вспоминал вслух свою работу в ООН в качестве первого советского представителя в Совете Безопасности и цитировал при этом Устав Объединенных Наций – документ, который знал почти наизусть. Человек вообще-то не сентиментальный, он сохранил теплое чувство к тогдашней только что родившейся Организации Объединенных Наций. С годами его отношение к ней изменилось. Его представление о будущем ООН и ее роли в международной политике постепенно становилось все более критическим. Тем не менее Громыко продолжает верить, что ООН – отличная школа для молодых дипломатов.

Поскольку я непосредственно до перехода в советники Громыко работал в ООН, он поручил мне руководство подготовкой его очередного обращения к Генеральной Ассамблее. Он дал понять, что не собирается сам долго корпеть над ним,

так что вся предварительная разработка основных моментов этого послания легла на мои плечи. Время от времени Громыко напоминал мне, что надо ”подыскать подходящих людей” для работы над текстом.

Вскоре мне пришлось убедиться, как важно строго следовать любому пожеланию Громыко. Я не спешил подбирать помощников для составления этой речи, потому что не хотел брать первых попавшихся, а времени впереди было достаточно. Но в начале следующей недели, когда я зашел в кабинет Громыко по какому-то другому делу, он вдруг спросил меня, кого я выбрал в помощники. Я сказал, что вскоре представлю ему список.

Голова Громыко нервно дернулась в мою сторону, и, тыча в меня пальцем, он добрых полчаса распространялся о том, какой я глупый и безответственный тип. Уши даны мне для того, чтобы выслушивать его указания! Меня так проняла эта неожиданно свирепая вспышка начальственного гнева, что я уже было решил: он навсегда утратил ко мне доверие. Однако на другой же день он поздоровался со мной как ни в чем не бывало. К своему утешению, я узнал, что вызов в кабинет Громыко неизменно повергает в трепет даже его заместителей. Он не только требует, чтобы все вызванные являлись сразу, но и считает, что самые невнятные его высказывания должны восприниматься подчиненными как строгий приказ. Вызов к нему может означать что угодно. Посетитель никогда не знает, ждет ли его грубое пропесочивание ”за все грехи сразу” или нудный, педантичный допрос, связанный с каким-нибудь пустячным делом, по прихоти судьбы попавшимся на глаза министру. Иногда Громыко пребывает и в хорошем настроении, о чем можно судить по отпускаемым им в это время неуклюжим шуткам, однако это не скрашивает его скверную репутацию: не зря: видимо, он давным-давно заслужил прозвище ”Гром”.

Одной из жертв его громовых разносов оказался Роланд Темирбаев, ответственный работник Миссии при ООН, которому в 1962 году была поручена неблагодарная задача: организовать переезд Миссии из старого здания на Парк-авеню в новое, на Шестьдесят седьмой стрит. Громыко осматривал это новое здание той же осенью; случилось так, что лифт испортился, и министру пришлось просидеть более получаса в кабине, застрявшей между этажами. Когда его освободили из

этого заточения, он заявил, что Темирбаеву придется "приискать новую должность". "Пусть сидит в вестибюле, – распорядился Громыко, – и следит, чтобы лифты не останавливались". Беднягу действительно посадили за стол в вестибюле на все время, пока Громыко оставался в Нью-Йорке.

В отношениях с подчиненными Громыко часто проявлял не то чтобы злопамятность, но скорее просто какую-то нетерпимость. В этом смысле его администраторский стиль типичен для высокопоставленных советских чиновников. Они грубы с подчиненными только потому, что стремятся таким способом подчеркнуть свою значительность. Порой Громыко собирал ответственных сотрудников и, пребывая в скверном настроении, устраивал им разнос как "болванам" и "неучам", недостойным работать в МИДе. Доклад, в котором обнаруживалось несколько мелких ошибок, или любой документ, представленный с опозданием, почти наверняка вызывал подобную же вспышку гнева, которая, к счастью, обычно бывала непродолжительной.

Громыко не выносит людей, которых считает несерьезными. Мы научились быть предельно серьезными.

В личном "штабе" Громыко, именуемом секретариатом, насчитывается не так много служащих – всего восемь-десять человек. Правда, когда Громыко сделался членом Политбюро, его "штаб" был расширен: теперь он включал еще военного адъютанта, личную охрану из гебистов, личного врача и т.д. В непосредственном подчинении Громыко находится также несколько дипломатов для особых поручений. Подобные специальные поручения даются также и ряду советников, не входящих в секретариат министра, но пользующихся правом доклада непосредственно ему. Эти советники тоже относятся к числу дипломатов высокого ранга – обычно они имеют ранг посла. Практически между ними и послами для особых поручений нет никакой разницы, и существование обеих этих категорий следует отнести просто к издержкам бюрократического механизма.

Особая немногочисленная группа советников, подчиненная тоже непосредственно министру, занята обработкой информации, поступающей в виде шифротелеграмм от советских послов за границей, резидентов КГБ и ГРУ, служб радиоперехвата, а также извлекаемой из текущей мировой прессы. Одновременно эта группа служит связующим звеном между Министерством иностранных дел и КГБ.

Хотя верхний эшелон МИДа вполне представляет себе глобальные политические цели государства, долгосрочное планирование внешней политики почти отсутствует. В 60-е годы министерство пыталось было его наладить, образовав специальное Управление с беспрецедентно многочисленным штатом, далеко превосходившим штаты любого другого подразделения МИДа, со специальным штатным расписанием и более высокими окладами. Наряду с мидовскими служащими на штатные должности в новое Управление было приглашено несколько видных ученых. Но через несколько лет выяснилось, что Управление потерпело полное фиаско. Его пространные аналитические обзоры с различными вариантами предполагаемого развития мировых событий оказались, по словам Громыко и других руководителей министерства, "схоластическими и далекими от жизни упражнениями". Громыко отправлял плоды деятельности Управления в архив и продолжал руководить своим министерством по принципу "решения текущих задач", сообразуясь с рядом ближайших целей.

Постепенно Управление планирования превратилось в прибежище для послов и прочих дипломатов высокого ранга, томящихся в ожидании нового назначения, в пристанище тех, кто дорабатывал последние месяцы до пенсии и, несмотря на старые связи, считался уже не пригодным для использования на активной дипломатической работе. В министерстве Управление прозвали "свалкой истории"...

Конечно, в числе его сотрудников работали и способные люди; поэтому я попросил некоторых из них поработать над текстом предстоящего выступления Громыко на Генеральной Ассамблее. Традиция и пропагандистские нужды требовали, чтобы главный советский дипломат воспользовался этим случаем для выдвижения неких внушительных предложений, которые должны были продемонстрировать приверженность Советского Союза идее мира во всем мире. Выступление Громыко получалось насквозь циничным, – и тем не менее составление его проекта потребовало от всех отделов МИДа колоссальных усилий. Мы работали очень напряженно, зная, что в основу всей речи должны были быть положены "новые идеи".

Однако когда рабочая группа наконец составила текст выступления и Громыко утвердил предварительное содержание

этой "декларации о международной безопасности", всем было ясно, что перед нами – всего лишь перепевы затасканных "инициатив", с которыми Советы носились годами. Все сводилось к трескучим пропагандным фразам с редкими вкраплениями дельного материала. Основной упор был сделан на осуждении действий Соединенных Штатов и Китая. Но для меня лично новизна ситуации заключалась в том, что я впервые принял на себя ответственную роль в этой игре, в которой прежде принимал участие как рядовой игрок.

Работа с Громыко в процессе подготовки этого выступления открыла мне глаза на многое. Конечно, я и раньше знал, что наше руководство прилагает все усилия, чтобы использовать ООН в интересах Советского Союза, нередко действуя вразрез с предначертаниями Устава Объединенных Наций; кстати, другие члены ООН поступали подобным же образом. Но теперь мне стало ясно, что Громыко, один из "отцов-основателей" ООН, придерживается нигилистических, циничных и лицемерных взглядов на деятельность своего детища и цели его создания. Он начал относиться к ООН как всего лишь к арене распространения пропаганды и прочих злостных действий, игнорируя Объединенные Нации, как только они в чем-то расходились с советской политикой, и пользуясь их существованием в ситуациях, благоприятных для Москвы и ее сателлитов. Чего же можно было ждать от всех прочих членов Политбюро, если даже Громыко проявлял интерес к ООН, только когда наступало время его ежегодной поездки в Нью-Йорк?

В остальном, если не происходило каких-либо чрезвычайных событий, Громыко практически игнорировал ООН.

Грустно было сознавать, что семь лет, проведенные мной в нашей Миссии при ООН, пропали, собственно, зря. Мне были известны недостатки и слабости ООН, но, работая там, я не успел еще утратить многие прежние иллюзии, – тем более трудно было примириться с открывшейся мне теперь истиной. Но по мере того как она раскрывалась передо мной, росли мои сомнения, касающиеся политики СССР в отношении ООН.

* * *

Начиная со студенческих лет, я искренне желал внести хоть какой-нибудь вклад в дело ограничения вооружений. Быть может, это звучит банально, но я чувствовал себя убежден-

ным сторонником мира и гордился тем, что мне довелось принимать участие в подготовке запрета ядерных испытаний и в переговорах о нераспространении ядерного оружия, которые закончились подписанием важных соглашений.

Я с презрением (разумеется, не высказываемым вслух) относился к нелепому предложению Хрущева о всеобщем и полном разоружении, в то же время опасаясь, что такие странные идеи помешают реалистичному подходу к проблеме ограничения вооружений и разоружения. Вместе с тем я верил, что мое государство серьезно относится к практическим мерам, направленным на осуществление разоружения, особенно на сокращение ядерных арсеналов. Впрочем, эта моя убежденность начала быстро таять уже в конце 60-х годов. Я понимал важность договора СОЛТ, хотя видел, что он едва ли представляет собой попытку честно добиться ядерного разоружения и направлен скорее на достижение приемлемого стратегического равновесия между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Фактически мы уже в ходе переговоров изменили свою первоначальную позицию по вопросу разоружения, не считаясь с четко выраженными пожеланиями большинства членов ООН.

Мы должны были постараться добиться прогресса как в переговорах по СОЛТ, так и по линии других, более существенных мероприятий, ставящих целью ограничение роста вооружений и разоружение. Вначале мои докладные записки по этому вопросу, направляемые Громыко, оставлялись без внимания. Лев Менделевич, покинувший свой пост в Нью-Йорке и назначенный послом для особых поручений, поддержал мои попытки изменить нашу тактику на переговорах по разоружению. Мы подготовили новый вариант проекта договора о всеобщем и полном разоружении и представили его Громыко. Тот отнесся к нашему проекту неодобрительно. Он доложил этот вопрос Брежневу и другим советским руководителям, но общее мнение в верхах сводилось, как он нам объяснил, к тому, что нет смысла всерьез договариваться о ядерном разоружении, коль скоро в переговорах не принимает участия Китай. В принципе это было верно, однако лишь до известного предела: ведь китайский ядерный потенциал не представлял тогда реальной угрозы миру. Ссылка на Китай была только предлогом.

В мае 1971 года я предложил Громыко такую идею: пусть

Советский Союз начнет добиваться созыва, по возможности в ближайшее время, конференции пяти ядерных держав (Китая, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, СССР), на которой был бы рассмотрен вопрос о ядерном разоружении. Громыко колебался, но полностью эту идею не отклонил; я продолжал на ней настаивать. Дело дошло до того, что я составил проект заявления советского правительства по этому вопросу; Громыко проект понравился, и он доложил о нем на Политбюро.

Дискуссия, развернувшаяся в Политбюро, была короткой, но послужила мне наглядным уроком. Министр обороны Гречко (он не был членом Политбюро, но присутствовал на заседании) хотя и не выдвинул прямых возражений, однако заметил, что едва ли можно ожидать положительного ответа на такое наше заявление как от китайцев, так и от американцев. Ведя какое бы то ни было обсуждение проблем разоружения, добавил он, мы не должны допускать, чтобы наш народ был введен в заблуждение относительно агрессивной природы империализма и грозящей военной опасности. Развивая эту мысль, Гречко перешел к своим обычным тирадам, содержание которых неизменно сводилось к тому, что самая надежная гарантия мира – это наша военная мощь, воплощенная, в частности, в ядерном и вообще стратегическом оружии.

Брежнев откликнулся на эти речи таким замечанием: мы делаем все для того, чтобы наши ядерные стратегические силы оставались на должном уровне, так что обсуждать эту тему просто нет необходимости. Громыко, в свою очередь, подчеркнул, что речь идет не более чем о процедурном предложении, касающемся порядка переговоров по ядерному разоружению, но вообще-то для нас политически выгодно выдвинуть предложение о конференции пяти держав.

В середине июня 1971 года это предложение было передано правительствам США, Китая, Великобритании и Франции через наших послов в соответствующих столицах. Определенное желание участвовать в конференции выразила одна лишь Франция. Китайцы прямо отказались от участия, а США и Великобритания дали уклончивый ответ.

Такого результата, собственно, можно было ожидать, и меня больше удивило другое. Из разговоров с Громыко, с помощниками Брежнева и рядом высокопоставленных военных деятелей и членов ЦК выяснилось, что не только Ми-

нистерство обороны, но и политическое руководство СССР не имело намерения вести серьезные переговоры о ядерном разоружении и не считалось с возможной перспективой реального сокращения вооружений. Напротив, Советский Союз продолжал наращивать стратегический ядерный потенциал. Многие высокопоставленные чиновники смеялись, когда я их спрашивал насчет перспектив разоружения, и, несомненно, считали меня простофилей. Наиболее честные из них откровенно заявляли мне, что, занявшись сокращением своего ядерного арсенала, мы перестанем быть сверхдержавой и утратим возможность эффективно воздействовать на мировые дела. Наше влияние ограничится тогда лишь сопредельными странами. Дискуссия о предполагаемой конференции, развернувшаяся на заседании Политбюро, только подтвердила – правда, косвенно, – что такова позиция всего нашего руководства.

Так рухнули мои надежды на существенный прогресс в направлении разоружения. Одновременно я получил необходимый урок "реальной политики". Конечно, не следует думать, что я до того был вовсе наивным и доверчивым, сталкиваясь с нашей пропагандой или наблюдая политику противопоставления нашей страны всему свету, а в первую очередь – Соединенным Штатам. Просто теперь для меня наступил момент, через который проходит большинство советских чиновников: выяснилось, что свои истинные намерения руководство скрывает даже от нас и что открывшаяся истина вступает в болезненное противоречие с нашим мировоззрением. Насколько я понимаю, в наиболее сильной степени это противоречие дает себя знать именно в советской системе.

* * *

Наши отношения с Китаем продолжали оставаться напряженными. Пекин, как я уже упомянул, прямо отказался участвовать в предполагаемой конференции пяти держав. Как в китайской столице, так и в Москве были еще свежи воспоминания о недавних столкновениях на границе. Самое серьезное из них произошло в 1969 году.

Как-то вечером в начале марта 1969 года Яков Малик и я сидели в его кабинете в Советской миссии в Нью-Йорке. Вошел шифровальщик с кипой последних сообщений из Москвы и подал Малику шифротелеграмму с грифом "очень срочно". Из ее текста следовало, что части китайской армии вторг-

лись на остров Даманский на реке Уссури, по которой проходит советско-китайская граница. Навстречу им был выдвинут отряд советских пограничников, чтобы потребовать их ухода обратно на китайский берег. Однако они открыли огонь, убив и ранив несколько десятков советских солдат. Так выглядел последний — и притом самый серьезный — из серии пограничных инцидентов, то и дело повторявшихся в конце 60-х годов.

Прочтя шифровку, Малик побледнел. Мне не раз приходилось видеть, как он злится, но никогда еще я не наблюдал у него приступов такого бешеного гнева.

— Теперь этим косоглазым ублюдкам дадут такого жару, что им небо с овчинку покажется! — закричал он. — Что они о себе вообразили! Мы там их всех перебьем, этих желтых выродков!

Продолжая бушевать, он награждал китайцев самыми нелестными эпитетами, которыми так богат русский язык и какие только приходили ему на ум в эту минуту.

Мне вскоре представилась возможность поговорить об этом инциденте с дипломатом, компетентным в вопросах советско-китайских отношений. Этим дипломатом был Михаил Капица, выдающийся специалист по Азии, в частности по Китаю. Как раз незадолго до конфликта, разыгравшегося на границе, Капицу назначили заведовать мидовским отделом стран Дальнего Востока. Человек одаренный от природы и глубоко эрудированный, к тому же общительный и веселый, он отличался несколько экстравагантным поведением. Его карьера, несомненно, была бы еще более завидной, если бы не некая предостерегающая отметка в личном деле и не глубокий шрам, пересекающий лицо, — и то и другое он заработал, будучи послом в Пакистане. Дело происходило в 1961 году. Его личный шофер дознался, что жена изменяет ему с послом. Ворвавшись в посольский кабинет, где Капица с изменницей безмятежно расположились на диване, водитель в бешенстве ударил дипломата монтировкой по голове. Он бы, наверное, убил Капицу, если бы того не выручили прибежавшие на шум сотрудники. Инцидент был замят: министерство ценило Капицу и нуждалось в его знаниях. В 1983 году, сделавшись генсеком, Андропов, заинтересованный в улучшении отношений с Китаем, назначил его заместителем министра иностранных дел.

Я спросил Капицу, как могло случиться, что китайцы унич-

тожили на Даманском более трех десятков наших пограничников, и почему мы оказались столь очевидно неподготовленными к немедленному отпору захватчикам.

— Китайцы застали нас врасплох, — отвечал Капица. — Несмотря на всю напряженность наших отношений с Китаем, Политбюро не представляло себе, что там может что-нибудь подобное произойти.

События на Даманском произвели в Москве эффект взорвавшейся бомбы. Политбюро испытывало ужас при мысли, что это может быть началом крупномасштабного вторжения китайцев на те советские территории, на которые Китай предъявлял права. Кошмар возможного вторжения миллионов китайцев просто выводил советских руководителей из душевного равновесия. Несмотря на подавляющее превосходство в вооружении, СССР едва ли легко справился бы с такой массированной атакой. Я с ужасом узнал, что в те дни советское руководство подумывало об использовании против Китая атомного оружия: такой поворот событий с предельной наглядностью свидетельствовал о пропасти, разделяющей наши торжественные обещания не применять ядерных боевых средств и реальную практику, сводящуюся к тому, что мы готовы пустить их в ход, как только сочтем это необходимым.

Коллега по МИДу, присутствовавший на обсуждении этого вопроса в Политбюро, рассказал мне, что министр обороны маршал Гречко энергично отстаивал идею "раз и навсегда покончить с китайской угрозой". Он призывал к неограниченному использованию бомб мощностью в десятки мегатонн. Эти бомбы неминуемо должны были вызвать выпадение значительного количества радиоактивных осадков. Поэтому их применение не только принесло бы гибель миллионам и миллионам китайского населения, но означало бы также угрозу жизни советских граждан на Дальнем Востоке и граждан других стран, граничащих с Китаем.

К счастью, лишь немногие военные разделяли дико воинственную позицию Гречко. В 1970 году мне привелось беседовать с одним из его ближайших коллег — Николаем Огарковым, умным, высокообразованным и самостоятельно мыслящим офицером. Он как раз получил тогда звание маршала, а в дальнейшем его назначили первым заместителем министра обороны и начальником Генерального штаба. Огарков придерживался более реалистичной точки зрения на перспекти-

ву военного столкновения с Китаем. Он считал, что Советский Союз не может "поставить перед китайцами ядерный заслон", так как это неизбежно означало бы мировую войну. Можно было бы, конечно, испытать другой вариант: использовать ограниченное количество атомных бомб в порядке "хирургической операции", ставящей целью пугнуть китайцев и уничтожить их ядерный потенциал. Но, добавлял Огарков, это также слишком рискованно. Парочкой бомб не выведешь из строя такого противника, как Китай; китайцев так много и ими накоплен такой солидный опыт партизанской войны, что нас в любом случае ожидает борьба не на жизнь, а на смерть. Советский Союз втянется в нескончаемую войну, и результат ее будет примерно таким, какой уже испытала на себе Америка, воюя во Вьетнаме, а может быть, и похуже.*

Расхождения по вопросу, подвергнуть ли Китай атомной бомбардировке, поставили Политбюро в тупик. Несколько месяцев советские руководители не могли прийти ни к какому решению. Гречко, отстаивая свою воинственную позицию, исходил из убеждения, что США, в то время относившиеся к Китаю с неприкрытой враждебностью, не станут активно выступать против советской "карательной акции" и вынуждены будут "молча проглотить" ее. Было решено, используя различные каналы, прощупать настроения американского руководства. Министерство иностранных дел, КГБ и военная разведка предприняли зондаж, выясняя возможную реакцию США на советский ядерный удар по Китаю. Советское посольство в Вашингтоне получило распоряжение по возможности тоже позондировать почву в среде американской администрации и политических деятелей среднего ранга.

---

* Было бы неверно считать эту реалистичную позицию Огаркова по данному вопросу свидетельством его принадлежности к "голубям", якобы имеющимся в Кремле. Его преданность идее советского военного превосходства несомненна и беспредельна. Он убежден в необходимости делать все, что только возможно, для еще большего наращивания советской мощи. Более того, его внезапное смещение с поста начальника Генерального штаба (в сентябре 1984 г., с заменой маршалом Ахромеевым) приписывают тому обстоятельству, что Огарков слишком энергично настаивал на увеличении военного бюджета, и Политбюро сочло его требования чрезмерными. (Примеч.автора.)

В докладе, полученном от посла Добрынина, честно указывалось, что США "не отнесутся пассивно к такой атаке на Китай". Доклад содержал вполне определенный вывод: атомный удар по Китаю чреват риском серьезной советско-американской конфронтации.

В общем, Москва махнула рукой на этот план. Главной причиной, почему Политбюро отказалось одобрить нападение на Китай, было, несомненно, опасение энергичной реакции со стороны Соединенных Штатов. Такую позицию США можно было посчитать одним из первых признаков, свидетельствующих, что американцы, возможно, собираются добиваться улучшения отношений с Китаем. Осознание такой вероятности охладило страсти, разгоревшиеся было в Политбюро, и способствовало решению Брежнева остаться на некой промежуточной позиции: не атаковать Китай, а продемонстрировать ему советскую мощь иным путем – разместить вдоль всей границы крупные войсковые контингенты, оснащенные ядерным оружием. Одновременно кремлевское руководство начало предпринимать попытки урегулировать территориальные и прочие проблемы путем дипломатических переговоров с Пекином.

Однако отношения между обеими странами продолжали оставаться очень напряженными, поскольку идеологическая борьба продолжалась и взаимная неприязнь не угасала. Одним словом, обстановка оставалась взрывоопасной. Мрачную атмосферу, сгустившуюся вокруг советско-китайского конфликта, не могли разрядить даже обычные для москвичей шутки и анекдоты. Вот один из них.

Брежнев вызывает Никсона по "горячей линии" и говорит:

– Я слышал, у вас появился новый сверхкомпьютер, предсказывающий будущее вплоть до 2000 года...

– Да, – гордо отвечает Никсон, – есть у нас такой компьютер.

– Нельзя ли мне в таком случае узнать, кто будет входить в наше Политбюро в 2000-м году?

Никсон медлит с ответом.

– Ага! – торжествует Брежнев. – Выходит, и ваш компьютер тоже не на все вопросы может ответить!

– Да нет, – говорит Никсон, – он выдал ответ. Просто я не могу прочесть эти фамилии. Они все сплошь китайские!

Но советскому руководству было не до шуток. Ядерный потенциал Китая неуклонно возрастал, а призрак военного сотрудничества китайцев с Соединенными Штатами тоже не мог не увеличивать беспокойство, испытываемое Кремлем.

* * *

В июле 1972 года Громыко спросил меня, какую новую инициативу следовало бы, по моему мнению, предпринять Советскому Союзу на ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи. Сначала я думал, что он имеет в виду какое-нибудь шаблонное пропагандистское предложение из числа тех, какие он ежегодно включает в текст своей речи в ООН. Но, выражаясь на сей раз с непривычной прямолинейностью, он поручил мне "подработать" такое предложение, которое давало бы нам возможность при случае использовать против Китая ядерное оружие и в то же время не выглядело так, словно мы отказываемся от прежней своей позиции, предполагающей запрещение такого оружия.

Так получилось, что я помог рождению советской инициативы, согласно которой предлагались "отказ от применения силы или угрозы силой в международных отношениях и запрещение навсегда использования ядерного оружия". Слово "навсегда" вставил сам Громыко, чтобы усилить впечатление, что СССР никак не собирается применять ядерное оружие. На первый взгляд, советская инициатива казалась широковещательным подтверждением нашей приверженности делу мира. Однако между строк она скрывала угрозу (относящуюся к Китаю), что в случае нарушения мира СССР может отреагировать, пустив в ход свою ядерную мощь. При поверхностном ознакомлении с текстом получалось, что Советский Союз не отказался поддерживать и впредь идею запрета ядерного оружия. В действительности он оставлял себе такую лазейку: тот, кто не подчинится запрету на применение силы в любой форме, может навлечь на себя кару в виде атомного возмездия.

Вернувшись с осенней сессии ООН в Москву, Громыко оставил меня в Нью-Йорке в составе советской делегации, со специальным поручением проследить за принятием резолюции, содержащей это предложение. Он опасался, что Якову Малику, стоявшему во главе делегации СССР, не хватит гибкости, особенно когда дело коснется "этих вонючих китай-

цев", и тот провалит все задание. Когда Громыко сказал Малику, что за проведение через ООН данного предложения он назначает персонально ответственным Шевченко, Малик с видимым удовлетворением принял это к сведению. Едва Громыко отошел, он с усмешкой сказал мне:

– Ну, Аркадий, держись! Если тебе не удастся внушить Ассамблее, чтобы она приняла наше предложение, ты же первый и получишь по шее.

Малик был прав. Я не только не был в восторге от этого задания, но оно казалось мне попросту противным.

Громыко пригласил нас обоих на окончательный инструктаж, чтобы договориться о тактике, которая позволила бы заручиться большинством голосов на Ассамблее при принятии нашего хитроумного предложения. Он внушал Малику, чтобы тот "запрятал поглубже" свою бьющую в глаза неприязнь к китайцам. Чтобы провести эту резолюцию через ООН, нам необходимы осмотрительность и самообладание.

– Прежде всего, нам нельзя создавать впечатление, что она направлена против Китая, – бубнил Громыко поучающим тоном. – Чтобы не выдать наши действительные цели, мы сознательно ни словом не упоминаем китайцев в преамбуле. Кроме того, – продолжал он, – мы должны соблюдать достоинство. Нам не следует, точно бешеным псам, тявкать в ответ на каждое сказанное ими слово. Это только затруднит полемику и поставит нас в глупое положение.

Малик сидел с кислой миной, будто лимон проглотил. Его физиономия кривилась от напряжения – трудно ему было сдерживаться. Он не смел возражать министру, но в дальнейшем вполне вознаградил себя за это воздержание. Вскоре после отбытия Громыко в Москву Малик злобно обрушился на китайцев на сессии Генеральной Ассамблеи. То же самое повторилось на заседании Совета Безопасности. Китайский посол кратко возражал ему, но это только спровоцировало Малика на новую серию инвектив. Он не мог допустить, чтобы последнее слово осталось не за ним.

Тирады Малика привлекли внимание мировой прессы. Москва срочно затребовала полный текст его выступлений, после чего Громыко направил ему короткую и резкую телеграмму: "Вам была дана специальная инструкция избегать полемических выпадов против китайцев. Выполняйте полученную инструкцию".

Малик, видимо, не учел, что я занимаю должность советника Громыко, или просто забыл, что он не один и дал волю своему раздражению:

– Он дурак, он просто тряпка! – кричал он. – Да он понятия не имеет, как надо обращаться с китайцами. Этих желтых выползков надо прижать как следует. Нельзя им уступать ни в чем!

Но Громыко лучше Малика знал, чего в действительности хочет руководство. Когда Генеральная ассамблея одобрила советское предложение, внеся в него лишь незначительные поправки, он выразил удовлетворение и поздравил нас, заметив при этом:

– Мы добились цели и теперь имеем моральное право использовать ядерное оружие против Китая, если маоисты опять попробуют к нам лезть.

Впрочем, резолюции ООН было нам отнюдь не достаточно. Кремль был жизненно заинтересован в обеспечении невмешательства США, если дело дойдет до войны между СССР и Китаем, а также хотел быть уверен, что в этом случае Америка не станет оказывать Китаю военную помощь.

Эти два взаимосвязанных вопроса не раз становились предметом обсуждения на Политбюро, но наши вожди так и не пришли к единому мнению, как им добиться обеих целей. Они считали, что глупо было бы слишком прямо и в официальном порядке дать понять американцам, что СССР обеспокоен этими проблемами. В то же время было решено, что неблагоразумно вообще избегать обсуждения сложившейся ситуации с американцами. Пришлось избрать некий промежуточный курс. Именно поэтому Брежнев и затронул обе проблемы в беседе с Генри Киссинджером, хотя и сделал это неловко и в неподходящей обстановке.*

В 1973 году, выбравшись на охоту в Завидово, на подмосковную дачу, Брежнев начал там втолковывать Киссинджеру, что ввиду растущего ядерного арсенала Китая "надо что-то предпринимать", но что именно, оставалось неясным. Одновременно Брежнев предостерегал Государственного секретаря Соединенных Штатов – чуть ли не тоном угрозы, – что любая военная помощь, оказываемая американцами Китаю, приве-

---

* Henry Kissinger, Years of Upheaval. "Little, Brown", 1982, p.233.

дет к войне. Но опять-таки он не уточнил, кто с кем будет в таком случае воевать и какого характера будет это столкновение.

Помимо понятной осторожности, существовала еще одна причина, мешавшая Брежневу откровенно обсуждать состояние советско-китайских отношений с американцами. Политбюро постоянно тешило себя надеждой, что в один прекрасный день (только все же, по всей вероятности, не при жизни Мао) отношения между обоими коммунистическими государствами снова могут стать нормальными, даже дружественными. Заветным желанием Кремля было поскорее увидеть Мао в гробу.

По мере того как углублялась трещина, пробежавшая между Советским Союзом и Китаем, Москва считала все более важным укрепление своего "западного фронта" – улучшение отношений с европейскими странами. В конце лета 1970 года Громыко вызвал меня в середине дня и попросил присутствовать на его совещании с Ковалевым и Валентином Фалиным, где должен был обсуждаться пересмотр всей европейской политики СССР. Дело происходило накануне приезда в Москву Вилли Брандта. К этому моменту Фалин уже весьма преуспел в своей деятельности по налаживанию советско-германских отношений; именно его хлопоты сделали возможным этот визит.

Фалин был толковым дипломатом, отличавшимся разумным, логичным подходом к возникавшим проблемам. Человек спокойный и рассудительный, он всегда старался добраться до самой сути любого вопроса и отличался исключительной работоспособностью. Он начал трудовую деятельность подростком, работал токарем на одном из больших московских заводов и одновременно учился в вечерней школе.

Когда я с ним познакомился – это было в конце 50-х, – он уже был одним из советников Громыко и сделался к тому времени широко образованным человеком. Манеры его отличались почти аристократической изысканностью. Громыко очень ценил осведомленность Фалина во всех делах, касающихся Германии, и назначил его заведующим отделом министерства, занимающимся ФРГ и ГДР.

Нормализация и дальнейшее развитие отношений с Бонном представляли собой деликатную проблему ввиду того, что Кремль не доверял ФРГ и постоянно опасался тамошнего

"неонацистского реваншизма". Громыко хотел быть уверенным в том, что позиция, которую он занимает в Политбюро по отношению к планируемому советско-германскому договору, базируется на действительно компетентных оценках, исходящих от его советников, и на их рекомендациях, учитывающих ряд имеющихся щекотливых обстоятельств, – тем более что предстоящий визит Брандта должен был прямо затронуть некоторые деликатные аспекты отношений советского руководства с главой восточногерманской правящей партии Вальтером Ульбрихтом.

Обычно Громыко не снисходил до того, чтобы высказывать собственную точку зрения на поручения политического характера, которые он давал своим подчиненным. Но на встрече, о которой идет речь, он изменил своему правилу и как бы размышлял вслух. Важность обсуждаемых вопросов еще более подчеркивалась его непроизвольной мимикой. Когда он был чем-нибудь озабочен или волновался, его лицо искажалось гримасой, и можно было подумать, что он страдает тиком. Он подергивал носом, а его густые черные брови нервно прыгали вверх и вниз, как у американского комика Гручо Маркса.

– На китайцах мы окончательно поставили крест, так что теперь нам приходится, не откладывая, заключать договор с ФРГ, – говорил Громыко. – Брандт человек толковый, и я думаю, мы с ним договоримся. Это и будет тем рычагом, который позволит отключить Европу от американского влияния.

Далее он сказал, что мы все же не должны доверять Никсону, и хотя переговоры по СОЛТ уже идут, пока еще неясно, удастся ли найти с американцами общий язык. Все мы, участвующие в этом разговоре, знали, что в Политбюро не было единого мнения насчет СОЛТ, и что вообще все соглашения с американцами воспринимались там недоверчиво.

Тем не менее выяснилось, что кое-какие сдвиги уже произошли. Мне довелось прочесть несколько телеграмм, полученных из Вашингтона от Добрынина. Добрынин осторожно давал понять, что Никсон изучает возможность изменения внешней политики США, и не исключено, что он попытается добиться перелома в советско-американских отношениях. Правда, летом 1970 года к таким намекам в Кремле относились скептически. В то время Брежнев и большинство членов Политбюро больше интересовались возможностями, открывающимися в Европе.

О советско-германском соглашении Громыко в первой половине того же года лично вел переговоры со статс-секретарем западногерманского МИДа Эгоном Баром, а затем и с министром иностранных дел ФРГ Вальтером Шеелем. Не без труда Громыко удалось протолкнуть в некоторые важные параграфы соглашения несколько двусмысленных формулировок, и Брандт их принял.

Меня не могло не поразить, как хорошо информирован персонал нашего министерства о происходящем в Бонне, в том числе и о закулисных деталях переговоров, – таких деталях, которые могли просочиться только через чиновников канцелярии западногерманского канцлера. Мне привелось увидеть также несколько телеграмм от резидента КГБ в Бонне, поражавших количеством и качеством содержащейся в них информации. Разумеется, там не упоминались имена информаторов, указывалось только, что сведения получены из "самых надежных источников". Я спросил Фалина, как это нам удается получать такую конфиденциальную информацию. Он таинственно усмехнулся и сказал только:

– Знаете ли, у нас в Западной Германии целая сеть осведомителей.

В дальнейшем я узнал от Владимира Казакова, начальника отдела США Первого политического управления КГБ, что Западная Германия играет особо важную роль в операциях советской разведки. Казаков, а затем и Дмитрий Якушкин, назначенный резидентом КГБ в Вашингтон, говорили мне, что Западная Германия сделалась для нас "дверью на Запад" (это выражение принадлежит Казакову). Имелось в виду, что КГБ без труда насаждал своих агентов на Западе через Берлин. Большую часть этих оперативников составляли советские граждане немецкой национальности или уроженцы прибалтийских республик, прямиком валившие в Западную Германию без всякого дипломатического прикрытия. Условия существующего соглашения о посещении жителями Восточной Германии родственников на Западе – и наоборот – благоприятствовали такой заброске шпионов.

По мере того как наш флирт с Брандтом затягивался, Вальтер Ульбрихт начинал чувствовать себя явно не в своей тарелке. Вопреки распространенному заблуждению, будто "восточные немцы" невзыскательные, послушные союзники, Ульбрихт был упрям и требователен. Он постоянно изводил

нас увещеваниями не делать слишком больших уступок Западной Германии. В мае 1970 года он экстренно прибыл в Москву с визитом, после чего министр иностранных дел ГДР Отто Винцер и его заместитель Петер Флорин регулярно звонили в секретариат Громыко, справляясь о визите Брандта и предстоящем подписании соглашения с ним. Эти постоянные звонки все больше раздражали Громыко, и в конце концов он приказал Макарову "отшить" назойливых. Макаров стал говорить восточным немцам, что Громыко "сейчас нет в Москве". На лице его появлялось выражение предельной скуки и отвращения, когда он отводил трубку подальше от уха, чтобы передохнуть от настойчивого дребезжания мембраны и, наконец, клал ее на рычаг, угрюмо бурча:

– Никак эти проклятые немецкие бульдоги не уймутся! Твердолобые, точно ослы! – Особенно удручала его невозможность отбрить их как следует.

Сразу же после заключения договора между Советским Союзом и ФРГ состоялось подписание четырехстороннего соглашения по Берлину. На нем настоял Брандт, но следует заметить, что оно представляло собой одно из самых двусмысленных межгосударственных соглашений, заключенных в нашем столетии. Западным державам и СССР не удалось достичь согласия даже в отношении его названия.

Переговоры были сложными и болезненными для всех сторон; дело усугублялось тем обстоятельством, что во главе советской делегации был поставлен наш посол в Восточной Германии Петр Абрасимов. Человек подчеркнуто самоуверенный, он часто не желал прислушиваться к советам своих помощников и постоянно игнорировал указания начальства, еще более запутывая и без того сложные проблемы, допуская в ходе переговоров прямые ошибки и то и дело уходя от обсуждаемых вопросов. В конце концов, ко всеобщему облегчению, он получил из Москвы нагоняй, был таким образом укрощен, и в 1971 году соглашение было подписано.

Громыко, да и другие часто высказывались в том смысле, что хотя Федеративная Республика принадлежит к западу Европы, ее геополитические интересы должны постепенно подталкивать ее в направлении нейтралитета и, вероятно, скорее в сторону сближения с Советским Союзом, чем с Соединенными Штатами. Эта точка зрения основывалась на предположении, что наши пропаганда и шантаж до такой степени возбу-

дят в ФРГ пацифистские чувства, что страх перед атомной войной затмит все прочие соображения. Советская политика как раз и состояла в том, чтобы побудить Бонн думать, будто устранить этот страх может только дружба с Советским Союзом, а не с Соединенными Штатами. Мы должны были постоянно вдалбливать это немцам, параллельно без конца напоминая, что Россия всегда была естественным и традиционным торговым партнером Германии. И, наконец, уже более жестким тоном следовало приводить такой довод: воссоединение Германии — или, по крайней мере, расширение сегодняшних контактов между обеими ее частями — тоже зависит от Москвы, а не от Вашингтона.

* * *

В связи с тем, что я работал в ООН, Громыко считал меня как бы специалистом по Ближнему Востоку. Он требовал, чтобы я следил за происходящими там событиями и был в курсе деятельности сотрудников министерства, занимающихся этим регионом. Наибольший интерес представляли для меня суждения одного из видных сотрудников нашего ближневосточного отдела, основанные на многолетнем наблюдении за развитием событий в этом районе. Он делился со мной — особенно в первые месяцы после смерти Насера (сентябрь 1970) — многими фактами, свидетельствующими о коварной и непоследовательной природе нашего флирта с арабским миром.

Хотя Насер часто бывал в Советском Союзе, не раз проходил здесь медицинские обследования и подвергался лечению, роковой сердечный приступ, оборвавший его жизнь, оказался для Москвы почти такой же неожиданностью, как для миллионов египтян и всего арабского мира. Впереди маячили серьезные осложнения в советско-египетских отношениях, которые во многом основывались на личных связях с Насером. Кремлю не удалось приобрести прочного и столь необходимого ему влияния в политических, военных и общественных кругах Египта. Ни КГБ, ни КПСС не создали сколько-нибудь надежной просоветской опоры за пределами ближнего окружения Насера.

Мой информатор не ошибся в своем долгосрочном прогнозе будущего Египта, однако, как выяснилось впоследствии, был неправ в отношении лично Анвара Садата, считая его

"американской марионеткой" и утверждая, что он всего лишь "промежуточная фигура". Приписывая Садату прозападные убеждения, советские эксперты одновременно считали его человеком слабым, нерешительным, пристрастившимся, по слухам, к наркотикам, и полагали, что рано или поздно он уступит руководство другому приближенному Насера, влиятельному Али Сабри. Последнего Москва совершенно определенно прочила на место Насера, но уже к концу года Садат, по всем признакам, укрепил свое положение, и наши аналитики из отдела Ближнего Востока не могли скрыть беспокойства.

– Дело плохо, – говорил мне один из них в начале 1971 года, – Садат оказался порядочным прохвостом.

Москву сердило, что египтяне затягивали подписание долгожданного договора о дружбе, которым мы надеялись опутать эту страну.

В самом конце зимы мы пошли как-то пообедать с одним из ведущих сотрудников ближневосточного отдела в ресторан "Прага", неподалеку от министерства. Сидя за столиком, мой собеседник высказался еще более энергично:

– Наше терпение готово лопнуть!

"Прага" – первоклассный ресторан, но работники министерства обычно старались уединяться для откровенных бесед где-нибудь в другом месте: все знали, что многие официанты "Праги" были по совместительству стукачами, содержавшимися КГБ. Однако на этот раз мой приятель был слишком взволнован и не мог сдержаться.

– У руководства начало складываться убеждение, – доверительно делился он со мной, – что с Садатом нам пора покончить. Сложность тут в том только, что у нас нет на примете по-настоящему сильной фигуры, которую бы можно было поставить на его место. Есть, правда, несколько вариантов...

Я сделал вид, что поражен услышанным.

– А что, они на самом деле что-то готовят? Как тебе удалось это разузнать?

– Да нет, мне-то многое тут еще неясно, – признался мой собеседник. – Но у меня есть некоторые связи в КГБ. Там уже дело дошло до того, что разработан в общих чертах план насчет Садата, – как его ликвидировать. Конечно, они будут действовать чужими руками. У них уже есть на примете люди, готовые на это пойти.

— Но это же черт знает что! — не смог я сдержаться.

— В общем решено что-то предпринять, — гнул он свое. — Другого выхода нет, но, ясное дело, все должно быть сработано очень чисто.

Я решил, что не стану делиться услышанным с Громыко. Может быть, мой коллега что-то не так понял. Кроме того, если даже план убийства Садата и существует, похоже, он еще не вполне доработан. Надо полагать, гебисты, поделившиеся информацией с моим приятелем, просто хотели похвастаться, что они в состоянии это организовать; но вряд ли им уже разрешено действовать. Идти к министру иностранных дел с протестом против политического решения, которое уже принято, — дело безнадежное; с другой стороны, если выяснится, что это всего-навсего безответственная болтовня, — мы оба — и я и он, — окажемся в глупом положении.

Так что я решил помалкивать, — хотя и другой мой приятель, работавший в аппарате ЦК, тоже говорил мне, что Садата "так или иначе" придется убрать. Вскоре у нас действительно не осталось выбора: Садат предпринял решительные действия против оппозиции внутри страны. В мае 1971 года он лишил Али Сабри поста вице-президента, а затем приказал арестовать его и еще шестерых министров, видимо готовясь предъявить им обвинение в государственной измене.

* * *

Несколько раз Громыко посылал меня за границу как своего представителя. Особенно тяжелое впечатление осталось у меня от дипломатического вояжа в Африку, состоявшегося в 1971 году. Мне было поручено разобраться в жалобах, поступающих от руководителей некоторых африканских стран и от тамошних советских представителей. Министр иностранных дел Нигерии был обижен советским отказом поставить вовремя крупную партию цемента. В Гвинее я тоже застал подобную обескураживающую картину, и мне пришлось задержаться в этой стране на несколько дней, чтобы провести переговоры по ряду щекотливых вопросов. Советские самолеты стояли тут без дела: некому было обслуживать их, не было запасных частей. Грандиозные строительные проекты, финансируемые за счет советских займов, оказались полузаброшенными из-за отсутствия обещанных стройматериалов. Большой складской двор в двух шагах от главной ма-

гистрали гвинейской столицы выглядел как кладбище керамических изделий: он был весь загроможден раковинами и унитазами, поставленными Советским Союзом для какого-то из спроектированных, но так и не достроенных зданий. Советские дипломаты, аккредитованные в Конакри, жаловались, что продовольствие, которым должно снабжаться посольство, поступает из СССР очень нерегулярно или не поступает вовсе. Им приходилось покупать продукты у завхоза югославского представительства.

Впечатления, вынесенные из этой поездки, заставили меня относиться с серьезным недоверием к принципам нашей политики в Африке. Постоянные экономические неурядицы и бюрократическая неразбериха, характерные для нашего государства, не соответствовали растущим амбициям нашей агрессивной дипломатии в африканских странах. Вместо того чтобы приобретать там друзей, мы во многих случаях утрачивали доверие этих стран.

Напротив, у Соединенных Штатов были все возможности противодействовать советской экспансии в "третьем мире". Но внешней политике США были присущи инертность и нерешительность. Американцам свойственны какое-то упрощенное представление о чужих проблемах и недостаточное понимание трудностей, с которыми сталкивается "третий мир". Похоже, им даже не приходит в голову, что многие из этих стран, вначале ориентировавшихся на Москву, вовсе не стремились следовать советскому образцу. Слабая экономика Советского Союза объективно удерживает его от ряда таких начинаний во внешней политике, которые вполне по плечу экономически более сильному Западу. Та экономическая приманка, какую Советы в состоянии предложить другим странам в попытках привлечь их на свою сторону, не настолько соблазнительна, чтобы дать надежный результат.

Можно сколько угодно клеймить "измену" Египта и некоторых других стран как образец циничного и оппортунистского поведения, но по существу приходится признать, что позиция этих стран, вначале получавших помощь от Советов – главным образом, оружием, – а затем обратившихся к Западу за экономической помощью, продиктована непреложной логикой жизни. Великое преимущество Запада состоит в том, что в мирное время долгосрочная экономическая помощь всегда будет приносить большие дивиденды, нежели

военная помощь. Суммарный валовой продукт свободного мира намного превосходит объем производства в социалистических странах, и экономическое оружие представляет собой именно то эффективное средство, которое должно быть использовано для подрыва советского влияния в "третьем мире".

В 1971 году меня направили также на консультативное совешание с министрами иностранных дел Болгарии, Венгрии и Румынии, созванное для согласования объединенных действий социалистических стран по заключению договора о ликвидации запасов химического и биологического оружия. Советский Союз неизменно выставлял себя главным инициатором уничтожения этих чудовищных средств ведения войны. В действительности он постоянно расширял и совершенствовал собственную программу производства современного химического и биологического оружия.

Отрасль военной промышленности, ответственная за все это гнусное хозяйство, находилась в ведении одного из крупнейших управлений в составе Министерства обороны. Военные были категорически против какого бы то ни было международного контроля или инспекции. Я не раз спрашивал многих причастных к этой отрасли деятелей, почему они относятся так непримиримо к идее контроля. Они в один голос отвечали: всякий контроль исключается, потому что он выявил бы действительные масштабы производства химического и биологического оружия в СССР и советскую готовность при необходимости пустить его в ход. Несомненно, Советский Союз куда лучше подготовлен к войне с использованием этих средств, чем Соединенные Штаты.

В то время как военные решительно выступали против каких бы то ни было соглашений, касающихся химического или биологического оружия, политическое руководство, и в частности Громыко, из пропагандистских соображений считали необходимым откликнуться на предложение Великобритании о заключении отдельной конвенции, запрещающей для начала биологическое оружие. Впрочем, и военное ведомство отозвалось на эту идею так: ладно, пусть будет конвенция; при отсутствии международного контроля кто сможет дознаться, что мы ее не соблюдаем? Военные отказывались даже обсуждать вопрос о сокращении накопленных запасов биологического оружия и настаивали на его дальнейшем со-

вершенствовании. Политбюро с этим согласилось. В 1972 году была подписана беззубая конвенция по биологическому оружию, но поскольку она не предусматривала международного контроля, советская программа совершенствования этого оружия продолжала успешно развиваться.

* * *

Должность советника Громыко дала мне лично то преимущество, что я теперь входил в советскую номенклатуру, то есть числился в перечне лиц, занимавших особо важные посты во всех частях советской системы — в партии, правительственной администрации и различных ведомствах. Назначение на эти посты производится непосредственно высшим партийным руководством — Политбюро или секретариатом ЦК, или, во всяком случае, утверждается этими инстанциями. Номенклатура представляет собой кастовую систему, соблюдаемую исключительно в пределах советской элиты. Последняя разбита на ряд уровней; от принадлежности к тому или иному уровню зависит объем причитающихся привилегий. Члены Политбюро пользуются неограниченными привилегиями. Но уже со следующей ступеньки начинает действовать табель о рангах. ЦК устанавливает и уточняет место каждого, получающего право быть отнесенным к номенклатуре, куда входят партийные аппаратчики, министры и прочие персоны, назначаемые на более или менее важные посты. Рабочие, крестьяне, инженеры, юристы, врачи, завмаги, секретари и т.п. остаются за пределами этой системы со всеми ее преимуществами.

Не в пример простым смертным, советская элита пользуется исключительными и разнообразными прерогативами. К ним относятся: высокие заработки, хорошие квартиры, дачи, персональные машины с личным шофером, специальные железнодорожные вагоны и купе, специальное обслуживание в аэропортах, на курортах, в больницах и т.д., недоступное всем прочим, специальные школы для детей, доступ в "закрытые" магазины, где продукты и промтовары имеются в изобилии и отпускаются по сниженным ценам.

Эти люди живут словно в разреженной среде, соблюдая дистанцию между собой и народом; при желании войти в контакт с "простыми людьми" им приходится как бы спускаться с высот, на которых они обитают. Высший слой номен-

клатуры фактически отделен от большинства населения психологическим барьером, непроницаемым, точно китайская стена. Номенклатура образует поистине государство в государстве. Фактически любая информация об этом слое советского общества составляет сегодня государственную тайну. Ни собственный народ, ни остальной мир вообще не должны ничего знать о нем.

Между тем общее число принадлежащих к номенклатуре не так уж мало. Она насчитывает тысячи и тысячи работников всех рангов, распределенных по всей территории Советского Союза и составляющих опору существующего режима, его управленческой и общественной структуры. Именно этот аппарат никому не позволит преобразовывать сложившийся в СССР строй или менять советскую внешнюю или внутреннюю политику настолько, чтобы это могло отразиться на привилегиях номенклатуры. Немалая ирония судьбы заключается в том, что эта закоснелая элита управляет государством, подталкивающим другие страны к революционным переменам, которые должны лишить власть имущих всех привилегий в пользу пролетариата.

Мне приходилось много слышать о нашей номенклатуре еще до того, как моя семья и я сам оказались в числе этих избранных. Сделавшись частицей этого слоя, мы вначале не могли надивиться той роскоши и тем особым привилегиям, которыми отныне могли располагать. Однако вскоре все это изобилие и почтительное восхищение нижестоящих мы стали воспринимать как должное и, более того, как причитающееся нам чуть ли не по праву рождения.

18

Моя работа в качестве советника Громыко заставила меня вступить в непосредственный контакт с Политбюро и рядом влиятельных членов ЦК. Напоминая царского двуглавого орла, эти две инстанции представляют собой как бы две головы на общем теле, которое называется партаппаратом, и образуют советский механизм реальной власти, причем последнее слово принадлежит Политбюро.

С давних времен символом советской власти является Кремль. Изображения этого комплекса зданий, обнесенного стеной, знакомы во многих странах мира даже школьникам.

Стены из красного кирпича, защищающие сердце советской системы, символизируют также недосягаемо высокое положение тех, кто формирует политику там, внутри. Самые осведомленные западные политики и разведывательные службы могут только строить догадки насчет того, что там происходит.

Советские руководители имеют возможность скрывать свои внутриполитические акции главным образом благодаря чрезвычайной концентрации власти, сосредоточенной в руках приблизительно десятка деятелей, составляющих "верхушку" и поддерживаемых наиболее влиятельными региональными партийными функционерами. Их не контролируют никакие демократические институции западного типа, и они не допускают какой бы то ни было оппозиции, всегда помня указание Ленина, гласящее: организованная оппозиция режиму может означать для него смертельную угрозу. Большевистская партия, в то время небольшая по численности (менее 240 тысяч человек), оказалась в состоянии захватить власть благодаря использованию популярных в народе лозунгов, сплоченной организации и жесткой дисциплине в своих рядах. На единственных в истории России свободных выборах, проведенных всего за месяц до Октябрьской революции 1917 года, 75 процентов населения голосовало против кандидатов большевистской партии, а вскоре после революции, в начале 1918 года, Ленин разогнал Учредительное собрание, избранное демократическим путем.

Еще одной существенной основой функционирования кремлевской верхушки является абсолютная секретность. Согласно распространенной шутке, большевики ушли в подполье в конце прошлого столетия и так и остались там, – даже захватив власть. В этой старой шутке есть немалая доля правды.

Людям свободного мира, привыкшим к плюралистической системе, трудно представить себе, как это Верховный Совет СССР, согласно Конституции – "высший орган государственной власти", и Совет министров, вроде бы "высший исполнительный и административный орган", подчиняются всестороннему и постоянному контролю Политбюро. На выборах в Верховный Совет никогда не потерпел поражения ни один кандидат, предложенный партией, и за все время существования Верховного совета никто из его депутатов ни разу не

голосовал против того или иного законопроекта, представленного к ратификации правительством – или, точнее, Политбюро, – и даже не смел хотя бы воздержаться при голосовании.

Внутри Политбюро сложилось некое ядро особо влиятельных его членов, которое может быть названо "Политбюро в Политбюро". Оно состоит в основном из руководящих деятелей, постоянно живущих в Москве. Члены Политбюро, представляющие другие области и отдельные республики СССР, играют менее важную роль и часто оказываются даже не в курсе того, как в сущности было выработано то или иное решение, относящееся к внутренней или внешней политике. Это объясняется рядом причин.

Члены Политбюро, живущие вне Москвы, не принимают участия в еженедельных (по четвергам) заседаниях этого органа. В дополнение к этим регулярным заседаниям созываются еще чрезвычайные. Как-то я спросил Василия Макарова, где бы мне получить материалы обсуждений, ведущихся на Политбюро. На это он ответил мне, что стенографическая запись хода заседаний не ведется. Иногда, впрочем, частично записываются возникающие здесь дискуссии, и, разумеется, в архивах ЦК хранятся полные тексты всех принимаемых решений. Решения Политбюро доводятся до всех инстанций и лиц, назначенных ответственными за их выполнение.

Те, кому предстоит их выполнять, могут задерживать у себя эти документы на срок не более месяца, после чего их требуется вернуть в ЦК. Никто не имеет права снимать для себя какие бы то ни было копии этих решений, но при необходимости может запросить их у ЦК вторично, на несколько дней.

Ввиду такого громоздкого порядка и отсутствия стенограмм заседаний члены Политбюро, не присутствующие всякий раз на его заседаниях, часто бывают не в курсе многих нюансов или ситуаций, относящихся ко многим из принятых решений. Кроме того, Политбюро не руководствуется какими-либо обязательными процедурными правилами. Его работа направляется главным образом Генеральным секретарем ЦК партии, а в более широком смысле – определяется сложившимися традициями.

Члены Политбюро, не живущие постоянно в Москве, не получают (а если и получают, то со значительным опозданием) информацию, доступную их коллегам-москвичам. В част-

ности, они обычно не знакомы с шифротелеграммами, поступающими от послов СССР в основных зарубежных странах. Еще более ущербен , по-видимому, тот факт, что они не участвуют в неофициальных, но важных беседах по ключевым или особо деликатным вопросам.

Эти закулисные обсуждения, сопровождаемые конфиденциальным обменом мнениями с глазу на глаз, в высшей степени характерны для советского образа жизни и идут в Москве почти беспрерывно. Таким образом, отсутствующим приходится узнавать, что именно фактически обсуждалось или чьи позиции сегодня наиболее сильны, как правило, из вторых рук. Занимая место за длинным столом заседаний в Кремле или здании ЦК, где обычно собирается Политбюро, они зачастую сталкиваются с уже сложившимися мнениями по вопросам, выносимым на обсуждение. Эти мнения отражают точку зрения наиболее влиятельных членов Политбюро.

Никто из членов Политбюро, живущих вне Москвы, не имеет шансов быть избранным генеральным секретарем ЦК партии. Мне не раз приходилось слышать, как эти "периферийные" члены Политбюро – в частности, Владимир Щербицкий, секретарь ЦК компартии Украины – жаловались на такое неравноправие.

Глава партии – Генеральный секретарь ЦК – является верховным руководителем государства. Его выбирают на закрытом заседании Политбюро, после чего это избрание утверждается пленумом ЦК, носящим уже формальный характер. Отсутствие какой бы то ни было нормальной, демократической процедуры, определяющей порядок наследования партийного руководства, привело к абсурдной ситуации: советское государство существует 67 лет, и из них на протяжении 22-х лет верховными руководителями страны были смертельно больные, даже частично парализованные, не способные управлять государством люди, – тем не менее их не отстраняли от этой должности.

Начиная с хрущевских времен Политбюро заседает неукоснительно раз в неделю, на протяжении всего года. Если Генерального секретаря нет в Москве – скажем, он находится на отдыхе или пребывает с государственным визитом за границей, – заседание ведет член Политбюро старший по стажу работы в нем. Став Генеральным секретарем, Андропов установил в качестве дня заседаний пятницу, но затем Черненко вернулся к традиционному четвергу.

Повестка дня обычного заседания Политбюро чрезвычайно насыщена. Она включает, как правило, 30-40 и более вопросов, крайне неодинаковых по значению – от неотложных проблем особой важности до сущих мелочей. Попросив как-то старшего делопроизводителя нашего министерства показать мне папку дел, направляемых на утверждение Политбюро, я обнаружил, что к очередному его заседанию подготовлен целый ряд неравнозначных вопросов. В других министерствах, в КГБ и разных секторах управленческого аппарата тоже набирается соответствующее число вопросов, подлежащих рассмотрению на Политбюро, и остается лишь гадать, какую часть из них там действительно удается рассмотреть по существу. Однако растущая нагрузка Политбюро до сих пор не привела к передаче менее важных дел в ведение нижестоящих инстанций. Ни Андропов, ни Черненко стиль работы Политбюро не меняли.

На этом самом высоком уровне приходится порой заниматься на удивление мелкими вопросами. В частности, немало времени занимает у Политбюро утверждение перечней советских граждан и организаций, которых предполагается наградить теми или иными премиями или знаками отличия, – начиная от самых незначительных и кончая престижной Ленинской премией. Или такой пример: проект многоквартирного дома советских служащих в Нью-Йорке тоже не раз обсуждался на Политбюро.

Нежелание отказаться от контроля над такими незначительными делами вызвано не опасением, что нижестоящие инстанции решат их неправильно, а более существенной причиной: кремлевская верхушка по-настоящему боится, как бы тот или иной политический деятель либо хозяйственник не почувствовал себя слишком самостоятельным, не превратился в автономную силу, неподконтрольную партийному руководству. "Вожди" понимают, что экономика государства сделалась настолько сложной, что управление ею из единого центра стало уже нерациональным и неэффективным. Но множество социальных, политических и экономических ограничений удерживает общество от каких бы то ни было радикальных реформ, ставящих целью заменить устаревшую модель более современной. Допускаются в лучшем случае незначительные, строго дозированные изменения. Как бы ни ветшала советская система, не приходится ожидать, что Советский Со-

юз перешагнет границу, отделяющую его от децентрализованного хозяйства, от свободного рынка. Это означало бы подрыв основ советской власти, нечто такое, что неприемлемо для партии и государственной олигархии. Система свободного рынка означала бы не только, что правящая верхушка утратит контроль за развитием событий, но, что хуже всего, большинство функций нынешнего бюрократического аппарата окажутся ненужными.

Перегрузка повестки дня заседаний Политбюро обусловлена также традиционным принципом системы принятия решений, именуемым "перестраховкой" или, в чисто политическом плане, "коллективной ответственностью". Это нечто противоположное принципу единоначалия. "Коллективная ответственность", представляющая собой первейшую основу "техники безопасности" в любой бюрократической среде, сделалась в СССР главной заповедью руководителей любого уровня, как партийных, так и хозяйственных.

Мысль о том, как защититься от "неприятностей", от всего того, что может привести к снятию с занимаемой должности, – доминантна как для крупных, так и для мелких чиновников. Этого больше всего боятся высокопоставленные персоны. Одобрение или порицание, выраженное Политбюро, определяет все – ибо Политбюро, как считается, ошибиться не может.

Нынешнее советское руководство все еще борется с призраками Сталина и Хрущева. Чтобы сохранить за собой власть, руководители считают необходимым распределить ее между несколькими лицами; чтобы укрепить "коллективное руководство", приходится ограничивать права каждого из его членов.

Когда кто-нибудь из их числа пытается (безуспешно) формировать наступление каких бы то ни было перемен (так поступил в начале 1975 года амбициозный Александр Шелепин), его выталкивают из этого узкого круга в бюрократическое небытие – на какую-нибудь незначительную административную должность. Если наступает время отказаться от той или иной политики, иногда приходится искать – и находить – козла отпущения среди самых видных людей. Вследствие провалов на "сельскохозяйственном фронте" в середине 70-х годов Дмитрию Полянскому пришлось расстаться с креслом члена Политбюро и заведующего сельскохозяйственным от-

делом ЦК и отправиться в почетную ссылку – послом в Японию.

Впрочем, такие крайние меры – не в правилах нынешней советской верхушки. На всех этажах иерархии чиновники окопались прочно, рассчитывая просидеть так до скончания века. С октября 1964 года, когда был удален Хрущев, наблюдались индивидуальные случаи вывода из Политбюро и вообще из верхних эшелонов власти, но не производилось массовых чисток, вроде той, какая постигла "антипартийную группу" во главе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем, замышлявшими в 1957 году антихрущевский переворот, однако проигравших. К упомянутым "индивидуальным случаям" относится падение Шелепина, Полянского и украинского руководителя Петра Шелеста, который в 1972 году позволил себе усомниться в целесообразности решения Брежнева принять в Москве Никсона, а вдобавок допускал на Украине проявления национализма в более значительном масштабе, чем разрешалось Кремлем.

Отстранение в 1977 году Николая Подгорного, игравшего формальную роль главы государства (эту роль хотел играть сам Брежнев), отражает медлительность, характерную для действий советских правителей. Непопулярность Подгорного в партии выяснилась еще в 1971 году: при голосовании за список официального руководства, предложенный XXIУ съезду партии, из приблизительно 14000 голосовавших против кандидатуры Подгорного высказалось почти 270 – по советским понятиям, весьма значительный процент.

Но так или иначе, руководящие деятели увольняются в отставку в индивидуальном порядке и без скандала. В условиях коллективного руководства утрата одного или нескольких членов руководящего органа не отражается на функционировании органа как такового. Стремясь избежать осложнений в собственной среде, высшие советские руководители прилагают максимум усилий, чтобы исключить из любого критичного материала все спорные моменты еще до того, как этот материал поступит на обсуждение или апробацию Политбюро.

Тем не менее часто случается, что заседание Политбюро заканчивается, оставив ряд пунктов повестки дня вообще незатронутыми. Эти вопросы (а также срочные проблемы, возникающие в промежутке между еженедельными заседаниями

и требующие немедленного рассмотрения) решаются "опросным порядком": запрашивается мнение по ним каждого из членов Политбюро, пребывающих в Москве; все остальные, как правило, игнорируются. Делается это так: курьеры ЦК привозят бумаги к членам Политбюро и ждут, пока те ознакомятся с документами и письменно выразят на полях свое одобрение или свои соображения. Поскольку большинство членов Политбюро постоянно находится в Москве, такой порядок обеспечивает соблюдение принципа "коллективной ответственности". Члены Политбюро, пребывающие на периферии, ставятся в известность о последовавших решениях задним числом.

Иногда на заседаниях Политбюро разворачивается затяжное обсуждение проблем принципиального характера. В бытность мою советником Громыко в результате таких дискуссий был принят ряд решений, по сей день остающихся сугубо секретными. Так, в августе 1970 года, когда в Москве находился Вилли Брандт, прибывший сюда в связи с подписанием советско-западногерманского договора, Политбюро после длительных дебатов пришло к решению, что переговоры о воссоединении Германии могут иметь место лишь в том случае, если Западная Германия выйдет из НАТО и сделается "социалистическим государством" в советском понимании.

В ряде важных внешнеполитических акций явственно прослеживается типичное для кремлевского руководства двуличие. Так, например, вскоре после того как шведский премьер-министр Улоф Пальме посетил Москву (1970) и получил здесь заверения, что Советский Союз намерен расширять дружественное сотрудничество с его страной, Политбюро одобрило план засылки в территориальные воды Швеции и Норвегии подводных лодок для обследования прибрежных районов обоих государств. Весной 1972 года на заседании Политбюро было решено подписать конвенцию о ликвидации биологического оружия. Но генерал Алексей Грызлов говорил мне, что министр обороны Гречко дал военным указание не свертывать программу дальнейшего производства такого оружия. Невозможно допустить, чтобы это распоряжение было отдано без ведома Политбюро.

Люди, не имеющие представления о работе Политбюро – как на Западе, так и в Советском Союзе, – нередко воображают себе этот орган как средоточие постоянных интриг и

время от времени вспыхивающих бурных конфликтов; мне же работа Политбюро показалась , пожалуй, безмятежной. Конечно, плетутся здесь интриги, но они скорее всего связаны с притязаниями того или иного члена Политбюро на более значительное личное влияние и не затрагивают ни основной политической линии, ни целей государственной политики. Разумеется, поскольку внутри Политбюро идет известная борьба авторитетов, эти соперничающие между собой деятели занимают по отдельным вопросам такую позицию, чтобы заручиться поддержкой возможно большего числа сторонников. Однако когда эта цель оказывается достигнутой и желательное перераспределение сил установлено, упомянутые позиции с такой же легкостью забываются, и все продолжает идти своим чередом.

В Политбюро царит единодушие по двум главным вопросам: все его члены осознают необходимость дальнейшего укрепления власти партии и элитарного слоя государства и стремятся лично остаться в числе непогрешимых и непременных хозяев положения в условиях "закрытого общества".

Политические деятели и кремленологи на Западе нередко пытаются решить, кто же в Советском Союзе относится к "голубям" и кто – к "ястребам". Считается само собой разумеющимся, что в советской верхушке имеется группа миролюбивых людей, амбиции которых не простираются за пределы территории СССР, которые готовы умерить подрывную деятельность промосковских коммунистических движений в разных точках земного шара. Если Запад ведет себя так, что это укрепляет позиции указанной группы, то, дескать, их взгляды могут одержать верх в Политбюро, и Советский Союз начнет придерживаться менее агрессивного курса.

Но расхождения и споры в среде советских руководителей не могут быть охарактеризованы с помощью этих примитивных ярлыков: те, мол, "ястребы", а вон те – "голуби", одни – "сторонники жесткой политики", другие – "умеренные". В советском обществе невозможно подняться на вершину власти, не обладая обостренным чувством политического реализма или не исповедуя твердой убежденности в правоте советской системы. Коль скоро этим людям приходится работать рука об руку – даже в тех случаях, когда они стремятся утвердить свой авторитет за счет остальных или ослабить позиции соперника, их поведение определяется комплексом идеологических и прагматических мотивов. Басня о "голу-

бях" и "ястребах" состряпана советской службой пропаганды и внешней дезинформации специально в расчете на западную ментальность.

Естественно, в верхнем эшелоне руководства встречаются элементы, более склонные к непосредственному использованию силы (к ним относятся некоторые из ортодоксов в ЦК и в военном ведомстве), в то время как другие предпочитают чисто политические меры (я имею в виду ряд сотрудников МИДа и экономического сектора руководства). Но это скорее различие чисто тактического характера. Все советские руководители агрессивны, все они "ястребы" с точки зрения конечных целей их политики. Все, кто стоял в СССР у власти, начиная от Ленина и кончая Черненко, — все они скроены по одной мерке.

Для защиты системы от внутренних и внешних врагов партия пользуется набором хорошо отработанных пропагандистских приемов. Воздействие лозунговых кампаний, с помощью которых в ленинский актив вербовались рабочие и солдаты, не прошло бесследно для тех, кто унаследовал власть в СССР. Гигантская пропагандистская машина сделалась краеугольным камнем советского режима, и каждый гражданин этой страны с младенческого возраста до самой смерти получает ежедневную дозу идеологического гипноза. Правда, рано или поздно многие осознают, чего стоит эта пропаганда. Нарастает возмущение постоянной ложью, которая исходит от правительства, несоответствием между лозунгами и действительностью.

Но идеологическая обработка проводится очень хитроумно, и миллионы людей в основном продолжают придерживаться понятий, которые им внушили. Это относится в первую очередь к внешней политике и к условиям, существующим в капиталистических странах. Возникает нечто вроде условного рефлекса. Более девяти десятых советского населения ни разу в жизни не выезжали никуда из своей страны и не имеют (или почти не имеют) доступа к объективной информации. Обычная методика казенных пропагандистов представляет собой практическое использование павловской теории условных рефлексов — неослабевающее воздействие песен, речей, газет, книг, телевидения, кинофильмов, театральных постановок, изобразительного искусства, поэзии и т.д., сочетаемое с позитивными стимулами в виде вознаграждения материаль-

ного порядка для избранных групп населения, вызывает требующуюся властям реакцию подчинения системе. А для непокорных и смутьянов у государства имеются в распоряжении менее приятные вещи: запугивание, травля, тюрьмы и лагеря, а то и кое-что похуже.

* * *

К началу 70-х годов Леонид Брежнев укрепил свои руководящие позиции в Политбюро и сделался бесспорным фактическим главой государства. Но, в отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев вынужден был отводить Политбюро значительно более важную роль в процессе управления страной. В этом смысле он был "слабее" своих предшественников. Тем не менее от него как от генсека зависели, в сущности, как содержание, так и пределы власти Политбюро. Действуя с обычной для себя осмотрительностью, он постепенно вывел из него тех, кто мог бы попытаться оказать сопротивление либо помешать в проведении угодной ему внутренней или внешней политики. Этих членов Политбюро заменили брежневские ставленники: Андрей Громыко – министр иностранных дел, Андрей Гречко, который сделался при Брежневе министром обороны, Константин Черненко, ставший секретарем ЦК, Юрий Андропов – председатель КГБ, Дмитрий Устинов, сменивший Гречко на посту министра обороны; Николай Тихонов, получивший пост председателя Совета министров вместо Косыгина.

Эти люди поддерживали Брежнева в вопросах как внутренней, так и внешней политики. Более того, Брежнев создал непосредственные рычаги воздействия, пользуясь которыми, его ближайшие помощники манипулировали деятельностью ЦК и различными министерствами. В этом немалую роль сыграл секретариат Брежнева, который возглавил его давний приспешник Георгий Цуканов и которому были подчинены в числе прочих Андрей Александров-Агентов и Анатолий Блатов.

Александров-Агентов и Блатов откровенно рассказывали мне, что они часто "подкидывают" Брежневу те или иные идеи, не советуясь ни с Громыко (хотя Брежнев любил консультироваться с Громыко в частном порядке), ни с отделами ЦК, и что в ряде случаев он прислушался к их предложениям. Вообще личный секретариат оказывал Брежневу неоценимую помощь, когда тот силился расширить пределы своей

власти; именно этот секретариат давал ему возможность действовать как главе государства, порой, не ставя Полибюро в известность даже о весьма существенных мероприятиях, — например, при поездках Брежнева за границу или при подготовке важных политических выступлений.

На протяжении тех трех лет, когда я работал советником Громыко, вероятным наследником Брежнева считался Андрей Кириленко. Впрочем, неважное здоровье и, кроме того, наметившееся возвышение Черненко и Андропова вскоре сделали его "неконкурентоспособным". Хочу в связи с этим отметить, что длительное отсутствие "на людях" того или иного члена Политбюро не обязательно означает опалу и не является признаком скорого падения, как часто думают на Западе. Эти загадочные исчезновения вызываются главным образом бюрократическими требованиями. После того как в начале 70-х годов Громыко на заседании Политбюро стало дурно, было принято решение, что члены Политбюро должны в обязательном порядке отдыхать по месяцу два раза в год.

Бумаги, поступающие в Политбюро и исходящие от него, должны проходить через аппарат ЦК. Ключевую позицию в этом аппарате занимал при Брежневе один из его наиболее надежных друзей — Константин Устинович Черненко, возглавлявший Общий отдел ЦК и секретариат Политбюро на протяжении ряда лет, пока его самого не сделали членом Политбюро. Сын сибирского крестьянина, член партии с двадцатилетнего возраста, он упорно пробивал себе дорогу из провинциальных низов к вершине московской иерархии и сделался сначала помощником, а потом уже как бы постоянным напарником Брежнева. Я впервые увидел его в 1964 году, когда Брежнев стал генсеком, а в дальнейшем неоднократно имел случай с ним разговаривать — как в Москве, так и в Нью-Йорке.

Черненко коренаст, сутул и давно страдает эмфиземой, которая в последнее время явно перешла в более тяжелую форму.* Интеллектуалом его не назовешь, но он человек практичный, деловой и хорошо знает, чего хочет. Он требователен, груб, властен, заносчив, неизменно самоуверен. Как общест-

---

* В марте 1985 г., когда Черненко умер, эмфизема была названа во врачебном заключении как основная причина смерти. (Прим. переводчика.)

венная фигура он настолько сер, что в мое время население совершенно его игнорировало: в отличие от других "вождей", Черненко не фигурировал ни в анекдотах, ни в шутках. Когда он был помоложе, они с Брежневым общались главным образом в качестве собутыльников. Непьющие Суслов, Косыгин и Громыко сторонились такой практики.

Вообще-то немногословный, Черненко предпочитает говорить короткими, отрывистыми фразами, часто перебивает других, повергая подчиненных в трепет не только при непосредственном общении, но и заочно, по телефону. Так, попав в середине 70-х годов в Нью-Йорк, он заставил трястись со страху, как мышь, посла Малика, который и сам пользовался репутацией грозного начальства. А в Москве мне приходилось наблюдать, как Василий Макаров, помощник Громыко, нервно отвечал на телефонный звонок Черненко, без конца ему поддакивая.

Когда я занимал должность помощника Генерального секретаря ООН, Черненко нагрянул в Нью-Йорк, чтобы ознакомиться с повседневной деятельностью этой организации и поприсутствовать на ее заседаниях. Он проявил некоторый интерес к технической стороне функционирования ООН, но его не заинтересовали ни политические дискуссии, ведущиеся здесь, ни Нью-Йорк как таковой, ни люди, работающие в ООН. Черненко запомнился мне своей крайней деловитостью и полным отсутствием чувства юмора.

Возвышение Черненко вплоть до ввода его в состав Политбюро было настолько стремительным, что даже возмутило окружающих. Некоторые из влиятельных членов Политбюро, в частности покойные Суслов и Косыгин, считая его выскочкой, полагали, что у него недостаточно данных, чтобы сделаться их коллегой, тем более – их потенциальным руководителем. В сущности, они были правы. Черненко долго "сидел на агитпропе", то есть отвечал за политику грубого и назойливого политического оболванивания населения. Он никогда не занимал даже должности первого секретаря хоть какого-нибудь обкома партии, не служил в армии в годы второй мировой войны. Со времен Ленина это первый советский "вождь", не имеющий практического военного опыта. Будучи несколько лет подряд техническим секретарем Политбюро, он рассматривался "заслуженными" члена-

ми того же Политбюро скорее как старший делопроизводитель, и уж, во всяком случае, они не могли признать его равным себе.

В последний период своего правления медленно умиравший Брежнев все больше и больше зависел от Черненко. Как обычно, эта ситуация нашла отражение в анекдоте: "Брежнев фактически уже умер, только Черненко все еще скрывает это от него". Слепое доверие, которое Брежнев оказывал своему протеже, создавало уникальные возможности, которые тот не преминул использовать, всячески выпячивая себя и укрепляя свои позиции. Правда, его интриги ничего ему после смерти Брежнева не принесли. Его претензии на пост генсека тогда провалились.

Поражение, понесенное в схватке с Юрием Андроповым, было для Черненко серьезным ударом и, надо полагать, привело к дальнейшему ухудшению его здоровья. До того авторитет Брежнева неизменно ограждал его от всякого рода неприятностей. Хотя едва ли кто-нибудь когда-нибудь узнает, что происходило в те дни в Политбюро, я почти уверен, что именно из-за этого при Андропове Черненко на какое-то время исчез с горизонта.

Юрий Андропов занимал некое промежуточное положение между партийным функционером и государственным чиновником. Человек интеллигентный и очень способный, он сумел протолкнуть себя на самый верх, используя поддержку преданного ему аппарата КГБ и выдавая себя за человека, который в состоянии разрешить многие проблемы страны. Он много лет руководил КГБ, отвечал, в частности, за подавление инакомыслия и, конечно, никоим образом не был либералом прогрессивного толка. Поэтому меня поражало, с какой быстротой и легкостью огромное количество людей на Западе, особенно советологи, попались на удочку дезинформации, распространяемой КГБ, и уверовали, что Андропов – "тайный либерал" и "сторонник широких реформ".

Андропов очутился на посту генсека в более позднем возрасте, чем кто бы то ни было из его предшественников; большую часть своего кратковременного пребывания на этом посту он проболел. Черненко, сменивший его в феврале 1984 года, стал генсеком еще позднее: он занял эту должность в возрасте 72-х лет.

Главная сила Черненко – в том, что он всю жизнь был профессиональным партийным аппаратчиком. Он убежденный сторонник строгого партийного контроля над всеми сторонами жизни. Он принадлежит к партийной элите – действительному правящему классу Советского Союза. Поскольку он – плоть от плоти этого партийного слоя, последний уже по одной этой причине должен был доверять ему больше, чем любому другому кандидату.

Черненко мастерски управлялся с Центральным комитетом, а к тому же был "идеологом" и опытным пропагандистом. Но, будучи до мельчайших тонкостей знаком с хитросплетениями "партийной работы", он до избрания генсеком почти не имел дела с вопросами экономики и внешней политики. На заседаниях Политбюро ему редко случалось выражать собственное мнение по этим вопросам – он только неизменно поддерживал высказывания Брежнева.

Некоторые западные эксперты полагают, что Андропова они "переоценили", а теперь, дескать, было бы опасно "недооценить" Черненко. Но подобные суждения по большей части ни на чем не основаны. Действительные потенции любого советского руководителя – это уравнение со столькими неизвестными, что не только люди, далекие от советского аппарата управления, но даже и сами высокопоставленные кремлевские чиновники часто дают маху, пытаясь предсказать будущее своих коллег. Поначалу была недооценена грядущая роль таких деятелей, как Сталин, Хрущев и Брежнев; напротив, Маленков был авансом "переоценен".

Правда, в случае Черненко налицо ряд факторов, облегчающих прогноз. Преклонный возраст Черненко заставляет считать, что его правление будет кратковременным (как это произошло с Андроповым). Уже в первые месяцы пребывания на посту генсека он проявил явные признаки физического недомогания. Тем не менее подобно Брежневу он сможет в таком состоянии продержаться какое-то время. Другое дело, что в отличие от Брежнева, а также Хрущева и Сталина, он никогда не сможет олицетворять собою всю полноту власти. У него нет иного выбора, как подчиняться коллективной воле узкого круга наиболее влиятельных членов Политбюро – того круга, который фактически правит Советским Союзом с конца 70-х годов, когда Брежнев начал проявлять признаки недееспособности.

Черненко был выбран в генсеки этой группой потому, что он ей вполне подходит, – хотя в личном плане каждый из ее членов, может быть, относится к нему с презрением. Старцы, засевшие в Политбюро и в партийном аппарате, восприняли его возвышение как еще один шанс сохранить власть за собой, пока их не вытеснит более молодое поколение. Это соображение может показаться тривиальным, но вспомним, что великими нациями далеко не всегда управляли великие люди.

Черненко – не только самый старый из всех советских генсеков, когда-либо вступавших на этот пост, но, по-видимому, также самый слабый и самый неспособный из всех известных нам кремлевских руководителей. Ему буквально наступают на пятки другие давно заждавшиеся кандидаты. Еще до того как я порвал с Советами, мне стало известно от друзей и знакомых в ЦК и МИДе, что влиятельные элементы в партийном и правительственном руководстве все более отчетливо осознают необходимость "впрыснуть свежую кровь" в правящую геронтократию, средний возраст которой сейчас беспрецедентно высок.

На последнем партийном съезде, в феврале-марте 1981 года, было решено несколько омолодить Политбюро, и в него ввели пятидесятилетнего Михаила Горбачева, уже бывшего тогда секретарем ЦК. До 1978 года Горбачев работал первым секретарем Ставропольского крайкома на Северном Кавказе. К Ставропольскому краю относится курортный город Кисловодск, и я впервые услышал фамилию Горбачева от местной публики, когда мы с Линой отдыхали там в 1977 году. Находясь в Кисловодске, я встретился и разговаривал с ним.

Горбачев – человек интеллигентный, высокообразованный и воспитанный. Он закончил юридический факультет Московского университета, а кроме того, учился в Ставропольском сельскохозяйственном институте. В Ставрополье он заслужил репутацию энергичного партийного руководителя и администратора и считался толковым специалистом по сельскому хозяйству. Его знали здесь также как человека рассудительного, он не был самодуром, как многие профессиональные партийные аппаратчики. По-видимому, Горбачев был достаточно разумен, чтобы прислушиваться к мнению подчиненных. Помимо личных достоинств Горбачева, важным фактором было и то, что ему повезло с областью, которой он был поставлен руководить: земли здесь были плодородными,

климат – благоприятным,– и это, несомненно, облегчало ему жизнь.

Еще важнее было то, что Ставропольский край был окружен особой заботой Москвы, которая всегда оказывала ему щедрую материальную помощь. Дело в том, что здесь находятся знаменитые кавказские минеральные источники, вокруг которых выросли курортные города, пользующиеся большой популярностью у советской элиты. Минеральные воды не только благотворно влияли на здоровье высокопоставленных партийцев и членов правительства, но и помогали грядущей карьере Горбачева. Косыгин, Андропов и другие советские руководители регулярно приезжали сюда для лечения и отдыха. Как секретарь здешнего крайкома, Горбачев имел возможность постоянно видеться с ними и "показать товар лицом" – представить себя в наилучшем свете.

Я нашел его широко мыслящим человеком, понимающим реальную необходимость ускорения прогресса сельского хозяйства и экономики в целом. Согласно сведениям Роберта Кайзера, корреспондента "Вашингтон Пост", который побывал в СССР летом 1984 года, в Москве поговаривали, что Горбачев добивается резкого изменения экономической политики и даже просил специалистов составить для него сводку реформ, которые были запланированы П.А.Столыпиным – просвещенным председателем Совета министров при Николае II, который поощрял предприимчивость в крестьянской среде. Горбачев будто бы запрашивал также информацию о ленинской "новой экономической политике" (нэпе) 20-х годов, которая воскресила и некоторые ограниченные формы свободного предпринимательства в годы разрухи, последовавшие за революцией и гражданской войной.

Позиции Горбачева прочны: он член Политбюро и секретарь ЦК, отвечающий за текущие партийные дела. Эти должности явно делают его потенциальным претендентом на пост Генерального секретаря, хотя старые члены партийно-правительственного руководства могут посчитать его все еще "недостаточно зрелым". В свои 54 года он, действительно, самый молодой член Политбюро. Кое-кто в ЦК относится к нему как к "мальчишке", однако, я думаю, что именно с ним следует связывать прогнозы на будущее.

Два других периферийных работника тоже выдвинулись в последние годы жизни Брежнева. Карьера обоих продолжа-

лась и при Андропове; каждый из них старше Горбачева приблизительно на семь лет. Это – Григорий Романов, бывший руководитель ленинградской партийной организации, переведенный в Москву на должность секретаря ЦК, и Гейдар Алиев, в свое время руководитель азербайджанского КГБ (в дальнейшем – секретарь ЦК компартии Азербайджана), также сделавшийся членом Политбюро. К тому же он занимает пост первого заместителя председателя Совета министров.

В последнее время Алиев приобрел известность своими ревностными преследованиями коррупции и усилиями, направленными на совершенствование управления экономикой.

Романов отличается более догматическим мышлением и большей самоуверенностью, чем Горбачев. Однако в Ленинграде, который является его политической базой, он хорошо показал себя по линии как партийного руководства, так и руководства экономикой, и правил твердой рукой. По образованию он инженер-кораблестроитель, какое-то время работал проектировщиком судовых устройств, но большую часть жизни был партийным аппаратчиком.

С персоной Романова связано много разных историй и слухов; постоянно обыгрывается главным образом его фамилия, совпадающая с фамилией царской династии. Но и поведение его тоже дает основания для сопоставления с нравами при дворе. Рассказывают, что по случаю свадьбы своей дочери Романов реквизировал в Эрмитаже уникальный сервиз севрского фарфора, изготовленный в свое время для Екатерины Второй. В ходе свадебных торжеств пьяные гости, по слухам, разбили несколько предметов из этого уникального сервиза. Кажется, эту историю усиленно муссировал Андропов в бытность свою председателем КГБ: он всячески старался дискредитировать Романова, видя в нем потенциального соперника в кремлевской борьбе за власть.

Незнание Романовым Запада проявилось в таком анекдотическом эпизоде. В 1978 году, беседуя с ним, американский сенатор Эйбрахам Рибикоф высказал сомнение насчет того, проголосуют ли другие сенаторы-демократы за ратификацию договора СОЛТ-2. Романов прервал его вопросом:

– Вы что же, не можете призвать их к порядку?

Но что бы ни говорили о Романове, не приходится сомневаться, что он занимает очень прочные позиции в московской верхушке. Как и Горбачев, он является одновременно членом

Политбюро и секретарем ЦК. Ему 61 год; он несет ответственность за советскую военную промышленность и пользуется поддержкой военных кругов, что всегда представляло собой важный фактор при выборах нового генсека.

Еще один относительно молодой лидер, появившийся на московской политической сцене, — это 58-летний Виталий Воротников, также введенный недавно в Политбюро. В нем сочетаются партийный аппаратчик и правительственный чиновник. Не чужд ему и некоторый дипломатический опыт (он был одно время послом на Кубе). В будущем, возможно, он станет играть более важную роль, чем сейчас, когда он занимает пост председателя Совета министров РСФСР. Подобно Горбачеву, Романову и Алиеву, Воротников тоже возглавлял в свое время один из обкомов.

Должность первого секретаря обкома (крайкома) вполне можно сравнить с постом управляющего колонией. Способность первого секретаря управлять вверенной ему областью или краем сама по себе важна, но еще больше ценится его умение угождать чиновным визитерам, наезжающим из Москвы, и развлекать их. Горбачев в этом смысле воплощает очень характерный советский (да и только ли советский?) образец быстрой карьеры. Люди того же склада — Романов и Воротников — образуют основную опору власти в СССР. Таких в ЦК партии — большинство.

В соответствии с традицией кандидаты в Политбюро отбираются преимущественно из среды секретарей обкомов, крайкомов и республиканских ЦК. Это, как правило, люди среднего возраста, достаточно сведущие в вопросах экономики промышленности и сельского хозяйства, "умелые организаторы" (в советском понимании), поднаторевшие в деле пропаганды и идеологической обработки населения. Чего им обычно недостает, так это объективного понимания международных проблем мирового исторического процесса и вопросов внешней политики. Они фактически пленники советской пропаганды; им известно немногим более того, что печатается в "Правде" или журнале "Коммунист". Поэтому каждому, кто становится членом Политбюро, во всех случаях предстоит начинать с серьезного изучения международной политики.

В советской структуре власти Министерству иностранных дел принадлежит особое место. На Западе полагают, что МИД отчитывается перед отделами ЦК и перед Советом министров.

Это неверно. По многим вопросам Министерство иностранных дел, в отличие от других министерств, подотчетно непосредственно Политбюро и больше никому. Правда, роль министерства в формировании и проведении внешней политики в разные периоды не была одинаково значимой. С 1939 по 1949 год и затем с 1953 по 1956-й, когда министром был Молотов, прерогативы МИДа были более обширными, чем при Вышинском (в последние годы жизни Сталина) или при Шепилове. Что касается периода правления Хрущева, то хотя он ценил опыт Громыко и компетентность подобранного им персонала, тем не менее он нередко игнорировал или обходил дипломатов и уполномочивал проводить некоторые внешнеполитические акции лиц из своего непосредственного окружения. Случалось, Хрущев хвастал, что он "сам себе министр иностранных дел". Но при Брежневе роль МИДа вновь существенно возросла.

Предложения МИДа по вопросам внешней политики подаются в Политбюро в виде "записок" – меморандумов, адресованных ЦК (фактически – тому же Политбюро). Инициатива этих предложений обычно принадлежит самому министерству, за исключением тех редких случаев, когда они готовятся по поручению Политбюро. Часть их представляется на рассмотрение Политбюро после предварительных консультаций с другими министерствами, – в тех случаях, когда пределы компетенции или интересов различных министерств "взаимно перекрываются".

За все время работы с Громыко я не могу припомнить ни одного случая, когда Политбюро отказалось бы принять то или иное предложение Министерства иностранных дел.

МИД получает и контролирует всю корреспонденцию и вообще все виды связи между советскими посольствами за границей и Москвой, поступающие через шифровальную службу. Даже ЦК не располагает шифровальной службой для связи с зарубежными компартиями и пользуется в этих целях каналами МИДа или КГБ. Министерство само решает, кого следует ознакомить с шифротелеграммами, поступающими из тех или иных посольств. Более того, бывает, что важная информация доводится не до каждого члена Политбюро, и даже не до всех тех, кто живет в Москве. К примеру, в курсе ряда сообщений посла Добрынина из Вашингтона были только Брежнев и Громыко.

В конечном счете сам Громыко решает, рассылать ли то или иное сообщение из-за границы "по списку", то есть довести до сведения всех членов Политбюро и секретарей ЦК, или же оставить его только для сведения генсека. Кроме того, масса поступающих сообщений вообще предназначается только "для внутреннего использования" и не выходит за пределы Министерства иностранных дел.

Таким образом, МИД в основном ориентируется сам, какие вопросы должны быть доложены Политбюро "для его сведения"; поэтому данное министерство и оказывает существенное влияние на процесс принятия решений на высшем уровне. Мало того, оно уполномочено самостоятельно направлять деятельность послов – инструкции, рассылаемые зарубежным посольствам, не требуют утверждения на Политбюро. Требуется лишь, чтобы они не отклонялись от основного направления советской внешней политики.

Министерство подготавливает проекты многих правительственных и ТАССовских сообщений и множества принципиально важных заявлений, которые делаются по вопросам внешней политики отдельными руководителями высокого ранга. Конечно же, эти проекты в каждом случае должны быть окончательно одобрены Политбюро.

В начале 70-х годов Брежневу запала в голову идея сделать Громыко секретарем ЦК, ответственным за координацию внешней политики. Но Громыко отклонил такое назначение, понимая, что оно превратит его в генерала без армии; МИД представляет важное орудие государственной власти, которое он предпочел сохранить за собой. Назначение Громыко первым заместителем председателя Совета министров после смерти Брежнева почти не расширило его полномочий: ведь принципиальные решения по вопросам внешней и внутренней политики принимаются не Советом министров, а Политбюро.

Конечно, распределение ответственности между руководством партии и дипломатической службой редко бывает четким и однозначным. Советская структура власти предусматривает взаимное перекрывание пределов компетенции ряда ведомств. Некоторые отделы ЦК обладают полномочиями, явно вторгающимися в область компетенции МИДа. Например, контакты с социалистическими странами Восточной Европы, Вьетнамом, Монголией, Кубой и некоторыми другими государствами представляют собой функцию скорее партий-

ную, нежели дипломатическую. За них несет ответственность отдел ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, возглавляемый на протяжении многих лет Константином Русаковым.

Международным отделом ЦК, одним из самых важных в Центральном Комитете партии, руководит Борис Пономарев, секретарь ЦК и кандидат в члены Политбюро (с 1972 года). Этот отдел осуществляет управление и "командует" зарубежными компартиями и такими форпостами СССР, как Всемирный совет мира, равно как и лидерами всевозможных промосковских "освободительных движений" и группировок "третьего мира", координация деятельности которых входит также в компетенцию МИДа.

Отдел заграничных кадров ЦК проверяет людей, назначаемых МИДом на дипломатические посты, сверяя их личные дела с досье, ведущимися КГБ. Министерство не может направить дипломата или технического служащего за границу без утверждения его назначения этим отделом. Сверх того, начиная с 1978 года, развил бурную деятельность новообразованный Отдел международной информации ЦК, начавший нередко подменять МИД, когда нужно было поставить мир в известность о позиции Москвы по тому или иному вопросу. Этот отдел возглавил ветеран дипломатической службы, бывший генеральный директор ТАСС Леонид Замятин. Но и в этой сфере растущее влияние Громыко привело в последнее время к изменению ситуации. Теперь МИД проводит более или менее регулярные встречи с иностранными журналистами, аккредитованными в Москве, и тем самым несколько уравновешивает соответствующие действия Отдела международной информации.

Несмотря на трения, возникающие время от времени из-за такого совпадения сфер деятельности, дипломаты и идеологи в большинстве случаев пытаются уладить эти неурядицы, не давая им вылиться в открытый конфликт, который стал бы предметом разбирательства на Политбюро.

Пономарев, энергичный и волевой питомец Суслова, унаследовавший его идеологическую жесткость, в известном смысле может считаться соперником Громыко, но его полномочия значительно уже. Маленького роста, невидный, он отличается сообразительностью, но невероятный формалист. Усики щеточкой и круглые живые глазки делают его похо-

жим на внезапно чем-то заинтересовавшегося терьера; своим упрямством он тоже напоминает это животное. Я впервые познакомился с Пономаревым как идеологом марксизма-ленинизма, когда он был произведен в секретари ЦК. Дело происходило в 1961 году; ему было тогда 56 лет. Он уже в то время пользовался репутацией ортодокса, способного не только целыми страницами цитировать наизусть своих кумиров Маркса и Ленина, но и неутомимо превозносить коммунистическое учение перед любой партийной аудиторией в СССР и на заграничных собраниях и съездах коммунистов, "прогрессивных сил" и "деятелей рабочего движения".

Ему присуща такая странная черта. Он образован, начитан, живо интересуется мировой политикой, – и тем не менее пишет суконным языком. Хуже всего то, что, к ужасу подчиненных, он обожает писать все сам и делает это с быстротой и легкостью, какой могли бы позавидовать многие из советского руководства. Один из его помощников говорил мне: "Каждый раз, принося ему проект какого-нибудь документа, мы буквально молимся про себя, чтобы он не взялся его "улучшать", целыми страницами добавляя свой текст".

Его честолюбие удовлетворено не полностью. Хотя его поддерживал Суслов и ценил Брежнев, он так и не смог продвинуться до "полного" членства в Политбюро. Возможно, этому противодействовал Громыко, сильно недолюбливающий Пономарева. Однажды в разговоре о Пономареве и его отделе Громыко с некоторой нервозностью заметил, что не должно быть двух центров руководства внешней политикой. Похоже, тот же аргумент он пускал в ход и в беседах с Брежневым, стремясь не допустить, чтобы Пономарева сделали полноправным членом Политбюро. Положение кандидата в члены Политбюро ставит Пономарева на ступень ниже Громыко, хотя последний никогда не имел статуса секретаря ЦК.

Между тем амбиции Пономарева постоянно сказываются в том, как упорно наращивает он численность своего отдела и расширяет его функции. Человек педантичный и отлично понимающий значение профессионального опыта, он прилагает массу усилий, чтобы привлечь способных помощников, и не оставляет попыток переманить к себе часть мидовского персонала. Хотя я отклонил предложение перейти в его отдел, наши отношения от этого не испортились; я постоянно оказывал ему одну незначительную услугу, а именно: посылал из

Нью-Йорка таблетки витамина Е. По-видимому, Пономарев, очень следивший за своим здоровьем, считал снадобье с американской маркой более эффективным, чем его аналоги, которые можно было получить через специальное ("кремлевское") управление Минздрава.

Одним из существенных изъянов Международного отдела ЦК следует считать ограниченные возможности его собственной системы сбора информации за границей, хотя в ряде посольств и сидят представители этого отдела. Правда, создавая дублирующую систему связей через компартии и лидеров разных политических движений в "третьем мире", Пономарев неустанно работал в направлении расширения объема информации, которая стекалась к нему, и стремился также расширить сферу политики, на которую он пытается воздействовать с помощью этой информации.

Будучи воплощением воинствующего интернационализма, отдел Пономарева, убежденного в конечной победе коммунизма на всем земном шаре, усиленно оправдывает советскую экспансионистскую политику. Играя роль связующего звена между советским руководством и экстремистскими движениями на Западе и одновременно инструмента по обработке общественного мнения последнего, этот отдел в значительной мере инспирирует также беспорядки, подрывающие стабильность Запада и угрожающие интересам западных держав в "третьем мире".

Один из самых способных помощников Пономарева – Вадим Загладин; можно считать его сравнительно молодым для поста, который он занимает. Загладин сделал ставку на партию как наиболее надежное орудие личной карьеры еще лет тридцать назад, – и действительно далеко пошел, притом не только благодаря авторитету Пономарева, распространяющемуся и на его помощников, но и в силу бесспорных собственных достоинств.

Я познакомился с Загладиным, когда мы оба были студентами МГИМО, и следил за его возвышением со смешанным чувством восхищения и неприязни. После осуждения Хрущевым сталинского "культа личности" (1956) Загладин, как и многие из нас, искренне радовался открывшейся перспективе обновления советского режима и всей жизни. Волна идеализма (это чувство в первые послесталинские годы захватило немало молодых интеллигентов) заставило его, наряду со

многими другими, всей душой отдаться партийной работе. Но то, что выглядело вначале некоей благородной кампанией, быстро превратилось в средство карьеры. Тяга к переменам, к обновлению обернулась жаждой власти. Постепенно даже расчетливая загладинская бравада выродилась в надутое, бесчувственное важничанье. Наблюдать за этим превращением было тяжело.

К концу 50-х годов Загладин возглавил небольшую группу консультантов в Международном отделе ЦК; эту свою ячейку он превратил в надежное орудие дальнейшей карьеры. Входившие в нее консультанты – всего семь или восемь человек – были, собственно, "речевиками" и экспертами, обслуживающими ЦК. Составляя проекты официальных выступлений и статей для руководящих партийных деятелей, вплоть до Брежнева, готовя документацию в связи с текущими событиями международной жизни, давая оценку складывающейся ситуации и характеристики отдельных деятелей в зарубежных компартиях, эти консультанты вольно или невольно начинали играть роль политических советников.

Однажды, в бытность мою советником у Громыко, у нас с Загладиным завязался разговор, перешедший в серьезный спор. Говоря о ситуации в Африке, я заметил, что едва ли имеет смысл "возиться со всеми этими жалкими "комитетами освобождения", которые вырастают там и сям, как грибы, чтобы спустя несколько месяцев бесследно исчезнуть". Загладин откровенно возмутился:

– Ты рассуждаешь точно, как твой босс, – заявил он. У Громыко нет чутья на идеологическую сторону дела. Вы с ним смотрите на вещи очень уж приземленно. Мидовцам вообще свойственно недооценивать силу коммунистических идей и пренебрегать их использованием.

Загладин считал, что Международный отдел ЦК не только лучше подготовлен к "правильному восприятию реальности и всем возможным случайностям", но по ряду аспектов советской внешней политики более подходит для руководства политическими акциями. Исходя из марксистской точки зрения, он-де мог бы добиться более впечатляющих результатов, чем профессиональные дипломаты. Я ответил, что ведь, однако, фактически в Международном отделе ЦК всего несколько человек могут считаться специалистами по внешнеполитическим вопросам, в частности по вопросам межправительст-

венных отношений, – или по проблемам, затрагивающим интересы многих стран, – таким, как, например, разоружение Германии.

Работая в МИДе, я получал, по крайней мере, личное удовлетворение, участвуя в переговорах по конкретным вопросам, и мне кажется, что крайне незавидна жизнь тех, кто служит надуманной идее, будто подлинные интересы нации представляет партия. Хотя в высших партийных органах и можно насчитать горстку рабочих и колхозников, подавляющее большинство "избранных" в эти органы составляют профессиональные партийные деятели, члены правительства, военные, видные представители интеллигенции, так что рабоче-крестьянская прослойка не играет там никакой роли. Советская элита и ее "бастионы власти" очень далеки от простых людей и глухи к их насущным нуждам. Проведя сопоставление с подобными общественными группами в других странах, приходится признать, что она больше подходит под марксистское определение "правящего класса", чем какой бы то ни было слой или класс буржуазного общества, или любые уцелевшие где-либо остатки монархических институтов.

19

Ричард Никсон прибыл в Москву в понедельник 22 мая 1972 года, после полудня. День был сереньким и дождливым. Хотя я принимал активное участие в подготовке этого визита, мне не довелось попасть в состав небольшой группы официальных лиц, выделенной для встречи президента США во Внуковском аэропорту. Меня, как и многих других сотрудников МИДа, занимавшихся вопросами советско-американских отношений, отговорили ехать в аэропорт. Ввиду того что все еще продолжалась война во Вьетнаме, Политбюро решило оказать Никсону сдержанный прием, и только редкие цепочки москвичей приветствовали его во Внукове и на улицах Москвы.

Несмотря на такую позицию Политбюро, среди сотрудников МИДа – даже тех, кто прямо не был причастен к советско-американским отношениям или почему-либо не одобрял этот визит, – царило изрядное возбуждение. Советский Союз выказал заинтересованность в улучшении отношений с Соединенными Штатами еще во времена Хрущева и не раз подтверж-

дал эту заинтересованность в годы правления Брежнева, – особенно с тех пор, как последний в конце 60-х годов стал лично уделять значительное внимание внешней политике. Эта тенденция отражала историческое перераспределение советских геополитических интересов, наметившееся после смерти Сталина.

Такой сдвиг давался нелегко. Враждебность по отношению к Западу была еще сильна. История нашей страны знает неоднократные, на протяжении столетий, вторжения тевтонских полчищ, поляков, шведов, немцев, французов. Еще не стерлась память о англо-американской интервенции 1919 года. Но только во второй половине двадцатого столетия растущая тревога, вызванная возможностью атомной войны, заставила искать путей сближения между Западом и Востоком, добиваться взаимовыгодного экономического сотрудничества с Америкой и Западной Европой.

Для меня и моих коллег это "новое открытие Америки", несмотря на осторожничанье Кремля, означало надежду на реалистичную внешнюю политику, уже не подчиняющуюся субъективным намерениям того или другого государственного деятеля. Мы понимали, что улучшение отношений с Соединенными Штатами дастся нелегко, но считали, что оно стоит того, чтобы сделать серьезную попытку в этом направлении.

Наши оппоненты полагали, что Никсон выбрал неудачное время для визита в Москву. У нас во всеуслышание осуждались последние действия, предпринятые США во Вьетнаме, – минирование портов. Кроме того, личность самого Никсона ассоциировалась в Советском Союзе прежде всего со знаменитым "кухонным спором", который он затеял с Хрущевым на американской выставке в Москве в 1959 году. Резко антикоммунистические настроения Никсона обусловливали враждебное отношение к нему со стороны правоверных антиамериканцев как в МИДе, так и вообще по всей нашей стране.

У меня произошла стычка с одним из таких противников Никсона на другой день после его прибытия в Москву.

Федор Тарасович Гусев, мой коллега по ведомству Громыко, был ветераном дипломатической службы. Когда-то он был послом СССР в Англии и заместителем министра иностранных дел, а теперь, достигнув уже преклонного возраста и не отличаясь крепким здоровьем, занимал должность советника Громыко, что означало для него нечто вроде почетной отставки.

Человек искренний и порядочный, он все еще придерживался чисто сталинистских представлений об окружающем мире.

Потрясая перед собой свежим номером "Правды", он негодующе выкрикивал:

– Аркадий Николаевич, это уж действительно переходит все границы! Я глазам своим не верю – посмотрите, как эта ваша публика искажает историю, лишь бы угодить этому сукину сыну!

Гусев имел в виду начальную фразу тоста, произнесенного Николаем Подгорным* на обеде, данном в честь Никсона накануне вечером. Я подготавливал речь Подгорного и сразу понял, что именно вызвало возмущение Гусева. Подгорный произнес буквально следующее: "Это первый официальный визит президента Соединенных Штатов Америки за всю историю взаимоотношений между нашими странами".

– Первым американским президентом, посетившим Советский Союз, был Рузвельт! – гремел Гусев. – Нам следовало бы это помнить. То было время действительного сотрудничества, не то что эти вонючие шашни с Никсоном!

Я пытался его утихомирить, говоря, что никто не собирается искажать историю: Рузвельт действительно приезжал в СССР на Ялтинскую конференцию, но это нельзя считать официальным визитом... Однако Гусев не сдавался:

– Вот как! Знаю я все эти увертки и выкрутасы. Вы придаете приезду Никсона слишком большое значение. Но помяните мое слово, вам еще придется об этом пожалеть.

Теперь, оглядываясь на то время, я думаю, что Гусев, пожалуй, был прав: значение визита Никсона сверх всякой меры преувеличивалось. Но ни тогда, ни сейчас я не мог бы согласиться с его подходом к самой проблеме отношений между сверхдержавами. Советско-американский диалог должен продолжаться, независимо от того, нравятся друг другу руководители обоих государств или нет.

Начиная с моей первой поездки в Нью-Йорк в 1958 году мой интерес к Соединенным Штатам продолжал расти. Но начало моей работы в ведомстве Громыко, непосредственно относящейся к сложной и увлекательной области взаимоотношений Советского Союза и Соединенных Штатов, совпало

---

* В то время Подгорный был председателем Президиума Верховного совета. (Примеч.переводчика.)

как раз с тем радикальным улучшением этих отношений, которое президент Никсон назвал "переходом от эпохи конфронтации к эпохе переговоров".

Еще в Нью-Йорке, до того как я присоединился к московскому штабу Громыко, посол Добрынин рассказал Малику и мне о своих конфиденциальных контактах с Киссинджером, которые осуществлялись как бы "с черного хода". Мне было приятно услышать про это явное свидетельство обоюдного доверия, но на Малика этот рассказ не произвел впечатления.

— Вы с ним можете сколько угодно заниматься сотрясанием воздуха, — кисло заметил он, — но я не верю ни Никсону, ни этому его маленькому профессору.

Однако что бы там ни говорил Малик, к концу президентства Джонсона изменение к лучшему в советско-американских отношениях сделалось очевидным. Уже существовало тесное сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, единодушно стремившимися поскорее согласовать положения будущего договора о нераспространении ядерного оружия. Но не только: по случаю подписания этого договора (1 июля 1968 года) обе сверхдержавы объявили об обоюдном согласии начать обсуждение предстоящего договора об ограничении стратегических вооружений (СОЛТ). Если бы не советское вторжение в Чехословакию, эти переговоры начались бы гораздо раньше, чем это произошло в действительности. Кроме того, в октябре 1968 года, возможно, состоялась бы, как намечалось, советско-американская встреча на высшем уровне.

Официально считалось, что ни Малик, ни кто-либо другой в Миссии не знает о "переговорах с черного хода". О них полагалось знать только членам Политбюро и секретарям ЦК, — ну, может быть, еще нескольким чиновникам, облеченным особым доверием. Секретность переговоров подчеркивалась тем, что только до Брежнева, Громыко и некоторых из их ближайших помощников доводилось содержание тех или иных важных сообщений, поступающих по этому каналу. Непосредственные и притом тайные контакты между Добрыниным и Киссинджером соответствовали природе советского строя и советским дипломатическим традициям, — точно так же, впрочем, как они были свойственны политическому стилю Ричарда Никсона и его главного советника по иностранным делам.

Для России (и СССР) издавна характерно особое пристрастие к секретности. В истории немало примеров тому, как порой люди, принадлежащие к разным национальностям и разным культурам, оказывались в состоянии находить общий язык и действовать сообща, добиваясь обоюдных выгод для своих стран, хотя те были противниками. Думается, личные качества и способности Добрынина и Киссинджера образовывали именно такую благоприятную комбинацию.

Как советник Громыко я имел случай убедиться в реальном значении контактов Добрынина и Киссинджера: они действительно дали возможность обсудить крайне щекотливые вопросы, накопившиеся в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Со времен второй мировой войны не происходило такого серьезного анализа столь важных проблем, без полемических издержек и идеологическо-пропагандистских выпадов. Несмотря на сделавшуюся привычной подозрительность и дух соперничества, выказываемые обеими сторонами, такая форма обмена мнениями обеспечила реальный прогресс в советско-американских отношениях.

Начиная с 1969 года ключевую роль в этих переговорах играл Анатолий Добрынин. Немногие советские дипломаты были так хорошо подготовлены к этой роли, как он. Еще меньше было способных провести их с таким искусством.

Добрынин занимает особое положение среди советских дипломатов, не только потому, что он необычно долго представляет свою страну в Вашингтоне, и не потому, что ему открыт доступ в самые высшие московские политические сферы, где он обладает немалым весом. Особенности самой его личности позволяют ему выделяться на фоне большинства советских дипломатов, которые воспринимают указания сверху, как догму, и больше всего озабочены собственной карьерой. Хотя Добрынин в свое время учился на историческом факультете университета, а в дальнейшем получил диплом авиационного инженера и работал в военное время на авиазаводе, всю остальную часть жизни он был профессиональным дипломатом. Еще будучи молодым человеком, он сделался одним из лучших в Москве специалистов по Соединенным Штатам.

С 1952 по 1955 год Добрынин занимал должность первого секретаря советского посольства в Вашингтоне, затем возглавил мидовский отдел США. В Вашингтон он вернулся в

1962 году – уже на должность посла. Я познакомился с ним в 1958 году в Нью-Йорке, где он работал помощником Генерального секретаря ООН. С этого времени у нас установились дружеские отношения. Высокого роста, представительный, любезный, он произвел на меня впечатление с первой встречи. Мне стало немного не по себе, когда он смерил меня долгим, как бы испытующим взглядом. В его глазах за стеклами очков светилась не то хитрость, не то насмешка. В действительности ему не свойственны ни хитрость, ни лукавство. Он жизнерадостен, любознателен, обладает проницательным умом. Щедрый и сердечный в отношениях с подчиненными и равными по рангу, в обществе вышестоящих (в частности, Громыко, у которого он одно время был помощником) он держится с подкупающей искренностью.

Немалая самоуверенность, свойственная Добрынину, не делает его заносчивым. Одаренный богатым воображением, очень обходительный, он обладает интуитивной способностью быстро нащупывать тему, интересующую собеседника, и мгновенно осваивается в любой обстановке – незаменимое качество в мире современной хитроумной дипломатии. Однажды, советуя мне, как "преуспеть" в ООН, Добрынин сказал: делайте порученное вам дело методично, спокойно и с улыбкой. Он терпеть не может темпераментных неврастеников и говорит: "То и дело показывая свой характер, едва ли добьешься ожидаемых результатов". Сам он умело пользуется этими принципами и постепенно завоевал симпатии многих должностных лиц в Вашингтоне и рядовых американцев.

Генри Киссинджер был очарован Добрыниным. Он с восхищением описывает, как Добрынин "с завидным искусством проник в высшие сферы вашингтонского общества", и признает, что "его личное участие... было чуть ли не решающим фактором прогресса в американо-советских отношениях".* Но хотя Киссинджер и считает, что Добрынин "решающим образом" способствовал улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, мне это кажется некоторым преувеличением. Нет сомнения, что Добрынин сыграл здесь важную и положительную роль. Но он, отнюдь не питая к Америке враж-

---

* Henry Kissinger, White House Yars. "Little, Brown", 1979, p. 140.

дебных чувств, ничуть не является, с другой стороны, горячим поклонником Соединенных Штатов или, скажем, убежденным защитником идеи дружбы с ними. При всех своих способностях, настойчивости и доброй воле Добрынин оставался всего лишь орудием в руках Брежнева, Громыко и других – тех, кто определяет советскую политику.

В качестве добросовестного проводника идеи восстановления дружественных отношений с Соединенными Штатами Добрынин оказался полезен Громыко в двух отношениях: как надежный посредник в контактах с Вашингтоном и как красноречивый защитник Громыко в общении с членами Политбюро. Особенно сказалось это в период, предшествовавший первой встрече Никсон– Брежнев в мае 1972 года: в это время Добрынин зачастил в Москву – не только для консультаций с министром иностранных дел, но и для того, чтобы, с благословения Громыко, уговаривать скептиков из числа руководства. Придерживаясь рамок, диктуемых коммунистической ортодоксальностью, он выступал на заседаниях Политбюро и вел частные беседы в руководящих сферах с подкупающей убедительностью, которая так импонировала американцам.

Добрынин – искренний и стойкий приверженец советской системы и советского режима. Он бескомпромиссно верит в правильность политики СССР, даже в тех случаях, когда она агрессивна или лжива. В его представлении не только носители политического инакомыслия, но также невозвращенцы – балетные танцовщики или художники, являются изменниками. Добрынину нравится иметь дело с американцами, и точно так же нравится ему быть фигурой, представляющей Советский Союз на шахматной доске международной политики. Однако Америка – его противник в этой игре, а он полон решимости выиграть. Не раз, встречаясь с ним в неслужебной обстановке, я видел, как его добродушные голубые глаза вспыхивали ненавистью, когда его выводили из себя какие-либо американские действия или позиция, занятая США по тому или иному вопросу.

Американские участники переговоров, имевшие дело с Добрыниным, знают, с каким мастерством он использует присущие американцам слабости, виртуозно играя на их привычке заниматься самобичеванием, на любопытном комплексе вины, который часто дает себя знать: полушутливым тоном

он выговаривает им за всякий "дипломатический тупик", возникающий якобы всегда по их вине, или колет им глаза грехами всего света. Он так искусно пользуется этими приемами, что американцы не раз действительно чувствовали себя без вины виноватыми. Неудивительно, что американские журналисты отмечают: даже зная Добрынина много лет, не раз выпивая с ним, обсуждая с ним всевозможные материи, начиная от сезонных миграций птиц и кончая новинками кино или проблемами контроля вооружений, трудно сказать с уверенностью, кто же он в сущности – либерал или сторонник жесткой линии.

То обстоятельство, что он так ловко действует на международной арене, делает его опасным орудием Кремля. Его знание вашингтонских обычаев и деятелей, присущее ему чутье, подсказывающее, на какие кнопки надо нажать, чтобы повлиять на процесс принятия тех или иных решений, доступ почти к любому политическому деятелю – все это делает его асом советской дипломатии.

Не следует забывать, что Америка вела многие важнейшие дела с Советским Союзом через таких послов, как Аверелл Гарриман, Чарльз Болен и Левеллин Томпсон. Они пользовались уважением в Москве. Теперь фокус американского общения с Советами в значительной степени переместился из Москвы в Вашингтон – благодаря постоянным здешним контактам между Добрыниным и Киссинджером.

Любопытно, что этому смещению в большей мере способствовал, пожалуй, Белый дом, чем Кремль, но выиграл от этого явно Советский Союз. Перед Добрыниным открыты в США многие двери, чего нельзя сказать об американском после в СССР. Столь внушительное смещение серьезной дипломатической активности в район между Шестнадцатой улицей и Пенсильвания-авеню еще более сужает и без того скромные возможности доступа американских дипломатов в Москве к советским правительственным органам.

– Мы держим в Вашингтоне Добрынина, – заметил как-то Громыко, пожимая плечами. – Чего же им еще?

Неудивительно, что Громыко считает возможным так редко иметь дело с американским послом в Москве; другие советские руководители встречаются с послом США и того реже. Посол Малькольм Тун жалуется, что его страна слишком уж полагается на Добрынина, стремясь довести ту или

иную свою позицию до сведения Кремля, и тем самым недооценивает собственных профессиональных дипломатов, находящихся в Москве. В качестве примера упомяну нелепое положение, в каком оказался посол Джейкоб Бим, когда его даже не сочли нужным поставить в известность о тайном визите Киссинджера в Москву в апреле 1972 года.

Советы извлекают из сложившейся ситуации немалую практическую выгоду. Когда они вдруг спохватываются по какому-то поводу, ведя переговоры или предпринимая иные действия, никакие официальные поправки не доводятся ими до сведения американского посольства в Москве. Это вполне понятно: они всегда могут свалить вину на Добрынина, заявив, что он неточно изложил советскую точку зрения. А Добрынин, в свою очередь, тоже всегда имеет возможность замешкаться с конкретизацией своей позиции, поясняя, что он, дескать, все еще ждет инструкций от Политбюро. Его частые поездки в Москву для консультаций оправдывают заминки в любых переговорах. Киссинджер признал, что Добрынин эффективно пользовался этой тактикой. В то же время наличие прямого конфиденциального канала связи между Политбюро и Белым домом имеет существенное значение для обеих сторон. Его не стоит недооценивать, хотя, конечно, не годится и подрывать авторитет американского посла в Москве. Весь вопрос в том, чтобы найти надлежащие пропорции представительства, нащупать оптимальный баланс.

Считается, что с Добрыниным легко работать, потому что он отлично чувствует, что приемлемо для советского руководства. Его доклады Москве не диктуются свойственным многим советским послам стремлением говорить начальству только то, что совпадает с собственными представлениями этого начальства. Телеграммы, поступающие от Добрынина, неизменно вызывают интерес, и Громыко обычно начинал рабочий день с них. Добрынин – неутомимый труженик, и чаще всего он составляет свои донесения собственноручно; его стиль отличается не только четкостью и точностью изложения фактов, но и включением в текст красочных деталей, характеризующих настроение собеседников и обстановку, в которой состоялся обмен мнениями. У него отличная память. Нередко он передает разговор слово в слово, так что советское руководство получает возможность в полной мере ознакомиться с дельной и порой острой критикой своего поведения

и своих позиций. Как дипломат-информатор, Добрынин снабжает кремлевских руководителей материалом, в известной степени компенсирующим "перекос", создающийся у них на основе сообщений других дипломатов, журналистов и корреспондентов ТАСС.

Энергичный, дисциплинированный и постоянно занятый, Добрынин вынужден придерживаться жесткого дневного расписания; его временной график еще более уплотняется из-за необходимости уделять внимание борьбе с раковым заболеванием, которым он, насколько известно, страдает уже давно.

Особой заслугой Добрынина следует считать заметное улучшение качества информации, поступающей в Москву из Вашингтона. Это улучшение дало себя знать в конце 50—начале 60-х годов. Предшественник Добрынина Михаил Меньшиков, не сумевший достойно представлять в Вашингтоне Советский Союз, в то же время весьма преуспел в искажении фактов в своих донесениях советскому руководству. Желая потрафить Хрущеву, "улыбчивый Миша" побивал все рекорды лицемерия. Он сообщал, например, что американская общественность чуть ли не единодушно осуждает президента Эйзенхауэра и за шпионские полеты самолетов "У-2" над советской территорией, и за отмену встречи руководителей четырех держав в Париже в мае 1960 года. Добрынин никогда бы не опустился до такой бессмыслицы.

В то же время Добрынин всегда был очень осторожен в своих аналитических оценках американской политики. По определению Киссинджера, этот анализ во всех случаях был "острым и даже мудрым". Киссинджер был убежден, что в результате "Кремль должен был располагать всесторонней оценкой существующей здесь ситуации", что могло снизить для него "опасность серьезных просчетов". Во многих случаях, однако, Киссинджер принимал желаемое за действительное. В отличие от донесений о конкретных переговорах, общий анализ Добрынина американской политики нередко содержал изрядный привкус пропагандистских штампов. Я бы не стал осуждать его за это; такую цену платил Добрынин за необходимость постоянно доказывать свою лояльность советской системе и давать отпор обвинениям в том, что он, мол, "слишком американизировался". В чрезмерной "американизации" его не раз обвиняли завистники в ЦК и Министерстве иностранных дел.

Как бы хорошо Добрынин ни разбирался в американской структуре управления, он не умеет дать точный анализ разделения в США функций и прерогатив законодательной и исполнительной власти. Советские были очень смущены Уотергейтским скандалом именно в силу непонимания этого распределения прерогатив. Большую часть сообщений о подобных событиях Добрынин поручает готовить своим помощникам.

Добрынин информирован несравненно лучше других советских послов. Он получает из Москвы сугубо секретную информацию, далеко превосходящую по объему то, что получают остальные советские представительства за границей. Это исключение делается для него, несмотря на советскую манию секретности. Даже кремлевские бюрократы понимают, что он должен быть соответственно подготовлен "на всякий случай". Несмотря на ехидные шуточки и завистливые шепотки по адресу Добрынина, он пользуется в Москве немалым уважением и всегда сохраняет хорошие отношения с "влиятельными людьми", занимающимися там "американскими делами".

Супруга посла Ирина, жизнерадостная, толковая и проницательная женщина, в то же время умелая хозяйка. О ней можно сказать, что она служит украшением посольского дома. Хотя Ирина постоянно убеждает мужа оставить "эту убийственную работу", уйти на покой и заняться в Москве преподаванием истории, я с трудом могу себе представить, чтобы Добрынин возвратился в СССР в качестве профессора. Не говоря уже о том, как сложно будет найти ему замену. Громыко оказался бы перед необходимостью приискать для него какой-нибудь подходящий пост в МИДе, притом так, чтобы не потеснить никакую другую важную персону; более того, присутствие Добрынина в МИДе означало бы, что, быть может, не сегодня-завтра Громыко вынужден будет уступить ему и министерское кресло.

Безотносительно к дипломатическому опыту Добрынина, следует отметить, что он пользуется исключительным доверием партийной верхушки — явление необычное, если принять во внимание, что речь идет о советском чиновнике, деятельность которого проходила вдали от Москвы. Пробыв пять лет кандидатом, в 1971 году он был сделан членом ЦК. Он не только часто присутствует на заседаниях Политбюро, но в отличие от других служащих его ранга, которые появляются здесь только в качестве сопровождающих при том или ином

министре, Добрынина приглашают персонально, он выступает здесь от собственного имени; бывает, что заседание созывается специально ради его доклада. Таким образом, для Громыко удобнее и безопаснее держать его в Вашингтоне.

В то же время этих двух деятелей связывают теплые личные отношения. Министр, обращающийся почти ко всем подчиненным по фамилии, Добрынина всегда уважительно называет по имени-отчеству – Анатолий Федорович.

По иронии судьбы, Добрынин, которого уважают в Вашингтоне, непременной принадлежностью коего он уже сделался, где он является старейшиной дипломатического корпуса, – этот самый Добрынин в начальной стадии своей успешной карьеры едва не приобрел здесь репутацию лжеца. В октябре 1962 года, накануне кубинского кризиса, он неоднократно заверял американцев, что Советский Союз не размещал и не собирается размещать на Кубе своих ракет с ядерными боеголовками. Я очень сомневаюсь, чтобы ему было известно действительное положение дел. Хрущев воспользовался своим новым послом, чтобы выиграть время, не сообщая ему правды. В дальнейшем Добрынину пришлось немало потрудиться для восстановления подорванного доверия американцев, и в этом он вполне преуспел, – по крайней мере, если судить по высказываниям Киссинджера.

Основное различие в положении этих двух дипломатов заключалось в том, что Киссинджер располагал большей свободой маневра и правом принимать более ответственные решения. К тому же он пользовался бóльшим влиянием в Белом доме, чем Добрынин – в Кремле.

Победа Никсона на президентских выборах 1968 года и то обстоятельство, что своим помощником по вопросам национальной безопасности он избрал Киссинджера, вначале очень обеспокоили Москву. Оба эти деятеля пользовались репутацией убежденных антикоммунистов. После выхода в свет книги Киссинджера "Атомное оружие и внешняя политика" (1957) Советы заклеймили его как "злейшего врага" и "лакея империализма". Тем не менее это чувство неприязни сочеталось у советских с завистливым уважением: они признавали его интеллект и вынуждены были считаться с тем, что он занял ключевое положение в американской политической кухне и тесно связан с Нельсоном Рокфеллером. Советы считали Рокфеллера одним из столпов американского капиталис-

тического общества, к которому они относились со смешанным чувством ненависти и восхищения. По мере того как взгляды Киссинджера претерпевали определенную эволюцию, Советы начали пересматривать свое отношение к этому деятелю, и первоначальное неблагоприятное впечатление начало сглаживаться. К тому времени, как Киссинджер вошел в состав никсоновской администрации, для Москвы он уже перестал быть "поджигателем войны". Теперь его считали ведущим теоретиком "реалистического направления" в политике.

Когда Никсон в своем инавгурационном обращении заговорил о наступлении эпохи переговоров, оказалось, что он взял верную ноту, любезную слуху кремлевской верхушки. Москва как раз собиралась добиваться долгожданного перелома в советско-американских отношениях. Однако Киссинджер был прав, утверждая, что переговоры с Советами не будут легкими.

Все участники переговоров с советской стороны располагают ограниченными полномочиями и не могут позволить себе выражать мнения, расходящиеся с позицией Политбюро. Их американские партнеры, как я понимаю, более гибки и более откровенны, но первейший рефлекс советских сводится к подозрению насчет искренности добрых намерений партнера и к сомнениям в его честности. Отчасти такая жесткая позиция объясняется получаемыми ими инструкциями. Чтобы они в ходе переговоров были неуступчивее, кремлевское руководство обычно не предусматривает в директивах, даваемых своим представителям, возможности отступления, предоставляя им за столом переговоров тянуть время и упираться, пока Москва не выработает тот или иной компромиссный вариант.

Советский подход к тактике переговоров отличается еще одной особенностью. Политбюро санкционирует любые средства, неважно, благопристойные или подлые, лишь бы добиться желаемого результата. Иногда советские участники переговоров внезапно как бы выходят из состояния оцепенения и начинается фаза ужимок и прыжков. Но как бы они ни извивались, суть их позиции остается неизменной, пока они не будут вынуждены пойти на компромисс. Когда такой момент наступает, советские выказывают себя мастерами продать свои уступки за максимально высокую цену.

При малейшей возможности СССР пускает в ход все эти приемы. Так было и в ходе американо-советских перегово-

ров, приведших к посещению Никсоном Москвы, и во время выработки соглашения СОЛТ.

Под непосредственным наблюдением Громыко в МИДе была создана специальная комиссия по подготовке к визиту Никсона. Возглавил ее Василий Кузнецов, а вошли в нее Георгий Корниенко и я. Корниенко вообще специализировался по США. Он работал одно время первым секретарем советского посольства в Вашингтоне, а в 1966 году был назначен руководителем мидовского отдела Соединенных Штатов. Громыко вполне полагался на его знания, что позволило ему стать в дальнейшем первым заместителем министра иностранных дел.

Своей карьерой Корниенко обязан природным способностям и напряженной работе, но за быстрое продвижение по службе он расплатился сердечным заболеванием и гипертонией. Его профессионализм и скромность сделали его любимцем Громыко. Оба деятеля сходились во мнении, что основное внимание наша дипломатия должна уделять советско-американским отношениям. Впрочем, только в этом они и были единодушны. Признавая жизненно важное значение переговоров с Соединенными Штатами, Корниенко никогда не рассчитывал, что эти переговоры будут легкими, и всегда смотрел скептически на возможность договориться с американцами.

Многих мидовцев возмущало, что Никсон и Киссинджер провозгласили концепцию неделимости мировых проблем, ставя достижение прогресса на переговорах в зависимость от готовности Кремля помочь в решении таких проблем, как Вьетнам, Ближний Восток и европейская безопасность. Эта нервозность объяснялась отчасти нашим бессилием. У северовьетнамцев или арабов Советский Союз вовсе не пользовался таким авторитетом, как воображали себе американцы, постоянно склонные преувеличивать степень советского влияния на эти страны. Последние вовсе не были послушными марионетками СССР. Со своей стороны, Москва, заявляя, что ее помощь северовьетнамцам и прочим представляет собой только "выполнение интернационального долга" и "проявление братской солидарности с прогрессивными силами", безусловно, преуменьшала свою способность использовать эту помощь как средство давления на друзей во имя собственных интересов.

Наиболее раздражающим фактором в советско-вьетнамс-

ких отношениях было выявившееся стремление Ханоя разыгрывать "советскую карту" против Китая, получая помощь от обоих государств, но не становясь ни на чью сторону в советско-китайском споре. Москве хотелось, чтобы Ханой официально заявил о своей ссоре с Пекином. Но Хо Ши Мин и его преемники предпочитали осторожный нейтралитет. Им удалось держать Советский Союз достаточно далеко от их военных действий. Время от времени они жаловались, что поставки оружия и военного снаряжения осуществляются слишком медленно. Бывали случаи, когда они утаивали от наших советников свои стратегические планы – точно так же, как свои шашни с китайцами. Наши советники, вкупе со своим московским начальством, считали северовьетнамцев народом подчеркнуто независимым и скрытным. На эти черты вьетнамского характера горько жаловался Москве наш посол в Ханое Илья Щербаков. Я думаю, американцев немало бы потешили эти советские затруднения, стань им известно содержание щербаковских донесений. В дальнейшем не раз случалось, что Москва получала более детальную информацию о переговорах, ведущихся с Ле Дык Тхо в Париже, от Генри Киссинджера, чем от "наших вьетнамских братьев".

На Ближнем Востоке Советский Союз также попал в положение, в котором он не много мог себе позволить. После смерти Насера нам оставалось разве что поддерживать арабских экстремистов. По мере укрепления (к ужасу Москвы) власти президента Садата советское руководство начинало думать, что малейший отход от максимально жесткой линии только усложнит усилия, все еще предпринимаемые для сохранения остатков былого влияния СССР в Египте.

Не приходится удивляться, что Громыко пробурчал: мы не собираемся "платить авансом", еще не зная, что получим от американцев взамен за принятие нами их концепции неделимости. Каждый раз, когда заходила речь об этой концепции, Громыко заявлял, что не прельщает его, дескать, "журавль в небе". Но, конечно, не в этом причина, почему оказалась отложена встреча Брежнева с Никсоном, – существовали, несомненно, другие факторы, заставлявшие как Кремль, так и Белый дом оттягивать ее и выжидать. В промежутке нас ожидал неприятный сюрприз.

В июле 1971 года Киссинджер начал проводить свою "тройственную политику", тайно посетив Пекин. Советское руко-

водство восприняло это как чувствительный удар. Громыко несколько недель ходил с кислой физиономией.

После того как в феврале 1972 года в Китае побывал Никсон и было опубликовано "Шанхайское коммюнике", состоялось бурное заседание Политбюро. Всего за несколько месяцев до того Китайская Народная Республика была принята в ООН. Формально СССР много лет подряд выступал за членство Китая в ООН, но теперь эти усилия увенчались поистине пирровой его победой. Не успел Малик выступить с приветствием, адресованным делегации КНР, как из Москвы ему дали знать, что Пекин "блокируется с империализмом".

В Шанхайском коммюнике отмечалось, что ни одна из подписавших его сторон "не стремится к гегемонии в районе Азии и Тихого океана и будет противодействовать усилиям любой третьей стороны... установить здесь свою гегемонию". Этот прозрачный намек на намерения Советского Союза очень обозлил советское руководство. В дальнейшем Киссинджер подтвердил, что Кремль не ошибся в оценке сути коммюнике. "Две стороны, – писал он, – не упускали из виду совместную задачу противодействия тому явлению, которое в коммюнике было названо "гегемонизмом". Попросту говоря, это означало противодействие советским попыткам изменить соотношение сил в мире в свою пользу".*

Несмотря ни на что, я ощущал явно воскресающую самоуверенность нашего руководства. После многих неприятностей 60-х годов, начавшихся с Берлина, осложнений с Чехословакией и наших попыток сравняться с США в гонке вооружений, Советский Союз теперь воспрянул и становился все более мощным соперником Соединенных Штатов. Наши руководители заново проанализировали обстановку в мире и начали менять направление курса внешней политики государства. Мои надежды на перемены окрепли, хотя я и отдавал себе отчет в том, что они как-то противоречат сложившемуся у меня представлению о нашей политике в отношении ООН, разоружения и по другим вопросам.

Мне было приятно принимать участие в приготовлениях к встрече на высшем уровне и работать над тем, чтобы эта встреча увенчалась, по возможности, реальным успехом. Главное –

---

* Washington Post, 01.30.1983.

предстояло ликвидировать расхождения по СОЛТ. Будучи в Нью-Йорке, я маневрировал, как мог, следуя общей линии нашей дипломатии в ходе предварительного обсуждения проблем, связанных с контролем стратегических вооружений. Работая теперь в Москве, я оказался уже непосредственно вовлечен в подготовку СОЛТ.

В 60-х годах Советский Союз разместил вокруг Москвы противоракетную систему, получившую на Западе условное наименование "Галош". Как было заявлено, она должна обеспечивать защиту населения от баллистических ракет. Во время встречи с президентом Джонсоном в Гласборо в 1967 году Косыгин дал понять, что,в то время как США собираются вести переговоры только об ограничении количества противоракетных установок, Советский Союз полагает, что в первую очередь надо обсуждать вопрос о наступательном оружии – стратегических ракетах с ядерными боеголовками. К тому времени, когда я сделался советником Громыко (1970), позиция Москвы изменилась на прямо противоположную. Теперь уже мы хотели прежде всего ограничения числа противоракетных установок. Это сальто свидетельствовало о советском желании задержать реализацию американской системы защиты от баллистических ракет – "Сейфгард"; последняя была разработана в ответ на наш "Галош", который оказался менее совершенным, чем ожидалось.

В общем, существовало серьезное желание достичь соглашения по СОЛТ. Советское руководство страстно жаждало равенства с Соединенными Штатами. Озабоченность Политбюро непредсказуемым исходом гонки вооружений, в которой каждая сторона надеялась добиться стратегического преимущества, усугублялась также печальной необходимостью изымать из народного хозяйства все больше средств на реализацию военной программы. Советские экономисты настойчиво предупреждали, что если военные расходы будут продолжать расти в том же темпе, это начнет серьезно угрожать производству товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Вдобавок несомненное превосходство США в жизненно важной области компьютерной технологии увеличивало советские опасения, что гонку вооружений могут выиграть американцы.

Брежнев понимал, что даже если соглашение не состоится, сам факт вступления в переговоры по СОЛТ принесет Совет-

скому Союзу моральные выгоды. Эти переговоры могут способствовать тому, что американский Конгресс урежет ассигнования на некоторые из военных программ. Можно использовать их и в целях советско-американского сближения в ущерб Китаю, и для того, чтобы попытаться сеять раздоры в НАТО. В основном по этой причине Советы предпочли на этот раз строго конфиденциальные переговоры, не ставя о них в известность Объединенные Нации. Это было необычное явление в советской практике: до сих пор мы предпочитали всячески рекламировать ведущиеся нами переговоры о разоружении. СОЛТ рождался в муках. Особенно болезненно воспринимали его военные. После десятилетий абсолютной секретности, окружавшей наращивание советских вооружений, представлялось несуразным раскрывать противнику даже хотя бы одни названия наших систем оружия. Забавно, что Советы так и не смогли заставить себя пойти на "рассекречивание" этих названий и решили пользоваться условными обозначениями наших боевых средств, имеющими хождение в НАТО. Министр обороны Гречко за все время переговоров по СОЛТ так и не оправился от шока. Его неизлечимое недоверие к переговорам и яростное неприятие самой их идеи, столь хорошо известные всем нам, их участникам, оказали негативное воздействие даже на более реалистично мыслящих и толковых генералов и политических деятелей. Гречко вновь и вновь, иногда вовсе не к месту, пускался в резонерские рассуждения об агрессивной природе империализма, которая, как он уверял нас, не изменилась. Единственной гарантией от возникновения новой мировой войны остается непрерывное наращивание советской боевой мощи.

Гречко, которого многие в Москве считали туповатым, не только пользовался поддержкой военных старого закала, но к тому же был обязан своей карьерой в значительной мере тому обстоятельству, что в годы второй мировой войны они с Брежневым были приятелями. Их дружеские отношения продолжали оставаться достаточно прочными, и Гречко использовал право свободного доступа к партийному вождю, чтобы постоянно убеждать его продолжать наращивание военной мощи СССР. Подчинившись приказам сверху, Гречко, неохотно примирился с открытием переговоров по СОЛТ, но почти немедленно развернул нечто вроде партизанской кампании, которая дала ему возможность затормозить процесс перего-

воров. Он установил строгий контроль за своими подчиненными, сдерживая их сотрудничество с МИДом. Если поначалу Николай Огарков и его коллеги имели возможность высказываться относительно свободно, теперь Гречко требовал, чтобы их выступления не выходили за пределы заранее составленных текстов, которые должны были заблаговременно представляться на утверждение министру обороны.

Этот нелепый приказ существенно затруднил переговоры по проблемам, связанным с СОЛТ. Отношения между Гречко и Громыко никогда не были теплыми, но теперь они ухудшились до такой степени, что некоторое время оба министра вовсе избегали непосредственного общения. Эта "игра в молчанку" распространилась и на ряд сотрудников обоих министерств. Более того, позиция Гречко до некоторой степени противоречила взглядам его же собственных ближайших помощников. Огарков, к примеру, как-то сказал: "У нас некоторые все еще мыслят устарелыми категориями. Они продолжают долбить уроки первой и второй мировой войн и не всегда понимают современные военные проблемы". Огарков не упомянул ни одной конкретной фамилии, но было понятно, что он имеет в виду, в частности, Гречко.

Как раз в период СОЛТ очень возросла роль Добрынина, осуществлявшего прямой контакт с Белым домом, поскольку Брежнев и Громыко, равно как и Никсон с Киссинджером, не доверяли способности советского бюрократического аппарата эффективно содействовать переговорам и успешно довести дело до подписания соглашения. В начале переговоров Громыко активно пытался подключить к ним военных. Он хотел быть уверен, что ему и его министерству не придется биться в одиночку как единственным сторонникам контроля вооружений. Он надеялся приучить командование советских вооруженных сил мыслить категориями ограничения вооружений, вместо того чтобы добиваться их наращивания.

– С военными сложно обсуждать эти вещи, – сказал мне Громыко. – Но чем больше они знают, чем больше встречаются с американцами, тем легче будет превратить наших военных в нечто большее, чем просто поклонников воинской дисциплины, этаких современных Скалозубов.

В те дни, когда Громыко высказывался в таком духе, он уже видел, что его попытка поставить военных во главе нашего коллектива, готовящего соглашение СОЛТ, потерпела

неудачу из-за категорических возражений Гречко. Поэтому ответственным с советской стороны за реализацию СОЛТ был назначен заместитель министра иностранных дел Владимир Семенов. В качестве главного нашего делегата на переговорах он начал в ноябре 1969 года обсуждение проекта СОЛТ с американской делегацией, возглавляемой Джерардом Смитом.

Смит, со своей стороны, был недоволен тем, что некоторые принципиально важные вопросы были изъяты из ведения непосредственных партнеров по переговорам и обсуждались на уровне Добрынин–Киссинджер. Он назвал переговоры "лицемерием".* В этом определении содержалась доля истины. Но хотя переговоры были важными во многих отношениях, едва ли удалось бы добиться на них принципиально значимых, решающих успехов без прямого секретного обмена мнениями между руководителями обоих государств.

В состав советской делегации входило несколько офицеров, действительно знакомых с областью стратегических вооружений и, что не менее важно, находящихся в расцвете своей военной карьеры. В прошлом военные участники переговоров с советской стороны чаще всего были либо людьми недостаточно компетентными, либо готовящимися уйти в отставку. Ввод в делегацию по СОЛТ более молодых и сведущих военных специалистов означал существенный шаг вперед в деле подключения вооруженных сил к процессу контроля над вооружениями. По предложению Громыко, Политбюро обязало всех семерых делегатов ставить свои подписи на каждом донесении или рекомендации, которые советские участники переговоров направляли телеграфом в Москву. Подписи военных нужны были Громыко, чтобы смягчить оппозицию соглашению СОЛТ со стороны московской военной верхушки. Правда, телеграммы, заканчивающиеся сразу семью подписями, выглядели весьма необычно; я думаю, это был единственный случай такого рода в советской дипломатической практике.

Громыко отдавал должное новому, более инициативному поколению военных, образовавшему верхний эшелон в наших вооруженных силах в конце 60-х годов. Место военных, мне-

---

* Gerard Smith, Doubletalk. The Story of SALT 1. "Doubleday", 1980.

ние которых определялось опытом, вынесенным из командования войсками в годы второй мировой войны, а то и в еще более давние времена (к таким военачальникам относился, в частности, маршал Матвей Захаров, начальник Генерального штаба, который, как правило, дремал за письменным столом, сидя в своем московском кабинете), заняли новые офицеры высокого ранга, среди которых были люди пытливого ума, с широким кругозором.

Выразителем этих меняющихся взглядов и более современного образа мышления можно было считать, к примеру, Огаркова, с которым я впервые встретился в 1970 году как с одним из представителей Министерства обороны в советской делегации на переговорах по СОЛТ. Он удивил меня тем, что прямо, без обиняков, ответил мне на вопрос такого рода, от которого многие из его коллег предпочли бы уклониться. Огарков был стойким, убежденным защитником принципа наращивания вооружений, но когда я спросил его, нуждаемся ли мы, по его мнению, в договоре СОЛТ, он сказал, что да, он так считает, хотя и с некоторыми оговорками.

На совещаниях нашей делегации мне иногда приходилось наблюдать, как Огарков на практике руководствуется этим своим убеждением, высказанным так лаконично и с такой прямотой. Когда обсуждение сосредоточивалось на сложных сопутствующих проблемах, он часто ”выпрямлял” ход дискуссии, четко формулируя ждущие своего решения главные вопросы. Видно было, что он воспринимает СОЛТ в комплексе со сложными политическими факторами и верит, что можно достичь соглашения, которое будет обеспечивать безопасность СССР.

Для генерала Николая Алексеевича Огаркова и других военных современного склада СОЛТ представлял собой средство добиться на путях переговоров тех целей, которые, как опасалось советское руководство, не могут быть достигнуты прямым соревнованием в гонке вооружений с Соединенными Штатами: затормозить превращение технико-экономической мощи Америки в военные преимущества и таким образом получить передышку, которая позволит Советскому Союзу сократить разрыв. Владимир Семенов был опытным дипломатом, но нередко жертвовал принципами во имя цели. Он был достаточно увертлив и искусен, чтобы избежать любой опасной или критичной ситуации. Коллеги считали Семенова

приспособленцем, который всегда готов изменить свою точку зрения в угоду преобладающим политическим веяниям в Москве.

Лень Семенова и его привычка подолгу отлеживаться в больницах в порядке длительного отдыха раздражали вечно деятельного Громыко. Но неоспоримые профессиональные качества Семенова заставили начальство назначить его главой советской делегации на переговорах по СОЛТ. Громыко не испытывал угрызений совести при мысли о том, что его заместителю придется "погрязнуть" в технических аспектах контроля вооружений. Дело в том, что Громыко считал эти переговоры скорее интермедией. "Самый короткий путь к достижению соглашения, – твердил он мне, – это прямой путь". По его мнению, прямой путь пролегал через Добрынина и вел непосредственно к Киссинджеру и Никсону.

Позиция Громыко определялась тем, что на СОЛТ он смотрел лишь как на подступы к гораздо более важному политическому процессу. Его цель, – и в этом отношении его поддерживал Брежнев и дополнительно воодушевлял Добрынин, – выглядела так: добиться взаимопонимания с Соединенными Штатами по широкому кругу вопросов; контроль вооружений был главным из них, но не единственным.

Хотя Семенов играл в переговорах по СОЛТ формально существенную роль, его держали в черном теле. Москва инструктировала его с недостаточной оперативностью, круг информации, предоставляемой в его распоряжение, был ограничен. И в Хельсинках, и в Вене он был лишен значительной части той информации, которая поступала в МИД из-за рубежа.

Формально он как замминистра продолжал отвечать за осуществление общего контроля над рядом немаловажных областей внешней политики, включая советско-германские отношения. Поэтому он регулярно наведывался в Москву, пытаясь получить у меня и у других помощников Громыко свежую информацию по широкому кругу вопросов. Громыко нередко держал его в неведении даже в отношении прогресса, достигнутого по СОЛТ. Конечно, Семенов знал о существовании канала связи Добрынин–Киссинджер, но не сразу, а иногда и вовсе с большим запозданием, узнавал о том, что обсуждалось или согласовывалось по этому "прямому каналу".

Киссинджер, у которого были свои причины подобным же образом третировать американскую делегацию на перегово-

рах, отмечает два случая, когда эта двойная система допустила сбой. В обоих случаях – один из них относится к маю 1971 года, другой – к апрелю 1972, Киссинджер, по его словам, не исключал возможности того, что действия Семенова представляли "попытку столкнуть между собой наши две линии",* по которым параллельно велись переговоры.

На самом деле таких намерений у Семенова не было. В мае Советы отказались на время от своей обструкционистской тактики, надеясь, что кампании против средств защиты от баллистических ракет, прокатывающиеся по Соединенным Штатам, заставят Белый дом согласиться на ограничение только систем противоракетного оружия. Добрынин в принципе согласился объединить обсуждение вопроса об оборонительном и наступательном вооружении. А Семенов, обедая в частном порядке с Джерардом Смитом, предложил обсудить вопрос о замораживании имеющегося количества межконтинентальных баллистических ракет только после того, как будет заключено соглашение насчет систем противоракетной обороны. Это была старая советская позиция, уже отвергнутая Киссинджером. Но это не значит, что Семенов пытался отступиться от того шага вперед, который был сделан в ходе тайных переговоров Киссинджер–Добрынин: просто Семенов, за неимением иного, действовал сообразно уже устаревшим указаниям, полученным из Москвы.

Другой инцидент произошел в столице Финляндии. Семенов дал понять, что Москва "пересматривает" свою позицию по последнему из основных вопросов СОЛТ – вопросу о предельно допустимом количестве баллистических ракет наземного и подводного базирования. Между тем по этому вопросу только что было достигнуто соглашение на встрече Киссинджера с Брежневым, ради которой Киссинджер тайно прилетал в Москву. Хотя Семенов ограничился лишь намеком, Никсон с Киссинджером, по-видимому, усмотрели в его словах попытку подорвать уверенность президента США в том, что соглашение уже считают в самих советских верхах окончательно достигнутым. Но дело было в другом. Семенов просто еще не успел получить свежих указаний из Москвы и вынужден был руководствоваться "не окончательными" и

---

* Kissinger, White House Years, p.817, 1155.

неточными сведениями, полученными им в МИДе от одного из собственных информаторов.

Изменение советской позиции по вопросу о ракетах, запускаемых с подводных лодок, конечно же, способствовало достижению соглашения. В этом вопросе Громыко одержал главную победу над маршалом Гречко, который упорно сопротивлялся до самого конца. Я несколько раз был свидетелем ожесточенных дебатов по этому вопросу на заседаниях Военно-промышленной комиссии (ВПК), где решающую роль играл Дмитрий Устинов, в то время секретарь ЦК. Когда Громыко, зная, что ему обеспечена поддержка Брежнева, спорил с Гречко, Устинов всячески пытался склонить последнего к уступкам, и тот еще больше выходил из себя.

К этому времени наша мидовская рабочая группа закончила составление проектов других документов, подготавливаемых к встрече на высшем уровне. В их числе была Декларация об основных принципах взаимоотношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Брежнев и Громыко придавали ей большое значение. Американцы же, по-видимому, не сразу осознали, насколько советская сторона заинтересована в подписании этого документа. Киссинджер, похоже, был озадачен, услышав от Брежнева, что эта декларация даже более важна, чем планируемое соглашение по СОЛТ.

Американцам декларация представлялась всего лишь набором общих фраз, сдобренным пропагандистской риторикой. Но советская сторона рассчитывала ублажить ею тех членов кремлевского руководства, которые высказывали сомнения в уместности московской встречи на высшем уровне, в частности, потому, что эта встреча проходила как раз после возобновления американцами бомбежек Ханоя и вообще территории Северного Вьетнама.

Положения декларации о том, что американо-советские отношения должны строиться "на основе мирного сосуществования" и базироваться на принципах "суверенности, равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды", для советского руководства означали многое. Они выражали радикальное изменение позиции Вашингтона по отношению к СССР. Декларация означала юридическое признание Соединенными Штатами ленинской формулы мирного сосуществования – немалый триумф советской внешней политики.

Самым воодушевляющим для советских было признание Соединенными Штатами принципа равенства. Эти слова звучали музыкой для ушей советского руководства, на протяжении многих лет страдавшего комплексом неполноценности по отношению к США. Даже если бы единственным плодом встречи на высшем уровне оказалась эта декларация, Москва была бы уже вполне счастлива.

В отличие от декларации, сформулированной без особых тонкостей, лишь бы задобрить наиболее недоверчивые элементы в Политбюро, совместное советско-американское коммюнике представляло собой документ, над которым пришлось тщательно поработать. Коммюнике затрагивало ряд конкретных проблем, по которым позиции США и СССР резко расходились. Когда проекты "Основных принципов взаимоотношений" и совместного коммюнике были розданы членам и кандидатам в члены Политбюро, Пономарев сделал попытку внести в них некоторые коррективы. Его пожелания передал мне по телефону его помощник Вадим Загладин.

– Так не пойдет, Аркадий, – в голосе, мурлыкающем в трубке, явно сквозили нотки угрозы. – Текст совместного коммюнике недостаточно подчеркивает нашу поддержку национально-освободительных движений в развивающихся странах. Тексту не хватает идеологической выдержанности. Зарубежные (коммунистические) партии не поймут, почему мы подписали с американцами такой выхолощенный документ.

Я отлично понимал, что беспокоит Загладина. Громыко приказал нам подготовить такой проект, где стандартная риторика насчет империалистического Запада и обязательности идеологической борьбы в современном мире была бы совсем приглушена. "Не стоит размахивать перед быком красной тряпкой", – так звучало распоряжение Громыко.

По мнению Загладина, мы перестарались. Ни в "Основных принципах", ни в проекте совместного коммюнике Советский Союз не подтверждал своего постоянного требования о полном выводе войск Израиля с территорий, занятых им в 1967 году. Ни словом не упоминалось о расизме или деколонизации, или об обязательстве СССР добиваться социальной справедливости для угнетенных народов Азии и Африки. По вопросу о Вьетнаме отмечалось решительное расхождение позиций обеих сторон, и только.

Как считал Загладин, оба документа были "политически

выхолощенными", если не считать утверждения в "Основных принципах", что американо-советские "различия в идеологии и... общественном строе... не являются препятствием" для развития "нормальных отношений". Но ортодоксальными коммунистами именно такая формулировка рассматривалась как отход от идеологической непримиримости ко всему капиталистическому.

Мне, разумеется, было известно, что позиция Громыко пользуется поддержкой Брежнева, мнение которого, благодаря проведенным маневрам, никому из его коллег уже не удастся поколебать.

– Нами были получены от Андрея Андреевича совершенно четкие указания на этот счет, – сказал я Загладину. – Если у вас есть возражения, почему бы вам не представить их на рассмотрение Политбюро?

Загладин не сдавался.

– Громыко, конечно, понимает толк в этих вопросах, – признал он, – но мы тоже имеем право высказать свое мнение.

– Конечно, имеете. Но дело в том, что ваше мнение расходится с указаниями, которые мы получили. Поскольку возникло расхождение, доложите о нем на Политбюро. Пусть там решают. А пока что мы подчиняемся полученным распоряжениям.

– Знаешь, Аркадий, мы ведь тоже кое-что значим...

– Ну да, но по части иностранных дел ваши возможности все же ограничены.

Когда проект был в предварительном порядке разослан членам Политбюро, только у председателя Совета министров Косыгина возникли вопросы, касающиеся некоторых формулировок. Его помощник попросил меня прибыть к его шефу, но ожидаемого допроса с пристрастием не последовало. Разговор был коротким и любезным. На заседании Политбюро текст, предложенный МИДом, было решено одобрить ("принять за основу для предстоящих переговоров") фактически без обсуждения.

Поскольку Политбюро рассматривало документы, за составление которых я нес личную ответственность, я присутствовал на заседании в Кремле, сидя вместе с Кузнецовым, Корниенко и Макаровым за спиной Громыко, занявшего место у длинного стола. Брежнев спросил, все ли члены Политбюро своевременно получили проект американо-советских

документов и успели ли с ними ознакомиться. Большинство присутствующих молча кивнули головой.

– Есть предложение одобрить проект, – произнес Брежнев.

Все молчали.

– Проект одобрен, – заключил Брежнев, чуть выждав.

Макаров дотронулся до моего плеча и прошептал:

– Все в порядке, Аркадий, можешь идти.

Из этого и других посещений Кремля, особенностей подготовки Громыко к заседаниям Политбюро и бесед с коллегами, которые чаще моего попадали на эти заседания, я вынес впечатление, что процедура, свидетелем которой мне довелось стать, была обычной для этого органа, а не представляла собой какого-то исключения. Пока я ждал своей очереди в приемной, другие советники, вызываемые в зал заседаний Политбюро, то и дело скрывались за его дверью и почти сразу выходили обратно. Сидя за столом, уставленным бутылками минеральной воды и вазочками с печеньем, государственные мужи стараются разделываться со своими формальными обязанностями в как можно более быстром темпе. Заседание, на котором я побывал, длилось с 10.30 утра до пяти часов дня, с перерывом на обед, и шло спокойно, упорядоченно и методично. Хотя повестка дня готовится заранее, прочие формальные требования процедуры заседаний не соблюдаются, например не устанавливается наличие кворума.

Заседания Политбюро происходят либо в кремлевском кабинете генсека, либо в здании ЦК на Старой площади. Срочные встречи отдельных членов Политбюро или встречи, связанные с прибытием высоких гостей из-за границы, назначаются во Внуковском аэропорту. В Кремле члены Политбюро сидят вдоль длинного стола, во главе которого занимает место Генеральный секретарь. Кабинет расположен на втором этаже; стены обшиты деревянными панелями, высокий потолок. На присутствующих смотрит со стены ленинский портрет. Окна кабинета выходят в кремлевский двор. У дверей стоит пост охраны; охранники, конечно, знают в лицо всех присутствующих.

Проект совместного советско-американского коммюнике был без всяких осложнений одобрен на Московской встрече 1972 года. Громыко попросил меня сопровождать его и Добрынина в Кремль на встречу с Генри Киссинджером, где предполагалось обсуждение коммюнике. В тот раз я впервые уви-

дел Государственного секретаря Соединенных Штатов за столом переговоров.

Мне очень понравилась покладистость, проявленная Киссинджером в ходе дискуссии. Он выразил пожелание внести в текст несколько незначительных поправок, но видя, что Громыко против, не стал настаивать.

Когда мы в машине Громыко возвращались в министерство, я шутливо сказал Добрынину, что, наверное, Киссинджер и в Вашингтоне не доставлял ему больших неприятностей, – судя по тому, как легко было сегодня получить его одобрение составленного нами текста. Добрынин воспринял мое замечание всерьез и выпалил в ответ, что Киссинджер вовсе не всегда такой сговорчивый и с ним постоянно приходится быть начеку:

– Вы еще рта не успеете раскрыть, как ему уже известно, что он должен вам возразить.

Громыко добавил:

– К тому же он скользкий, как змея, – никто не знает, что у него на уме.

Громыко произнес это без тени враждебности. Даже по отношению к противнику он применял все ту же шкалу оценок: главным для него было – серьезный человек или несерьезный. Киссинджера он находил серьезным.

Вначале Громыко был несколько обескуражен шутливой манерой разговора, свойственной Киссинджеру, но вскоре, к своему удовольствию, распознал в нем человека незаурядного, умудренного опытом дипломата, прекрасно знакомого с сутью обсуждаемых вопросов. Громыко не жалел труда и времени, чтобы подготовиться к каждой очередной встрече с Киссинджером, и устремлялся на нее с восторженной пылкостью, достойной новобрачного в ночь свадьбы.

Фактически успех Московской встречи на высшем уровне в мае 1972 года был в значительной степени обеспечен благодаря предварительному посещению Киссинджером Москвы и его переговорам с Громыко. Здесь уместно вновь подчеркнуть также роль МИДа и рассеять некоторые неверные представления, распространенные на Западе и касающиеся роли прочих учреждений и личностей в налаживании советско-американских отношений. В этой связи часто упоминается, например, имя Георгия Арбатова. Запад считал его одним из наиболее влиятельных советников Брежнева во всем, что ка-

салось отношений с Соединенными Штатами. Но я никогда не встречал Арбатова в кабинете Громыко.

Я впервые познакомился с Арбатовым, будучи еще студентом. Он и мой двоюродный брат тогда только что закончили институт и начали работать журналистами, — в этой области Арбатов проявил недюжинные способности.

Кроме того, он работал в отделе ЦК, возглавляемом Юрием Андроповым, где приобрел полезные знакомства. Мои профессиональные контакты с ним возникли, когда мы оба начали писать статьи для распространенного еженедельника "Новое время"; они возобновились после того, как Арбатов был назначен директором Института США и Канады, который сам же помогал организовывать. Он сумел набрать в штат этого института не только научных работников — специалистов по Соединенным Штатам, но и дипломатов и прочих. Сделав ловкий ход, он назначил сына Громыко, Анатолия, руководителем отдела внешней политики США. Арбатов набрал в свой институт также экспертов из числа военнослужащих и офицеров КГБ — некоторых в качестве штатных сотрудников, других — на роль внештатных консультантов.

Когда я в 1970 году вернулся в Москву, чтобы занять должность советника Громыко, Арбатов предложил мне в своем институте должность старшего научного сотрудника на полставки, — хорошо оплачиваемую, но необременительную работу. От меня требовалось только консультировать самого Арбатова и некоторых его постоянных сотрудников, в том числе и Громыко-младшего, по отдельным разрабатываемым ими темам. Как правило, министр иностранных дел неохотно разрешал своим подчиненным работать за пределами министерства; однако он охотно согласился, чтобы я поработал по совместительству в отделе Института США, руководимом его сыном.

Арбатов специализировался по "американским делам" в начале перспективного периода, и такой выбор дал ему ряд преимуществ. К ним относились регулярные поездки за границу и феерическая карьера в Академии наук и в партии. Вместе со своим институтом он вырос в значительную величину, чему способствовали его бойкое перо, острое политическое чутье и вкус к интригам. В 1970 году, в возрасте 47-ми лет, он получил звание члена-корреспондента Академии наук — весьма престижное как в социальном плане, так и для ученого

мира. Спустя четыре года он сделался уже действительным членом Академии, а вслед за тем был избран членом ЦК и вошел, таким образом, в состав правящей элиты.

Мне приходилось неоднократно работать вместе с Арбатовым во временных комиссиях, образуемых для составления проектов особо важных брежневских выступлений. Любезный и покладистый с вышестоящими и с друзьями, а тем более с американцами (и вообще иностранцами), Арбатов был высокомерен и часто груб с подчиненными. Более энергичного пропагандиста советской системы трудно было бы сыскать. Но я бы лично ему не доверился. Человек интеллигентный, амбициозный, но беспринципный и неразборчивый в средствах, он точно так же ревностно служил бы любому – без малейших колебаний, лишь бы это отвечало его личным интересам.

Наибольших успехов Арбатов достиг в амплуа нашего неофициального представителя в неофициальной же Америке. Интересный и располагающий к себе собеседника, он оказался в числе тех немногих видных советских деятелей, кого охотно приглашали выступить перед общественными организациями, корпорациями, на научных семинарах, зазывали в вашингтонские салоны. Здесь он имел возможность познакомиться с настроениями влиятельных групп американской общественности и, в свою очередь, знакомить их с тем, что он подавал как точку зрения и образ мышления советского руководства. Будучи членом ЦК и, следовательно, частицей правящей элиты, Арбатов формально не занимал никакой официальной правительственной должности. Как директор академического института он мог выдавать себя за глашатая независимых суждений, по аналогии со многими академиками западного мира. Арбатов мог позволить себе высказываться более решительно, чем Добрынин, – по той простой причине, что от его высказываний официальные инстанции всегда могли откреститься.

Московское начальство позволяло и даже поощряло Арбатова не придерживаться ортодоксальной точки зрения при разъяснении Западу советской идеологии и политики. Действуя таким образом, он мог легче убедить США и вообще Запад, что его институт действительно независим, подобно американским академическим институтам и научным коллективам ("мозговым центрам").

Фактически же арбатовский институт используется ЦК и КГБ как некий форпост, выполняющий ряд задач: сбор ценной информации, пропаганда советских воззрений, вербовка в США лиц, симпатизирующих Советскому Союзу, распространение ложных сведений. Последнее происходит особенно успешно, поскольку Советам удалось создать благоприятное мнение на Западе о статусе и деятельности этого института.

В то же время институт почти не участвует в формировании советской политики в области взаимоотношений с Соединенными Штатами. Никто из сотрудников института не получает указаний от МИДа и не имеет доступа к предложениям, которые касаются США и представляются ведомством Громыко на рассмотрение Политбюро.

Когда Советский Союз и Соединенные Штаты готовились к заключению соглашения СОЛТ, многие американцы предполагали, что в закулисных маневрах вокруг этого соглашения ключевую роль играет Арбатов. В действительности все принципиальные решения выносились Политбюро на основе рекомендаций, исходящих от Громыко, Устинова и Гречко с их штабами сотрудников.

Арбатов не был даже в курсе ряда существенно важных моментов, определявших отношение Кремля к СОЛТ. Так что он был менее влиятельным участником процесса, чем Добрынин или даже Семенов. Завеса тайны, окутывавшая эти переговоры, была необычно плотной даже для помешанных на секретности советских работников. В Москве действительно знала все детали лишь небольшая горсточка людей. Арбатов не имел доступа к телеграфным донесениям Добрынина или Семенова, — за исключением тех немногих, которые предоставлялись в его распоряжение, когда он работал над текстами брежневских речей. Мне не раз приходилось кратко информировать его о содержании сообщений Добрынина и Семенова и о предложениях Громыко по СОЛТ, вносимых на рассмотрение Политбюро.

Многие из известных статей Арбатова, посвященных СОЛТ, написаны не им: ряд таких статей фактически готовили для него мидовцы. Просто в тех случаях, когда это находили целесообразным, его формальное авторство использовалось для как бы неофициального проталкивания мнений, которые в действительности были уже официально одобрены. Я не хочу сказать, что Арбатова держали в полном неведении.

Он не мог бы выполнять свою миссию, если бы не представлял себе складывающуюся ситуацию хотя бы в общем виде.

Его основная задача состояла в том, чтобы выявлять настроения и тенденции в среде влиятельных американцев, способные оказывать воздействие на позицию администрации США. Наряду с этим он должен был пропагандировать и защищать советскую точку зрения. В этом качестве он оказался несомненно полезным приобретением для Брежнева и других кремлевских руководителей. Арбатов — мастер выкачивать секретные сведения из многих людей, кого ввели в заблуждение его показные объективность и независимость, его расчетливый либерализм и мнимое влияние на советское руководство.

Имя Арбатова связано скорее не с положительным, а с негативным аспектом "разрядки" — с идеологической войной против США, пропагандой, дезинформацией, сбором сведений, интересующих КГБ. Соединенным Штатам давно следовало бы добиваться от Советов более полной взаимности. Ибо Арбатов пользуется почти неограниченным доступом к американским средствам массовой информации, а советское радио, телевидение и пресса отнюдь не предоставляют таких возможностей никому из американцев. Дипломатам США и других стран Запада, аккредитованным в Москве, нередко отказывают в разрешении выступить перед советскими людьми даже в дни американских национальных праздников,и притом с самыми невинными заявлениями.

* * *

Весной 1972 года я был вовлечен в подготовку материалов к предстоящему пленуму ЦК. Суть задания состояла в том, чтобы оправдать перед партией поворот Кремля в сторону "разрядки" отношений с Соединенными Штатами. Было решено созвать специальный пленум, который должен обеспечить поддержку этому новому внешнеполитическому курсу.

Я оказался единственным представителем МИДа в рабочей группе, которой было поручено составление проекта доклада Брежнева на пленуме. Группа состояла из работников секретариата ЦК, так как подготовка партийных пленумов была по сути дела их обязанностью. Мы собирались на даче ЦК, приблизительно в сорока пяти минутах езды от Москвы. Здесь нам была создана комфортабельная обстановка для работы. В

свое время эта двухэтажная дача из белого кирпича, где мы дневали и ночевали когда-то, принадлежала богатым промышленникам братьям Морозовым, известным в предреволюционные годы своим меценатством и денежной поддержкой, которую они оказывали большевистской партии. Одним из братьев дача была подарена Горькому.

Подготовив в отведенных нам комнатах второго этажа, независимо друг от друга, отдельные фрагменты доклада, мы собирались затем внизу, в просторной гостиной, чтобы состыковать эти куски и добиться единства стиля и терминологии.

Лично моя задача сводилась к тому, чтобы доказать, что Советский Союз заинтересован в предстоящем визите Никсона, но что какие бы то ни было соглашения с США не должны знаменовать собой угасания идеологической борьбы с "империализмом", отражаться на неизменной поддержке нами "освободительных движений" или приводить к ослаблению наших усилий по достижению действительного паритета со США в области вооружений.

Я написал, что визит Никсона имеет существенное значение не только потому, что это будет первый со времен второй мировой войны американский президент, который посетит Советский Союз, но и потому, что данный визит представляет собой "выдающуюся победу" миролюбивой политики СССР. В нем, дескать, следует усматривать "убедительное доказательство могучего роста советского влияния во всем мире".

Моя аргументация не была оригинальной. Не была она и противоречивой, хотя бы потому, что я облек ее в такие общие фразы. Большая часть этих фраз сохранилась в окончательной редакции текста брежневского доклада, зачитанного им на закрытом пленуме ЦК, и эти аргументы легли в основу шаблонной публичной защиты советского стремления к "разрядке".

Но мне стало известно, что этот доклад не положил конец внутрисоветским спорам о политике разрядки; доклад был сам по себе, а споры — сами по себе. Брежнев получил поддержку ЦК в отношении встречи с Никсоном после чисто формального обсуждения этого вопроса на пленуме, но при этом он фактически обошел нескольких своих скептически настроенных коллег из Политбюро, оставив их при прежнем мнении и не оспаривая их. Он избежал этих споров, вынеся вопрос на пленум ЦК в расчете на то, что многие члены этого органа —

периферийные партийные деятели – глубоко невежественны в вопросах внешней политики и полагаются на авторитет главы партии. Он провел обсуждение этой темы на пленуме так поверхностно, что участникам последнего просто не представилось случая заговорить о таких болезненных, специфических проблемах, как Вьетнам или торговля между Востоком и Западом.

Вопрос о том, как согласовать прием в Москве Никсона и поддержку, оказываемую нами Ханою, возник еще в ходе подготовки проекта доклада. Работники ЦК, трудившиеся на горьковской даче, убеждали меня, в частности, "усилить" абзацы, где речь шла о Юго-Восточной Азии, энергично осудив в них американский империализм. Но когда я повез законченный черновой проект в Москву и сообщил Громыко об этих домогательствах, он потребовал сохранить те мягкие формулировки, которые я счел нужным употребить.

– Мы должны отстаивать свои принципы (то есть противодействовать американской интервенции во Вьетнаме), но спокойно, без надрыва, – говорил он. – Истерики нам не нужно. Это ведь не пропагандистские тезисы для газетных писак, вечно хватающих через край.

На окончательном этапе работы над текстом сам Брежнев, внося некоторые поправки, в основном придерживался этой линии Громыко.

Никсон и Киссинджер могли не беспокоиться, как бы Советы не взяли свое приглашение обратно, оказавшись перед фактом минирования американцами основных гаваней Северного Вьетнама. Это минирование было проведено всего за две недели до намеченной даты встречи на высшем уровне. К тому времени Громыко и Брежнев уже окончательно утвердились в намерении принять президента США в Москве и надеялись сделать этот визит поворотным пунктом отношений между сверхдержавами. Они уже показали, что связывают с Вашингтоном немалые надежды, когда в апреле откликнулись на возобновление бомбардировок Северного Вьетнама лишь чисто формальным протестом. Конечно, минирование означало еще одну болезненную пощечину, но, игнорируя горечь, испытываемую вьетнамским союзником, Кремль не отказался от своего стремления поладить с Соединенными Штатами. Требование Ханоя отменить встречу с Никсоном было оставлено без внимания.

Более того, подготовка к встрече на высшем уровне только усилилась. Праздничный День победы над Германией – 9 мая – я собирался провести дома, в кругу семьи и друзей. Но уже с утра раздался телефонный звонок: я получил распоряжение немедленно явиться в министерство к Василию Кузнецову. Прибыв туда, я узнал, что американцами минирована гавань Хайфона – того порта в Северном Вьетнаме, через который шли все поставки советского вооружения.

Проблема, возникшая передо мной и двумя другими старшими должностными лицами, явившимися по вызову в кабинет Кузнецова, означала необходимость принять принципиально важное и ответственное политическое решение. Чему СССР должен отдать предпочтение – народу Вьетнама, дело которого мы всегда защищали, или же надеждам, связываемым с уже объявленным визитом Никсона, – надеждам на соглашение по СОЛТ и перелом к лучшему в отношениях с Вашингтоном?

Мои коллеги, так же как и я, не представляли себе, какую линию нам следует избрать. Георгий Корниенко высказал мнение, что, может быть, Вашингтон пытается спровоцировать отмену визита Никсона в Москву. Анатолий Ковалев пустился в рассуждения насчет того, удастся ли нам форсировать поставки оружия Вьетнаму через Китай, и как это можно было бы организовать. Он явно ушел от вопроса, стоящего перед нами сию минуту, и Кузнецову пришлось резко вмешаться:

– Сейчас не время философствовать. Нам предстоит выступить с официальным заявлением, и кто-то должен подготовить проект, – заявил он.

Он поручил эту работу Ковалеву и мне, потребовав, чтобы в проекте в немногих словах, но резко были осуждены действия США. Такова предварительная установка, а дальше все зависит от того, какую окончательную линию изберет руководство. Пока мы пишем, он попытается связаться с Громыко, с руководителями Министерства обороны и, если удастся, с Брежневым и получить от них соответствующие указания.

Спустя полчаса или час Кузнецов позвонил в кабинет Ковалева, где мы трудились. Не уточняя, от кого получены указания, он сказал:

– Дело сильно упрощается. Вам не требуется прибегать в заявлении к особенно резким выражениям. Выдержите его в

спокойном тоне, выразите решительное и суровое осуждение. Минирование должно прекратиться.

Меня удивило то, что он даже не упомянул о возможных ответных санкциях.

– Поймите меня правильно, – заключил Кузнецов. – Наверху придают визиту Никсона чрезвычайно важное значение. Все будет продолжаться, как было намечено. Остальное неважно.

Я был поражен. Меня не смущало это решение как таковое. Я сам увлеченно работал над подготовкой к визиту Никсона и связывал с ним определенные надежды. Поражало другое: с какой легкостью мы махнули рукой на действия американцев во Вьетнаме, мгновенно рассчитав, что нам выгодно отвернуться от азиатского союзника, для виду пролив слезу-другую по поводу его участи.

Зато более критичную проблему, связанную с обещанием Брежнева либерализовать американо-советские торговые отношения, не удалось решить столь легко. По этому вопросу у Косыгина и Подгорного возникли сомнения в правильности позиции Брежнева; правда, переубедить его им не удалось. Косыгин признавал важность советско-американских экономических отношений и даже стоял за их развитие, но только при условии, что Советский Союз в максимальной степени сохранит экономическую независимость от Запада. По словам его помощников, он не раз отклонял предложения, сводившиеся к тому, чтобы СССР "растранжиривал" свои природные ресурсы, заключая внешнеторговые сделки, которые, как он опасался, сделают нашу страну чрезмерно зависимой от иностранных рынков. В то время как Брежнев считал подобные многомиллиардные сделки выгодными, поскольку они сулили также преимущества в импорте, Косыгин чувствовал, как опасно экспортировать невозобновляемое минеральное сырье, нефть или газ: это увеличит могущество капиталистического мира и в то же время надолго затормозит дальнейшее развитие советской экономики.

На встрече Никсона Косыгин дал понять, как он недоволен приемом, оказываемым президенту Соединенных Штатов. Читая свое приветствие, адресованное Никсону, он выпустил из текста, подготовленного МИДом, несколько самых радушных и оптимистичных фраз. Правда, от этого общий тон выступления Косыгина не стал недоброжелательным. Это выступле-

ние вполне отвечало линии Политбюро, и лишь немногие посвященные знали, насколько холоднее оно прозвучало по сравнению с намеченным заранее.

Похоже, Косыгин рассчитывал воспользоваться проблемой внешней торговли, чтобы несколько ослабить триумф Брежнева, достигнутый за его счет. Но, как бы там ни было, некоторые опасения, брюзгливо высказанные им в узком кругу, так же стары и непреходящи, как сама история России. В восемнадцатом веке земельная знать, бояре, противились, хотя и тщетно, реформам Петра Великого как чуждым Руси европейским выдумкам. В области как культуры, так и политики консерваторы-славянофилы столетие спустя пытались представить отсталость России благом и видели в изолированности страны ее силу. После второй мировой войны Сталин связал идею национализма с политикой экономической обособленности.

Косыгин отстаивал ту же традицию – то ли из принципа, то ли из самолюбия. А Брежнев призывал к противоположному, – что, впрочем, тоже не раз повторялось в российской истории, – и увлек этой перспективой большинство своих соратников. Для его выступления на пленуме ЦК я подобрал ленинские высказывания в пользу широких экономических связей с капиталистическими странами и фирмами. То обстоятельство, что Ленин прибегал к такой политике в условиях послереволюционной разрухи, не ослабляло стремления Брежнева подкрепить свою позицию этими цитатами полувековой давности, к тому же вырванными из контекста.

Основной чертой этих дебатов накануне встречи на высшем уровне был их зыбкий, неокончательный характер. Не было возможности развить те или иные доводы, придать им бóльшую убедительность, – это не соответствовало бы стилю политики брежневской эпохи. Различия во мнениях затушевывались: считалось, что либо их вообще не возникало, либо они несущественны.

Но, так или иначе, результаты Московской встречи казались мне в основном положительными. Я надеялся, что она будет способствовать нашему сотрудничеству с США и в конце концов поможет нашему руководству понять истинные намерения американцев. Больше всего я был рад заключению соглашений по СОЛТ. Они ограничивали развертывание противоракетных систем и наращивание арсеналов стратегичес-

кого наступательного оружия, а кроме того, означали существенный шаг вперед в области контроля над вооружениями. Правда, соглашением по стратегическому наступательному ракетному оружию устанавливались только количественные пределы, а не ограничения качественного характера. Поэтому СОЛТ 1 не приходится винить за то, что произошло в дальнейшем. Соединенные Штаты в добровольном порядке почти заморозили на 70-е годы свой арсенал стратегического оружия, между тем как Советский Союз продолжал наращивать свой военный потенциал в пределах, оговоренных СОЛТ. В 1972 году еще не существовало фактического равенства сторон в области ядерных стратегических сил – Советы отставали от США по надежности и эффективности ракетных систем, хотя опережали соперника по части конвенциональных сил. Соглашения СОЛТ давали обеим сторонам право модернизировать свое стратегическое наступательное оружие. Москва в полной мере воспользовалась этим правом, Вашингтон в этом отношении действовал гораздо скромнее.

Встреча на высшем уровне дала также лидерам обеих стран возможность лучше узнать друг друга – фактор, важность которого в наш век усиливающейся безличности отношений часто недооценивают. Правда, Брежнев и другие советские руководители по-настоящему так никогда и не нашли общий язык с Ричардом Никсоном и даже не вполне его понимали. Поэтому – а также по причине извечной своей подозрительности – они не доверяли ему. Что бы он ни предпринимал в области американо-советских отношений, – включая и те шаги, которые сами же Советы одобряли, – тот факт, что он оставался их идеологическим противником, парализовал надежду на любое искреннее взаимопонимание, которое могло бы установиться между руководителями обоих государств. Возможно, эта "загадка Никсона" покажется и не такой уж странной, если вспомнить, что даже Генри Киссинджер – человек, хорошо его знавший, – высказался о его характере так: "В нем активно сосуществовали несколько разных личностей, и каждая стремилась одержать верх над остальными".

На одном из совещаний в кабинете Громыко, предшествовавших визиту Никсона, мы ломали голову над тем, что бы рекомендовать подарить Никсону. Громыко сказал:

– Почти у каждого американца есть хобби. Кто может что-нибудь сказать о хобби Никсона?

Он обвел взглядом присутствующих. Все молча покачивали головой. Громыко сухо заметил:

– Я думаю, его бы по-настоящему порадовала только гарантия, что он навеки останется в Белом доме.

Все мы считали личность Никсона такой непостижимой, что не имели ни малейшего представления, чем действительно его можно порадовать. Кончилось тем, что мидовские спецы решили подарить ему катер на подводных крыльях, – только по той причине, что такой катер был у Брежнева и доставлял тому немало приятных минут.

Впрочем, советские руководители нашли, что поведение Никсона чем-то похоже на их собственное, и сделали вывод, что с ним, пожалуй, действительно можно иметь дело, когда речь идет о "реальной политике". Его прагматизм, сдержанные манеры, природная склонность к тайной дипломатии и, наконец, уверенность, с какой он пользовался своей президентской властью, импонировали советским лидерам, были им понятны и знакомы по их собственной среде.

У кремлевской публики создалось также впечатление, что Никсон располагает большей властью, чем это было в действительности. Похоже, это сделалось источником серьезных недоразумений, когда дело коснулось политики Соединенных Штатов.

Брежнев, беседуя с Никсоном, мучился комплексом неполноценности, всячески, разумеется, пытаясь скрыть это от американцев. Но в ходе обмена мнениями с Громыко и другими советскими участниками переговоров это чувство порой прорывалось наружу. Он по многу раз читал и перечитывал перечень тем, подготовленный МИДом для обсуждения с Никсоном. Однажды он заметил, что не убежден, понимает ли Никсон, что он, Брежнев, хочет сказать. Громыко был куда более уверен в себе. К концу переговоров он подчеркнуто демонстрировал уважение, которое вызывает у него Никсон. Когда деловая часть встречи была уже позади, Громыко позволил себе непринужденно пошутить: если Никсон когда-нибудь выразит желание вступить в компартию, "пусть попробует подать заявление, мы рассмотрим его в установленном порядке".

Но Брежнев с Громыко, должно быть, считали, что еще важнее добиться взаимопонимания с Киссинджером. Советским руководителям так нравилось иметь с ним дело, что он

получил у Громыко после визита Никсона интимное прозвище ”Киса”. Это вовсе не означает, конечно, что он был такой мягкий и покладистый, как домашний кот, или что они считали его ”одним из своих”, но таков русский обычай – давать людям ласкательные прозвища в знак симпатии и уважения. По существу же Громыко считал Киссинджера грозным оппонентом, который ”читает в вашей душе, точно в открытой книге”. Еще более усиливали обаяние Киссинджера тот факт, что за его спиной – вся мощь Соединенных Штатов, и то обстоятельство, что интеллигентность сочеталась в нем с исключительной дипломатической хваткой. Словом, он представлялся советским руководителям прямо-таки неотразимым.

Московская встреча имела и негативную сторону: она развеяла иллюзию, будто Кремль способен захотеть как-то модифицировать свои замшелые марксистско-ленинские идеологические схемы. Брежнев добился одобрения своей политики благодаря тому, что подчеркивал ее немедленные выгоды и затушевывал глубинные расхождения с Соединенными Штатами. Однако по мере того, как возвышенные надежды 1972 года улетучивались и на передний план все более выступали исконные противоречия, по мере того, как обострялось политическое соперничество обеих сверхдержав, с трудом достигнутое согласие тоже начало расползаться по швам. Но если советское руководство переоценило уровень неоизоляционистского поветрия, охватившего Соединенные Штаты в связи с Вьетнамом, то американцев тоже постигло разочарование: их упования на то, что Советы будут довольствоваться ролью ”младшей сверхдержавы”, оказались беспочвенными.

Последнее задание, полученное мной в кабинете Громыко, выглядело так: я должен был помочь подготовить документ, выражающий советскую позицию на предстоящей Парижской конференции по Вьетнаму, намеченной на февраль 1973 года. Громыко поручил мне переработать текст советского заявления, подготовленный для него мидовским отделом стран Юго-Восточной Азии. Этот текст был так перегружен стереотипными выпадами по адресу американского империализма, что Громыко жаловался на полную невозможность работать с подобным документом.

– У меня прямо руки опускаются! – возмущался он. – Эти ребята не имеют представления, что надо тут сказать и как это должно быть выражено. Вся надежда на вас!

Громыко действительно был готов предпринять практические шаги ради прекращения войны во Вьетнаме, считаясь с возможной перспективой раздела этой страны. Но другие советские руководители придерживались совсем иной точки зрения. Против соглашения о прекращении военных действий во Вьетнаме выступал, в частности, Юрий Андропов, полагая, что под давлением американской общественности и Конгресса президенту США, скорее всего, так и так придется вывести войска из Вьетнама. Брежнев надавил на этих несогласных, но я до сих пор помню примечательную фразу Андропова, переданную мне знакомым офицером КГБ. С необычной для него образностью Андропов заметил: "Вьетнамскую войну мы выиграем не в Париже, а на улицах американских городов".

Мне не привелось проследить за ходом дебатов, развернувшихся на Парижской конференции. Хотя меня включили в состав советской делегации на эту конференцию, однако незадолго до ее начала я был назначен помощником Генерального секретаря ООН.

20

В декабре 1972 года Громыко вызвал меня к себе. Он принял меня с необычной для себя сердечностью. Едва я преодолел длину отделанной деревянными панелями комнаты с огромным столом для проведения совещаний, как он пригласил меня сесть за маленький столик, стоящий рядом с его письменным столом. Пожевав губами, Громыко заговорил в присущей ему официальной манере.

– Мне посоветовали рекомендовать вас на пост заместителя Генерального секретаря Организации Объединенный Наций. Кутаков* не справляется с возложенными на него обязанностями и положение надо исправить. Как вы относитесь к этому, Шевченко? Если вы хотите, вы можете все обдумать и дать мне ответ завтра.

Речь шла о моем выдвижении на один из самых ключевых дипломатических постов за границей. От такого предложения в СССР никто не отказывается. К тому же тон, каким это было сказано, не допускал возражений.

---

* Леонид Кутаков – бывший ректор МГИМО, был моим предшественником в секретариате ООН.

Дело заключалось не только в том, что Кутаков завалил работу в секретариате. Громыко нужно было иметь в Нью-Йорке "своего" человека, кого-то, кто принадлежал бы к его ближайшему окружению, как, например, Анатолий Добрынин в Вашингтоне. Без сомнения, Лидия Дмитриевна Громыко поддержала мысль заменить Кутакова мною. Она и Лина подружились, когда я работал советником Громыко.

Предложение министра не явилось для меня полной неожиданностью. От своих коллег я уже несколько раз слышал, что меня собираются продвинуть по службе – либо в самом министерстве, либо за границей. Я предпочитал заграницу. Не знаю, было ли это предпочтение отражением подспудного желания разорвать с советской системой, однако если зародыш такой мысли и шевелился в моем подсознании, то работа в Америке могла бы только способствовать его развитию. Тем не менее в какой-то степени желание получить назначение за границу явилось результатом разочарования в работе, в режиме и руководстве. Немаловажной была также и мечта Лины снова поехать за рубеж. К тому же дочери нашей Анне уже минуло десять. Останься мы в Москве еще на несколько лет, мы уже не смогли бы взять ее с собой. За границей для детей советских работников есть только школы-семилетки. Детям старше пятнадцати предписано возвращаться на родину. Им нельзя посещать зарубежные школы, дабы не подпали они под "пагубное влияние буржуазной идеологии".

Как и Лина, я любил Нью-Йорк. Там я чувствовал себя намного свободнее, чем в Москве. С другой стороны, из соображений карьеры, может быть, лучше было бы оставаться в министерстве. По сравнению с МИДом секретариат Организации Объединенных Наций считался заведением второго сорта. Посты в ООН все более рассматривались как синекура для детей советской элиты, а сама ООН давно превратилась в плацдарм для операций КГБ. Правда, пост заместителя Генерального секретаря ООН все еще составлял исключение. В прошлом его занимали Анатолий Добрынин и другие видные дипломаты, сумевшие позже подняться на высокие ступени служебной лестницы.

Впрочем, долго размышлять было не о чем – и я тут же дал согласие. Громыко внимательно поглядел на меня и неожиданная гримаса на мгновенье исказила его лицо. То была улыбка министра.

– Прекрасно, – сказал он. – Мы передадим наше предложение в ЦК.

Утром 23 февраля 1973 года, едва я пришел на работу, мне позвонил Василий Макаров.

– Аркадий, – рявкнул он в трубку, – зайди ко мне и приготовься танцевать.

Когда я вошел в кабинет Макарова, на столе у него лежало решение ЦК, подписанное Леонидом Брежневым. Я ожидал, что ответ из ЦК будет положительным. Предложения Громыко, как правило, не отвергались, и на этот раз ЦК не тянул с решением. Оставалось получить официальное назначение на пост от Генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма. Но тут не предвиделось никаких осложнений. Пост заместителя Генерального секретаря ООН был традиционно закреплен за Советским Союзом и, по джентльменскому соглашению, Генеральный секретарь ООН без возражений принимал кандидатуру, утвержденную советским правительством. И действительно, согласие Вальдхайма было получено.

Незадолго до моего отъезда в Нью-Йорк Громыко и я обсуждали мои новые обязанности. Громыко долго говорил о необходимости для ООН функционировать строго в соответствии с Уставом. Я должен следить за этим и не допускать отклонений, однако воздерживаться от обсуждения вопросов, не отвечающих интересам советского правительства.

Я высказал соображение, что, очевидно, было бы полезно, если бы я завязал хорошие деловые отношения с Куртом Вальдхаймом. В ответ Громыко нахмурился:

– В принципе это правильная мысль, но вам не следует рассчитывать на большую выгоду от этого. Какие важные вопросы вы можете обсуждать с Вальдхаймом? Ни он сам, ни ООН в целом не представляют реальной силы. Никогда не забывайте, Шевченко, что вы прежде всего советский посол, а не международный чиновник. К примеру, – продолжал Громыко, – наша информация о том, что происходит в Китае, каковы намерения китайцев и т.д., чрезвычайно мала. Постарайтесь сблизиться с китайцами и их друзьями, узнать от них по возможности больше. Не испытывая сомнений, встречайтесь со всеми, даже с представителями тех стран, с которыми у нас нет дипломатических отношений и которые мы публично предаем анафеме. Я даю вам свое личное "добро" на встречи с представителями ЮАР и Южной Кореи, со всеми, от кого вы можете получить полезную информацию.

К числу таких стран я добавил Израиль и упомянул, что в прошлом у меня были хорошие отношения с египтянами, особенно с Исмаилом Фахми, тогдашним министром иностранных дел Египта.

На следующий день меня вызвал Суслов. В сталинское время Суслов был одной из главных фигур, однако удержал власть и при Брежневе. Это был человек холодный, жесткий и бесцеремонный. Я знал, что отношения Громыко и Суслова носили официальный и даже натянутый характер. Они были не столько противниками, сколько мало подходящими друг другу коллегами. Суслов (он умер 5 января 1982 года, в возрасте 79-ти лет) всегда и во всем ставил на первое место коммунистическую доктрину и следил за ее непогрешимостью при претворении теории в практику. Громыко же, хоть и олицетворял собою советский режим, однако был человеком гибким и проявлял готовность иметь дело с реальным миром, несмотря на то, что этот мир жил и развивался по законам, не всегда отвечавшим требованиям марксизма-ленинизма.

Участие Суслова в каждодневной партийной жизни и внутрипартийной борьбе в последние годы из-за частых недомоганий было ограничено, однако авторитет его оставался непоколебимым. И Суслов умел пользоваться им, если уж не для того, чтобы расширять сферу внедрения марксистских догматов, то хотя бы для того, чтобы замедлять и блокировать отступление от них. Он стал членом ЦК в 1941 году, секретарем ЦК в 1947 году и членом Президиума (как Сталин называл свое последнее Политбюро) в 1952 году. Само по себе длительное пребывание у вершины советской пирамиды давало в руки Суслова большую власть. Но он к тому же на протяжении многих лет последовательно укреплял свои позиции, продвигая наверх молодых партийцев, содействуя их служебной карьере. Эти люди, всем обязанные Суслову, были его постоянным и верным оплотом.

Когда в 1964 году Хрущев был отрешен от власти, Суслов легко мог занять освободившийся пост Генерального секретаря ЦК КПСС, но он предпочел остаться в тени и сосредоточиться на вопросах идеологии.

Однако утверждать, что Суслова полностью удовлетворяло положение партийного патриарха и блюстителя чистоты идеологических риз, было бы неверно. Рядясь в одежды беско-

рыстного ревнителя непогрешимости марксистско-ленинской доктрины, он постоянно указывал, что именно являлось истинно марксистско-ленинской политикой, с его точки зрения. Он также надзирал за работой комиссий по идеологии и по иностранным делам. Эти комиссии, в состав которых входят секретари и завотделами ЦК, играли исключительно важную роль в формировании советской внутренней и внешней политики, так как они готовили консультации для Политбюро по этим вопросам. Положение Суслова гарантировало, что его взглядам будет уделено соответствующее внимание. Суслов сам лично не раз представлял на международных коммунистических форумах курс и цели внешней политики СССР. Он принимал участие в работе съездов зарубежных компартий, выступал на них с выговорами и наставлениями "товарищам из братских компартий", произносившимися высоким, бесцветным голосом, который не вязался с его нарочито спокойными манерами.

Еще в 1948 году, когда Суслов возглавил Коминформ и провел всю кампанию по исключению из "братских рядов" маршала Тито и Югославской компарти, он проявлял постоянный интерес к проблемам международного коммунистического движения. Сохраняя строгие нормы тех лет, он продолжал требовать от зарубежных товарищей равнения на Советский Союз, единства интересов и единообразия позиций, не считаясь с тем, что отклонения стали почти нормой среди компартий Запада.

Мои коллеги по МИДу окрестили Суслова "сталинским анахронизмом" – сталинистом, пережившим своего наставника и его эпоху. Мой разговор с Сусловым лишь подтвердил точность этой саркастической характеристики.

В кабинете Суслова я увидел человека с величественной осанкой. Его седые, в прошлом, должно быть, светлые, волосы беспорядочно спадали на толстые стекла очков, из-за которых, просверливая собеседника, глядели серо-голубые глаза. Желтоватая кожа обтягивала острые скулы. Он выглядел усталым. От рукопожатий и поздравлений Суслов немедленно перешел к делу – стал наставлять меня, как я, по его мнению, должен себя вести и работать в ООН.

Медленно барабаня по столу длинными костлявыми пальцами, Суслов внушал мне, что на моем посту я должен рассматривать ООН так же, как и он сам, то есть как заведение,

которое необходимо использовать для пропаганды "прогрессивных идей". Дабы не оставалось сомнений, что я его понял, он повторил свою мысль трижды.

– Большинство членов ООН составляют новые развивающиеся страны, – говорил он. – Им угрожает опасность стать жертвами неоколониалистской и буржуазной идеологии. Задача Советского Союза и всех преданных коммунистов заключается в том, чтобы предотвратить подобный ход событий.

Ему было известно, что Громыко смотрит иначе на ООН, видя в ней международную организацию, где, провозглашая идеологические принципы в дебатах, надо быть осторожным и осмотрительным.

– Я не согласен с таким подходом, – заключил Суслов.

Утверждение Суслова, что идеология должна доминировать во всех аспектах деятельности советского государства, напоминало сталинский стиль инструктажа. Метод Суслова был наступательным – он предлагал открывать огонь из привычных партийных лозунгов при первой же возможности и клеймить тех, кто подозревался в отходе от ортодоксальной линии. Дотошность Суслова в следовании догме была одним из выражений аскетизма, присущего его индивидуальности. Привычки его были постоянны. Пунктуальность такова, что по нему, как злословили шутники, можно было сверять часы. Ровно в шесть часов вечера на углу Арбата и Смоленской появлялся черный, советского производства, автомобиль – это Суслов ехал домой.

Во время нашей встречи я слушал Суслова очень внимательно, не выказывая ни малейшего несогласия с ним. Однако действительным руководством были для меня инструкции, полученные от Громыко.

Мы с семьей прибыли в Нью-Йорк в апреле 1973 года. Работа в секретариате ООН требовала много времени и сил. В то же время, занимая одну из высших должностей в ООН, я был ответственным и за советскую колонию в Нью-Йорке. Эти обязанности, хотя и неофициальные, были не менее важными. Я прекрасно знал, что наше правительство обращает мало внимания на специальный статус советских граждан, работающих в секретариате ООН. Но только, когда я приступил к своей работе, я понял, что конкретно это означало.

Как сказано в Уставе Организации Объединенных Наций и в Правилах, регулирующих работу штатных сотрудников,

члены секретариата являются "не представителями своих государств, а работниками международного ранга". Они должны действовать в соответствии с буквой и духом клятвы, которую приносят. Вот эта клятва:

Я торжественно клянусь... исполнять со всей лояльностью, благоразумием и совестью возложенные на меня обязанности международного работника Организации Объединенных Наций, выполнять эти функции и вести себя, имея в виду только интересы Организации Объединенных Наций, не искать и не принимать инструкций, относящихся к моим обязанностям, ни от какого правительства и ни от каких других организаций, помимо ООН.

Я знал многих людей, которые достойно и честно выполняли взятые на себя обязательства. Спору нет, ООН – арена, на которой сталкиваются самые разнообразные, порою жизненно важные интересы, как личные, так и государственные. Советский Союз и страны восточного блока не единственные члены ООН, пренебрегающие международными целями этой организации. Но в одном Советский Союз представляет собою уникальное явление среди всех иных государств мира – его лживость и цинизм полностью узаконены. Каждый советский гражданин, произносящий слова клятвы ООН, совершает клятвопреступление. Ведь прежде чем СССР представит своего кандидата в персональный отдел секретариата ООН, кандидат этот принимает на себя обязательства действовать – всегда и при любых обстоятельствах – только в интересах СССР и использовать свое служебное положение для достижения этой цели.

Правила работы советских граждан в секретариате ООН в деталях воплощены в специальном документе, носящем название: "Положение о совсотрудниках международных организаций". Термин "совсотрудник", употребляемый по отношению к работнику секретариата ООН, говорит сам за себя. Через тщательно разработанную организационную структуру Советская миссия полностью контролирует ежедневную деятельность советских граждан в секретариате ООН. Служащие секретариата входят в Объединение референтуры при Советской миссии, которая дает им прямые и точные инструкции, что именно они должны делать в секретариате и в чем заключается их личный вклад в работу Миссии. Именно эти служащие фактически готовят конспекты речей советских предста-

вителей в ООН и составляют заметки об общей деятельности ООН для нужд Миссии. Никто не принимает во внимание того факта, что, согласно правилам ООН, служащие этой организации не должны заниматься деятельностью, несовместимой с их статусом и, конечно (вплоть до угрозы увольнения их из штата ООН), не имеют права передавать кому-либо информацию, полученную ими в соответствии с их служебным положением.

Служащие секретариата не могут позволить вовлечь себя в политическую деятельность, бросающую тень на их независимость и беспристрастность. Но почти все советские граждане, работающие в секретариате, – члены Коммунистической партии и входят в первичную парторганизацию, функционирующую в Нью-Йорке под вывеской профсоюзного комитета. Служащие секретариата обязаны не только посещать партсобрания, но и подчиняться партийным решениям и резолюциям, независимо от того, противоречат они их обязательствам перед ООН или нет.

Москва особо заботится о том, чтобы советские люди, работающие в секретариате, не поддались пагубному влиянию и не проявили непредусмотренной лояльности международного характера. В отличие от других стран (за исключением нескольких стран коммунистического блока) СССР не допускает, чтобы его граждане длительное время работали в ООН и делали там карьеру. Обычно советские граждане работают в ООН в течение одного короткого срока. Правда, в последние годы в результате длительных дебатов в ЦК пришли к решению сделать несколько исключений из правил и разрешить некоторым работникам оставаться на службе в ООН до семи-восьми лет. Однако деловые качества работника оцениваются не секретариатом. О них судят на основании характеристики, составленной в Советской миссии, и докладной парторганизации.

Конечно, от служащего международной организации никто не требует, чтобы он порвал связи со своей страной и отказался от своих убеждений. Но они не могут и не должны сознательно действовать только как представители своей страны. А именно этого требует Советский Союз от своих граждан. Потому-то ни один советский гражданин не может отвечать требованиям, предъявляемым к служащему международной организации. Я сам подчинялся советским правилам, и об

этом знал не только я, но и Генеральный секретарь ООН. Но Вальдхайм, как, кстати, и его предшественники, насколько мне известно, не жаловался. В общем, у него не было выбора. Любой, кого прислали бы вместо меня, действовал бы точно, как я.

Игнорирование обязательств перед ООН вообще, и в частности, перед секретариатом, наносило, в конечном итоге, ущерб Советскому Союзу и странам коммунистического блока. Сотрудники секретариата и помощники Генерального секретаря из других стран часто избегали вести разговор в присутствии советских коллег или же говорили формально, с опаской сказать лишнее. Я, например, часто не получал информацию по важным делам – все знали, что служащие из Союза и их идеологические друзья не будут хранить ее и, даже хуже, используют эту информацию в интересах своего правительства, не считаясь с тем, что этим может быть нанесен ущерб другим странам. Работать в таких условиях, когда тебе не доверяют и ты чувствуешь себя парией среди коллег, было неприятно и даже оскорбительно.

Тем не менее Вальдхайм принял меня тепло. Мой отдел в секретариате был самым большим и имел множество разнообразных функций. Дело осложнялось тем, что мое правительство заставило меня нести ответственность за работу всех советских граждан в ООН. Более того, я должен был служить примером вдохновенного исполнения своего долга. С годами мне все труднее становилось играть эту роль.

Однако я был рад возвратиться в Нью-Йорк и горел нетерпением приступить к новой работе, ”на другом берегу”, как в шутку в Москве называли ООН. В каком-то смысле я испытывал к ООН чувство, которое сродни первой любви. ООН была местом, где представители всех стран мира могут запросто, непринужденно обсуждать широкий круг серьезных и интересных проблем. И бывает, что не публичные дискуссии, а вот такие полуофициальные беседы ведут государства к лучшему взаимопониманию и толерантности. Иногда разговор в стенах ООН прокладывает путь к соглашениям, которых нельзя было достичь в ходе обычных дипломатических переговоров. И даже заклятые враги время от времени обмениваются в кулуарах ООН здравыми суждениями по волнующим их вопросам.

Я не хочу идеализировать Организацию Объединенных Наций. С момента своего появления на свет организация эта ис-

пользовалась различными группами и странами для мелких и разрушительных целей. Ее идеалы никогда не были воплощены в жизнь. А учитывая свойства человеческой натуры, может быть, этим идеалам и не суждено осуществиться. Порою ООН, скорее, разжигает страсти, чем служит умиротворению, обостряет разногласия вместо того, чтобы вести к разумному решению. Непримиримость позиций постоянных членов Совета Безопасности чаще всего парализует его деятельность. И все-таки при всем при том бывают обстоятельства, в которых Организация Объединенных Наций доказывает свою незаменимость, предотвращая потенциальные взрывы, внося свой вклад в практические меры по примирению враждующих сторон. Среди многих источников власти и влияния на нашей планете ООН – один из самых слабейших. И, очевидно, такой ООН и должна быть. Ее сила – более в моральном авторитете, нежели в военной мощи. Люди и государства всегда будут раздираемы потребностями и желаниями, которые при выгодности для одних, будут неприемлемы для других. ООН остается вести нелегкую борьбу на периферии международных конфликтов и столкновений страстей в надежде пресечь чрезмерно горячие их проявления – иногда преуспевая в этом, чаще же терпя поражение. Возможно, обращаясь только к мировому мнению, не делая чрезмерных жестов, ООН попросту "откачивает яд", отравляющий отношения между народами – и в этом ее высшая роль. Ведь цивилизация движется не только силой. Наиболее значительных успехов человечество достигло благодаря уму и воле людей, старающихся найти пути сотрудничества – эта идея революционна для всех времен.

Моя работа в секретариате обогатила меня новым опытом и предъявила ко мне новые требования. Я был уже не молод, но еще и не стар, имел определенные представления и убеждения. Работать, подчиняясь правилам поведения, столь отличным от тех, к которым я привык, было нелегко. Вначале я пытался устанавливать в моем отделе порядки и жесткую дисциплину советского образца, к которым я привык. Я настаивал, чтобы все документы, даже не очень важные, представлялись мне на рассмотрение и одобрение, чем тормозил ход дела на каждом повороте. Я требовал, чтобы все контакты ответственных сотрудников моего отдела были предварительно одобрены мною. Никакая мелочь не должна была оставаться

вне поля моего зрения. Я даже делал попытки посягнуть на дела, которые были в ведении других отделов.

Так, превысив свои полномочия, я помог Северной Корее добиваться удовлетворения своих интересов, проведя процедуру через первый комитет Генеральной Ассамблеи. Это вызвало гневный протест Великобритании, США и Франции, с которым они обратились к Генеральному секретарю, указывая ему на мое поведение.

Я вызвал еще один протест в связи с моим отношением к французу, работавшему у меня в отделе. Я блокировал его продвижение по службе в ответ на обвинения Советской миссии, состоявшие в том, что француз этот сотрудничал с западными державами, мешая работе Совета Безопасности по выработке санкций против Родезии. Когда я оставался наедине со своими мыслями, то всячески старался найти аргументы, подтверждающие правильность собственных поступков, стараясь доказать себе, что у меня нет другого выхода, как только активно защищать и проталкивать интересы Советского Союза.

Приступая к работе в секретариате, я предполагал, что функции этого органа ООН в основном административные: распространять документы Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, комитетов и подкомитетов, обслуживать различные встречи и заседания, планируя ход служебной процедуры и следя за точным ее осуществлением, принимать меры к проведению в жизнь решений и резолюций ООН, участвовать в различных обследованиях и расследованиях, поддерживать связь с различными организациями в мире и давать советы различным отделам ООН, ответственным за выработку политической линии. Но позднее я обнаружил, что мой отдел может оказывать существенное влияние на ход всевозможных переговоров и их конечный результат. Как верно написал Сидней Д.Бейли в своей книге ”Секретариат Организации Объединенный Наций”, ”только на бумаге проведена четкая граница между функциями административными и политическими. Хотя секретариат, главным образом, должен выполнять административные задания, умный сотрудник всегда найдет возможность проявить инициативу и оказать влияние”.

Секретариат не только испытывал затруднения, неизбежные в любом большом учреждении, но имел свои собственные

трудно разрешимые проблемы. Среди них и конфронтирующие пристрастия, и приверженность разным служебным традициям, и отсутствие настоящего руководства, сравнимого с государственными правительственными институтами. Например, даже понять смысл служебной процедуры ООН – нелегко. В моем отделе работало около ста пятидесяти сотрудников примерно из пятидесяти стран.

Как наши многочисленные обязанности и интересы профильтровывались сквозь сито нашего индивидуального и национального опыта? Как люди разных национальностей могли работать друг с другом? Как, наконец, все мы вместе работали с другими учреждениями ООН, для обслуживания которых и существовал секретариат? Это было совсем непросто.

Нелегко было установить нормальные личные и рабочие отношения с моим штатом. Сотрудники возмущались некоторыми моими решениями и часто не считали нужным скрывать свои чувства. Я привык к подчиненным, которые открыто не выражают своего несогласия с начальством. Сначала я удивлялся и злился, но потом научился уважать чужое мнение и не возражал, чтобы служащие отдела защищали свою точку зрения и свои предложения. В отличие от большинства моих соотечественников, рассматривавших любую ситуацию сквозь призму интересов СССР, многие из моих служащих не были узколобыми националистами. Они подходили к каждой проблеме без предубеждения и не боялись противоречить мне, как не боялись и критики в адрес собственных правительств. Тот, кто не жил в тоталитарном государстве, не сможет понять шока, который я испытал, столкнувшись с такого рода поведением. Для советского человека открытое выражение своего несогласия с вышестоящими запрещено самими правилами поведения в советском учреждении. Те же, кто отваживается пренебречь этим запретом подвергают опасности себя и свою карьеру. Мои же служащие в секретариате, привыкшие к совершенно иным нормам поведения, могли даже согласиться выполнить мое указание, которое их не устраивало, но они спокойно высказывали мне то, что думают по этому поводу. Очень часто это бывали лучшие сотрудники.

В качестве примера назову хотя бы только два имени – американку Элизабет Джилстрап и Барбару Бленмен из Тринидада. Обе служили в ООН много лет и были опытными, компетентными работниками, неизменно следовавшими Ус-

таву ООН. Информация, которую они готовили для отдела, всегда была абсолютно объективной и заслуживала полного доверия.

Сказать по правде, я часто завидовал независимости моих подчиненных, их естественному достоинству, казавшимся прирожденными, чем-то вроде природой данного права. Особую зависть вызывала у меня свобода, с которой держались другие заместители Генерального секретаря. В отличие от меня они не жили под диктовку своих правительств. Более того, они могли не обращать внимания на представителей своих стран в ООН и не считаться с их мнением, не опасаясь, что их отзовут или обвинят в предательстве. Я же, как и любой другой советский гражданин, должен был использовать свое положение в секретариате и манипулировать им в интересах СССР. От меня требовали, чтобы я изобретал всевозможные уловки исключать из материалов секретариата все, что могло ущемить советские интересы и включать туда сведения, благоприятные для СССР, – независимо от того, соответствуют ли они действительному положению вещей или нет. Москва рассматривала секретариат как очень удобное место для сбора политической и технической информации, а также требовала от нас, чтобы мы "работали" среди других сотрудников секретариата, делая из них сторонников "линии Москвы".

Каждому советскому гражданину обязательно вменяется в обязанность всеми силами добиваться предоставления различных постов их соотечественникам, независимо от их квалификации. Главное правило гласит: чем больше, тем лучше. Миссия постоянно "нажимала" на меня, чтобы я использовал мое положение и влияние "для усиления советского присутствия". Точно такой же нажим испытывал я и со стороны представителей стран коммунистического блока, настаивавших на предоставлении постов в секретариате гражданам их стран. Когда я вынужден был отказаться от некоторых их кандидатов, мне намекнули, что на меня будут жаловаться в Москву, если я не выполню их требований. От всего этого страдало качество работы секретариата, но изменить что-либо не представлялось возможным.

Особенно раздражающими были бесконечные настойчивые требования Москвы оказывать помощь Всемирному Совету мира – организации, созданной Москвой и полностью ей подчиненной. Эта организация, возглавлявшаяся индийцем

Ромешом Чандра, кишела агентами КГБ. Ежегодно я должен был организовывать выступления Чандры в различных учреждениях Организации Объединенных Наций, распространять пропагандистские материалы Совета и уговаривать Вальдхайма посылать представителей секретариата на его бесчисленные заседания. Москва жаждала поднять престиж Всемирного Совета мира и добиться с помощью ООН признания его "выдающейся роли в международном движении за мир".

Я так и не смог нарастить достаточно толстую шкуру, чтобы не съеживаться внутренне от неловкости всякий раз, когда приходилось обращаться к помощникам Вальдхайма с предложением принять участие в очередном мероприятии Всемирного Совета мира.

Точно так же мне было не по себе, когда в ответ на мои предложения включить в заявление Генерального секретаря ООН положительную оценку последней мирной инициативы Советского Союза, я встречал терпеливый взгляд и понимающие улыбки. При этом я делал все возможное, чтобы, не вдаваясь в подробности и существо "инициативы", все же протолкнуть идею о ее ценности. Более того, Москва даже попыталась заставить меня воздействовать на Вальдхайма и вынудить его оказывать знаки внимания и поддержки съездам коммунистов.

Хотя по замыслу Москвы, я должен был расширять сферы применения советского идеологического оружия и распространения советской пропаганды, на меня в то же время возлагались обязанности усекать по возможности поток свободной информации с Запада в Советский Союз. Так, используя подотдел космоса в руководимом мной отделе, я протаскивал советское предложение о запрещении трансляции прямых телевизионных передач из одних стран в другие без согласия их правительств.

Ко времени моего назначения на пост заместителя Генерального секретаря ООН запуск спутников связи, способных передавать телевизионные сигналы на обычные, снабженные лишь специальным устройством телевизоры, намечался на начало 1980 года. Можно себе представить, как напугала Москву подобная перспектива!

"Легко предвидеть, что империалисты немедленно начнут использовать возможности спутника связи для кресто-

вого похода против марксистско-ленинской идеологии, против идей мира и социального прогресса", – кричали кремлевские пропагандисты.

В своих опасениях Кремль был прав. Советские люди испытывают голод к известиям из внешнего мира. Трудно сказать, к чему мог привести такой поток информации и развлечений с Запада, но нет сомнения, что последствия подобной акции были бы впечатляющими.

Мое положение в секретариате ООН предусматривало участие в бесчисленных официальных встречах и неофициальных консультациях, в приеме послов и представителей разных общественных организаций. Завтраки, обеды, приемы, иногда по нескольку в один день – это истинный бич для работающих в ООН. Тем не менее везде надо было присутствовать, несмотря на то что все это пожирало уйму времени и денег стран – членов ООН.

На одном из таких завтраков, дававшихся представителем Западной Германии, барон Рудигер фон Вехмар вместо традиционного тоста предложил свод заповедей, названных им "Девять плюс одна". Текст одной из них гласил: "Являться на официальный прием не менее, как на полчаса позже назначенного времени, чтобы не ждать в одиночестве". Конечно, это была шутка. Но, как во всякой шутке, здесь была изрядная доля истины – намек на то, что мы теряем много времени даром. К сожалению, здравый смысл теперь не в чести и количество официальных мероприятий ООН продолжает увеличиваться.

Другая рутина работы в ООН связана с необходимостью выслушивать водопады речей и офицальных заявлений, почти слово в слово повторяющихся из года в год. Любой ветеран ООН может точно предсказать, о чем очередной делегат будет говорить. Кстати, в заповедях Вехмара было еще одно остроумное и сатирическое высказывание: "Ценность речи, произнесенной в ООН, измеряется более ее длиной, нежели ее точным содержанием".

Признанным королем среди ораторов ООН был ныне покойный представитель Саудовской Аравии Джамиль Баруди. Живописный персонаж, колоритный оратор и, без сомнения, оригинальный и талантливый человек, Баруди мог выступать красноречиво и выразительно по любому поводу, перед любым собранием и даже несколько раз в день, не имея перед

собой заранее подготовленного текста. Говорили, что он никогда не готовится к выступлениям, а импровизирует "с ходу". Одно его появление в Совете Безопасности или в каком-либо комитете ООН наводило ужас на собравшихся. Все знали, что Баруди, презрев дипломатические тонкости, будет резать правду-матку в глаза всем, будь то делегат сверхдержавы или маленького слабого государства. Надо заметить, что его энциклопедические знания и властный ум невольно покоряли слушателей. К тому же говорить он мог совершенно свободно, так как правительство его не давало ему вообще никаких инструкций. Обычно он говорил долго. Но горе было тому, кто осмеливался прервать его. Он немедленно поворачивался всем корпусом к смельчаку и обрушивал на него лично, а заодно и на его страну град обвинений в проступках, прегрешениях и нетактичном поведении. Старожилы ООН знали, что никогда не следует перебивать его.

Мои разногласия с Яковом Маликом чаще всего касались вопросов формы. Малик предпочитал полемику дискуссии и любил, как говорится, "содрать шкуру с американцев, китайцев и израильтян. Я же считал, что мы должны оставаться цивилизованными людьми по отношению к нашим оппонентам, особенно в ООН, где мы часто нуждались в их кооперации с нами, хотя бы для того, чтобы дело как-то двигалось. Малик же сжигал мосты и, казалось, наслаждался данной ему властью оскорблять, обижать и унижать людей. Мы постоянно расходились во взглядах на то, как надо вести дела с Соединенным Штатами. Однажды, прогуливаясь со мной по саду на даче Советской миссии в Глен-Коуве, Малик яростно напал на СОЛТ.

– Вы не можете доверять этим американцам, – бормотал он злобно. – Ничего доброго этот детант принести не может.

Я напомнил ему, что он сам выступал против гонки вооружений, а вот теперь бросает камень в СОЛТ.

– Здесь нет противоречия, – холодно ответил он, и разговор закончился.

Источником наших самых непримиримых споров были настояния Малика на том, что я обязан проводить в секретариате абсолютно просоветскую позицию.

– Вы должны вести себя, как советский представитель, – штурмовал он меня. – Если вы не сумеете убедить Вальдхай-

ма делать то, что мы хотим, я буду жаловаться Громыко. Не раболепствуйте перед ним.

Но я не мог выполнить подобное требование без того, чтобы не вызвать настоящий бунт среди моих сотрудников. А неприсоединившиеся страны просто обвинили бы меня в необъективности. Я обычно отговаривался тем, что, дескать, Вальдхайм – мое начальство и я должен подчиняться ему как сотрудник секретариата. Мои объяснения Малик воспринимал с недоверием, настаивая на своей точке зрения, подчеркивая, что у нас есть только один начальник – партия.

В некоторых случаях я должен был следовать указаниям Малика, чаще же их игнорировал, зная, что Громыко меня поддержит. Более того, я имел независимую связь с Москвой. Малик знал, что я сам могу пожаловаться на него Громыко, послав ему телеграмму с соответствующим текстом и никого не уведомив о ее содержании. Только два советских представителя в Нью-Йорке имели право посылать в МИД кодированные телеграммы – Малик и я. В отсутствие Малика поверенный в делах мог заменить его.

Летом 1974 года Малик отправился в отпуск в Москву. Исполняющим обязанности главы Советской миссии в Нью-Йорке остался Василий Степанович Софрончук – плотный мужчина средних лет. Софрончук был по натуре неплохой человек. Его удивительная способность с ненаигранным спокойствием выслушивать от Малика самую оскорбительную брань доводила главу советской делегации в ООН почти до истерики. Малик был настроен против того, чтобы Софрончук замещал его в Нью-Йорке, считая своего заместителя человеком малонадежным. На этот раз предчувствия Малика не обманули. У Софрончука был сердечный роман с бухгалтершей из Миссии. И вот в один июльский день, когда он уединился со своей пассией где-то на пустынном берегу на Лонг-Айленде, произошло ЧП на Кипре (июль 1974 года). Советская миссия получила инструкции требовать немедленного созыва заседания Совета Безопасности и поставить там вопрос об этих событиях. МИД ожидал немедленного отчета о мерах, принятых к выполнению указания. Но Софрончук исчез, никто другой не мог поставить свою подпись под телеграммой в Москву. Началась паника. Ричард Овинников – дипломат, ответственный за все дела, связанные с Советом Безопасности, позвонил мне и сообщил, что найти Софрончука невоз-

можно, а Москва ждет. Он стал просить меня послать в Москву телеграмму от моего имени. Мне пришлось объяснить, что моя подпись под телеграммой будет выглядеть странно. Я не являюсь советским послом в ООН и никогда не посылал в Москву телеграмм подобного рода. Лучше подождать немного, должен же Софрончук, в конце-концов, объявиться.

Софрончук, действительно, вскоре прибыл, и все встало на свои места. Софрончук получил выговор за свое таинственное исчезновение, а бедную бухгалтершу отправили домой. Вскоре Софрончука тоже отозвали, так как он решил развестись и жениться на бухгалтерше. В виде наказания – обычного в таких случаях – он был понижен в должности и отправлен в Афганистан в качестве советника в Советском посольстве. Потом, правда, его "реабилитировали" и сделали главой Отдела стран Ближнего Востока в МИДе.

Строгость правил, из-за которых Овинников и весь штат Миссии пришли в такое лихорадочное возбуждение в тот раз были обременительны и малоэффективны. Но как из всяких правил, здесь делаются свои исключения, даже, если речь идет о правилах безопасности. Так, всякий раз, когда Громыко приезжает в Нью-Йорк, а это случается, по меньшей мере, раз в году, во время открытия сессии Генеральной Ассамблеи, все наиболее важные дипломатические сообщения начинают поступать в Нью-Йорк. И как раз тогда, когда меры безопасности должны бы устрожаться, они постоянно нарушаются. Документы для Громыко доставляются не только в офис главы Советской миссии, который на время переходит в полное распоряжение министра, но и в четырехкомнатную квартиру в самой Миссии, забронированную для Громыко. К тому же, министр требовал, чтобы телеграммы подавались ему отпечатанными на машинке. Когда ответственные за безопасность пожаловались на это Василию Макарову, он посоветовал обратиться к самому Громыко. Но никто на подобный шаг не отважился. Действительно, министр, член Политбюро не может разбирать каракули какого-нибудь шифровальщика.

Другое исключение делалось для Малика. В то время как все мы в своих сообщениях, касающихся конкретных политических ситуаций, должны были пользоваться иносказаниями, Малик старался, напротив, высказать все досконально. А так как память могла подвести его, он переписывал сложные

инструкции почти слово в слово в свою записную книжку, которую носил в кармане пиджака.

Советская маниакальная озабоченность соблюдением секретности меня раздражала. Западное, и особенно американское, отношение к документам – поражало своей беззаботностью, которую я считал опасной. Некоторые западные дипломаты часто приносили секретные телеграммы в зал Совета Безопасности и на различные заседания ООН и, пока произносились речи, они прочитывали свою почту. Не только я мог заглядывать в бумаги, которые мои западные коллеги буквально держали перед моими глазами, но, что важнее, агенты КГБ могли их фотографировать из будок переводчиков, расположенных над залом. Когда сотрудники отдела безопасности предупредили меня, чтобы я не приносил в конференц-залы ООН секретные документы, так как их могут сфотографировать сверху, я сразу догадался, что КГБ использует обычно именно эту тактику и подозревает, что западные агенты делают то же самое. Всякий раз, когда американец или британец, или иной западный дипломат вынимал из портфеля пачку секретных бумаг, я ужасался отсутсвию у них понятия о мерах предосторожности.

Советская мания все засекречивать приводит к тому, что дипломаты плохо информированы о делах и событиях, происходящих в мире. Обычно советские представители не знают более того, что их непосредственно касается. Насколько мне известно, Добрынин, пожалуй, является единственным исключением. Малик всегда жестоко ему завидовал.

Также советским дипломатам не сообщают, какое впечатление в Москве произвел тот или иной их доклад. Москва никогда не пошлет своему работнику за границей похвалу или одобряющее слово, но не замедлит откликнуться, если нужно его отчитать. Никогда советскому дипломату не объяснят, по каким причинам его предложение отвергается. Он либо не получает никакого ответа, либо короткое: "Не принято. Вам надлежит делать то-то и то-то".

Должность посла в советской табели о рангах занимает почетное место. Являясь заместителем Генерального секретаря ООН, я был также и послом Советского Союза. Миссия предоставила мне автомобиль с постоянным шофером, домработницу и, кроме квартиры в Нью-Йорке, моя семья имела квартиру в Глен-Коуве. За все платило советское государст-

во. Анну в моем автомобиле отвозили в школу, Лина пользовалась автомобилем для поездок в магазины.

Анна одновременно любила и не любила жизнь в Нью-Йорке. Она жадно проглатывала книги и, очень скоро одолев весь запас литературы на русском языке, имевшийся в Миссии, начала читать по-английски. Она любила ходить в кино, Метрополитен-музей, в Музей натуральной истории. Ей нравилось играть на пляже в Бэйвилле, около Глен-Коува, и вскоре она стала увлекаться рыбной ловлей. Однако изолированность советской колонии в Нью-Йорке от внешнего мира часто рождала у нее чувство одиночества. В Нью-Йорке она проводила больше времени у телевизора, чем в Москве. Нашей любопытной, умной и живой дочери внимания одних только родителей было явно недостаточно. Но круг друзей, которых Анна могла иметь, был, как и у всех советских детей, очень ограниченным.

В это время Геннадий был в Москве, где учился в МГИМО. На летние каникулы он приезжал в Нью-Йорк. Но хотя он и Анна были добрыми друзьями, десять лет разницы между ними сказывались и интересы их были различными.

Перед тем как Геннадий закончил институт в 1975 году, я устроил его на несколько месяцев на практику в секретариат ООН. Ему нравилась его работа в ООН, и мы все вместе были счастливы в Нью-Йорке. Геннадий был студентом с живым и пытливым умом. Он начал интересоваться проблемами разоружения и планировал защитить кандидатскую, а потом стать дипломатом. Лина и я гордились его целеустремленностью. Как и многие молодые люди в наше время, Геннадий уже чувствовал себя независимым от нашей семьи. Будучи в Нью-Йорке, он завел ряд новых знакомств и возобновил старые связи, а также был принят в общество взрослых в советской колонии.

Но Анна, шагнувшая в отрочество, нуждалась в обществе своих сверстников. Чтобы знакомиться с миром за стенами нашего дома и школы, ей была необходима свобода. Но возможности ее в Нью-Йорке были жестко ограничены. Взрослые еще могли группами куда-то пойти сами — в магазины, на работу или просто погулять. Детям нельзя было и этой малости. Им запрещалось выходить куда-либо без сопровождения. Советским детям не разрешалось устанавливать контакты с их американскими сверстниками. Не поощрялись также дру-

жеские отношения с детьми дипломатов из социалистических стран. Более того, если мальчик или девочка, с которыми Анна хотела бы дружить, были детьми советских дипломатов низшего ранга, она не могла пригласить их на уикенд в Глен-Коув. Там жило только "начальство" и семьи "начальства", в которых было мало детей возраста Анны. Запертая в нашей нью-йоркской квартире, Анна с нетерпением ждала поездок в Глен-Коув, где она могла, по крайней мере, проводить время на пляже.

"Начальство" также ни в коем случае не смешивалось с семьями коменданта, поваров, горничных, садовников и шоферов, работавших в Глен-Коуве. Это была "дворня" для дипломатической элиты, и отношения между дипломатами высокого ранга и "дворней" были такими же, как между барами и обслугой в царской России.

Подозрительность, привычная в советском обществе, еще более процветает среди членов советской колонии в Нью-Йорке, которая насчитывает более семисот человек, работающих в Миссии, секретариате ООН, Генеральном консульстве, Амторге, Интуристе, ТАСС и т.д. Причина растущего недоверия заключается в том, что чуть ли не каждый советский гражданин мечтает пробыть в Нью-Йорке как можно дольше, а даже пустячный неверный шаг может повлечь за собою отзыв в Москву, и поэтому люди стараются избежать критики в свой адрес,чего бы им это ни стоило. Практически любой советский человек (не только сотрудник КГБ) является потенциальным стукачом. В дополнение страх быть пониженным в должности (что означает и меньшую зарплату) действует на советских людей с неменьшей силой. Трудно предугадать, какой именно поступок может повлечь за собой неприятности: антисоветский анекдот, "буржуазное потребительство", отсутствие прилежности в работе, преклонение перед "декадентским" искусством Америки, интерес к американским фильмам, или – преступление из преступлений – посещение порнокинотеатра. Все это может стать поводом для обвинения человека, живущего за границей. Большинство из нас проводят время только с несколькими очень близкими друзьями, если таковые есть. Разделенная недоверием, но в то же время находясь как бы в прозрачном аквариуме, советская колония живет скучно, монотонно, варясь в собственном соку.

Но люди есть люди, и даже страх перед скорой расправой не может побороть все их слабости. Несмотря на то что работников призывают избегать лавок дешевых товаров на Орчард-стрит, они все равно бегут туда за "шмотками" и домашней утварью. Вопреки всем запретам даже заглядывать в магазины, торгующие русскими книгами, работников Советской миссии, как магнитом, туда затягивает. Они тайком покупают и ежедневно читают "Новое русское слово" – эмигрантскую газету на русском языке, издающуюся в Нью-Йорке, а заодно покупают порнографические журналы, смотрят порнофильмы и живые порнографические представления на Таймс Сквер. Но на это отваживаются все же немногие.

Большинство предпочитает приспосабливаться к своему унылому существованию, которое делают еще более унылым бесконечные совещания и собрания в Миссии – регулярные партсобрания, по нескольку в месяц, лекции в системе партийного просвещения, обязательные совместные празднования советских праздников.

Просмотры последних советских фильмов в переполненном кинозале Миссии или в Глен-Коуве, в окружении одних и тех же знакомых лиц, доставляет мало удовольствия. Но мне никогда не приходило в голову, что кого-то может интересовать, кто и как посещает эти киносеансы, до тех пор, пока секретарь нашей парторганизации не указал мне, что люди, дескать, не очень часто меня видят. Наше тесное сосуществование, порождающее сплетни, подозрения, разочарования и скуку, ведут к тому, что любая мелочь, связанная с нарушением правил, может разбухнуть в проступок, вызывающий озлобление окружающих, которые, окажись они в других условиях, занимались бы с таким же энтузиазмом охотой за ведьмами.

Кто-то однажды теоретизировал, что подняться над примитивным существованием человеку помогло не открытие огня, а изобретение очага. Это позволило человеку оставить общий огонь и оказаться в собственном пространстве около своего собственного источника тепла. Так родилось уединение. Теория утверждала, что уединение внесло важный вклад в развитие цивилизации, дав возможность человеку спокойно размышлять и выражать себя, создавая спокойную атмосферу для мирного решения сложных проблем. Я не помню дальнейшего развития идеи, но мне, прожившему много лет в об-

ществе, где прославляется коллектив, а всякая обособленность осуждается, мысль об очаге близка, и я поддерживаю ее.

Время от времени в Миссии устраиваются "вечера дружбы" с работниками миссий братских социалистических стран. Но мы никогда не были с ними по-настоящему близки, отношения были неискренними, дистанция была узаконена. Дипломаты из этих стран не приглашались на наши партсобрания – это было бы уж чересчур для единения социалистических пролетарских партий.

Но как бы там ни было, а Соединенные Штаты – все же рай для любого советского человека. За короткое время работы в Нью-Йорке советские граждане обзаводятся невероятным количеством вещей, которых или вовсе нет в Советском Союзе, или они стоят очень дорого. В конце 70-х годов дипломат среднего ранга в Москве получал 200-250 рублей в месяц, а в Нью-Йорке – 700-800 долларов. В Нью-Йорке на эти деньги можно купить множество недоступных дома товаров. Можно за 2000 долларов, уплатив американской валютой, купить советскую автомашину и получить ее по возвращении в Москву. В СССР такой автомобиль стоит более десяти тысяч рублей и ждать его в очереди надо от трех до десяти лет. Автоматические стиральные машины (до сих пор в СССР выпускаются только полуавтоматические), посудомоечные машины, фотоаппараты, стереосистемы, проигрыватели, магнитофоны, кассеты, детская еда, бумажные пеленки, утюги, фарфоровая посуда, туалетная бумага и бумажные салфетки, одежда, обувь, ткани (про запас, на будущие годы) – все это переправляется в СССР. И каждый покупает еще вещи, которые могут быть перепроданы в Москве на черном рынке за огромные деньги. От послов до уборщиц – все регулярно отправляют посылки домой. Для того чтобы позволить себе это, те, кто получают немного, жестоко экономят на всем – от продуктов питания до развлечений. Проблема экономии денег постоянно снедает советских работников за границей.

Дипломатический персонал может лучше использовать свои деньги, чем американцы. Во-первых, они не платят налогов, а во-вторых, они – искусные и неутомимые охотники за товарами. Плата за квартиру и медицинское обслуживание или стоит недорого, или даже вовсе ничего не стоит. В Миссии есть свой врач терапевт, живущий там. Несколько человек из советской колонии работают у него помощниками. Обычно

это жены дипломатов, имеющие медицинское образование. Правда, это не означает, что медицинское обслуживание эффективно. Но в случаях, когда нужна квалифицированная медицинская помощь, получить разрешение посетить американского специалиста – нелегко. Для этого надо пройти всю бюрократическую и административную процедуру. В случае острой необходимости срочного медицинского вмешательства, советские люди будут отправлены к американскому специалисту, но если заболевание серьезное, но не представляет немедленной опасности, больного предпочитают отправить обратно в Союз, чтобы не тратить деньги на лечение в Нью-Йорке.

Советское правительство также покрывает расходы дипломатов и сотрудников секретариата на жилье. Но суммы, отпускаемые на квартиру, небольшие, примерно 350-400 долларов, а за эти деньги трудно снять что-либо приличное. Приходится поэтому снимать квартиру в не очень хороших районах Нью-Йорка или там, где нет удобного транспорта. Более того, даже эти квартиры не отвечают часто нуждам советского персонала. Часто семья с детьми снимает двух- или даже однокомнатную квартиру.

В начале 70-х годов для членов советской колонии был выстроен жилой дом в районе Бронкса Ривердейл. Однако во время строительства старались сэкономить деньги, потому здание не соответствует климатическим условиям Нью-Йорка. Летом там жарко, зато зимой так холодно, что жильцы покупают электрообогреватели, которые обходятся дорого, и потому, экономя на электричестве, они зачастую предпочитают надевать на себя по несколько свитеров и пальто.

Начальство в СССР пытается вселить в дом на Ривердейле как можно больше дипломатов и сотрудников Миссии. Так гораздо легче держать их под контролем и наблюдением, чем когда они разбросаны по городу и живут сами по себе. Но в Нью-Йорке так много советских, что ни дом на Ривердейле, ни здание Миссии не могут вместить всех.

Все эти трудности не имеют отношения к сотрудникам КГБ. Им легче скрыть свой род занятий, если они снимают квартиру в любом другом районе города. Так как они получают специальные субсидии, они не испытывают финансовых затруднений, столь знакомых их соотечественникам. Если советский гражданин приглашает иностранца в свою квартиру, можно предположить, что это сотрудник или сотрудница ор-

ганов. За редким исключением, только им дозволяется такая свобода действий и только они могут себе позволить такую роскошь, другим она просто не по карману. На посту заместителя Генерального секретаря ООН я познакомился со многими сотрудниками КГБ и имел возможность наблюдать их операции в Соединенных Штатах более пристально, чем во все другое время моей работы.

21

Каждая страна имеет секретную службу, и это естественно. Но КГБ отличается от подобных институций других стран. Сфера его деятельности огромна – это самая опытная и, конечно, самая жестокая организация на земном шаре. Она выполняет функции, которые в Соединенных Штатах разделены между ЦРУ, ФБР, секретными службами, Министерством юстиции и Министерством обороны.

Название Комитет Государственной Безопасности (КГБ) – существует с 1954 года. За исключением нескольких лет ослабления влияния – в первые годы после смерти Сталина и казни Берия – КГБ неотделим от режима. Как Кремль, уже неспособный вдохновлять народ, может контролировать его без секретной полиции и армии натренированных ею стукачей? Как без сильной шпионской сети добыть военные секреты Запада и его высокоразвитую технологию, которую СССР не может произвести сам? Там, где СССР не может достичь своих целей нормальными путями, появляется КГБ, ведущий подрывную работу во всех концах мира, засылая туда не только своих агентов, но и наемных убийц. Масштабы зарубежных операций КГБ превышают деятельность всех секретных служб западных стран вместе взятых. Число профессиональных работников КГБ превышает сто тысяч. Кроме того, КГБ имеет свою специально тренированную армию, численностью примерно в 500 тысяч человек. Эта армия оснащена новейшим оружием, танками и артиллерией. Она несет охрану государственных границ СССР, а также Кремля и всех важных советских учреждений и военных объектов.

Советским лидерам, чтобы укреплять и расширять свою власть, приходится делить ее с КГБ. КГБ не правит страной, но он держит в руках рычаги, действию которых подчиняется официальное руководство. Это не смертоносный альянс Ста-

лина и Берия — новые полицейские более цивилизованы и менее кровожадны. Но власть их не менее сильна и опасна. Тайные короли, они еще не подчинили себе Политбюро, но их амбиции идут далеко. И не случайно, что в борьбе за власть после смерти Брежнева верх одержал Юрий Андропов.

Главная причина, по которой понадобилось быстро воскресить КГБ, заключается в его роли сторожевого пса режима. Георгий Владимов, некогда официально признанный советский писатель, написал впечатляющую повесть "Верный Руслан", ходившую в середине 60-х годов в Москве по рукам в машинописных копиях. Это повесть-аллегория рассказывает о КГБ. Сторожевой пес по кличке Руслан нес службу в одном из советских концентрационных лагерей в сталинское время. Когда лагерь при Хрущеве был расформирован, пес остался без работы и без цели в жизни. Знающий только один вид отношения к человеку, Руслан не может изменить его даже в обстоятельствах, когда нет колючей проволоки и лагерных бараков. Он становится злобным и непримиримым охранником людей, находящихся на свободе.

Точно так же и секретная полиция осуществляет превентивное наблюдение за населением страны и его лояльностью. КГБ не может остановить процесса роста отчуждения советских людей от режима после того, как щедрые обещания Хрущева и Брежнева улучшить их жизнь, остались невыполненными. "ГБ", как теперь в просторечии называют эту организацию, бессильно подавить недовольство покупателей, стоящих в длинных очередях за товарами, производящимися в малом количестве и к тому же плохого качества. Не может "ГБ" и сохранить в людях веру в скомпрометировавшие себя лозунги и догматы.

Но КГБ может информировать руководство о том, что происходит в стране, арестовать или запугать тех немногих, кто громко высказывает недовольство, а также попытаться сократить распространение подпольной литературы, которая в глазах советских руководителей сеет семена непокорности. Чем больше беспокоящих свидетельств КГБ предъявит, тем надежнее докажет необходимость своего существования и справедливость своих требований увеличения бюджета и штатного расписания. А так как действительно были беспорядки (волнения в Новочеркасске в 1962 году из-за недостатка продовольствия явились одним из бурных выражений невесело-

го настроения народа) – руководство приняло требования КГБ. Это вполне было в духе традиций – вкладывать средства в секретную полицию к тому же это гораздо легче, чем разрабатывать и внедрять фундаментальные социальные реформы, которые смогли бы возродить угасающий энтузиазм масс и их надежды.

Недоверие советского руководства порождено общим недоверием, которое пронизывает советское общество снизу до верху и сопровождает советского человека с детства до старости. Более того, по мере продвижения вверх по служебной лестнице, советский руководитель становится все подозрительнее и беспокойство его нарастает с каждым новым подъемом на новую ступень. Получая все больше привилегий, он рискует в случае падения и больше потерять. Он начинает бояться всего и всех – ведь даже ближайший друг может оказаться предателем.

Как страж и столп безопасности, КГБ обладает правом "вето" при наборе работников на особо важные посты. Без проверки в КГБ ни один студент не может поступить учиться в МГИМО, ни один работник крупного калибра не может быть назначен на руководящий пост в оборонной промышленности, ни один дипломат не выедет на работу за границу, ни один простой советский гражданин не получит паспорт для туристской поездки за рубеж. "Микробы подозрительности" погубили не одну многообещающую карьеру.

Даже члены правящей верхушки не свободны от контроля КГБ за их каждодневной жизнью. Кремлевская телефонная система "вертушка" устанавливается, обслуживается и неизбежно прослушивается секретной полицией. Личная охрана, шоферы, повара, уборщицы и домработницы, работающие у членов Политбюро, не только обслуживают их, но и ведут за ними наблюдения.

Советская элита и высшее руководство одновременно нуждается в КГБ и боится его. Они нуждаются в нем для поддержки режима и подавления оппозиции. Но они и боятся КГБ, потому что КГБ вездесущ и всеведущ. В его секретных архивах собираются и хранятся материалы о личной жизни каждого более или менее заметного партийного или государственного работника. Используя компрометирующие факты личной жизни или "грязные делишки", в которых замешаны в той или иной мере почти все советские руководители –

от маленьких до больших, – КГБ может почти от любого из них добиться того, чего желает.

После смерти Сталина Александр Шелепин, а позднее Владимир Семичастный пытались поднять престиж КГБ. Но удалось это только Юрию Андропову, сыгравшему решающую роль в возрождении операций секретной полиции как внутри страны, так и за рубежом. В 1973 году Юрий Андропов стал первым со времен Лаврентия Берия главой КГБ, избранным в члены Политбюро.

Когда в 1967 году Андропов занял пост председателя КГБ, я работал в Советской миссии в ООН, в Нью-Йорке. Офицеры КГБ в открытую радовались, узнав о назначении Андропова их шефом. "Наконец-то мы получили сильного лидера, какой нам нужен", – сказал один из них мне. Вначале я удивлялся, что многие офицеры КГБ немедленно приняли Андропова как своего. Он вроде бы в прошлом не работал в этой организации и не служил в армии. Потом я понял: его последняя должность в ЦК, связанная с управлением империей советского блока, тесно соприкасалась с делами КГБ. Они-то знали своих людей!

Прежде всего Андропов принялся за восстановление дисциплины в рядах КГБ, сильно пошатнувшейся после падения Берия. Он запретил пить при исполнении служебных обязанностей, и я заметил, что наши кагебешники перестали являться пьяными в Миссию.

У Андропова была репутация одного из самых умных членов Политбюро. Люди, работавшие с ним, говорили, что он был человеком интеллигентным, с живым, изобретательным умом, к тому же хорошо образован. Наблюдая его в разных обстоятельствах, я мог только восхищаться, как мастерски он умел создавать впечатление некоторой нерешительности и добродушия. Стиль Андропова отличался от стиля тех, кто правил КГБ до него. Он "не приказывал", а "предлагал", избегая повелительного тона. Эта мягкость, однако, была обманчива. Согласно рассказам его личных помощников, которых я хорошо знал, Андропов был человеком сильной воли, уверенным в себе и решительным. О таких людях говорят: мягко стелит, да жестко спать.

Андропов, его жена и его сын (окончивший МГИМО в конце 60-х годов) казались скромными, никак не подчеркивающими своего положение людьми. Но в то же время в тщатель-

ной "отделанности" внешнего облика Андропова было что-то холодное и неумолимое.

Я никогда ни от кого не слыхал, чтобы Андропов был сторонником либерализации режима (даже в такой ограниченной форме, в какой пытался экспериментировать Хрущев) или, что он был поборником существенных экономических реформ. На деле его безжалостное подавление инакомыслия и сильная оппозиция политическому плюрализму в СССР противоречили образу любителя искусств, интеллектуала, чьи политические позиции смягчены образованием. Действия КГБ, предпринимавшиеся только с одобрения Андропова, были грубы и жестоки и оставались таковыми во время всего его пребывания на посту советской секретной полиции. Ни грубость, ни жестокость не стали наказуемы. Более того, Андропов в определенном смысле был жестче Брежнева. Один из помощников Брежнева говорил мне, что его босс никогда не осознавал, как широко применялась практика упрятывания инакомыслящих в сумасшедшие дома. Эта область целиком была под контролем Андропова. Будучи советником Громыко, я имел отношение к работе комиссии по выработке новой советской конституции. Андропов категорически возражал даже против изучения возможности изменения советской избирательной системы, то есть против того, чтобы выдвигать на один пост не одного, как делается в СССР, а двух кандидатов. Брежнев же считал, что следует рассмотреть такое предложение.

Андропов по-настоящему преуспел в восстановлении власти КГБ. Он раза в два-три увеличил штат иностранных агентов. И если до него резиденты КГБ за границей для прикрытия получали ранг дипломата низшего или среднего уровня, при Андропове они стали занимать солидные влиятельные посты, располагая соответственно большей властью. Так, в Нью-Йорке в середине 60-х годов резидент КГБ Борис Иванов занимал в Миссии пост "советника". Приехавший ему на смену в 1967 году Николай Кулебякин был уже "заместителем постоянного представителя СССР в ООН".

Я помню, что многие сотрудники КГБ выражали удовлетворение действиями Андропова. Я также припоминаю, что у меня вызывало беспокойство растущее число агентов КГБ и усиление их влияния. Они были наиболее реакционными и беспринципными стражами "социалистического строя" в

СССР. Я знал всю верхушку КГБ, работавшую в Нью-Йорке и Вашингтоне, и многих ответственных сотрудников, с которыми сталкивался с тех пор, как начал свою дипломатическую службу. В частной жизни и в своей работе они были циничные, властолюбивые ненавистники всякого проявления либерализма. А ведь они были выбраны и одобрены лично Андроповым.

При Андропове КГБ расширил круг людей, которых брали, что называется, "на крючок", то есть шантажировали, используя компрометирующие материалы с целью вынудить сотрудничать. Большую часть таких материалов представляли раздутые мелкие проступки или же истории, "высосанные из пальца". Я знал о таких делах КГБ, но только сам, попав "на крючок", понял, что это все значит.

Весной 1973 года, примерно за месяц до моего отъезда из Москвы на мою новую работу в Нью-Йорк, КГБ проявил настойчивые усилия "прибрать меня к рукам". Я получил письменное приглашение посетить генерала КГБ Бориса Семеновича Иванова – бывшего нью-йоркского резидента, теперь же – заместителя главы Первого главного управления КГБ, ведавшего операциями за рубежом. Это было мое первое в жизни посещение дома на Лубянке. В этом здании до революции помещалась страховая компания, нынешняя же "компания" страхует безопасность советского режима.

Еще со времен, когда МИД находился как раз напротив дома КГБ, дипломаты называли секретную полицию "ближайшим соседом", а Главное разведывательное управление армии – ГРУ – "далеким соседом". В 1973 году МИД переехал на Смоленскую площадь и оказался ближе к ГРУ, чем к КГБ. Однако название "ближайшие соседи" сохранилось за КГБ. Очевидно, в этом отразилась их постоянная близость с дипломатами на международной арене.

В то утро, на которое была назначена встреча с Ивановым, за мной заехала черная "Волга". На Лубянке, у входа в здание КГБ меня встретил вежливый молодой человек в штатском, однако с военной выправкой. Он провел меня вверх по широкой лестнице, по лабиринтам тускло освещенных коридоров и, в конце-концов, мы оказались в приемной Иванова, на втором этаже. Атмосфера здесь была угнетающая. Черные панели стен казались продолжением полутемных коридоров. Ничто – ни восточный ковер, ни диван и кресла, ни чай-

ный столик – не придавали комнате уюта. Иванов вышел мне навстречу и попытался изобразить гостеприимного хозяина. Он приветствовал меня, как старого друга, хотя в Нью-Йорке на самом деле мы почти не встречались. После того как официантка поставила на столик коньяк и печенье, минеральную воду и лимон, генерал поднял рюмку:

– Поздравляю с новым назначением, – сказал он с улыбкой. – Мы очень рассчитываем на вашу помощь. – Он даже не старался скрыть своей заинтересованности в ООН и во мне. – Я не должен говорить вам, Аркадий Николаевич, какое значение имеет для нас Организация Объединенных Наций – эта наша лучшая сторожевая башня на Западе, – продолжал он. – Именно там наши люди собирают важнейшую информацию, касающуюся Соединенных Штатов и других стран. На вашей работе у вас будет редкая возможность знакомиться с американцами и представителями других западных стран. Вы также сможете способствовать назначению в секретариат наших людей. И если вдруг ЦРУ или ФБР проявят к ним интерес, вы сможете помочь им, оказав свое покровительство.

Он говорил со мной так, как будто бы вопрос о моем сотрудничестве уже решен. Я знал, конечно, что сотрудничество с КГБ приносит немалую пользу тем, кто на него идет. Это сулило солидное добавление к зарплате, "дружбу" с КГБ, выражавшуюся в поддержке служебных амбиций. Но я не хотел иметь дело с КГБ. Еще с тех пор как Хрущев рассказал о преступлениях Сталина и о роли Берия, КГБ был связан для меня с убийствами внутри страны и терроризмом за границей. Из моего личного опыта за рубежом я знал, как отвратительно постоянное недоверие КГБ к советским гражданам и презрение к ним. И на моей должности в Нью-Йорке, и будучи помощником Громыко в Москве, мне приходилось читать доносы кагебешников на советских граждан, работавших за границей. Ничего, кроме омерзения, они вызвать не могли.

Но я прекрасно понимал, что не могу высказать того, что думаю, Иванову и его помощнику Владимиру Казакову, присоединившемуся к нашему разговору. Когда в 60-х годах я работал в Советской миссии в Нью-Йорке, Казаков (специалист по Америке) формально числился моим подчиненным, но практически мы с ним не были связаны, так как занимался он только своими делами по линии КГБ. (В 1980 году он возвратился в Нью-Йорк в качестве резидента).

— Моя главная задача по прибытии в Нью-Йорк, — заговорил я, обдумывая каждое слово, — наладить работу в моем отделе. Насколько мне известно, отдел в запущенном состоянии. Если я хочу обрести некоторое влияние на Вальдхайма, престиж отдела должен быть повышен.

Круглое лицо Иванова сморщилось в пренебрежительной ухмылке.

— Это, бесспорно, почетная задача, но на нее не стоит класть чересчур много сил, — заметил он. — В конце концов, это — работа на "заграничного дядю". Запад доминирует в секретариате, и нам не удастся переделать Вальдхайма. Он нам не союзник и никогда им не станет.

Я молчал, пока Иванов снова разлил по рюмкам коньяк. Неожиданно он полез в карман и вытащил два письма. — Вам будет интересно, — сказал генерал, протягивая их мне. — Конечно, мы не принимаем их всерьез, но вы, я думаю, должны знать их содержание.

Я быстро прочитал письма. Первое было написано по-русски и адресовано в ЦК КПСС. Анонимный автор сообщал, что я живу не по зарплате и тут же приводил цифры: сколько я получаю и сколько, по его мнению, трачу. Он уведомлял, что моя московская квартира "украшена иконами" и удивлялся, как может коммунист вешать в своем доме иконы. К тому же, писал аноним, моя жена и дочь постоянно высказывают антисоветские настроения, восхваляя жизнь в Америке и критикуя советскую систему. Да и сам я хорош, заводил дружеские связи с иностранцами, в частности с американцами, когда работал в Нью-Йорке.

Второе письмо, напечатанное на английской машинке, адресовалось мне, но также было без подписи. В нем какой-то, очевидно, американец, напоминал мне, что я обещал помочь советской еврейке по имени Тамара добиться разрешения на эмиграцию. Разговор об этом между мною и автором письма якобы состоялся во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дальше речь шла о тысяче долларов, полученных мною авансом за обещанную помощь. Называлось имя официального лица — американца, будто бы игравшего роль посредника в этом деле.

Какие-то крупицы правды содержались в обоих письмах, и их при желании можно было использовать против меня. Действительно, благодаря вкусу Лины и ее умению добывать ин-

тересные и красивые вещи в нашей квартире было много икон. Мы в самом деле жили широко. Не исключено, что Лина и Анна позволяли себе нелестные для СССР высказывания, и у меня, правда, было много хороших знакомых среди американцев. Но никакой Тамары я не знал. Тысячу долларов ни от кого не получал и никогда не обещал помочь кому-либо уехать из Советского Союза. А вот официальное лицо, упоминавшееся в письме, существовало в реальности, и при надобности можно было бы мне пришить преступный сговор с представителем враждебной стороны, то есть США.

Мне было ясно, что письма сработаны кем-то, кто знал меня и в Нью-Йорке, и в Москве. Логика подсказывала, что автором письма, скорее всего, был Леонид Кутаков. Именно я был назначен заменить его на посту заместителя Генерального секретаря ООН. В Москве мы жили в одном доме, и его жена Аза не раз забегала к нам поболтать с Линой. Никто иной, как Кутаков, мог так "удачно" перепутать номер квартиры, что злосчастное письмо попало прямо в КГБ. Дело в том, что я жил в квартире 52. На конверте же значилось – 32. А в ней как раз проживал сотрудник КГБ. Нетрудно догадаться, что, найдя в своем почтовом ящике письмо из Америки, адресованное мне, кагебешник немедленно отнес его "куда следует".

Моя первая реакция была злобной и грубой.

– Что за дерьмо! – воскликнул я. – Каким образом письмо, адресованное мне, очутилось здесь? Означает ли это, что кто-то крадет мои письма?

Иванов мгновенно изменил тон на мягкий и дружелюбный.

– Нет, что вы, Аркадий Николаевич! Вам не о чем беспокоиться. Мы бы не показали вам эти письма, если бы не были стопроцентно в вас уверены. Мы просто хотели бы услышать от вас, может быть, вы кого-то подозреваете, кто мог сочинить эти письма. К тому же, смотрите, на конверте стоит неверный номер квартиры. Из-за этого письмо попало в руки к человеку, который сразу же, увидев, что письмо из-за границы, принес его нам.

Я ничего не сказал о своих подозрениях. Зачем? Ведь КГБ не пренебрегает анонимками. В сталинские годы миллионы людей были погублены по анонимным доносам.

– Черт его знает, кто это сделал, – проговорил я. – Но видно же, что этот человек знает меня, знает мою семью, знает о моей работе в ООН и об американских знакомых.

— Может быть, это работа ФБР? Может быть, они задумали скомпрометировать вас? — вкрадчивым голосом осведомился Иванов.

Я отрицательно покачал головой. Нет, в этом предположении мало смысла.

— Хорошо, — заключил Иванов, вытягивая в улыбке губы в ниточку, — мы расследуем это дело. В Нью-Йорке сверят шрифты машинок. И если мы обнаружим автора этих писем, он понесет наказание.

Разговор был окончен. Я поднялся, чтобы откланяться. И тут Иванов, как бы не придавая особого значения словам, сказал:

— Вы знаете, Аркадий Николаевич, вам не надо бы увлекаться коллекционированием икон. И вам надо поговорить со своими женщинами — пусть держат язык за зубами. Вы сейчас будете на очень важном посту в Нью-Йорке. Вы должны быть образцом для других наших людей.

В его словах звучала явная угроза. Я буду под наблюдением. Я должен доказать, что соответствую установленным стандартам поведения. И если я не соглашусь сотрудничать с генералом Ивановым, то грязные письма, бросающие тень на мою репутацию, могут быть быстро извлечены из ящиков КГБ. Единственная цель, ради которой мне дали прочитать доносы на меня, заключалась в том, чтобы продемонстрировать мне — ты у нас "на крючке", а мы теперь поглядим, как ты будешь извиваться. Предлагая мне сотрудничать с ними, кагебешники знали, что я в их власти.

КГБ не собирался всерьез искать автора писем. Это я должен был найти, назвать и скомпрометировать доносчика, чтобы соскользнуть с "крючка". Поэтому, прибыв в Нью-Йорк,я обратился к резиденту КГБ Борису Соломатину с просьбой помочь мне. Он уже знал о письмах и пообещал мне заняться этим делом. Но шли месяцы, а Соломатин больше не возвращался к нашему разговору. Я злился и начинал беспокоиться. Наконец, я прямо спросил его о своем деле, намекнув, что не считаю его сильным детективом. Соломатин ответил, что его люди давно уже узнали, что письмо по-английски было напечатано на машинке, принадлежащей секретарше Кутакова. Она даже призналась, что принимала участие в этом деле.

— Но она еще работает в штате секретариата, — заметил я. — И Кутаков, насколько мне известно, не понес наказания, ес-

ли не считать наказанием полный провал всех его попыток воспрепятствовать моему назначению на должность, которую он занимал.

Я требовал справедливости. Я хотел получить из КГБ официальную бумагу, в которой было бы четко сказано, что автор писем незаслуженно поливал меня грязью. Но Соломатин прямо заявил мне, что я хочу слишком многого. Не только он сам не будет пробивать это дело, но и мне не советует.

— Центр все знает, — сказал он. — Этого достаточно. Будет надо, центр сам примет меры.

Однако я не унимался:

— Я был оклеветан, я должен защитить свое имя. Я хотел бы только получить официальное уведомление в своей невиновности.

— Все знают, что вы невиновны. Против вас не выдвигается никаких обвинений. Зачем разводить бумажную канитель по поводу того, что не существует? Слушайте моего совета, Аркадий, оставьте все, как есть. Дело кончено. Никто не пострадал, а значит, все в порядке.

Я понял Соломатина. Если бы я продолжал добиваться своих прав, я заслужил бы в Москве репутацию зануды. Бюрократы не любят, чтобы их беспокоили и докучали им своими проблемами. Словом, чтобы не создавать себе самому неприятностей, я отступил.

* * *

Нью-Йорк — место, где сосредоточено наибольшее количество крупных шпионов. Здесь они развивают свою деятельность преимущественно в секретариате ООН. Яков Малик однажды рассказал мне, что в 1946 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли предложил Советскому Союзу прислать своих граждан на работу в секретариат ООН, где на них была получена квота. Когда Малик сообщил об этом Молотову — тогдашнему министру иностранных дел, — тот реагировал безапелляционно:

— Мы не можем растрачивать впустую ценные дипломатические кадры и посылать наших талантливых дипломатов для выполнения бюрократических заданий в секретариате.

Ошибочное решение Молотова вскоре было пересмотрено. Москва сообразила, что аппарат ООН представляет собою уникальную возможность для укоренения шпионской сети. В

отличие от Молотова Комитету Госбезопасности не терпелось заполнить своими людьми посты, предоставленные СССР в секретариате.

Работники секретариата ООН имели перед своими коллегами из Миссии в Нью-Йорке, из посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско одно немаловажное преимущество – они могли свободно ездить по Соединенным Штатам, не уведомляя о своих намерениях и расписании американские власти.

Профессионального агента КГБ легко отличить от профессионального дипломата и других советских работников за рубежом. Первый признак – деньги. Для служащего Министерства иностранных дел, посланного за границу, не так легко приобрести даже бывший в употреблении американский автомобиль – даже при строгой экономии накопить деньги на него можно не меньше,чем за год. Агенты КГБ покупают автомобиль сразу же по приезде в Америку. У них всегда есть наличные, и они не отказывают себе в развлечениях. Работник среднего уровня в секретариате ООН или Советской миссии, устраивая прием для своих друзей из западных стран и стран "третьего мира", почти наверняка черпает средства на него из фондов КГБ. А если вы видите советского служащего, дорого и изысканно одетого, не сомневайтесь в его принадлежности к секретной полиции. Только КГБ платит своим агентам достаточно большие зарплаты в долларах, и только эти зарплаты и позволяют им жить на широкую ногу, а тем самым успешнее выполнять основное свое задание – завязывать связи с западными людьми. Вербовка специалистов и поставщиков информации ведется в основном за стенами ООН. Ученые, бизнесмены, профессура университетов, журналисты и военные специалисты – все они потенциальные "клиенты" работников КГБ. Чем больше улов, тем лучше. Но, чтобы выполнять эту задачу, агенты КГБ должны вписываться в западную жизнь и прежде всего своим внешним обликом. К тому же, если они достаточно хорошо владеют английским (а это, как правило именно так), они легко могут выдать себя за уроженцев какой-нибудь западной страны. Сотрудники КГБ могут не думать о средствах, затрачиваемых на свою деятельность. Те из них, кто постоянно разъезжает по Америке, постоянно представляют счета и доклады на Лубянку или в Генеральный штаб Министерства обороны СССР.

Но профессионального агента КГБ еще проще узнать, заведя с ним узкопрофессиональный разговор. Хотя они маскируют свою деятельность должностью дипломата или специалиста в какой-либо области, подобный разговор сразу выдает их с головой. Как правило, они не знают элементарных вещей в "своей" профессии, не владеют профессиональным жаргоном. Например, если в ООН вы встречаете работника из СССР, обнаруживающего незнание общеизвестных международных событий, то можно с уверенностью сказать, что он агент КГБ. Я часто удивлялся, как плохо "натасканы" агенты КГБ, числящиеся дипломатами, порою казалось, что они совершенно не заботятся о том, чтобы сделать свое профессиональное прикрытие правдоподобным.

Смешно, но я жаловался на это высшим чинам КГБ и ответственным лицам в Миссии. Меня злило безразличие, с которым агенты относятся к своей работе на 67-й улице (где расположена Миссия СССР) и в самой ООН. В своем невежестве они были виноваты сами, хотя вечно ссылались на недостаток времени. На самом же деле они должны были прослушивать информацию о текущих событиях. Когда в 60-х годах я был заведующим политической секции Миссии и номинально агенты КГБ числились под моим началом, я постоянно возражал против того, что мои работники были чрезмерно перегружены, выполняя и свою работу, и долю тех, кто только числился в штате.

В 1968 году в моей секции из 28-ми сотрудников 21 были агентами КГБ или ГРУ. В то время я и познакомился с Владимиром Казаковым, будущим помощником генерала Иванова. Он был наиболее откровенным, и, когда я настоятельно внушал ему, что он обязан тратить некоторую часть времени на работу в Миссии, он не стесняясь заявлял мне: "Пожалуйста, не подступайтесь ко мне с вашими заданиями и поручениями. Я не смогу их выполнить. Я вынужден пропускать бóльшую часть из ваших собраний. Извините, но, может быть, кто-нибудь иной будет вам полезнее".

Вернувшись в Нью-Йорк в качестве заместителя Генерального секретаря ООН, я нашел все ту же ситуацию. Но на новом посту я и сам стал объектом непрерывных жалоб и нареканий. Работник из СССР, не выполнявший каждодневную работу в секретариате, вызывал раздражение у своих иностранных коллег, вынужденных работать за него. Однако

вместо того чтобы пожаловаться непосредственно в Миссию, они громко высказывали свое негодование мне. Правда, в некоторых отделах ООН не возражали, если советские сотрудники не появлялись в офисе. Без них работа зачастую шла легче. Некоторые агенты КГБ, работающие в этих учреждениях, без конца "болели", а если и выходили на работу, то, просидев полдня на месте, неожиданно уходили и пропадали.

Я пытался поднять вопрос о таком поведении сотрудников из СССР в разговорах с резидентами КГБ и послами. Федоренко, так же как и Малик, был бессилен изменить существующее положение вещей.

— Черт возьми, — однажды взорвался я, говоря с Маликом. — Эти ребята ни о чем не хотят подумать. Они даже не стараются прикрыть фиговым листочком свою подлинную сущность. Люди откровенно смеются над ними.

На этот раз Малик отнесся к моим словам без раздражения и только пожал плечами, выразив свое бессилие.

С резидентом Борисом Соломатиным я поговорил в ином тоне, но также безуспешно. В мои обязанности не входило указывать сотрудникам КГБ, как вести себя, чтобы не вызывать подозрений. Но существовали правила, к которым я мог апеллировать.

— Вам известно, — сказал я однажды Соломатину, — что существует порядок, одобренный ЦК, обязывающий ваших людей, работающих в МИДе, посвящать одну треть своего времени выполнению дипломатических обязанностей. Это хорошее правило, но оно не соблюдается, и это производит плохое впечатление во многих учреждениях. Мы должны работать сообща, но ваши люди отказываются от этого, и моим сотрудникам приходится работать вместо них.

— Наша работа имеет первостепенное значение, Аркадий Николаевич, — проговорил в ответ Соломатин. — Наша работа — самая важная из всего, что делается здесь. Мы не отказываемся помогать вам, но и вы должны понять, что происходит. Разведывательная работа исключительно важна для всех наших людей в Нью-Йорке. ООН не имеет большого значения для нас. Это только инструмент, с помощью которого мы достаем необходимые нам сведения. Собственно ради этого мы и находимся здесь.

Такое высокомерие было обычным среди сотрудников КГБ большого ранга. С годами, по мере того как КГБ восста-

навливал свою автономию и набирал вес, его сотрудники за рубежом вели себя все более несносно. Однажды один из них, надо сказать, здорово поплатился за это. Было это осенью 1968 года. Николай Кулебякин – опрятный, ухоженный пятидесятилетний человек, будучи нью-йоркским резидентом, вздумал выступить на собрании специального комитета Генеральной Ассамблеи ООН по палестинским беженцам. Так получилось, что отчет о его выступлении был напечатан в советских газетах, и Кулебякин был назван советским представителем в ООН.

Всесоюзная слава, которую он обрел в связи с этим не принесла, однако, ему счастья. Какой-то человек из Одессы, где Кулебякин вырос, прислал в Москву письмо, в котором отрекомендовался бывшим одноклассником Кулебякина и поинтересовался, неужели советским представителем в ООН является тот самый Кулебякин, который достал когда-то фальшивую медицинскую справку, чтобы не попасть на фронт? Если тот самый, то он же после войны купил фальшивый диплом. Следствие заработало и факты, сообщенные в письме, подтвердились. Кулебякина отозвали в Москву, где по приезде он был исключен из партии, лишен всех наград, выгнан из органов, а также лишен пенсии. После того как Кулебякин чистосердечно во всем признался и раскаялся, ему возвратили награды и дали небольшую пенсию с правом подрабатывать в КГБ на тренировочных программах. Но случай с Кулебякиным, могу сказать, не преподал его коллегам урока скромности.

Комитет Госбезопасности – организация, где не испытывают уважения ни к кому. Я и мои коллеги-дипломаты были в глазах его агентов даже не людьми, а своего рода устройствами, которыми в любую минуту можно было воспользоваться. У меня нет доказательств, но я всегда подозревал, что агенты КГБ пользовались моим служебным автомобилем с дипломатическими номерами, когда им нужно было маскировать свои дела. Иногда мой шофер приезжал за мной на чужом автомобиле из нашего гаража. На вопрос, что случилось, он неизменно отвечал, что мой автомобиль в ремонте. Монотонная заученность его ответов не внушала доверия, тем более что я знал – агенты КГБ регулярно "одалживают" автомобили дипломатов. В 1968 году я устроил самый настоящий скандал из-за этого, обвинив сотрудников КГБ в компроме-

тации моего легального статуса. В конце концов, как я думаю, они перестали использовать мою машину, но стопроцентной уверенности у меня не было.

Советские агенты практиковали и такой трюк: в гараже ООН они просили какого-нибудь дипломата – советского или иностранного – подбросить их в один из районов Манхэттена. Таким образом они старались ускользнуть от американских агентов, наблюдавших за ними, и, выйдя из дипломатической машины, растворялись в многолюдной нью-йоркской толпе. Я всегда негодовал, когда какой-нибудь агент КГБ с фальшивой интонацией обращался ко мне с просьбой подкинуть его – "если вы едете по направлению к Миссии, Аркадий Николаевич", – но не мог отказать, так же как я не мог протестовать, когда мой пассажир просил меня выпустить его за несколько кварталов до 67-ой улицы, где помещается Миссия.

Я имел довольно ясное представление, на чем концентрировали внимание агенты КГБ для своих политических рапортов и знал о громадных усилиях, прилагавшихся ими для вербовки осведомителей, агентов и просто сочувствующих среди иностранцев. Но хотя в секретариате я был обязан предоставлять посты для агентов КГБ и ГРУ, я лишь смутно осознавал характер их шпионской деятельности. Правда, я знал, что девять из двенадцати советских граждан были агентами КГБ, кроме того, в эту группу входили чех, венгр, восточный немец и болгарин. Все они были профессиональными шпионами и сотрудничали с советской разведкой.

Их ежедневная работа по сбору информации определялась набором вопросов, получаемых ежедневно из Москвы резидентом. Резидент передавал эти вопросы своим подчиненным на обязательном утреннем совещании. Позже, в коридорах ООН можно было увидеть этих фиктивных дипломатов, "крутящих пуговицу" у разных работников и сотрудников ООН в надежде получить в разговоре ответы на присланные из Москвы вопросы. Их намерения были очевидны, и им редко удавалось извлечь из своих собеседников что-нибудь, что не было бы известно работникам Миссии.

Однако смысл этих усилий вскоре мне открылся. Все они были направлены на то, чтобы продемонстрировать руководству СССР мощный объем собранной информации (в том числе и сплетен). Это давало КГБ повод показать, что его агенты добывают несравненно большее количество информации,

чем дипломаты и даже агенты ГРУ, а значит, деньги, которые тратились на организацию мощной шпионской сети в Америке, жалеть не надо. Это была бюрократическая игра, предназначавшаяся для малоискушенных в международных делах чиновников на самом верху. Она, однако, не производила никакого впечатления на такого человека, как Андрей Громыко.

Вскоре после того как я стал помощником Громыко, мне пришлось изучать политические рапорты агентов КГБ из-за рубежа, и в частности из Нью-Йорка. Я должен был оценить качество телеграмм, поступающих в единственном экземпляре и предназначавшихся для Громыко, советников и руководителей отделов. Как же плохо выполняли свою работу сотрудники КГБ! Имена и ранги дипломатов ООН, а также других официальных лиц, как правило, давались неверно. У авторов рапортов явно не хватало понимания политических проблем. Мнения американских коммунистов преподносились, как авторитетный источник, на основе которого якобы можно было прогнозировать развитие американской политической жизни. Контингент агентов, работающих в Вашингтоне под контролем Анатолия Добрынина, гораздо ответственнее относился к своей работе. Однажды я поделился своими мыслями об этом с другим помощником Громыко и узнал, что продукция КГБ не пользуется большим уважением в кругах, делающих политику.

– Не беспокойтесь, Аркадий, – сказал он. – Андрей Андреевич не обращает внимания на это рукоделие.

Резидент в Нью-Йорке Соломатин поддерживал постоянную связь с резидентом в Вашингтоне полковником Дмитрием Якушкиным (он позднее получил звание генерал-майора). Официально ни один из них не был выше другого по положению, но в какой-то мере между ними шло неустанное соревнование. Они, однако, старались координировать свои операции. Мне казалось, что нью-йоркский резидент был более независим и занимал лучшее положение в иерархии КГБ – штат у него, во всяком случае, был многочисленнее, чем у его вашингтонского коллеги. К тому же огромный Нью-Йорк – куда более удобная база для шпионских операций, чем Вашингтон, где все более или менее на виду. И наконец, Добрынин, в отличие от главы Миссии в Нью-Йорке, не только посол, но и член ЦК КПСС. Он располагает достаточной властью, чтобы контролировать деятельность агентов КГБ, чего глава Миссии в Нью-Йорке делать не может.

И все же сочинение политических рапортов не главная задача агентуры КГБ в Нью-Йорке. Гораздо важнее – сбор военной информации, военных секретов и сведений о новейшей технологии. Несколько раз в году Москва посылает своим представителям в Нью-Йорк список оборудования, в котором у нее есть нужда, а также перечисляет отрасли науки и техники, в которых ведутся интересующие Кремль работы. Документ этот (обычно страниц в сто) со всеми техническими подробностями и детальными описаниями буровых устройств, компрессоров, узлов компьютеров и микроэлектронных механизмов, которые неспециалистам, вроде меня и моих коллег дипломатов, просто немыслимо было прочитать.

Для агентов КГБ подобного рода запросы, но с еще большей разработкой деталей приходят чаще. С одним из ветеранов шпионской службы в Миссии Алексеем Кулаком меня связывали добрые отношения. Мне нравилось его общество – редкий случай, когда сотрудник КГБ не вызывает неприязни. Остроумный, широко образованный, настоящий знаток науки и технологии – тех областей, в которых он вел свою шпионскую работу, – Кулак был и необыкновенно открытым, приятным собеседником. Его профессиональные занятия состояли в охоте за американскими достижениями в области электроники, биохимии, физики и некоторыми секретами промышленного и военного характера. ФБР догадывалось о его деятельности, и дипломатическое прикрытие Кулака носило следы "проколов" ФБР.

Между моим отъездом в Москву в 1970 году и возвращением в Нью-Йорк через три года советский шпионаж в науке и технике возрос несравненно и, естественно, возросло количество занятых в нем людей. В одном только Глен-Коуве можно было наблюдать, как вырос технологический шпионаж. Когда я впервые приехал в США в 1958 году, там было три-четыре сотрудника КГБ – специалисты по коммуникациям. Их аппаратура занимала верхний этаж дома – комнаты, где в прежние времена жила прислуга бывшего хозяина. В 1973 году количество специалистов по перехвату радио-сигналов увеличилось, по крайней мере, до дюжины и их аппаратура заполонила весь этаж и даже один из двух летних домиков, куда, кроме них, никто не допускался. Крыши домов Советской миссии в Глен-Коуве, в Ривердейле и на 67-й улице в Нью-Йорке утыканы сверкающими антеннами для под-

слушивания американских разговоров и приема советских посланий. Рост электронного шпионажа был только частью усилившейся активности агентов КГБ.

ГРУ – Главное разведывательное управление Министерства обороны СССР – также увеличило размах своих операций. ГРУ не филиал КГБ, это самостоятельная, очень сильная организация, располагающая своими мощными возможностями и кадрами (численность их составляет несколько тысяч человек) для шпионажа и террористических акций. ГРУ гордится своими агентами – от легендарного Рихарда Зорге, предупредившего Сталина о готовящемся нападении Германии на СССР в 1941 году, до участников шпионских операций по переброске в СССР американских атомных секретов. Основая цель ГРУ в Америке и Западной Европе – проникнуть в военные секреты стран НАТО. На пути к этой цели ГРУ часто сталкивается с КГБ, с которым оно столько же сотрудничает, сколько и соперничает.

Когда я возвратился в Нью-Йорк в 1973 году, местным начальником ГРУ был полковник Виктор Осипов, числившийся в должности старшего советника Миссии. Ненасытный соперник Соломатина, он пытался произвести впечатление на сотрудников Миссии своими познаниями в военной области. Периодически он зачитывал штату Миссии доклады о последних американских системах оружия. Его рвение злило Соломатина. После одного из таких собраний Соломатин проворчал: "Пусть этот полковник блеет, как баран, кто он и есть на самом деле, а только нам известно гораздо больше, чем его ребятам".

Осипов, действительно, был человеком куда большего самомнения, чем интеллекта, и Соломатин вскоре сумел положить конец его докладам в Миссии.

Унаследовавший пост главы ГРУ после отзыва Осипова Владимир Молчанов был как личность намного крупнее своего предшественника. Но и его отношения с резидентом КГБ были натянутыми. На встрече Нового, 1974 года, в Миссии я сидел рядом с Соломатиным за столом главы Миссии. Молодой офицер КГБ Владимир Хренов подошел к нашему столу и, тряся в рукопожатии руку Соломатина, стал желать ему счастья и успехов в Новом году. Когда он отправился на свое место, Соломатин с пьяной откровенностью проговорил ему вслед: "Посмотрите на этого парня! Я горжусь им. Он получил два ордена за один год".

Соломатин не сказал, за что именно получил свои награды Хренов. Но немного позже, когда мы с Молчановым обменялись тостами, он сказал, что слыхал будто Хренов собрал ценную информацию об американской военной космической программе. "Большую часть этой информации мы послали домой раньше них", – добавил он удовлетворенно улыбаясь. КГБ и ГРУ не только соперничали между собой, но и шпионили друг за другом.

Мои отношения с офицерами ГРУ были лучше, чем с их коллегами из КГБ. Агенты ГРУ были более искренними и менее циничными. К тому же они, так же как и мы, дипломаты, были объектом постоянной слежки со стороны КГБ. Резидент ГРУ в Нью-Йорке в 60-х годах генерал-майор Иван Глазков был моим соседом в доме Миссии и часто жаловался мне на это. Мне кажется, что офицеры ГРУ еще и завидовали агентам КГБ, которые занимали более высокие дипломатические посты. Сам Глазков занимал лишь должность первого секретаря.

Один из агентов ГРУ Кирилл Чекотилло был разоблачен американцами, но тем не менее продолжал оставаться в штате ООН на посту главы комиссии по морским делам в моем отделе. Я подозревал, что он не только специалист по морским делам, но мне не было известно, в чем заключаются его подлинные обязанности до тех пор, пока Американская миссия не представила формальный протест по поводу его деятельности. Согласно этому протесту, Чекотилло явился в институт в Нью-Джерзи, занимавшийся морскими исследованиями, назвал себя гражданином Западной Германии и представил удостоверение ООН, в котором не было указано его подданство. Цель его состояла в проникновении в среду ученых-исследователей и получении информации о характере работ, которые велись в институте по контракту с Военно-морским ведомством США. Когда я напал на Чекотилло с упреками, то услышал в ответ лишь формальное отрицание своей вины. Я предупредил его, чтобы он не компрометировал свой статус дипломата, а заодно и мой, но вряд ли он придал хоть какое-то значение моим словам. Один из коллег Чекотилло сказал мне:"Здесь, в Америке, мы можем почти ничего не делать нелегально. Американцы такие открытые люди. Информация буквально валяется под ногами. Все, что остается, – это не полениться нагнуться и поднять ее".

Кроме сбора информации, агентура КГБ тратит немало

времени, сил и средств на то, чтобы завербовать иностранцев – сотрудников секретариата ООН и вынудить их работать на СССР. Вербовка идет с помощью взяток, а чаще всего с помощью шантажа. Для сотрудников секретариата это может начаться еще до того, как он или она зачисляются в штат ООН. С тех пор как КГБ заимел своих людей в административном отделе, ведающем кадрами ООН, он получил доступ к личным делам тех, кто намерен поступить на работу в ООН или добивается повышения по службе. Просматривая эти дела, агенты КГБ отыскивают тех, на чьих слабостях можно было бы сыграть. Заслуживающие внимания кандидатуры передаются на рассмотрение опытному вербовщику из КГБ. Одного из них я знал. Это был Гелий Днепровский, ставший тайным руководителем операций в ООН во время своих трех приездов в Нью-Йорк в период с 1965 по 1978 год. В 1978 году, несмотря на энергичные и бурные протесты стран Запада, он был переведен из Нью-Йорка в Женеву, где занял стратегически важный пост в отделе кадров и смог вести наблюдение за приемом на работу и продвижением работников по службе в европейской штаб-квартире ООН.

Элегантный, изящный, отменно вежливый, Днепровский часто навещал меня. По крайней мере, раз в месяц он предпринимал деликатные, но настойчивые усилия внедрить в мой штат одного из своих людей. Он всегда был точно осведомлен, какая именно штатная единица освобождается, и всегда находил кандидата вполне подходящего. Иногда его кандидаты были советские граждане, иногда – иностранцы, но я всегда подозревал, что это были люди, связанные с КГБ.

В большинстве случаев у меня не было весомых оснований отказывать Днепровскому, тем более что некоторые из людей им рекомендованных оказались хорошими работниками. Но Днепровский однажды стал настаивать, чтобы я не продлевал контракта для моей помощницы по административной части Хелен Карлсон, и я воспротивился самым решительным образом. Хотя правила ООН предусматривают выход работника на пенсию в шестьдесят лет, для некоторых ценных сотрудников делается исключение, и они могут работать, несмотря на пенсионный возраст. Хелен Карлсон как раз и была ценным работником. Она держала в своих руках огромную массу административных дел – от финансов до личных проблем сотрудников моего отдела. У нее были опыт и талант к работе такого рода. Я во всем мог на нее положиться.

Днепровский начал с обходного маневра – это была его манера вести разговор.

– У нас серьезная проблема, Аркадий Николаевич, – мягким голосом сказал он. – Генеральный секретарь относится к таким делам с большим вниманием. Видите ли, мы вынуждены забрать у вас часть помещений, где работают ваши люди. Нам необходимо создать рабочие места для сотрудников, которые приедут. Все это вызывает много жалоб. А недовольство людей пагубно отражается на моральном духе ООН.

Я невозмутимо слушал, про себя же думал: кто это беспокоится о моральном духе ООН? Гелий Днепровский? Да для него все, что связано с моралью, не стоит ломаного гроша. Я прекрасно знал, что ему было от меня надо, но не прерывал гладкого течения его отполированной речи.

– Да, тут, в вашем отделе административные дела ведет одна американка. Мне кажется, что вам будет удобнее и спокойнее, если эту работу будет выполнять кто-нибудь из советских. Это важный пост, и вы, конечно, хотите, чтобы его занимал кто-то, кому вы доверяете.

– Я доверяю этой американке, Гелий, – ответил я. – Она великолепно знает дело и делает его отлично. Она работала здесь еще тогда, когда заместителем Генерального секретаря был Добрынин. И все всегда были ею довольны. Если же кто-то новый приедет из Москвы и начнет изучать все тонкости ее работы, мы погрязнем в хаосе и это затянется надолго.

Некоторое время наша словесная перепалка еще продолжалась, хотя ни я, ни он не открывали друг другу истинных своих целей. Но и без того мы понимали друг друга. Днепровский хотел посадить на место Хелен Карлсон своего коллегу из КГБ, который будет работать на него, а не на меня. В конце концов, он все-таки попрощался со мной, посоветовав "еще раз как следует подумать".

Он вернулся к этой теме через несколько недель, сразу после того как я попросил продлить контракт с Хелен Карлсон и мой официальный запрос оказался на его рабочем столе. Опять Днепровский настаивал на своем, и снова я отказывался принять его предложение. Как человек вежливый, Днепровский, видя мое решительно сопротивление, отступил. Но это был редкий случай, когда я победил, хотя мне и пришлось все-таки за свою несговорчивость заплатить, приняв под свое начало одного аспиранта – подчиненного Днепровского.

Большинство "приобретений" Днепровского занимались тем, что собирали информацию, действуя с помощью подкупа. Наличные были всегда при них. Некоторые из агентов делали это поразительно неаккуратно. Один из них – сотрудник отдела космоса Олег Першиков даже оставлял большие суммы денег для своих подопечных на своем рабочем столе.

Насколько я могу быть уверенным, только две операции КГБ, запланированные в ООН, окончились неудачей. Одна из них связана с секретным архивом ООН. Советские мастера шпионажа развили бешеную деятельность, чтобы пробить своих агентов в штат секретного архива. Это дало бы им легкий доступ к материалам конфиденциальных совещаний и копиям засекреченных телеграмм. КГБ несколько раз обращался за помощью ко мне, но я не был столь влиятелен и не смог добиться благоприятного для КГБ решения.

Служащие, работающие непосредственно под руководством Генерального секретаря ООН, по крайней мере во времена Курта Вальдхайма, также сумели пресечь неоднократные попытки Москвы просматривать засекреченную информацию. Хотя полковник КГБ Виктор Лесиовский был специальным помощником Генерального секретаря ООН с 1961 по 1973 год и возвратился на эту должность в 1976 году, люди из близкого окружения Вальдхайма делали все, чтобы не подпустить его к документам, связанным с негласной деятельностью этой международной организации.

Вальдхайм нагружал Лесиовского массой представительных заданий, поручая ему следить за порядком выступлений на сессиях Генеральной Ассамблеи, наблюдать за соблюдением регламента на различных конференциях и замещать собою Генерального секретаря ООН на многих церемониях. Но в определенный момент Москва все же пришла к заключению, что пользы от Лесиовского особой нет, и отозвала его, заменив Валерием Крепкогорским. Новый агент КГБ также не сумел подступиться к секретной документации. Лесиовский, сидя в Москве, нажимал на все педали, чтобы снова получить назначение в Америку. Он добился своего и возвратился в Нью-Йорк. Однако отношение к нему в офисе Вальдхайма не изменилось. Когда бы он ни обратился ко мне, чтобы узнать мнение Генерального секретаря по какому-либо вопросу или осведомиться о его планах, я неизменно вспоминал, какие усилия он приложил, чтобы продлить свою работу в Нью-

Йорке и которая, однако, все же не удовлетворяла КГБ. Тем не менее начальство держало Лесиовского в Нью-Йорке, вероятно, благодаря его обширным связям с политическими деятелями и иными видными американцами. Общительный человек, Лесиовский знал очень многих в Соединенных Штатах, и это делало его ценным агентом.

Сам Лесиовский считал себя человеком обаятельным. И если те, кого в разговорах со мной он называл "австрийской мафией Вальдхайма", недооценивали его, то он успешно добивался внимания других крупных деятелей ООН. В холле для делегатов его обычно можно было видеть в окружении послов, которых он угощал выпивкой, рассказывая при этом анекдоты и предлагая билеты в оперу или в те театры, в которые трудно было попасть. Как бы между прочим Лесиовский вворачивал в разговор известные имена и ловко втирался в доверие к собеседникам.

Лесиовский и другие подобные ему агенты, имели право завязывать любые знакомства с американцами. Все остальные члены советской колонии были принуждены не только ограничивать свои контакты с иностранцами, но и докладывать о них.

Годами КГБ держал в Миссии специальную книгу, в которой сотрудники ООН и секретариата должны были записывать, с кем из иностранцев они встречались в Нью-Йорке и давать краткие объяснения о цели этих встреч. Записи надо было делать почти ежедневно. Помимо того что это было неприятно, сама по себе процедура давала побочный смешной, с точки зрения секретности, эффект: записи раскрывали подлинные имена и род занятий агентов КГБ. Их имена заносились в книгу наравне с нашими, но от них не требовалась подробная информация. Их контакты с иностранцами носили слишком секретный характер, чтобы их описывать.

Попытки заставить советских дипломатов подробно описывать свои встречи с иностранцами отражали типичную советскую ментальность и задачи агентов КГБ за рубежом. Это было простое перенесение за границу порядков в Союзе. Но занимающиеся своим делом простые советские граждане далеко не всегда привлекают к себе внимание КГБ, тогда как дипломат, выполняющий свою работу, вызывает у него подозрения.

Если какой-нибудь советский работник за рубежом пове-

дет себя рискованно в глазах КГБ, он будет немедленно отозван домой и карьера его будет сломана раз и навсегда. Но даже люди, не совершающие никаких рискованных поступков, могут стать жертвой КГБ. Молодой, способный специалист по космосу Валерий Скачков стал жертвой кагебистской подозрительности только потому, что он по своей работе сталкивался со многими американцами. Поехав от ООН на конференцию в Вену, он был перехвачен там КГБ и отправлен в Москву. Растерянной и расстроенной жене его, остававшейся в Нью-Йорке, без всяких объяснений приказали паковать вещи.

Многие советские переводчики, работавшие в ООН, исчезали совершенно внезапно. Только после того как они оказывались в самолете, летящем в СССР, КГБ извещал партийный комитет Миссии об их прегрешениях. Иногда причиной может служить алкоголизм, а чаще – дружеские отношения с иностранными коллегами, "братание с иностранцами", как это звучит на языке КГБ. Партийный комитет никогда не поднял голоса в защиту членов своей парторганизации. Он всегда покорно принимал версию КГБ и выносил приговор, не выслушав пострадавшей стороны.

Когда я стал заместителем Генерального секретаря, представителем специальной службы "П", то есть контрразведки, в Миссии был Алексей Скотников. Как правило, контрразведчики, а говоря иначе, – шпики, являются самыми презренными людьми во всех советских представительствах за рубежом. Они шпионят за всеми – от посла до делопроизводителя и рапортуют в Москву об их поведении. Скотников был, пожалуй, не худшим среди своих собратьев по ремеслу. Он иногда закрывал глаза на незначительные нарушения правил, например, он мог "не заметить", что кто-то не слишком усердствовал, записывая в книгу отчет о контактах с иностранцами. Но все изменилось, когда через год Скотникова сменил Юрий Иванович Щербаков. За его спокойными манерами скрывался деревянноголовый тиран бериевской выучки. На собраниях он регулярно "промывал нам мозги" по поводу нашей небрежности в описаниях контактов с иностранцами. Свои выступления, как, впрочем, и любой свой разговор, он заключал одним и тем же заявлением:

– Вокруг нас, товарищи, кишат агенты ЦРУ и ФБР. Надо быть бдительными!

Щербаков несколько раз предупреждал меня об американских разведчиках, проникших в мой отдел.

Я знал, конечно, что ООН была ареной деятельности шпионов многих стран. Время от времени я встречал там людей, которые не производили впечатления настоящих дипломатов. От агентов КГБ я слышал, что тот или иной сотрудник ООН – шпион той или иной страны. Но у меня такие утверждения вызывали сомнения. Я почти не знал тех, кого КГБ "на глаз" определял как шпионов. Но зато я хорошо знал, что в годы моей работы в ООН самый большой контингент шпионов, пронизавших все учреждения ООН, принадлежал Советскому Союзу. К тому же агентов КГБ и ГРУ, а также их коллег из братских социалистических стран ловили и высылали из США чаще, чем сотрудников секретных служб других стран.

Мне доставляло странное удовольствие издеваться над шпиономанией Юрия Щербакова, повсюду видевшего врагов. Я подстрекал его быть тверже и придирчивее разбирать список гостей, приглашаемых на приемы в Миссию.

– Кругом полно шпионов, – повторял я ему его же слова. – Зачем они нужны нам здесь, в Миссии?

Щербаков с энтузиазмом шел к Малику, предлагая урезать список иностранцев, посещающих Миссию.

Но несравненно более циничным и страшным, чем Щербаков и люди его плана, были убийцы и террористы – специалисты по "мокрым делам" из Пятого управления КГБ, – управления специальных операций. Будучи аспирантом, я по наивности полагал, что политические убийства, похищения людей, диверсии против ни в чем неповинных людей западного мира ушли в прошлое вместе со сталинско-бериевской эрой. Но я заблуждался. Мне довелось встретиться с некоторыми специалистами по этим делам во время моего первого срока в Нью-Йорке.

Один из тех, кого я знал, прослужив два срока в Советской миссии ООН, был выслан из Соединенных Штатов. Высокий, мускулистый блондин, он выглядел настоящим гестаповцем. Он не только не делал никаких усилий, чтобы прикрыть сущность своей деятельности, но и любил похвастаться некоторыми незначительными делами, которые он "прояснил". Както осенью 1965 года на одном из завтраков в Нью-Джерзи в Палисэйдс он не мог остановиться, рассказывая о том, что было в Нью-Йорке, когда в Манхэттене внезапно погас свет.

— Все эти сияющие башни, — говорил он, — рисуя в воздухе изломанную линию силуэтов небоскребов, — такие на вид внушительные и крепкие, на самом деле просто — карточные домики. Несколько взрывов в правильных местах и — до свидания! Мы только теперь начинаем понимать уязвимость этой страны, которую ничего не стоит взять голыми руками. — Он смачно облизнул губы, обсасывая клешню крупного рака и, осклабившись, явно ждал одобрения.

Но никто не решился прокомментировать его слова. Многие из нас знали, что даже сами кагебешники боятся этого типа. Меня, например, некоторые из них предупреждали держаться от него как можно дальше.

Другой агент, прибывший в Нью-Йорк в 1960 году на работу в Миссию, был антиподом Щербакова по манере поведения и характеру. Этот человек не выпячивал себя, был спокойным, рассудительным и дружелюбным, даже компанейским. Позднее я узнал от его друзей, что он был из управления по "мокрым делам" и занимался тренировкой потенциальных диверсантов и убийц. Его учеником оказался Антон Саботка, о котором надо сказать несколько слов.

Саботка (настоящего его имени я не знаю) в течение нескольких лет проходил тренировку в Чехословакии и в Москве. Его готовили в специалисты по саботажу и диверсиям на жизненно важных промышленных объектах в Канаде. Он также должен был быть готов совершать убийства по приказу и указанию КГБ. Тренаж, однако, оказался напрасным. Саботка, как выяснилось, испытывал отвращение к философии и методам КГБ, к тому же канадская контрразведка знала о его деятельности.

Меня всегда занимало, почему агентов КГБ — сотрудников отдела "мокрых дел" — часто можно было видеть в обществе так называемых "медицинских советников" в Миссии. В отличие от врача Миссии, который лечил людей, эти специалисты занимались иной деятельностью. Их работа заключалась в сборе информации, касающейся американского медицинского обслуживания и успехов американской медицины. Некоторые из них были эпидемиологами. Кто знает, — если один агент высказал планы разрушения Нью-Йорка путем повреждения электросети, то не исключено, что его коллеги в сотрудничестве со специалистами по ядам и бациллам разрабатывали еще более циничные планы.

Политика насилия, запугивания и убийств на протяжении всей истории практикуется Кремлем для того, чтобы заставить замолчать оппозицию. От убийства Льва Троцкого и украинского лидера Степана Бендеры до попыток покушения на таких видных политических деятелей, как Даг Хаммершельд и Анвар Садат. Связи Советского Союза с террористическими группами настолько хорошо известны, что автомат "Калашников" стал символом международного терроризма. СССР продолжает тренировать террористов – у себя в стране и в других странах – для того, чтобы подорвать стабильность западного мира и особенно, чтобы подогревать атмосферу неустойчивости и поддерживать беспорядки, сотрясающие страны "третьего мира".

В странах "третьего мира", так же как и в ООН, КГБ работает рука об руку со своими дочерними институциями из стран советского блока. Наиболее близки к КГБ секретные службы Болгарии, Кубы и Восточной Германии. Болгарская секретная служба – самая покорная служанка КГБ, проникающая на юг Европы и на Ближний Восток. Болгары работают вместе с турками и арабами. Я сам был свидетелем, как КГБ вербовал турецкого дипломата в Нью-Йорке с помощью болгарских агентов.

Офицеры КГБ как-то рассказали мне, какое раздражение вызвала дочь болгарского лидера Тодора Живкова Людмила, когда в конце 70-х годов она попыталась возродить у болгар чувство национального достоинства, уважения к их национальной культуре. Москва восприняла старания Людмилы как проявление нежелательного свободомыслия. Людмила окончила Оксфордский университет, была видным политическим деятелем, членом Болгарского политбюро. И вдруг, в возрасте 38-ми лет она внезапно умирает! Мне всегда хотелось узнать не есть ли это пример еще одного "мокрого дела", задуманного КГБ и осуществленного болгарскими агентами?

Дело Саботки – яркая иллюстрация к рассказу о продолжающейся смертельно-опасной деятельности КГБ за границей. СССР непрерывно посылает в разные страны мира своих агентов с тайными заданиями. Иногда они быстро выполняют свою миссию и возвращаются домой; иногда остаются за границей, обживаются в подполье и ведут разрушительную работу на протяжении многих лет, как, например, полковник Рудольф Абель, которого после ареста и суда обменяли на Фрэн-

сиса Гарри Пауэрса – американского пилота самолета У-2, сбитого над территорией СССР.

Мой бывший помощник Валдик Энгер также был некогда нелегальным оперативником. Мне не удалось узнать, где именно и для чего он маскировался под несоветского гражданина, выполняя задания своего начальства. Но я имел представление о нем, когда согласился дать ему пост и прикрытие работника секретариата ООН. От него я тоже пытался добиться, чтобы он уделял хоть немного внимания своим номинальным обязанностям в секретариате, понимая, правда, что старания мои напрасны.

Работа по линии КГБ пожирала у Энгера все его время. Он бесцеремонно старался превратить мой офис в этакое "гнездо" КГБ, где можно было бы проводить ежедневные встречи с другими агентами секретной службы. Энгер просматривал и копировал все документы, прибывавшие в офис и наблюдал за тем, что делается в моем отделе. Наконец я умудрился выдворить его из моего отдела и перевести на пост, где его манкирование служебными обязанностями в ООН не так резко бросалось в глаза.

За несколько месяцев до этого я написал возмущенное письмо по поводу другого агента КГБ, работавшего в секретариате, – Юрия Титова. К моему удивлению, мои критические замечания в адрес Титова были частью вычеркнуты, частью исправлены сотрудниками КГБ и мое письмо неожиданным образом способствовало хорошей оценке его работы. Я вступил в спор, стараясь вернуть своему письму его подлинный смысл, но мое мнение – мнение человека со стороны – для КГБ не имело никакого значения.

В мае 1978 года Энгер вместе с сотрудником ООН Рудольфом Черняевым был арестован при попытке украсть документы, содержащие военные секреты США. Они были пойманы с поличным в телефонной будке в Нью-Джерзи. После суда и нескольких месяцев тюрьмы, в апреле 1979 года их обменяли на пятерых советских диссидентов.

В этом деле был еще третий арест. Арестован был атташе миссии Владимир Петрович Зинякин. Его вскоре отпустили, так как его защищал дипломатический статус, но Зинякин вынужден был покинуть Соединенные Штаты и возвратиться в Советский Союз.

Этот провал, я уверен, только на короткое время несколь-

ко приостановил бурную деятельность КГБ в США. Потеря двух агентов и высылка из страны третьего не явились чувствительным ударом для советской секретной службы. Не будет преувеличением сказать, что более половины из семисот находящихся в Нью-Йорке советских граждан либо агенты КГБ и ГРУ, либо сотрудничают с ними.

КГБ прочно зацементировал свое несокрушимое место в структуре советского государства. Власть его непоколебима. И хотя мне удалось однажды ускользнуть из-под его карающего меча, я никогда не забываю, что у КГБ длинные руки и что он неразборчив в средствах.

21

Утром в субботу 6 октября 1973 года дежурный по моему отделу позвонил мне в Глен-Коув. Голосом, в котором звучало крайнее возбуждение, он сообщил мне, что финский генерал Энсио Сииласвуо – начальник штаба наблюдательных сил ООН* на Ближнем Востоке, докладывает о наземных и воздушных боях между вооруженными силами Египта и Сирии с одной стороны и Израиля – с другой. Египетская армия пересекла Суэцкий канал и вступила в Синай. Я спросил, не потребовал ли кто-то из членов ООН созыва Совета Безопасности (в противном случае мой отдел обычно меня не беспокоил), на что получил ответ, что такого запроса ни от кого не поступало. Однако я ожидал, что запрос вот-вот поступит. Рапорт генерала свидетельствовал о серьезности ситуации. Подумав, что это опять "наши дела" и считая необходимым сообщить обо всем Малику, я немедленно отправился к нему, но Малик уже знал обо всем. Новость передавалась по радио, и он слышал ее. Война разразилась в Йом Кипур – самый святой день для евреев – и явилась для нас неожиданностью. Хотя, казалось бы, должно было быть иначе. Мы ведь знали, что воздух в этом районе напоен горючими испарениями и взрыв возможен в любой момент.

Мы с Маликом слышали, как Садат, его министр иностранных дел Мохаммед эль-Заийат, посетивший Генеральную Ас-

---

* Эти силы были посланы на Ближний Восток в 1949 г. для наблюдения за выполнением соглашения о прекращении огня между Израилем и Египтом, Сирией, Иорданией и Ливаном.

самблею, и другие официальные лица Египта угрожали начать войну против Израиля, но, по правде говоря, это повторялось так часто, что никто на воинственные клики египтян уже не обращал внимания. А выходило, что Садат ловко обманул всех: Москву, Вашингтон, даже Израиль с его экстраклассной разведкой.

Малик взбодрился, предвидя редкую возможность учинить погром в Совете Безопасности и настоял на нашем возвращении в Нью-Йорк. Но в отличие от 1967 года, когда требование о созыве Совета Безопасности было высказано немедленно, на этот раз в ООН все было на удивление тихо и спокойно. Никаких чрезвычайных заявлений и предложений принять срочные меры. Инструкции, прибывшие после полудня из Москвы, тоже не призывали бить тревогу, как это было в 1967 году. На этот раз Москва распорядилась ждать и наблюдать за ходом событий, консультируясь с египетскими и сирийскими представителями. Нас уведомили, что ситуация будет улаживаться совместными усилиями Добрынина и Киссинджера в Вашингтоне. Малик был явно огорчен, видя, как его шанс блеснуть ораторским искусством в Совете Безопасности ускользает.

— Опять мы собираемся сотрудничать с американцами! — сердился он. — Эти сукины дети стоят за спиной у израильтян и поддерживают их агрессию.

Совет Безопасности собрался только 8 октября по требованию Соединенных Штатов. Однако все стороны, включая Советский Союз, явно старались оттянуть вмешательство ООН. В частных разговорах эль-Заийат высказывался двусмысленно и ничего не сообщал нам сверх того, что мы сами могли узнать и узнавали из других источников. Представитель Египта в ООН Ахмед Мегуид был более откровенен. Хорошо информированный и спокойный, он пользовался уважением в ООН. Мегуид прямо заявил, что его страна решилась сделать попытку и разрушить образ Израиля как страны неуязвимой в военном отношении. А потому Египет отказывается от всякого прекращения огня, пока Израиль не будет изгнан с египетской земли.

Малик настолько был выбит из колеи и пребывал в такой беспорядочности чувств и мыслей, что был, казалось мне, рад услышать, как представитель Саудовской Аравии Джамил Баруни костил и Соединенные Штаты и Советский Союз, обви-

няя их в превращении Ближнего Востока в "шахматную доску, на которой обе сверхдержавы разыгрывают политическую игру, распоряжаясь судьбами народов, живущих в этом районе, точно пешками". Возможно, он был прав.

Несколько вопросов остаются невыясненными в связи с поведением Москвы во время войны Судного дня. Поддержала ли Москва идею Египта и Сирии начать войну против Израиля? Знали ли советские руководители точную дату, когда Египет и Сирия собираются начать военные действия? Если да, то разве это не является нарушением правил детанта, буквы и духа основных принципов взаимоотношений между СССР и США, подписанных главами двух сверхдержав в 1972 году в Москве?

Некоторые данные давали основания думать, что Москва потворствовала желанию Египта и Сирии начать войну против Израиля и дала свое "добро". Как раз перед самым началом военных действий члены семей советских граждан поспешно были отправлены из Египта и Сирии. По мере того как росло напряжение, в Египет стало поступать советское оружие в огромном количестве. Но работники из МИДа утверждали, что Советский Союз возражал против воинственных планов Садата до последней минуты. Оружие, доставленное в Египет, не должно возбуждать подозрений, так как об этих поставках было договорено давно. Если бы Советский Союз вдруг отказался бы от своих обязательств из-за начавшейся войны, он рисковал бы потерять доверие арабского мира. Приказ о вывозе жен и детей советских работников был отдан только тогда, когда стало ясно, что Египет не отступит от своего намерения изгнать израильтян с оккупированных египетских территорий. Москва, однако, не знала, когда именно Египет и Сирия предпримут нападение на Израиль, и не имела возможности предотвратить военные действия.

На следующий день после начала войны Судного дня мы получили из Москвы сообщение о встречах советских послов Владимира Виноградова в Каире и Нуридина Мухитдинова в Дамаске с президентами Египта и Сирии. Это было как раз накануне нападения на Израиль. Оба – и Садат и Асад – сказали, что в ближайшем будущем они начнут войну против Израиля. Асад даже назвал дату – 6 октября. Однако советские руководители не очень полагались на слова Асада, к тому же

репутацией солидного человека не пользовался и Мухитдинов, разжалованный в послы бывший член Президиума ЦК КПСС. Он славился способностью "изобретать", а также тяжелым несговорчивым характером, особенно по отношению к подчиненным. Но даже если на этот раз его сообщение могло показаться заслуживающим доверия, советские руководители никогда не поделились бы подобной информацией с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что Сирия все же была ближайшим союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. Да и Вашингтон не спешил поделиться с Москвой относительно своих планов в этом районе.

В первую фазу войны Малику было приказано отвергать любое предложение Совета Безопасности. Его резкое заявление, что "не требуется никаких новых решений по Ближнему Востоку", отражало стремление Москвы дать Египту и Сирии время, чтобы полностью использовать все преимущества внезапного нападения. Желая помочь Израилю оправиться от неожиданного удара и мобилизовать силы для ведения войны, Соединенные Штаты тоже не хотели никаких немедленных акций со стороны ООН. В результате Совет Безопасности, который ответственен за поддержку порядка в мире, а в случае его нарушения – за быстрейшее восстановление статус-кво, оказался парализован на сравнительно долгий период. Естественно, Курт Вальдхайм был обеспокоен престижем ООН, и, я думаю, что на этот раз все его заместители сочувствовали ему. В особо затруднительное положение ставило Вальдхайма полное игнорирование его Советским Союзом. Я было посоветовал Малику, по крайней мере, в общих словах сообщить Генеральному секретарю ООН о намерениях Советского Союза, но вызвал этим только гнев главы Советской миссии.

Когда же стало ясно, что арабы терпят поражение, советская позиция в ООН разительно переменилась. Чтобы предотвратить полный разгром арабов, Брежнев пригласил Киссинджера в Москву для обсуждения возможности прекращения огня. В ООН СССР и США выступили совместно в поддержку прекращения военных действий. Следуя новым инструкциям из Москвы, Малик потребовал от Совета Безопасности принятия экстренных мер для умиротворения сторон. К его огорчению, к московским инструкциям было приложено запрещение критиковать Соединенные Штаты. Но Малик все-таки ввернул несколько едких замечаний от себя.

Когда Хуан Хуа – представитель Китая – пожаловался, что время, отпущенное на изучение проекта совместной американо-советской резолюции, недостаточно, Малик накинулся на него с обвинениями в клевете на ООН и в желании бросить тень на репутацию этой международной организации, в то время как Китай не вносит никаких конструктивных предложений.

Неверно считать, что все выступления делегатов СССР в ООН точно формулируют официальную точку зрения на ту или иную проблему. Инструкции из Москвы очень коротки и выражают лишь главное направление, которому должен следовать советский представитель. При строжайшем контроле Москвы за содержанием речей сами заявления составляются в Нью-Йорке. Они не расходятся и не могут расходиться с направлением политики, диктуемым из Москвы, но их стиль и способ выражения мысли отражают вкус и личность выступающего. Здесь предоставляется большая свобода в выборе слов и тона речи.

Резолюция о прекращении огня, предложенная США и СССР, была принята Советом Безопасности 22 октября. Но она оказалась малоэффективной. Бои продолжались, размах военных действий нарастал. Москва, как мы понимали из инструкций, стремилась любыми средствами прекратить войну. Мы чувствовали, что вот-вот произойдет нечто необычное. Так и вышло. Брежнев обратился с письмом к президенту Ричарду Никсону, предложив ему в срочном порядке объединиться с СССР и отправить в Египет контингент войск, чтобы гарантировать прекращение огня. В письме Брежнев предупреждал Никсона, что если США не согласятся, то СССР предпримет односторонние действия в этом направлении.

Малик был почти в экстазе. Меня же письмо очень озадачило. США никогда не приняли бы предложения Брежнева и никогда не допустили бы военной интервенции СССР на Ближнем Востоке. Исторический опыт подсказывает, что если бы советские войска вступили на землю Египта, убрать их оттуда было бы невозможно.

Воспользовавшись отчаянным положением, в которое попал Садат, – израильские войска двигались по направлению к Каиру по западному берегу Суэцкого канала и взяли в окружение Египетскую Третью армию в Синае – Москва смогла вынудить Садата согласиться на ее план. Но угроза Москвы

послать войска в Египет была на самом деле лишь пробным шаром для испытания воли американцев в момент, когда в связи с Уотергейтом положение Никсона было сложным. Когда же США ответили на кремлевские запугивания приведением в готовность своих вооруженных сил, никаких чрезвычайных мер в Миссии принято не было. Предупреждение американцев оказалось достаточно внушительным, чтобы остудить желание Москвы спекулировать на сложной внутренней ситуации в США. К конфронтации с Соединенными Штатами Советский Союз не был готов.

В войне Судного дня Москва преследовала свои собственные интересы, а не защиту арабских целей. Это стало ясно, когда в Совете Безопасности обсуждался вопрос об отправке миротворческих сил ООН на Ближний Восток, чтобы гарантировать выполнение резолюций, принятых Советом Безопасности.

Советская интерпретация параграфов Устава ООН, касающихся использования международного военного персонала, отличалась узостью взгляда, ограниченностью и негибкостью. Москва признавала допустимым использование вооруженных сил стран – членов ООН только для отпора агрессии (названной в главе № 6 Устава ООН "принудительные меры"). Согласно советской точке зрения, такие действия могут быть предприняты только Советом Безопасности совместно с Комитетом военного штаба, в состав которого входят представители пяти стран – постоянных членов Совета: США, СССР, Великобритании, Франции и Китая. Генеральный секретарь ООН не наделяется правом командования этими силами. Совет Безопасности сам, через военно-штабной комитет определяет ежедневное направление военных действий и руководит ими. Функционирование этого механизма подразумевает полное единодушие среди всех пяти постоянных членов Совета. К сожалению, такое идеальное построение нереалистично и не может быть проведено в жизнь.

Холодная война превратила многие параграфы Устава ООН в мертвую букву, и за это большую долю ответственности несет Советский Союз. Современный мир порою требует от ООН действий иных по форме и сути, нежели "принудительные меры". Советские возражения против миротворческих операций идут вразрез с пониманием того факта, что конфликты между странами принимают разнообразные формы –

от военных действий до трудноразрешимых взаимных претензий.

Практическая деятельность ООН независимо от согласия СССР воплощается в целом ряде миротворческих акций, отвечающих специфическим нуждам каждого конкретного конфликта. Эти акции можно разделить на две категории: наблюдательные миссии и отправка военных сил, действующих в согласии и союзе с заинтересованными сторонами. В обоих случаях последовательно преследуются следующие цели: прекращение военных действий, предотвращение возобновления столкновений, заключение перемирия, наблюдение за отводом войск, наблюдение за выполнением соглашения о прекращении огня и стабилизацией ситуации. В Палестине, Кашмире, на Кипре и в других частях мира наблюдательные миссии ООН и военные силы ООН проводили миротворческие операции с разной долей успеха.

Ральф Банч, заместитель Генерального секретаря ООН, удостоенный Нобелевской премии мира за свою роль в мирных переговорах между арабами и израильтянами, проходившими в Палестине в 1949 году, внес, пожалуй, самый ценный вклад в миротворческие усилия ООН. Банч являл собою лучший пример работника международного масштаба. Полуслепой человек, почти семидесяти лет, со слабым здоровьем, он продолжал самоотверженно работать для успеха миротворческой миссии ООН.

Настойчивое требование СССР контроля со стороны Совета Безопасности над ежедневными действиями миротворческих сил ООН было нереалистичным. Концепция практического руководства операциями миротворческих сил Генеральным секретарем ООН была принята абсолютным большинством членов ООН, вопреки протестам СССР. Сопротивление этой концепции привело только к тому, что Кремль сам лишил себя возможности принимать участие в руководстве миротворческими силами. Такая позиция также исключила советского заместителя Генерального секретаря ООН из числа участвующих в миротворческом процессе. Игнорируя собственные интересы, мое правительство не пожелало согласиться, чтобы советский гражданин, находящийся на этом посту, участвовал в "противозаконной практике".

Я поднимал вопрос об участии СССР в миротворческой деятельности ООН в разговоре с Громыко.

— О каких это так называемых миротворческих операциях вы говорите? — спросил Громыко. — Ни о чем подобном даже не упоминается в Уставе ООН. Они опасны, так как могут привести к вмешательству во внутренние дела суверенных государств. — Он по своему обыкновению привел в пример Конго. — Помните, в Конго мы имели возможность видеть, как войска ООН могли быть использованы против прогрессивных сил.

В заключение он предупредил меня, чтобы я больше никогда не касался этой проблемы. Мне не оставалось ничего иного, как подчиниться.

Когда, следуя решению Совета Безопасности от 25 октября об организации чрезвычайных сил ООН для отправки на Ближний Восток, Вальдхайм попросил меня принять участие в совещании по рекомендациям и выработке плана действий, я встал перед дилеммой. Мне было трудно отказать Вальдхайму, но не менее сложно было отступить от традиционной советской позиции по этому вопросу. Я решил посоветоваться с Маликом.

Он удивился жесту Вальдхайма и не рекомендовал принимать участие в совещании. Но я возразил, что должен участвовать в работе совещания, даже если заключительные рекомендации Вальдхайма Совету Безопасности не совпадают с нашей позицией.

— Вальдхайм не может придерживаться советской линии, — сказал я. — Кроме того, он должен сделать доклад Совету в течение суток. У нас нет времени запросить Москву.

Малик промямлил что-то о необходимости защищать советскую позицию, но было понятно, что это лишь обязательное предварительное напоминание. — Хорошо, идите, — сказал он. — Так или иначе, мы скоро узнаем, что они там заварили.

Я уже приготовился выслушать очередную тираду, но на этот раз Малик выказал присутствие здравого смысла. Тем не менее он не замедлил бы отстраниться от моего решения и присоединиться к общему хору осуждающих меня, если бы Москва оказалась бы недовольной моим согласием участвовать в совещании.

В тот вечер Вальдхайм был на грани полного изнеможения. У него было такое воспаленное лицо, что поначалу мне показалось, что он болен. Но в то же время он был явно доволен: ООН наконец-то предоставлена возможность предпринять попытку остановить войну.

Британец Брайан Уркварт, в то время помощник Генерального секретаря по особым политическим делам, руководил дискуссией. В отличие от многих присутствовавших он обладал уникальным опытом в операциях по поддержанию мира, начавшихся еще в середине 50-х годов. У меня с Урквартом были хорошие отношения, и я часто обращался к нему за информацией или за советом по самым разным вопросам. Он был из тех людей, у которых под мягкой внешностью скрываются большая сила и настоящее мужество. Мне нравились его прямота, логичный и практичный подход к любой проблеме. Он был бесконечно предан своей работе и проводил в своем рабочем кабинете на 38-м этаже здания ООН почти все время. По правде сказать, его даже трудно было представить в какой-нибудь другой обстановке. Встречая его гуляющим с собакой около нашего дома (мы жили в одном доме), я всякий раз удивлялся, что вижу его не в рабочем кабинете.

У Уркварта была репутация человека щепетильно честного и справедливого. Так о нем думали почти все, кроме советских. Их неприязнь к нему объяснялась двумя причинами: он был британцем и, что еще хуже, – в свое время близким советником Дага Хаммаршельда. На совещании у Вальдхайма Уркварт сказал, что было бы логично следовать в общих чертах примеру первой операции Чрезвычайных сил ООН (UNEF-1)*, проведенной в секторе Египет-Израиль в период между 1956-1967 годами.

– А как насчет численности войск? – спросил Вальдхайм. – Мы же еще не знаем объем их функций.

Было решено отправить около семи тысяч наблюдателей. В случае необходимости – численность войск можно будет изменить.

Я поддержал предложение Уркварта, но был осторожен и старался не высказываться, поскольку не мог предугадать реакцию Москвы на мое участие в совещании. К счастью, я не подвергся критике, но, думаю, что Вальдхайм не совсем понимал, что именно он совершил, пригласив меня участвовать в этом совещании. Как мне потом стало известно, мое появление на совещании вызвало разногласия. Многие из его участников были поражены тем, что Генеральный секретарь

---

* UNEF – United Nations Emergency Forces. (примеч.ред.)

изменил заведенному правилу и пригласил представителя СССР. Они были уверены, что мое присутствие явится серьезным препятствием в разработке мер по установлению мира. Надо сказать, что у них имелись на то основания. Я и сам не знал, как поведу себя в дальнейшем. Москва стерпела мой первый шаг, сделанный без ее одобрения, но как она воспримет мою новую роль – участника совещания? Не пришлет ли инструкции вести себя в обычной советской манере? Тогда, очевидно, придется ставить всем палки в колеса, и это непременно вызовет всеобщее озлобление.

27 октября Совет Безопасности одобрил доклад и рекомендации Вальдхайма. На следующий день было достигнуто соглашение о первых за четверть века прямых переговорах между Израилем и Египтом, которые должны были проходить под эгидой ООН на 101-м километре Каиро-Суэцкой дороги. Москва запросила от меня подробнейшую информацию об этих переговорах. Мои донесения, основанные главным образом на телеграммах Энсио Сииласвуо, были самыми подробными и обстоятельными. Поэтому КГБ чувствовал себя обойденным и старался перехватить телеграммы Сииласвуо прежде, чем они попадут ко мне. Очевидно, египтяне не все до конца говорили Москве, но даже, если бы они были искренни и откровенны, Москва бы все равно им не верила.

Переговоры на 101-м километре смогли состояться благодаря посредничеству американцев. Это стало решающим фактором в достижении соглашения о прекращении огня, разъединении египетских и израильских вооруженных сил и других дипломатических шагов, направленных на урегулирование конфликта. Советское влияние в Египте и на Ближнем Востоке в целом упало, большей частью по вине самого Советского Союза.

СССР не мог взять на себя роль посредника, – во-первых, он оказывал политическую поддержку крайним требованиям арабов, во-вторых, был непоследователен в вопросах военной помощи Египту и другим арабским странам. А поскольку СССР, порвав отношения с Израилем во время Шестидневной войны 1967 года, отказывался иметь дело с этим государством, США смогли отстранить СССР от всех попыток (пусть даже безуспешных) сгладить разногласия между евреями и арабами. Таким образом, США остались единственной сверхдержавой, которая могла вести переговоры с обеими сторонами и к которой обе стороны прислушивались.

Громыко обсуждал со мной создавшееся положение неоднократно. В 1967 году, по его мнению, пересматривать позицию СССР по отношению к Израилю было еще слишком рано. В 1970 и 1971 годах мне наконец удалось вынудить его согласиться, что "возможно, было ошибкой разорвать отношения с Израилем или, по крайней мере, не восстановить их, когда страсти несколько охладились". Если бы Громыко обладал свободой выбора во внешней политике, то, следуя своим взглядам, он постарался бы восстановить связи с Израилем. Как профессиональный дипломат, он считал неэффективным бойкотировать одну из сторон в конфликте. К тому же, хотя он и не симпатизировал Израилю, он не доверял и арабам.

Но у Громыко не было свободы выбора. Я понимал это, видя уклончивость, с которой он встречал каждое мое предложение сделать новый ход на Ближнем Востоке. Это лишь один из примеров того, как он отказывался действовать, согласно своим представлениям, если знал, что его мнение противоречит позиции большинства в Политбюро.

Единственное, что он мог, это дать задание подчиненным поддерживать неофициальные контакты с Израилем. В этой роли – к отвращению Малика и под аккомпанемент постоянных его возражений – довелось (в числе нескольких других советских дипломатов) выступать и мне. Израильские дипломаты скоро поняли, что я готов их выслушать и передать их точку зрения в Москву. Однако моя роль своеобразного курьера оказалась непродуктивной, более того – неблагодарной, поскольку Москва не стремилась к изменению своей политики по отношению к Израилю. Нередко из-за этого я попадал в неловкое положение.

Так однажды Иосиф Текоа – в то время постоянный представитель Израиля в ООН, попросил меня отправить в Министерство иностранных дел СССР длинный список евреев, желающих эмигрировать в Израиль и ждущих разрешения на выезд. Я попытался отвертеться, ссылаясь на то, что МИД не занимается вопросами эмиграции. Конечно, я умолчал о том, что эти вопросы находятся главным образом в компетенции КГБ, подчиняющегося Политбюро. Не упомянул я также и о том, что уже имел неприятности в связи с письмом, в котором обвинялся в оказании помощи желавшей эмигрировать советской еврейке и даже якобы получил определенную мзду

за услуги. Но Текоа настаивал, он утверждал, что власти в СССР должны рассмотреть список и исправить несправедливость, в результате которой ни в чем неповинным людям отказывают в праве на эмиграцию. Благоприятное решение судьбы этих людей могло бы приглушить критику эмиграционной политики СССР, а также критику политики СССР в вопросах прав человека.

В конце концов, я взялся передать письмо, но предупредил Текоа, чтобы он не ждал ответа – ни через меня, ни через кого-либо другого. Как я и предполагал, ответа действительно не последовало.

На протяжении многих лет мне доводилось обсуждать политику СССР в отношении еврейской эмиграции с хорошо осведомленными лицами. И хотя это были лица, занимавшие посты на самых верхах, я понял, что предсказать зигзаги эмиграционной политики или же повлиять на нее было трудно. Мнение МИДа по этому вопросу никто не спрашивал, хотя вопрос этот был тесно переплетен с целым комплексом проблем советско-американских отношений.

В советском руководстве единство взглядов по этому вопросу отсутствовало. Одна группа утверждала, что разрешать эмиграцию евреям нельзя. Сторонники этой точки зрения предсказывали – как оказалось, верно, – что если открыть дверь для евреев, то это станет поводом для давления со стороны других этнических групп, таких как армяне и немцы, которые поселились в Поволожье еще в восемнадцатом веке, но были высланы в Казахстан в начале второй мировой войны. Более того, еврейская эмиграция будет злить русских, чья свобода выезда практически отсутствует.

Сторонники противоположной точки зрения уверяли, что СССР будет только сильнее, если "мы очистим свой собственный дом". Подогреваемая русским антисемитизмом, эта группа твердила, что советские евреи унаследовали враждебное отношение к государству. Зачем же держать тех, кому не нравится жить в СССР? Скатертью дорога.

Поначалу внешнеполитические соображения склонили чашу весов в пользу эмиграции. В начале 70-х годов, когда делались энергичные попытки наладить отношения между Западом и Востоком, Москва выказала определенное понимание требований общественного мнения Запада и поддалась давлению западных правительств в отношении к еврейской

эмиграции. Первый этап процедуры, которую можно назвать "открыванием клапана", закончился в 1974 году, когда Конгресс США одобрил поправки Джексона-Ваника и Стивенсона, поставившие торговые льготы, предоставляемые СССР, в зависимость от его эмиграционной политики. Москва увидела в этих поправках попытку оказать на нее прямой нажим и, желая показать, что она не поддается давлению, резко сократила количество выдаваемых виз. В 1977 году Москва, однако, увеличила эмиграцию, желая показать готовность следовать наименее раздражающим ее аспектам соглашений о правах человека, подписанных в Хельсинки. Но советская интервенция в Афганистан вызвала резкую критику со стороны Запада, эмиграция опять резко снизилась.

Сказанное выше демонстрирует непостоянство и отсутствие твердости советской политики в вопросе эмиграции. Это типичный пример того, как в СССР принимаются политические решения. Как и многие другие важные проблемы, вопрос еврейской эмиграции рассматривался только тогда, когда давление изнутри и извне заставляло Политбюро обратить на него внимание. Решение, принятое в одних условиях, может быть в корне изменено, когда обстоятельства принимают другой оборот. Трудно было решиться и разрешить эмиграцию, но и остановить ее полностью оказалось нелегко. Колебания, шараханье из стороны в сторону в вопросе еврейской эмиграции показало, что советское руководство предпочитает избегать определенности, когда дело касается щекотливых вопросов, по которым к тому же среди правящей верхушки нет единства взглядов.

Доводы "за" и "против" еврейской эмиграции продолжают оставаться более или менее неизменными из года в год. Иногда берут верх голоса тех, кто возражает против утечки из страны технических специалистов и профессионалов во всех областях науки и культуры; иногда побеждает мнение тех, кто жаждет получить какие-то выгоды от Запада, а заодно освободить страну от презираемого нацменьшинства. Одно остается неизменным – вопрос этот продолжает доставлять неприятные хлопоты тому, кто должен так или иначе на него реагировать.

Для израильских дипломатов я был подобием лакмусовой бумажки, с помощью которой они могли проверить советскую реакцию на их предложения. Поскольку положение мое

было неофициальным, всегда можно было дезавуировать мои высказывания. Зато в неофициальных консультациях, в которых обретало четкость многое из того, что впоследствии могло стать основой для важных решений, мне удалось взять на себя роль, которая при иных условиях оставалась бы без исполнителя.

В обстоятельствах, сложившихся после войны Судного дня, я оказался связным, через которого Текоа смог удостовериться, согласится ли Громыко встретиться с министром иностранных дел Израиля Аббой Эбаном на мирной конференции в Женеве, намеченной на декабрь 1973 года. Громыко согласился. Это была первая встреча на таком уровне между СССР и Израилем после войны 1967 года.

Хотя тон Громыко был весьма дружественным, он сохранял жесткость по существу. Громыко сказал Эббану, что в принципе возможность восстановления нормальных отношений между двумя странами не исключена, если "существенный прогресс" будет достигнут на Женевской конференции. Под "существенным прогрессом" подразумевалось согласие Израиля на уход со всех оккупированных арабских территорий. Громыко также выразил готовность продолжить диалог с Эббаном в рамках Женевской конференции. Однако Женевская конференция не возобновила свою работу.

* * *

В апреле 1975 года Вальдхайм назначил меня своим представителем на конференции по выполнению договора о нераспространении ядерного оружия в Женеве. В мае я возвратился в Нью-Йорк.

Важная телеграмма была получена Советской миссией. Касалась она Вьетнама и исходила от Ильи Щербакова – советского посла в Ханое. Через два месяца после падения Сайгона, говорилось в послании, вьетнамские руководители решили начать новое наступление. На этот раз – мирное, дипломатическое. Они пришли к выводу, что процесс объединения страны достиг такого уровня, при котором можно начать более активную внешнюю политику. В качестве первого шага они намеревались просить принять Вьетнам в ООН. Предполагая, что США будут против, вьетнамские руководители хотели получить поддержку СССР, а также совет, как им привлечь на свою сторону голоса других стран – членов ООН.

Ни решение Ханоя, ни указание МИДа Миссии оказывать ему помощь не содержали ничего достойного удивления. Советские специалисты по Азии давно уже уговаривали Ханой изменить отрицательное отношение к ООН. Во время войны эта позиция Вьетнама ставила Москву в двусмысленное положение: СССР осуждал политику США во Вьетнаме, но в то же время чинил препятствия усилиям ООН вмешаться в конфликт. Полные решимости добиться окончательной победы, северовьетнамцы опасались, что любые решения ООН поведут к компромиссу и сыграют на руку и Сайгону и США.

Не только разногласия по поводу дипломатической тактики были источником трений между Вьетнамом и СССР. Победа Ханоя в 1975 году вместо того, чтобы исчерпать поводы для взаимного недовольства между СССР и Вьетнамом, породила новые. С моей точки зрения, США во Вьетнаме совершили две ошибки: вступили в войну и проиграли войну. Вступление США в войну заставило Москву и Пекин искать сотрудничества в тот момент, когда отношения между СССР и Китаем быстро портились. Но став союзником развращенного сайгонского режима, Америка нанесла урон собственному престижу, бросив своего союзника на произвол судьбы в 1975 году.

После падения Сайгона я, как и многие советские люди, был глубоко поражен тем, что США смирились с этим унижением. Зато партийные идеологи ликовали. Пример Вьетнама служил для них доказательством того разложения, которое, как они постоянно твердили, подрывает мощь и волю Запада. Для них поражение Америки было сильнейшим доводом в защиту более твердой политики по отношению к западному капиталистическому миру и к Соединенным Штатам в особенности.

Суть нараставшего взаимного недовольства между СССР и Вьетнамом заключалась в диаметрально противоположных взглядах обеих сторон по поводу финансовой помощи. Вьетнам ожидал больших денежных субсидий от СССР на восстановление разрушенного войной хозяйства. СССР не мог взвалить на свои плечи еще один дорогостоящий коммунистический режим. У него не было возможности платить по счетам и Кастро и Вьетнама — и не только потому, что Вьетнам больше Кубы и обходился бы дороже, но и потому, что его хозяйство было до тла разорено войной. Страх услышать требование Ха-

ноя оказать ему серьезную помощь в восстановлении страны частично омрачал радость советских руководителей по поводу американского поражения.

– Вся беда в том, – говорил Василий Макаров во время пребывания с Громыко в Нью-Йорке в сентябре 1975 года, – что мы не знаем, как им отказать. Эти скоты ведут себя так, будто они всего добились сами и мы теперь должны дать им луну.

В конце 1975 года Ле Дуан – преемник Хо Ши Мина, посетил Москву в надежде получить то, что, по мнению вьетнамцев, им причиталось. По посланиям, направленным для ознакомления дипломатам за рубежом, я понял, что ни одна из сторон этой встречей удовлетворена не была.

Хотя Ле Дуан в конце концов поддержал СССР в некоторых международных вопросах, таких как безопасность в Европе, разоружение, Ближний Восток и даже детант между Западом и Востоком, подвергавшийся критике со стороны Китая, тем не менее, как было отмечено в послании, делегация Ханоя ”не считает сейчас целесообразным занять четкую позицию в вопросе о разногласиях между СССР и Китаем”.

Со своей стороны, советские лидеры, не пожалев горячих заверений в солидарности, были весьма сдержанны, когда дело коснулось практической помощи Вьетнаму. Прославляя героизм вьетнамского народа, они пообещали помочь восстановлению Вьетнама лишь ”настолько, насколько это будет возможно”. Москва высказала намерение послать во Вьетнам группу специалистов для ”обследования на месте” и, только получив их обстоятельные доклады, решить, какую именно помощь надо оказывать. Последующие ”дары”, однако, будут сделаны, скорее всего, оружием и кредитами на покупку советского оборудования на льготных условиях. Ни о каких субсидиях, подобных тем, что предоставляются Кубе, даже и речи не шло.

Намек на скрытую напряженность в отношениях с Вьетнамом прозвучал и в докладе Брежнева на XXУ съезде КПСС в феврале 1976 года. Брежнев в начале доклада упомянул о советской помощи Вьетнаму во время войны, но о помощи ему в восстановлении хозяйства не сказал ничего. В этой же части доклада, говоря о Кубе, он употребил словосочетание ”американский империализм”, отсутствующее, когда речь зашла о Вьетнаме. Здесь он ограничился лишь терминами ”империалис-

тические захватчики" и "интервенты". Этот выбор слов не был случайным, он соответствовал линии, принятой в 1972 году. Брежнев тогда, несмотря на бои во Вьетнаме и минирование бухты Хайфон, принимал Ричарда Никсона.

Прием этот вызвал ярость вьетнамцев, особено еще и потому, что СССР сразу прекратил словесные нападки на США. Теперь же Брежнев вновь прибег к уклончивой лексике 1972 года. Это означало, что в отношениях Москвы с Ханоем не все гладко.

Хотя XXУ съезд в целом проходил довольно гладко и с трибуны текли длинные, тягучие, хвастливые речи, кое-что, однако, указывало на несколько необычные обстоятельства. Десятидневный форум партийной элиты, проходивший во Дворце съездов, казалось, подтверждал, что Леонид Брежнев приближался к полной консолидации власти в своих руках. Оно не было окончательным, но впечатляло. Появление Брежнева вызывало "бурные аплодисменты, переходящие в овацию", доклад его то и дело прерывался взрывом одобрительных аплодисментов. Однако в самом докладе были явственно ощутимы ноты беспокойства. Прежде всего эти ноты звучали в части, посвященной положению в советской экономике. Кроме того, ноты беспокойства можно было уловить и в тексте, посвященном "некоторым явлениям" за пределами СССР. Особенно тревожно звучали два слова: "особые взгляды". Этих "особых взглядов" придерживались "некоторые партии" других социалистических стран "по ряду вопросов". Хотя это замечание тут же было как бы опровергнуто утверждениями о том, что "общая тенденция" ведет ко все растущему единению между СССР и его восточноевропейскими соседями, от внимательного уха не ускользнуло, что на деле Брежнев выражал беспокойство независимыми, если не сказать еретическим, взглядами Румынии, Польши и Венгрии по поводу советской экономической и внешнеполитической доктрины.

Термин "особые взгляды" как будто безобиден. Но на самом деле это синоним разногласий и скрытое признание того, что в 1976 году страны – члены Варшавского договора отсутпили от линии, диктуемой Советским Союзом, "по ряду вопросов".

К тому времени я уже был наслышан о "беспорядках" в Польше. Польский представитель в ООН Генрик Ярошек

много раз приглашал меня посетить его страну. Но когда летом 1976 года я был в Москве, Василий Кузнецов посоветовал мне найти предлог и отказаться от приглашения.

Самое удивительное место в докладе Брежнева освещало отношения Запада и Востока в Европе. Оно явилось косвенным признанием того факта, что взлелеянный советский дипломатический курс, превозносившийся, как персональный триумф Брежнева, оказался чреват неожиданными неприятностями. Речь шла о Хельсинских соглашениях, известных как "Окончательный акт Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе".

Москве эта Конференция была необходима для подтверждения недопустимости перекройки карты Европы и признания неприкосновенности существующих границ. Иными словами, Москва нуждалась в официальном признании ситуации, сложившейся на континенте в результате второй мировой войны. То, чего Москва добивалась, она получила, но ей пришлось заплатить за это достаточно высокую цену. Советский Союз вынужден был принять ряд требований Запада, в частности, дать обещание сотрудничать в вопросах о правах человека, подразумевающих свободу передвижения и свободу обмена информацией.

В годы, когда я работал референтом Громыко, мне приходилось слышать на различных совещаниях в МИДе предостережения некоторых коллег, а также работников КГБ и даже членов ЦК КПСС по поводу того, что переговоры с Западом могут завести нас дальше тех целей, которые мы преследуем. Однако предостережения эти не были услышаны теми, кто делает политику. Отчасти виновата система, которая не предоставляет возможности скептикам ставить под вопрос основную тенденцию. Но даже если бы нашелся смельчак и высказал бы свои сомнения, его соображения были бы, скорее всего, отвергнуты. Участие Советского Союза в переговорах с Западом о безопасности в Европе стало вопросом личного престижа Брежнева.

Мысль скептиков заключалась в том, что СССР посредством двусторонних соглашений с Западной Германией, а также соглашений ФРГ и ГДР, ФРГ и Польши уже достиг своих основных послевоенных целей. Раздел Германии был признан Западом. Соглашения между Москвой и Бонном, Москвой и Римом, Москвой и Парижем заложили фундамент

для развития торговли, культурного и научного обмена и дальнейшей нормализации отношений между СССР и странами Западной Европы. Международное многостороннее совещание уже достигло базиса для детанта. Дальнейшая работа в этом направлении могла оказаться связана с риском побочных нежелательных эффектов.

Но противники скептиков говорили, что ввиду ухудшающихся отношений с Китаем, необходим надежный противовес в Европе. Таким образом, основой переговоров о безопасности в Европе становилось отсутствие таковой в отношениях между Москвой и Пекином.

Хотя основным фокусом советской политики детанта оставалось укрепление разнообразных связей с США, Москва хотела продемонстрировать полную нормализацию отношений СССР со странами Западной Европы. Успехи, достигнутые на переговорах с Францией в 1966 году и с ФРГ в 1970 году, имели очень большое значение. Благодаря заключенным договорам Кремль вступил в деловые отношения с западноевропейскими странами, и это дало ему надежду вбить клин между странами Западной Европы и США, используя их реальные разногласия по ряду вопросов.

Такая тактика продолжалась и после того, как отношения между СССР и США улучшились, и даже в разгар детанта в 1972-1973 годах. В отношениях с Америкой СССР придерживался одной линии, в отношениях с партнерами США по НАТО – другой. Медленный ход переговоров СОЛТ, продолжавшееся стремление со стороны США удерживать СССР в стороне от дипломатических усилий на Ближнем Востоке, ограничения и неопределенность в торговых взаимоотношениях между СССР и США – все это побуждало Москву держать европейскую карту за пазухой. Но пока на Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе велись длительные переговоры, произошли два события, которые способствовали уменьшению напряженности в МИДе и ЦК.

Во-первых, на XX1У съезде КПСС в 1971 году была провозглашена широкая мирная программа, объявлявшая целью коммунистических партий созыв Конференции всех европейских стран. Естественно, что после того, как об этом было громогласно заявлено, назад пути не было.

Во-вторых, Брежнев решил, что основной движущей силой кампании по европейской безопасности является лично он.

Имея склонность к грандиозным жестам, он все более связывал свою репутацию миротворца с успехом Конференции и положительным результатом перегоров. Такая персонификация внешней политики заставила прикусить язык критиков на более низком уровне. Теперь сомневаться в необходимости и плодотворности Конференции, означало ставить под вопрос мудрость вождя.

По иронии судьбы, главный представитель СССР на переговорах в Хельсинки пострадал именно из-за своей преданности политике Брежнева. Ответственность за исход переговоров (еще тогда, когда встречи, приведшие к Конференции не носили официального характера) была возложена на Анатолия Ковалева – протеже Громыко. Он знал мнение некоторых своих коллег, настроенных по отношению к Конференции скептически, но не придавал этому значения, строго следуя инструкциям, приходившим из Москвы, и проводил брежневскую линию на консультативных совещаниях в Женеве в 1973-1975 годах. Ковалев делал быструю, блистательную карьеру и вправе был ожидать вознаграждения на ХХУ съезде КПСС, рассчитывая на избрание в члены ЦК. Однако вместо этого, на съезде подверглась осуждению политика, проведению в жизнь которой Ковалев отдал все свои силы и способности. Ковалев не снес удара и попал в больницу с инфарктом миокарда. Кстати, инфаркт миокарда такое же типичное заболевание для советских чиновников, скатившихся со служебной лестницы, как язва желудка для их американских товарищей по несчастью.

Пока Ковалев находился на излечении в больнице, европейская политика, проводником которой он был, претерпела коренные изменения.

Согласившись участвовать в переговорах в Хельсинки и ожидая от них благоприятных для себя результатов, СССР оказался не в состоянии предпринять необходимые маневры, чтобы блокировать включение западными делегатами в повестку дня Конференции таких аспектов проблемы безопасности и сотрудничества в Европе, которые для СССР были необычны, непривычны и неприемлемы. Французские, британские и западногерманские дипломаты постепенно вынудили СССР принять терминологию, которая, обрети она жизнь, сняла бы преграды, мешающие передвижению людей с Востока на Запад, а потоку информации – с Запада на Восток. Де-

легаты стран НАТО и нейтральных государств заставили советскую делегацию принять принцип, суть которого состояла в том, что уважение прав человека и основных свобод со стороны государства столь же важно для доверия к его мирным намерениям, как и уважение суверенных прав другого государства и неприкосновенности границ.

Представляя СССР на переговорах в Женеве на протяжении двух лет, Ковалев всячески старался не допустить, чтобы тематика консультаций перекинулась за пределы ограниченных военных и политических концепций, которые Москва поддерживала с самого начала. Однако неуступчивая позиция СССР вызвала ответную реакцию Запада. Если СССР хочет добиться прогресса в достижении соглашений, настаивали представители Западной Европы, то ему придется пойти на расширение их тематики. После каждой такой дискуссии, означавшей задержку на пути к соглашениям, Ковалев получал из Москвы указание отступить, но лишь чуть-чуть. С каждым шагом назад позиции Ковалева ослабевали. Мало кто на Западе распознал успех западных дипломатов на этих скудно освещавшихся средствами массовой информации переговорах. Зато Заключительный Акт оказался знаменательной победой западных идей и своего рода поражением для Советского Союза.

Однако тщеславный Леонид Брежнев не пострадал за то, что втянул советское руководство в эту сложную ситуацию. Публично Брежнев продолжал говорить о победе СССР, но похвальбы его были уже пустым звуком. Козлом отпущения за провал советских политических амбиций стал Анатолий Ковалев, который самоотверженно делал то, что ему велели. Пять лет спустя, на ХХУ1 съезде КПСС Ковалеву вновь было отказано в высоком партийном кресле, несмотря на то что в МИДе он был одним из видных работников. Вместо него членом ЦК КПСС сделали Юлия Воронцова, вознаградив его за резкую атаку на пункты Хельскинских соглашений, касающихся прав человека. Эту атаку он провел на конференции в Белграде в 1977 году. На конференцию собрались представители 35-ти стран, подписавших Хельсинские соглашения. Ковалев, правда, в некоторой степени оправился от своего "позора". В качестве главы советской делегации он появился на другом подобном совещании – в Мадриде, в 1981 году.

Пример Ковалева назидателен. В советской системе от об-

виняемого немедленно отворачиваются; человек может служить системе преданно и верно, но один ошибочный шаг все зачеркивает – последствия очень трудно преодолеть.

Еще более устрашающе выглядит поведение Кремля в отношении выполнения Хельсинских соглашений. Советские руководители еще раз продемонстрировали, что они будут нарушать элементарные права человека независимо от подписанных документов. Это практически показало, что советская система по сути своей противопоказана такого рода правам. Где отсутствует демократия, там не может быть и настоящего социализма. Перспектива возвращения нашего общества к сталинизму, усиление подавления всякого инакомыслия – еще более очевидное после суда в 1966 году над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем – углубили мое личное разочарование в советской системе. Чем дольше я жил в Соединенных Штатах, тем явственнее становилась для меня разница между подавляющим человека советским обществом и подлинно свободной жизнью в Америке.

23

После моей первой встречи с Бертом Джонсоном я принял решение не возвращаться в Советский Союз. Однако, когда в 1976 году настало время отпуска, моя решимость поколебалась. Я и не предполагал, что мой испытательный период в качестве агента затянется на такой долгий срок. К тому же в моей личной жизни возникло одно неожиданное обстоятельство.

Геннадий женился. Как многие родители, мы не были сторонниками его ранней женитьбы. Мы считали, что он еще слишком молод, советовали ему осмотреться, все взвесить и вообще повременить, устроив прежде свою карьеру. Но сын нас не послушался, и вскоре стал любящим мужем и счастливым отцом, а мы с Линой – дедушкой и бабушкой. Надо ли говорить, как ждала Лина отпуска, чтобы поехать в Москву и увидеть нашего внука Алешу и других членов нашей семьи! Ее тянуло в нашу московскую квартиру, на нашу подмосковную дачу. Ее энтузиазм не знал границ. Да и мне хотелось повидаться с сыном, взглянуть на внука, пройтись по московским улицам. Все это пересилило мой страх, и я решил провести свой отпуск в Москве.

"Зачем спешить с переходом? – говорил я себе. – Все идет нормально. Анна останется с нами в Нью-Йорке еще на некоторое время. Я продолжаю сотрудничать с американцами и, хотя в это трудно поверить, кажется, перехитрил КГБ. Очевидно, у КГБ нет подозрений против меня, иначе мне бы никогда не вернуться из Гаваны в Нью-Йорк".

Постепенно я привыкал к моей новой роли. Мое положение уже не так сильно тревожило меня, как вначале. И я отодвигал мой разрыв с Линой, Геннадием, моей матерью и всей прошлой жизнью в будущее. Легче было встретиться с Джонсоном, сказать ему о моем намерении остаться, даже настаивать, чтобы он ускорил это дело, чем самому предпринять хотя бы один шаг на пути к разрыву. Я знал, что иду по пути наименьшего сопротивления, но нечто, будившее и будоражившее мои противоречивые чувства, толкало меня на эту совершенно бесполезную игру со временем. Я все ожидал какого-то сверхъестественного вмешательства, которое безболезненно решит мою судьбу.

Когда я известил Джонсона о приближении моего отпуска, у него родились идеи, как бы я мог провести его с большей пользой для американцев. Взвесив риск, по его уверению, ничтожный по сравнению с возможными результатами, он вместе со своими боссами в Вашингтоне пришел к заключению, что у меня появляется редчайшая возможность провернуть блистательную разведывательную операцию. Находясь в Москве и попросту следуя моему обычному жизненному распорядку, я смогу узнать о нынешних планах в советской политике и собрать сведения о тех, кто разрабатывает и проводит в жизнь политические решения. Многие сведения я могу получить, встретившись с Громыко и другими высокопоставленными советскими чиновниками в ЦК и в МИДе.

Это звучало логично, к тому же вопрос о моем отъезде в Москву был уже решен. Джонсон напомнил об осторожности и продиктовал мне инструкции, которые на этот раз я запомнил, вместо того чтобы записывать и везти с собой потенциальную улику, как было, когда я ездил на Кубу.

Через несколько недель после разговора с Джонсоном, Лина, Анна и я приземлились на московском аэродроме. Было ранее утро, но летнее солнце уже давно взошло. Когда лайнер Аэрофлота пошел на посадку, мы буквально прилипли к окнам. Отсветы от прудов среди берез и сосен пробудили во мне

давно забытые воспоминания о родных пейзажах. В природе северной России нет драматизма. Все ровно, лишь изредка встают невысокие пологие возвышенности да еще мелькают среди деревьев редкие луковицы куполов деревенских церквей. Это моя земля, мой дом. Радость встречи подавила приступы невольного страха, который шевельнулся во мне.

Лимузин марки "Мерседес" с голубым флажком, развевающимся на переднем крыле, посланный службой информации ООН, вселил уверенность, что КГБ меня не поджидает. В машине, стоявшей за "Мерседесом", сидел сотрудник МИДа, который занялся паспортными делами нашей семьи. Ему же поручено было получить и доставить на нашу квартиру багаж.

На семейной встрече председательствовала теща. Геннадий и его жена Марина принесли своего младенца. Они радовались нашим подаркам, расспрашивали об Америке. Наконец мы все уселись за стол, буквально ломившийся от разных вкусных вещей – тут был и копченый осетр, и моя любимая твердая колбаса, и семга, и грибы, которые теща сама солила. От закусок мы перешли к роскошному обеду, приготовленному Лининой матерью – прекрасной кулинаркой.

Разговор был живой и теплый. Алеша – здоровый, крепкий бутуз – вскоре уснул, не обращая внимания на обожающих его дедушку и бабушку. Геннадий с гордостью рассказывал о сыне, о себе, о Марине. Он работал в Министерстве иностранных дел, жил в своей собственной квартире и все свободное время проводил с женой, сыном и с родителями жены. Мне было радостно, что сын счастлив. Странно было видеть Геннадия таким повзрослевшим, погруженным в свои семейные дела. Но при этом я чувствовал, что для нас он уже – "отрезанный ломоть". Мы с Линой знали, что это неизбежно, но как-то было грустно сознавать, что он уже "не наш ребенок". С другой стороны, чем больше я смотрел на сына, тем окончательнее улетучивалась надежда обсудить с ним возможность покинуть Советский Союз. Из-за этих мыслей я чувствовал себя чужим на семейном празднике. Мой секрет, которым я бы хотел, но не знал как поделиться с моей семьей, становился невидимым барьером между нами.

Изобилие за нашим столом ни в коей мере не отражало истинного положения с продовольствием в стране. Со времени моего последнего отпуска оно резко ухудшилось. Теща жа-

ловалась на невозможность достать самые необходимые продукты. То, что "выбрасывали" в магазины, было удручающе низкого качества. Все стало дефицитом – молоко, масло, яйца. Она говорила, что в самые скверные сталинские и хрущевские времена Москва не сидела на голодном пайке, как сидит сейчас. Тогда говорили, что "Москва стоит под горой всей страны, вот в нее все и скатывается". Но теперь эту грустную шутку можно было считать устаревшей. Теперь и в Москве было не намного лучше, чем на периферии. Теща, например, с возмущением рассказывала, что ее подруга заплатила на Центральном рынке за цыпленка 12 рублей – четверть своей месячной пенсии. "Как только люди живут?!" – восклицала она.

Да, простым советским людям со средним достатком было, конечно, плохо. Цыпленка, о котором говорила теща, в магазине купить было непросто. Мы знали – мы счастливчики, имеющие доступ в специальные магазины, где все есть, и где все стоит дешево. Простой народ в такие магазины не допускается. Когда бы я ни приезжал в Советский Союз, я не мог не думать об этом и не вспоминать изобилие американских супермаркетов. Право, приехать из Нью-Йорка в Москву – все равно что попасть на другую планету.

Разговор начал скисать, и я сделал попытку его оживить, спросив, есть ли новые политические анекдоты. Теща с беспокойством взглянула на телефон, стоявший в коридоре на столике, и побежала прикрыть дверь между столовой и коридором.

– Не беспокойтесь, – сказал я, усаживая ее обратно за стол. – КГБ прослушивает не только телефоны, но, уж будьте уверены, установил специальные устройства в каждой комнате квартиры. Все знают, что КГБ прослушивает квартиры "подозреваемых" и представителей элиты. Последних – для их же "безопасности". К чему закрывать двери против "всеслышащих ушей"?

Первый рассказанный анекдот, однако, не изменил прежнего течения разговора. Анекдоты в основном касались положения в сельском хозяйстве и нехватки продуктов – животрепещущие темы для советских граждан и излюбленная мишень для острословов.

Брежнев во сне начал кричать и разбудил свою жену Викторию. "Что случилось, Леня?" – спрашивает она. Брежнев в

ужасе отвечает: "Мне приснилось, что мы установили коммунизм во всем мире". – "Так это же прекрасно!" – восклицает жена. "Ты так думаешь? А где же мы будем хлеб покупать?"

А вот еще один:

"Идет советский гражданин по Красной площади и кричит: "Брежнев – дурак!" Его арестовали и дали пятнадцать суток за оскорбление Брежнева и пятнадцать лет за разглашение государственной тайны".

Все смеялись. Но поскольку Геннадий работал в Министерстве иностранных дел, я предостерег его от рассказов подобных анекдотов. Даже если теперь за антисоветский анекдот и не дают десят лет строгого режима, то строгий выговор можно заработать. Более того, можно потерять и работу.

Если Брежнев, как говорили, сам иногда любил послушать антисоветские анекдоты, то Громыко их терпеть не мог.

Придя на следующий день в Министерство иностранных дел, я узнал, что Громыко в отъезде и дипломатической службой, а также и мной заведовал Василий Кузнецов. Я хотел немного отдохнуть, но Кузнецов жаждал засадить меня за работу. Я не сопротивлялся. Когда он попросил меня войти в группу, работавшую над советской политикой в Африке, я лишь для пущей важности высказал некоторые возражения, а про себя не без ехидства подумал, что ЦРУ и не мечталось засадить своего человека в отдел, где непосредственно разрабатывается и анализируется советская политика. Кузнецов сообщил мне, что Политбюро придает сегодня Африке особое значение и ожидает разработки "соответствующей" политики. Континент этот переживает "заключительную стадию колониализма" и появившиеся там "прогрессивные" государства стали "объектами иностранной интервенции". Для Кузнецова было привычным пересыпать частную беседу пропагандистскими словосочетаниями и лозунгами. Для советских бюрократов этот стиль – некий особый ритуал, не менее обязательный, чем религиозный обряд. Мне Кузнецов казался человеком приличным, достаточно интеллигентным, способным ощутить некоторую неловкость от необходимости прикрывать высокопарными словами истинные цели советской политики в Африке.

Более чем два десятилетия Москва считала Африку наиболее беспокойным звеном капиталистического мира, а значит,

и самым слабым. Умно используя локальные смуты себе на пользу, Москва могла бы расширить зону контроля, не платя за это большой цены. Немного денег, несколько советников и относительно дешевое оружие помогли бы обеспечить Москве большое влияние на новые неустойчивые режимы и партизанские движения.

Кроме выгоды, Москва преследовала также и политико-идеологические цели: продемонстрировать верность марксизма и полную применимость марксистко-ленинского учения в условиях становления молодых африканских государств, а также доказать превосходство советского метода над теориями, проповедуемыми китайскими коммунистами. Представители некоторых африканских государств в ООН не раз жаловались, что Москва выбирает "клиентов" не по принципу, кто из них более предан делу освобождения, а по их готовности противостоять Пекину. Африка, где когда-то предполагалось дать битву Западу, стала ареной соперничества двух коммунистических гигантов.

Поучительный пример тому – Ангола. Именно в Анголе Москва применила впервые новую модель поведения в Африке. До этого ни Советский Союз, ни Куба не решались на откровенное массивное военное вторжение в страну "третьего мира". Я не был удивлен, когда весной и летом 1975 года СССР начал регулярную отправку оружия в Анголу для поддержки промосковской фракции Агостиньо Нето. Чрезвычайно удивило меня другое, – когда осенью в Анголу начали пераправляться кубинские войска и Москва направила туда большую группу своих военных советников. И уж совершенно меня потрясло практически полное отсутствие какого-либо протеста против этих акций со стороны США.

К концу года, несмотря на мощную советско-кубинскую поддержку, армия Нето не добилась успехов в борьбе с силами оппозиции, которыми командовали Холден Роберто и Жонас Савимби. Из послания Москвы, полученного Советской миссией в Нью-Йорке, следовало, что Нето запросил у СССР дополнительную помощь. Яков Малик получил указание приложить все усилия для оттягивания созыва Совета Безопасности и, таким образом, предотвращения обсуждения ситуации в Анголе. Москва понимала, что вопрос об Анголе, поднятый в ООН, может только привести к политическим осложнениям.

Когда Малик доложил, что Даниэль Патрик Мойнихен – глава американской делегации в ООН – как будто бы нажимает на Вашингтон и другие делегации, чтобы рассмотреть вопрос об Анголе в Совете Безопасности, мы на расстоянии ощущали ярость, исходящую из Москвы. Мойнихен проявил больше политического предвидения, чем многие деятели в Вашингтоне. Понимая последствия советско-кубинской интервенции в Анголу, он настаивал, чтобы и Совет Безопасности, и Генеральная Ассамблея безотлагательно приступили к рассмотрению советско-кубинской акции. Совет Мойнихена не был услышан, и 19 декабря Конгресс США принял решение о прекращении военной помощи Анголе.

В результате этого решения США не оказали в ООН никакого сопротивления интервенции в Анголу и никаких военных контрмер принято не было. Советские лидеры были безмерно счастливы по этому поводу.

– Как это вам удалось уговорить Кастро послать войска в Анголу? – спросил я у Кузнецова.

Он засмеялся. Высказав предположение, что Кастро может "сыграть свою игру", послав двадцать тысяч кубинских солдат в Анголу, Кузнецов сообщил мне, что идея крупной военной операции родилась в Гаване, а не в Москве.

Это была удивительная новость и, как я потом узнал, – большой секрет советских руководителей. Западные наблюдатели были убеждены, что СССР, переправивший кубинских солдат по воздуху в Анголу, чтобы они помогли Нето победить прозападные и прокитайские фракции Роберто и Савимби, потребовал от Кастро этой важной услуги.

Но почему Куба добровольно предложила СССР помощь живой военной силой? Кастро этим преследовал свои цели. Во-первых, ему необходимо было поднять революционный дух в стране, – слишком много было разочарованных в режиме Кастро, слишком ощутимы были хронические экономические провалы. Во-вторых, Кастро все еще представлялся себе большим международным лидером. Его прежние усилия экспортировать революцию в страны Латинской Америки – горячечная навязчивая идея Че Гевары – вызвали тогда критику более консервативного советского руководства, посоветовавшего сначала наладить кубинскую экономику и отношения с соседними государствами.

Однако в 1975 году авантюризм Кастро пришелся Москве

по вкусу. Она стала потакать тщеславным замыслам кубинского диктатора. Растущая военная мощь Советского Союза открывала для Кремля возможность активизироваться в Африке. В противоречии с духом налаживавшихся советско-американских отношений Политбюро решило заняться африканским континентом, игнорируя мнение Соединенных Штатов.

Успехи кубинцев в Анголе вселили уверенность в советских руководителей, что у США просто не хватит решимости защитить Африку. Воинствующие элементы в Политбюро зачислили США в "слабаки". Они утверждали, что после унизительного поражения во Вьетнаме в 1975 году США уже не соперник Советскому Союзу в "третьем мире". Несмотря на то, что некоторые специалисты высказывали более сдержанное мнение по этому поводу, советские руководители полагали, что к "вьетнамскому синдрому" у американцев теперь прибавился еще и "ангольский синдром".

В довершение, 1976 год был годом президентских выборов в США, это еще прибавило отваги советскому вмешательству в Африке. Преобладающее большинство специалистов в МИДе поддерживало мысль о том, что Америка занята более своими внутренними делами, чем делами в Африке. "Янки опять надели на себя наручники почти на год. Им теперь не до нас", – заявляли с сознанием собственного превосходства многие высокопоставленные советские чиновники.

Мое собственное мнение о советской политике в Африке я держал при себе. Работники Африканского отдела МИДа были самыми большими конформистами, дипломатами, лишенными воображения. Лишь с одним Кузнецовым можно было в некоторой степени быть откровенным.

Беседуя с ним, я без обиняков рассказал ему, что наши дипломаты в Африке часто страдают от совершенно неналаженного быта. Их снабжение из Москвы поставлено плохо, и семьи советских сотрудников, работающих в Африке, подчас не имеют самых необходимых вещей. Их родные, например, вынуждены посылать им сухое молоко и прочие продукты из Москвы. В Министерстве иностранных дел знали, что такое положение не исключение. В результате мало кто хотел получить туда назначение. В разговорах можно было услышать опасения по поводу посылки на работу в Африку, и отделу кадров, естественно, трудно было найти квалифицированных специалистов для работы там.

С Кузнецовым мы обсуждали и лидеров африканских государств. Об Агостиньо Нето он заметил с жестокой откровенностью:

– Он нам нужен лишь на время. Мы знаем, что он болен. Несколько раз Нето приезжал сюда лечиться. Да и психически он не очень надежен. Правда, он полностью у нас в подчинении, а это то, что сейчас требуется. Что же касается будущего, поживем – увидим.

Слова Кузнецова разожгли мое любопытство. Я решил узнать поподробнее о делах в Анголе и поговорил с другими работниками министерства. От них я узнал, что Москва, хоть и славила Нето как "героя национально-освободительной борьбы ангольского народа", никогда не доверяла ему.

Вторя словам Кузнецова, один специалист по Африке сказал мне, что Москве нужен был только авторитет Нето, как лидера МПЛА. Москва считала, что в МПЛА были люди более ценные, чем Нето, например Ико Карейра. Но без Нето было бы трудно привлечь Организацию африканского единства на сторону МПЛА.

– До того, как Ангола получила независимость, Нето несколько раз пытались убить, – сказал он.

– Кто же это? – поинтересовался я.

– Его же люди из МПЛА.

– Это были люди, преданные нам? – допытывался я.

– Скорей всего, – ответил мой собеседник. – Наверняка утверждать трудно, но ты же знаешь... Такие дела держат под замком.

Я вновь почувствовал отвращение, поняв, что в Анголе действует гангстерская рука Москвы. С Кузнецовым я об этом, естественно, не говорил. Мы занимались моим конкретным заданием.

Дело заключалось в том, что СССР испытывал некоторое беспокойство в связи с территориальными раздорами между африканскими странами. Эти раздоры вполне могли смешать советские планы на африканском континенте. Особенно тревожными были территориальные споры между Эфиопией и Сомали из-за Огадена, а также между Марокко и Алжиром в Западной Сахаре.

СССР имел особые интересы в Огадене, но будучи в хороших отношениях и с Эфиопией, и с Сомали, он вовсе не желал ставить под угрозу свое прочное положение на Африкан-

ском мысе из-за необходимости принять ту или иную сторону. На севере же континента положение было иное. Советский Союз не очень доверял Алжиру и всячески стремился привлечь на свою сторону Марокко. В основе конфликта была поддержка Алжиром Фронта Полиссарио, стремившегося захватить власть в бывшей Испанской Сахаре, на которую претендовало Марокко.

В обоих случаях главными были политические расчеты, а идеология отступала на второй план. Революционный режим, свергнувший эфиопского императора Хайле Селласие, исповедовал ярый марксизм, что теоретически должно было сделать его фаворитом Москвы. Советские, кубинские, восточногерманские военные советники в Эфиопии и посылаемое оружие сыграли решающую роль в подавлении постоянно вспыхивавших восстаний в Эритрее. Но Сомали также считал себя "социалистическим" государством и, что было еще более важным, предоставил в распоряжение СССР порт Бербера – важный стратегический пункт на берегу Индийского океана. С такими крупными ставками в обеих странах Москва рисковала многое потерять, встань она на сторону одного из противников.

Рассуждая логично, на севере Африки Москва должна была бы поддержать Алжир и партизан Фронта Полиссарио, – социалистическое освободительное движение. Марокко же – исламская монархия. Идеологический выбор, казалось бы, ясен. Но у СССР, кроме идеологических соображений, были еще и практические цели, затруднявшие выбор. Не желая толкнуть Марокко еще дальше в западный лагерь, Москва также не могла согласиться с постоянными заигрываниями Алжира с Китаем и с той поддержкой, которую Пекин оказывал партизанам Фронта Полиссарио. Так же, как и в случае с Огаденом, конфликт на севере Африки не способствовал развитию советских планов, а подвергал их опасности. Вот и выходило, что раздоры и конфликты между африканскими государствами, некогда игравшие на руку Москве, теперь стали препятствием для дальнейшего роста советского влияния на этом континенте.

Работа, предстоявшая мне и моим коллегам, состояла в разработке плана применения на африканском континенте тех же принципов неприкосновенности границ, которые были центральными в дипломатическом наступлении, приведшем к

соглашению о безопасности в Европе. Хотя африканские границы были установлены колониальными державами без учета расселения племен и их традиций, Москва, предпочитая сохранение статус-кво, не желала никаких изменений существующих границ, обозначенных европейцами на географических картах еще в прошлом веке.

В подтексте этой политики стоял еще один вопрос, не имевший прямого отношения к Африке: вопрос о территориальном споре между СССР и Китаем о землях вдоль Амура и Уссури, захваченных царской Россией у Китая в XIX веке в тот же период, когда Англия, Франция и Германия делили Африку. Кремль опасался любого прецедента, где бы то ни было, которым Китай мог бы оперировать в своих территориальных претензиях. Политика в Африке должна была строиться с учетом этих соображений, независимо от того, насколько прагматичны были бы ее последствия.

Работа, таким образом, походила на разгадку загадки с имеющимся ответом. Конкретная задача Министерства иностранных дел состояла в том, чтобы составить послание, которое Брежнев потом пошлет главам всех африканских государств. В этом послании должна была содержаться формулировка советской политики с акцентом на основном принципе неизменности и неприкосновенности существующих границ.

Я был рад, когда эта нудная работа подошла к концу, а вместе с нею и мой отпуск. Пора было возвращаться в Нью-Йорк.

24

Золотистым полднем в последних числах сентября 1976 года в отдаленном уголке аэропорта Кеннеди собрались люди. Они нервно осматривали друг друга, напряженно стараясь понять, кто свой, а кто – чужой. Толкаясь около своих автомобилей, они неуверенно оглядывали себя, что-то непрерывно поправляя и то и дело всматриваясь в ослепительно синее небо и легкую дымку, поднимавшуюся над отдаленной посадочной полосой. Вскоре на нее сел советский лайнер "ИЛ-62", доставивший в Нью-Йорк министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, прибывшего на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

На аэродроме Громыко встречали человек 50-60, пред-

ставлявших элиту советской дипломатической колонии. Среди них выделялись фигуры Малика и трех его заместителей, включая резидента КГБ Юрия Дроздова. Присутствовал на аэродроме также секретарь нью-йоркской парторганизации Александр Подщеколдин, главы украинской и белорусской делегаций в ООН, а также начальник охраны Миссии. Не остались в стороне и представители стран – членов Варшавского договора, а также Монголии.

Эти лица были приглашены на встречу Громыко. Но, по крайней мере, половина топтавшейся толпы проникла на аэродром по собственной инициативе. Например, заместители глав Украинской и Белорусской миссий, Борис Прокофьев – заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам, постоянно подлизывавшийся к высокопоставленным бюрократам. Все эти люди ежегодно прибывали на церемонии встречи Громыко только для того, чтобы поглазеть, кто из тщеславных чиновников сможет протиснуться поближе к Громыко и удостоится быстрого рукопожатия высокого советского вельможи. Но так как Громыко не тратил много времени на подобные процедуры, неприглашенным просто не на что было рассчитывать. Тем не менее желание быть хоть как-то причастным к власть имущим и знаменитым гонит их всякий раз туда, где эти знаменитости появляются.

Самым высокопоставленным лицом в толпе встречавших был, конечно, прибывший из Вашингтона посол СССР в США Анатолий Добрынин. Он был также единственным человеком, которого Громыко хотел видеть в первый же момент своего прибытия в Нью-Йорк.

Во время летнего отпуска, работая в МИДе, я мог наблюдать симптомы лихорадки, вызванной приближавшейся предвыборной кампанией в США. К концу сентября, как я знал по опыту прошлых лет, лихорадка становилась всепожирающей. За шесть недель до выборов московских руководителей сжигало желание узнать: кто выйдет победителем?

Прилетев в Нью-Йорк, Громыко в первую очередь жаждал услышать от Добрынина нечто более или менее определенное о будущем победителе на выборах.

– Будьте готовы, – сказал я Добрынину полушутя, – он на вас будет нажимать.

– Не только на меня. Нам всем достанется. Центр забрасы-

вает нас в Вашингтоне телеграммами. За несколько месяцев нас уже почти досуха выжали. Теперь – очередь за вами.

Добрынин побил все рекорды пребывания на посту советского посла в Вашингтоне. Секрет его успеха скрывается в том, что он не делает опрометчивых предсказаний. Тем не менее я спросил, кто, по его мнению, станет президентом, – останется ли на этом посту Джеральд Форд или на смену ему придет Джимми Картер. Он засмеялся: "Я и сам бы хотел знать".

Усталый после долгого полета – хотя в самолете стоят кровати, и он мог бы отдохнуть, – Громыко быстро покончил с приветственной церемонией, пожал руки считанным людям и, не вступая ни с кем в разговоры, покинул аэропорт. За ужином в Миссии, где присутствовало только несколько человек, Громыко вполуха слушал, как мы с Маликом обсуждали повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи и вопросы, с которыми придется столкнуться. Министр думал об Америке, но он хотел отдохнуть, прежде чем приступить к делам.

На заседании в кабинете Малика, который был отдан в распоряжение Громыко на время его пребывания в Нью-Йорке, он сообщил ответственным сотрудникам Миссии и мне о своих и наших обязанностях. Хотя, сказал он, цель его приезда – принять участие в работе Генеральной Ассамблеи и выступить с речью о главных направлениях советской политики, он рассматривает это, как обычную рутину. Его главная забота сейчас – отношения с Соединенными Штатами и переговоры, которые должны состояться между ним и государственным секретарем Генри Киссинджером.

– В данный момент, – продолжал Громыко, – я хочу, чтобы вы сосредоточили свое внимание на американских делах. Все вы. Нью-Йорк – это не только ООН. Это очень важный американский город, где много хорошо информированных и влиятельных людей. Вы должны войти в контакт с теми, кто знает, что происходит. Используйте эти контакты. Нам нужна любая информация.

Пытаясь превратить в специалистов по политике США сотрудников ООН, Громыко скорее показал свое волнение, чем выказал здравый смысл. В лучшем случае наш вклад оказался бы мизерным.

Однако внешне беспокойство Громыко не было заметно. Кончив давать нам указания, он обратился к Добрынину с во-

просом, кто же выйдет победителем на президентских выборах. В отличие от того, что Добрынин откровенно говорил мне в аэропорту, он дал Громыко выверенный и тем не менее уклончивый ответ. Добрынин объяснил, что большинство его американских знакомых воздерживаются от прогнозов. Ситуация очень сложная, результат – непредсказуем. Хотя у Форда, как президента, есть определенные преимущества и его шансы могут показаться выигрышнее, никогда нельзя отвергать вероятности, что "непредвиденные обстоятельства" сделают победителем Джимми Картера. Зная, что Громыко был бы рад услышать, что, скорее всего, на выборах победит Форд, которого Москва рассматривает как продолжателя политики Никсона, Добрынин напирал больше на преимущества Форда. Изменив свой анализ, Добрынин тем не менее обеспечивал себе путь к отступлению, взвешивая возможности обоих кандидатов с точки зрения советско-американских отношений и не исключая вероятности будущего сотрудничества с Джимми Картером.

Называя Форда "футболистом", Добрынин в то же время разделял взгляд Громыко на американского президента. Ведь он все же был – лицо знакомое, лидер, с которым Советский Союз мог продолжать вести дела. А каков Картер – неизвестно. Если судить по его заявлениям, сделанным в ходе предвыборной кампании, особенно о правах человека, можно предположить, что он меньше стремится продолжать политику разрядки между США и СССР, что политика, которая привела к детанту между США и СССР вряд ли будет продолжена. Но внешность бывает обманчивой, предупреждал Добрынин. Риторика предвыборной кампании часто сбивает с толку и не обязательно является показателем того, как человек будет себя вести, став президентом.

Сладко текущие речи Добрынина были полны здравого смысла, но Громыко явно был неудовлетворен – ему хотелось знать точно. Ему было трудно согласиться, что точных ответов не существовало.

За нетерпением Громыко стояло не простое любопытство к внутренним делам США. Эта страна интересовала его как соперник и партнер. Еще с первых послереволюционных лет кремлевское руководство смотрело на американских президентов только сквозь призму своих интересов – объективный взгляд советским лидерам органически чужд. Им было без-

различно, хорош президент для американцев и для Америки или плох. Важнее было, хорош ли американский президент для СССР. Меряя этой, как любил говорить Громыко, "безошибочной меркой", Кремль наградил в той или иной степени "почетным" признанием только трех президентов США: Франклина Рузвельта – за то, что он установил дипломатические отношения с СССР и подписал Ялтинские соглашения; Джона Кеннеди – за согласие подписать соглашение о запрещении испытаний ядерного оружия да еще за его решительность, проявленную во время Карибского кризиса и Ричарда Никсона – за приезд в Москву, за СОЛТ и за политику детанта.

Стоит заметить, что "безошибочной меркой" меряются не только американские лидеры. Она прилагается ко всем политическим деятелям мира. Так, Уинстон Черчилль был, исходя из этой мерки, не выдающимся лидером и государственным умом, а "злостным врагом СССР и мирового коммунизма, основоположником и зачинателем холодной войны". Западная Германия имела после войны никуда негодного канцлера Конрада Аденауэра и превосходного Вилли Брандта. Генерал де Голль попеременно был и хорош, и плох. Плох – до визита в Москву в 1966 году, хорош – после.

Несмотря на необъективный, упрощенный взгляд на американских президентов, отношения с Вашингтоном действительно были исключительно важны для Москвы. Громыко считал, что они составляют центральный момент в советской внешней политике. Брежнев возлагал на детант большие надежды и связывал их с решением экономических проблем в стране. Между СССР и США были не простые отношения двух могучих государств, но связи эти представляли собою сложнейшее взаимодействие двух полюсов власти в мире, двух противоположных, враждующих и борющихся друг с другом могучих социальных и политических систем. Советский Союз шел на сближение с Соединенными Штатами, не отказываясь от своей конечной цели – ослабить, разрушить и победить этого сверхмощного соперника, не отказываясь от борьбы за влияние в мире и, в частности в странах "третьего мира".

Успехи в налаживании отношений между СССР и США в период 1972-1976 годов покоились, однако, на хрупкой основе личных прямых контактов Кремля с Белым Домом. Теперь Громыко опасался, что поражение Форда повлечет за со-

бою прекращение связи Добрынина с Киссинджером, а это нанесет большой вред. Не исключалось и худшее: Джимми Картер может пойти на разрушение особой системы контактов московского руководства с американским президентом. Кремль предпочитал преемственность в американском правительстве.

Консервативные по своей сути, советские руководители не любят резких перемен – "беспорядков", грозящих нарушить установленный образ жизни или вынудить СССР к изменению своего поведения на международной арене. Будучи помощником Громыко в 1972 году, я сам наблюдал, как беспокоился мой босс во время кампании по переизбранию Никсона, опасаясь, что Никсон может лишиться президентства. Теперь, четыре года спустя, он вновь нервничал и находился в состоянии большого напряжения, даже несмотря на то что разделял нелестное мнение Добрынина об интеллектуальных способностях Форда. Ему, имевшему уже дело с семью американскими администрациями, не улыбалось начинать все с самого начала с новой и непредсказуемой восьмой.

Советское отношение к США никогда не было однозначным. Как и большинство советских граждан, кремлевские лидеры околдованы Америкой, но к этому примешаны зависть и презрение, уважение и насмешка. Кремль озадачен американской военной, политической и экономической мощью, испытывает благоговение перед техническими достижениями США. В этом смысле нет особой разницы между отношением к Соединенным Штатам простых людей и советских лидеров. Однако гордость последних страдает оттого, что США не признают за СССР равенства, на которое, по мнению руководства, он имеет право.

Россия и Соединенны Штаты – два самых многонациональных государства планеты. Кроме того, географически – они соседи. Этот факт не осознают до конца ни американцы, ни русские. Оба государства разделяют лишь две мили Беренгова пролива – между аляскинскими Малыми Демидовыми и сибирскими Большими Демидовыми островами. Территория и США и СССР огромна и богата природными ресурсами. Не раз отмечалась и схожесть этих стран. Например, Марк Твен, еще в прошлом веке посетивший Россию, писал в 1867 году, что эти места напомнили ему виды Сиерры, а посетив Одессу, он воскликнул: "Я чувствовал себя здесь, как дома, а

это давно уже со мной не случалось!" По своей психологии и по культуре американцы и русские тоже похожи. В русских, как и в американцах, живет дух первооткрывателей. Гордость и сердечная теплота присущи как русским, так и американцам. Среди представителей старшего поколения живы ностальгические воспоминания о союзе США и СССР в годы второй мировой войны, завершившемся дружеской встречей американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году.

Но в силу специфически советских условий чувства, которые американцы выражают открыто, русские могут обнаружить лишь в дружеском, узком кругу. Американцы симпатичны русским своею простотой, отсутствием интеллектуального высокомерия и снобизма, часто встречающихся в других иностранцах.

Интерес русских к Америке возник еще до образования Соединенных Штатов. Они первыми ступили на землю, позже названную Аляской, побывали у берегов Испанской Калифорнии. Есть общее и в том, как русские покоряли Сибирь, а американцы осваивали Запад. И там, и там лежали целинные богатые и прекрасные земли. Русские ученые знали и ценили американских ученых. Так, Михаил Ломоносов был знаком с работами Бенджамина Франклина, которого очень почитали в русских интеллектуальных кругах. Представитель русской революционной традиции Александр Радищев восхищался Американской революцией и ее вождем Джорджем Вашингтоном. Столетие спустя Ленин также отзывался с похвалой об Американской революции. И хотя он называл президента США Вудро Вильсона "лакеем акул капитализма" и шельмовал "кровавый американский империализм" за поддержку интервенции против Советской России, он утверждал, что решительно стоит за экономическое сотрудничество с Америкой — "со всеми странами, но особенно с Америкой". Ленин встречался с американскими бизнесменами — Франком Вандерлипом, Армандом Хаммером и другими, пытаясь наладить советско-американскую торговлю. Эти связи соответствовали ленинскому утверждению, что в основе советской внутренней и внешней политики лежат экономические интересы.

Экономическая мощь Америки восхищала Ленина так же, как она восхищает и тех, кто унаследовал его власть. Первый руководитель советского государства не раз высказывал пожелание, чтобы молодое советское государство училось у

американцев их деловитости, восприимчивости к новому. В современных публикациях об этом стараются вспоминать пореже, но среди советского руководства еще живы те, кто помнит предвоенное сотрудничество с Соединенными Штатами в области промышленности, позволившее обогатить советские предприятия новыми знаниями, навыками, энергичным подходом к делу. Эти воспоминания, так же как и надежда на возобновление этих контактов, были одной из движущих сил в сближении Брежнева с Ричардом Никсоном.

У детанта, конечно, были свои ограничения. Разные слои советского общества и особенно определенная часть руководства испытывала враждебность к Соединенным Штатам. Ленин охарактеризовал американский империализм, как "самый свежий, самый сильный, последним примкнувшим к мировой бойне народов за дележ капиталистических прибылей". Многие до сих пор верят в это, и потому их так тревожит американская военная мощь. Это, однако, не зеркальное отражение страха США перед внезапной атакой или возможностью оказаться беззащитными перед такой угрозой. Они ненавидят американскую военную силу именно потому, что отдают себе отчет в том, какова она на самом деле, понимая, что эта сила способна отразить советскую экспансию. Более того, эти люди сознают, что военная мощь США является главным, если не единственным барьером для советских планов мирового господства.

Однажды, обедая с Громыко на даче во Внуково, я спросил его, что, по его мнению, является самой большой слабостью американской политики в отношении СССР.

– Они не понимают наших конечных целей, – ответил он, не задумываясь. – И они принимают тактику за стратегию. У американцев слишком много доктрин и концепций, провозглашенных в разное время, но нет твердой, связной и последовательной политики. Вот в чем их большой недостаток.

Громыко добавил, что в "дипломатии мы превосходим американцев", имея в виду частые перемены американского персонала на важных дипломатических постах и делегатов на ответственных переговорах. Дипломаты в МИДе, например, очень веселятся всякий раз, когда новая компания дилетантов и политиков-любителей, назначаемая новым президентом, наводняет Госдепартамент США.

Мнение Громыко об американской внешней политике разделяют многие советские руководители. Они считают внешнюю политику США "зигзагообразной", даже на протяжении одного президентства, однако им также известно, что американцы в любом случае не могут длительное время игнорировать возможность наладить нормальные отношения с Советским Союзом, поскольку нормальные отношения с СССР экономически выгодны. "Почему не подождать до новых выборов?" – спрашивают мидовские специалисты по США, когда отношения между двумя сверхдержавами осложняются.

Советское руководство, хотя и проявляет повышенный интерес к американским свободам, политическому плюрализму и культурному разнообразию, однако не в состоянии понять механизмы американской политической системы. Если за последнее время взаимоотношения между Конгрессом и президентом несколько прояснились, то взаимоотношения между членами Конгресса и избирателями, роль общественного мнения и средств массовой информации – этого невероятного пугала, по их мнению, – остаются непонятыми. А свобода информации представляется прямой угрозой безопасности СССР. Воплощение во внутренней и внешней политике США идеалов Американской революции в глазах Кремля является вредной наивностью, и ее проявления иногда побуждают Кремль усомниться в серьезности американцев. При этом советских руководителей поражает, как такое сложное и мало контролируемое общество поддерживает столь высокий уровень продуктивности, эффективности производства и технологического прогресса. У них возникает фантастическая идея о том, что где-то все-таки есть некий тайный контрольный центр, который направляет всю американскую жизнь. Советским лидерам очень сложно представить себе иную систему, непохожую на советскую, управляемую небольшой группой людей, действующих тайно и из одного центра. Они продолжают пережевывать старую догму, утверждающую, что буржуазные правительства – это "лакеи монополий". Не это ли тайный контрольный центр? – рассуждают они.

Пропасть непонимания американской политики и американского подхода к делу поглощает даже опытных советских работников, даже таких, как Добрынин. И он порой не способен понять, что происходит, и дать точную оценку происходящему. Американцы были бы удивлены, узнав, как мало Гро-

мыко, живший в Америке и регулярно посещающий ее, знает о каждодневной американской жизни. Одна из важнейших задач Добрынина заключается в том, чтобы быть неофициальным наставником, исправляющим ограниченную и предвзятую картину Америки, существующую в головах советских руководителей.

Находясь в Нью-Йорке, Громыко как-то заговорил с Добрыниным и со мной об американской экономике. Поводом к разговору послужил мед. Громыко положил себе в чай ложку меда и заметил, что американские пчелы производят явно недоброкачественный продукт.

На самом деле Миссия подавала Громыко самый дешевый мед, какой только можно было купить, что я и объяснил министру. Он тут же захотел узнать цену меда, которая показалась ему высокой, а заодно стал спрашивать о ценах на другие товары: на мед лучшего качества, на рубашки, на квартиры в Манхэттене. Мы с Добрыниным называли цены, а Громыко выражал удивление по поводу дороговизны. Он никогда не бывал в американских магазинах и почти ничего не знал об уровне жизни в Соединенных Штатах.

Добрынин решил воспользоваться этим разговором и просветить Громыко в более широком смысле. Для того чтобы сделать приятное министру, он согласился, что цены, действительно высоки (хотя, разумеется, знал, что это не так, особенно, если сравнивать со средней зарплатой советского человека и ее долей, идущей на питание, одежду, обувь и другие самые необходимые товары).

— Но зато, — добавил Добрынин, — в американских магазинах огромный выбор любых товаров.

Громыко сморщил нос, что обычно свидетельствовало о его неудовольствии и случалось, когда ему приходилось выслушивать неприятную правду.

— Может быть, вы правы, — согласился он. — Но у американцев тоже полно проблем. Бедность. Безработица. Расовая ненависть.

— Конечно, никто с этим не спорит, — поспешил Добрынин подсластить пилюлю, которую он собрался преподнести Громыко. — Но мне кажется, что советские журналисты уделяют слишком много внимания негативным сторонам американской жизни. Концентрируя внимание только на тяжелых проблемах, они создают превратную картину жизни в США. Когда

я приезжаю домой, люди расспрашивают меня об Америке так, будто она вот-вот развалится. – Он громко засмеялся, но затем продолжал очень серьезно: – Нашим людям следует думать более реалистично. Им нужна более аккуратная информация, а не искажения, состряпанные недобросовестными писаками.

Немного подумав, Громыко согласился, что советская пропаганда была бы более эффективной, если бы советские журналисты, работающие за рубежом, писали бы не только то, что хотят услышать пославшие их организации, занятые пропагандой, но и отражали бы действительное положение дел.

Однако практических результатов урок Добрынина не дал. Громыко – человек осторожный – и в дела, лежащие в стороне от его прямых обязанностей, как правило, не вмешивается. Советская пресса до сих пор представляет американскую жизнь столь невероятной и противоречивой, что сбивает с толку не только простых граждан в СССР, но и руководителей страны. Советские средства массовой информации, отмечая, что США – богатейшая страна на земном шаре, называют их страной отмирающего капитализма, международным бандитом и государством, где все разваливается. Целенаправленные, вырванные из жизненного контекста материалы, дозволенные к публикации, контроль над свободой передвижения, жесткие ограничения на поездки за границу, невозможность нормальных контактов с иностранцами (даже с жителями социалистических стран), неиссякающий поток официальной пропаганды, изливающийся с помощью средств массовой информации и системы образования, – все это делает советских людей беззащитными перед произволом партийных пропагандистов.

Этот произвол господствует и в наглядной пропаганде, касающейся США. Многочисленные фотографии столовых Армии спасения, где за едой стоят толпы оборванных, бездомных людей; длинные очереди в офисах, где выдают пособие по безработице; межчины и женщины, ночующие в заснеженных канавах; обезображенные младенцы – жертвы американских бомбардировок во Вьетнаме; планы американских ядерных атак, взятые, кстати, из американской прессы, со стрелками, указывающими на советские города, – все это подробно изучается советскими гражданами и должно слу-

жить яркой демонстрацией преимуществ советского строя. Но, несмотря на это, советские люди поражаются богатством Америки, а некоторые из производимых ею товаров становятся предметом пристального внимания и изучения. Это прежде всего относится к бытовой электронике и машинам. Толпы молодых людей собираются около магазинов, торгующих радиотоварами, и обсуждают марки американских магнитофонов, стереоустановок и приемников так же профессионально, как я могу говорить о политических книгах. Даже в 70-х годах одна из последних моделей американского автомобиля, появляясь на московских улицах, привлекала толпы зевак, которые стремились выглядеть знатоками. На улицах провинциальных городов появление американской машины способно остановить движение.

Советская интеллигенция испытывает невероятный интерес не столько к технологии, сколько к американской литературе и искусству. В СССР знают и ценят Марка Твена, Хемингуэя, Джека Лондона и Уильяма Фолкнера (чьи книги были переведены на русский язык только при Хрущеве): Современные авторы – Апдайк, Чивер, Стайрон – тоже привлекают широкий круг читателей. Посещать полузакрытые просмотры американских фильмов в Доме кино – вопрос престижа. Магнитофонные ленты с джазовой музыкой, записанные во время передач "Голоса Америки", ходят по рукам и составляют важную часть неофициальной современной музыкальной культуры.

При этом советские люди считают, что достижения Советского Союза не получают должного признания у американцев. Надо помнить, что большинство советских людей гордятся своей культурой и считают ее выше американской. Ведь никакой другой народ в X1X веке не дал миру такого впечатляющего числа великих писателей – здесь и Толстой, и Достоевский, и Чехов, и Тургенев, и Пушкин.

Брежневская политика разрядки озадачила советских людей ничуть не меньше, чем все другие аспекты советско-американских отношений. "Международный детант", выдвинутый Советским Союзом как доказательство торжества идеи мирного сосуществования, для Соединенных Штатов означал нечто иное, нежели для СССР. Нет простого ответа на вопрос, почему так произошло. Но Джордж Кеннан, например, писал,

что ему непонятно, "откуда взялось мнение, что якобы в наших отношениях с СССР начинается новый период нормализации и разрядки, резко отличный от всего, что было раньше".* Генри Киссинджер правильно назвал детант "ослаблением конфликта между противниками, а не культивированием дружбы".** Правда, это мнение расходится с высказыванием Никсона, сделанным в 1972 году. Тогда Никсон утверждал, что "заложена основа для нового типа взаимоотношений между двумя самыми сильными государствами в мире". Никсон, однако, выразил и некоторый скептицизм из-за идеологических различий между двумя странами, но все же сравнил соглашение, достигнутое в Москве, с дорожной картой, "которой впредь СССР и США будут следовать".*** Говоря о "новой основе" Никсон набросал слишком радужную картину взаимоотношений между сверхдержавами. Брежнев же был осторожнее, в конце 1972 года он говорил лишь о "существенно новом развитии американо-советских отношений".

Очень трудно объяснить подлинное существо детанта в 70-х годах, так как он был порожден рядом специфических объективных и субъективных факторов, как кратковременных, так и имевших далекие последствия. Несомненно, на пороге 70-х годов мир во многом изменился по сравнению с тем, каким он был к началу холодной войны. Китай и ряд стран "третьего мира", так же как и другие страны, не желали более подчинять свою политику интересам Москвы или Вашингтона. Приблизительное стратегическое равенство, достигнутое между СССР и США, привело к тому, что американская политика с позиции силы устарела, и это заставило обе стороны начать искать пути к компромиссу в вопросе о контроле над вооружениями. Перемены в отношениях Москвы и Вашингтона были неизбежны, и договоры, заключенные в начале 70-х годов явились выражением требований времени.

К сожалению, многие и в Америке, и в Западной Европе сделали из этих перемен неправильные выводы — результатом этого явилась беспорядочная смесь реальности, иллюзий, на-

---

* G.F.Kennan. The Nuclear Delusion (Pantheon, 1982), p.48.

** H.Kissinger. Yeans of Upheaval (Little, Brawn, 1982), o.753.

*** Public Papers of the Presidents of the United States: Richard M.Nixon, 1972 (U.S.Government Printing Office, 1974), p.661.

ивности и мечтаний. На детант было возложено слишком много надежд, оказавшихся не реальностью, а миражом.

Поверхностному взгляду детант представлялся политикой привлекательной и позитивной. В своих речах на переговорах кремлевские лидеры подчеркивали стремление предотвратить ядерную войну, сократить гонку вооружений, развивать нормальные взаимовыгодные долгосрочные отношения, развивать экономическое, научное и культурное сотрудничество, налаживать торговлю.* Читая этот список, можно было предположить, что Советский Союз отказывался от своей вполне амбициозной цели — победы коммунизма во всем мире. На самом же деле советское руководство говорило своим западным коллегам то, что тем хотелось услышать.

Многие в Соединенных Штатах надеялись, что детант укрепит сотрудничество и тем самым ослабит вышедшее из-под контроля соперничество. Кремль поощрял сотрудничество в той мере, в какой оно служило его целям, но никогда не собирался отказываться от соперничества, как стратегического, так и идеологического. Одно из самых больших заблуждений поборников детанта — надежда на то, что благодаря экономическим, торговым и культурным связям СССР с Западом он получит возможность ограничить непомерное стремление СССР к экспансии и будет способствовать изменению глобальных целей Кремля. Ничего не могло отстоять так далеко от реальности. Советский Союз и не думал входить в соглашения, которые хоть в какой-то мере связали бы ему руки и ограничивали бы его в достижении своих целей.

В 1970 году на совещании в МИДе, где присутствовали видные дипломаты, Громыко сделал заявление, которое точно характеризовало модель советских устремлений за все годы существования СССР. "Заложенные Лениным основы нашей внешней политики не утратили своей ценности и сегодня. Детант ни в коей мере не повлиял на существо наших конечных целей. Но Ленин также научил нас с умом вести дела с лидерами капиталистических стран".

Громыко подчеркнул, что необходимо делать упор на нормальные деловые отношения, а не отпугивать наших западных

---

* L.I.Brezhnev. Our Course: Peace and Socialism (Novosti, 1975), p.309.

партнеров, открытыми высказываниями относительно настоящих коммунистических целей. Никаких "мы вас похороним". Наоборот. Громыко напомнил, что Ленин во время подготовки к первому международному совещанию, в котором впервые принимало участие молодое советское государство, в Генуе в 1922 году, предостерегал наших дипломатов от упоминания о "неизбежных кровавых социалистических революциях" в капиталистическом мире. Громыко сказал, что подобные выражения только "играют на руку врагам". Товарищ Брежнев в этом отношении "прислушивается к ленинскому совету".

В частных беседах на даче, во Внуково, Громыко был еще откровеннее, рекомендуя нам говорить американцам, что мы сами не воспринимаем некоторые марксистские догматы чересчур серьезно.

Для Запада Брежнев характеризовал детант в розовых тонах. Совсем иным был его тон, когда он выступал на заседаниях в ЦК КПСС или же перед членами "братских" зарубежных компартий. В 1976 году на ХХУ съезде партии он дал следующую формулировку детанта: "Разрядка ни в коей мере не устраняет и не может устранить или изменить законов классовой борьбы. Никто не должен ожидать, что из-за детанта коммунисты смирятся с капиталистической эксплуатацией или же хозяева монополий станут поклонниками революции". На закрытых пленумах ЦК Брежнев повторял эту мысль еще откровеннее и без прикрас.

Советские лидеры и идеологи никогда не пытались скрыть того факта, что их политика придерживается принципов, выраженных Лениным вскоре после революции. Ленинский лозунг: "Кто кого?" – лозунг, выражающий готовность вести борьбу с капитализмлм не на жизньа, а на смерть" – продолжает оставаться неоспоримым постулатом. На ХХУ1 съезде КПСС в 1981 году Брежнев еще раз подтвердил это, подчеркнув как основной тезис мысль о том, что все страны мира, в конце концов, станут социалистическими.

Юрий Андропов, выступая в Москве в апреле 1982 года, повторил эти слова, отметив, что "будущее принадлежит социализму".* В 1983 году Борис Пономарев на заседании, по-

---

* Y.Andropov. Speeches and Writings (Pergamon Press, 1983) p.224.

священном 100-летию со дня рождения Карла Маркса, сделал еще более внушительное заявление, напомнив о "неизбежности свержения капитализма путем пролетарской революции. Хотя капитализм ухитрился "купить" время и продлить свое существование, в конце концов, он будет ликвидирован".

Константин Черненко в 1981 году утверждал, что "капитализм дискредитировал себя и раньше или позже народы мира придут к социализму".*

Этот старый мотив звучит на каждом партийном съезде. Возможно, от частого повторения он несколько утратил свою свежесть и не режет ухо с той силой, как это было раньше. Но и сегодня смысл его остается тем же, что и в 1917 году. Методы и подход в чем-то изменились, но сущность — стремление советских лидеров к мировому господству — остается неизменной.

Детант рассматривался Кремлем не только как временный прием, но как политика, которая должна применяться "с разбором". Политбюро считало детант "тактическим маневром", рассчитанным на определенный срок, маневром, который не противоречит марксистско-ленинской идее о конечной победе мировой революции.

Итак, детант явился для СССР возможностью получить передышку. Москва понимает, что сегодня она не может покорить мир и непосредственно править всеми народами мира, хотя цель ее именно такова. Кремлевские лидеры достаточно практичны и понимают, что сегодня это — недостижимо. Они знают, что коммунистическая революция в США не произойдет в ближайшем будущем. Но они терпеливы и смотрят далеко вперед. Они ждут и работают для осуществления своей цели. В отличие от того, что думают некоторые люди на Западе, у них нет никакого "секретного плана" или точного расписания, по которому они будут покорять одну страну за другой. Это чистая фикция. Но хотя такого плана нет на бумаге, мировое господство является фундаментальной целью советского руководства. С помощью ли идеологии, дипломатии, военной силы или экономического воздействия, но Москва уверена, что она выйдет победительницей в соревновании двух систем. Если не в этом веке, то в следующем это неп-

---

* К.Черненко. Утверждать ленинский стиль в партийной работе. М., 1983, с.23.

ременно произойдет. Борьба будет усиливаться, и исторически она неизбежна. Иными словами, эти цели не могут рассматриваться лишь как новый этап традиционной экспансии Российской империи или как обычные политические маневры – они значительно шире и коренятся в идеологии.

Необходимо понимать подлинную сущность этой международной борьбы, которая в наше время является фокусом взаимодействия всех мировых сил. Для того чтобы расширить сферу влияния и прямого контроля, советские лидеры концентрируют внимание на поддержке всевозможных "освободительных" движений в Азии, Африке и Латинской Америке. Они ведут подрывную деятельность в странах Запада с помощью местных коммунистических партий и других радикальных организаций, которым оказывают помощь оружием, готовят для них военные кадры и снабжают пропагандистскими материалами для "промывки мозгов". Хотя предпочтение отдается тем, кто намерен следовать советской модели и проповедовать марксизм-ленинизм, но СССР не отказывает в поддержке и тем, у кого нет марксистско-ленинских убеждений – лишь бы успехи подобных движений ослабили Запад. Правда, такая помощь не всегда приносит благоприятные плоды – примером могут служить Египет и Индонезия. Но Москва, однако, уверена, что маятник времени работает на нее.

Сегодня Советский Союз нуждается в Западе. Он с успехом использовал детант для того, чтобы получить то, что ему было нужно: дружественные отношения с Соединенными Штатами и странами Западной Европы, кредиты и существенную экономическую помощь. В Советском Союзе понимают, что эту помощь он может получить только от Запада. Как накормить население без американского зерна и продовольствия, присылаемого из Америки или из других капиталистических стран? Где раздобыть современную технологию, которую СССР не может производить сам в достаточном количестве и должного качества? Ленин был прав: капиталисты готовы драться между собой за привилегию продать СССР веревку, на которой их же повесят.

Советские лидеры знают, как добиваться своих целей – они двигаются медленно, но уверенно.

Меня часто спрашивают, начнет ли Советский Союз ядерную войну против Соединенных Штатов. Мне известно от многих советских руководителей – военных и штатских, вклю-

чая членов Политбюро, – что ответом на этот вопрос может быть только недвусмысленное "нет". Советский Союз не планирует достичь своих целей путем атомной войны с США или их союзниками. Идея неизбежности подобного конфликта была отвергнута еще при жизни Сталина. Советские руководители убеждены, что их победа явится результатом развития человеческого общества. Они не против того, чтобы ускорить исторический процесс с помощью ограниченных, обычных войн. Мне известно, что возможность атомного удара обсуждалась лишь однажды – в 1969 году, во время советско-китайского конфликта, когда китайский атомный потенциал не воспринимался как серьезная угроза.

Коль скоро США обладают устрашающими мощными ядерными силами, советские лидеры могут прибегнуть к атомному оружию лишь в крайнем случае, если они будут абсолютно уверены, что страна в смертельной опасности и другого выбора нет. Для них мировая атомная война немыслима, и они будут стараться избежать ее любыми средствами, любой ценой, даже ценой собственного престижа. Как старые, так и новые руководители в Кремле ясно осознают, что атомная война похоронит капитализм и коммунизм в одной общей могиле. Политические и военные лидеры Москвы также осознают, что даже, если СССР нанесет первым ядерный удар, то ответный удар будет настолько эффективным, что практически лишит ее жизнеспособности. Такой риск для кремлевских руководителей неприемлем. Они ведут хищническую политику, но они не сумасшедшие. Они отдают себе отчет, что сами могут погибнуть вместе с миллионами своих беззащитных граждан.

Я не знаю, есть ли атомное бомбоубежище в МИДе. Но даже если и есть, мне представляет сомнительным, чтобы, например, Громыко смог самостоятельно отыскать его в здании министерства в случае начала атомной войны. Конечно же, его проводят туда или в другое специально оборудованное место, где-нибудь в пригороде Москвы, те, чьей обязанностью это является. Если об атомной атаке будет известно за несколько часов вперед, многие советские руководители выживут и смогут продолжить руководство. Но будет ли у них достаточно времени, чтобы спастись? – Это уже другой вопрос. Тем не менее системы активной и пассивной обороны постоянно совершенствуются, пожирая из бюджета страны более двух миллиардов долларов ежегодно.

Более ста тысяч человек работают над этими программами. Система гражданской обороны может помочь уменьшить повреждения, которые нанесет атомная атака политической и военной структуре страны сохранить стратегическое командование и дать возможность продолжить работу органов управления. Но все эти меры не направлены на сохранение населения страны.

Казалось бы, логика подсказывает, что такая неуниверсальность оборонительных систем должна бы побудить советских лидеров использовать предоставляемые детантом возможности сокращения гонки вооружений. США, остановившие многие свои военные программы – атомные и обычные, – могли бы послужить примером Советскому Союзу. Но у советских руководителей своя логика.

Вместо того чтобы ограничить накопление вооружений после московских соглашений 1972 года, СССР продолжил модернизацию всех видов оружия в своем арсенале, как ядерного, так и обычного, выпуская все увеличивающийся поток ракет, самолетов, танков, кораблей, орудий. За счет всех других секторов экономики и в размерах, намного превышающих его оборонные нужды, СССР увеличил свою военную продукцию на одну треть. Его военно-индустриальная база стала самой огромной в мире. Затраты на вооружения, выраженные в долларах, намного превосходят американские.

Бесспорно, у советских руководителей есть основания проявлять заботу об обороне страны, вторая мировая война обошлась ему дорого. Естественно, что Советский Союз стремится иметь вооруженные силы, способные защитить его границы. Но у Кремля есть и другая цель. Ядерный потенциал рассматривается им как средство запугивания и шантажа, как средство добиваться того, что нужно советскому руководству от Западной Германии, Японии и других стран. У советского руководства еще свежа память об унижении, которое пришлось пережить во время кубинского кризиса, и Кремль делает все возможное, чтобы избежать повторения пережитого. К тому же китайская угроза заставляет держать на границе Китая и СССР наготове вооруженные силы большой численности – ядерные и обычные.

Далее. Отказ прекратить поддержку национально-освободительных движений и использовать их как оружие против Запада, постоянные усилия втянуть в свою орбиту страны

"третьего мира" показывают, что СССР готов применить силу в любой точке земного шара, даже рискуя таким образом вступить в военный конфликт. Опять же здесь советские лидеры следуют формулировкам Ленина, который считал, что "социалисты не должны отрицать все виды войн, особенно "революционные войны" или национально-освободительные войны "порабощенных народов за свое освобождение", а также гражданские". А потому советское руководство поддерживает и раздувает локальные, обычные войны. Недаром, разъясняя советскую военную доктрину министр обороны Дмитрий Устинов назвал в 1981 году попытки приписать СССР стремление начать ядерную войну "необоснованной чепухой", но ничего подобного не сказал по поводу войн обычного типа.

Наконец, советское руководство все еще придерживается ленинской теории, согласно которой империалистические страны, неся неизбежные потери под натиском прогрессивных сил или же в результате советского нажима на Запад, могут развязать войну против СССР. Следуя этой логике, советские лидеры считают возможным, что "наиболее авантюристические и реакционные силы империализма могут взять в свои руки контроль над атомной бомбой и в отчаянной попытке спасти капитализм произвести атомную атаку на СССР.

Двойственность детанта стала еще более очевидной в середине 70-х годов на фоне "Уотергейтского скандала". Уотергейт, а также принятие Конгрессом Соединенных Штатов поправок Джексона-Ваника, увязывающих торговый статус СССР с его эмиграционной политикой, усложнили советско-американские отношения. Эта взаимозависимость отдалила для советского руководства достижение его целей в отношении налаживания экономических связей с США. К тому же переговоры СОЛТ зашли в тупик после встречи Брежнева с Фордом во Владивостоке в 1974 году.

Советские вожди так и не смогли понять грандиозного резонанса такого, с их точки зрения, "тривиального" события, как Уотергейт. Разнообразные "уотергейты" привычны и постоянны в жизни СССР на всех уровнях – от верха до низа. Подслушивания, прослушивания, запугивания, задабривания, подкупы, ложь и сокрытие преступлений – это стандартные методы, применяемые КГБ с благословения высшего руководства страны. Также советские лидеры не смогли постичь,

каким образом Конгресс может внести поправки в обещания, данные президентом, и, таким образом, блокировать волю президента в деле предоставления СССР статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Не веря в реальную возможность конфронтации между президентом и Конгрессом, Брежнев, Громыко и прочие искренне заподозрили, что американцы их каким-то образом надули.

Тем не менее, хоть и не поняв сущности Уотергейта, советские вожди немедленно учуяли, что президентская власть в США ослаблена, и Кремль быстро воспользовался ситуацией. Политбюро приняло решение начать установку новых ракет среднего радиуса действия — "СС-20" — в западных районах СССР в надежде изменить в свою пользу соотношение сил в Европе. Это было сделано втихаря, под предлогом обновления устаревших ракет. Пацифистское движение в западных странах, что называется, проглядело эту акцию. Лишь с большим опозданием страны НАТО поняли размеры возникшей советской угрозы и приняли ответные меры.

Под нажимом обстоятельств советское руководство пришло к мысли, что результаты детанта не оправдали возлагавшихся на него надежд. Если Ричард Никсон переоценил будущие плоды детанта, то этим же погрешили и его кремлевские партнеры. Московские скептики, на которых не обращали внимания в 1972 году, заставили услышать себя в 1976 году. Одна из важнейших причин провала детанта не была в достаточной мере понята Западом. Дело в том, что после ХХУ съезда партии власть Брежнева стала клониться к упадку. К власти начала подниматься новая фракция, включающая Андропова, Суслова и Пономарева. Брежнев все больше отходил от дел из-за болезни, а эта фракция была сторонницей более твердой позиции по отношению к США и советовала развивать советскую активность в Африке и в других частях планеты, где ослабление позиций США может быть использовано в советских целях. Разрядка начала испаряться.

Приступая к политике разрядки, СССР пошел на некоторые уступки Западу. Он согласился разрешить эмиграцию, начал завязывать культурные связи с западными странами, позволил ограниченные контакты с иностранцами, несколько умерил тон своей антиимпериалистической пропаганды и даже перестал глушить основные западные радиостанции. Но уже к концу 70-х годов поток эмиграции из СССР, и без того

непостоянный, резко сократился. Обмен информацией, подвергавшийся строгой цензуре и во времена детанта, был сведен к минимуму. СССР снова пустил на полную мощность свою пропагандистскую машину, характеризуя любую акцию западных держав в Африке, Азии и Латинской Америке, как неоколониализм и империализм в действии.

Это охлаждение в советско-американских отношениях так же, как и неуверенность в итоге предстоявших американских выборов, чрезвычайно беспокоили Громыко во время его пребывания в Нью-Йорке в сентябре 1976 года. Советские лидеры в одно и то же время нуждались в США и боялись их. С одной стороны, мощь Америки была препятствием для осуществления советских планов за границей, с другой – Америка помогала поддерживать советскую экономику. Громыко знал, что многие его коллеги не понимают Америку. Они не чувствуют себя в безопасности, находясь в постоянном состязании с ней. И, к своему огорчению, они также не могут найти основу для сосуществования с ней.

25

9 сентября 1976 года умер Мао Цзедун. Официальная реакция СССР была спокойной, краткой и корректной, однако тон инструкций, полученных нами в Нью-Йорке, свидетельствовал о том, что уход Мао возбудил оптимистические надежды. Яков Малик и я, согласно указанию из Москвы, должны были незамедлительно отправиться в Китайскую миссию при ООН и поставить свои подписи в книге соболезнований. Нам было также дано указание, что в дальнейшем мы должны в любом разговоре с различными официальными лицами в ООН, при каждом удобном случае напоминать, что СССР и Китай связывали тесные дружеские отношения и теперь настало время покончить с раздорами и возобновить старую дружбу.

Через короткое время на неофициальном обеде в Миссии Громыко сказал, что советское руководство особенно настаивает, чтобы мы воздерживались от вовлечения нас в любую ситуацию, которая может помешать усилиям улучшить отношения с Пекином. "Мы должны избегать всего, что может вызвать неблагоприятную для Советского Союза реакцию со стороны китайцев", – Громыко произнес эти слова, ни разу не посмотрев на Малика, но и без этого все поняли, что ми-

нистр имел в виду главу советской делегации в ООН прежде всего. Сидя с правой стороны от Громыко, Малик в молчании уставился в тарелку.

Громыко спросил меня, что я думаю о Хуане Хуа – главе китайской делегации в ООН в то время. Он особенно допытывался, не заметил ли я чего-либо необычного в поведении Хуа в последнее время, то есть после смерти Мао. Я сказал, что никаких видимых изменений не приметил.

– После стольких лет сдвига в политике, конечно, еще рано ожидать существенных изменений, – проговорил Громыко. Он отметил, что в своем заявлении на Генеральной Ассамблее он решил особо подчеркнуть очень важное значение, которое Советский Союз придавал и придает нормализации отношений с Китаем. – Как вы могли заметить, я не обмолвился даже намеком, который можно было бы трактовать, как критику Китая. Даже намеком, – повторил он.

Москва испытывала явный недостаток достоверной информации о том, что происходило в Китае. Еще в 1949 году, после победы китайских коммунистов Сталин решил, что Советский Союз не нуждается более в шпионской сети, созданной еще в начале 20-х годов и работавшей весьма успешно. Сталин считал, что на разных уровнях компартии Китая сидит достаточное количество "его" людей, настроенных просоветстки и готовых сообщать все, что Москва хочет знать. Однако жизнь показала, что товарищ Сталин глубоко заблуждался.

КГБ, как говорится, спохватился, но уже было поздно, и ему не удалось восстановить эффективный разведывательный аппарат в коммунистическом Китае. Хотя в Пекине находилось советское посольство, деятельность его была жестоко лимитирована. Дипломаты не только не имели права вступать в откровенные разговоры с китайцами, но и их просьбы разрешить им поездки по стране не удовлетворялись. Поэтому Москва была вынуждена получать информацию о внутренних делах Китая по американскому образцу – то есть через агентуру в Гонконге и Токио. Специалисты по Китаю из ЦК, КГБ и МИДа были направлены в советские посольства в Японии, Танзании, Соединенных Штатах и ряда других стран. Однако данные, которые они получали, были, что называется, остывшим супом.

На встрече с Бертом Джонсоном я рассказал ему о заявлении Громыко. Берт поинтересовался, что думает Громыко об

американо-советских отношениях в свете предстоящих президентских выборов. Ничего нового я не мог сообщить – СССР продолжал выжидать и наблюдать. Громыко не возлагал больших надежд на предстоящую встречу с президентом Фордом. Все еще предпочитая видеть Форда переизбранным президентом, СССР стал внимательнее присматриваться к Картеру. Громыко считал "хорошим знаком" рост влияния на Картера Сайруса Вэнса, одновременно очень сожалея, что Збигнев Бжезинский сможет играть заметную роль в администрации Картера, если того изберут.

На следующее утро после прибытия Громыко в Нью-Йорк, я, просмотрев его расписание, обнаружил там отсутствие некоторых важных мероприятий.В расписание не был включен обед у Генерального секретаря ООН Вальдхайма, на котором, по традиции, присутствуют министры иностранных дел пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности. Я был поражен. Вальдхайм уже давно послал приглашение Громыко. Так как отказа на приглашение не последовало, Вальдхайм считал, что Громыко будет на обеде, как бывало прежде. В расписании также не значилась личная встреча с Генеральным секретарем – встреча, на которую Вальдхайм, как мне было известно, рассчитывал. Для Вальдхайма, так же как и для американского президента, этот год был ответственный – предстояли выборы Генерального секретаря ООН, и Вальдхайм очень надеялся быть переизбранным.

Я спросил помощника Громыко Юрия Фокина, что это все означает.

– Аркадий Николаевич, – отрезал он, – разве вам неизвестно мнение Андрея Андреевича о Вальдхайме?

Я понимал, что Фокин имел в виду, но считал, что не в наших интересах выражать свое отрицательное отношение так демонстративно. Я решил обсудить это дело лично с Громыко, когда он будет вГлен-Коуве, где настроение его всегда улучшается.

Врач рекомендовал Громыко семикилометровые прогулки по саду всякий раз, когда он приедет в Глен-Коув. Поместье, где находится здание Миссии, изолировано от посторонних глаз. Высокий забор, вдоль которого стоят ряды густого кустарника, отгораживает обитателей дачи от внешнего мира. Но даже здесь Громыко был постоянно окружен свитой своих советников и охранников. Он вышагивал по саду круг за

кругом, а все его сопровождающие следовали за ним, пока назначенное число километров не было пройдено.

После прогулки был завтрак, сервировавшийся в большой столовой человек на двадцать пять. Присутствовать на таком завтраке считалось большой честью. Те, кто хотели выпить, смотрели с надеждой на маленький столик в углу столовой, уставленный бутылками. Громыко сам пил чрезвычайно редко и не одобрял других, пивших в его присутствии. Без специального разрешения напитки не подавались. Однако Добрынин, который постоянно находился в Нью-Йорке во все время пребывания Громыко, брал на себя смелость и говорил что-то вроде:

– Андрей Андреевич, может быть, мы пригубим что-нибудь для поднятия духа?

Лидия Громыко немедленно присоединялась к нему. Если Громыко предпочитал никак не реагировать на слова Добрынина и продолжал сидеть молча, с каменным лицом, то напитки не подавались, выпивка отменялась. Но иногда Громыко своим руководящим тоном произносил:

– Кто хочет, может выпить, я не буду.

После этого официантки ставили бутылки с вином и водкой на стол.

В тот день я сидел рядом с Василием Макаровым, который очень оживился в предвкушении стакана водки. Я сказал ему, что хотел бы поговорить с Громыко с глазу на глаз после завтрака. Он помрачнел.

– А что вы хотите сказать Андрею Андреевичу? – спросил он.

– Громыко должен принять приглашение Вальдхайма и пойти на обед "большой пятерки", и он также должен лично встретиться с Вальдхаймом, – ответил я.

– Вы зря потеряете время, – заявил Макаров. – Мы обсуждали этот вопрос в Москве. Андрей Андреевич – против. Если вы снова поднимете эту тему, будет взрыв.

Несмотря на предупреждение Макарова, я несколько позднее заговорил об этом с Громыко.

– Шевченко, – загремел Громыко, – чьи интересы вы защищаете? Вальдхайма или наши? Вальдхайм не является державой!

Я постарался объяснить Громыко, что большинство членов ООН просто не поймут, почему министр иностранных дел Со-

ветского Союза унизил Генерального секретаря. Это все равно, что плюнуть в лицо всей ООН.

Громыко оставался при своем мнении.

— Да что будет на этом обеде? Пустая болтовня с толпой скучных сотрудников и их женами. Как можно рассчитывать на серьезный разговор в такой обстановке? Это все устраивается только для показухи, больше ни для чего. — На его лице появилась мина брезгливого пренебрежения. — Кроме того, там будут китайцы, — продолжал он. — А я не хотел бы сейчас с ними разговаривать. Но если я тоже там буду, будет неверным с ними не заговорить. Да и сам Вальдхайм постарается завести политический разговор в своей глупой щебечущей манере... Ну, хорошо, я подумаю, — заключил он резко.

Но когда я тут же коснулся другого вопроса — личной встречи с Вальдхаймом, — кровь прилила к лицу министра.

— Довольно! — закричал он. — Я увижусь с ним на обеде.

Я стал настаивать, подчеркивая, что министры всех значительных государств, приезжая в Нью-Йорк, встречаются лично с Вальдхаймом. Эти встречи носят, главным образом, протокольный характер. И если даже ничего на них серьезного не обсуждается, то сейчас, когда предстоят выборы Генерального секретаря, повидаться с Вальдхаймом необходимо. Громыко нахмурился в молчании, давая понять, что разговор окончен.

Раздраженный, в плохом настроении пошел Громыко на обед Вальдхайма. Его мрачность еще более усугубилась тем, что Киссинджер прибыл на обед почти на час позже. Поскольку вопрос о личной встрече с Вальдхаймом еще только решался, Громыко упрямо стоял на своем. Каждый день Вальдхайм спрашивал меня о времени встречи. Каждый раз я старался уйти от ответа, больно задевая его самолюбие уклончивым сообщением, что Громыко должен просмотреть свое очень жесткое расписание и найти время.

С помощью Добрынина я, наконец, убедил Громыко встретиться с Вальдхаймом на несколько минут. Но Громыко и тут предпочел вариант, унижающий Генерального секретаря. Он встретился с ним после выступления представителя одной из стран советского блока в приемной, позади подиума в зале Генеральной Ассамблеи, а не в кабинете Вальдхайма.

Советский Союз относится к ООН с большой долей презрения, и только с одной точки зрения ООН привлекательна

для СССР – сюда КГБ официально может засылать своих шпионов, и трибуну ООН можно использовать в своих корыстных пропагандистских целях. Одной из причин потери ООН своего значения явился тот факт, что США и западные державы утратили всякое доверие к этой международной организации. По каждому вопросу их мнение стало встречать резкую оппозицию со стороны превратившихся в активное большинство стран "третьего мира". Даже Китай, за исключением редких случаев, относится к ООН безразлично.

Но на счету ООН все же были достижения, и Курт Вальдхайм, определенно, сыграл здесь свою позитивную роль. Работая с ним и наблюдая его в работе более четырех лет, я проникся к нему уважением. Он часто казался натянутым и сухим, застегнутым на все пуговицы, но за этой внешностью скрывался человек больших страстей и благородных убеждений.

Им двигало сочетание двух сил – личные амбиции и подлинная преданность идее Объединенных наций. Он смотрел на ООН не только как на инстанцию, в которую обращаются с последней надеждой на разрешение конфликта, а придавал ей значение более широкое, видя в ней инструмент регулирования напряжения между Западом и Востоком, Севером и Югом, инструмент предотвращения насилия в мире. Он рассматривал мандат Генерального секретаря ООН как мандат, дающий ему право вести неофициальные переговоры и прилагать усилия для установления в мире порядка, основанного на уважении к закону и справедливости.

На своем опыте пребывания на посту Генерального секретаря Вальдхайм понял, что его работа "одна из тяжелейших в мире", как говорил когда-то первый Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли. Без сотрудничества или хотя бы определенного согласия между пятью постоянными членами Совета Безопасности и группы влиятельных неприсоединившихся стран Генеральный секретарь был не в состоянии предпринять какие-либо решительные действия, независимо от того, какого мнения он придерживался сам. Найти же позицию, которая примирила бы все диаметрально противоположные точки зрения было почти немыслимо. Это был сизифов труд. Вальдхайм же при этом еще хотел всем угодить, что называется, подарить всем сестрам по серьгам. Здравый смысл и логика, бесспорно, требуют, чтобы Генеральный секретарь ООН под-

держивал и крепил дружеские, доверительные и деловые отношения со всеми ведущими мировыми силами, но есть предел, который нельзя переступать, не пожертвовав своими убеждениями, не став пленником этикета.

Вальдхайм, конечно, не сравним с энергичным, решительным и мужественным Дагом Хаммершельдом. Но он все же разительно отличался от своего предшественника на посту Генерального секретаря ООН У Тана, который в основном занимался тем, что, сцепив руки, целыми днями вертел перед собой большие пальцы. Динамизм Вальдхайма был очевиден. Однако его общие достижения не увенчались триумфальным успехом, хотя некоторые его начинания заслуживали одобрения. Так, например, в 1972 году он предложил обсудить на сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о международном терроризме. Проблема не была новой, но тот факт, что он привлек к ней внимание мирового общественного мнения, вынеся ее на обсуждение на мировом форуме, нужно расценивать как его личную заслугу. В 1976 году его действия в Совете Безопасности привели к временному затуханию войны в Ливане.

Преданность Вальдхайма делу, которому он служил, находит подтверждение и в его самоотверженной работе, иногда по шестнадцать часов в сутки. Он никогда не уклонялся от присутствия на заседаниях Совета Безопасности и на сессиях Генеральной Ассамблеи. Нормой было ждать его по 30-40 минут сверх назначенного времени, потому что какой-нибудь случайный посетитель, в последнюю секунду сломавший распорядок дня, должен был быть вежливо выпровожен из кабинета Генеральным секретарем лично. Вальдхайм был слишком терпелив с теми, кто беззастенчиво втягивал его в различные дискуссии и слишком неохотно использовал свой авторитет для того, чтобы избавиться от навязанных ему разговоров, мешающих ему встретиться наконец с тем, кто ждал его по делу.

Я всегда поддерживал усилия его очаровательной и интеллигентной жены Сисси, старавшейся умерить его увлеченность работой, порой превращавшейся в манию. Часто мои коллеги и я старались вынудить его оставить дела, которых всегда накапливалась уйма. Он бывало соглашался, но вскоре вновь возвращался к работе.

Преемник Вальдхайма Перес де Куэльяр, перуанец, который, как и я был заместителем Генерального секретаря, ока-

зался не таким автократом, как Вальдхайм. Он не стремился все сделать сам и охотно передавал часть своих обязанностей своим заместителям, в частности Брайану Уркварту, специалисту по Ближнему Востоку, и Диего Кордовесу, занимавшемуся Афганистаном после советской аккупации.

В некоторых случаях Вальдхайм пытался подражать Генри Киссинджеру и ударялся в "челночную дипломатию", забывая свои собственные слова о том, что "Генеральный секретарь ООН несет груз огромной ответственности, но имеет очень мало власти". И все же он упорно преодолевал свои неудачи и разочарования. Его неисчерпаемая воля продолжать дело, которому он себя посвятил, была его самым сильным качеством.

Его робость в использовании возможностей ООН соединялась в нем с любовью к представительности. Он любил быть в центре внимания и время от времени это подчеркивать. Так, для него было типично опаздывать на полчаса-час на наши еженедельные собрания. Входя быстро, энергичным шагом в конференц-зал и занимая свое место с выражением достоинства на лице, он с мягкой улыбкой сообщал, что был занят "очень важным телефонным разговором" и просил извинить его. Вид у него при этом всегда был очень целеустремленный и деловой, не лишенный, однако, и важности. Но члены его "кабинета" пропускали эти слова мимо ушей, прекрасно зная, что никакого "очень важного телефонного звонка" не было, а просто Генеральный секретарь опоздал.

Я не могу припомнить, чтобы какая-нибудь из этих еженедельных встреч содержала что-либо важное или интересное. Никто и не ждал от них серьезных обсуждений, так как Вальдхайм любил единолично принимать решения, правда, посовещавшись предварительно с несколькими советниками – членами своей "австрийской мафии". При этом Вальдхайм любил пожаловаться, что он – одинокий боец, которому все приходится решать самому. Я думаю, что он искусственно создавал этот образ, не используя в своих многочисленных делах помощников и заместителей.

Я, однако, сочувствовал Вальдхайму в трудностях на его неблагодарном посту, особенно в тех, которые чинил ему Советский Союз. Ни советское правительство, ни Яков Малик не информировали Вальдхайма о своих истинных намерениях или об основном курсе советской политики в той или иной об-

ласти международных отношений. СССР обращался к Вальдхайму только тогда, когда возникала нужда использовать его влияние в интересах советской политики. По контрасту, американцы постоянно держали Вальдхайма в курсе широкого спектра вопросов. Я часто слышал, как Вальдхайм говорил по телефону с Киссинджером или главой американской делегации в ООН.

Нарушая советские правила секретности, я пытался как-то облегчить положение Вальдхайма, когда это было в моих силах. Время от времени я конфиденциально сообщал ему о намерениях СССР и об инструкциях, полученных Советской миссией по вопросам предстоящих дебатов в ООН. Я знаю, он ценил мою помощь и, наверное, поэтому всегда защищал от нападок, которых я во многих случаях щедро заслуживал. Правда, на мой взгляд, он руководствовался не только благодарностью за поставлявшуюся мною информацию, но и тем, что я был представителем СССР, а с правительством этой страны он старался ни в коем случае не испортить отношений. Стремление Вальдхайма угодить Москве привело к тому, что при нем количество советских людей, работающих в секретариате, ощутимо возросло. Он легко согласился на то, что вместе с Маликом они называли "пятилетний план", то есть на заполнение постов в секретариате советскими работниками. В нашем последнем разговоре Вальдхайм спросил меня, неужели это правда, что его специальный помощник Виктор Лесиовский был офицером КГБ. Мне оставалось только поразиться его наивности.

Однако готовность Вальдхайма во всем сотрудничать с Москвой заслужила у советских руководителей лишь весьма ограниченное к нему уважение. Во время его кампании на переизбрание на пост Генерального секретаря ООН, Министерство иностранных дел подготовило для Политбюро докладную, в которой работа Вальдхайма в ООН оценивалась, как "неровная". Он обвинялся в "прозападных убеждениях", "флирте" с американцами, некоторыми неприсоединившимися странами и даже с китайцами. Хотя в докладной признавались его заслуги перед СССР, выразившиеся в заполнении 250-ти мест в секретариате советскими работниками, однако более высокие посты Вальдхайм все же раздал, как было сказано в докладной, "функционерам с западными и прозападными взглядами. Эти функционеры оказывают на него за-

метное влияние", – говорилось далее. После пренебрежительного упоминания о чувствительности Вальдхайма к лести со стороны западных лидеров, в докладной было сказано, что "многие важные вопросы при его содействии были решены наперекор интересам СССР". Попытки Вальдхайма принять участие в мирной конференции по Вьетнаму, в Женевской конференции по Ближнему Востоку и в конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, были представлены в докладной, как "навязчивое расширение мандата ООН". Идея Вальдхайма созвать под эгидой ООН совещание заинтересованных сторон и рассмотреть возможность возобновления переговоров по мирному урегулированию на Ближнем Востоке "противоречила советской политике". На Кипре и в Южной Африке Вальдхайм, как утверждалось в докладной, готов был противостоять советской инициативе, зато в вопросах прав человека докладная восхваляла Вальдхайма: "он держал себя осторожно, стараясь избежать осложнений с нами".

При всем этом Вальдхайм считался наиболее приемлемой фигурой на посту Генерального секретаря ООН, хотя советские руководители доверяли ему в очень ограниченной мере. Особенно неприемлемой была та власть, которую он проявил, руководя операциями миротворческих сил ООН на Ближнем Востоке. Это пугало, как угроза того, что СССР не сможет контролировать международные силы.

В то же время, указывалось в докладной, "по целому ряду важных вопросов, особенно тех, которые имеют большое политическое значение, Вальдхайм прислушивается к нашим требованиям и нашим советам".

Перед выборами 1976 года Китай и ряд неприсоединившихся стран выразили недовольство по поводу того, что европейцы "монополизировали право занимать пост Генерального секретаря ООН и занимают его непозволительно долго". Однако они не смогли прийти к соглашению ни по одной кандидатуре, выставленной ими самими. США, Великобритания и Франция поддерживали Вальдхайма. Москва не спешила высказать свое мнение. Советская делегация получила указания, "не возражать против кандидатуры Вальдхайма, если какой-либо другой кандидат более приемлемый для нас, не сумеет найти поддержку подавляющего большинства". Но никакого другого кандидата просто не оказалось. К сожалению, перспектива переизбрания на второй срок стала навязчивой иде-

ей Вальдхайма, и он готов был уплатить слишком высокую цену за ее претворение в жизнь. Работа секретариата почти замерла, так как все свое время Вальдхайм теперь посвящал делам выборов. При всех проблемах и ограничениях в деятельности на этом посту, если еще Генеральный секретарь ООН идет на поводу своих личных амбиций, беспристрастная позиция его оказывается подорванной. В идеале, конечно, Генеральный секретарь должен обладать свободой для того, чтобы действовать в согласии с Уставом ООН. Практически его позиция не должна быть объектом разноречивых притязаний со стороны главных держав ООН, которые могут блокировать его переизбрание. Возможно, лучший путь гарантировать такую свободу Генеральному секретарю — было бы избрание его только на один срок, который мог бы быть продлен до пяти или шести лет.

Перевыборы Генерального секретаря ООН по сравнению с тем, что происходило в США, были для Москвы делом второстепенным. 2 ноября 1976 года президентом США стал Джимми Картер. Збигнев Бжезинский, которого Москва считала своим непримиримым врагом, занял пост советника президента по вопросам национальной безопасности. Декларация нового президента в защиту прав человека в соединении с телеграммой, посланной еврейскому активисту-отказнику, убедила кремлевских руководителей, что Картер ищет путей для подрыва престижа СССР. Наконец, его речь на инавгурации, в которой он выразил надежду, что "уже в этом году будут предприняты шаги в направлении к осуществлению нашей главной цели — уничтожению всего атомного оружия на земле", была воспринята как сигнал о намерениях нового американского лидера разрушить взаимопонимание, достигнутое на переговорах по СОЛТ.

Непредсказуемость Картера тревожила советское руководство в неменьшей степени, чем его ощутимый поворот в подходе к проблеме отношений между двумя сверхдержавами. Американцы воспринимают изменения, как явление вполне закономерное. Они, возможно, и были удивлены, но ненадолго, сразу же начав приспосабливаться к новым обстоятельствам. Советское руководство лишено такой мобильности. Ему понадобилось время, чтобы разобраться в происходящем и приспособиться к новой администрации США, и период, понадобившийся для этого, затянулся. В результате, пока

Москва сумела наладить рабочие отношения с администрацией Картера, сотрудничество между СССР и США уменьшилось и взаимное непонимание выросло.

Прежде всего изменения, внесенные Картером, коснулись американской политики контроля над вооружениями. Следуя обещаниям, данным Картером в инавгурационной речи в январе, уже в марте 1977 года государственный секретарь США Сайрус Вэнс внес предложение заморозить результаты встречи во Владивостоке – на этом фактически переговоры по СОЛТ зашли в тупик – и приступить к поискам эффективных путей к сокращению ядерных стратегических сил. Эта неожиданная инициатива США ошеломила и обеспокоила кремлевских лидеров. Но когда Картер снова выразил сочувствие и поддержку советским диссидентам, включавшую и переписку с лауреатом Нобелевской премии мира за 1975 год Андреем Дмитриевичем Сахаровым, Москва просто пришла в ярость. Исходившие из Белого Дома и Госдепартамента высказывания звучали еще более вызывающе, чем во время предвыборной кампании. Частично ответом советских лидеров на это явился арест активиста еврейского движения за право на эмиграцию Анатолия Щаранского и обвинение его в связях с ЦРУ и шпионаже в пользу США.

Атмосфера накалилась еще больше, когда Сайрус Вэнс привез в Москву, в марте 1977 года, два возможных плана предложений по контролю над вооружениями, которые Брежнев отверг. Андрей Громыко пошел еще дальше, подвергнув на пресс-конференции публичному разносу американскую инициативу и предав гласности цифры, содержавшиеся в американских предложениях. Это было неслыханное нарушение секретности в отношении военных подробностей на предыдущих переговорах по вооружениям, которой неукоснительно придерживались обе стороны, особенно в переговорах по СОЛТ.

Я наблюдал все эти события со стороны, из ООН. Но когда летом 1977 года я поехал в СССР, мне открылось, какие настроения царят в Москве. Среди советских высокопоставленных лиц, причастных к выработке политики, было всегда немало тех, кто изначально сомневался в возможности прочного детанта между СССР и США. Теперь они стали оказывать ощутимое давление на политику и толкали в сторону поисков новых направлений в отношениях с Соединенными Штата-

ми. Я мог провести в Москве всего несколько дней. Позвонив одному из видных специалистов по Америке Георгию Корниенко, я попросил его встретиться со мной. Он смог принять меня только в семь часов вечера. "Здесь у нас настоящий зоопарк", – предупредил он меня по телефону. Поднявшись в его кабинет на восьмом этаже высотного здания на Смоленской площади, я понял, что он имел в виду.

Шесть месяцев сотрудничества с администрацией Картера насторожили Корниенко.

– С американцами всегда сложно, – жаловался он. – Но с этой новой гоп-компанией у нас необычайно тяжелое начало. Мы знали, что говорил Картер перед выборами о правах человека. Мы предполагали, что его курс на разоружение нанесет вред огромной работе, проделанной по СОЛТ. Но мы все же надеялись, что, войдя в Белый Дом, он поймет, что надо считаться с реальным положением вещей. Однако этого как раз и не происходит. Мы дали ему пару месяцев в надежде, что он придет в себя. Безрезультатно. Всякий раз он поражает нас, и мы понятия не имеем, на каком находимся свете.

Ситуация, которая так расстраивала Корниенко, дала возможность позлорадствовать некоторым высокопоставленным чиновникам. Не смея открыто противопоставить Брежневу свое мнение о том, как надо строить отношения с Соединенными Штатами, эти люди не могли прямо заявить: "Мы же вас предупреждали!" Зато в частных разговорах они давали себе волю.

Новая волна воинственности чувствовалась в высказываниях работников ЦК по отношению к странам "третьего мира". В политике, связанной с ними, ожидался подъем активности и авантюризма.

Однажды вместе с Вадимом Загладиным – влиятельнейшим специалистом по вопросам пропаганды в ЦК, мы зашли поужинать в "Арагви" – грузинский ресторан на улице Горького. Он весь кипел, когда заговорил о тупике, в котором оказались отношения с Вашингтоном.

– Полюбуйтесь, куда Громыко и ваши прекрасные американцы завели нас! Мы, собственно, никогда не доверяли им, и было ошибкой потратить так много времени на попытки расположить их. Мы что – будем теперь вот так кувыркаться с каждым новым президентом? Я предпочитаю французов. Они неуступчивы, но хотя бы последовательны. Ваши

же американцы с их зигзагами... Но мы положим конец всему этому! – В голосе его звучало тайное ликование.

– Американцы – не мои, – возразил я.

– Ах, оставьте. Вы находитесь в Америке так долго, что уже сами стали американцем.

Колкость Загладина не содержала второго смысла, но слова его напомнили мне об осторожности. Конечно, он не подозревал меня ни в чем, но не исключено, что какой-то разговор обо мне дошел до него. Я видел какие-то признаки ужесточения правил секретности в министерстве. У меня не возникло мысли, что это хоть в какой-то мере относится ко мне лично, но и исключить такого предположения я не мог. Я перевел разговор на более безопасные темы, стараясь сохранять легкий, непринужденный тон. Узнать от Загладина еще что-нибудь мне не удалось.

Вернувшись в Нью-Йорк, я доложил о моих московских встречах и впечатлениях Бобу Элленбергу – человеку из ЦРУ, который сменил Берта Джонсона. Я высказал свое мнение, что для адвокатов детанта в Москве настало не лучшее время. Тем не менее Корниенко подтвердил мне намерение Громыко встретиться с президентом Картером в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Корниенко, встреча с Вэнсом в марте "была полезной, до определенной степени, хотя ряд вопросов остался нерешенным". Он утверждал, что "многое прояснится после того, как Андрей Андреевич сможет обсудить важные проблемы лично с президентом".

Снова Советский Союз собирался предпринять попытку восстановить "прямую связь" с Соединенными Штатами, которую Громыко всегда предпочитал. Скорее всего, действительно, не было иной, более обнадеживающей возможности решить дела, занимавшие обе сверхдержавы, как личная встреча двух людей, наделенных наибольшей политической властью. Тем не менее взаимопонимание, достигнутое лидерами, не всегда находило поддержку у их окружения. Брежнев еще мог подавить потенциальных оппонентов в Москве, хотя их сила возрастала. Но американский президент не мог добиться своего собственного переизбрания и еще менее – мог дать гарантии, что новая администрация будет последовательно проводить старую внешнюю политику.

В любом случае осенью 1977 года советское руководство и администрация Картера не думали о далеком будущем совет-

ско-американских отношений. Главная задача заключалась в том, чтобы восстановить обычные рабочие отношения, которые повели бы к оживлению испускавших дух переговоров по СОЛТ.

Громыко прибыл в Америку в конце сентября. Он был заметно обеспокоен необходимостью найти выход из тупика, в который зашли отношения СССР с картеровской администрацией. Нарушив обычный распорядок, Громыко прежде всего отправился в Вашингтон на встречу с Вэнсом и Картером.

По возвращении в Нью-Йорк его первой заботой было переправить в Москву детальный отчет о встрече в Белом Доме. Громыко сам не писал телеграммы, перепоручая это дело своему переводчику Виктору Суходреву, которому он сначала диктовал текст послания по своим заметкам. На этот раз послание содержало около пятидесяти страниц и включало широкий спектр вопросов – советско-американские отношения, СОЛТ II и наиболее важные международные проблемы. Нетерпение Громыко возрастало по мере того, как шло время, а послание все не поступало к нему для прочтения и одобрения.

– Где Суходрев? – ворчливо спрашивал он. – Наверное, чай пьет?

Наконец Суходрев появился.

– Как я могу, Андрей Андреевич, за один час сделать запись разговора, который продолжался три часа? – проговорил он в ответ на упреки Громыко.

На этот раз министр подавил раздражение и молча углубился в чтение текста, принесенного Суходревом.

Когда я спросил Громыко об его оценке переговоров с Картером, он ответил коротко:

– Это все есть в телеграмме. Вы можете прочитать. – Направляясь в спальню квартиры в Миссии, он неожиданно остановился около двери и, повернувшись ко мне, слабо улыбнулся. – Не так плохо, совсем не так плохо, как мы ожидали, – сказал он.

Когда Картер поднял вопрос об Анатолии Щаранском, Громыко разозлился. Как он написал об этом в своем отчете, "Картер настолько невежественен, что не нашел ничего лучшего, как поднять на щит это микроскопическое дело об одном человеке, не понимая, что такие вопросы не сочетаются

с обсуждением отношений между нашими странами". Однако Громыко пришел к заключению, что "иметь дело с Картером – можно. Он недостаточно искушен в целом ряде вопросов и, возможно, мы сумеем вынудить его согласиться на многое из того, что нам необходимо".

Громыко осознавал, что твердая позиция в вопросах прав человека у Картера сочетается с невероятно наивным представлением о Советском Союзе. Из того, что Громыко говорил, выходило, что Картер верил в СССР как в честного партнера, с которым можно иметь дело, как с любой из западных демократий. Наконец, противоречивое соглашение СОЛТ II было завершено и на какое-то время создалось впечатление, что детант будет возрожден. Но вскоре Советский Союз совершил интервенцию в Афганистан. Это был шаг, который открыл Картеру глаза на сущность советской системы и показал ему, какова истинная цена объятий медведя.

26

Курт Вальдхайм после переизбрания его на пост Генерального секретаря ООН в 1976 году собрался побывать с официальным визитом в нескольких странах. В число их был включен Советский Союз. Я работал над устройством и расписанием его визита. Работа была не из легких. В своих телеграммах в Москву я постоянно подчеркивал, что для укрепления нашего положения в ООН необходимо принять в Москве Вальдхайма с тою же любезностью и с теми же почестями, какие были оказаны ему в Пекине и Лондоне, Вашингтоне и Париже.

Когда весной 1977 года Кремль наконец прислал в Нью-Йорк официальное приглашение, Вальдхайм сказал мне и членам Советской миссии, что он будет рад нанести визит в СССР, но при условии, что в расписание будет включена личная встреча и беседа с Леонидом Брежневым. Ни я, ни Малик не могли дать ему таких гарантий, а когда мы запросили Москву, ответа не последовало. Вальдхайм ворчал, так как дело затягивалось и поездка откладывалась. Неоднократно он спрашивал, в чем загвоздка. Я не мог честно ответить на этот вопрос и отговаривался, ссылаясь на слухи, что Брежнев болен и не может взять на себя столь серьезных обязательств.

В пришедшем наконец из Москвы ответе предлагались да-

ты визита (сентябрь или ноябрь) и содержалась двусмысленная инструкция, предписывающая сообщить Вальдхайму, что встреча с Брежневым "не исключена". Такая обтекаемость выражения типична для уклончивых формулировок советского дипломатического и бюрократического языка. И это было ближе всего к обещанию, на которое я мог надеяться. После дополнительных переговоров, на которых уточнялось время, визит был назначен на начало сентября, таким образом, Вальдхайм мог возвратиться в Нью-Йорк к открытию очередной сессии Генеральной Ассамблеи. Из письма одного моего московского друга мне стало известно, что Политбюро приняло решение о встрече Брежнева с Вальдхаймом. Генеральный секретарь ООН был очень доволен.

Я не возлагал больших надежд на подобную встречу, считая ее чисто символической. Советские руководители не доверяют Генеральным секретарям ООН, которые слишком активно вмешиваются в международные дела. Но, с другой стороны, они презирают и тех, кто довольствуется ролью "свадебного генерала".

Я также не ожидал тех новостей, которые узнал, когда мы – Вальдхайм, Роберто Гуэр (аргентинец, помощник Вальдхайма по специальным политическим делам) и я прибыли в Москву. Приветственная церемония в аэропорту Шереметьево прошла достаточно торжественно, хотя, к моему удивлению, Вальдхайма встречал лишь заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов. Он проводил Вальдхайма по расстеленному красному ковру в ожидавший лимузин. Сделать это должен был, конечно, Громыко. Пока мы ехали через город на виллу на Ленинских горах, где останавливаются почетные гости страны, позолота гостеприимства еще немного потускнела.

Кузнецов наклонился ко мне и прошептал:

– Знаешь, Аркадий, Леонид Ильич, наверное, не сможет принять Вальдхайма. Ты к нему ближе. Было бы лучше, если бы ты сообщил ему об этом.

После торгов, предшествовавших визиту Вальдхайма, слова Кузнецова показались мне совершенно невероятными. Если в последний момент Брежнев не выполнит своего обещания, я не смогу предсказать реакцию Вальдхайма, сказал я Кузнецову.

Хотя Генеральный секретарь ООН был терпелив и почтите-

лен к советским лидерам, человек он был гордый. Он мог взорваться и повернуть дело так, что оскорбление со стороны Брежнева превратилось бы в международный скандал. Он мог также потребовать немедленного прекращения визита в СССР.

Кузнецов пожал плечами.

– Это не мое решение. Я ничего не могу поделать.

Он высказал предположение, что изменение в планах продиктовано состоянием здоровья Брежнева и вновь потребовал, чтобы именно я сообщил об этом Вальдхайму.

Я вспылил.

– С меня хватит того, что я постоянно оказываюсь в смешном положении из-за этого дела. В конце концов, это может привести к тому, что Вальдхайм утратит доверие ко мне, и мое пребывание в ООН станет бесполезным.

Я предложил подождать, пока вопрос о встрече Брежнева с Вальдхаймом не будет решен окончательно, а до того ничего ему не говорить. Иначе визит Вальдхайма окажется сорван.

Кузнецов согласился и пообещал поговорить с Громыко еще раз. Дело оставалось туманным и на другой день, когда Громыко давал в честь Генерального секретаря торжественный обед в особняке Министерства иностранных дел на улице Алексея Толстого, в центре Москвы. Десяток министров и другие ответственные лица ели икру, копченую рыбу, мясо, пили молдавское шампанское в старинном зале с высокими потолками, стены которого были завешаны дорогими коврами, а мебель поражала своей массивностью. Пышность, однако, должна была прикрывать отсутствие содержательности.

После краткого разговора с Вальдхаймом о положении в ООН Громыко собрался возвратиться в свой рабочий кабинет. Выйдя со мной, он вдруг сообщил, что обеда и беседы, вероятно, достаточно, и его встречу с Вальдхаймом, назначенную на следующий день, надо бы отменить. Я возразил, что во время обеда и после него не было никакого серьезного разговора. Вальдхайм же ожидал деловой встречи с министром и будет оскорблен, если такая встреча не состоится. Поскольку встреча с Брежневым также может быть отменена, я настаивал в разговоре с Громыко на том, что крайне важно сохранить все мероприятия, запланированные расписанием визита без изменений.

С обычной своей болезненной миной на лице Громыко согласился. Но на другой день на приеме он был холоден и сдер-

жан. Его обзор мнений СССР по международным проблемам не содержал никакой новой информации. Если он и добавил кое-какие нюансы к привычному изложению всем известной официальной позиции Москвы, то они были несущественны и двусмысленны. Вальдхайм выражал вежливый интерес и даже сдержал раздражение, когда Громыко увильнул от прямого ответа на вопрос о встрече с Брежневым. "Вопрос о времени встречи рассматривается", – сказал Громыко и посоветовал Генеральному секретарю ООН следовать расписанию визита и совершить предусмотренное путешествие в Сибирь и Монголию. По возвращении в Москву вопрос о встрече с Брежневым, вероятно, уже будет решен.

Брежнев встретился с Вальдхаймом 13 сентября в Кремле, в зале, где он обычно принимал важных иностранцев. Зал этот отделан деревом без особых "архитектурных излишеств" и позолоты, которые в избытке в других кремлевских помещениях. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, примыкал к рабочему столу Брежнева. Стулья для посетителей стояли по обе стороны стола. Громыко, Андрей Александров-Агентов, Гуэр и я приняли участие во встрече.

Человек, который встал несколько нетвердо из-за огромного ничем не заставленного стола был, без сомнения, болен. Даже рукопожатие требовало от него усилий, и он не мог скрыть дрожания рук. У этого самого могущественного в коммунистическом мире человека были остекленевшие глаза, по которым собеседник легко догадывался, что он принимает сильно действующие лекарства (по слухам, чтобы заглушить боль, причиняемую ухудшающимся состоянием челюсти). В приближении своего семьдесят первого дня рождения Брежнев, сердечную деятельность которого регулировал специальный аппарат ("пейсмейкер"), а потерю слуха восполнял слуховой аппарат, выглядел, как человек, над которым возраст разыгрывает жестокие шутки.

Сидя напротив нас, Брежнев был не в состоянии внести хоть искру жизни в разговор. Он читал свою речь по бумажке, спотыкаясь на словах, почти не поднимая глаз на своего гостя. То, что он говорил мало отличалось от общих фраз, высказанных Громыко Вальдхайму некоторое время назад. Брежнев произносил текст, как робот, без всякого выражения. Все привычные пункты советской внешней политики были перечислены: необходимость следовать курсу детанта, прогресс в

области разоружения, урегулирование ближне-восточного конфликта, ликвидация остатков колониализма. Желая подчеркнуть уважение к своим слушателям, Брежнев отметил положительную роль ООН в попытке решить эти проблемы. Он даже похвалил Вальдхайма за его деятельность на посту Генерального секретаря ООН и с серьезным выражением на лице выслушал ответ, в котором Вальдхайм выразил согласие с тем, что вопросы, поднятые Брежневым, действительно важны. Вальдхайм подчеркнул также необходимость ограничить распространение атомного оружия и роль ООН в решении международных конфликтов и упрочения разрядки напряженности.

Однако, когда Брежнев слушал перевод речи Вальдхайма, было видно, что он не имеет ясного представления о вопросах, упомянутых Генеральным секретарем ООН. Брежнев повернулся к Громыко, потом к Александрову-Агентову, сидевшим по обе стороны от него, и тихо спросил, действует ли уже соглашение о нераспространении ядерного оружия. Я был потрясен такой потерей памяти и порадовался, что Вальдхайм не понимает по-русски. Громыко терпеливо объяснил Брежневу, что этот договор вошел в силу еще в 1970 году.

Другой вопрос Брежнева удивил меня еще больше. Когда Вальдхайм сказал, что визит Брежнева в ООН был бы очень желателен, Брежнев повернулся снова к своим советникам и спросил:

– Я могу посетить ООН?

– Конечно, – ответили оба в один голос, добавив, – но не в этом году по известной вам причине.

Они подразумевали торжественную церемонию принятия новой советской конституции, намеченную на октябрь, церемонию, на которой Брежнев обязательно должен был присутствовать. Брежнев кивнул головой и пробормотал:

– Да, да, но не в этом году. Может быть, в будущем году.

На этом официальный разговор закончился. Вальдхайм поднялся и сообщил, что хотел бы наградить господина Брежнева Золотой медалью мира ООН. Впервые за пятьдесят минут Брежнев оживился. Он засиял, как ребенок, когда Вальдхайм передал ему блестящую безделушку. У Брежнева была неутолимая страсть ко всякого рода медалям, орденам, титулам, словом, к любым наградам, которые ему вручали. У него было столько всевозможных орденов, что московские

остряки пустили слух, будто хирурги вставили ему дополнительное ребро, чтобы расширить грудь и, таким образом, получить дополнительное место для всех наград.

Пока Брежнев радостно принимал медаль, я про себя смеялся: ведь эта медаль – безделка, сувенир, которым Генеральный секретарь ООН время от времени награждал главу какого-нибудь государства. Она ничего не значила, Я предупредил об этом Александрова-Агентова, но тот, очевидно, расписал ее Брежневу в самых радужных тонах.

По дороге из Кремля я размышлял о том, что мне довелось увидеть. Кабинет Брежнева был стерильным, безжизненным местом, полностью изолированным как от трагической и впечатляющей истории моей страны, так и от современных насущных проблем народа. Он больше походил на приемный покой в больнице, где высокопоставленного пациента на краткий миг демонстрируют посетителям перед тем, как снова отправить на больничную койку.

Что же до самого владельца кабинета, то после тринадцати лет все растущей власти, Леонид Ильич Брежнев сохранил как черты своего низкого происхождения, так и хитрость, позволившую ему подняться над средой, из которой он вышел. Типичнейший партийный аппартчик, живое воплощение бюрократии, которой он так умело манипулировал, Брежнев не был выдающимся политическим деятелем. Ловкий интриган, он обладал достаточным чутьем, чтобы открыть новую страницу в истории отношений между Западом и Востоком. Однако своим долголетним пребыванием у власти он был обязан в первую очередь той стабильности, которую он обещал и сумел создать для руководящей элиты. Шаткость положения руководящих верхов во время правления Хрущева при Брежневе сменилась устойчивостью, потому верхний эшелон советского руководства воспринял приход Брежнева как желанное отдохновение. Брежнев, придя к власти, немедленно принялся укреплять систему, постоянно будоражившуюся Хрущевым. Он восстановил стабильность пребывания на постах высших партийных и государственных чиновников, увеличил военный бюджет. Его талант манипулировать обстоятельствами и способность поддерживать баланс в Политбюро выражались более в наградах и поощрениях, чем в угрозах и наказаниях. Протежируя своим людям, он создал разбухшую сеть чиновников, предан-

ных ему лично. Коррупция при нем достигла невероятных размеров.

Достаточно умный, Брежнев прислушался к мнению тех, кто настаивал на укреплении советской военной мощи, а также влияния в странах "третьего мира". Под его руководством беспрецедентный рост советской военной машины сделал СССР настоящей сверхдержавой. Однако достигнуто это было ценой экономического застоя.

Но, несмотря на жалкое состояние советской промышленности и провалы в сельском хозяйстве, Брежнев не только удержался у власти, но и умудрился усилить и расширить свою личную власть. Как и его предшественникам, Брежневу был создан "культ личности", и он регулярно злоупотреблял им. Традиционное советское кумовство поднялось при Брежневе на новые высоты. Так, Брежнев назначил своего сына Юрия заместителем министра внешней торговли СССР. Молодой Брежнев – посредственный инженер, прославившийся устройством грандиозного пьяного загула во время визита советской торговой делегации в Швецию, не имея никакого опыта партийной работы,в 1981 году стал кандидатом в члены ЦК.

Нескромность Брежнева достигла фантастических масштабов, когда он наградил себя Ленинской премией по литературе за мемуары, написанные за него журналистами. Он произвел себя в маршалы и выдал себе орден Победы. Этот орден – из платины, украшенный рубинами и бриллиантами, предназначается для представителей высшего военного командования за проведение крупных военных операций. Брежнев же во время войны был политработником. Войну он закончил в звании генерал-майора и никак не подходил под категорию тех, кто мог быть награжден орденом Победы. Этот поступок, как и другие самонаграждения Брежнева, вызвали ярость в военной среде. Я слышал от нескольких военачальников мнение, что Брежнев обесценил высокий орден Победы.

Возраст и болезни подточили силы генсека и ослабили его способности администратора и политического маклера. В последние годы он был лишь слабым инвалидом, способным работать только по несколько часов в неделю. Врачи сохраняли ему жизнь, прибегая к дорогостоящим лекарствам и достижениям современной медицинской техники.

Как же Брежнев мог оставаться у власти? Секрет заключа-

ется в том, что в годы своего физического и политического заката Брежнев уже не руководил страной. Практически власть была в руках небольшой группы членов Политбюро. Друзья, работавшие в ЦК, говорили мне, что в эти годы оба основных претендента на место Брежнева — Андропов и Черненко — нуждались во времени, чтобы укрепить свои позиции и выстроить политические коалиции.

* * *

Во время визита Вальдхайма в СССР я жил в своей квартире, и в минуты одиночества мне было горько сознавать, что, может быть, я нахожусь дома в последний раз. Охваченный ностальгией, я рассматривал вещи в квартире и подолгу стоял у окна, глядя с нашего девятого этажа на парк имени Горького, на суда, плывущие по Москва-реке. Вновь и вновь взгляд мой останавливался на иконах и книгах, таких дорогих для меня. Подобное же ощущение близкого расставания преследовало меня во время прогулок по городу. Москва всегда будет занимать особое место в моих воспоминаниях о прошлом. Здесь прошла моя молодость, здесь встретил я первую любовь, здесь родились мои дети. Это огромный город, но мне казалось, что я знаю его настолько хорошо, что ощущаю его дыхание.

Знакомая дорога вдоль реки к Крымскому мосту и закоптелым стенам здания Института международных отношений стала для меня частью какого-то глубоко личного ритуала. На берегу Москва-реки, напротив Кремля, я всматривался в барочные фасады церквей и особняков этого некогда прекраснейшего московского района, стараясь навсегда все запомнить. Я снова ходил в Третьяковку взглянуть на свои любимые картины. В залах первого этажа иконы великого мастера пятнадцатого века Андрея Рублева и его круга сияли мистическими видениями — в них отражалась религиозная страсть российской старой веры.

Однажды я отправился на кладбище Новодевичьего монастыря — еще одно из моих любимейших мест в Москве. Один из старейших монастырских комплексов в Москве, Новодевичий монастырь — интереснейший исторический и архитектурный памятник. Старшая сестра Петра Первого царевна Софья была заточена здесь в семнадцатом веке за поддержку стрельцов, восставших против молодого царя. В 1812 году На-

полеон перед уходом из Москвы приказал взорвать Новодевичий монастырь, но его спасли в последний момент. На кладбище монастыря сейчас хоронят крупных партийных и государственных чиновников. Моя квартира находилась неподалеку от этого кладбища.

В старой части кладбища рядом с писателями, учеными. авиаторами и второй женой Сталина Надеждой Аллилуевой лежат несколько моих друзей. Кусты и высокие деревья создают на кладбище атмосферу парка. Это не касается его новой части, расположенной неподалеку от железнодорожных путей. Там, среди многих других, похоронен Никита Хрущев. Его семье после долгих лет борьбы удалось наконец получить разрешение установить на его могиле памятник, заказанный скульптору Эрнсту Неизвестному. Эта впечатляющая скульптура сделана из черного и белого мрамора. По-моему, художнику удалось уловить правду, отразить действительные противоречия хрущевского времени, светлые и темные стороны этого человека и его карьеры.

Покидая кладбище, я прошел мимо группы иностранных туристов. Они восхищались красотой монастыря, недавно отреставрированного, и парка. Я почувствовал гордость за вклад моей страны в мировую культуру и боль за ее страдания в период национального становления. Во время многочисленных войн за независимость русские проявили себя смелыми и упорными, обнаружили дух первооткрывательства, столь близкий и американцам. Но в отличие от Америки, никогда не знавшей пресса государственной власти, типичного для коммунистических режимом во всем мире, моя страна утратила динамичное, творческое начало. Она скользит в пропасть экономического, культурного и духовного упадка. Никакие украшения из мрамора и бронзы на чиновничьем фасаде страны не могут скрыть того факта, что наше правительство отдает почести мертвой философии с тем же усердием, с каким отдают почести мертвому на похоронах. Я думал о миллионах моих соотечественников, которые продолжают исповедовать эту философию и, может быть, будут верить в нее или делать вид, что верят, долгое время в будущем, и мне было их жаль.

Проходя мимо могил, на которых лежали свежие цветы, я вспомнил об одном трагикомичном эпизоде. Это было обычное профсоюзное собрание в МИДе. На трибуну поднялся

важный чиновник и сообщил, как он выразился, "добрую весть": в результате немалых усилий профком добился закрепления за Министерством иностранных дел ста мест на Новодевичьем кладбище, предназначенных для высокопоставленных дипломатов. Быть похороненным на Новодевичьем кладбище — большая честь, и элита и после смерти стремится сохранить свои привилегии. Вспоминая аплодисменты, явившиеся ответом на это сообщение, я думал, что, несмотря на боль, которую я буду испытывать, покидая мою родину и мой народ, который мне очень дорог, я все же покидаю ее без большого сожаления.

Тем не менее, уезжая из Москвы несколько недель спустя, я весь был во власти смешанных чувств. Да, действительно, я слишком многое там ненавидел. Но я и слишком многое там любил.

* * *

Вскоре после моего возвращения в Нью-Йорк, туда прибыл и Громыко на открытие ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда же возникла новая возможность возобновления контактов между СССР и Израилем.

Это произошло по инициативе Израиля в конце сентября, после встречи Громыко с Картером в Вашингтоне. Мне позвонил Хаим Герцог — глава Миссии Израиля в ООН, и попросил меня встретиться с ним. Мы встретились в зале Совета Безопасности.

Герцог, с которым за эти годы у меня сложились теплые отношения, передал мне вопрос министра иностранных дел Израиля Моше Даяна, находившегося тогда в Вашингтоне. Даян собирался приехать в Нью-Йорк через несколько дней и интересовался, не мог бы он встретиться с Громыко. Прежде, чем делать официальный запрос, Герцог хотел знать, как к этому отнесется Громыко.

Громыко, с которым я поговорил в Советской миссии, как я и ожидал, воспринял просьбу израильтян положительно. "Только им надо дать понять, что, если мы встретимся, я буду выступать в роли сопредседателя Женевской конференции", — сказал Громыко. Поздно вечером я передал Герцогу ответ Громыко. Возражений против его условий не последовало, и я лег спать с надеждой, что десятилетие вражды между Москвой и Иерусалимом приходит к концу.

Рано утром на следующий день я вышел из дому через заднюю дверь и по узкому проходу направился к зданию на 64-й улице. В однокомнатной квартире на втором этаже меня ждал Боб Элленберг. ЦРУ удалось найти прекрасное место для встреч со мною. Я мог пройти в эту квартиру, воспользовавшись служебным лифтом в здании, где я жил, затем пересечь гараж и выйти на узкую улочку. Пройдя буквально несколько шагов, я уже попадал в другое здание. Это было менее опасно, чем в отеле "Волдфорд-Астория" или иных, ранее выбранных местах. Боб сказал, что ЦРУ сняло эту квартиру, чтобы у нас было больше времени для разговоров. Однако пока Громыко был в Нью-Йорке, мы решили ограничиться короткими утренними встречами лишь для передачи информации о событиях предыдущего дня.

Я рассказал Бобу о разговоре с Герцогом, ответе Громыко, подчеркнув значение предстоящей встречи с Даяном. Весь день после этого я ждал официального запроса со стороны Израиля. Наконец, после полудня Хаим Герцог сообщил, что хотел бы повидаться со мной.

Когда он вошел в мой кабинет, вид у него был несколько расстроенный. Даян, по его словам, решил отказаться от встречи с Громыко. Возможно, его расписание в Нью-Йорке было крайне перегруженным, а его возвращение в Израиль было перенесено на несколько дней раньше, чем предполагалось вначале. Герцог извинился за беспокойство, причиненное мне и Громыко, и покинул кабинет.

Я так и не узнал, почему Даян изменил свое решение. Объяснение Герцога не выглядело правдоподобным.

Громыко никак не отреагировал на мое сообщение. Но мне показалось, что и он сожалел об упущенной возможности. Один разговор с Даяном, конечно, не изменил бы хода событий на Ближнем Востоке, но он, по крайней мере, позволил бы приоткрыть дверь, которая остается закрытой столь длительное время. Советский Союз продолжает раздувать и поддерживать беспорядки в этом районе мира, подливая масла в огонь вражды арабских государств по отношению к Израилю, поддерживая арабских экстремистов. Конфликту между Израилем и его соседями пока не видно конца.

Моя личная ближневосточная дипломатия не ограничивалась Израилем. Когда представитель Египта в ООН Эсмат Мегид пригласил меня в 1976 году посетить его страну, я наде-

ялся, что это будет способствовать более активной обычной дипломатии. Громыко, хотя и без особого энтузиазма, одобрил мой визит. Через несколько дней я выразил Мегиду свое согласие, и он сообщил мне, что в Нью-Йорке находится министр иностранных дел Египта Исмаил Фахми. Он хотел бы со мной повидаться.

В своем номере, в отеле "Волдорф-Астория" Фахми разговаривал с поразительной прямотой и откровенностью. Десять лет назад мы оба представляли в ООН наши страны, и это давало повод к дружеским отношениям. Фахми перечислил ряд претензий Египта и сделал неожиданное, хотя и несколько неопределенное, предложение о визите Брежнева.

Претензии к Советскому Союзу были многочисленны. Дело было не только в том, что СССР задерживал отправку в Египет военного и промышленного оборудования. Фахми обвинил Москву в том, что она умышленно затягивает посылку в Египет запасных частей для самолетов. Египет заплатил деньги задолго вперед, а ящики все еще стоят непогруженные в одесском порту – в нарушение контракта и к досаде египтян.

К тому же, назначение Владимира Полякова – незначительного дипломата, послом в Египет, воспринято в Каире, как пощечина. Фахми назвал Полякова "почтовым ящиком". Он приходил в Министерство иностранных дел Египта только для того, чтобы передать почту, полученную им из Москвы. Он не отвечал ни на какие вопросы и сам вопросов не задавал.

– Я не представляю себе, что он может докладывать Москве. Он же ничего про нас не знает и не пытается узнать, – сказал мне Фахми.

Вторая часть заявления Фахми произвела на меня сильное впечатление. Фахми был не только министром иностранных дел, но и заместителем премьер-министра. Также было известно, что он – один из ближайших советников Садата. Вряд ли он начал бы разговор о визите Брежнева в Египет, не получив на то его согласия. Но даже, если предположить, что эта идея действительно была его собственной, то он, бесспорно, был достаточно влиятелен, чтобы вынудить Садата согласиться с нею. Я пообещал сообщить о нашем разговоре в Москву. Быть может, по приезде в Каир, у меня уже будет ответ.

Отправив длинную телеграмму в Москву, я договорился с Мегидом обсудить расписание моего визита, назначенного уже на январь 1977 года. По поводу визита Брежнева в Египет ответа из Москвы не последовало. Для меня в этом не было ничего уди-

вительного. На такие шаги в Москве быстро не решаются. Но если бы даже решение и было принято, о нем египтянам сообщили бы по другим каналам. Я был удивлен и разочарован, когда за несколько дней до моего вылета в Каир, на мою обычную телеграмму, информирующую о моих планах в связи с поездкой в Египет, был получен срочный ответ, подписанный Громыко. Событие само по себе редкое.

Ответ содержал прямые инструкции. Предлагалось отложить визит на неопределенное время. Однако если это уже невозможно, то я должен вести себя в Египте исключительно как заместитель Генерального секретаря ООН. И только. Ни под каким видом я не должен обсуждать политику СССР с египтянами.

Я не мог игнорировать столь прямые указания, и у меня не было времени, чтобы их обсудить или попытаться что-либо изменить. Мое посещение Египта, таким образом, превратилось лишь в чисто дипломатическую церемонию. Хотя я встретился с Фахми и рядом других крупных чиновников, у меня не было возможности отвечать на их вопросы и реагировать на их комментарии советской политики. К досаде египтян и моей собственной, я был молчалив и загадочен, как сфинкс, и неприступен, как посол Поляков, с которым я, кстати, познакомился в Каире. Он соответствовал описанию, данному ему Фахми. Человек ограниченный, он не интересовался взглядами египтян и не особенно беспокоился по поводу того, что плохо выполняет свои обязанности. В 1981 году Египет отослал Полякова домой. Это явилось результатом как его собственной профнепригодности, так и неутихающего обострения отношений между двумя странами.

Лишь более года спустя после моего визита в Каир, я смог сообщить что-либо важное в отношении Ближнего Востока в Москву или же Бобу Элленбергу. К тому времени Садат уже сделал свой драматический жест, результатом которого стал мир с Израилем, и его инициатива вызвала одобрение большинства западных лидеров. Исмаил Фахми оказался среди тех, кто не поддержал Садата. В знак протеста он ушел со своего поста. Воинственные арабские лидеры обрушились на Садата, и кремлевское руководство присоединилось к их злобному хору.

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ

27

1977-му году суждено было стать для меня тревожным и напряженным, но начался он довольно спокойно. Накануне Нового года произошло событие, обрадовавшее и меня, и многих других советских служащих в Нью-Йорке: Яков Малик вернулся в Министерство иностранных дел и на смену ему прибыл Олег Трояновский.

Громыко рассказал мне о надвигающихся переменах еще в октябре, перед своим отъездом из Нью-Йорка. В тот день мы с Линой были приглашены к чете Громыко на ужин, в их квартиру в Миссии. Мне хотелось с глазу на глаз обсудить с Громыко одно дело, а Лина с Лидией, убрав со стола, вышли в другую комнату – посовещаться насчет своих закупочных операций.

– Андрей Андреевич, – мне надо поговорить с вами по личному вопросу.

Он с улыбкой посмотрел на меня и кивнул головой. Я стал рассказывать, что работаю в ужасных условиях.

– Малик пытается все время давить на меня, секретарь партячейки без конца отрывает от срочных дел, а КГБ старается вовлечь в свои операции. По правде сказать, я уж и не знаю, что делать. Может, вы что-нибудь посоветуете?

– Да, я знаю, у Малика мерзкий характер. Поверьте, не вы один на него жалуетесь. – Он многозначительно кивнул. – Ничего, мы скоро его заменим Трояновским.

Имя Трояновского меня нисколько не удивило, но сам поворот событий был приятным сюрпризом.

– Что же касается всей этой партийной мелкоты, не обращайте на них внимания. – Громыко нахмурился, помолчал, затем вдруг спросил: – А что если вам поехать в какую-нибудь западную страну послом? На какой-нибудь значительный пост, а?

Я ответил уклончиво, заметив, что мне понадобится какое-то время, чтобы закончить работу в Нью-Йорке.

– Никакой срочности нет, – спокойно согласился он. – Поговорим об этом позже.

О КГБ Громыко ничего не сказал, и моя интуиция подсказывала мне, что он и сам их побаивается. Лина не раз передавала мне советы Лидии Громыко держаться подальше от сотрудников КГБ. Стоило Лине завести разговор о личных делах, как Лидия останавливала ее и, указывая пальцем на потолок, шептала:

– Поговорим об этом в другом месте.

Олегу Трояновскому было тогда 57 лет. Это был приветливый человек, умный дипломат, по натуре бонвиван. Работать с ним было одно удовольствие, особенно он выигрывал на фоне Малика. Сын первого советского посла в США, Трояновский вырос в Вашингтоне, учился в американской школе, превосходно владел английским и много лет был личным переводчиком Никиты Хрущева. Кроме того, в 1962-67 годах он работал советником по иностранным делам при обоих Председателях Совета Министров – Хрущеве и Косыгине. Это весьма значительный пост, но Трояновский постепенно утратил свое влияние – после падения Хрущева и вследствие того, что Брежнев фактически отстранил Косыгина от внешней политики. Трояновский был назначен послом в Японию, сменив на этом посту своего отца. В 1975 году в Японию сослали изгнанного члена Политбюро, бывшего министра сельского хозяйства Дмитрия Полянского, и Трояновский около года провел в Министерстве иностранных дел, пока наконец не получил должность постоянного представителя при ООН.

Вряд ли это было то, о чем он мечтал: сердце его принадлежало Вашингтону, городу, спокойной красотой которого он часто восхищался в разговорах со мной. Став послом в США, он бы повторил карьеру своего отца, по стопам которого следовал, и если когда-нибудь он добьется своего, то произойдет это не вследствие его сильного характера или независимости взглядов, но потому, что Трояновский прекрасно усвоил все преимущества конформизма в советской системе. Он действует тихой сапой, стараясь производить как можно меньше шума, оставаться максимально близко к генеральной линии Москвы, склоняться вместе с линией партии, знать, куда дует ветер и угадывать малейшие перемены в его направлении.

Сотрудники Миссии относились к нему скорее с симпатией, чем с уважением. Малик, даже после серьезной аварии в марте 1976 года, надолго выведшей его из строя, оставался требовательным, резким самодуром. Трояновский, невысокий человек с красными щеками и носом картошкой на круглом лице, предъявлял к подчиненным самые мизерные требования. Для каждого у него была наготове улыбка, в общении он был мил и вежлив, а расписание его рабочего дня давало ему возможность поиграть в теннис – занятие, которому он предавался с истинной страстью.

Но при всем его обаянии Трояновского отличала нерешительность, граничащая едва ли не со слабостью характера. Особенно ярко это проявлялось в отношениях с женой. Татьяна была моложе его, и ее влияние не ограничивалось чисто семейными делами. В Москве она не раз поражала других дипломатов тем, что регулярно появлялась в министерстве, активно участвовала во всех делах мужа, превращая его в объект для постоянных шуток. И в Нью-Йорке она оставалась главной в этом семействе, он же довольствовался ролью типичного мужа-подкаблучника.

Поскольку Трояновский не очень разбирался во многих аспектах работы ООН, он зачастую никак не мог принять решения по сложным или деликатным вопросам, и порой мне приходилось сидеть с ним часами, без конца обсуждая проблемы, с которыми более решительный человек справился бы быстро. Но зато он на меня совершенно не давил, у меня не было никаких оснований думать о том, чтобы расстаться со своей работой, за исключением желания обрести свободу в Америке, и меня больше не мучили дурные предчувствия.

Однако в конце весны 1977 года неожиданное ужесточение правил секретности, таинственное по своим причинам и представляющее потенциальную угрозу моей безопасности, разом покончило с моим благодушием. Хотя распоряжения на сей счет пришли из Москвы, они серьезно повлияли на мою жизнь в Нью-Йорке. Впервые я услышал об этом на регулярном совещании высших должностных лиц Миссии и Секретариата, когда Трояновский сообщил, что сейчас выступит резидент КГБ.

– Специальные службы империалистических государств интенсифицируют провокационные кампании против советских граждан и учреждений за рубежом. Необходимо дать надлежа-

щий отпор этим враждебным махинациям. От советских людей, путешествующих или живущих в капиталистических странах, где к подрывной деятельности западной разведки добавляется деятельность враждебных эмигрантских организаций, требуется особая бдительность...

Юрий Дроздов мрачным голосом монотонно читал по бумажке свою речь. Судя по той кипе, что лежала перед ним на столе, резидент КГБ не справился еще и с половиной. Как бы не уснуть...

Многое из того, что он читал, сидевшие в комнате уже сотни раз слышали либо читали в передовицах "Правды" об усилении бдительности: остерегайтесь иностранцев, всех и всякого подозревайте в предательстве, каждый иностранец, с которым вы встречаетесь, хотя бы и случайно, может работать ради подрыва советской безопасности. Одно только непонятно – чего ради Дроздов вдруг принялся именно сейчас перечислять все эти истины? Но ларчик просто открывался: наконец-то Дроздов добрался до сути – и зачитал требование, чтобы все контакты с иностранцами одобрялись заранее, в том числе контакты всех советских граждан, работавших для секретариата ООН. Кроме того, жены сотрудников Миссии и ООН должны ходить по Нью-Йорку только с сопровождающими. И наконец – особый упор делался на уже имеющееся правило, по которому все разговоры с иностранцами должны быть подробно описаны в специальных книгах для таких записей, имеющихся в Миссии. Эта тягостная для всех обязанность чаще всего нарушалась.

Мне было понятно, что КГБ собирается не только усилить старые, часто не соблюдаемые правила, но и ввести новые, и вряд ли это закручивание гаек в сфере безопасности направлено против меня. Но совершенно ясно, что эта новая политика чрезвычайно связывает дипломатов и создает невыносимые условия для работы. Я лично буду отвечать за то, чтобы советские сотрудники секретариата выполняли кучу правил, которые им придется нарушать чуть ли не каждый день.

Когда при обсуждении выступления Дроздова дошла очередь до меня, я попытался убедить его допустить какие-то исключения из правил. Одно дело, сказал я, когда сотрудники Миссии получают разрешение от своего начальства, прежде чем встретиться с иностранными дипломатами в Нью-Йорке, но советские сотрудники ООН встречаются с ними ежеднев-

но, и это входит в их рабочие обязанности. Что же, значит, каждый сотрудник секретариата перед каждой встречей со своим начальством должен получать письменное разрешение? И если да — то кто будет такие разрешения давать? Займись я делами такого рода, у меня просто не останется времени для моих служебных обязанностей.

К тому же, продолжал я, правило о письменных отчетах о всех разговорах с иностранцами осуществимо для сотрудников Миссии, но никак не для служащих ООН. Отчеты надо писать в Миссии, но там просто не хватит места для персонала секретариата. Многие из служащих теряют уйму драгоценного рабочего времени в поисках стола, чтобы написать регулярный отчет. А если им придется их писать каждый день, и при этом они не смогут заниматься этим в своих ооновских кабинетах, они будут терять еще больше рабочего времени.

Дроздов согласился с частью моих доводов, но все же заявил, что новые правила распространяются на всех и служащим ООН придется с ними примириться. Он и Трояновский пообещали предоставить в Миссии место для персонала Секретариата. И действительно, места стало больше, но все же сотрудникам ООН нередко приходилось ждать, пока освободится письменный стол.

После собрания я задумался, что же стоит за этими обременительными процедурами по обеспечению секретности. Это явно выходило за пределы обычной советской бдительности. Я знал об одном случае в Нью-Йорке, в котором был замешан посол Белоруссии в ООН Геродот Чернущенко. Забыв о шофере, поджидавшем его, посол провел ночь у одной латиноамериканки, на приемах у которой он часто бывал. Когда ранним утром Чернущенко не появился, шофер встревожился и заявил в Миссию. Кагебешники разбудили жену посла, ввалившись в их квартиру, и дождались прихода Чернущенко. А через пару дней мрачный представитель Белоруссии под бдительным экскортом жены и сотрудников КГБ отправлялся домой с аэродрома Кеннеди. Я тоже был в тот день в аэропорту, провожал приятеля, летевшего тем же самолетом, так что видеть-то я Чернущенко видел, но поговорить нам не разрешили, и о причине его внезапного отъезда я узнал позже. История бедного посла вызвала во мне двойственное чувство: с одной стороны, меня разозлила его глупость, с другой — испугала решительность КГБ.

И все же мне было трудно поверить, что именно проступок Чернущенко вызвал драконовские меры со стороны Дроздова. Но если это действительно так, если это и было причиной повышения бдительности, то тогда к тем мерам, которые шеф КГБ обсуждал открыто, наверняка добавятся еще и какие-то скрытые мероприятия, которые будут иметь самое непосредственное отношение также и ко мне. Ведь, с точки зрения тайной полиции, проступок одного посла ставит под подозрение всех послов.

Мои предположения, казалось, подтвердились в ближайшие дни. В ходе новой кампании возник список, находившийся у охранников возле входа в Миссию, где отмечались все приходы и уходы старших чиновников. Находясь в Миссии, я чувствовал, что за мной ведется усиленное наблюдение. В ООН мне то и дело приходилось сталкиваться с агентами КГБ, но теперь я часто замечал их возле себя и в Миссии: они поднимались со мной в лифте, следили, с кем я говорю, куда иду.

Если бы тайная полиция дарила меня таким же вниманием в первые месяцы моего сотрудничества с ЦРУ, я бы этого не вынес. Теперь же любопытство взяло верх над страхом: мне было очень интересно, почему они так усилили контроль.

Меры по усилению бдительности ко мне лично отношения не имели, и я по-прежнему пользовался неограниченным доступом ко всем секретным документам и мог встречаться с кем угодно. Мы с Элленбергом пришли к выводу, что каковы бы ни были причины действий КГБ, – мне лично пока ничего не угрожает.

Летом 1977 года я даже рискнул провести летний отпуск в СССР. Не чувствуя непосредственной угрозы разоблачения, я так осмелел, что у меня не возникло никаких предчувствий, вроде тех, что мучили меня на Кубе или годом раньше в Союзе. КГБ никому не верит полностью, но похоже, я вызываю у них ровно столько же недоверия, сколько всякий другой.

Однако по дороге в Крым, к матери, а потом по пути в Кисловодск я обнаружил, что за мной ведется тайная слежка, и куда более тщательная, чем раньше. Сначала это меня просто раздражало, но под конец отпуска я не на шутку забеспокоился. Вернулись все страхи, все подозрения и волнения.

Впервые я столкнулся с переменами в атмосфере на другой день после приезда в Москву, придя в Министерство иност-

ранных дел. По многолетней привычке я отправился в кабинет начальника отдела международных организизий, где начинал свою дипломатическую карьеру и где машинистки и служащие всегда называли меня по имени, считая меня членом своей трудовой семьи. Но когда я попросил старшего секретаря принести мне досье за прошедшие месяцы с шифрованными телеграммами, чтобы я мог их прочесть, — как делал это во время всех своих побывок дома, она сказала извиняющимся тоном:

— Не могу. Введены новые правила. Если вас нет на разметке, — а вас там нет, нужно получить специальное разрешение.

Эти строгости меня удивили: за все годы работы в министерстве я еще ни с чем подобным не сталкивался, прямо возвращение в сталинские времена. А самое интересное, что по времени эти правила совпадают с аналогичными начинаниями Дроздова в Нью-Йорке. Наверное, гайки закручиваются повсеместно. Но все равно я не мог понять, как это отразится лично на мне и что именно вызвало это маниакальное усиление секретности.

На первый вопрос я вскоре получил ответ: в моем статусе ничего не изменилось. Виктор Израелян, начальник отдела, тут же открыл свой сейф и вручил мне телеграммы, которые там держал. Разговор с другим служащим высшего ранга тоже убедил меня, что со мной все в порядке: у него не было времени общаться со мной на работе, но он пригласил меня к себе домой, на ужин и обычную многочасовую беседу, с перемыванием косточек всем нашим коллегам, обсуждением их неудач и перспектив. Мы с ним вместе работали в Нью-Йорке в 60-е годы и подружились, хотя его карьера имела лишь косвенное отношение к дипломатии. Он-то, наконец, и объяснил мне причину всех этих драконовских мер.

— У нас в министерстве было ЧП.

И он рассказал мне следующее: кагебешники начали сомневаться в лояльности некоего секретаря советского посольства в одной латиноамериканской стране. Проследив его контакты с ЦРУ, агенты, однако, не стали ничего предпринимать, а просто организовали его перевод в Москву. Здесь игра продолжалась. Молодой дипломат получил назначение в отдел планирования политики, где он пользовался широким доступом к шифрованным телеграммам. Несколько месяцев

за ним тщательно следили и наконец поймали на передаче документов американскому агенту. При аресте он покончил с собой, проглотив капсулу с ядом, допросить его не успели.

Если бы мне рассказал эту историю кто-нибудь другой, я, может, и усомнился бы в ее подлинности, но передо мной сидел человек, у которого за долгие годы работы установились превосходные деловые отношения с КГБ, и в точности его рассказа сомневаться не приходилось. Я состроил озабоченную мину — впрочем, заботили меня не министерские дела, а мои личные.

— Теперь все мы окажемся под подозрением из-за одного предателя.

— Нет, этот случай не единственный, — ответил мой приятель. — В других странах тоже были инциденты, наших людей пытались завербовать. Я уж не говорю о проблемах с пьяницами и бабниками. — И он начал рассказывать уже известную мне историю посла Чернущенко.

— Вот уж никогда бы не подумал, что он так кончит. В Нью-Йорке он производил на меня впечатление ярого ортодокса и настоящего пуританина, — заметил я.

— Но ведь он пил, — ответил мой друг.

Я не возражал, хотя ни разу не видел Чернущенко пьяным. Он всегда пунктуально являлся на заседания Совета Безопасности и добросовестно выполнял свои относительно несложные обязанности. Не то что бывший резидент КГБ Борис Соломатин. Тот после бурных уикэндов в Глен-Коуве частенько вообще не являлся на официальные совещания, но все было шито-крыто: КГБ своих не выдает.

История молодого дипломата запала мне глубоко в душу. Мне казалось, я хорошо понимаю, что заставило его пойти на такой поступок, и мне было его очень жаль. В то же самое время я почувствовал облегчение, узнав, что именно вызвало усиление правил секретности в Миссии и министерстве. В основе всего лежало реальное событие, случившееся за много сотен километров от Нью-Йорка. Но мне было вовсе не сложно представить себе, как КГБ заманивает меня в такую же ловушку, какую он расставил для молодого дипломата, которого просто-напросто выманили из Южной Америки домой, выследили и наконец затравили. Он был доведен до такого отчаяния, что подготовился к самоубийству и выбрал смерть. Я не хотел такого конца. И поэтому я должен вновь возро-

дить в себе ту сверхчувствительность, которую мне удалось в свое время приглушить, мне нужно постоянно помнить об опасности. Жить в страхе – не слишком приятно. Однако я понимал, что, отрешившись от страха, теряю наилучшее средство защиты от разоблачения.

К счастью, КГБ помог мне вновь выстроить мою защитную линию. В моем сознании начали всплывать необычные случаи, происшествия, которые, если рассматривать их по отдельности, ничего особенного собой не представляли. Настороживщие меня инциденты начались почти сразу же после моего разговора с приятелем по министерству. На следующий вечер я сел в экспресс на Курском вокзале: я отправлялся в Крым повидаться с матерью. Поезд отходил в полночь, и, войдя в купе, я обнаружил, что моя соседка – женщина. И мне, и ей крупно повезло, что мы получили билеты по броне в поезде курортного направления в самый разгар летнего сезона – очевидно, она тоже пользовалась определенными привилегиями.

Я вышел в коридор покурить, чтобы дать ей переодеться, и, глядя в темную ночь за окном, заметил человека, которого уже видел в зале ожидания на вокзале. Он не курил, а просто стоял в коридоре, как часовой. И наутро, когда я вышел, чтобы дать моей соседке одеться, он опять был тут как тут, а придя завтракать в вагон-ресторан, я первым делом увидел опять его.

Я не слишком задумывался над этими совпадениями, просто машинально регистрировал всякий раз его присутствие и не очень волновался по этому поводу. В его внешности и поведении не было ничего угрожающего, но интерес к моей персоне явно выходил за рамки обычного любопытства. Сойдя с поезда в Евпатории, окунувшись в бархатный воздух солнечного Крымского побережья, я совершенно забыл о нем. Мать встречала меня. Ей шел уже семьдесят шестой год. После смерти моего отца она снова вышла замуж и жила в Крыму. К моему большому огорчению, они с Линой невзлюбили друг друга и не желали общаться. Поэтому я приехал к ней один. Как бы то ни было, она моя мать, и я очень хотел ее видеть. Это была последняя ниточка, связывавшая меня с детством, и мне надо было вернуться в былое, молча попрощаться с ней, надеясь на ее прощение за то, что я оставляю свою страну, не сказавши ей.

Через несколько дней я уезжал в Москву и в момент отъезда получил урок вездесущего присутствия КГБ. Когда я протянул кондуктору билет, он попросил меня подождать, и к нам подбежал другой служащий, объясняя, что мне выделили билет в другом месте. Мне дали купе в другом спальном вагоне, который был относительно пуст. Это само по себе было странно. В разгар летнего сезона – пустые места в поезде, идущем из Крыма: какая-то загадка...

Я начал подозревать, что КГБ в последнюю минуту заменил мой зарезервированный билет и организовал пустые места в вагоне. За мной следили, так же, как и на пути в Крым. Снова, стоило мне выйти из купе, в коридоре стоял молчаливый соглядатай. Он же неизменно оказывался в вагоне-ресторане, где я завтракал и обедал. И хотя это был совсем другой человек, не тот, что сопровождал меня в Крым, они были похожи друг на друга тем холодным профессионализмом, с которым наблюдали за мной.

Я пришел к выводу, что для наблюдения за мной КГБ поместил меня в вагон, где были зарезервированы места для служебного пользования. Иностранных журналистов и дипломатов, путешествующих поездом, обычно размещали в этих кагебешных вагонах. Узнав о моем возвращении в Москву в последний момент, агенты КГБ засуетились, чтобы изменить мой заказ и поместить меня туда, где им проще всего было держать меня в поле зрения.

Это проявление всемогущества и вездесущности КГБ удивило меня не слишком, но вот то, что я стал объектом их внимания, – очень заботило меня. Андрей Громыко и все сотрудники Министерства иностранных дел относились ко мне, как обычно, но тайная полиция занимала, вероятно, другую позицию, и это наводило на дурные мысли.

Все время моего пребывания в Советском Союзе я был вынужден мириться со слежкой КГБ и приноравливаться к их совершенно очевидным сомнениям на мой счет. Правда, я не делал ничего, что могло бы подтвердить их подозрения. Через день после возвращения из Евпатории я снова был на Курском вокзале, на сей раз с Линой, мы отправлялись на юг, в горный курорт Кисловодск на Северном Кавказе. Я любил это место не за плохо пахнущую, якобы животворную минеральную воду, а за то, что там можно великолепно отдохнуть.

"Красные Камни" – санаторий, где нам предстояло провес-

ти 24 дня, представляет собой лучшую здравницу для людей, пользующихся самыми высокими привилегиями. Существующий под видом клиники и входящий в систему Четвертого отделения Министерства здравоохранения, — это один из лучших курортных отелей СССР. Для того чтобы попасть туда, необходимо высокое положение. В просторных квартирах в главном здании и роскошных дачах, расположенных ниже, гостили даже члены Политбюро. Горничная сказала нам, что в прекрасно оборудованной квартире, которую предоставили нам с Линой в 1977 году, регулярно бывает премьер Алексей Косыгин. Это обстоятельство объясняло наличие специально засекреченных телефонов в прихожей и спальне и прямую связь с московской "вертушкой". С нашей террасы открывался вид неземной красоты. По утрам мы с Линой любовались восходом солнца, а в конце длинного летнего дня следили за тем, как тень от вершины горы медленно огибает толстые стволы сосен и растекается дальше.

Мы с Линой проводили в "Красных Камнях" каждый летний отпуск. Нас приводило сюда не желание подтвердить наше общественное положение, но удивительный покой этого места. Это остров, изолированный от внешнего мира каменными стенами и железными воротами, вооруженной охраной и собаками. Простой смертный не попадет сюда, и никто не войдет за ограду без специального пропуска или приглашения. Никто не может прокрасться под игровые площадки начальства, посмотреть, как мы проводим наш досуг.

Медицинская часть нашего отпуска ограничивалась нарзанными ваннами, которые мы принимали через день в подвале, длительными прогулками по лесистым горам и пешими экскурсиями в небольшой городок Кисловодск и его окрестности. В маленьком чистеньком городке с витрин магазинов мне улыбалось знакомое изображение — Иосиф Сталин. В Кисловодске его портреты прочно заняли привычные места задолго до того, как начали появляться на улицах Москвы, приклеенные на стекла такси. Всякий раз, когда я видел в витринах это изображение, меня охватывал какой-то мистический ужас при мысли о возможном возрождении сталинизма в новой форме. Так обыденно, так просто выглядели эти фотографии в витринах — и это после всего, что вынесла моя страна от руки одного из величайших убийц в истории человечества. Мне вспомнилась старая мудрость о том, что люди

часто цепляются за камни, которые сокрушают их. И я думал о войне, о друзьях и родственниках, которые пострадали или попросту исчезли во время сталинского правления. Все эти мысли укрепляли меня в решении остаться на Западе.

Считалось, что мы находимся в санатории по медицинским показаниям, но большинство из нас были вполне здоровыми людьми. За путевку мы заплатили всего треть и без того уже низкой стандартной стоимости – 220 рублей за 24 дня. У нас с Линой было свое расписание. Мы попросили врачей не будить нас во время утренних восьмичасовых обходов, спали по меньшей мере до девяти, иногда завтракали в нашем номере, принимали бодрящую ванну или делали массаж, или плавали в закрытом бассейне, а потом долго гуляли до второго завтрака. Отлично оборудованный спортивный зал, теннисные корты, волейбольные площадки – все это было не для нас, поскольку мы предпочитали подниматься в горы по сквозным горным тропкам к верхнему плато, лежащему на высоте 150 метров над уровнем главного здания, и оттуда любовались роскошными видами Кавказа.

Большинство других обитателей санатория столь же мало обращали внимания на медицинский персонал и его старания. Дневные политинформации, обязательные для врачей, посещали немногие. Зато на киносеансах, концертах и танцах народу было полно. Не обходили стороной и бар, открытый по утрам и перед ужином. В нем было сколько угодно водки, виски западного производства, вина. В столовой, находящейся за соседней дверью, спиртные напитки не подавались. Но уж чего проще – вылить из стакана нарзан, который мы должны были пить, наполнить его прозрачной водкой и с торжественным лицемерием отнести к столику. Официантки и медики закрывали на это глаза.

Кисловодск всегда оказывал благотворное воздействие на наши с Линой отношения. Мы становились друзьями, даже заново влюблялись друг в друга. Нам нравилось проводить время вместе, но тем не менее мы не хотели оказаться в полной изоляции. Хотя можно было есть в номере, мы предпочитали ходить в общую столовую. У нас был любимый столик в нише, там мы обычно чувствовали себя достаточно уединенно. Из окна открывался прекрасный вид на сад и горы. Однако, хотя и сад, и горы были на месте, чувство уединенности рассеялось, когда, явившись на наш первый завтрак, мы обна-

ружили двух мужчин, сидевших в непосредственном соседстве с нами.

Один представился как Николай Петров, сотрудник научного института Министерства здравоохранения. Он был невысок, очень живой и разговорчивый. Второй, Алексей Прокудин, высокий и молчаливый. Они были неразлучны и, совершенно очевидно, намеревались составить нам компанию. После того как несколько раз они оказывались рядом с нами в кино или выбирались на прогулку именно тогда же, когда и мы, я вынужден был признать, что Лина права. Она инстинктивно чувствовала, что Петров – сотрудник КГБ, а Прокудин – судя по его выправке и отрывистой речи – из ГРУ.

Я рассказывал Лине о кампании по усилению бдительности в Министерстве и историю молодого дипломата, так что интерес агентов тайной полиции к нашим персонам не слишком волновал ее. Чтобы отделаться от наших "ангелов-хранителей", мы прибегали к разнообразным уловкам – меняли часы наших трапез; проскальзывали в столовую за несколько минут до закрытия; запасшись едой, уходили на целый день в горы. И все же Петров и Прокудин ухитрялись отыскать нас и присоединиться к нам. Я заметил, что некоторые сотрудники санатория тоже следили за кое-какими отдыхающими, но, по-моему, такой откровенной и пристальной слежки, как за нами, ни за кем больше не было.

В компании агентов я вел себя так же, как с советскими коллегами в Нью-Йорке: разговаривал только на самые безопасные темы и вставлял лишь ортодоксальные, либо ничего не значащие реплики. Но с другими обитателями санатория мне держать язык за зубами было ни к чему: обычно без всякой инициативы с моей стороны эти высокопоставленные функционеры после пары рюмок высказывали вполне крамольные точки зрения. Русские любят поговорить. К тому же – при всей красоте курорта – отдыхать там было скучно. На прогулках в лесу, за выпивкой до и после вечерних киносеансов или концертов мы все быстро перезнакомились.

Летом 1977 года я выслушивал от партийных бюрократов и министров набившие мне оскомину жалобы на недостатки в планировании, в управлении экономикой, сельским хозяйством и их заверения, что они делают все возможное, чтобы поправить дело, и, разумеется, со временем добьются успеха. Но речь шла о паллиативах, а не о подлинных реформах или су-

щественных изменениях. Никто не критиковал саму систему, лишь немногие смотрели на вещи реально.

– Конечно, можно кое-что подлатать, заставить одно звено какое-то время работать лучше, – говорил один из моих собутыльников, – но от этого ничего не изменится. Не сработает какая-нибудь другая часть механизма и поставки, на которые мы рассчитывали, чтобы заставить наш сектор нормально работать, не дойдут. Хоть бы уже уйти на пенсию и забыть все эти дела.

Этот человек был, конечно, из самых совестливых и отличался искренностью, редкой в таких кругах. Большинство других, разжиревшие на своих привилегированных хлебах, были ко всему безразличны. Даже если они знали, как плохо живет средний советский гражданин, они были уверены, что народный гнев не лишит их привилегий. Их жены делали закупки в магазинах, доступных только элите. Их дети ходили в школы, где критерием для приема являлись не способности ребенка, а положение родителей. Они путешествовали с комфортом, зная, что для них всегда отыщутся места в поездах и самолетах. Персональные машины отвозили их на работу и с работы: на курортах, куда они приезжали, в городах, которые они посещали по службе, их встречали машины с шоферами. Они или их друзья привозили с Запада роскошные вещи. Опытные врачи, имея для них лучшие импортные лекарства и медицинское оборудование, следили за их здоровьем. Льстивые подчиненные в один голос твердили им об их компетентности, о том, как нужны они государству.

Все мы жили в теплом, уютном и парализующем движение узком кругу. Большинство из тех, кто попал в этот круг, не высовывал носа наружу. Самым страшным для них было бы слететь с их поста, а единственное, что могло бы угрожать их положению, это какие-то действия с их стороны – протесты, либо излишние старания по введению реформ, или борьба с коррупцией, словом, все, что стало бы заметным и чего власти не могли бы игнорировать. Подобные самоубийственные стремления были свойственны лишь немногим.

Маленький эпизод, повторяющийся изо дня в день, иллюстрирует бесчувственность высокопоставленных членов правительства, их полное равнодушие к окружающим. Когда мы с Линой гуляли в горах по пешеходным дорожкам, нас часто оглушал вой автомобильной сирены – мы шарахались в сто-

рону – и кавалькада машин, обдавая нас пылью, проносилась мимо. Однажды я услышал, как рассерженный пешеход спросил у своего спутника:

– Кто это?

– А вы что, не знаете? Юрий Андропов. Он живет на даче в "Красных Камнях".

Шеф КГБ, член Политбюро, один из самых влиятельных людей в СССР, Юрий Андропов страдал сердечным заболеванием и его возили на плато, чтобы он мог наслаждаться горным воздухом. Но вместо кружной дороги, обязательной для других машин, его шофер ехал прямиком, превращая пешеходную тропинку в шоссе. То, что это причиняло неудобства простым смертным, не имело значения.

Поведение самого Андропова не носило, однако, столь шумного характера. В отличие от других видных чиновников, часто посещавших санаторий, он и его жена жили в уединении на усиленно охраняемой даче. Андропов был нелюдим, не ходил в столовую, ни с кем не общался, делая исключение лишь для тех, кто получал специальное приглашение от него лично.

Наблюдая за тем, как андроповский конвой прокладывает себе путь среди кустов диких роз, я лишний раз задумался над тем, как несоотносимы личные качества советских правителей с их "коллективным" поведением. Андропов, хотел он того или нет, достиг чудовищной изоляции. Он и его коллеги по Политбюро утратили связь с реальностью общества, которым правили. Оказавшись не в состоянии понимать его, они были не в силах на него и воздействовать. Все, что они могли, это внушать страх вместо симпатии, добиваться послушания вместо энтузиазма. Привыкнув к своей обособленной жизни, они ни за что не рискнут изменить свой курс.

Я приехал в "Красные Камни" отдохнуть и развеяться, но уезжал оттуда мрачным и нервным. Постоянное внимание Петрова и Прокудина не столько пугало, сколько раздражало меня, а их назойливые вопросы о моем отношении к Западу и моих взглядах на советскую систему доказывали, что они пытаются не просто проверить меня, но загнать в ловушку.

Перед возвращением в Нью-Йорк мы на пару дней задержались в Москве, так что у меня была возможность убедиться в правильности наших с Линой предположений насчет наших любознательных компаньонов по санаторию. За обедом со старым другом, занимавшим высокий пост в Министерстве

здравоохранения, я как бы невзначай упомянул имя Николая Петрова и название московского медицинского центра, где он якобы работал на заметной должности. Мой друг никогда не слышал этого имени. Я быстро перевел разговор на другую тему, но мои подозрения превратились в уверенность.

Оставалась всего лишь одна неясность – в какой степени КГБ мне не доверяет. Очень может быть, что все дипломаты моего уровня оказались под полицейским микроскопом, а возможно, что я выделен из многих. В любом случае у меня был лишь один выход – предполагать самое худшее и стараться вести себя, как всегда, пока опасность не исчезнет или не заставит меня начать действовать.

Между тем время шло, и перейти к действиям становилось все труднее. Анну пришлось оставить в Москве, так как она училась в старших классах. Я всегда мог устроить ей приезд в США на летние или зимние каникулы, но уже то, что она была в Москве, в сочетании с нежеланием Лины рассматривать возможность жизни вне советской элиты было мощным тормозом, который заставлял меня выжидать и тянуть время, ограничивая даже шансы выбрать правильный момент для разрыва с режимом.

С шефом КГБ в Нью-Йорке – Александром Подщеколдиным – у меня было несколько недоразумений по разным поводам. После одного инцидента в начале 1978 года меня остановил в коридоре ООН один советский сотрудник.

– Аркадий, меня удивляет, как разъярился Подщеколдин. Я знаю, что ты хороший работник, но у тебя могут быть из-за него неприятности.

Оказывается, Подщеколдин ему говорил, что Шевченко, мол, здесь уже достаточно пробыл и пора ему возвращаться домой. Из разговоров с женами сотрудников Миссии Лина тоже узнала о существовании аналогичных суждений. По ее словам, многие не раз слышали, как Подщеколдин заявлял: "Аркадий здесь большая шишка. Не мешало бы ему быть поактивнее в нашей общественной жизни и побольше участвовать в партийной работе".

Поначалу я не обращал особого внимания на его шпильки, но разговор с коллегой по ООН меня встревожил. Столкновение с Подщеколдиным было мне ни к чему, и, пожалуй, самое лучшее – это не провоцировать его и держаться подальше. Когда в середине февраля должно было состояться очеред-

ное заседание партийного комитета, я сказался больным. Это была моя ошибка.

Однажды субботним утром я позволил себе выспаться. Я был измучен напряжением двойной жизни и беспокойством за дочь. Лина была в Москве, ее вызвала мать: у Анны неприятности в школе, учителя на нее жалуются, бабушка справиться с ней не могла, и Лина полетела в Москву разобраться, в чем там дело.

Накануне ночью я никак не мог заснуть. Я накрыл телефон подушкой и принял Линино снотворное. Наутро, еще не проснувшись полностью, я услышал шум у входной двери и понял, что кто-то настойчиво стучит в дверь, но вставать мне не хотелось. Я укрылся с головой одеялом и снова заснул.

Выйдя некоторое время спустя прогуляться, я спросил у швейцара, не приходил ли кто ко мне утром. Он ответил, что в доме был мой шофер с двумя людьми, но он не знает, куда они направлялись, и они вышли очень скоро. Я поднялся в квартиру и позвонил Никитину.

— Посол Трояновский очень беспокоился, что с вами, — сказал он. — Он послал меня выяснить, где вы и что делаете.

— А кто был с вами?

— Доктор и Юрий Щербаков. — Щербаков был сотрудником КГБ, офицером по безопасности в Миссии.

Я спросил:

— А в чем дело? Почему они так беспокоились? Зачем нужен был офицер безопасности?

— Не знаю. Это не я придумал. Он просто пошел вместе с нами, — ответил Никитин.

Всю субботу и воскресенье я раздумывал над случившимся. Я не мог пропустить этот случай. В понедельник утром я пришел в Миссию к Трояновскому.

— Какого черта вы прислали за мной сотрудника КГБ?

— Мы волновались, Аркадий Николаевич, — ответил он. — Право, не расстраивайтесь, все в порядке. — Он улыбался, как будто мы с ним вместе только что удачно подшутили над кем-то.

Но для меня визит сотрудника КГБ вовсе не был шуткой, он пробудил все мои былые страхи. Наверное, когда в тот же вечер я позвонил Элленбергу с просьбой о встрече, он подумал, что у меня есть для него новая информация. То, что он находился теперь буквально под боком, было очень удобно:

я мог проводить с ним больше времени, глубже входить в детали. Элленберг был очень доволен, что я смог подробно разъяснить ему советскую позицию в подготовке к специальной сессии ООН по разоружению, которая должна была состояться в мае. Я сообщил ему также о том, какую оценку дал Анатолий Добрынин картеровской администрации после первого года ее работы.

Ежегодный отчет Добрынина о работе посольства в Вашингтоне насчитывал более двухсот страниц, и в нем, кроме нужных вещей, было полно всякой ерунды. Например, тут были обязательные протоколы партийных и профсоюзных собраний, проведенных в 1977 году, перечислялись темы, проработанные на партийных лекциях, рассказывалось, какие пропагандистские приемы использовались в материалах, распространяемых для американской общественности и правительственных чиновников.

Однако Элленберга больше всего интересовали комментарии посла относительно политической и экономической ситуации в Соединенных Штатах, его оценки американских военных программ и позиций, его предсказания относительно развития американо-советских отношений. Добрынин писал, что президент Картер по сути своей непредсказуем, он без конца принимает самые противоречивые решения по вопросам, важным для Москвы, и все еще нельзя с уверенностью определить какую-либо постоянную его позицию. Советы надеялись, что интерес Картера к правам человека в СССР – всего лишь часть предвыборной риторики, но оказалось, что эта проблема стала центральным элементом внешней политики США. Это тревожное развитие событий означало, что Москва не может рассчитывать на снятие ограничений, по которым уступки в торговле связывались с эмиграцией советских евреев.

Я внимательно прочитал отчет Добрынина и сделал пометки. Для меня это чтение было весьма полезно: оно дало мне возможность оценить ход мыслей посла, – многие телеграммы Добрынина из Вашингтона не попадали в Миссию ООН. Интересны были его замечания о коммунистической партии США. Руководитель партии Гэс Холл в то время думал об изменении тактики. До сих пор действия Холла способствовали лишь уменьшению коммунистического влияния в США. Добрынин поддерживал предложение Холла преодолеть политическую изоляцию партии, расширить ее контакты с "де-

мократическими и прогрессивными силами" в Америке с расчетом на создание в дальнейшем чего-то вроде народного фронта.

На мой взгляд, это предложение не стоило принимать всерьез. Хотя у меня не было прямого контакта с американскими коммунистами, я знал, что их деятельность настолько бездарна, что Москве приходилось прибегать к различным хитростям, чтобы субсидировать партию. Например, Советская миссия подписалась на изрядное количество экземпляров партийной газеты "Дейли Уорлд", но все экземпляры немедленно по прибытии в Миссию неизменно оказывались в корзинках: даже советские дипломаты считали газету нечитабельной.*

Просмотрев добрынинский отчет, я рассказал Элленбергу о его главных положениях и пообещал позже представить более полное сообщение. Но при встрече с ним после субботнего инцидента мне нечего было добавить. Меня волновало не только поведение Дроздова и Подщеколдина, я беспокоился и насчет Лины. Я собирался рассказать ей о моем намерении порвать с советским правительством и попытаться уговорить ее остаться со мной, но я все еще не был уверен, как она отреагирует на это. Я хотел, чтобы Анна приехала в Нью-Йорк на летние каникулы, тогда я мог бы попробовать убедить ее присоединиться ко мне и помочь уговорить мать.

Я понимал, что труднее всего будет убедить Лину, что я преуспею на Западе. Самое главное, конечно, что я и сам в этом не был уверен. Может быть, я не смогу обеспечить Лине те условия, к которым она привыкла. Все, чего я достиг в Союзе, будет навсегда потеряно, и если я добьюсь успеха в США, то на совершенно иной основе. Я боялся, что она не захочет рисковать обеспеченной жизнью ради неопределенного будущего.

Когда я рассказал о случившемся в субботу Элленбергу и Карлу Мак-Миллану, агенту ФБР, вошедшему в команду, которая работала со мной в середине 1977 года, они тут же меня поняли.

– Происходит что-то странное, – сказал я. – Судя по поведению Подщеколдина, КГБ явно что-то затевает. Меня это тревожит, и вас это тоже должно обеспокоить.

---

* Поскольку ФБР тоже, по сообщениям, располагает значительным числом подписок, непонятно, сколько же обычных американцев читают газету.

Они сами ничего тревожного в поведении сотрудников КГБ не заметили, но это могло ровным счетом ничего не значить. Они согласились, что положение ненормальное, может быть, даже опасное, хотя и не ясно, нужно ли предпринимать срочные меры. Понимая, что я выведен из равновесия, Элленберг начал понемногу сдавать позиции. Он рассчитывал, что я еще на пару месяцев останусь на работе. В мае, всего через два месяца, на специальную сессию по разоружению должен приехать Громыко. Не продержусь ли я до тех пор?

Наконец, он поклялся, что я смогу перейти к ним в начале лета 1978 года.

– У вашей дочери кончится учебный год, вы сможете вызвать ее в Нью-Йорк, а у нас как раз все будет готово, – сказал он. – Вы и сами знаете, как трудно будет вызволить ее из Москвы, если вы начнете действовать сейчас.

Конечно, именно этого я и хотел. Я решил, что самое лучшее, если я расскажу о моих планах на будущее сразу и жене, и дочери. Но в один прекрасный день все мои планы были нарушены неожиданным и зловещим вызовом в Москву.

В начале 1978 года я был занят работой по подготовке специальной сессии Генеральной Ассамблеи по проблемам разоружения, назначенной на май-июнь 1978 года. Подготовительный комитет работал над различными документами, и мой отдел помогал комитету. Вальдхайм возложил лично на меня ответственность за помощь ему Секретариата. Западные и неприсоединившиеся страны жаловались, что я провожу советские идеи и тем самым искажаю их позицию.

Посреди всех этих событий моя карьера шпиона внезапно закончилась. В пятницу 31 марта 1978 года в конце рабочего дня мне позвонил Олег Трояновский. Голос его звучал, как всегда, хотя говорил он загадками, – но и это было обычно: мы всегда были довольно сдержанны по телефону из опасений, что разговор может подслушиваться.

Он спросил, не могу ли я вечером зайти в Миссию. Не подозревая ничего странного, я пообещал прийти через час-другой и вернулся к груде документов на моем столе. Когда я пришел в Миссию, посол куда-то торопился. Он только успел сказать, что наверху меня ждет телеграмма из Москвы. В это время раздался телефонный звонок, и я услышал громкий и нетерпеливый голос его жены Татьяны, явно выведенной из себя.

– Что ты там торчишь? Машина ждет. Прикрывай свою лавочку, – она добавила непечатное словцо, – и скачи на полусогнутых.

Трояновский пообещал, что скоро будет, и вставая из-за стола, виновато улыбнулся:

– Извините, мне надо идти. Поговорим о телеграмме завтра. Вы не собираетесь в Глен-Коув?

Я сказал, что мы увидимся на Лонг-Айленде, и поднялся на седьмой этаж, в шифровальную. То, что я прочитал, потрясло меня.

Меня вызывали в Москву. Предлог был довольно неубедительный – "для консультаций в связи с приближающейся специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению". Дальше шла расплывчатая и поэтому зловещая фраза: "а также для обсуждения некоторых других вопросов". Я был чуть ли не на все сто уверен, что никаких консультаций в связи с сессией быть не может: от делегатов, прибывших из Москвы для участия в работе подготовительного комитета, я знал, что основная советская позиция уже определена. Я даже уже передал все подробности ЦРУ. С какой стати проводить консультации по вопросам, которые практически уже решены. И почему их надо устраивать именно сейчас, когда работа подготовительного комитета не вызывает никаких вопросов, которые были бы неожиданными для Москвы?

Наконец, что это за "некоторые другие вопросы", которые они хотят со мной обсуждать? Мой контракт в ООН возобновлен в феврале. Мы с Громыко обсуждали мои планы на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 1976 года, и он был очень доволен, когда я пообещал остаться в Нью-Йорке, чтобы помочь Трояновскому войти в дела. Зная Громыко, я был почти уверен, что он не придумал для меня нового назначения. Но даже если это и так, он вполне может обсудить это со мной на сессии по разоружению в мае. Почему же такая спешка? В тех редких случаях, когда послов отзывали домой, причины всегда оговаривались точно и ясно. В телеграмме этого не было.

Вероятно, в Москве сочли – и не без оснований, – что вызвать меня для одних только консультаций недостаточно убедительно, поэтому кто-то решил прибавить эту необычную фразу: "для обсуждения некоторых других вопросов". Это была ошибка, я моментально насторожился. Не понимаю, как

мог произойти такой ляпсус, но мне крупно повезло, что он произошел.

Помимо всего прочего, момент был выбран крайне неудачно. Вальдхайм был в Европе, а в его отсутствие все его заместители получали право окончательного решения во всех сферах своей работы. Логически рассуждая, мое присутствие в Нью-Йорке, руководство работой подготовительного комитета было для Советов куда важнее, чем мой приезд в Москву для каких-то неопределенных консультаций.

Но если меня раскрыли, эта телеграмма может стать моим смертным приговором. В ней говорилось, что мне "рекомендуется, когда это будет удобно", лететь в СССР. Я понимал, что мне никогда не "будет удобно". Я не собирался проверять, что там меня ждет, такой риск был бы просто непозволителен. Вместо этого мне нужно как-то потянуть время, устроить мои собственные консультации – с американцами, убедиться, что мой инстинкт меня не обманывает, что за этим вызовом что-то кроется.

К счастью, у меня в запасе было несколько дней. Трояновский сказал, что хочет обсудить со мной телеграмму, но мне удалось оттянуть этот разговор. Когда я приехал в Глен-Коув, он был на теннисном корте. Весь оставшийся день я следил за тем, чтобы нигде с ним не столкнуться, а в воскресенье я встал поздно, сказал Лине, что у меня куча работы, и уехал в ООН, пока мой коллега истово трудился на теннисной площадке.

В ООН в этот воскресный день было пусто. Я зашел в чей-то незапертый кабинет, набрал знакомый номер:

– Это Энди. У меня срочное дело. Я должен увидеться с ним как можно скорее.

Я положил трубку с ощущением, что надо мной вот-вот грянет гром.

КОНЕЦ ИГРЫ

28

В тот воскресный день, сидя в ожидании в своем ооновском кабинете, я старался читать какие-то материалы, лежавшие у меня на столе, но сосредоточиться не мог. Американцы много раз заверяли меня, что утечек не было, но разве они могут быть уверены в этом на все сто процентов? Вашингтон кишит болтунами, которые болтают о чем попадя. Может, меня случайно кто-нибудь выдал? А может, я чем-то скомпрометировал себя? Наконец, может, я слишком высокомерно держался с партийными занудами или с кагебешниками? В коротком разговоре в пятницу вечером Трояновский ничем не выказал ни тревоги, ни недоверия, но он просто мог ничего не знать: не в обычаях сотрудников КГБ сообщать послу о своих подозрениях.

Если и в самом деле все кончено, если игра доиграна до конца, что я могу сделать, чтобы сохранить семью? И я снова думал о том, как удержать Лину, как вызволить из Москвы Анну. У меня в руках только один козырь: пост заместителя Генерального секретаря и двухгодичный контракт, формально обязывающий ООН сохранять за мной мое место, независимо от желаний Советов. Смогу ли я обменять мой пост на дочь и тихо уйти в отставку?

Глядя на Ист Ривер и следя за тем, как отражается в ней здание ООН, уходя куда-то в Квинс, я думал о том, что вот и пришел момент, которого я ждал и боялся, пришел и... настиг меня врасплох.

В таком состоянии смятения я и отправился к себе на квартиру, чуть не забыв позвонить своему шоферу Никитину и попросить его забрать Лину из Глен-Коува, потом поспешно прошел к лифтам, через гараж, к зданию вглубине.

В квартире ЦРУ меня ждали Боб и Карл, встревоженные и

немного раздраженные: в конце концов, они люди семейные и наверняка предпочли бы провести воскресенье дома, среди домашних, чем возиться со мной. Но когда я рассказал им, что случилось, они восприняли дело серьезно.

Я повторил текст телеграммы и объяснил, что он означает.

– Думаю, что все кончено. Я не могу больше ждать, – сказал я. – Мне придется сказать, что я не могу приехать немедленно, потому что Вальдхайм сейчас отсутствует и я готовлю специальную сессию – у меня полно работы. Но даже если Москва согласится на отсрочку, это даст нам в лучшем случае всего несколько недель. Мне нужно официальное согласие вашего правительства принять меня.

Возражений не было. В марте Боб уговаривал меня подождать до конца специальной сессии ООН. Теперь он даже не пытался успокоить меня или убедить в том, как я им был полезен. Они согласились действовать сразу же. Мы назначили следующую встречу на вечер понедельника, и я сказал, что постараюсь позвонить и подтвердить время. Больше говорить было не о чем.

Когда Лина,нагруженная сумками, приехала из Глен-Коува, я мимоходом упомянул, что собираюсь в Москву на консультации. Эта новость обрадовала ее, и я изо всех сил старался поддержать ее хорошее настроение. Мы вместе обсудили, какие подарки я отвезу родным и знакомым. Лина радовалась возможности купить за бесценок вещи в Нью-Йорке, чтобы потом втридорога продать их в Москве. Я соглашался со всеми ее планами, хотя и знал, что никогда больше не увижу Москву и, быть может, никогда больше не буду вместе с Линой... или Анной... или Геннадием. Меня вновь охватили смешанные чувства – неуверенности, любви, сомнений. Я с трудом боролся с ними, понимая, что пути назад нет. И все же где-то в глубине души еще ждал чего-то, какого-то чуда, которое вдруг возродит мои юношеские мечты, веру в мою страну, в идеалы, за которыми я когда-то шел. Я не чувствовал себя предателем. Советский режим обманул свой народ, в том числе и меня. Но если я подчинюсь распоряжениям и отправлюсь в Москву, со мной все будет кончено.

Спал я плохо, но наутро, по пути в Миссию, полностью овладел собой. Я сказал Олегу Трояновскому, что, поскольку у меня сейчас очень много работы в ООН, я хочу попросить министра иностранных дел отложить мой отъезд в Москву хо-

тя бы на пару недель. Я объяснил ему, что все свое время сейчас отдаю работе подготовительной комиссии.

— Думаю, что мне нужно остаться здесь до окончания работы комиссии. Кроме того, как я объясню Вальдхайму, почему вдруг мне пришлось уехать?

— Я бы вам не советовал тянуть, — ответил Трояновский. — Это не мое дело, но когда Центр присылает такой запрос, лучше ехать не мешкая.

Голос его показался мне странным: что это было — совет или предостережение? Но что бы ни было, а я решил, что не могу пропустить его слова мимо ушей.

— В любом случае я не могу сорваться с места сию минуту, — ответил я. — У меня завал работы, но я скажу помощникам Вальдхайма, что тяжело заболела моя теща. Я дам в Москву телеграмму, что лечу в воскресенье.

Трояновский был явно недоволен: он рассчитывал, что я полечу в четверг, но настаивать не мог — это вызвало бы вопросы, на которые он вряд ли пожелал бы ответить. Поэтому он просто пожал плечами:

— Как хотите. Но обязательно известите Центр.

Я послал телеграмму и отдал распоряжения насчет отъезда, затем отправился на утреннее заседание подготовительной комиссии и занял свое место рядом с председателем Карлосом де Росасом. Де Росас, немолодой аргентинский дипломат, которого я любил и уважал, бросил мне какое-то язвительное замечание по поводу последнего заседания комиссии, но тут же, заметив, что я не в себе, спросил:

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю, — ответил я. — Вроде бы заболела моя теща в Москве. Может случиться, что мне придется туда поехать.

Де Росас выразил сочувствие. Началась последняя фаза обмана.

После утреннего совещания я пригласил давнишнего приятеля, который был членом советской делегации, в "Золотой дракон" — китайский ресторан на Второй авеню.

Мы говорили на профессиональные темы: о работе подготовительной комиссии, о бесконечных интригах в Министерстве иностранных дел. Наконец, я коснулся темы "консультаций" в Москве, о которых, как я знал, он прекрасно осведомлен. Я не сказал, что меня отзывают домой.

— Что новенького в Центре насчет комиссии? — спросил я. — Там что-нибудь затевается?

– Абсолютно ничего, – ответил он не задумываясь. – Совсем наоборот. Я получил на прошлой неделе письмо, чтобы я даже не посылал туда отчета, пока комиссия не кончит работу. Хозяева не хотят, чтобы их дергали, они уже приняли решение.

– Так ты думаешь, мне не нужно туда ехать, чтобы связать концы с концами?

– Абсолютно ни к чему. Даже не высовывайся с этим. Они решат, что тебе просто хочется разведать обстановку в Москве.

Так я и думал: вызов в Москву был обманом. После ленча я позвонил из ресторана американцам и подтвердил время нашей встречи. Когда мы увиделись, я попросил назначить мой побег на четверг – это всего через три дня, но зато у наших будет меньше времени для того, чтобы меня остановить.

Боб согласился. Они могут устроить все к четвергу, и я воспринял его слова как косвенное подтверждение того официального согласия, которого добивался. Чтобы не встречаться лишний раз до четверга, мы сразу обсудили план моего побега.

Вечером в четверг я задержусь допоздна в ООН, ненадолго зайду домой и, как только Лина уснет и я смогу незаметно уйти, встречусь с ними. Они будут ждать меня в четырехдверном белом "седане". Машина будет стоять на углу Шестьдесят третьей улицы и Третьей авеню, я увижу ее из окна. Вокруг моего дома будут поставлены наблюдатели – если они заметят что-нибудь необычное, малейшие признаки появления агентов КГБ, – сигнальные огни машины начнут мигать. Тогда мне не следует подходить к ней. В этом случае я должен сделать вид, будто вышел прогуляться перед сном, дойти до Третьей авеню, зайти в бар, чтобы позвонить оттуда и условиться со следующей группой, которая должна будет меня подобрать.

План был прост и выглядел вполне реально, но он не решал тех вопросов, которые неизбежно встанут в связи с моим переходом к американцам: проблемы с Линой, с ООН, судьба моей остальной семьи, моего будущего. Американцы разработали пока лишь план побега, их профессионализм и спокойствие вселяли в меня уверенность, однако ответов на эти вопросы я не находил.

Я старался скрыть свое волнение, но мне это плохо удава-

лось, было трудно сосредоточиться на деталях, которые мы обсуждали, все мои мысли были с женой и дочерью. Что я скажу Лине? Она человек вспыльчивый и часто взрывается, не желая слушать объяснений. Уговаривать ее бежать — значило вызвать бурю: во-первых, она никогда не согласится на это, оставив Анну в Москве; во-вторых, она понятия не имеет, что я работаю с правительством США. Я боялся открыть ей всю правду и столько раз откладывал этот тяжелый разговор — ведь в глубине души я был уверен, что она воспротивиться побегу, притом с такой страстью, что хоть и невольно, но своим протестом поставит крест на всякой возможности обрести свободу. В гневе и смятении она может дойти до того, что позвонит в Миссию и попросит КГБ забрать нас. Тогда моя жизнь кончена. Я постараюсь объяснить Лине, что ни ей, ни детям от моей смерти не будет никакого проку, но тем не менее я сомневался в успешности такого разговора. Вновь, как вначале, я почувствовал себя в ловушке и снова пришел к выводу, что единственно правильным будет поставить Лину перед свершившимся фактом, ничего не обсуждая с ней. Сотни и сотни раз я проигрывал мысленно эту ситуацию — и все это было каким-то кошмаром.

Я постарался сосредоточиться на письме, которое собирался оставить Лине в ночь моего побега. Я также оставлю ей порядочную сумму наличными, на тот случай, если у нее возникнет необходимость в деньгах, прежде чем я смогу связаться с ней по телефону. На банковском счету у меня лежала солидная сумма накоплений от моей ооновской зарплаты, которую я не отдал Советской миссии.

Теперь, оглядываясь назад и вспоминая всю эту нервотрепку, я никак не могу взять в толк, как это я исхитрялся не выдать Лине и другим свое состояние. Всякий раз, входя в Миссию, я думал о том, что, может, уже не выйду отсюда. В каждом разговоре с Линой я ловил себя на том, что решающие слова вот-вот сорвутся с языка. Всякий раз, садясь в машину, я боялся, что найду там агентов КГБ.

Единственным спасением были транквилизаторы. Я пристрастился к ним после скандала с Подщеколдиным. Наглотавшись таблеток, я в полусонном состоянии кое-как справлялся со своими служебными обязанностями. Во вторник утром я должен был представить Генеральному секретарю заявление о совещании по апартеиду. Мои подчиненные под-

готовили проект, но после поверхностного просмотра текста главным помощником Вальдхайма я прочитал четыре страницы и тут же начисто их забыл.

Пока я был на работе и занимался показушными приготовлениями к поездке в Москву, время как-то тянулось. Лина, между тем, с увлечением покупала подарки для родных и друзей. Она тоже хотела поехать в Москву, но я сказал ей, что моя поездка будет очень недолгой и за ее билет нам придется платить самим, а лето уже не за горами, и тогда мы вместе отправимся в отпуск. Я снял с банковского счета изрядную сумму, которую намервался оставить Лине, положил деньги в сейф в моем кабинете, разобрал все личные бумаги, которые держал здесь.

Наконец пришел четверг. К концу дня я позвонил Лине, чтобы она обедала без меня: я задержусь. Потом, когда все ушли, я приступил к последним приготовлениям – собрал личные досье и сунул их в портфель, туда же положил и фотографии со своего письменного стола и полок – Анна, моментальный снимок Лины и Лидии Громыко, сделанный в Советской миссии поляроидом, который я подарил министру иностранных дел, Курт Вальдхайм и я в его кабинете, Вальдхайм и я за столом с Брежневым и Громыко в Кремле.

Я остановился. Мой портфель безудержно разбухал. В висках стучала кровь. Что если я действительно стал параноиком? Что если все это напряжение двойной жизни, которую я вел, заманило меня в собственноручно подготовленную ловушку? Может быть, меня вовсе никто не подозревает? Может, я неправ и они просто озабочены моим здоровьем и именно поэтому вызывали меня домой? Может быть, их беспокоит не моя лояльность, но мои нервы?

Эти минуты нерешительности были мучительны, но они быстро прошли. Я уже ответил на все эти вопросы, я уже ответил на самый главный вопрос в письме к Лине... письмо к Лине... его надо перечитать и, наверное, переписать.

Я вынул из сейфа конверт и перечитал знакомые слова. Письмо показалось мне неубедительным. Пришлось засесть за него снова. Я писал: "Я в отчаянии. Я не могу жить и работать с людьми, которых ненавижу, ни в Нью-Йорке, ни в Москве". Далее шла речь о том, как развивались события в последние месяцы, как рос конфликт между мной и Подщеколдиным по партийным делам, как меня подвергали травле Дроздов и КГБ.

Я писал, что собираюсь просить о политическом убежище в США, но не сказал, что работаю с американцами, хотя и упомянул, что располагаю точными сведениями, что мой вызов в Москву – западня. Я писал, что уверен, что нам никогда не разрешили бы поехать за границу и что, скорее всего, меня уволили бы из министерства. "Пожалуйста, – молил я, – уйдем вместе. Здесь нам будет намного лучше, я землю буду рыть, чтобы выцарапать Аннушку из СССР. Мы можем начать новую свободную жизнь в стране, где людей не преследуют и они ничего не боятся". Я заклинал ее верить мне – ведь я никогда ее не подводил. Я убеждал, что возвращение в СССР будет опасно, может, даже смертельно для нас обоих. Обещал все объяснить при встрече и умолял не торопиться, хотя и понимал, что ее это письмо очень огорчит. Особенно я просил Лину не звонить в Миссию и не ходить туда, я позвоню ей рано утром, узнать, что она решила.

Я отложил в отчаянии ручку. Обладай я большим красноречием, даже будь я Цицероном, все равно вряд ли мои аргументы вернут мне жену. Когда мы были бедны, боролись за существование, жили в этой ужасной коммунальной квартире, с маленьким Геннадием, который без конца болел и плакал по ночам, – вот тогда мы и были по-настоящему счастливы. Уже многие годы я был целиком поглощен своей работой, и мы отдалились друг от друга. Лина всю жизнь была одержима моей карьерой, желанием, чтобы я пробился на самый верх. Неужели этот мой успех все испортил? Или жажда Лины богатства, власти, обеспеченности? А может быть, просто годы, возраст...

Как бы то ни было, я выбиваю у нее из-под ног опору. Она меня никогда не простит и, скорее всего, не отважится на авантюру, не решится начать со мной новую жизнь в Америке. Я написал правду, поскольку не мог сказать ей все сам. По крайней мере, если она решит оставить меня, письмо будет доказательством, что она не была моей сообщницей, так что в Москве смогут оставить ее и детей в покое.

Я сложил письмо, сунул его вместе с деньгами в новый конверт, положил в портфель, взглянул на часы: почти полночь. Пора...

Позвонив в Миссию и попросив, чтобы за мной заехал мой шофер, я старался уловить в голосе дежурного офицера настороженность, фальшивую ноту – но он, как всегда, был сух

и сдержан. Машину пришлют немедленно. Минут через десять Никитин позвонил мне снизу, от стола дежурного у входа в Секретариат: нужен ли он мне наверху? Нет, я сейчас спущусь.

Никитин распахнул передо мной заднюю дверцу черного "олдсмобиля" и сел за руль с обычным "добрый вечер". Обыкновенно мы с ним любили болтать — о Миссии, о Нью-Йорке, но последние несколько недель он был непривычно сдержан. Я знал, что он меня любит, благодарен мне за то, что я помог ему остаться в Америке на третий срок, но сейчас — возможно, он чувствовал, что со мной что-то неладно.

Никитин вывел машину на почти пустую Первую авеню, и мы поехали на север. Сначала я сидел неподвижно, потом начал смотреть в окна, наблюдая за немногими машинами. Мне показалось, что одна из них увязалась за нами, когда мы отъехали от ООН. Пока мы пересекали Сороковые и Пятидесятые улицы, эта машина следовала за нами. Я нервничал. Смогу ли я добраться до Боба и Карла? Меня, может, уже поджидают в моей квартире. Стоит ли возвращаться домой?

Но когда Никитин свернул налево, в Шестидесятые, машина, которая будто бы следовала за нами, продолжала путь по Первой авеню. Я облегченно вздохнул. Мы остановились у моего дома и Никитин помог мне выйти из машины.

— Завтра забери меня, пожалуйста, в обычное время, — последние слова я произнес подчеркнуто громко. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Аркадий Николаевич, — сказал он. — До свидания.

— До свидания, Анатолий, — ответил я, хотя знал, что нам больше не придется встретиться.

Как я и надеялся, Лина уже спала. Но мне надо было поторапливаться. Я взял в шкафу дорожную сумку, сунул туда несколько рубашек, белье и носки. Все это я делал, стараясь не шуметь: если Лина проснется, она заснет не скоро.

Что еще мне нужно? В голове было пусто. Я тщетно пытался сосредоточиться. Существует единственная реальная альтернатива — или меня обнаружат, или я спасусь. Я жил минутой, двигаясь, как в трансе. Меня поддерживала не способность рационально мыслить, а нервная энергия.

На цыпочках я подошел к спальне. Дверь была закрыта неплотно, и я в последний раз взглянул на спящую жену, просунул конверт и вышел.

И тут страшная мысль остановила меня: служебный лифт не работает после двенадцати ночи. А обычным лифтом я тоже не могу воспользоваться без риска столкнуться с кем-нибудь из советских, живущих в этом же доме. Поди тогда объясняй, зачем я несу эти сумки, куда направляюсь посреди ночи...

Эта часть плана не была проработана с Бобом и Карлом. Несколько мгновений я стоял в нерешительности, потом вспомнил о пожарной лестнице в конце коридора. Там двадцать пролетов, но спуститься все же можно. Лестница выходила на первый этаж в задней части дома, так что меня не заметит ночной дежурный, сидящий у входа.

Взяв сумку и портфель в одну руку, я открыл дверь на лестницу. Она была плохо освещена, бетонные ступени чернели в темноте, металлические поручни скользили под потной ладонью. Я вынужден был остановиться. Сжатые пальцы ломило. Портфель бил меня по коленям, я спотыкался. После пятого пролета я вынужден был передохнуть. Я шел бесшумно, маленькими шажками, почти крался, и мышцы лодыжек дрожали от непривычного напряжения. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.

Пока я добрался до первого этажа, мне пришлось дважды делать передышку. Наконец, я осторожно открыл тяжелую дверь, огляделся – никого, спустился на несколько ступенек к служебному входу и вышел в узкий проход, ведущий на Шестьдесят четвертую улицу. Меня била дрожь, на улице было холодно, и свободной рукой я плотнее запахнул плащ. Оказавшись на тротуаре, я посмотрел налево: на другой стороне Шестьдесят четвертой стоял белый автомобиль с потушенными сигнальными огнями. Все в порядке.

До машины было всего метров пятьдесят, но это расстояние показалось мне и огромным, и опасным. В темном подъезде мог стоять агент КГБ, невидимый ни мне, ни американцам. Этот агент, получивший приказ задержать меня, наверняка имел при себе нож или пистолет. Что если американцы обнаружили опасность, но ждут моего появления, чтобы зажечь сигнальные огни? Как я с портфелем и сумкой могу сделать вид, будто вышел прогуляться?

Весь план показался мне вдруг совершенно нереальным, и я побежал. Я промчался по Шестьдесят четвертой, едва взглянув на пустой отрезок Третьей авеню, прежде чем пересечь ее

на пути к машине и безопасности. В тот момент, когда я добежал до машины, Боб уже стоял на тротуаре, открыв мне заднюю дверь. Он взял мои вещи, сунул их на переднее сиденье, протиснулся в машину рядом со мной и приказал:

– Поехали.

По другую сторону от меня сидел Карл. Мы молчали, пока шофер развернулся и начал кружной путь через центр Манхэттена к Линкольн-туннелю. Улицы были почти пусты, но напряжение, которое я чувствовал часом раньше, уходя из ООН, возвращалось ко мне всякий раз, когда сзади появлялись огни какой-нибудь машины. Боб и Карл тоже были не в своей тарелке, и только когда мы въехали в Нью-Джерзи, я нарушил молчание:

– Куда мы едем?

– В Пенсильванию. У нас есть безопасное место в Поконос, в двух часах от города.

Больше мы не разговаривали. Мои друзья нервничали, я был измочален до последней степени, и, пока мы мчались в темноте, впал в полную прострацию. Голова была свинцовой, я слишком устал, чтобы расслабиться и почувствовать себя в безопасности.

29

Было, верно, около трех ночи, когда мы съехав с шоссе на боковую дорогу, наконец остановились у тяжелых ворот, которые быстро распахнулись, пропуская нас. Шины шуршали на посыпанной гравием дороге. Мы приблизились к большому кирпичному дому. На первом этаже горел свет. Боб и Карл познакомили меня с людьми, находившимися в доме, вероятно охранниками; их имена я не запомнил.

– Ваша комната наверху, – сказал один из них.

Я поднялся наверх, зашел в ванную. Вернувшись в гостиную, я увидел на столе блюдо с бутербродами.

– Завтра у нас полно дел, – заметил Карл. – Сейчас вам надо отдохнуть.

Я взял бутерброд и направился к себе в комнату. В коридоре, возле моей двери, приземистый человек восточного типа ставил раскладушку.

– Я буду здесь, – улыбнулся он. – Так просто, на всякий случай.

Его присутствие не рассеяло моих страхов: что же, выходит, этот безопасный дом вовсе не так безопасен? Впрочем, я слишком устал, чтобы задавать вопросы. А нервы были в таком состоянии, что и заснуть я не мог. После привычного нью-йоркского шума загородная ночь казалась подозрительно тихой, каждый звук был слышен отчетливо и гулко, и всякий раз у меня сжимало сердце от ужаса. Я принял несколько успокаивающих таблеток, – но ничего не помогало.

Смогу ли я отныне вообще чувствовать себя где-нибудь в безопасности? Неужели КГБ уже прекратил погоню? Нет, если он ее начал, то его ничто не остановит. Внутренний голос возражал: не психуй, ты свободен. Свободен!

Ладно, свободен, но что с того? Я восхищаюсь Америкой, люблю ее, но ведь я понимаю, что приспособиться к здешней жизни будет нелегко, и пройдет немало времени, прежде чем я устроюсь, обзаведусь друзьями.

И вообще – где я найду друзей? В Нью-Йорк – прямо в объятия КГБ – я вернуться не могу. Но ведь Нью-Йорк мой единственный дом в Америке. Где я осяду, если мне придется распрощаться с ним? К кому я пойду, если Лина откажется присоединиться ко мне, если Анну задержат в Москве?

Когда за окном забрезжил рассвет, стало ясно, что пытаться заснуть бесполезно. Я встал, умылся, оделся и спустился вниз. Ночью приехал Берт Джонсон, и даже просто видеть его лицо было для меня счастьем. Я вдруг осознал, как полагался на его неизменное спокойствие, как мне не хватало его в эти последние сумасшедшие дни.

Хотя солнце только что встало, все в доме были уже на ногах. Может, не мне одному не спалось в ту ночь... За кофе мы начали обсуждать, что делать дальше.

Первый шаг не терпел отлагательств: чтобы предупредить обвинения советской стороны, будто американцы вынудили меня к побегу, я должен был продемонстрировать как-то свою добрую волю, например, приехав в какой-нибудь городок, зарегистрироваться в гостинице под своим именем, взять на свое имя машину. Мои друзья не предлагали мне оставаться в гостинице. Они просто хотели, чтобы были реальные доказательства того, что я действую по доброй воле.

В город ехать было слишком рано, и я предложил прогуляться. Сквозь молодую листву деревьев просвечивало солнце. Все дышало спокойствием и тишиной, и я понемногу рас-

сеялся. Впервые пришло ощущение, что я действительно свободен. Это чувство радовало и будоражило меня, словно я избавился от тяжкого, давившего на плечи груза. Джонсон нарушил молчание:

— Вы уверены, что не хотите просто исчезнуть? Это было бы легче и избавило бы нас от массы осложнений.

Я знал, что Берт, как и другие работники его ведомства, привык к перебежчикам, которые предпочитают скрываться, стремятся получить деньги, защиту, новое имя и безопасность. Но я хотел другого — независимости и возможности сказать все, что знаю. Мой ответ прозвучал довольно резко.

— Послушайте, но я ведь с самого начала все сказал, и своего решения я не изменил, — и чтобы смягчить резкость этих слов, полушутливо добавил: — Вам следует уважать мои желания: ведь пока что я как-никак заместитель Генерального секретаря.

Я улыбался, однако то, что я говорил было правдой — мой пост давал мне возможность оказывать давление и на моих соотечественников, и на американцев. Я все еще надеялся, что это поможет мне вызволить семью или, по крайней мере, получить гарантии ее безопасности.

Так, разговаривая мы дошли до главных ворот ограды, окружавшей здание.

— Давайте выйдем, — предложил я. — Хочется осмотреться.

Сопровождавшие меня обменялись быстрыми взглядами, потом, пожав плечами, открыли ворота. На горизонте, до самого леса, бесконечно тянулись невспаханные поля; пейзаж был спокойный, ясный. Я вновь ощутил пьянящее чувство свободы, чувство, от которого хотелось скакать, как мальчишке. Но пройдя несколько сот метров, я заметил, что американцам как-то не по себе. Боб, идущий впереди, остановился и повернул назад.

— Я думаю, надо возвращаться, — сказал он.

— Почему? — удивился я. — Что-нибудь не в порядке?

— Да нет, все вроде бы в порядке, но осторожность никогда не мешает. — Он нерешительно помолчал, потом заговорил снова: — Энди, наступила решающая фаза. Если гебешники уже знают, что вы от них ушли, они с ума сходят. Дроздов прекрасно понимает, что ему никогда не простят вашего побега. Они сейчас на все готовы, лишь бы вернуть вас или просто заполучить в любом виде. Они-то думают, что вы для нас

человек свеженький, что вы с нами всего несколько часов и ничего еще толком не рассказали. Поэтому они будут стараться остановить вас, пока не поздно.

Мы были уже возле дома. В разговор вмешался Карл:

– А вы сами что думаете? Вы их лучше знаете, чем мы. Будут ли они за вами охотиться, сколько времени они на это намерены потратить? Неужели вы действительно думаете, что сможете жить открыто?

Ну вот, снова-здорово. Меня это уже просто злило.

– Да, я их знаю. Я знаю, что они делали и на что они способны.

Я думал о Льве Троцком, который якобы был в безопасности в Мексике, о полулегендарном агенте НКВД Льве Маневиче, который организовывал в довоенной Европе похищения и убийства советских перебежчиков, об убийстве Вальтера Кривицкого, о других исчезновениях и таинственных смертях.

– Я говорил вам, что вначале мне понадобится защита, но я не хочу, чтобы меня охраняли вечно. В конечном итоге самое безопасное для меня – быть общественной фигурой. Конечно, я боюсь. Но чем больше я буду заметен, тем вероятнее, что если со мной что-нибудь случится, то все поймут, что это дело рук Советов. Они, разумеется, могут мне отомстить, но тогда они дорого за это и заплатят. Я хочу жить по-человечески. Я не собираюсь делать пластическую операцию или скрываться. Это все равно не поможет. Если они найдут меня в моем убежище через десять лет и прикончат, то все будет шито-крыто. А я хочу, чтобы это им дорого обошлось. – Какая-то страшная подавленность вдруг накатила на меня. – Кроме того, – продолжал я, – вести подпольный образ жизни – значит поменять одну тюрьму на другую. Тогда уж лучше мне вернуться в Москву и провести остаток дней, сидя в собственном садике и читая романы.

На самом деле я знал, что это не слишком реально: в моей стране никто бы не понял такого поступка. Отказаться от такого положения и привилегий? Да меня сочли бы сумасшедшим и вполне могли бы заточить в психушку!

– Я вам очень благодарен, – прибавил я после некоторого молчания. – Я понимаю все опасности и знаю, что сегодняшним днем они не исчерпаны. Мне нужна защита, и я буду делать все, что, по вашему мнению, необходимо для моей безопасности.

Точки над i были расставлены, и это вконец вымотало меня. Джонсон взглянул на часы – он решил, что пора приступать к первому самостоятельному шагу моей свободной жизни.

Мы сели в машину и, проехав пять-шесть миль по узкой проселочной дороге, оказались в курортном городке Вайт Хевен. В гостинице "Ховард Джонсон" я заполнил регистрационный бланк, получил от равнодушного клерка ключ от комнаты на втором этаже и оставил там свой "багаж". Затем я быстренько взял в аренду машину и, таким образом, дважды зафиксировав свое имя, заявил о себе как о свободном человеке. Проехав на арендованной машине несколько кварталов, я вручил ключи от нее одному из моих сопровождающих и вместе с Бобом, Карлом и Бертом поехал назад.

По дороге Джонсон начал объяснять мне еще одну сложность: пока я остаюсь заместителем Генерального секретаря, Вашингтон не может формально предоставить мне политическое убежище, поскольку, будучи международным служащим, я не могу быть принят в США как беженец.

– Вы действительно намерены попробовать остаться в ООН?

– Я не собираюсь скрываться, как преступник, – ответил я. – Мой пост – единственное средство помочь моей семье. Кроме того, для независимой жизни мне понадобятся деньги от ООН. А самое главное – я хочу загнать советских в угол, хочу заставить их понять, что Устав ООН и правила относительно ее штата – это не просто формальность, с которой в зависимости от обстоятельств можно либо считаться, либо не считаться. Я хочу, чтобы они почувствовали, что эти Устав и правила – реальность. Мне хотелось бы посмотреть, как они будут юлить теперь.

– Это мы понимаем, – ответил Джонсон. – Но они заставят Вальдхайма подчиниться и уволить вас. Как бы он вас ни любил, он не станет рисковать отношениями со сверхдержавой ради одного человека.

Джонсон был прав, но я намервался сыграть эту партию до конца.

– Ну что ж, это Америка, – сказал Карл, – и в такой ситуации любой американец пошел бы к юристу. Вам наверняка понадобится юрист для переговоров с ООН, но и для другого он тоже пригодится. Мы не можем быть вашими посредника-

ми ни в переговорах с Москвой, ни даже с американским правительством. Вам будут нужны собственные средства коммуникации. Если хотите, у меня дома есть адреса и телефоны пары юристов в Нью-Йорке.

Вернувшись в дом, я составил список дел на это утро. Позвонить Лине. Позвонить в ООН, чтобы мой кабинет опечатали и сказать помощникам Вальдхайма, что я ненадолго взял отпуск. Написать советским – объяснить причины моего разрыва с ними и выдвинуть требования относительно семьи. Позвонить юристу.

Около 8.30 я позвонил дежурному офицеру безопасности в ООН и сказал, что заболел и несколько дней не буду выходить на работу. Он согласился опечатать мой кабинет – обычная процедура в ООН. В приемной Вальдхайма я дозвонился его личному помощнику Фердинанду Майрхоферу, австрийскому дипломату, с которым мы были приятели.

– Я неважно себя чувствую, и врач посоветовал мне отдохнуть дня два. Знаю, что сейчас неподходящее время, но делать нечего.

– Что-нибудь серьезное? – спросил он.

– Да нет! Но придется посидеть дома. Я извещу вас письменно, чтобы вы могли сообщить Вальдхайму.

– Хорошо, – сказал Майрхофер. – Он еще не звонил из Европы, но я буду говорить с ним сегодня, и, наверное, не раз.

– Разрешите мне позвонить вам позже, когда я смогу еще кое-что сказать.

– Еще кое-что? Что вы имеете в виду?

– Да так. Я вам перезвоню.

Около девяти я позвонил Лине. Мне надо было услышать ее голос, и вместе с тем меня страшил возможный оборот нашего разговора. С одной стороны, я надеялся, что она уже прочла мое письмо и ждет звонка. С другой – надеялся, что она еще спит и телефон в спальне отключен. Тогда разговор сам собой отложится, а мне хорошо бы быть спокойным, убедительным, мягким.

Я не был подготовлен к тому, что случилось. Трубку сняли после первого же гудка.

– Да? – спросил по-русски мужской голос.

– Лина? – Я ничего не понимал.

– Ее нет дома, – голос был незнакомый. Это даже не шофер Никитин.

Я бросил трубку, словно она обожгла мне руку. Я мог только догадываться о том, что случилось. В голову приходили всевозможные варианты. Наверное, она проснулась рано, прочла мое письмо и перепугалась, позвонила кому-нибудь в Миссию. Они взяли ее туда, а в квартире оставили работника КГБ. Она поступила, как овечка, бегущая за спасением к волку. И теперь я уже никак не могу помочь ей.

Я был зол и на нее, и на себя. Надо было рискнуть и довериться ей. Почему я не придумал ничего лучшего? Почему не попросил ребят из ЦРУ покараулить ее? Почему она не подождала моего звонка?

Словно пробуждаясь от тяжелого сна, я заставил себя взглянуть в лицо действительности. Сколько бы я ни злился, это ничего не изменит. Не стоит утешать себя, что я смогу ее вернуть. Вероятно, мне даже не удастся поговорить с ней. И Анну я вряд ли когда-нибудь увижу, потому что Лина не сможет и, скорее всего, не захочет помогать мне.

Относительно моих перспектив в ООН американцы правы. Рано или поздно – и скорее раньше, чем позже, – я буду отрезан от работы, которая составляла всю мою жизнь. Я уже разлучен со своей семьей. Исчезновение Лины оборвало последнюю нить. Я получил свободу, но в тот момент она не стоила для меня и ломаного гроша. В состоянии полной прострации я смотрел на телефон.

Джонсон заметил мое отчаяние. Его не слишком удивило, что Лина ушла в Миссию или ее туда увезли. Из наших разговоров он понял, что мое письмо было просто попыткой с негодными средствами – она вероятнее всего предпочтет остаться на той стороне. Реакция Джонсона немного успокоила меня, и я был вынужден признать, что ожидал примерно того же.

И все же у меня оставались обязанности перед семьей. Я сел за письмо, намереваясь вступить в борьбу за ее безопасность. Я мог действовать только с позиций силы и только на высшем уровне – письмо было обращено непосредственно к Леониду Брежневу. Я собирался написать, что выхожу из партии, но , пока работаю в ООН, сохраню советское гражданство. Я откажусь выполнять распоряжения Москвы, но буду настаивать – ради дальнейших переговоров, – чтобы меня оставили на посту заместителя Генерального секретаря ООН. Моим посредником будет Трояновский.

В доме были машинки с английским и русским шрифтом,

но я решил написать письма от руки. Первое было адресовано Брежневу. Сухим, официальным языком я писал:

"Предательство идеалов Октябрьской революции, которое сейчас имеет место в СССР, и чудовищные нарушения прав человека со стороны КГБ вынудили меня принять решение отказаться от членства в КПСС, о чем я желаю официально известить Вас этим письмом.

Я также сообщаю Вам, что в мои намерения не входит отказываться от поста заместителя Генерального секретаря, пока не будут разрешены определенные вопросы, связанные с моей семьей. Я пишу об этом в специальной записке, которую прилагаю. Я буду ждать официального ответа от советской Миссии при ООН на эту тему".

В приложении я изъявлял готовность с согласия Вальдхайма тихо уйти в отставку, но при условии, что получу письменную и заверенную печатями гарантию безопасности моей семьи "от репрессивных мер любого вида" и прав моей жены сохранить квартиру и дачу и получать от меня регулярные выплаты в твердой валюте для нее и детей. Я подчеркнул, что правила ООН запрещают какому бы то ни было правительству давать инструкции сотруднику Секретариата, но обещал "не устраивать шума", если Советы дадут мне письменное обещание, что с моей семьей все будет в порядке.

В записке Трояновскому я просил его передать письмо Брежневу вместе с моим официальным отказом вернуться в Москву по приказу. Я снова подтверждал, что "категорически отказываюсь подчиняться каким бы то ни было инструкциям, исходящим из советской Миссии", и сообщал о том, что намерен просить Генерального секретаря предоставить мне отпуск на "неопределенное время". В этот период я буду поддерживать "необходимый и постоянный контакт" с персоналом Вальдхайма.

Наконец, я написал записку Вальдхайму по-английски с просьбой помочь мне получить гарантии от Советов, чтобы я мог спокойно уйти из Секретариата. "В настоящее время я прошу вас предоставить мне отпуск, чтобы я мог отдохнуть и подумать", – заключил я.

Сочиняя за столом, в углу гостиной, эти послания, я был почти уверен, что американцы будут заглядывать мне через плечо либо подсказывать, что писать. Однако я ошибся. Они не обращали на меня никакого внимания. Затем я попросил

проверить с точки зрения грамматики мое письмо Курту Вальдхайму и точно перевести на английский две записки, написанные мной по-русски: я хотел приложить их к письму Вальдхайму. Хотя Советы позже обвинили меня в том, что я подписался под шаблонными фразами ЦРУ, я все писал сам. Примерно к полудню я покончил с этими делами и спросил Джонсона, не может ли он передать письма.

Он покачал головой:

– Нет, мы не можем действовать в качестве ваших посредников ни с Советами, ни с ООН. Для этого-то как раз и нужен вам юрист, – для сохранения вашей независимости.

Карл протянул мне список.

– Мы связались с юристами, они знают, кто вы и готовы вам помочь.

На листе бумаги были всего четыре имени, одно сразу бросилось мне в глаза – Эрнест Гросс, бывший представитель США в ООН. Я воскликнул:

– Я знаю Гросса. То есть я его никогда не видел, но много лет назад я изучал его книги по международному праву. Что он сейчас делает?

Карл сказал, что Гросс адвокат корпорации, в Нью-Йорке у него обширная практика. – Помолчав, он добавил, – Гросс работает на Уолл-Стрит.

– Замечательно! Это значит, что на него можно положиться, – заметил я шутливо. – На Советы это произведет впечатление. Я ему сейчас позвоню.

Берт предложил сделать иначе: поскольку было время ленча, то, по их мнению, мне хорошо бы было поесть в ресторане моей гостиницы и позвонить из моего номера Гроссу и Майрхоферу.

На арендованной мной машине мы поехали в город, в гостиницу. Боб пошел в ресторан занять столик, Берт, Карл и я поднялись в номер.

Эрнест Гросс с готовностью отозвался на мою просьбу. Он одобрил мое решение сделать ставку на мой пост в Организации Объединенных Наций и сказал, что использует свой опыт работы в ООН, а также опыт прошлых переговоров с СССР. Он согласился передать мои письма в Советскую миссию, и Джонсон пообещал, что они будут сегодня же доставлены на Уолл-Стрит. К концу разговора мы уже называли друг друга по именам. Гросс был готов приступить к изучению правил

ООН, которые можно было бы применить в моем случае. Теплота и решительность его тона приободрили меня.

Разговор с Фердинандом Майрхофером был далеко не таким спокойным. Я прочитал ему письма. Он несколько секунд молчал, затем забросал меня вопросами:

– А вы-то как, Аркадий? Где вы? С вами ничего не случилось?

– Фердинанд, – ответил я, – со мной все в порядке, я в безопасном месте и буду регулярно звонить вам.

Я также сказал ему, что меня будет представлять Эрнест Гросс. Уже кладя трубку, я услышал, как Майрхофер воскликнул: "О Боже, это будет что-то!.."

Нетрудно было догадаться, что он имеет в виду советское давление на Вальдхайма.

В ресторане мы прекрасно провели время. Берт предложил тост за мой побег, мою свободу и будущее. Я выпил за моих защитников.

– По расчетам Майрхофера, – сказал я, – Вальдхайм вернется в Нью-Йорк дней через десять, не раньше, а я не собираюсь уходить из ООН, не поговорив с ним. Так что, похоже, мы все это время будем связаны.

Вернувшись домой, мои телохранители выдали мне компьютер под названием "Борис", играющий в шахматы. Первые две партии я проиграл, третью – ухитрился выиграть.

Затем Боб спросил, не хочу ли я немного поработать. Я с радостью согласился. Компьютер мне поднадоел. Боб хотел вместе со мной закончить изучение ежегодного отчета Добрынина в Министерстве иностранных дел. Мы обсудили главные пункты, оценку Добрыниным состояния советско-американских отношений, политической ситуации в Америке, военное положение и другие вопросы. У американцев не было времени сделать из записок полный отчет. Я обещал просмотреть их наброски и помочь составить доклад. Там недоставало множества деталей. Я уже написал около трех страниц, когда позвонил Эрнест Гросс.

Советы требовали, чтобы американское правительство устроило их представителям встречу со мной в следующий уикенд. Американцы, в свою очередь, утверждали, что никак не связаны со мной и отсылали их к моему юристу. Что я намерен делать?

Меньше всего мне хотелось бы встречаться с советскими

представителями. Но это было необходимо. Гросс сказал, что пока я остаюсь советским гражданином, представители моего правительства имеют право убедиться, что со мной все в порядке, что меня никто ни к чему не принуждает. Мой отказ от такой встречи поставит американское правительство в трудное положение. Кроме того, встреча может дать шанс что-то узнать о Лине, обсудить гарантии, которые я хочу получить относительно моих детей.

Я согласился.

– Но, – сказал я Гроссу, – объясните им, что я все еще заместитель Генерального секретаря. Это не предмет обсуждения между ними и американцами. Они обязаны это обсудить со мной, и если необходима встреча, то я согласен встретиться только с Трояновским – чтобы больше никого не было – ни кагебешников, ни консулов.

– Они с ума сойдут от негодования, – предсказал Гросс.

– Это мое твердое решение, – ответил я. – Или я встречаюсь с послом, или вообще никакой встречи.

Джонсон одобрил мои условия, он, так же как и Гросс, считал, что встречи все равно не избежать.

– Но нам нужно время для подготовки, – добавил он, имея в виду мою безопасность во время встречи, которая будет происходить на территории, открытой для агентов КГБ.

Я позвонил Гроссу и передал ему слова Джонсона, и мы решили встретиться с ним до моего свидания с советскими представителями: в субботу я приеду к нему в Нью-Йорк.

Перспектива встречи с советской стороной беспокоила меня, я не мог сосредоточиться на отчете, который делал для Боба. Чтобы отвлечься, я предложил приготовить обед – борщ, самое трудоемкое блюдо. Занявшись стряпней, я несколько успокоился, а когда борщ закипел, предложил сыграть в карты, пообещав научить моих новых друзей преферансу – любимой моей игре. Мы сели за карты с выпивкой и закусками, и играли до тех пор, пока борщ не был готов.

Некоторые из сидевших за столом довольно смутно представляли себе, кто я. Они забрасывали меня вопросами о Советском Союзе, о мотивах моего побега, моих планах. Наконец, один из них затронул вопрос, который в тот день возникал передо мной уже дважды: о моем настоятельном желании жить в Америке ни от кого не скрываясь. Я ответил так же, как раньше.

— Но неужели вы не боитесь? — настойчиво допытывался один из агентов. — Одно дело, когда перебежчик — артист, который продолжает работать в театре, и совсем другое — политические деятели. Такого еще не было.

— Ну, конечно, я боюсь. Надо быть сумасшедшим, чтобы не бояться, — сказал я. — Но вы ведь, ребята, специалисты. Есть какие-нибудь доказательства, что заплечных дел мастера из КГБ орудуют в Штатах? Кого-нибудь из советских перебежчиков в последнее время прикончили?

— Нет, никого, но они ведь скрываются.

— Вот именно. А я не собираюсь до конца своих дней жить, как кролик, в норе в аризонской пустыне.

— Хорошо, Энди, — вмешался Боб. — Это все понятно, мы с тобой. Но вот ты оказался один, и тут в любой момент может появиться агент КГБ. Что ты сделаешь, если вот сейчас в дверь войдет Дроздов с пистолетом?

Я ответил с беспечностью, которой на самом деле не чувствовал.

— Постараюсь убить его первым.

Боб расхохотался и, взяв у охранника пистолет, протянул его мне:

— Держи! Мы тебя не оставим, если, конечно, не умрем с голоду. Где же твоя похлебка, черт подери?

Напряжение было снято. Борщ всем понравился. После обеда я отправился спать. Рядом с моей комнатой, в коридоре, вновь была расставлена раскладушка.

Перед сном я попробовал было почитать одну из приготовленных для меня книг — "22 июня 1941" Александра Некрича — рассказ о том, как Сталин "подготовил" Красную армию к нападению Гитлера. Книга была опубликована в Союзе в 1965 году, но ее быстро запретили, и я так и не сумел ее прочесть. Теперь же мне было не до чтения: я думал о встрече с Трояновским и долго ворочался, прежде чем уснул.

Во сне меня охватил страх, которого я якобы не испытывал. Я — совершенно один. В комнату входит Дроздов с пистолетом, я тянусь за своим — его нет.

Проснувшись в холодном поту, я всю оставшуюся ночь беспокойно ворочался и, поняв, что все равно не усну, встал. В доме было тихо. Я придвинул к окну стул и стал смотреть, как занимается весенний рассвет.

30

В субботу утром я позвонил домой Фердинанду Майрхоферу. Он уже говорил с Вальдхаймом. Сначала тот был потрясен моим побегом к американцам, но со свойственной ему осторожностью отказался обсуждать эти вопросы по международному телефону. Майрхофер сказал также, что в начале недели будет сделано какое-то заявление ООН, но пока не готов даже предварительный текст.

– Я не могу вам его диктовать, Фердинанд, – сказал я. – Но хочу, чтобы было понятно, что я попросил лишь временный отпуск и пока остаюсь заместителем Генерального секретаря.

Майрхофер обещал передать Вальдхайму мои пожелания.

На этот раз по дороге в Нью-Йорк я уже был в состоянии смотреть из окна на пейзажи Пенсильвании и Нью-Джерзи, но увидел немногое: Джонсон попросил меня сесть на заднее сиденье огромной машины, где окна были плотно зашторены. Перед полуднем мы с Джонсоном приехали в дом Эрнеста Гросса, в его уютную квартиру на Ист-Сайд. Он и его жена встретили нас тепло и гостеприимно. Из морозильника была даже извлечена бутылка русской водки. Мы выпили за наше сотрудничество. Немного поболтав, перешли к делу. Гросс сказал, что Советы оказывают сильное давление, хотят устроить встречу как можно скорее – им не нравится, что Трояновский увидится со мной с глазу на глаз.

– Они даже собственному послу не доверяют, – сказал я, тут же поняв, что за дилемма стоит перед ними. – Но ничего, они что-нибудь изобретут.

Мы стали думать, где устроить встречу. Советская миссия исключается. Воспользоваться Американской миссией – значит подтвердить советские утверждения, что меня контролирует американское правительство. Устроить встречу в ООН – очень сложно, и по политическим причинам, и с точки зрения моей безопасности: мои охранники из ФБР и ЦРУ не смогут сопровождать меня. Квартира Гросса – очень уж неофициальное место для такой встречи. В конце концов мы остановили выбор на офисе Гросса на Уолл-Стрит.

Джонсон одобрил это решение и предложил назначить встречу на воскресный вечер, когда здание и окружающие улицы будут пусты. Он настаивал также, чтобы Гросс дал советским представителям лишь минимум информации о наших планах.

— Раз они согласны на наши условия, — все, что мы должны сделать, это сообщить, что встреча состоится в 8 часов вечера в воскресенье. Адрес скажем позже.

Потом мы с Гроссом поговорили о моем статусе в ООН. Он отыскал правило, по которому Генеральный секретарь обладал властью уволить своего подчиненного, вроде меня, "в исключительных обстоятельствах". Тем не менее Вальдхайму придется выполнить целый ряд обязательств, оговоренных в контракте.

— Жалко Курта, — сказал я. — Советы устроят ему настоящий ад. Но это принципиальный вопрос, и ему придется уважать правила. В противном случае персонал может возмутиться тем, что какая-то страна руководит им.

Устав ООН предусматривает, что персонал ООН "не требует и не получает инструкций ни от какого правительства". Все члены ООН обязаны признавать международный статус Генерального секретаря и его помощников. Я с некоторым злорадством подумал о том, что, пытаясь вынудить меня уйти с моего поста, Москва продемонстрирует всему миру, как мало она уважает свои обязанности, оговоренные Уставом.

Но я не собирался надолго осложнять положение Вальдхайма и сказал Гроссу, что могу согласиться уйти в отставку на определенных условиях. Пока, однако, мы не будем выступать с этим предложением. Прежде всего следует исчерпать все возможности, чтобы получить гарантии для моей семьи.

В качестве первого шага Гросс обсудит с шефом персонального отдела ООН вопрос о деньгах, которые мне причитаются по моему контракту. Я с удовольствием узнал, что он знаком с Джорджем Давидсоном, с которым ему придется иметь дело. Давидсон, канадский дипломат и мой коллега по работе, тоже заместитель Генерального секретаря, наверняка не будет толкать его на пеприемлемые условия.

Наконец, мы с Гроссом обсудили, что он будет говорить, как только о моем переходе станет известно прессе. Тут важно было сделать акценты на том, о чем я говорил и Майрхоферу — я остаюсь на посту заместителя Генерального секретаря. Если будет задан вопрос о возможной встрече с советскими представителями, Гросс подтвердит, что такая встреча состоится, но не станет распространяться о моих мотивах или планах.

Мы расстались друзьями. Я понял, что мне повезло. Не было ни малейших сомнений в его компетентности и заинтересованности в деле, а энтузиазм Гросса вселил в меня бодрость и доверие к нему.

Вскоре я прошел медицинский осмотр, организованный ЦРУ: врач нашел, что мое давление несколько повышено, но ничего опасного нет. По всем остальным медицинским показателям – все было в полном порядке.

В воскресенье Гросс сообщил, что Советы все еще настаивают на участии во встрече нескольких человек, но по их поведению он понял, что они все-таки в конце концов примут наши условия. Кроме Трояновского, во встрече будет принимать участие также Анатолий Добрынин. Я не возражал против Добрынина, а также против присутствия в качестве наблюдателя чиновника Госдепартамента.

В отличие от Гросса, который, казалось, получал удовольствие от всего предстоящего, я боялся конфронтации, понимая, что Трояновский и Добрынин попробуют сыграть на нашем многолетнем знакомстве и на моих самых сокровенных чувствах.

Скорее я бы предпочел нормальные дипломатические переговоры. Этим я занимался всю жизнь. Но здесь было совсем другое: ставки были личными, не политическими. Когда в игру вступают чувства, с этим труднее справиться.

Вечером в воскресенье в нашем дворе выстроилась целая кавалькада машин. Джонсон подвел меня к длинному лимузину. До этого мы пользовались обычными "седанами". Лимузин был оборудован радиосвязью. Его сопровождали машины агентов.

По мере приближения к Нью-Йорку предосторожности усилились. У въезда в Голланд-туннель нашу кавалькаду возглавила машина штатной полиции. Все движение за нами было остановлено. Если кто-нибудь и следовал за конвоем, все равно не удалось бы обнаружить наших следов после того, как мы, миновав туннель, оказались в Нью-Йорке.

Мы объехали с юга Манхэттен, направились на север, вверх по Ист-Сайд и, наконец, свернули назад к Уолл-Стрит. Этот кружной путь был придуман Джонсоном, чтобы возможные преследователи решили, будто мы следуем из Лонг-Айленда или из Коннектикута, но никак не с запада. Я слушал вполуха. Мое внимание было поглощено видом за окном.

Когда я впервые оказался в Нью-Йорке в 1958 году, Уолл-Стрит был первой "достопримечательностью", которую я посетил. Было время ленча, и я с трудом пробивался сквозь толпу, запрудившую узкий тротуар. Зрелище, которое я увидел с гостевой галереи Биржи, внушило мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне было все здесь интересно, с другой – ажиотаж, возбуждение биржевых маклеров вызывали некоторое отвращение. Позже, уже почти став нью-йоркским жителем, я водил сюда советских туристов. Только такой я и представлял себе эту улицу.

В сгущающемся сумраке этого воскресного вечера финансовый центр Нью-Йорка мирно отдыхал. Из-за экономии электроэнергии света было мало, и улицы казались призрачными, гулкими – настоящий город призраков. Можно было подумать, что некая катасрофа уничтожила здесь человеческую жизнь, оставив только огромные и заброшенные архитектурные памятники. Я ехал на встречу, которой не хотел, по какому-то подземному миру, и это вселяло странное беспокойство.

Но перед домом № 100 на Уолл-Стрит кипела жизнь. Когда лимузин подъехал к подъезду, человек двадцать мрачного вида быстро образовали двойную шеренгу от тротуара до входа. Джонсон вышел, приказав мне остаться в машине. Проверив все, он вернулся, открыл заднюю дверцу и скомандовал:

– Быстро!

Вслед за Джонсоном я торопливо прошел через человеческий коридор в пустое здание, где меня уже ждал лифт. Мы поднялись наверх, дверь открылась – передо мной стоял сияющий Эрнест Гросс.

– Мы одержали верх. Они согласились. Будут только Трояновский и Добрынин, но они опоздают на пару минут.

– Прекрасно! – Я старался отвечать в тон, но на самом деле не испытывал ни малейшего энтузиазма. – Значит, одну уступку они уже сделали.

На большее я и не рассчитывал. До прибытия послов мы с Гроссом прошлись по пунктам, которые подлежат обсуждению, условились о том, в каком порядке будем выдвигать их. Главное – это мой решительный отказ возвратиться в Москву и выполнять какие бы то ни было инструкции советского правительства. Я начну с этого заявления, которое уже сформулировал в письмах два дня тому назд, повторю свое требова-

ние гарантий относительно Лины, Геннадия и Анны. Потом мы выслушаем их.

Конференц-зал был перестроен для формальных переговоров, так что мы будем сидеть на разных концах длинного стола, посреди которого будет стоять магнитофон.

В 8.15 агент снизу позвонил, что послы прибыли и следуют в конференц-зал. Эрнест Гросс, Марк Гаррисон (специалист по СССР из Госдепартамента, присутствовавший в качестве наблюдателя) и я сели за стол. В центре – Гросс. За спиной у нас – дверь, ведущая в личный кабинет Гросса. Добрынин и Трояновский вошли в другую дверь. Я хорошо знал обоих и сразу заметил, что за напускной любезностью скрывается напряжение. Они обменялись с нами рукопожатиями, но глаза их были холодны.

Пока говорил Гросс, я следил за ними, ожидая какого-то проявления чувств. С Трояновским мы никогда не были близки, но Добрынина я любил и уважал, и он всегда относился ко мне по-дружески – не то чтобы был моим близким другом, но наши отношения выходили за рамки чисто профессионального общения. И хотя мы вдруг стали противниками, мне было его немного жаль. Он-то, наверное, лучше других понимает мое решение. Конечно, он никогда этого не покажет, но он слишком честный человек, чтобы не знать самому того разочарования, которое двигало и мной.

Оба посла были профессионалами и легко приняли совершенно официальный вид, при котором любое проявление человеческих чувств только подорвало бы их позиции. Когда Эрнест Гросс заговорил о гарантиях безопасности моей семьи, о чем я упоминал в письмах Брежневу и Трояновскому, на их лицах проснулось удивление: о чем речь? Никаких писем никто не получал.

Я, разозленный, шепотом спросил Гросса: "Письма ведь были посланы?"

Он заверил меня, что, конечно, письма были отосланы и послы просто блефуют – это видно. Чтобы разрядить обстановку, он пошутил насчет ужасной нью-йоркской почты, потом предложил мне отдать Добрынину и Трояновскому копии английского перевода писем.

Сначала они отказались читать эти копии.

– Мы просто хотим поговорить по душам и выяснить, что же на самом деле произошло, – настаивал Трояновский.

Я этого вовсе не жаждал, но все же мы начали беседу по-русски. Марк Гаррисон переводил нашу беседу Гроссу.

Я почти дословно повторил все, что написал в письме Трояновскому, но как только упомянул о гарантиях для Лины и моей семьи, Добрынин перебил меня:

– Кстати, мы только что проводили ее.

– Да, она передавала вам приветы, – добавил Трояновский.

Меня эта новость ошарашила, и я пробормотал нечто несуразное:

– Но это незаконно... Я не согласен... Это несерьезно... два посла видят, как моя жена уезжает...

Воображение нарисовало ужаснувшую меня картину: Лину, накаченную таблетками, поддерживаемую этими двумя деятелями, в окружении кагебешников сажают на тот самый самолет Аэрофлота, которым я должен был улететь в Москву. Я так часто представлял себе все это, и вот все сбылось – только не со мной, а с Линой.

Я хотел отделаться от этих мыслей и вернуться к вопросу о письменных гарантиях благополучия моей семьи, но Добрынин попробовал повернуть разговор в другое русло. Он сказал Гроссу по-английски:

– Мы оба знаем Шевченко лет пятнадцать-двадцать. Он всегда пользовался полным доверием советского правительства, руководства Министерства иностранных дел, и мы тоже верили ему как нашему коллеге по совместной работе. – Он обернулся ко мне и начал говорить о том, как был ошеломлен моим поступком.

– Аркадий, мы знаем друг друга много лет. Я не верю, что все эти годы ты поступал в противовес своим убеждениям. Как это понять?

– Я был идиотом, – огрызнулся я, – и верил в идиотские вещи.

Лицемерие добрынинского вопроса было нам троим до тошноты знакомо. Мы понимали, что миллионы советских граждан скрывают свои подлинные мысли насчет партийной линии и советской политики. Я знал, что многие партийные и правительственные чиновники, даже сотрудники КГБ иной раз всю жизнь скрывают свои убеждения. Глупец, рискнувший выразить подобные мысли, может потерять не только пост и привилегии, но, вероятно, и саму жизнь. Один неверный шаг способен привести к личной или профессиональной

катастрофе, и почти все жители СССР должны быть всегда осторожны и бдительны. Это стало второй натурой большинства советских граждан, и я не был исключением. Добрынин и Трояновский знали все это лучше меня, потому что были старше и дольше жили при советском режиме. И все же не было ничего удивительного в том, что они пытались сбыть свой залежалый товар.

На протяжении всего разговора Добрынин допытывался о подробностях и непосредственных причинах моего решения. Я упомянул о попытке взлома в моей квартире. Трояновский тут же отмел мои доводы:

– Вы были больны, мы о вас беспокоились.

– Но это был не единственный инцидент, – ответил я, – просто один из последних.

Я говорил о том, что агенты КГБ установили за мной усиленную слежку, преследуя меня в коридорах и лифтах ООН, в Миссии, на улицах Нью-Йорка. Добрынин и Трояновский все отрицали, по их словам, это просто недоразумение. Но я сказал, что не собираюсь больше выполнять распоряжения Москвы и "ни за что" не вернусь в СССР.

Видя, как я взволнован, Гросс положил ладонь мне на руку, пытаясь вернуть меня в рамки дипломатических переговоров. Но было слишком поздно. Я взорвался:

– Это все пустые разговоры. Я полностью не согласен... но это мое личное дело... Все сказано в моих письмах, и я не понимаю, зачем нам что-либо обсуждать, пока вы их не прочитаете.

Мне дважды пришлось просить покончить с этим "бесполезным разговором", прежде чем Добрынин театральным жестом взял письма и начал вместе с Трояновским читать.

На несколько минут установилось молчание, я попытался взять себя в руки, но тщетно. Я ничуть не сомневался, что им прекрасно известно содержание моих писем, а возможно, и моего письма Лине. Но они разыгрывали святую невинность, искажая события так, чтобы представить меня пешкой в руках американцев, а все дело – хитрой, провокационной игрой.

К тому же меня буквально убило сообщение об отъезде Лины – или, вернее, о ее похищении. И когда Добрынин отложил письма и с ухмылкой сказал, что в них чувствуются "американские клише", я вскочил от возмущения:

— Мистер Гросс, — сказал я по-английски, — я не желаю продолжать этот оскорбительный разговор.

Добрынину и Трояновскому я повторил то же самое по-русски:

— Прекратим все это!

— Не огорчайся, не нужно. Давай поговорим, — попытался пойти на попятную Добрынин.

Но с меня было достаточно. Разъяренный, я ушел в личный кабинет Гросса. Но и здесь все мои попытки успокоиться были напрасны. Закрыв лицо руками, я разрыдался, выплакивая всю свою злость, горечь, чувство потери и утраты.

Разговор в конференц-зале продолжался еще полчаса, но кончился ничем. Добрынин и Трояновский повторили, что они озабочены моим состоянием и не могут понять моего решения. Тщетно Гросс пытался заставить их говорить о деле, обсудить вопрос о гарантиях. Советские представители заклинились на прошлом. Они отказывались согласиться с тем, что мое решение окончательно, отказывались рассматривать требования относительно будущего моей семьи. В конце концов Гросс предложил продолжить обсуждение в другой раз.

Войдя в кабинет, Гросс принялся было подводить итоги, но быстро сообразил, что я не в состоянии обсуждать детали или о чем-то думать. Мы решили отложить разговор на завтра. Когда я встал, он протянул мне два конверта, которые передали ему советские представители.

В одном было письмо от Лины: она писала, что я сделал ошибку, просила меня вернуться домой, в Москву. Письмо было написано ее почерком, но стиль был не ее. Другое было якобы от Геннадия, напечатано на машинке, не подписано. В нем, как и в письме Лины, повторялись банальные фразы, придававшие письмам оттенок фальши. Я понял, что давно потерял Геннадия. Ради его же собственного блага я никогда не толкал его к критике советской власти, никогда не обсуждал ни с ним, ни с Анной мои истинные настроения. Я даже Лине не раскрывался полностью. С годами я понял, что обсуждение недостатков советской жизни даже в семейном кругу может стать опасным: можно легко выдать себя в другом окружении, к тому же Геннадий был не только молод и неопытен, он хотел сделать карьеру в Министерстве иностранных дел, где малейшая критика системы могла навек погубить его. Я оберегал его от собственных диссидентских размышлений и те-

перь расплачивался за это разлукой с сыном до конца жизни. Пробежав письма глазами, я сунул их в карман.

Не составляло труда понять, что оба письма инспирированы КГБ. Лина поверила в их лживый рассказ, ее заставили поверить, что я жертва ЦРУ, но, что если я вернусь домой, то со мной ничего не сделают. Она поверила в легенду КГБ, несмотря на мое письмо. Скорее всего, она приняла большую дозу успокоительных таблеток, потому что, как сообщили мне позже американцы, в аэропорту у нее был растерянный, почти невменяемый вид. Американским официальным лицам она сказала, что летит в Москву по своей воле, но, кроме Трояновского и Добрынина, ее сопровождала группа агентов КГБ. Они проводили ее прямо до самого самолета, как я себе и представлял. Лина не имела возможности высказаться ни в зале ожидания, ни в письме.

К тому времени, когда я покончил с письмами, я уже был вполне спокоен. Сопротивление Добрынину и Трояновскому выкачало из меня все эмоции. В течение трех дней после побега я был словно подключен к источнику нервной энергии, и вдруг он иссяк.

Мы вышли из здания через гараж в подвале. (Позже мне рассказывали, что на улице были агенты КГБ, которые пытались следить за домом, но держались на расстоянии от американской охраны.) На обратном пути я не замечал ни дороги, ни сидевших рядом американцев, я впал в состояние эмоционального застоя, из которого выходил только, когда меня о чем-то спрашивали.

Впрочем, события не заставили себя ждать. В понедельник, в полдень, представитель ООН объявил на регулярном инструктивном совещании прессы, что я внезапно взял отпуск. Измученный событиями воскресного вечера, я после завтрака снова лег в постель. Меня разбудил Джонсон, который передал мне слово в слово сообщение: "Мистер Шевченко сообщил Генеральному секретарю, что он некоторое время будет отсутствовать, и упомянул в связи с этим о разногласиях со своим правительством. Сейчас предпринимаются усилия по выяснению сути дела. Пока же мистер Шевченко числится в отпуску".

Я не думал, что все это произойдет так быстро, но заявление подтверждало — хотя и косвенным образом — что я остаюсь на посту заместителя Генерального секретаря. В нем

также содержалось достаточно информации, чтобы заключить, что я порвал с советским правительством.

Сообщение тут же стало новостью номер один. Сначала его передавали по телевидению, во вторник оно проникло в газеты и, по традиции американской прессы, из него тут же сделали сенсацию.

11 апреля заголовок на первой странице "Нью-Йорк Таймс" гласил: "Советский гражданин, заместитель Вальдхайма, бежит из ООН". Журналисты утверждали, что это одна из самых крупных побед разведки США, и строили догадки насчет моих мотивов.

Почти во всех сообщениях говорилось о шоке моих коллег. Меня считали ортодоксальным советским функционером, послушным, лояльным коммунистом, представителем твердой линии. Говорилось о том, что я был одним из самых молодых послов СССР, упоминалась моя служба советником у Громыко – как доказательство не только моей блестящей карьеры, но и моей политической благонадежности. Некоторые репортеры высказывали предположение, что я мог бы стать со временем заместителем Министра иностранных дел: стараясь отыскать рациональные объяснения моему поступку, они словно соревновались, фантазируя относительно моих высоких постов в будущем.

Во вторник, заявив официальный протест Госдепартаменту, Советы представили свое объяснение. Официальное заявление гласило, что я "несомненно" являюсь "жертвой запланированной провокации", что "разведывательная служба США непосредственно вовлечена в эту неблаговидную историю". Они требовали моего возвращения в СССР.

Эрнест Гросс выступил с отрицанием советских обвинений и отклонил их требования. В подтверждение того, что я действую по доброй воле он сообщил, что я встречался с советскими официальными лицами, которых он не назвал. Но "Правда" опубликовала в четверг собственную версию: в небольшом, на несколько строчек, сообщении, напечатанном на последней странице, меня назвали "советским гражданином, работавшим в секретариате ООН", далее говорилось, что "пропагандистская кампания, развернувшаяся в американской прессе в связи с делом Шевченко, явно служит цели прикрыть неблаговидную деятельность специальных служб (США)".

На самом деле единственную пропагандистскую кампанию

начали русские. Это был типичный образчик методов дезинформации, применяемых КГБ. Стоит какому-нибудь перебежчику поставить Москву в затруднительное положение, как делается все, чтобы очернить "предателя". Обычно выдвигается один из пяти мотивов: алчность, женщины, алкоголь, принуждение или преступная деятельность. Мой случай, был, очевидно, необычным: советские работники в ООН начали распространять обо мне слухи, обвиняя сразу в четырех грехах из пяти возможных.

Некоторые журналисты не задумываясь подхватили линию КГБ. В одном сообщении говорилось, что у меня был роман с американкой. Согласно "Нью-Йорк Таймс", "советские дипломаты и дипломаты из других стран восточного блока особенно стараются привлечь внимание к алкоголизму мистера Шевченко, объясняя этим его поступок".

Тэд Шульц, журналист "Вашингтон Пост", один из немногих, кто понял, что происходит. Он писал: "Первоначальное советское обвинение, что Шевченко находится под давлением американской разведки, явная ерунда. Распространяемые коммунистическими источниками в Нью-Йорке намеки на его "проблемы с алкоголем" служат, по-видимому, целям морального убийства персонажа. Побег Шевченко был явно политической и пропагандистской неожиданностью для Кремля". На протяжении всей этой журналистской шумихи я хранил молчание. Как сотрудник ООН я не мог общаться с прессой без специального разрешения, а будучи скрывающимся перебежчиком, не мог пригласить репортеров.

Но пресса едва не засекла меня. Во вторник днем Джонсон в необычном волнении влетел в гостиную конспиративной квартиры:

– Мы должны выметаться отсюда. Этот проклятый клерк в гостинице увидел вашу фотографию в местной газете и вспомнил вас, рассказал, что вы там зарегистрировались. Пресса уже там. Мы пропали. Если они об этом знают, то и КГБ тоже уже в курсе.

Хотя конспиративная квартира была в нескольких милях от Вайт Хевена, Джонсон считал, что оставаться там опасно. Пока я паковал свои пожитки, он отдал агентам распоряжение вернуть арендованную машину, заплатить в гостинице по счету и забрать из номера мою сумку. Через несколько часов мы с ним и несколькими охранниками обосновались в гости-

нице "Марриот", неподалеку от Джерзи-Сити. На имя одного из агентов мы сняли несколько смежных комнат, туда нам приносили еду. В этих безликих клетушках мной овладела жуткая депрессия, я с ужасом думал о том, что вот так может пройти вся оставшаяся жизнь.

Окна моей комнаты выходили на автомобильную стоянку и непрерывный рев траков, мусороуборочных машин и автомобилей постояльцев гостиницы сливались в бесконечный грохот, создаваемый, казалось, чьей-то злой волей, чтобы не дать мне уснуть. Я просыпался, снова засыпал и вновь пробуждался, не в состоянии привести в порядок мои мысли. Я не был в состоянии вернуться к незаконченному отчету Добрынина. Я не мог сосредоточиться, чтобы почитать или сыграть в шахматы. Единственно, на что я оказался способен – это часами смотреть телевизор и пару раз сыграть в карты. Я был похож на животное, впавшее в зимнюю спячку. Под вооруженной охраной я ожидал возвращения в Нью-Йорк Курта Вальдхайма, чтобы обсудить с ним дальнейшие шаги.

Мои защитники и товарищи изо всех сил старались развлечь меня, но выйти ненадолго из депрессии мне удалось лишь когда позвонил Эрнест Гросс с предложением встретиться. Он хотел рассказать о своих переговорах с чиновниками ООН. Кроме того, и он и Джонсон считали, что мне было бы полезно неожиданно появиться на публике, чтобы окончательно опровергнуть советские утверждения, будто ЦРУ держит меня в качестве заложника. Я согласился, и в четверг мы с Гроссом встретились у него на квартире.

Он сказал, что в финансовом вопросе официальные лица ООН заняли деловую позицию: конкретные условия еще не обсуждались, но, похоже, что они готовы выплатить мне изрядную сумму, если я решу уйти в отставку. По мнению Джонсона, действовать надо быстро, чтобы как можно скорее покончить с этим делом.

– Для вас будет все труднее оставаться на своем посту, находясь под нашей опекой, – сказал он. – Для чиновника ООН это не совсем обычный способ существования.

Я не мог этого отрицать, но и не был готов вот так, сразу, сдаться.

– Это зависит не от меня, – ответил я. – Я ничего не могу до возвращения Вальдхайма. Мы с ним должны все решить с глазу на глаз.

Они согласились со мной. Гросс предложил пойти в Сенчери Ассошиэшн,* популярный клуб, где можно выпить и провести время. О нашем посещении, разумеется, узнают журналисты. План оказался удачным.

Мы вошли в клуб и сели за столик по соседству с Фрэнсисом Плимптоном, известным американским юристом и дипломатом, которого я знал еще со времен, когда он в 60-е годы представлял в ООН Соединенные Штаты. Плимптон подсел к нам и сразу же сказал, что его очень удивил мой поступок.

– Я хорошо помню, как вы держались в Совете Безопасности. Нам казалось, что вы все время заставляете Федоренко занимать более жесткую позицию именно в тот момент, когда, по нашему впечатлению, он вот-вот готов был пойти на компромисс.

– Вы просто не понимали, что происходит, – смеясь объяснил я. – Дело в том, что Федоренко часто забывал свои инструкции, и моя задача как раз и заключалась в том, чтобы напомнить ему о них и не давать сбиться с верного курса. Если бы я этого не делал, у меня были бы неприятности – и прежде всего он сам задал бы мне взбучку.

Мы вспомнили еще кое-что. Гросс представил меня другим членам клуба и после милой и приятной беседы мы уехали.

Вскоре мне стало известно от Фердинанда Майрхофера и других, что Советы оказывают на Вальдхайма давление, заставляя уволить меня. Советские дипломаты подняли этот вопрос в разговорах с Генеральным секретарем в Лондоне и Дублине и заняли очень жесткую позицию. Гросс сообщил мне, что Трояновский хочет еще раз встретиться со мной.

Мне трудно далась первая встреча, и перспектива еще раз вынести все это вовсе не улыбалась. Но Джонсон настаивал.

– Я понимаю ваши чувства, но не надо чересчур увлекаться. Им нужно раз и навсегда показать, что решение принято и что вы действовали по своей воле.

Я уважал Берта. Он был для меня другом, и я привык прислушиваться к его советам, зная, что это в моих интересах. Но я понимал, что тут он выступает, как представитель официальной американской точки зрения. Очередной раунд американо-советских переговоров об ОСВ (СОЛТ) был назначен на май,

---

* Клуб для видных деятелей искусства, политиков, бизнесменов, членами которого становятся путем выборов. (Прим.ред.)

и Госдепратамент мог решить, что мой побег может дурно повлиять на климат переговоров, если только Советы не поймут, что я действовал по доброй воле, что меня никто не принуждал. Во всяком случае, я согласился в последний раз встретиться с Трояновским, чтобы еще раз попробовать добиться от него того, что казалось мне первоочередным делом, – гарантией будущего моей семьи.

Мы снова назначили встречу на воскресный вечер в офисе Эрнеста Гросса, снова в сопровождении конвоя пронеслись по пустым улицам делового Манхэттена к пустому небоскребу и добрались до конференц-зала юридической фирмы. На этот раз за столом напротив меня сидел лишь Олег Трояновский.

У него было раскрасневшееся лицо, он явно нервничал, но держал себя в руках. Я тоже сохранял подобие спокойствия, благодаря Гроссу, без конца толкавшему меня локтем и шепотом просившего успокоиться. Но когда Трояновский заговорил о моем "злосчастном... случайном решении", я не мог сдержаться. Еще не поздно "пересмотреть" все и вернуться в Союз, повторял Трояновский, "никаких последствий не будет". Я стоял на том, что никогда не вернусь. Он пустил в ход завуалированную угрозу: "с каждым днем" возможность моего безнаказанного возвращения "будет уменьшаться". Я повторил, что не изменю решения.

Я хотел получить от Трояновского письменные гарантии по поводу Лины, Геннадия, Анны – он дал мне только устные, да и то косвенным образом.

– Никто не собирается вступать с вами в сделку, – сказал он, – потому что никто не будет преследовать вашу семью. Они ничего общего с вашим решением не имеют.

Я с отвращением взглянул на него, когда он заявил, что моя семья может рассчитывать на защиту, предоставляемую ей советским законом. Я-то знал, что этот закон, по указанию КГБ, всегда можно извратить в политических целях или проигнорировать. Но Гросс сказал, что, с его точки зрения, "на слух юриста", утверждения Трояновского звучат "как гарантии". Трояновский холодно повторил, что это просто "констатация факта". Его обещание, что Лине будет оставлено наше имущество и она не будет подвергаться преследованиям, было записано на магнитофон. Я понял, что это единственные гарантии, которые я могу получить. Оставалось удовольствоваться этим.

Последний акт пьесы, где я играл роль дипломата, затягивался, и с этим пришлось смириться. Как и прочие действия этой пьесы, разыгрывавшейся в тот месяц, он состоялся поздно вечером в почти пустом здании, в атмосфере неуверенности и напряженности.

25 апреля, через девять дней после встречи с Трояновским, мне позвонил Гросс: Вальдхайм вернулся из Европы, он хочет меня видеть и согласен, как я и просил, встретиться со мной в своем кабинете. В тот же вечер я отправился в здание ООН. Моя американская охрана оставалась на улице, а я вошел через гараж в подвале, и группа охранников ООН проводила меня на тридцать восьмой этаж в кабинет Генерального секретаря. В огромном здании находилось всего несколько человек: мои охранники, я, Фердинанд Майрхофер и сам Вальдхайм. Привычный для меня многие годы шум и суета затихли. Пустота действовала пугающе.

Вальдхайм встал из-за своего стола, чтобы поздороваться со мной. Он был явно не в своей тарелке, и первый же вопрос выдал его нервозность.

— Ведь вас никто не принуждал к этому? — спросил он.

— Курт, — ответил я, — неужели вы думаете, я был бы здесь, если бы на меня оказывалось давление? — Далее я заверил его, что не собираюсь осложнять его положение и настаивать на дальнейшей работе в ООН. — Я не хочу вредить организации — и для ООН, и для меня самое лучшее, если мы расстанемся по-дружески.

Вальдхайм с явным облегчением опустился в кресло. Хотя мой юрист и чиновники ООН подготовили соглашение, по которому мне причиталось немногим более 76-ти тысяч долларов (сюда входили вынужденная отставка, проценты пенсионного плана, неиспользованный отпуск и последняя зарплата), я еще не подтвердил своего согласия принять эти условия. Мои слова избавили его от неуверенности.

— Я знал, что вы будете вести себя как порядочный человек. Я в вас никогда не сомневался, — сказал он.

Оставалось еще одно: я напомнил Вальдхайму, что потерял контакт с семьей и мне может понадобиться его помощь, чтобы защитить ее.

— Аркадий, я сделаю все, что могу, — ответил Курт, — но вы лучше меня знаете, как сомнительно, что это действительно поможет.

За разговором он подписал бумаги о моей отставке и протянул их мне на подпись. Мы пожали друг другу руки. На этом наш разговор и моя работа в ООН закончились. Я попытался поблагодарить Вальдхайма за выпавшее мне счастье работать с ним для ООН, но слова мои звучали невыразительно, тускло и никак не выразили моих чувств.

Попрощавшись, я бросил последний взгляд на небольшой, но со вкусом обставленный кабинет Генерального секретаря. Глядя на голубой флаг ООН в углу, на круглый журнальный столик и уютную тахту, где я так часто сидел с ним в эти пять лет нашего сотрудничества, я подумал, как глупо, что моя карьера закончилась именно так. Мне нравилась моя работа, и мне нравился Вальдхайм. Было очень грустно, что я больше не имею отношения к ООН. С горьким чувством я вышел из его кабинета и вместе с Фердинандом Майрхофером отправился в свой собственный кабинет.

Здесь я отобрал мои книги и папки и проследил за тем, как охранники разложили мои пожитки в стопки, которые позже будут запакованы. Пока они работали, я стоял перед столом, глядя в окно, потом на стены, переводя взгляд с огней Нью-Йорка на карту мира – от своего насыщенного делами прошлого, которое сейчас паковали и выносили вон, в мое неопределенное будущее. Я думал о том, что здесь, в этом здании, у меня было много друзей, которых хорошо знали в их странах. Мы работали вместе в трудные времена, над трудными вопросами, мы старались улучшить шансы планеты на выживание. Слишком часто мы могли сделать только самую малость. Но наши усилия были ценны. Это была работа ради мира.

Я чувствовал, что еще не сделал всего, что могу, что мне трудно проститься с моим делом. Я никогда не думал, что мне вот так, тайком, придется уходить отсюда.

Мои грустные раздумья прервал Майрхофер.

– Мы готовы. Запакуем все это потом. Куда отправить коробки?

Я огляделся по сторонам, словно ответ мог материализоваться где-то в знакомой мебели.

– Не знаю, – ответил я после затянувшейся паузы.

Майрхофер меня понял.

– Не волнуйтесь, мы сохраним их, пока вы за ними не пришлете. Счастливо!

В пустом лифте я спустился в гараж и снова вышел на малолюдные улицы, чтобы отправиться в одинокий номер гостиницы в Нью-Джерси. Я был в глубочайшем унынии и начинал понимать, что это состояние может длиться долго. Отрезав себя от родины и от ООН, – от двух миров, составлявших мою жизнь, я уже скучал по ним. Как скучал уже по друзьям, которые были в этих мирах и которых теперь потерял навсегда. Я понимал, что мне придется найти новый мир, – но как? Понимал, что придется завести новых друзей, – но где? Мне было всего сорок семь лет, но я вдруг почувствовал себя очень старым и очень одиноким.

ЭПИЛОГ

20 апреля меня привезли в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы облегчить длительные переговоры между мной и различными правительственными чиновниками. Для меня это был еще один шаг в неизвестность, вдаль от знакомых мест. Я волновался, как там Лина, думал о том, увидимся ли мы когда-нибудь с Анной и Геннадием, мне было неясно, смогу ли я приспособиться к жизни в незнакомом городе.

По прибытии в Вашингтон Боб и Карл, работавшие в Нью-Йорке, познакомили меня со своими сослуживцами, которые заступили их место, – Ли Эндрю из ЦРУ и Сэнди Гринфилд из ФБР. Они сказали, что отвезут меня на конспиративную квартиру ЦРУ в пригороде. Я удивился:

– Зачем? Ведь я сказал, что хочу жить открыто.

Они ответили, что это временно, и напомнили, что первые недели после побега всегда самые опасные.

Дом оказался очень симпатичным. Снаружи это был просто обычный пригородный домик, окруженный цветущими деревьями и азалиями, которыми по праву славится вашингтонская весна. Мне предоставили спальню и маленький кабинет. Домоправительница, родившаяся в Восточной Европе, готовила мои любимые блюда. Мне никто не мешал, у меня было время расслабиться, прийти в себя после всего пережитого.

В Вашингтон я приехал с несколькими рубашками и парой смен белья. Перед отъездом из Нью-Йорка мы с Бобом Элленбергом как-то вечером проникли через заднюю дверь в мою квартиру на 65-й улице и обнаружили, что, как и предполагали американцы, кагебешники унесли все мои пожитки. Комнаты были пусты. Они унесли все – одежду, книги, мебель, сувениры, кастрюли и сковородки, как будто все это было

собственностью советского государства. Вот так же увели они отсюда и Лину.

Когда я сказал Гринфилду, что мне нужно купить что-нибудь из одежды, он возразил, что появляться в публичном месте без изменения внешности опасно, хотя бы первое время этим нельзя пренебрегать. Я запротестовал:

– К чему этот маскарад? Вы ведь все время будете рядом.

Однако он настоял, чтобы я хотя бы надел темные очки и наклеил усы. Вся эта процедура доставила нам несколько веселых минут. Направляясь в магазины, мы перебрасывались шутками, однако я прекрасно знал, о чем думали мои телохранители: для агентов КГБ, которых в Вашингтоне предостаточно, я представляю собой потенциальную мишень для убийства либо похищения.

Во время нашей экскурсии по магазинам я чувствовал себя не в своей тарелке и по дороге домой решил, что с меня хватит, – больше никакой маскировки. В конце концов, не зря же я столько лет был американским шпионом, и все эти уловки не по мне. Я знал, хоть и не любил об этом думать, что жить открыто, – значит подвергать себя некоторому риску, но этот риск всегда был частью моей цены за свободу.

Мысль о семье неотступно преследовала меня, и я постоянно думал, есть ли хоть малейшая возможность для нашего воссоединения. Вскоре после того, как я обосновался на конспиративной квартире, мне переслали материалы из ООН, среди них было несколько семейных фотографий, которые хранились у меня в кабинете, и я целыми часами рассматривал их. Я готов был на все, чтобы восстановить контакт с Линой и детьми, но я понимал, что американское правительство не может помочь мне в этом. Мне нужна помощь со стороны. К тому же мне были необходимы советы и по другим практическим вопросам, так что я решил обратиться к местному адвокату.

Правительственные агенты представили мне список вашингтонских юристов. Среди них был Вильям Геймер, занимавший ранее высокий пост в Государственном департаменте. Мне показалось, что его профессиональный опыт поможет ему понять мое положение.

Я намеревался поговорить с несколькими юристами, но встретившись с Геймером, понял, что это именно то, что мне нужно. Он был профессионалом высокого класса, и я инстин-

ктивно почувствовал, что могу верить ему, он не только сумеет дать мне хороший совет, но мы можем стать друзьями. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что дружба нужна была мне в те дни не меньше, чем ценный совет. Я мечтал о юристе, который не только сможет представлять меня, но будет еще и заботиться обо мне.

Будущее уже не казалось столь мрачным, но хорошее настроение продержалось недолго. Утром 11 мая в дверь спальни постучал Эндрю.

— Аркадий, вы можете сейчас же спуститься вниз? У нас плохие новости.

Что случилось? Спускаясь по лестнице, я перебирал возможные варианты, но ни один из них не имел отношения к истине.

В гостиной меня ждал Сэнди Гринфилд. И он и Эндрю были мрачны и серьезны.

— Аркадий, Лины больше нет.

Я был потрясен. Это не просто плохая новость, это катастрофа. Лина умерла? Я не мог поверить в то, что было написано в газете, которую они мне дали. Сообщение из Москвы было опубликовано в лондонских "Ивнинг ньюс" за подписью Виктора Луи, советского гражданина, чьи связи с КГБ сделали его влиятельным информатором западной прессы. Он писал только по заказу и приказу Москвы. Это он в октябре 1964 года передал на Запад известие о падении Хрущева.

Он писал, что моя жена покончила с собой. Я еще мог поверить, что она умерла, но покончила с собой — это не укладывалось в сознании. У Лины бывало временами дурное настроение, она могла ненадолго впасть в депрессию, но она никогда не культивировала свои эмоции. Ее стандартной реакцией был гнев, она вспыхивала и потом чувствовала себя лучше. Она была сильным человеком, который умеет преодолевать трудности и добиваться у жизни всевозможных благ. Нет, та Лина, которую я знал, не могла покончить с собой.

Но что же случилось на самом деле? Полагаю, что ее уговорили вернуться в Москву, скорее всего, пообещав, что советское правительство вытребует меня назад. Когда она поняла, что я не вернусь домой, а ей никогда не позволят поехать в США, она, вероятно, излила свой гнев не на тех людей. Очень может быть, что она угрожала раскрыть известные ей малоприятные секреты из жизни высокопоставленных советских

официальных лиц. Если это так, она стала угрозой для чьих-то карьер и соответственно сделалась кандидатом на уничтожение руками КГБ. Могли ли они убить ее в целях самозащиты, а заодно — чтобы наказать и меня? Зная их, я склонен думать, что так оно и есть.

Долгие годы я много раз слышал, что КГБ использует медицинские убийства для устранения "нежелательных" политических деятелей и прочих лиц. Прекрасное решение вопроса — комар носа не подточит. О таких методах ходило немало слухов. В московских кругах циркулировали истории об организованных таким образом убийствах Максима Горького и Андрея Жданова. Поговаривали, что так были убиты и не столь известные, но потенциально опасные деятели.

На другой день, все еще охваченный яростью и горем, я позвонил в советское посольство в Вашингтоне и добился разговора с Анатолием Добрыниным.

— Скажите мне правду, — взмолился я. — Что случилось с моей женой?

Он холодно ответил:

— Я знаю ровно столько же, сколько вы. Единственный источник информации для меня — американская пресса.

Я думал о детях: что с ними? Не грозит ли им что-нибудь? Что они думают обо всем этом? С Геннадием все более или менее в порядке: он независим, у него хорошая работа, жена с большими связями. Но как там Анна, которая осталась теперь в нашей квартире одна с бабушкой? Я слал им телеграммы и письма, но ответа не было; скорее всего, они ничего не получали. От Геннадия в конце мая пришло сухое, неприязненное письмо, написанное явно не им, а советскими чиновниками, которые наверняка проверили, не проскользнет ли в нем хоть намек на человеческое чувство ко мне.

23 мая я написал Громыко, требуя, чтобы советское правительство позволило мне встретиться с дочерью. Ответа не было. Я отчаянно стремился связаться с Анной, установить с ней переписку, понять, не хочет ли она переехать ко мне в США, и если это так, — найти способ привезти ее сюда. Мои друзья, правительственные чиновники, открыто отстранились от этой проблемы, и я обратился к Биллу Геймеру. Он помог мне составить обращения к президенту Картеру и Государственному секретарю Сайрусу Вэнсу. Они прислали вежливые, полные сочувствия ответы: они верят в воссоединение семей,

они желают мне всего самого доброго, но сделать ничего не могут.

Я решил действовать на свой страх и риск. Геймер вызвался поехать в СССР и попробовать поговорить с Анной. Он обратился в советское посольство за визой и заверил их, что мы не хотим создавать никаких проблем и не собираемся предавать дело гласности. Он обещал не оказывать никакого давления на девочку, он просто скажет ей, что у меня все в порядке, и спросит, не хочет ли она приехать в США погостить. Ответа на наш запрос мы не получили.

Я все еще не оставил надежду когда-нибудь увидеть Анну, хотя я и понимаю, что самое страшное, самое жестокое наказание, какое могут выдумать для меня Советы, это не дать нам встретиться.

Мне предоставили еще немного времени, чтобы освоиться, а потом начались долгие месяцы расспросов и разговоров. Беседы были гораздо шире и интереснее, чем в Нью-Йорке. Там я обычно торопился, часто нервничал и порою не знал толком, что именно нужно рассказать Джонсону и Элленбергу, чтобы они поняли значение внешне маловажных политических событий или перемещений в Москве. Но у вашингтонских экспертов было время и желание обсуждать советские дела во всей их многогранности, они умели задавать вопросы и понимали ответы без дополнительных разъяснений, они владели русским, так что всегда могли помочь мне найти точное слово для описания нюансов и вспомнить множество вещей, хранившихся глубоко в памяти. О чем бы ни велись наши разговоры — о советской внешней политике, контроле над вооружениями, глобальных амбициях Кремля или о характерах и уловках советских руководителей — они всегда оказывали на меня бодрящее действие.

Люди, с которыми я имел дело, были вежливы и терпеливы — я подчеркиваю это последнее качество, потому что мне было свойственно растекаться мыслью по древу. Единственное, что было плохо в этом периоде, это то, что он, казалось, затянется навечно. Как это было не похоже на все эти кагебешные россказни о давлении на перебежчиков, о проверках, которым они подвергаются в ЦРУ или ФБР. Меня ни разу не подвергли допросу с пристрастием, не подключили к детектору лжи или другим аппаратам, мне ничем не угрожали.

В это же время я начал выходить в город вместе с Эндрю,

Гринфилдом и другими агентами ФБР, приставленными ко мне. Мне особенно хотелось восстановить мою библиотеку. Это не только необходимо для моего будущего, это единственное занятие, что давало мне какое-то успокоение в те дни тоски и неуверенности. Охота за книгами всегда была моей страстью и хобби. Вскоре я узнал адреса лучших вашингтонских книжных магазинов и, навещая их, лучше узнал город, постепенно стал чувствовать себя здесь более уютно.

Я начал также искать квартиру, но подходящую нашел не скоро. Я всегда предпочитал уют собственного дома временному уюту гостиницы, и атмосфера конспиративной квартиры начинала тяготить меня. Не то, чтобы с американцами было трудно ужиться, напротив, они не раз оказывали мне поддержку и проявляли понимание, когда я впадал в приступы гнева или депрессию и тоску. Я полагался на них, ценил их помощь и участие, они мне нравились – и все же их присутствие угнетало. Компаньоны и советчики, они были еще и охранниками и в каком-то смысле помехой. Я всегда хотел быть свободным, а теперь я хотел быть и от них свободен. Не важно, как относится к тебе твоя стража, в любом случае ты все равно остаешься пленником.

С течением времени я почувствовал, как нужна мне эмоциональная поддержка, которую они не могли мне предоставить. Для агентов ЦРУ и ФБР я прежде всего подопечный, объект, за который они отвечают. Я был одинок, мне хотелось поболтать с женщиной, побыть в женском обществе, привлечь к себе женское внимание. Когда я рассказал об этом Эндрю и Гринфилду, они растерялись: среди обширных ресурсов ЦРУ и ФБР фрейлины не предусмотрены. Мы поговорили о моем одиночестве, но решение нашлось не сразу. Идея завести знакомство в баре мне не нравилась, хотя мы уже бывали в ресторанах и иногда оставались на ночь в гостиницах в тех местах, где я искал квартиру. Я не мог вступить в клуб, не назвавшись, и вряд ли я мог поместить в "Нью-Йорк ревю оф Букс" объявление такого рода: "Советский перебежчик, 47 лет, ищет женщину, которая помогла бы ему начать новую жизнь".

Наконец агенты ФБР посоветовали мне попытать счастья с девушками по вызову. Сами они никому звонить не будут, но дадут мне несколько номеров из телефонной книги, а дальше – мое дело. Так я познакомился с Джуди Чавец.

Сначала я был сильно увлечен ею. Я попросил ее бросить других клиентов и стать моей возлюбленной. Она согласилась, но поставила определенные условия: ей нужно оплатить счета адвоката за развод, которого она добивается, и за защиту в деле о хранении марихуаны, которое возбуждено против нее в Нью-Джерзи. Ей нужны деньги и свобода. После неудачного замужества она решила больше не связывать себя постоянными узами. К тому же у нее больная сестра, которой она должна помогать, и мать, с которой она проводит уикэнды. Я предложил ей содержать ее. Я мог себе это позволить – у меня были деньги от ООН и кое-какие сбережения.

Несколько недель мне казалось, что она выполняет свое обещание. Она помогла мне обосноваться в новой квартире, снятой под вымышленным именем. Даже такая ерунда, как просто выйти из дома или войти в него без сопровождения охранника ЦРУ или ФБР, повергла меня в радость. Я почувствовал вкус к жизни, прилив энергии. Район, в котором я снял квартиру, оказался неподалеку от нескольких магазинов на Коннектикут авеню, в которых я рылся часами, заново комплектуя свою библиотеку.

Я сам убирал в квартире, сам готовил и делал все, что заблагорассудится. Новообретенная свобода придавала оттенок счастья даже домашним делам.

Но вскоре вся эта идиллия кончилась. Я был слишком наивен, когда поверил в искренность Джуди и в ее добрые намерения. Она продала историю наших отношений прессе, а что хуже всего – раскрыла мое имя и мой адрес. Она украсила свою историю красочными подробностями, вроде того, что я платил ей из денег, которые выдавало мне ЦРУ, хотя она прекрасно знала, что это мои собственные деньги. Пресса была в экстазе. Я хотел подать на Джуди в суд, но Билл Геймер, вернувшийся из-за поднявшегося шума из командировки в Европу, вместе с чиновниками ЦРУ и ФБР уговорил меня не делать этого. Если я обращусь в суд, это только подольет масла в огонь, а мне от этого никакого толку не будет. Они оказались правы: вся эта история вскоре забылась, хотя Джуди Чавец и опубликовала книгу.

Сейчас, оглядываясь назад, я думаю о том, как мне повезло, что этот период стресса, замешательства и ошибок был относительно коротким. Присутствие верных друзей и их поддержка помогли мне преодолеть досаду и унижение, которые

я чувствовал тогда. Не думаю, чтобы мои переживания сильно отличались от опыта других перебежчиков. Тут важно, чтобы человек, оказавшийся в такой ситуации, не был предоставлен самому себе и чтобы он не накапливал в душе все свои обиды и горести. Конечно, это легче сказать, чем сделать: поди найди друзей, которые согласятся разделить с тобой всю эту муку. Правительственные чиновники, при всех своих добрых намерениях, при всей той помощи, которую они оказывают в процессе адаптации, просто не могут заменить человека, который был бы связан с вами личными узами. Наверное, именно поэтому некоторые советские перебежчики, не испытывавшие материальных трудностей, не имевшие проблем с работой, все же не смогли приспособиться к жизни на Западе и в минуту одиночества и отчаяния отказались от всех своих надежд и вернулись назад, в СССР. Этим бедолагам никогда не простят их поступка – даже если им позволят, иногда в пропагандистских целях, вернуться на прежнее место работы, и у них никогда больше не будет возможности обрести свободу.

Я был из счастливцев. Я нашел любящих друзей, и я обрел Элейн, жену, которая любит меня и которой важен мой успех и счастье. Я нашел Билла Геймера, который посвятил мне бесчисленное множество часов, дней, лет, чтобы помочь приспособиться к новой жизни.

Я живу в США почти семь лет, и почти все это время Элейн была рядом, деля со мной все разочарования и успехи и те трагикомические ситуации, которые может понять только иммигрант. Мы не хотим посвящать посторонних в детали нашей личной жизни, но раз это мемуары, надо как-то рассказать о том, как мы встретились. "Сосватал" нас Билл Геймер: он с женой Морин пригласили меня на обед, где были несколько друзей, в том числе и Элейн. Мы сразу же понравились друг другу. Стройная, рыжеволосая южанка, образованная, умная, она буквально очаровала меня. К тому же обнаружилось, что у нас много общих интересов – от искусства до политики. Обычно наши взгляды совпадали, но даже когда мы в чем-то расходились, мне нравилась та откровенная манера, с которой Элейн отстаивала свои воззрения. В конце декабря 1978 года мы поженились, и, кроме жены, я заполучил еще и прекрасную тещу, с которой мы стали большими друзьями. Я снова обрел семью. Сумасшедший год завершился надеждой на мир и покой.

Через несколько месяцев мы с Элейн перебрались в собственный дом. В связи с покупкой дома я приобрел новый опыт и столкнулся с рядом сложных и неизвестных мне ранее проблем. От этой обычной – для большинства американцев – процедуры у меня просто ум за разум заходил. И опять нашим спасителем стал Билл Геймер, проведший нас через все рифы и хитросплетения процесса вступления во владение собственностью. Мы отпраздновали переход в это новое качество в ресторане, где я расплатился, воспользовавшись только что полученной кредитной карточкой. По этому поводу Билл пошутил, что я "стал настоящим американцем".

Но мне еще многому надо было учиться. Например, я не представлял себе, что мне придется еще долго приходить в себя, прежде чем я смогу снова эффективно работать. Я не был подготовлен к большим и малым сложностям, связанным с этим процессом.

Начать с того, что мне пришлось пройти через огромное количество всяких бумажных процедур – налоги, социальное обеспечение, автомобиль, различные виды страховки, информация и инструкции о том, как надо жить в США. В СССР нет ничего подобного. Но с течением времени все постепенно становилось обычным и входило в свою колею. Я даже научился ворчать по поводу стрижки садового газона и стоимости ремонта гаража, так же как и миллионы тех, кого я надеюсь вскоре назвать своими согражданами.

Когда я познакомился с Элейн, она была судебным репортером, но когда мы начали работать над книгой, она оставила работу, чтобы помочь мне. До сего дня я не могу привыкнуть к счастью впервые в жизни иметь возможность говорить открыто, не думая о том, что допустимо с политической или идеологической точки зрения, а что нет.

У меня насыщенное расписание – я регулярно читаю лекции в Институте иностранных дел при Госдепартаменте и в университетах и деловых кругах, пишу для различных журналов и газет. Правительство все еще обращается ко мне за консультациями по целому ряду вопросов. Мне хочется заняться серьезной научной деятельностью. Короче говоря, я и не смел мечтать, что буду вот так жить открыто, не таясь, сам себе хозяин.

Моя первая лекция за границей состоялась в Канаде, в Торонто в начале 1983 года. Тогда впервые до меня дошла угро-

за со стороны КГБ или его прихлебателей: в организацию, которая устраивала мое выступление, позвонил неизвестный и пригрозил большими неприятностями, "если Шевченко будет выступать". Но я уже давно принял решение: никогда ни в чем не подчиняться Советам. Лекция прошла без осложнений.

Меня много раз спрашивали, действительно ли КГБ представляет реальную угрозу моей жизни. Конечно, я с самого начала понимал, что возможность этого всегда имеется, но я сознательно пошел на этот риск, отказавшись уйти в подполье. После моего побега мне стало известно, что в Москве меня заочно приговорили к смертной казни. Мне рассказывали также, что некоторые бывшие сотрудники КГБ, перебежавшие на Запад, говорили, что весной 1978 года меня подозревали в сотрудничестве с ЦРУ. Я рад, что моя интуиция не обманула меня в инциденте с роковой телеграммой-вызовом в Москву на "консультации".

Для меня самый лучший способ борьбы с угрозой КГБ – это оставаться общественно активным. Я не ищу опасностей, я люблю жизнь. Но прятаться ради того, чтобы выжить, это не жизнь. Я по-прежнему пристально слежу за советской политикой, читаю советские газеты, журналы, книги, разговариваю с другими перебежчиками, оказавшимися в ситуации, аналогичной моей. Я и впредь собираюсь всем этим заниматься, а обретенная мной свобода открывает передо мной новые горизонты.

* * *

Недавние перемены в советском руководстве оказали всего лишь побочный эффект на характер структуры власти в Кремле или на основные направления его политики. Это звучит парадоксально, но это типично для советской системы. После смерти в течение небольшого отрезка времени Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко советское руководство преследует в основном те же цели, что и раньше. Возвышение Черненко прежде всего продемонстрировало, как цепляется старая гвардия Политбюро за власть, не желая признавать, что ее время прошло. Эта группа, в которой Черненко делил власть с другими крупными фигурами, такими как министр иностранных дел Громыко, была не готова и не согласна уступать высшую власть более молодому

поколению. На деле кремлевское руководство вступило в переходный период еще в конце семидесятых, когда Брежнев стал фактически инвалидом. Черненко был обречен, хотя бы в силу своего возраста быть временной фигурой. Это не означает, что старая гвардия потеряла власть управления СССР, хотя старые олигархи в конце концов решили избрать новым Генеральным секретарем сравнительно молодого Михаила Горбачева. Очень важно понимать свойственную советской системе инерцию, а также то немалое влияние, которое будут оказывать призраки прошлого на любого нового советского руководителя. Даже скромные попытки реформ, скорее всего, вызовут решительное сопротивление как молодых, так и старых членов элиты, которые предпочитают устоявшийся порядок любому другому, так как неясно, будет ли новый порядок выгоден лично им.

Поколение Брежнева, по определению канадского посла в Москве Роберта Форда, "по большей части антиинтеллектуальное, получившее ускоренное и зачастую обрывочное образование", * медленно сходит со сцены. На смену им пришли такие люди, как Михаил Горбачев, которому не довелось пережить первые послереволюционные годы или участвовать в Отечественной войне. Большинство из них получили хорошее образование, и они в целом – лучше понимают сложности и реальности советского общества. Не думаю, чтобы они были более агрессивны из-за того, что не пережили военных бедствий. Я склонен полагать, что они обратят внимание на необходимость преодолеть экономический и социальный застой в стране и особенно, что они поймут необходимость перераспределения ресурсов от военного до гражданского сектора; нынешнее наращивание военного потенциала привело к структурному нарушению экономического баланса, и это препятствует росту и развитию промышленности, сельского хозяйства и техническому прогрессу. В общем, я думаю, они уже обращают внимание на одну примечательную мысль марксизма-ленинизма: социализм должен служить вдохновляющим примером для других народов своими достижениями. Сейчас это, разумеется, вовсе не так.

---

* Robert Ford. The Soviet Union: the Next Decade. Foreign Affair, Summer 1984, p.1136.

Здесь, однако, следует кое-что уточнить. Советскую экономику в течение многих лет изображают в самых черных тонах, и каждый очередной спад порождает новую волну мрачных предсказаний насчет продолжительности и жизнестойкости системы.

Однако спотыкающаяся экономика и другие трудности не должны вводить в заблуждение относительно устойчивости режима. Советский Союз, несомненно, испытывает серьезные проблемы на внутреннем и внешнем фронте, но в прошлом он преодолел еще большие проблемы.

Он располагает огромными естественными и человеческими ресурсами. По своей способности веками – даже не десятилетиями – выносить нужду и лишения советский народ превосходит все прочие народы мира, за исключением разве что китайцев.

Так что Запад не должен обманывать себя, сосредоточивая свое внимание исключительно на советских промахах и недостатках. Ведь у СССР есть и успехи. Предсказывать неизбежное падение СССР и его империи – преждевременно; чтобы эта идея выглядела более или менее реалистично, дела должны намного больше ухудшиться.

Советский Союз не начнет перевоплощаться в общество свободного предпринимательства и не распадется в скором времени. Не верю я и в то, что сейчас советский вызов свободному миру представляет меньшую идеологическую угрозу, чем раньше, что он просто, как полагают некоторые аналитики, превратился в "весьма традиционный геополитический вызов". Эти аналитики преувеличивают утрату веры в идеологию среди советского руководства и недооценивают привлекательность советских идей в Центральной и Латинской Америке, Африке, Азии и других частях мира.

Об этом же свидетельствует и Ричард Харвуд в статье в "Вашингтон Пост", написанной по свежим впечатлениям недавней поездки в Советский Союз. Он заметил, что в Союзе возникла новая религия, ставшая столь же популярной, как некогда – ортодоксальная вера. Новая религия – это ленинизм. Харвуд пишет: "Это религия, основанная на глубокой вере в милосердного Отца, Владимира Ильича Ленина. Ленин является для этого общества святым пророком и путеводной звездой, как Христос для христиан, как Мухаммед для мусульман; он, может, и не Божий сын, но и не простой

смертный. Неверие в это – отказ от ленинской ортодоксии – есть вид новой ереси".*

Помню, как трудно было мне избавиться от преклонения перед Лениным – настолько глубоко было оно вбито с самого детства.

Что касается советской угрозы миру на земле, то об этом, по-моему, прекрасно сказал Ричард Пайпс, который, что называется, смотрит в корень: "Пока существует номенклатура, пока Советский Союз живет в состоянии беззакония, пока нет творческого выхода для энергии жителей СССР, не может быть безопасности в мире".** Мне представляется очень сомнительным, чтобы номенклатура исчезла в ближайший обозримый период времени.

Долгие годы Кремль демонстрировал в области внутренней политики консервативность, граничащую с окостенением, стремясь лишь к сохранению статус кво в стране. На мировой арене ситуация иная. Во время разрядки СССР существенно увеличил свой военный потенциал, так что теперь его размеры далеко выходят за пределы, необходимые для обороны, и способны внушить тревогу. Советский Союз пытается распространить свою власть и влияние на весь мир. В 1979 году он совершил акцию, беспрецедентную со времен второй мировой войны: ввел свои войска в государство, не принадлежащее к советскому блоку, в Афганистан. Внутри страны постоянно нарушаются положения Хельсинских соглашений относительно прав человека. Подавление движения Солидарности в Польше вызвало негодование международной общественности; взрывом возмущения ответил мир и на убийство 269-ти мирных пассажиров корейского самолета.

Такое поведение порождает важные вопросы, очень существенные для ядерного века. Может ли Кремль так же авантюристично обращаться со своим ядерным арсеналом, как с обычными вооруженными силами? Имеется ли конфликт интересов между советскими политическими и военными руководителями? Если это так, то действительно ли военные одерживают верх и направляют Политбюро по некоему бо-

---

* Washington Post, Sept. 23, 1984.

** Foreign Affairs, "Can the Soviet Union Reform". Fall 1984, p.59.

напартистскому курсу, как полагают некоторые аналитики? В этой связи следует заметить, что между советскими руководителями – независимо от того, занимаются ли они политическими или военными делами, молоды они или стары, – нет разногласий относительно их конечных целей. Они рассматривают мировое развитие как постоянную борьбу между двумя противоположными социальными и политическими системами. Они верят в неизбежную, хотя и нескорую победу социализма советского образца в процессе того, что они называют "обективным развитием" человеческого общества. Но они не намереваются достичь этой победы с помощью ядерной войны.

Ядерная война может стать последним средством, и СССР начнет ее только в том случае, если под угрозой окажется само существование государства и не будет других альтернатив. В то же самое время, все более агрессивно распространяя в мире свою военную мощь, Москва увеличивает опасность того, что обычные конфликты и конфронтации с Западом выйдут из-под контроля. Среди военных и идеологов есть люди, которые готовы пойти на такой риск.

Впрочем, я не вижу, как армия или КГБ – при всем своем влиянии могут узурпировать главенство партии. Абсолютная власть в СССР бесспорно принадлежит партии, с ее Центральным комитетом и Политбюро во главе. Всякая реальная бонапартистская тенденция со стороны настоящего или будущего руководителя немедленно вызовет в памяти высших партийных чинов случаи Г.К.Жукова или Лаврентия Берия, которые пытались поставить над партией армию или аппарат тайной полиции и провалились. Недавнее увольнение влиятельного маршала Николая Огаркова было предостережением военным: пусть лучше остаются на месте. В конечном итоге, армия и силы тайной полиции – это инструменты партии, и никаких изменений в расстановке сил она не допустит.

Западу – хочет он того или нет – придется иметь дело с СССР. Оснований для этого более чем достаточно: и Советский Союз, и Соединенные Штаты занимают уникальные по силе позиции, которые неизбежно оказывают влияние на будущее человечества. Хотя Восток и Запад ведут игру по разным правилам, совершенно необходимо, если мы хотим избежать катастрофы, поддерживать диалог с СССР, искать разумные и практичные пути, даже сотрудничать, когда речь

идет о наших интересах. Это сотрудничество существенно важно для решения глобальных проблем, таких, как предотвращение ядерной войны, сокращение уровня военной угрозы и достижения прогресса в контроле над вооружениями. Оно необходимо для разрешения кризисных ситуаций, которые неизбежно будут возникать время от времени, независимо от состояния советско-американских отношений.

Иногда США не достает твердости в обращении с СССР. В политике по отношению к Советскому Союзу они бросаются из одной крайности в другую. Но я никогда не сомневался, что сила Америки делает ее единственной державой в мире, способной обуздать Москву. И этого можно достигнуть, если американские руководители будут помнить старую, но не устаревшую истину: кремлевские деятели лучше всего понимают язык военной и экономической мощи, энергичного политического убеждения, силы воли. Если Запад не сможет противостоять Советам с равной решимостью, Москва будет продолжать свои происки во всем мире.

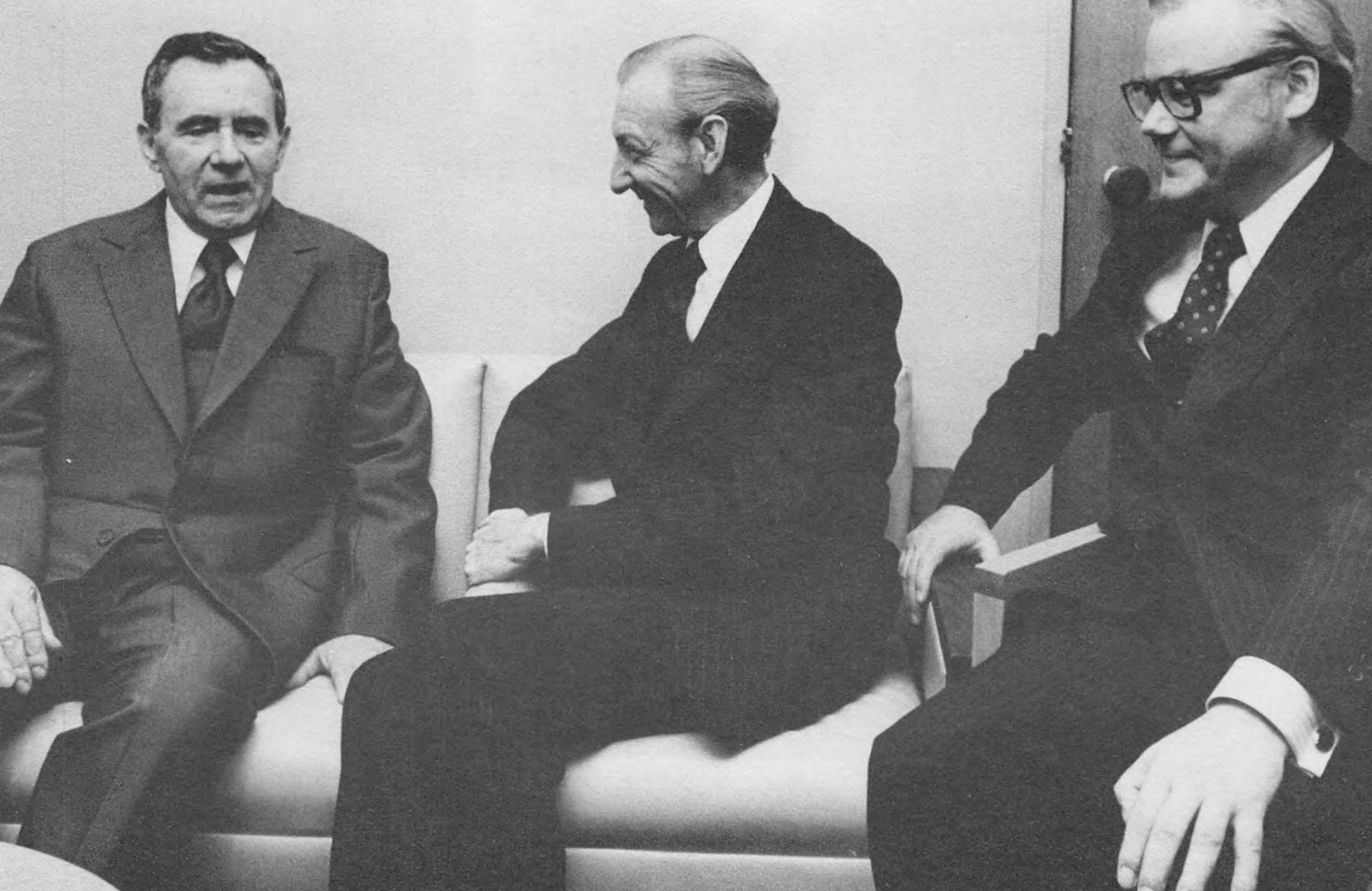
Абсолютная правда – самое эффективное оружие против той фальши, на которой построена советская система, против мифов о себе самой, которые ей удалось рассеять по всему миру. Правда – это единственная сила, способная прорвать ту завесу секретности, за которой советские руководители скрывают реальность своей системы и своих намерений.

* * *

Я постарался рассказать правду. Я пытался найти правду – о самом себе, о стране, в которой я вырос, о режиме, который я узнал и возненавидел. Надеюсь, что я внес свой вклад в разоблачение лжи советской идеологии, помог ослабить привлекательность ее идей и приблизить день, когда народ, к которому я все еще принадлежу, освободится и сможет сказать правду о себе всему миру.











НА ФОТОГРАФИЯХ:

Анна — дочь Аркадия Шевченко.

Лина Шевченко (первая жена А.Шевченко) и Лидия Громыко (жена А.Громыко).

Встреча А.Громыко с К.Вальдхаймом и А.Шевченко в приемной Генеральной Ассамблеи.

Встреча Л.Брежнева с К.Вальдхаймом в Кремле: слева — Брежнев и Громыко, справа Вальдхайм и Шевченко.

На церемонии бракосочетания Аркадия Шевченко с Элейн.

ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

